

ЕЖИ
ЖУЛАВСКИЙ

ЕЖИ
ЖУЛАВСКИЙ

Лунная трилогия









ЕЖИ
ЖУЛАВСКИЙ

Лунная трилогия



ЕЖИ

ЖУЛАВСКИЙ

На серебряной
планете

Древняя
Земля

Победоносец



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«СЕВЕРО-ЗАПАД»
1993

Перевод с польского

Жулавский Е.
Ж 87 Лунная трилогия: Романы / Пер. с польского. —
СПб.: Северо-Запад, 1993.—736 с.
ISBN 5-8352-0154-0

«Лунная трилогия» Ежи Жулавского (1874—1915) является классическим произведением не только польской, но и мировой научной фантастики. Человек редкостно насыщенной жизни, ее автор сумел сделать столь же насыщенными и эти три романа — «На серебряной планете», «Победоносец» и «Древняя Земля». Здесь вы найдете все — и романтику первооткрытия мира, и приключения, и столкновения различных цивилизаций, и проблемы зарождения и становления религии, и чисто свифтовский памфлет на общество, не потерявший актуальности и по сей день. Не случайно «лунную трилогию» не только постоянно переиздают в Польше, но и поныне продолжают переводить на самые разные языки. Теперь очередь дошла до русского.

© А. Щербаков, Л. Цывян, перевод, 1993
© А. Балабуха, составление, послесловие, 1993
© И. Чибилев, оформление, 1993
® ~~авторское право~~. Зарегистрированная
торговая марка. Охраняется законом



РОМАН

На серебряной
ПЛАНЕТЕ

Миновало почти полвека с тех пор, как отправилась на Луну двойная экспедиция, — поистине сумасброднейшая из всех, какие задумывались и совершались когда-либо, — и она уже была почти забыта, когда вдруг на страницах газеты, выходящей в К., появилась статья за подписью ассистента небольшой местной обсерватории, снова напомнившая обо всем. Автор ее утверждал, что располагает вполне достоверными сведениями о судьбе безумцев, пятьдесят лет назад полетевших на Луну. Сообщение наделало немало шума, хотя вначале к нему отнеслись не слишком серьезно. Тем, кто слышал или читал об этом необычайном предприятии, было известно, что отважные искатели приключений погибли, и теперь все только пожимали плечами, узнав, что люди, давно считавшиеся мертвыми, не только живы, но даже присылают сообщения с Луны.

Ассистент показывал всем любопытствующим сорокасантиметровый конусообразный стальной снаряд, в котором он якобы обнаружил рукопись с Луны. Хитроумно отвинчивающийся полый конус, покрытый толстым слоем ржавчины и окалины, мог с удивлением разглядывать каждый, однако рукописи ассистент не показал никому. Он утверждал, что рукопись представляет собой обугленные листы бумаги и что он теперь расшифровывает их содержание при помощи специальных фотоснимков, которые делаются с большим трудом и с величайшими предосторожностями. Такая таинственность возбуждала подозрения, тем более что ассистент до сих пор не разъяснил, каким образом попал к нему снаряд. Интерес к этому

делу все возрастал. С некоторым недоверием все ждали обещанных разъяснений, а тем временем общественность начала заново знакомиться с историей экспедиции по материалам тогдашней прессы.

И человечество стало вдруг удивляться, что смогло так быстро забыть... Ведь в те времена, полвека назад, не было ни одного печатного органа, который бы не считал своим долгом на протяжении двух лет кряду посвящать хоть несколько строк в каждом номере такому неслыханному, невероятному событию. Перед отправлением экспедиции всюду было полным-полно корреспонденций о ходе подготовительных работ; описывали буквально каждый винтик в «вагоне», которому предстояло преодолеть межпланетное пространство и посадить отважных безумцев на лунную поверхность, известную тогда только по великолепным фототграфиям, много лет подряд делавшимся в Ликской обсерватории. Люди живо интересовались всеми деталями этого предприятия; портреты и пространные биографии путешественников публиковались на самых видных местах. Много шуму вызвало известие о том, что один из участников экспедиции отказался лететь чуть ли не в последнюю минуту — менее чем за две недели до назначенного срока. Те же самые люди, что не так давно метали громы и молнии в адрес всей этой «нелепой авантюры», а участников ее открыто называли полоумными, которых просто следовало бы пожизненно запереть в сумасшедшем доме, теперь возмущались «трусостью и изменой» человека, который откровенно заявил, что лежать в могиле на Земле можно так же спокойно, как и на Луне, но зато здесь он попадет в могилу куда позже, чем его товарищи там. Однако наибольший интерес возбудила личность нового смельчака, который предложил свою кандидатуру на освободившееся место. Все считали, что участники экспедиции не примут его в свой круг, поскольку уже не хватало времени, чтобы их новый товарищ мог пройти необходимую предварительную тренировку, которой остальные занимались несколько лет, достигнув под конец прямо-таки невероятных результатов. Рассказывали, что они научились в легкой одежде переносить сорокаградусный мороз и сорокаградусную жару, по целым дням обходиться без воды и дышать без ущерба для здоровья воздухом, несравненно более разреженным, чем земная вы-

сокогорная атмосфера. Каково же было всеобщее удивление, когда оказалось, что новый доброволец принят и что он пополнит ряды «лунатиков», как их называли. Одно лишь приводило корреспондентов в отчаяние — они не могли раздобыть никаких более подробных сведений об этом таинственном искателе приключений. Несмотря на настоятельные просьбы, он не подпускал к себе репортеров; да что там! — даже не дал ни одной газете своей фотографии и не отвечал на письменные запросы. Другие участники экспедиции тоже хранили по этому поводу строгое молчание. Лишь за два дня до отправления экспедиции появилось известие более конкретное, хоть и несколько фантастическое. Один журналист, приложив массу усилий, сумел-таки увидеть нового участника экспедиции — и немедленно выпустил повсюду слух, что якобы это женщина, переодетая мужчиной. Слуху не очень поверили, — да, впрочем, уже и времени не было его проверять. Приближалась решающая минута. Лихорадочное ожидание переросло в подлинное неистовство. Район в устье Конго, откуда экспедиции предстояло «отправляться в путь», кишел людьми, прибывшими со всех концов света.

Фантастической идее Жюль Верна наконец-то предстояло осуществиться — через сто с лишним лет после смерти ее автора.

На побережье Африки, в двадцати с лишним километрах от устья Конго, зияло громадное отверстие уже готового колодца из литой стали, откуда вскоре должен был вылететь на Луну первый снаряд с пятью смельчаками внутри. Специальная комиссия еще раз торопливо проверила все сложные расчеты; еще раз произвели осмотр запасов и снаряжения; все было в порядке, все было готово.

На следующий день незадолго до восхода солнца чудовищный грохот взрыва, который был слышен в радиусе нескольких сотен километров, возвестил миру, что экспедиция началась...

По необычайно точным и детальным расчетам снаряд должен был (под влиянием взрывной силы вертикального толчка, притяжения Земли и силы разгона, полученной благодаря суточному вращению Земли) описать в пространстве гигантскую параболу с запада на восток и, войдя в определенной точке и в определенный час в сферу притя-

жения Луны, упасть почти вертикально в центр ее обращенной к нам стороны, в район Центрального Залива. Движение снаряда, наблюдавшееся через сотни телескопов в различных пунктах Земли, оказалось совершенно правильным. Для наблюдателей снаряд будто пылся по небу с востока на запад — сначала намного медленнее, чем Солнце, а потом, по мере удаления от Земли, все быстрее. Это кажущееся попятное движение объяснялось вращением Земли, относительно которого снаряд непрерывно отставал.

За снарядом следили долго; наконец он приблизился к Луне, и его уже нельзя было увидеть даже в самые сильные телескопы. Однако связь между Землей и замкнутыми в снаряде смельчаками непрерывно поддерживалась еще некоторое время. Кроме множества других приборов, путешественники взяли с собой замечательный аппарат для беспроволочного телеграфирования, который согласно расчетам должен был действовать даже на расстоянии 384 тысяч километров, отделяющих Луну от Земли. Но расчеты в данном случае подвели; последняя депеша была принята астрономическими станциями с расстояния 260 тысяч километров. То ли из-за недостаточной силы тока, создающего волны, то ли из-за ошибок в конструкции прибора, но телеграфирование на более дальнее расстояние оказалось невозможным. Однако последняя депеша звучала весьма многообещающе: «Все идет хорошо, нет поводов для опасений».

Через шесть недель согласно плану отправилась вторая экспедиция. На этот раз в снаряде находились лишь двое; зато они взяли с собой гораздо больше припасов продовольствия и необходимого снаряжения. Телеграфный аппарат у них был много мощнее, чем у их предшественников, и не приходилось сомневаться, что он сможет передавать сообщения с Луны. Но с Луны известия так и не поступило. Последнюю телеграмму путешественники выслали, приближаясь к цели, перед самым падением на лунную поверхность. Сообщение было отнюдь не из благоприятных. Снаряд по необъяснимой причине несколько отклонился от курса и вследствие этого должен был упасть на Луну не вертикально, а наклонно, под довольно острым углом. Поскольку он не был рассчитан на такое падение, путешест-

венники опасались, что могут разбиться и погибнуть. Видимо, их опасения оправдались, так как больше депеш не поступало.

Вследствие этого отказались от дальнейших намеченных экспедиций. Можно ли строить иллюзии насчет судьбы несчастных — так зачем же увеличивать число напрасных жертв? Раскаяние какое-то и стыд овладели людьми. Самые горячие сторонники «межпланетных сообщений» теперь притихли, а об экспедициях писалось и говорилось уже только как о безумии, прямо-таки преступном. А через несколько лет всю историю надолго предали забвению.

Как уже говорилось, о ней напомнила лишь статья дотоле неизвестного, но вскоре прославившегося ассистента небольшой астрономической обсерватории. С тех пор каждая неделя приносила что-нибудь новое. Ассистент постепенно открывал завесу над своей тайной, и, хотя в скептиках, как всегда, не было недостатка, к этому делу начали относиться все более серьезно. Сенсационная новость вскоре разошлась по всему свету. Ассистент наконец рассказал, каким образом он стал обладателем ценной рукописи и как прочел ее. Он даже разрешил специалистам осмотреть ее обугленные останки вместе с по-длинно чудесными фотоснимками.

Вот как обстояло дело со снарядом и рукописью.

«Однажды после обеда, — рассказывал ассистент, — когда я занимался регистрацией ежедневных метеорологических наблюдений, служитель обсерватории доложил мне, что какой-то молодой человек желает со мной поговорить. Оказалось, что это мой бывший соученик и добрый приятель, владелец расположенного неподалеку поместья. Видел я его редко, потому что он неохотно выбирался в город, хоть и жил неподалеку. Я попросил его обождать и, управившись побыстрее со своими делами, вышел в соседнюю комнату, где он ждал меня, как я заметил, с большим нетерпением. Едва успев поздороваться, он заявил, что принес известие, которое меня несомненно обрадует. Он знал, что я уже несколько лет с энтузиазмом занимаюсь изучением метеоритов, и потому пришел сообщить, что несколько дней назад поблизости от его поместья упал довольно большой, как ему кажется, метеорит. Найти камень не удалось,

потому что упал он в болото и, по-видимому, основательно углубился, но если я хочу, то можно дать мне людей в помощь. Метеорит я, разумеется, хотел заполучить, а поэтому, освободившись на несколько дней из обсерватории, отправился к месту его падения. Но невзирая на тщательные поиски и на явные следы падения метеорита, ничего мы не нашли. Извлекли только стальной предмет, имевший форму пушечного снаряда. Эта находка в здешних местах изрядно меня удивила. Я уже усомнился в успешности поисков и отдал было распоряжение прекратить дальнейшие работы, когда приятель обратил мое внимание на этот снаряд. Вид его и вправду наводил на размышления. Его поверхность покрывала окалина, которая возникает при прохождении железных метеоритов сквозь земную атмосферу. Неужто этот снаряд и есть упавший метеорит?

Так внезапно мелькнула у меня первая догадка. Мне вспомнилась экспедиция полувековой давности, историю которой я знал довольно хорошо. Должен добавить, что я никогда не разделял убеждения в несомненной гибели путешественников, несмотря на безнадежность последней полученной от них на Земле депеши. Но пока еще было слишком рано говорить о своих догадках, так что я лишь забрал снаряд и с величайшей осторожностью перевез его домой. Я был почти уверен, что найду в нем ценные сведения о погибших. По отношению небольшого веса снаряда я сразу же понял, что он пустотелый.

Дома я под величайшим секретом принялся за работу. Я прекрасно понимал, что если в снаряде и есть бумаги, то они наверняка обуглились, когда сталь раскалилась в земной атмосфере. Поэтому следовало открыть снаряд так, чтобы не уничтожить эти предполагаемые остатки. Быть может, думал я, удастся по ним что-нибудь расшифровать.

Задача была чрезвычайно трудной, тем более что я никого не хотел брать в помощники. Мои предположения выглядели слишком сомнительно и даже, как я понимал, фантастично, чтобы оглашать их раньше времени.

Я обнаружил, что верхушка снаряда представляет собой крышку, которую следует отвинтить. Поэтому я прочно закрепил снаряд в больших тисках, чтобы предохранить его

от сотрясений, которые могли бы повредить содержимое, и принялся за работу. Резьба заржавела и не поддавалась. После долгих усилий мне удалось наконец стронуть крышку с места. Помню, этот первый скрежет поворачивающегося винта пронял меня дрожью радости и тревоги. Пришлось на время прервать работу, потому что у меня тряслись руки. Снова взялся я за дело лишь час спустя, а сердце все еще колотилось.

Крышка медленно поворачивалась, и вдруг я услышал странный свист. Сначала я не понял, откуда он исходит. Почти безотчетно я повернул винт в обратном направлении, и свист тотчас прекратился, но стоило мне снова чуть открутить крышку, как он послышался вновь, хотя уже слабее. Тут я понял все! Внутри снаряда была абсолютная пустота! Свист издавал воздух, врывающийся внутрь через щель, которая возникла при откручивании крышки!

Это обстоятельство убедило меня в том, что если в снаряде содержатся какие-либо бумаги, то они не полностью уничтожены: отсутствие воздуха должно было предохранить их от сгорания! Через несколько минут я убедился в справедливости своих догадок. Сняв крышку, я обнаружил в снаряде, внутренние стенки которого были вдобавок покрыты слоем огнеупорной глины, сверток обугленных, но не сгоревших бумаг. Я еле дышал, опасаясь повредить эти бесценные документы. С величайшей осторожностью я извлек их из снаряда — и впал в отчаяние. На обугленной бумаге буквы были почти невидимы, а к тому же сама бумага стала такой ломкой, что едва не рассыпалась в руках.

Как бы то ни было, я решил довести дело до конца и прочесть рукопись. Несколько дней я раздумывал, как к этому подступиться. Наконец я прибег к помощи рентгеновских лучей. Я предполагал — и, как оказалось, справедливо, — что чернила, которыми пользовался автор рукописи, содержат минеральные компоненты, а потому зачерненные ими места будут оказывать большее сопротивление рентгеновским лучам, нежели обугленная бумага сама по себе. Я начал осторожно наклеивать каждую страницу рукописи на тонкую пленку, распяленную в раме, и делать рентгеновские снимки. Таким способом я получил клише, которые,

будучи отпечатаны на бумаге, дали мне нечто вроде палимпсеста; буквы, написанные с обеих сторон листа, сливались друг с другом. Прочсть это было трудно, но уж, во всяком случае, не невозможно.

Через несколько недель я продвинулся в чтении рукописи так далеко, что не видел необходимости по-прежнему хранить всю историю в тайне. Тогда-то я и написал ту первую статью, в которой сообщалось о происшествии. Теперь рукопись лежит передо мной целиком готовая, прочитанная, приведенная в порядок и переписанная, — и я ничуть не сомневаюсь в том, что она написана на Луне рукой одного из пяти участников первой экспедиции и послана оттуда на Землю.

Что касается остального, то содержание рукописи говорит само за себя».

К этому разъяснению, которое предшествовало публикации текста рукописи, ассистент добавил краткий очерк истории самой экспедиции.

А именно, он напомнил, что идея экспедиции принадлежала ирландскому астроному О'Теймору, а первым ее пылким приверженцем, нимало не сомневающимся в ее осуществимости, стал молодой, известный в то время в Бразилии португальский инженер Педро Фарадоль. Эти двое, найдя третьего энтузиаста — поляка Яна Корецкого, который отдал в их распоряжение все свое довольно значительное состояние, начали хлопотать над реализацией уже ясно очерченного к тому времени плана. Прежде всего они представили наброски проекта академиям и научным учреждениям, а затем обратились за помощью к авторитетным специалистам для разработки деталей. Идея неожиданно нашла признание и возбудила энтузиазм; вскоре это было уже дело не одиночек, а всего цивилизованного мира, который загорелся желанием выслать своих представителей на Луну, чтобы тщательно исследовать ее. По предложению академий и астрономических институтов правительства поспешили оказать проекту финансовую поддержку, а поскольку не было недостатка и в солидных частных пожертвованиях, то инициаторы вскоре располагали такими средствами, на которые можно было снарядить уже не одну, а несколько экспедиций. Так и было решено. Но, как известно, осуществились только две экспедиции.

Экипаж первого корабля должен был состоять из пяти человек, в том числе троих авторов проекта; четвертым был англичанин, врач Томас Вудбелл, пятым — немец Браун, который, однако, в последнюю минуту неожиданно отказался. Вместо него явился неизвестный доброволец.

Во втором снаряде отправились два брата — французы по фамилии Ремонье.

Вслед за этим кратким историческим очерком ассистент очень подробно остановился на технической стороне предприятия. Он рассказал о том, как было сделано огромное орудие в форме стального колодца, об устройстве снаряда, который на безвоздушной поверхности Луны можно было превратить в герметически замкнутую машину, приводимую в движение специальным электромотором; описывал защитные устройства, которые должны были предохранить путешественников от смертоносного сотрясения при выстреле, а потом при падении на Луну; наконец, перечислил все элементы внутреннего оборудования и снаряжения «движущегося жилища».

Луна — мир негостеприимный. Астрономам это давно известно, хоть они и знают Луну лишь издалека и — односторонне. Несмотря на колоссальное усовершенствование оптических приборов в двадцатом веке, Луна успешно противилась всем попыткам «приблизить» ее к Земле при помощи этих приборов на такое расстояние, чтобы можно было исследовать все детали ее поверхности. Обращаясь вокруг Земли на среднем расстоянии 384 тысячи километров, в тысячекратно увеличивающих линзах она кажется отстоящей от нее на 384 километра, что все еще составляет немалое расстояние. А более сильные линзы использовать нельзя, потому что при большем увеличении из-за малой прозрачности земной атмосферы изображение получается настолько неясным, что на нем не различить даже тех гор, которые вполне отчетливо видны через более слабые телескопы.

Вдобавок исследованию доступно только одно полушарие Луны. Дело в том, что Луна, совершая свой путь вокруг Земли за 27 дней 7 часов 43 минуты и 11 секунд, делает за это время лишь один оборот вокруг своей оси, а поэтому она обращена к Земле всегда одной и той же стороной своей поверхности. Это не случайное явление. Луна — не

идеальный шар, а приближается по форме к чуть продолговатому яйцу. Сила притяжения Земли приводит к тому, что это яйцо поворачивается к ней острым концом и вращается так, словно на привязи, лишенное возможности повернуться.

Изученная астрономами половина Луны дала, однако же, достаточно сведений, чтобы полностью дискредитировать эту планету в глазах людей, мечтающих о заселении иных, внеземных миров. Поверхность нашего спутника, вдвое превосходящая по площади Европу, выглядит в телескопах как безводное и пустынное плато, усеянное неисчислимым количеством кольцевых гор, по форме напоминающих гигантские кратеры — порой в сотни километров диаметром, — края которых вздымаются до семи тысяч метров над уровнем окрестных равнин. В северной части обращенного к нам полушария тянется ряд обширных округлых низин, которые получили у первых селенографов название морей. Эти равнины с крутыми берегами, образованными цепями недостигаемо высоких гор, изрезаны во всех направлениях множеством трещин, происхождение которых всегда ставило астрономов в тупик, так как на Земле не существует ничего подобного. Эти трещины нередко бывают длиной в сто-полтораста километров, шириной — километра в два; глубина же их достигает тысячи метров, а то и более.

Если мы напомним еще, что эта поверхность почти полностью лишена атмосферы, что лунный «день», продолжающийся четырнадцать наших дней, представляет собой тамошнее лето, во время которого зной достигает неслыханного накала, а четырнадцатидневная ночь — это зима более морозная, чем наши полярные зимы, — то мы получим представление о мире, отнюдь не вдохновляющем на то, чтобы выбрать его в качестве «постоянного местопребывания». Тем более следует восхищаться самоотверженностью людей, которые отправились на эту планету, рискуя жизнью, с той единственной целью, чтобы обогатить достоверными подробностями запас наших познаний об этом ближайшем небесном теле.

Впрочем, путешественники намеревались лишь как можно скорее пройти это негостеприимное полушарие и выбраться на другую, невидимую с Земли сторону Луны, где

они не без оснований ожидали найти условия, пригодные для жизни. Большинство ученых, пишущих о Луне, утверждает, правда, что и на той стороне атмосфера слишком разрежена для того, чтобы в ней можно было дышать, но О'Теймор, основываясь на своих многолетних наблюдениях и расчетах, предполагал, что найдет там воздух, имеющий достаточную плотность, чтобы поддерживать жизнь, а вместе с воздухом — воду и растительность, которые могут доставить хотя бы самое скудное пропитание. Впрочем, эти смельчаки были готовы и на смерть, лишь бы сначала вырвать у звездного неба хоть одну из тайн, которые оно столь ревностно скрывает от человека. Их мужество вдохновлялось мыслью, что эта жертва ни в коем случае не будет бесплодной, ибо они смогут передать свои наблюдения оставшимся на Земле людям при помощи телеграфного аппарата. «А что, если, — думали они порой, упиваясь величием своего предприятия, — что, если мы откроем на той, таинственной стороне Луны волшебный и странный рай, новый мир, ничуть не схожий с земным, но гостеприимный?» Они мечтали о том, как вызовут тогда с Земли новых смельчаков, чтобы те преодолели сотни тысяч километров и основали там, на этой светлой планете, на шаре, светящемся в ясные ночи, новое общество, новое человечество... быть может, более счастливое...

Между тем нужно было считаться с необходимостью преодолеть безвоздушное и безводное пустынное плоскогорье, занимающее всю обращенную к Земле сторону Луны. Это была не безделица. Окружность Луны составляет около одиннадцати тысяч километров, так что если бы они упали, как рассчитывали, в середину обращенного к Земле полушария, то им предстояло бы пройти по меньшей мере три тысячи километров, прежде чем они достигли бы тех мест, где надеялись получить возможность дышать и жить. Snряд, имевший форму длинного цилиндра, конусообразно заостренного на одном конце, можно было превратить в герметически закрытую машину; в нем в изобилии содержались запасы сжатого воздуха, воды, провизии и топлива, которых хватило бы для пяти человек на целый год, то есть даже на более долгий срок, чем нужно для того, чтобы попасть на обратную сторону Луны.

Кроме того, путешественники взяли с собой множество

различных инструментов, небольшую библиотечку и... собаку с двумя щенятами. Это была крупная красивая английская легавая, принадлежавшая Томасу Вудбеллу, по кличке Селена.

Обо всем этом подробно говорил ассистент из К... в сопроводительном очерке, который должен был служить комментарием к изданной вскоре рукописи.

Сама лунная рукопись, написанная на польском языке участником первой экспедиции Яном Корецким, состояла из трех частей, возникших в разные периоды, но связанных друг с другом в органическое целое — в повесть об удивительнейших приключениях и переживаниях человека, заброшенного на планету, висящую в голубых просторах за 384 миллиона метров от Земли.

Вот дословная перепечатка этой рукописи в соответствии с первым изданием, которое было подготовлено ассистентом обсерватории в К...

Д н е в н и к

Я н а К о р е ц к о г о

Ч А С Т Ъ П Е Р В А Я

П У Т Е В О Й Д Н Е В Н И К

На Луне, день...

Боже мой! Какую же дату мне поставить?! Этот чудовищный взрыв, которому приказали мы выбросить нас с Земли, разрушил то, что считалось там самым устойчивым из всего сущего, — он разрушил и разладил нам время. Это поистине ужасно! Подумать только, что здесь, где мы сейчас находимся, нет ни лет, ни месяцев, ни дней — наших кратких, прекрасных земных дней... Часы говорят мне, что прошло уже более сорока часов с тех пор, как мы упали на Луну; падали мы ночью, а Солнце все еще не взошло. Мы рассчитываем увидеть его только через двадцать с лишним часов. Оно взойдет и двинется по небу — лениво, в двадцать девять раз медленней, чем там, на Земле. Триста пятьдесят четыре часа будет сиять оно над нашими головами, а потом снова наступит ночь и продлится она триста пятьдесят четыре часа. После ночи снова день, такой же, как предыдущий, и вновь ночь, и снова день — и так без конца, без перемен, без времен года, без лет, без месяцев...

Если мы доживем...

Мы праздно сидим, запершись в своем снаряде, и ждем Солнца. О! Эта страшная тоска по Солнцу!

Ночь, правда, светлая, несравнимо светлее наших тамошних, земных ночей в полнолуние. Исполинский диск Земли неподвижно висит над нами на черном небе в зените и заливают белым сиянием ужасающую пустоту вокруг нас. В этом странном свете все так таинственно и мертво... И холодно... какой страшный холод!..

О'Теймор с момента катастрофы еще не приходил в се-

бя. Вудбелл, хоть и сам изранен, не покидает его ни на миг. Он опасается, что это сотрясение мозга, и не слишком нас обнадеживает. На Земле, говорит, я спас бы его. Но здесь, в этой омерзительной стуже, здесь, где чуть ли не единственная наша пища — это запасы искусственного белка и сахара, где нам приходится экономить воздух и воду... Это было бы ужасно! Потерять О'Теймора, именно его, кто был душой нашей экспедиции!

Я, Фарадоль и Марта, и даже Селена с ее щенятами — все мы здоровы. Марта словно ничего не видит и не слышит. Только следит взглядом за Вудбеллом — беспокоится за его раны. Счастливец Томас! Как любит его эта женщина!

Ах, этот холод! Кажется, что замкнутый снаряд наш вместе с нами превращается в глыбу льда. Перо выскальзывает из моих оковевших пальцев. Когда же наконец взойдет Солнце!

Той же ночью, через 27 часов

О'Теймору все хуже, нельзя больше обманываться — это уже агония. Томас, ухаживая за ним, позабыл о своих ранах и теперь сам до того ослабел, что пришлось ему лечь. Марта сменила его у постели больного. Откуда у этой женщины берется столько сил? Едва опомнившись от удара при падении, она оказалась самой деятельной из всех нас. По-моему, она с тех пор еще не спала.

Этот холод...

Фарадоль сидит вялый и молчаливый. На коленях у него клубком свернулась Селена. Он говорит, что так им обоим теплее. Щенят мы положили в постель, рядом с Томасом.

Я пытался заснуть, но не могу. Холод мне спать не дает и это призрачное сияние Земли над нами. Теперь уж видна лишь половина ее диска. Это означает, что вскоре взойдет Солнце. Мы не можем точно вычислить когда, ибо не знаем, в какой точке лунной поверхности находимся. О'Теймор легко рассчитал бы все по расположению звезд, но он лежит без сознания. Придется Фарадолю вместо него взяться за работу. Не знаю, почему он медлит.

По расчетам, мы должны были упасть в Центральном Заливе, но бог один ведает, где мы находимся на самом деле. Над Центральным Заливом в эту пору уже светило бы Солнце. Видимо, мы упали дальше к «востоку» — как зовут на Земле ту сторону Луны, где для нас будет заходить Солнце; но не очень далеко от центра лунного диска, ибо Земля стоит над нами почти в зените.

Столько новых странных впечатлений обрушивается на меня отовсюду, что я не могу ни собрать, ни связать их. Прежде всего — это удивительное, прямо-таки пугающее ощущение легкости... Мы знали и раньше, что Луна, будучи в сорок девять раз меньше и в восемьдесят один раз легче Земли, станет притягивать нас вшестеро слабей, хоть мы и находимся ближе к ее центру тяжести; но одно дело — знать о чем-либо, а совсем другое — самому это почувствовать. Мы уже около семидесяти часов на Луне, а все еще не можем к этому привыкнуть. Не можем приновить усилия мускулов к уменьшенному весу предметов, и даже к собственному весу! Стоит только быстро подняться с сиденья — и взлетаешь вверх почти на метр, хотя собирался всего лишь встать. Фарадоль хотел было согнуть крюк из толстой проволоки, прикрепленной к стене. Ухватился рукой за проволоку — и взлетел вверх, на одной руке! Позабыл, что весит теперь всего лишь тринадцать килограммов вместо семидесяти с чем-то! То и дело кто-то из нас внезапно сбрасывает какую-нибудь вещь, хотя собирался только передвинуть ее. Вбить гвоздь стало почти невозможно, потому что молоток, весивший на Земле два фунта, здесь весит от силы сто семьдесят граммов. Перо, которым я пишу, почти не ощущается в руке.

Марта сказала, что чувствует себя так, словно уже превратилась в призрак, лишенный тела. Это очень удачное определение. Действительно, от этого ощущения странной легкости становится как-то не по себе... Можно и вправду поверить, что ты уже в мире духов, особенно если глянешь на Землю, что сияет на небе, словно месяц, — только в четырнадцать раз больше и ярче того, который озаряет земные ночи. Я знаю, что это явь, но все мне кажется, будто я сплю или в зале оперы смотрю какую-то странную феерию. Вот-вот, думаю, опустится занавес и эти декорации свернутся, как сон...

Ведь и об этом знали мы прекрасно до отправления в путь — что Земля вот так будет гореть над нами, словно гигантская лампа, неподвижно подвешенная к небу. Я все время твержу себе, что это ведь так просто: Луна совершает свой путь, обратясь к Земле одной и той же стороной, а значит, Земля должна казаться неподвижной для тех, кто смотрит на нее с Луны. Да, это естественно, а все же страшит меня этот светящийся стеклянистый призрак Земли, уже семьдесят часов неподвижно и упорно глядящий на нас с высоты зенита!

Я вижу Землю сквозь окошко в обращенной кверху стенке снаряда и невооруженным глазом различаю темно-

ватые пятна морей и сверкающие щиты материков. Нето-ропливо проплывают передо мной, поочередно возникая из тени, Азия, Европа, Америка, соскальзывают на край светозарного шара и уходят, чтобы снова появиться через двадцать четыре часа.

И кажется мне, что вся Земля превратилась в безжалостно и зорко раскрытый глаз и с изумлением неотрывно глядит на нас, которые покинули ее в телесной своей оболочке, — впервые из всех ее детей.

Мы увидели ее над собой тут же после падения, едва несколько опомнились и отвинтили железные крышки, защищавшие иллюминаторы нашего снаряда. Она была почти полной. Тогда она походила на глаз, широко раскрытый от изумления; теперь на этот страшный неподвижный зрачок медленно надвигается веко тени. В тот миг, когда Солнце, которому не предшествует рассвет, вспыхнет над скалами, словно пламенный шар без лучей на черном небе, этот глаз уже наполовину прищурится; а когда Солнце встанет над нами в зените, он сомкнется совсем.

Тремя часами позже

Меня позвали к О'Теймору, и я прервал эти записи, которыми заполняю долгие часы вынужденной бездеятельности.

Такой ужасающей крайности мы никогда не принимали в расчет — что нам придется остаться одним, без него. Мы были готовы к смерти, но к собственной смерти, а никак не его! А тут — нет спасенья... Томас тоже лежит в горячке и, вместо того чтобы ухаживать за О'Теймором, сам нуждается в уходе. Марта ни на миг не покидает больных, от одного переходит к другому, а мы с Педро беспомощны и не знаем, как быть.

К О'Теймору не вернулось сознание и уже не вернется. Шестьдесят с лишком лет прожил он на Земле, чтобы тут...

Нет, нет! Не могу я выговорить этого слова! Это ужасно! Он! В самом начале!..

Мы так чудовищно одиноки здесь, в этой долгой, страшным холодом пронизывающей ночи.

Часа два назад Марта, словно охваченная внезапно этим ощущением безбрежной пустоты и одиночества, бросилась к нам, умоляюще сложив руки, крикнула:

— На Землю! На Землю! — И расплакалась.

А потом она вновь закричала:

— Почему вы не телеграфируете на Землю! Почему не сообщаете туда! Смотрите: Томас болен!

Бедная девушка! Что же могли мы ей ответить?

Она знает не хуже нас, что еще за сто двадцать с чем-то миллионов метров до Луны аппарат наш перестал действовать... Наконец Педро напомнил ей об этом, но она, будто веря, что передача известия спасет больных, принялась настаивать, чтобы мы использовали пушку, которую взяли с Земли на случай, если испортится телеграфный аппарат.

Этот выстрел — теперь уже одно-единственное средство связи с теми, кто остался там...

Мы с Фараделем уступили ей — и отважились выйти из снаряда.

Признаюсь, меня страх охватывал при одной мысли об этом. Там, за охраняющими нас стенами, действительно почти полная пустота. Ведь по свидетельству барометра плотность атмосферы здесь не достигает и одной трехсотой плотности земного воздуха. Наличие атмосферы, пусть даже такой разреженной, — обстоятельство чрезвычайно для нас благоприятное, ибо позволяет надеяться, что на той стороне Луны мы найдем атмосферу, достаточно плотную для дыхания. С каким сердечным трепетом мы несколько десятков часов назад впервые выдвигали барометр наружу! Сначала ртутный столбик упал так стремительно, что нам показалось, будто он совершенно сравнялся с нижней чертой. Чудовищный ледяной страх сдавил нам горло: ведь это означало бы абсолютную пустоту, неизбежную смерть! Но мгновение спустя ртуть, вернувшись к равновесию, поднялась в трубке на 2,3 миллиметра! Мы вздохнули свободней — хотя тем наружным воздухом дышать все равно нельзя.

И теперь нам предстояло выйти в эту пустоту! Надев свои гермокостюмы и прикрепив за плечами резервуары с запасами сжатого воздуха, мы стояли наготове в тамбуре у выхода. Марта плотно закрыла за нами внутреннюю дверь, чтобы не ушел из снаряда столь драгоценный для нас воздух, — и тогда мы открыли наружную крышку люка...

Мы коснулись подошвами лунной почвы, и мгновенно охватила нас ужасающая тишина. Сквозь стеклянную маску на лице я увидел, как Педро шевелит губами, я понимал, что он ко мне обращается, но ни слова не слышал. Воздух здесь слишком разрежен и не может проводить человеческий голос.

Я поднял обломок камня и бросил его под ноги. Он упал медленно — медленней, чем на Земле, и совершенно беззвучно. Я пошатнулся, как пьяный; казалось мне, что я уж и вправду нахожусь в мире призраков.

Нам приходилось объясняться жестами. Земля, которая

нас вскормила, теперь своим сиянием помогала нам понять друг друга.

Мы извлекли из наружной ниши в стене пушку и банку со взрывчатым материалом, специально для нее приготовленным. Работа эта далась нам легко — ведь пушка весит здесь только одну шестую того, что весила на Земле!

Теперь оставалось лишь, нацелив пушку точно в зенит, зарядить ее и вложить записку в выдолбленное ядро; на Луне все весит так мало, что силы взрыва вполне хватит, чтобы доставить ядро по прямой линии на Землю. Но этого мы уже не могли сделать. Чудовищный, отвратительный, ужасающий мороз железными когтями сдавил нам грудь. Ведь тут уже триста с лишним часов не светило Солнце, а атмосфера слишком разрежена, чтобы так долго удерживать тепло камней, раскаляющихся за долгий лунный день...

Мы вернулись в снаряж, который показался нам блаженным теплым раем, хоть мы так экономим топливо.

До восхода Солнца, которое согреет этот мир, немисливо повторять попытку выйти. А этого Солнца все нет как нет!

Когда же оно наконец появится и что нам принесет?

70 часов 46 минут по прибытии на Луну

О'Теймор умер.

Первый лунный день, 3 часа после восхода Солнца

Нас уже только четверо. Сейчас двинемся в путь. Все готово: к снаряду нашему приделали колеса, поставили на него мотор, и теперь он превратился в машину, которая повезет нас через пустыню туда, где можно будет жить...

О'Теймор останется здесь...

Мы покинули Землю, но смерть, великая владычица земных племен, вместе с нами пролетела сквозь космические просторы и вот напомнила сразу же, вначале, что она здесь, рядом — безжалостная и победоносная, как всегда. Мы ощутили ее присутствие, и близость, и всемогущество так живо, как никогда не ощущали там, на Земле. Невольно смотрим друг на друга — чья теперь очередь?

Была еще ночь, когда Селена вдруг сорвалась с места, выбежала из угла, где, свернувшись клубком, лежала последние два часа, и, вытянув морду к светящемуся в окне полумесяцу Земли, жутко завывала. Мы все вскочили, будто подброшенные какой-то внутренней силой.

— Смерть идет! — вскрикнула Марта.

А Вудбелл, который, почувствовав себя лучше, снова дежурил у постели О'Теймора, медленно повернулся к нам.

— Уже пришла, — сказал он.

Мы вынесли труп из снаряда. В этой скалистой почве невозможно выкопать могилу. Луна не хочет принимать наших мертвецов — как же примет она нас, живых?

Положили мы О'Теймора навзничь на этих суровых лунных скалах, лицом к небу и к сияющей на нем Земле и начали собирать рассыпанные кое-где на равнине камни, чтобы из них сложить могилу. Обнесли труп невысоким валом, но не нашли подходящей по размеру каменной плиты, чтобы прикрыть его сверху. Тогда Педро сказал в трубку, которая соединяла наши шлемы и давала возможность переговариваться:

— Оставим его так... Разве ты не видишь, что он смотрит на Землю?

Я взглянул на мертвеца. Он лежал на спине и, казалось, вправду всматривался раскрытыми остекленевшими глазами в око Земли, которое все сильнее жмурилось от блеска еще не видимого нам Солнца.

Пусть так и останется...

Из двух стальных брусьев, обломков раздробленной рамы амортизатора, который спас нас от гибели при падении, мы сделали крест и укрепили его на каменном валу над головой О'Теймора.

И тут — как раз когда мы, завершив свое печальное дело, собрались возвращаться — произошло нечто удивительное. Вершины гор, маячившие перед нами в мертвенном свете Земли, внезапно, без всякого перехода, на мгновение стали кроваво-красными и сразу же вслед за тем запылали слепяще-белым пламенем на фоне все еще черного неба. Подножия гор, теперь совсем черные от светового контраста, были почти невидимы, и лишь эти вершины, все словно из стали, добела раскаленной в огне, висели над нами в вышине, медленно, но непрерывно вырастая. Из-за отсутствия атмосферы тут не было перспективы, которая на Земле позволяет оценить расстояние, и эти сверкающие пятна на фоне черного неба среди звезд будто висели прямо над нашими головами, оторвавшись от каменного основания, тонущего в сумраке. Мы руку боялись протянуть, чтобы не уткнуться пальцами в эти куски живого пламени.

А они все разрастались на наших глазах, казалось, что они медленно и неумолимо приближаются к нам; мы уже только их и видели, они словно были совсем близко, прямо

перед нами... Мы невольно попятились, забыв, что до вершин этих сотни, а может, и тысячи метров.

Потом Педро обернулся и вскрикнул. Я тоже обернулся — и остоленел, пораженный новым, невиданным зрелищем на востоке.

Над черными зубцами горного хребта стоял тусклый серебристый столб зодиакального света. Мы глядели на него, позабыв на миг об умершем, и вдруг, немного спустя, у подножия этого светового столба, над самым краем горизонта, начали вспыхивать подвижные, пляшущие красные огоньки, образуя венец.

Это всходило Солнце! Долгожданное, желанное, животворное Солнце, которого О'Теймор здесь уже не увидит!

Мы оба расплакались, как дети.

Сейчас Солнце сияет уже над чертой горизонта, яркое и белое. Красные огоньки, что засверкали первыми, были протуберанцами — гигантскими выбросами пылающих газов, которые летят из Солнца во все стороны. На Земле они меркнут от света, рассеянного в атмосфере, и бывают видны лишь во время полного солнечного затмения. Здесь же, где нет воздуха, они возвестили нам появление солнечного диска и долго еще будут каждый раз его возвещать, бросая кровавый отблеск на горы, прежде чем те раскалятся добела в полном свете дня.

Лишь минут через двадцать, когда свет уже спустился с горных вершин к нам в долину, мы вместо колеблющегося венца красных огоньков увидели над горизонтом белую кайму солнечного диска: целый час потребовался на то, чтобы этот диск целиком вынырнул из-за скалистых зубцов на востоке.

Все это время мы, несмотря на ужасающий мороз, занимались подготовкой к путешествию. Но действительно дорога каждая минута, больше медлить невозможно. Теперь уже все готово.

После восхода Солнца стало теплей. Лучи его, хоть и ложатся еще очень косо, греют в полную силу, не ослабленные, как на Земле, поглощающей атмосферой.

Странное зрелище...

Солнце сияет, как яркий шар без лучей, лежащий на горах, словно на гигантской черной подушке. Лишь два цвета, невыразимо терзающие взгляд своей контрастностью, существуют здесь: белый и черный. Небо черное и, хотя день уже наступил, усеяно бесчисленным множеством звезд; ландшафт вокруг пустынный, дикий, устрашающий — без смягченного света, без полутеней, слепяще-белый под лучами Солнца, непроглядно черный в тени. Здесь нет атмосферы, которая там, на Земле, придает небу

этот чудесный голубой цвет, а сама, пропитанная светом, растворяет в себе звезды перед восходом Солнца и рождает рассветы и сумерки, розовеет зорями и хмурится тучами, опоясывается радугой и творит нежные переходы от света к тьме.

Нет! Глаза наши определенно не созданы для этого света и этого пейзажа!

Мы находимся на обширной равнине с монолитной каменной поверхностью, кое-где изрезанной небольшими расселинами и вздымающейся невысокими, пологими и продолговатыми холмами, которые тянутся в северо-западном направлении. На западе (восток и запад этого мира я обозначаю в соответствии с истинным положением дел, то есть противоположно тому, что мы видим на земных картах Луны) — итак, на западе виднеются невысокие, но чрезвычайно крутые взгорья, над которыми господствуют уходящие в небо неровные зубцы какой-то вершины. На севере равнина поднимается плавно, однако же, кажется, на значительную высоту. На востоке множество расселин, возвышений, разломов и маленьких котловин, похожих на искусственно сделанные выемки; к югу простирается необозримая равнина.

Фарадолъ считает на основании наспех проделанных измерений высоты Земли на небе, что мы действительно находимся в Центральном Заливе, куда и должны были упасть по расчетам. Мне в это не очень верится, ибо вершины, окаймляющие долину Центрального Залива с запада и с севера, известные по лунным картам — Мёстинг, Зоммеринг, Шрётер, Боде и Паллас, ни по размещению, ни по высоте не соответствуют тому, что мы видим здесь. Но, в конце концов, не все ли равно! Мы отправимся на запад, чтобы, двигаясь вдоль экватора, где, судя по картам, грунт наиболее ровный, обогнуть лунный шар и попасть на т у с т о р о н у.

Минуту спустя ничего тут от нас не останется, кроме гроба да креста, на веки веков обозначившего место, где первые люди ступили на Луну.

Прощай же, могила товарища, первое сооружение, которое мы воздвигли в этом новом мире! Прощай, мертвый друг, дорогой и недобрый отец наш, который увел нас с Земли и покинул у входа в новую жизнь! Этот крест, водруженный на твоей могиле, словно знамя, свидетельствующее о том, что победоносная Смерть, прибыв сюда вместе с нами, уже причислила этот край к своим владениям... Мы бежим от нее, а ты спокойней нас, ты остаешься тут с ней, любуясь Землей, которая тебя родила, с крестом над головой, которому ты свято верил!

*Первый лунный день, 197 часов
после восхода Солнца, Море До-
ждей, 11° западной лунной дол-
готы, 17°21' северной широты*

Наконец удалось мне собраться с мыслями. Что за ужасный, безжалостно долгий день, что за жестокое Солнце, чуть не двести часов пышущее пламенем с этого бездонного черного неба! Двадцать часов прошло после полудня, а оно стоит почти еще отвесно над нашими головами, среди непригасших звезд, рядом с черным кругом Земли в новоземлии, который окаймлен пламенным кольцом светящейся атмосферы. Какое странное небо над нами! Все вокруг нас изменилось, и лишь созвездия те же, на которые мы смотрели с Земли, но тут, где взгляду не мешает воздух, звезд этих можно увидеть несравненно больше. Весь небосвод усыпан ими, словно песком. Двойные звезды сверкают, будто разноцветные точки, зеленые, красные или синие, не сливаясь в белый цвет, как на Земле. Притом здешнее небо, лишенное цветного воздушного фона, не кажется гладким полым куполом; нет, чувствуется его безмерная глубина, и не нужны вычисления, чтобы определить, какая звезда ближе, а какая дальше. Глядя на Большую Медведицу, я чувствую, в какую громадную даль отодвинуты некоторые ее звезды по сравнению с другими, более близкими, а на Земле все они выглядели, как семь гвоздей, вбитых в гладкий свод. Млечный Путь здесь не полоса, а огромная толстая змея, ползущая по черным безднам. Мне кажется, будто я смотрю на небо сквозь какой-то волшебный стереоскоп.

А самое странное — это Солнце среди звезд, пламенное, страшное, но не затмевающее ни одного, даже самого убогого небесного огонька...

Зной ужасный; кажется, скалы вскоре начнут таять и растекаться, словно лед на наших реках в погожие мартовские дни. Столько часов тосковали мы по свету и теплу, а теперь пришлось прятаться от Солнца, чтобы не погибнуть. Мы уже часов пятнадцать стоим на дне глубокой расщелины, тянущейся от крутых обрывов Эратосфена вдоль Апеннин в просторы Моря Дождей. Только здесь, в тысяче метров под лунной поверхностью, нашли мы тень и прохладу...

Укрывшись тут, мы спали, парализованные усталостью, часов двенадцать без перерыва. Приснилось мне, что я еще на Земле, в какой-то зеленой прохладной роще, где журчит по свежей траве разлившийся кристально чистый ручей. По

голубому небу плывут белые облака, я слышу пение птиц, и жужжание насекомых, и голоса людей, работающих на поле.

Пробудил меня лай Селены, требовавшей пищи.

Я открыл глаза, но, весь еще во власти снов, долго не мог понять, где я и что со мной творится, что означает эта замкнутая машина, в которой мы лежим, и эти скалы вокруг, пустынные и дикие. Наконец я понял все, и невыразимая тоска стеснила мне грудь. Селена тем временем, увидев, что я уже проснулся, подошла ко мне и, положив морду на колени, начала вглядываться в меня своими умными глазами. Показалось мне, что я вижу в этом взгляде какой-то немой укор... Я молча погладил ее по голове, а она жалобно заскулила, озираясь на щенят, весело игравших в углу. Эти щенята, Заграй и Леда, — единственные существа, которым тут весело.

Ах, правда! Иногда еще и Марта бывает веселой, как маленький зверек, но лишь в те минуты, когда Вудбелл, все еще прихварывающий, протягивает руку, чтобы коснуться ее необычайно густых и пышных темно-каштановых волос. Тогда ее смуглое лицо светлеет от улыбки, а большие черные глаза, сияющие безграничной любовью, неотступно глядят на лицо любимого, еще недавно такое мужественное и красивое, а теперь изнуренное, изглоданное лихорадкой. Марта делает все, чтобы развеселить его, чтобы каждым движением, каждым взглядом сказать ему, что она его любит и счастлива с ним даже здесь, где так трудно быть счастливой. Не могу сдержать мучительной зависти, когда вижу, как она своими полными вишневыми губами, такими страстными, касается его исхудалых рук, шеи, лица, как целует веки холодных стальных глаз, а потом, охватив его голову ладонями, прижимает ее, словно малого ребенка, к груди и поет ему странные, непонятные для нас песни. Он слышал эти песни, наверное, из этих же так горячо целующих его уст в родном ее краю, на Малабарском побережье, и сейчас под их звуки ему грезится, должно быть, колыхание пальм и шум лазурного моря... Эта женщина тайком принесла сюда для него в душе своей весь тот мир, что для нас исчез безвозвратно.

Не забыть мне дня, когда я впервые увидел ее. Было это сразу после того, как мы получили известие об отказе Брауна. Сидели мы все четверо в Марселе, в гостиничном номере, окна которого выходили на залив, и говорили об этом отступничестве товарища, которое всех нас очень чувствительно задело.

В это время нам доложили, что какая-то женщина хочет

немедленно увидиться с нами. Мы еще колебались, принять ли ее, когда она вошла сама. Одетая она была так, как одеваются в Южной Индии дочери местных богачей; лицо ее, на редкость красивое, выражало и робость, и решимость. Мы все удивленно вскочили, а Томас побледнел и, перегнувшись через стол, пристально глядел на нее. Она остановилась у порога, поникнув головой.

— Марта! Ты здесь? — крикнул наконец Вудбелл.

Она шагнула вперед и подняла голову. На лице ее не было уже тени колебаний и сомнений, оно все пылало подлинно южной страстной любовью. Веки тяжело опустились на пламенные черные глаза, полураскрытый рот, округлый подбородок выдвинулись вперед. Она протянула руки к Томасу и ответила, глядя ему в глаза из-под полуприкрытых век:

— Я пришла вслед за тобой и пойду с тобой хоть на Луну!

Вудбелл был бледен как труп. Он схватился руками за голову и скорее простонал, чем крикнул:

— Это невозможно!

Тогда она обвела нас взглядом и, догадавшись, видно, по возрасту, что О'Теймор — наш руководитель, бросилась ему в ноги так быстро, что он не успел отступить.

— Господин! — молила она, цепляясь за его одежду. — Господин, возьмите меня с собой! Я возлюбленная вашего друга, я люблю его, я все для него бросила, так пускай он теперь не бросает меня. Я узнала, что вам недостает товарища, и приехала прямо из Индии! Возьмите меня! Я вам хлопот не доставлю, я служанкой вашей буду! Я богата, очень богата, я дам вам золота и жемчуга сколько захотите, — отец мой был раджей в Траванкоре на Малабарском побережье и великие сокровища оставил мне! И я очень сильная, смотрите!

Говоря это, она протягивала к нам нагие смуглые округленные руки.

Фарадоль возмутился:

— Но ведь к такому путешествию надо подготовиться! Это вам не прогулка на пароходе из Траванжора в Марсель!

В ответ она рассказала, как втайне от Томаса проделывала те же упражнения, которые делали мы, все время надеясь, что в последнюю минуту ей удастся умолить нас и мы возьмем ее с собой. Теперь она лишь пользуется случаем, чтобы осуществить давно принятое решение. Она знает от Томаса, что там, на Луне, можно встре-

тить смерть, но она не хочет жить без него! И опять она молила нас.

Тогда О'Теймор, все время молчавший, обратился к Томасу с вопросом, хочет ли он взять ее с собой, а когда Вудбелл, не в силах вымолвить ни слова, кивнул, О'Теймор положил руку на пышные волосы девушки и произнес, медленно и торжественно:

— Пойдешь с нами, дочка. Может быть, бог избрал тебя Евой нового поколения — лишь бы оно было счастливей, чем земное!

Так живо стоит в памяти у меня эта сцена...

Но Марта зовет меня. У Томаса снова горячка, надо дать ему лекарство.

Двумя часами позже

Зной не слабеет, а все усиливается. Мы продвинулись еще глубже, чтобы от него укрыться. Пока жара не спадет, нечего и думать о дальнейшем пути. Ужас меня охватывает, как вспомню, что мы должны проделать почти три тысячи километров, прежде чем достигнем цели... А кто поручится, что там можно будет жить?.. Один О'Теймор не сомневался в этом, но его уже нет среди нас.

Путемер в нашей машине показывает, что мы прошли уже сто шестьдесят семь километров; если посчитать время, то выходит по одному километру в час. А мы ведь продвигались сравнительно быстро.

Мы двинулись в путь через четыре часа после восхода Солнца, направляясь прямо на запад. Полагая, что находимся в Центральном Заливе, мы хотели выбраться на равнину между горами Зоммеринг и Шрётер, а оттуда, обойдя Зоммеринг с севера и запада, приблизиться к экватору и продвигаться вдоль него прямоком в направлении кольцевой горы Гамбарт и более высокой Ландсберг, лежавшей дальше на запад по экватору.

Почва была на редкость ровная, почти без расщелин, поэтому машина шла быстро. Надежда и воодушевление возродились в наших сердцах, было нам тепло и легко, только воспоминание об О'Тейморе временами омрачало нашу радость. Томасу стало лучше, и Марта, видя это, сияла от радости. Вновь начали мы строить блестящие планы. Путь казался нам не очень дальним, труды не слишком тягостными. Мы восхищались невообразимо диким, великолепным в своей мертвенности пейзажем или же, развернув карту, пытались предугадать, какие фантастические картины нас ожидают. Фарадолль снова начал пере-

бирать все расчеты и аргументы О'Теймора, по которым обратная сторона Луны наверняка пригодна для жизни, а уж занимательна и великолепна — сверх всяких мер. И правда, говорили мы себе, если там сверкают на Солнце такие же горы, как здесь, а вдобавок есть зелень и вода, то, воистину, стоит преодолеть триста восемьдесят четыре тысячи километров, чтобы повидать этот край! Мы оживленно переговаривались, а Томас и Марта, прижавшись, как обычно, друг к другу, строили радужные планы будущей своей жизни в том раю. Даже Селена, заслышав бодрые голоса, принялась радостно лаять и носиться по машине вместе с развеселившимися щенками.

Так прошло три часа, и мы проделали около тридцати километров, когда Фарадолъ, заступивший на вахту у руля, вдруг остановил машину. Перед нами с юга на северо-запад протянулся невысокий округлый скалистый вал. Его легко было преодолеть, но следовало точно определить направление, в котором нам надлежит продвигаться. В северо-западной стороне вздымались какие-то изломанные, недостигаемо высокие пики, которые мы сочли зубцами кратера Зоммеринг. Правда, этот кратер, как называют здешние кольцевые горы земные астрономы, поднимается всего лишь на 1400 метров над окружающей равниной, а пики казались несравненно более высокими, но мы приписывали это легко объяснимой оптической иллюзии. Впрочем, можно было также предположить, что мы упали в юго-западной части Центрального Залива, на равнине, открывающейся к широкому полукругу цирка Фламариона, и, значит, справа от нас находится кратер Местинг, достигающий изрядной высоты — 2300 метров. Во всяком случае, надлежало обойти эту гору с севера, чтобы не менять первоначального плана. Вудбелл советовал еще раз произвести астрономические измерения, чтобы определить, где мы находимся, но мы не хотели сейчас терять времени и отложили эту работу на более жаркую пору, когда все равно придется остановиться из-за слишком сильного зноя.

Итак, мы направили машину прямо на север. Дорога становилась все более трудной. Местность медленно поднималась; то и дело натыкались мы на расщелины, которые приходилось объезжать, либо на обширные площади монолитной скальной породы вроде гнейса, сплошь усеянные обломками. Мы продвигались с большим трудом и все медленней. В нескольких местах пришлось выходить из машины, надев гермокостюмы, и прокладывать дорогу, отбрасывая нагроможденные обломки. В такие минуты мы благоговяли малую силу тяжести на Луне — ведь нам легко

было передвигать и перебрасывать даже большие глыбы. Поначалу нам эта работа даже нравилась. Ворочая огромные глыбы, любой из нас со стороны казался богатырем. Даже Марта помогала нам. Один Томас оставался в машине у руля — он был слишком слаб. Боль в ранах утихла, но лихорадка то и дело возвращалась.

Так двигались мы примерно километров десять от того места, где повернули на север. Слева все время тянулись невысокие, но чрезвычайно крутые предгорья, за которыми вздымались гигантские, невероятно отвесные пики. Местность перед нами постепенно поднималась, образуя гигантский вал; из-за него торчал одинокий острый пик. Направо, к востоку, тянулась цепь все более высоких гор.

Прошло уже двадцать четыре часа после восхода Солнца, когда мы выбрались на гладкое плато из скального монолита, где можно было продвигаться быстрее. Тут мы решили остановиться на отдых. Да и странный рельеф местности все более тревожил нас.

Мы уже были почти уверены, что находимся не в Центральном Заливе, а в каком-то другом районе Луны. Следовало наконец произвести точные измерения, чтобы определить лунную долготу и широту нашего местонахождения.

Наскоро перекусив, мы сразу же принялись за работу. Педро установил астрономические приборы. Центр земного диска был отклонен от зенита на шесть градусов к востоку и на два градуса к северу, следовательно, мы находились под 6° западной долготы и 2° южной лунной широты, иными словами, на краю Центрального Залива, рядом с кратером Мёстинг. В этом не приходилось сомневаться, измерения были очень точны. Поэтому мы решили продвигаться дальше в том же направлении.

Только собрались мы продолжать путь, как Фарадоль воскликнул:

— А наша пушка! Мы забыли пушку!

И точно, мы лишь сейчас вспомнили, что наша пушка, единственное и последнее средство связи с Землей, осталась вместе с зарядом и ядром у могилы О'Теймора. Отправляясь в дорогу, мы были так ошеломлены смертью О'Теймора и похоронами, что забыли взять с собой столь ценную для нас пушку. Это была невосполнимая потеря, тем более мучительная, что после обрыва телеграфной связи возможность послать снаряд с известием была последней нитью, соединяющей нас с Землей. Мы вдруг ощутили себя безмерно одинокими, будто в этот миг оказались еще дальше от

планеты, которую и так уже отделяют от нас сотни тысяч километров.

Первой нашей мыслью было вернуться и забрать оставленную пушку. Особенно настаивал на этом Вудбелл, который считал необходимым связаться с Землей, чтобы там приостановили дальнейшие намеченные экспедиции, пока мы не дадим знать, что нашли здесь условия для жизни.

— Если нам суждено погибнуть, — говорил он, — зачем же гибнуть еще и другим... Вы ведь знаете, что братья Ремонье уже готовы отправиться. Они ждут от нас телеграфного известия, но наш аппарат не действует. Нужно их задержать, хотя бы на время.

Однако вернуться было нелегко. Прежде всего потому, что перед нами лежал бесконечно долгий путь и дорог был каждый час: ведь если задержки будут повторяться, то запасы продовольствия и воздуха могут кончиться, а тогда мы будем обречены на неизбежную гибель. И так уже из-за болезни О'Теймора нам пришлось основательно задержаться, а мы знали, что мороз или зной еще неоднократно принудят нас останавливаться на десятки часов. А кроме того, кто поручится, что мы снова попадем на то место, где оставлена пушка?

Фарадоль пытался избавить Томаса от угрызений совести.

— Ведь братья Ремонье, — говорил он, — не отправятся в путь, пока не получат от нас известия. И вообще, почему знать, куда упадет на Земле ядро с посланием, может, в такое место, где его никто не найдет.

Припомнили мы и то обстоятельство, что пушкой, рассчитанной только на вертикальный выстрел, мы можем пользоваться лишь поблизости от центра лунного диска, где Земля будет находиться над нами в зените. Для параболического выстрела из другого района Луны не хватит силы заряда, да если б и хватило, то мы не смогли бы установить пушку столь точно, чтобы быть уверенными, что снаряд, летя по кривой, не минует своей цели — Земли. Так что, приостановив первым выстрелом последующие экспедиции, мы уже не могли бы потом, отыскав подходящие условия для жизни где-то на краю видимого с Земли лунного диска, повторным выстрелом призвать к себе новых товарищей. Таким образом, мы были бы обречены здесь на пожизненное одиночество. Теперь же, если случится так, что братья Ремонье все же придут, у них, возможно, окажется более мощный телеграфный аппарат, и тогда мы приоб-

ретеи и товарищей, и средство постоянной связи с жителями Земли.

Из этих соображений следовало, что не стоит тратить время на поиски орудия, по существу почти бесполезного для нас. Поэтому после краткой задержки мы продолжили свой путь.

Снова прошло двадцать четыре часа, и за нами было уже около ста тридцати километров пути. Солнце стояло в 28° над горизонтом, и жара все нарастала. При этом мы заметили любопытное явление. Стенка машины, освещенная Солнцем, раскалилась так, что едва не обжигала, а теневая сторона ее была холодна как лед. И мы ощущали холод всякий раз, как попадали в тень какого-нибудь скального карниза, которые встречались нам все чаще. Эти резкие перепады жары и холода вызваны здесь отсутствием атмосферы, которая на Земле, правда, уменьшает прямую силу солнечных лучей, но зато, прогреваясь сама, распределяет тепло равномерно и препятствует слишком быстрой его потере через лучеиспускание.

По той же причине любая тень здесь — это ночь. Свет не рассеивается в атмосфере и достигает лишь тех мест, которые открыты действию солнечных лучей. Если б не отражение от освещенных Солнцем гор да не свет Земли, то, попадая в тень, мы вынуждены были бы включать электрические фонари.

Мы уже преодолели наклонную равнину и начали поворачивать к западу, чтобы обойти предполагаемый кратер Мёстинг. Дорога становилась все хуже, и мы продвигались вперед очень медленно и с большим трудом.

Мы находились в краях гористых и несказанно диких с виду. Это ничуть не походило на земные альпийские пейзажи. Там среди горных хребтов простираются долины, продолбленные на протяжении тысячелетий воздействием воды; здесь ничего подобного и в помине нет. Почва тут вся складчатая и вздыбленная; повсюду множество глубоких круглых котловин с приподнятыми краями и отдельно разбросанных гладких куполообразных холмов, которые достигают порой значительной высоты. Вместо долин — глубокие расщелины, длиной в целые мили; они будто возникли от удара гигантского топора, который по прямой линии рассек плоскогорья и вершины. Нет никаких сомнений, что эти трещины возникли, когда застывала и сжималась кора Луны.

Зато мы нигде не встретили следов воздействия воды, не наблюдали столь могущественной на Земле эрозии. Я думаю, что в этих краях никогда не было ни воздуха, ни

воды. Поэтому мы сначала удивлялись, видя множество обломков, рассыпанных по скальному грунту. Но несколько позже, когда зной достиг прямо-таки границ невозможного, мы поняли, какая сила взамен воды разрушает здесь скалы. Мы проезжали мимо высокой скалы из породы, чрезвычайно походившей на земной мрамор, как вдруг на наших глазах от ее вершины оторвался обломок диаметром метров десять и рухнул в пропасть, разбиваясь в крупный щебень. Происходило все это пугающе беззвучно. Из-за отсутствия воздуха мы не слышали грохота — только почва под машиной задрожала, будто Луна вдруг закачалась на своих устоях.

Это яростные клыки Солнца отгрызли кусок каменного мира. Скалы, стиснутые ночью морозом, словно железным обручем, во время страшного дневного зноя расширяются с той стороны, где на них падают палящие лучи. В тени все так же холодно; из-за неравномерного расширения монолиты трескаются и крошатся.

Эти колющие остроугольные обломки, устилавшие огромные площади, давали себя знать. Попадались такие участки, где машина на колесах вообще не могла продвигаться. Тогда мы надевали на нее «лапы», которые действуют точь-в-точь как ноги у животных, и, покачиваясь на них, пробирались через нагромождения раздробленных скал или карабкались по крутым склонам.

Несмотря на многочисленные испытания, которые проводились на Земле со снарядам, превращенным в машину, мы не могли себе представить всех трудностей такого продолжительного путешествия. Я уверен, что если бы сила притяжения Луны, а следовательно, и тяжесть на этой планете была хоть наполовину больше, мы погибли бы среди этих нагроможденных скал и осипей, не будучи в силах сдвинуться с места.

С восхода Солнца прошли уже третьи земные сутки; за эти последние двадцать четыре часа мы продвинулись всего на двадцать километров. Жара становилась уже невыносимой. Задыхаясь в душном, раскаленном воздухе кабины, страдая от непрерывной тряски, Вудбелл снова залихорадил. Раны, полученные при нашем падении на лунную поверхность, вновь начали мучить его. Счастье, что хоть мы трое целы и невредимы! Дрожь ужаса пронизывает меня, как вспомню об этом чудовищном сотрясении!

Сначала, еще в пространстве, глухо взорвались мины, размещенные под дном снаряда, чтобы снизить скорость падения, потом одним нажатием кнопки была выдвинута стальная защитная рама и... Нет! Это невозможно описать!

Я только видел в последнюю минуту, как Марта, перегнувшись из своего гамака, прижалась губами к губам Томаса. О'Теймор воскликнул: «Вот мы и прибыли!» И... я потерял сознание.

Когда я открыл глаза, О'Теймор лежал окровавленный, Вудбелл тоже, Фарадоль и Марта были без чувств... Из обломков раздробленной рамы мы сделали потом крест на могиле О'Теймора...

Наши хронометры показывали девяносто восемь часов после восхода Солнца, когда мы, изнемогая от усталости и зноя, увидели наконец, что приближаемся к вершине возвышенности, на которую с таким трудом взбирались. За эти четверо земных суток, что составляет чуть больше четверти лунного «дня», мы спали мало, а потому решили остановиться на некоторое время для отдыха. Особенно Вудбелл нуждался в сне и покое.

Машину мы поставили в тень скалы, чтобы не изжариться заживо в нестерпимых лучах Солнца, и легли спать. Я проснулся через два часа, превосходно отдохнув. Остальные еще спали. Не желая их будить, я надел гермокостюм и вышел из машины, чтобы исследовать окрестность. Едва я выдвинулся из тени, как почувствовал, будто очутился внутри раскаленной домны. Уже не зной, а просто белый огонь лился с небес, почва обжигала ноги даже сквозь толстые подошвы защитной обуви. Мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не спрятаться в машину.

Мы находились в неглубокой горловине, разделяющей две куполообразные возвышенности; она заканчивалась чем-то вроде перевала между ними и дальше переходила — насколько можно было судить с того места, где я стоял, — в плоскогорье, тянувшееся за этими возвышенностями к западу. Эти куполообразные горки заслоняли мне вид также с севера и с юга. Только к востоку видна была дорога, которую мы уже прошли. Я смотрел на каменные просторы, сплошь состоящие из провалов, расщелин, котловин и торчащих скал, и прямо глазам своим не верил, что мы смогли пробраться через все это в своей тяжелой, громоздкой машине.

На Земле, при тяжести вшестеро большей, это было бы абсолютно невозможно.

Тут я почувствовал, что меня кто-то толкает. Я оглянулся: за мной стоял Фарадоль и делал отчаянные знаки. Хотя я и вышел из машины в гермокостюме, но не взял с собой переговорной трубки, так что мы не могли понять друг друга. Я только видел, что он бледен и чем-то необычайно

смущен. Подумав, что Томасу стало хуже, я бегом бросился к машине. Фарадолф последовал за мной.

Как только мы оказались в машине и сбросили гермокомстымы, Фарадолф сказал, наклоняясь ко мне:

— Не буди никого и слушай: произошло нечто ужасное, я ошибся.

— Что? — воскликнул я, еще не понимая, о чем он говорит.

— Мы упали не в Центральном Заливе.

— А где же мы тогда?

— Под Эратосфеном, на перемычке, соединяющей этот кратер с лунными Апеннингами.

У меня потемнело в глазах. По фотографиям лунной поверхности, сделанным с Земли, я знал, что горный хребет, на котором мы находимся, обрывается почти отвесно к лежащей на западе огромной равнине Моря Дождей.

— Как же мы спустимся отсюда? — с ужасом воскликнул я.

— Тише. Один бог знает. Моя вина. Мы упали в Заливе Зноя. Смотри...

Он придвинул ко мне карту и листки, исписанные рядами цифр.

— А ты все же не ошибаешься? — спросил я.

— К сожалению, на этот раз не ошибаюсь! Те измерения тоже были точными, только я забыл, что Земля тогда не могла находиться в зените над центром лунного диска. Ты же знаешь, что Луна, вращаясь вокруг своей оси, подвергается либрациям и поэтому Земля над ней не висит совершенно неподвижно в небе, а описывает небольшой эллипс. Так вот, я забыл ввести поправки на это отклонение ее от зенита и потому неправильно определил лунную долготу и широту той точки, где производил измерения. Теперь все мы рискуем заплатить за мою рассеянность жизнью!

— Успокойся! — сказал я, хотя сам весь дрожал. — Может, нам удастся спастись.

Затем мы вместе принялись за проверку расчетов. На этот раз никаких сомнений не было. После введения необходимой поправки оказалось, что мы упали в Заливе Зноя, под $7^{\circ}35'$ западной лунной долготы и $13^{\circ}8'$ северной широты. Все это время мы продвигались вдоль крутых предгорий у подножия гигантского Эратосфена, имея прямо перед собой небольшой, но чрезвычайно обрывистый безымянный кратер, который располагался уже в отрогах начинающихся здесь Апеннин. В данный момент мы находились под 11° западной лунной долготы и $15^{\circ}51'$ северной широты.

Мы отметили этот пункт на карте Луны. Согласно ей, перешеек возвышался на 962 метра над уровнем Моря Дождей.

Это удивительно, что земные астрономы за сотни тысяч километров легко могут вычислить высоту любой лунной горы, измеряя в телескопы длину отбрасываемой ею тени, а мы, находясь на этой горе, должны прибегать к помощи карты, составленной на Земле, чтобы узнать, какова ее высота. Отсутствие атмосферы — такой, которую можно было бы принимать в расчет, — делало невозможным барометрические измерения высоты. Перемена, которую мы заметили в барометре, сводилась к тому, что ртуть в трубке упала, почти сравнявшись с поверхностью жидкости в сосуде. На той высоте, где мы находились, была почти абсолютная пустота.

Томас и Марта вскоре проснулись. Нельзя было скрывать от них наше подлинное положение. Поэтому я сообщил им, со всевозможными предосторожностями, как обстоят дела. Это не произвело на них особо сильного впечатления. Томас только нахмурился и прикусил губу, а Марта, насколько я мог судить по ее поведению, не вполне понимала всего ужаса ситуации.

— Ну и что ж, — заявила она, — как поднялись, так и спустимся, а не то так вернемся обратно.

Как поднялись, так и спустимся! Боже мой! Да ведь это же чистейшая случайность, что мы попали на дорогу, которая нас сюда привела! А возвращаться... Потерять столько трудов и столько времени?

В конце концов мы решили выйти на этот перевал, чтобы посмотреть, не удастся ли с него спуститься на равнину Моря Дождей. Машина двинулась с места, и минут через пятнадцать мы оказались над пропастью.

Мы остолбенели от того зрелища, что внезапно открылось перед нами. Скала почти отвесно обрывалась у наших ног, а там внизу, тысячью метров ниже, простиралась необозримая равнина Моря Дождей с кое-где торчащими на ней пиками. Из-за отсутствия воздушной перспективы даже далекие горы четко проступали перед нашим взором, выделялись своей немыслимой, блистающей белизной на абсолютно черном фоне звездного неба. Вид был поистине волшебный; мы даже забыли на миг о своем ужасном положении.

На севере у горизонта возвышался над необъятной равниной, словно остров над морем, величественный кратер Тимохарис высотой в семь тысяч метров; он был удален от нас на четыреста километров.

На Земле горы, если смотреть на них издали, сквозь слой воздуха, кажутся синевато-голубыми; здесь эта вершина в свете Солнца походила на добела раскаленную сталь с широкими черными полосами теней и багрово блестящими прожилками более темных пород. Чуть западнее столь же отчетливо рисовались на небе зубчатые края еще более отдаленного кратера Ламберт. Прямо к западу на горизонте виднелось множество небольших бугров и скал, примыкавших к предгорьям гораздо более близкой к нам цепи лунных Карпат, которая ограничивала Море Дождей с юга.

За этой цепью поднимались вдаль, на юго-западе, опираясь на более низкие предгорья, невообразимо высокие крутые склоны Коперника, одной из величайших лунных гор. Я уже сказал, что Тимохарис сверкал, как раскаленная сталь, и не с чем мне сравнить слепящий свет, расходившийся на сотни километров от этого гигантского горного кольца диаметром в девяносто километров!

На северо-востоке над многочисленными возвышенностями безмерно далеко высились вершины широкого цирка Архимеда. Вид на восток и на юг замыкала с одной стороны недостижимая гряда лунных Апеннин, а с другой — обрывистые склоны Эратосфена; он соединялся с Апеннинскими перевалом, на котором мы и находились.

А в этом обрамлении — Море Дождей. Какой убийственной иронией прозвучало для нас это название, придуманное в давние годы земными астрономами! Пустыня, страшная, сухая, сумрачно-серая, изборожденная чудовищными трещинами, вспученная продолговатыми возвышенностями между величественным Тимохарисом на горизонте и Эратосфеном. Нигде ни следа жизни, ни травинки зелени! Лишь ослепительно сверкают кое-где у подножий огромных отдаленных кратеров желтые, красные и синевато-стальные прожилки каких-то пород, подобные ниткам драгоценных камней...

Мы молча глядели вперед, не зная, какую дорогу избрать. Оказавшись на Море Дождей, мы имели бы перед собой равнину, по которой можно быстро продвигаться; но в том-то и состояла вся трудность, что неизвестно было, как выбраться на равнину, как спуститься с этой тысячеметровой отвесной стены!

Коротко посоветовавшись, мы пешком отправились к югу, надеясь найти дорогу по склонам кратера Эратосфена. Мы шли по узкому карнизу между скалами и пропастью, открывающейся к Моря Дождей. В одном месте он совсем сузился, и мы решили было вернуться, усомнившись, что здесь сможет пройти машина. К счастью, Марта вспомнила,

что у нас есть запас мин, с помощью которых можно взорвать небольшой выступ скалы, преграждающий нам путь. Мы двинулись дальше по краю головокружительной бездны. Тут горный хребет заметно расширился, выровнялся и начал медленно подниматься вверх. Мы шли все время к югу; справа и слева уже громоздились чудовищные уступы кольца Эратосфена.

Через полчаса после того, как мы обогнули выступ скалы, нам пришлось остановиться над новой пропастью; она так внезапно возникла перед нами, что Педро Фарадоль, который шел впереди и первым взобрался на заслонявший ее скальный барьер, отпрянул с криком ужаса. Поистине трудно вообразить нечто более страшное, чем открывшийся нам вид.

Двигаясь все время на юг, мы оказались, сами того не зная, в глубокой зазубрине, прорезающей уже самое кольцо кратера. Справа и слева от нас громоздились две причудливо изломанные вершины — одна ослепительно белая на солнце, другая почти абсолютно черная в тени. А перед нами... Нет, кто смог бы это описать! Перед нами была бездна! Пропась бездонная и несказанная, нечто столь жуткое, столь прямо-таки хищное в своей небывалой громадности, мертвенности, что даже и теперь, как только вспомню об этом, меня сковывает парализующий страх.

Перед нами было жерло кратера Эратосфена.

Мощный горный вал, весь иззубренный, как пила, описывал круг диаметром в несколько десятков километров, образуя громадную котловину — наверное, самую страшную из всех, какие видел взор человеческий. Вершины, вознесенные более чем на четыре тысячи метров над дном этой пропасти, падали к ней почти отвесно, какими-то неистовыми рывками. Казалось, будто рушатся в бездну каменные водопады, застыв на лету и разбившись об острые скальные грани. Дно кратера было примерно на две тысячи метров ниже уровня долины Моря Дождей, а вдобавок казалось гораздо более глубоким из-за окружающих громадных гор и густой тени, которая почти сплошь его заливала. Со дна вздымались кое-где конические вершины, едва достигавшие половины высоты кратерного вала. Мы смотрели на них сверху из нашего каменного окна. Из некоторых конусов время от времени вырывались небольшие облака темно-серого дыма, но тотчас опадали из-за отсутствия атмосферы и плоско стлались у их подножий, словно пепел. Несомненно, перед нами были непогасшие вулканы.

Ослепительные контрасты света и мрака усиливали ужасающее впечатление. Весь восточный склон кратера

тонул в густом мраке, сливаясь с черным небом наверху в сплошную темную, таинственную пелену; зато на западном склоне сверкала под Солнцем белая стена, исчерченная темными трещинами, вся усеянная немислимо острыми пиками, словно костяными башенками, белеющими на черных пятнах теней. На юге вал казался ниже из-за расстояния и был похож на ошетилившиеся шипами ворота в это страшное жерло. У наших ног — головокружительная пропасть.

А над всем этим по черному небу, усеянному немигающими звездами, ползло огненное Солнце без лучей, все приближаясь к мертвенно светящейся Земле, которая изогнулась узким, острым серпом и висела над этой юдолью страха, словно символ смерти.

Невольно зазвучали у меня в ушах слова Данте:

Мы были возле пропасти, у края,
И страшный срыв гудел у наших ног...

И при звуке этих слов в мозгу моем, обессиленном усталостью, зноем и страхом, возникло видение Дантова ада, который поистине не мог быть ужаснее того, что простиралось перед моим взором! Дымы,двигающиеся на дне гигантской ямы, казались мне вереницами адских духов, которые кружатся вокруг чудовищного Сатаны, чей облик почудился мне в одном из вулканических конусов... Духи, души умерших, страшная процессия осужденных на вечные муки. Они блуждают повсюду, они свергаются гигантским потоком по скалистым склонам пропасти, сползают вглубь по расщелинам, валом валят, толпятся, теснятся... Некоторые пытаются подняться вверх, к свету, к Солнцу — целыми тучами отрываются от дна и вновь оседают, как свинцовые испарения, в долину вечной муки...

И все это происходит в такой страшной, наводящей трепет тишине...

Свет померк у меня перед глазами; я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание.

И тут до меня донесся плач. Это меня так ошеломило, что я в первый миг решил, будто впрямь слышу голоса грешников... Но на этот раз мне не почудилось. Плач действительно был слышен через трубку, соединявшую шлемы наших гермокостюмов.

Я несколько опомнился и поглядел вокруг. Вудбелл, опершись спиной о скалу, стоял бледный, с поникшей головой. Фарадолъ, словно хищник на привязи, беспокойно расхаживал по площадке, насколько позволяла длина переговорной трубки, и осматривался, будто ища дорогу среди

этих пиков и пропастей, Марта, коленопреклоненная, уткнув лицо в колени, сотрясалась от рыданий.

Проникшись безмерной жалостью, я приблизился к ней и осторожно положил руку на ее плечо. Тогда она по-детски жалобно начала кричать, как в ту памятную долгую ночь перед смертью О'Теймора:

— На Землю! На Землю!

Такое глубокое, безысходное отчаяние было в ее голосе, что я не мог найти слов утешения. Да и чем ее утешить? Положение наше было воистину тяжким. Я повернулся к Фарадолу:

— Что же теперь будет?

Педро пожал плечами:

— Не знаю... смерть. Ведь отсюда спуститься невозможно...

— А если вернуться? — возразил я.

— О да! Вернуться! Вернуться! — рыдала Марта.

Фарадол словно не слышал ее рыданий. Он посмотрел вдаль, а потом ответил, обращаясь ко мне:

— Вернуться... Только затем, чтобы потерять массу драгоценного времени, а потом встретить на ином пути преграду вроде этой. Смотри! — Тут он повернулся к северу и указал на необозримую равнину Моря Дождей. — Если б. мы могли туда спуститься, перед нами была бы относительно ровная дорога, но мы туда не спустимся... Разве только очертя голову кинемся вниз...

Я посмотрел в том направлении. Море Дождей, ровное, залитое солнцем, выглядело раем, особенно по сравнению со страшным жерлом Эратосфена. Оно начиналось почти у самых наших ног, такое близкое, что, казалось, достаточно прыгнуть — и окажешься там. Однако от желанной равнины нас отделяла непреодолимая тысячеметровая крутизна.

Мы сбились в кучу и жадно глядели на этот спасительный простор. Мы не ощущали ни усталости, ни жгучих лучей Солнца, которое уже наполовину выглянуло из-за каменного гребня над нами.

Помолчав, Педро повторил:

— Туда мы не попадем...

Ему ответило громкое, судорожное всхлипывание Марты, которая уже перестала владеть собой.

Фарадол нетерпеливо дернулся.

— Замолчи! — крикнул он, хватая Марту за плечо. — А то я сброшу тебя вниз! Мало нам еще хлопот!

Томас вдруг шагнул вперед:

— Оставь ее... А ты не плачь. Мы попадем на Море Дождей. Идемте к машине.

Такая решимость и уверенность чувствовалась в этих спокойно, отчетливо сказанных словах, что мы тут же, не смея ни возражать, ни спрашивать, повернулись, чтобы выполнить приказ.

Вудбелл остановил нас.

— Смотрите, — сказал он, указывая на внешние, обращенные к Морию Дождей склоны Эратосфена, — видите эту грань, что начинается вот тут, на пятьдесят метров ниже, у подножия крутой стены? Насколько можно судить, она довольно полого сходит к самой равнине; по ней мы сможем спуститься вниз...

— Но эта стена... — невольно шепнул я, глядя на отвесно обрывающуюся скалу, которая отделяла нас от широкого хребта ранее не замеченной нами грани.

— Ерунда! Мы же тренировались в лазании по скалам! Мы легко обойдем ее. А машину... машину мы спустим раньше, обвязав ее канатами. Не забывайте, что мы на Луне: здесь тела весят вшестеро меньше и упасть тут с высоты пятидесяти метров — это то же самое, что на Земле упасть с восьмиметровой высоты!

Мы сделали так, как советовал Томас.

Через 109 часов после восхода Солнца мы начали спускаться по крутому склону Эратосфена, чтобы попасть на равнину Моря Дождей. Почти трое земных суток продолжался этот спуск в долину, лежавшую прямо у наших ног. Большую часть пути мы прошли пешком, палимые безжалостными, все более отвесными лучами Солнца, изнемогая от усталости и напряжения.

Машину действительно удалось спустить на канатах с высоты нескольких десятков метров. Ей это не повредило, но запертые внутри собаки сильно ушиблись, несмотря на все наши предосторожности. Несколько раз мы останавливались, совершенно потеряв надежду, что живыми доберемся до равнины. Дорога по скальной грани не была такой удобной, как нам это показалось сверху и издали. Пересеченная завалами и расщелинами, она вынуждала нас к поворотам и обходам тем более трудным, что машину всюду приходилось тащить за собой либо спускать на канатах. Часто овладевало нами отчаяние. В такие минуты Вудбелл, хоть и ослабевший от лихорадки и ран, проявлял величайшее самообладание и силу воли. Ему мы обязаны тем, что живем и будем жить.

За эти трое суток мы вряд ли спали более двенадцати часов, всякий раз выискивая место как можно более за-

тененное, чтобы не изжариться заживо в солнечных лучах. Временами жара доводила нас прямо-таки до иступления.

Был лунный полдень, и Солнце стояло прямо над нами, рядом с черным шаром Земли в новоземлии, окаймленным кровавым кольцом светящейся атмосферы, когда мы, изнуренные до предела, ступили наконец на равнину.

Зной был такой чудовищный, что перехватывал дыхание, а кровь туманила взгляд и молотками колотила в виски. И тень уже не давала защиты! Раскаленные скалы повсюду дышали пламенем, как жерло доменной печи.

Селена часто дышала, вывалив язык, щенята жалобно скулили, недвижно растянувшись в углу кабины. Все время то один, то другой из нас впадал в беспамятство; казалось, что смерть настигнет нас у входа на долгожданную равнину!

Нужно было бежать от солнца, но куда?

И тут Марта вспомнила, что, спускаясь с горы, мы видели глубокую расщелину, которую теперь, вероятно, заслоняли от нас скалы. Мы скорым ходом двинулись в ту сторону, и действительно, спустя час, который показался нам целым годом, обнаружили расщелину. Этот провал с отвесными стенами, возникший при растрескивании лунной коры, — глубиной в тысячу, шириной в несколько сот метров — ничуть, впрочем, не походит на земные ущелья и овраги. Он тянется, насколько мы можем судить отсюда, на десятки километров параллельно цепи Апеннин. На лунных картах он не обозначен; наверное, астрономы его не заметили потому, что он лежит вблизи высоких гор и почти постоянно покрыт тенью.

Для нас эта расщелина оказалась спасительной. Мы отыскиали место, где она начинается, быстро спустились в глубину и лишь здесь, в тысяче метров под поверхностью Моря Дождей, нашли относительно прохладу...

Сон отлично подкрепил всех нас. Только Томаса, которого до сих пор поддерживала стальная воля, теперь вновь залихорадило. Он так ослаб, что шевельнуться не может. Тем не менее часов через двадцать мы продолжим свой путь. Солнце начинает склоняться к западу. Там, на равнине, зной, наверное, еще ужасный, но все же не такой, как в разгар лунного дня. Да и мы после отдыха легче сможем его переносить.

Серьезно поразмыслив, мы изменили план путешествия. Мы не пойдем на запад, а повернем прямо на север, к лунному полюсу. Выигрываем мы на этом вдвойне. Прежде всего перед нами будет более тысячи километров относи-

тельно ровной и хорошей дороги по долине Моря Дождей, что значительно ускорит движение. Затем, приближаясь к полюсу, мы попадем в края, где Солнце не стоит днем так высоко над горизонтом, а ночью не уходит так глубоко за горизонт; поэтому мы надеемся найти там более сносную температуру. Ибо еще один такой полдень, как теперешний, и смерть наша неизбежна.

*Море Дождей, через 340 часов
после восхода Солнца*

День уже на исходе. Скоро, через четырнадцать с половиной часов, зайдет Солнце, которое сейчас стоит над далекими округлыми взгорьями на западе лишь на несколько градусов выше горизонта. Малейшие неровности почвы, любая скала, каждое небольшое возвышение — все отбрасывает длинные неподвижные тени, прорезающие в одном и том же направлении огромную равнину, на которой мы находимся. Насколько видит глаз — ничего, одна лишь пустыня, бескрайняя, смертоносная, перепаханная с юга на север длинными каменными бороздами, поперек которых чернеют полосы теней... Далеко-далеко на горизонте торчат высочайшие шпили гор, которые видны были с Эратосфена, а теперь их почти заслоняет от нас кривизна лунного шара.

По мере того как мы удаляемся от экватора, стеклянистая Земля над нами отклоняется от зенита к югу. Теперь конец первой четверти, и Земля светит ярко — как семь полных лун. Там, куда не проникает слабейший солнечный свет, серебрится ее призрачное сияние. Два небесных светильника над нами, и тот, что сильнее, кажется по контрасту желтым, а другой — синеватым. Весь мир вокруг наполовину ярко-желтый, наполовину — серо-синий. Когда смотришь на восток, желтизной отливают пустыня и отдаленные вершины лунных Апеннин; на западе же под алмазно искрящимся Солнцем все кажется холодным, синим и мрачным. А над двухцветной пустыней висит все то же бархатно-черное небо, усеянное разноцветными драгоценными камнями, оваянное сказочной дымкой мельчайшего золотистого песка...

Ночь приближается. Она уже послала вперед своего вестника, единственного, как есть у нее в этом мире, лишенном сумерек и вечерних зорь... Холод идет перед ней по пустыне, затаивается в каждой расщелине, в каждом затененном месте и терпеливо ждет, когда по-черепашьи медлительное Солнце сползет с небосвода, соскользнет с

пустыни, оставляя его и ночь на полновластное царствование...

Пока мы движемся в ярком солнечном свете, то еще не догадываемся о присутствии этого пришельца, но в тени наши разогретые тела пронизывает легкая дрожь, говорящая о его близости...

В закрытой нашей машине уже не так душно, и все мы стали как-то веселее и бодрей. Фарадол, преисполненный надежд, снова строит планы на будущее или играет с Селеной и щенками; Вудбелл заметно окреп и, стоя у руля, разговаривает сейчас с Мартой. Стоит мне оторвать взгляд от бумаги, как я вижу их обоих. Особенно отчетливо Марту. Она сейчас стоит в профиль ко мне и смеется. Удивительно она смеется. Губы ее складываются так, будто она целует воздух. Этой улыбкой полны ее глаза и грудь, которая поднимается едва заметными, быстрыми движениями. Днем, в жару, грудь ее была приоткрыта — слишком жарко было даже для нее, опаленной индийским солнцем. Сейчас она закрыта до самой шеи. Я невольно ищу глазами эту великолепную смуглую грудь, такую теплую по цвету, и странно не хватает мне чего-то, когда я ее не вижу. Напрасно я так много думаю об этой женщине, но ею действительно наполнено здесь все. С того времени, как призрак смерти немного отдалился от нас, крохотный мирок машины весь словно пропитан присутствием Марты. Даже Фарадол, будто бы играя с собаками, украдкой, я знаю, смотрит на нее. Меня это злит. Почему Томас не обращает на него внимания? А впрочем, какое мне дело до этого?

Мы в пути уже более шестидесяти часов. Машина все время движется вперед. Мы спим посменно, не останавливая машины, и сейчас я пишу тоже на ходу. Мы немного задержались лишь для того, чтобы подзарядить аккумуляторы нашего электромотора. Чтобы сэкономить топливо, которого много потребуется нам во время ночных холодов, мы запустили динамо с помощью расширяющегося сжатого воздуха. Аккумуляторы нуждаются в подзарядке, потому что одних батарей не хватает для быстрой езды.

А движемся мы быстро, и все вперед — насколько позволяет местность. Значительные неровности почвы помешали нам свернуть на север сразу после выхода из Ущелья Спасения (так называли мы ту трещину под Эратосфеном, потому что она действительно спасла нас своей прохладой от смерти). Под 12° западной долготы мы натолкнулись на одну из тех блестящих полос, которые лучами расходятся от кратера Коперника на сотни километров вокруг. Полосы эти, отчетливо видимые даже в слабые земные телескопы,

всегда удивляют астрономов. Как мы убедились воочию, это полосы расплавленных, словно стекло, скальных пород шириной в несколько десятков километров. Не знаю, как определить природу этих странных образований.

Здесь вообще многое для нас загадка — даже то, что находится прямо под рукой. Как возникла эта равнина, на которой мы находимся, как образовались эти кольцеобразные горы диаметром в несколько десятков, а то и сотен километров, окруженные валом высотой в несколько тысяч метров? Это наверняка не жерла погасших вулканов, как полагали некогда на Земле. Мы заглянули в недра Эратосфена и видели там вулканические конусы, ничем не отличающиеся от земных вулканов, но само это громадное кольцо никогда не было кратером! Об этом свидетельствуют — не говоря уже о его громадных размерах — и горные породы, из которых состоит вал, и то, что дно впадины ниже уровня окружающей ее равнины, и многое другое, что мы могли видеть собственными глазами.

Мне кажется, чтобы понять эти поразительные формации, нужно мысленно перенестись в те отдаленные времена, когда Луна была еще жидким, расплавленным шаром, поверхность которого лишь начала остывать в ледяных межзвездных просторах. Тогда-то чудовищные, превосходящие силу человеческого воображения взрывы газов, растворенных в жидкой массе и выделяющихся при ее остывании, вздували ее податливую еще поверхность, образуя громадные пузыри и волдыри. Эти пузыри лопались и тут же застывали, не успев растечься по окружающей их равнине. Кольцевые горы — как раз следы этих пузырей. Позже Солнце выгрызло в них отдельные пики, выщербило и разрушило их, вулканические силы образовали внутри некоторых колец конусообразные кратеры — и вот они, не тронутые водой, все сглаживающей на Земле, высятся сегодня, как свидетельство созидательной мощи природы, для которой глыбы планет и огненные шары звезд — всего лишь покорная материя в гигантском тигле извечного созидания.

Так внятно говорят мне обо всем этом и огромные горы, и небольшие горки, густо рассеянные на нашем пути, и созданные по их подобию котловины, что, всматриваясь в окружающий пейзаж, я испытываю временами ощущение, будто эти скалы, ярко-желтые от солнца, — это масса, еще пламенеющая, текучая и почти живая; мне чудится, что вот-вот вся равнина заколыхнется, словно море, начнет изгибаться, вздыматься, расти, вспучиваться и под напором газов выбрасывать в черное небо первобытную лаву, застывающую гигантскими кольцами.

Но сколько же сотен тысяч веков минуло с той поры! Лунная кора застыла и растрескалась, непрерывно сокращаясь; какие-то таинственные огневые силы выжгли на ней огромные лучистые полосы остекленевшего камня; и здесь, где некогда бушевали необузданные противоборствующие силы творения, теперь стоит такая страшная и безнадежная мертвенность и тишина, что нас даже удивляет и смущает биение собственных сердец.

Мы продолжаем двигаться по светлой полосе, образованной стекловидной жилой, что тянется от самого Коперника. Она служит нам удобной и ровной дорогой. Северо-восточное ее направление очень нам на руку — мы выйдем прямо на равнину между Архимедом и Тимохарисом, которую нам предстоит пройти. Сейчас, когда мы находимся на равнине, Архимед совсем не виден. В той стороне, где он должен находиться, перед нами встают лишь невысокие крутые бугры, похожие на гористые острова среди моря. Это, по-видимому, группа «кратеров», вздымающихся на 11° западной долготы и 19° северной лунной широты. Мы рассчитываем обогнуть ее еще до захода Солнца. А потом — на север, все на север, лишь бы подальше от этой ужасной зоны, где рядом со зловещим серпом Земли прямо над головой висит в зените убийственное Солнце, подобно яростному, обезумевшему огненному коню. О, этот ленивый белый шар без лучей — это не наше земное животворное солнце; нет, это некий бог, алчный и насмешливый, бог — разрушитель и пожиратель! А мы четверо — единственные живые жертвы, которые он высмотрел для себя на этой равнине смерти! Нужно бежать от него, прежде чем он вторично возникнет на черном, расшитом золотом саване небосвода.

Я прерываю записи. Фарадолъ, сменивший в свое время Томаса, кричит, что теперь моя очередь становиться у руля. Те двое уже спят. Марта, как обычно, перегнулась из своего гамака и положила голову на грудь Томаса — единственного счастливого человека среди нас!

Первый лунный день, через 4 часа после захода Солнца, на Море Дождей, 10° западной долготы, 20°28' северной лунной широты

Итак, уже началась ночь — долгая ночь, для которой земные сутки меньше, чем часы для земной ночи. Земля, все заметней склоняясь к югу, сверкает над нами, словно

огромный яркий циферблат. Наблюдая, как ползут тени по ее диску, можно без труда определять время. На закате Солнца она была в первой четверти, в полночь будет полноземлие, а последняя четверть наступит на рассвете. Роль минутной стрелки на этих небесных часах выполняют континенты. По тому, когда они уходят в тень, можно определять часы, которые для лунных долгих суток не более чем минуты.

После захода Солнца холод наступил так внезапно, что нам показалось, будто мы из парной бани прыгнули прямо в бассейн с ледяной водой. Но закат приготовил для нас великолепный сюрприз: мы ожидали, что вслед за ним немедленно наступит ночь, а между тем еще долго держалось какое-то странное сияние, спорившее с блеском Земли и несколько похожее на наши сумерки.

Как раз окончилась стеклянистая полоса, по которой мы ехали более ста километров, когда мы выбрались из тени небольших кратеров, о которых я упоминал ранее. Мы приближались к двадцатой параллели, направляясь теперь прямо на север, когда солнечный диск, не зарумяненный закатом, а все такой же светлый и сверкающий, как днем, начал медленно уходить за горизонт.

Внезапно охватила нас страшная тоска по этому исчезающему Солнцу, которое снова явится нам лишь через четырнадцать суток. Мы стояли все рядом у западного окна машины. Марта простерла руки к уходящей дневной звезде и начала певуче и монотонно произносить слова индийских гимнов, которыми факиры на Земле прощаются с этим лучезарным божеством.

Вудбелл время от времени вторил ей, вспоминая, наверно, подобные минуты в Траванкоре, когда пламенное Солнце тонуло в безбрежном океане.

Между тем Солнце, укрыв часть своего диска, казалось, замерло на горизонте и ждало чего-то. Сияние его освещало простертые руки девушки, сверкало на ее белоснежных зубах. Невозможно было не поверить, что они говорят друг с другом — эта девушка и это Солнце.

Полчаса спустя виднелся уже лишь краешек солнечного диска. Каменная пустыня под этой ослепительно белой полоской почернела, будто обратилась в чернильное море. Лишь кое-где сверкали гладкие скалы, отражающие синеватый свет Земли. Марта уже кончила петь и молча всматривалась в пустыню, склонив голову на плечо Томаса.

Нами овладела странная грусть: даже Педро, наименее сентиментальный из всех, понурился и неслышно шевелил губами, словно отвечал каким-то своим мыслям или воспоминаниям. А я... Эх, как же безумно быстро пронеслась моя

жизнь на Земле! Перед моими глазами разворачивался причудливый танец воспоминаний и видений: мне чудились равнины над Вислой, и укрытые облаками вершины Татр, и неисчислимая вереница людей, знакомых лиц, дорогих, но оставленных теперь уже навсегда... Навсегда!

И тут Солнце внезапно погасло. Еще мгновение над горизонтом, подобно крохотным огненным язычкам, дрожали багровые протуберанцы, потом исчезли и они, и в сумраке, внезапно упавшем на пустыню, было нечто столь неожиданное, что мы невольно прижались друг к другу, словно пытаясь укрыться от чего-то метнувшегося на нас, как серый лесной кот на запоздалого путника. Но то был только сумрак, а не ночь. Ибо в ту же минуту, когда исчез последний краешек Солнца, на западе взвился световой столб, рассыпаясь вверху будто сказочный фонтан золотистой пыли и образуя подобие купола.

Это сверкал перед нами зодиакальный свет в таком неслыханном великолепии, какого на Земле никогда не видел человеческий глаз. Молча и долго смотрели мы на этот искрящийся столб, слегка склоненный к югу и усеянный разноцветными звездами, которые проглядывали сквозь эту космическую пыль, что вращается вокруг Солнца и после заката сияет перед нами, отражая исчезнувший солнечный свет.

Теперь погасло уже все, и над нами светит только Земля да звезды, странные звезды в глубине черного неба — разноцветные и немигающие. Эта многоцветность, которой не скрадывает отсутствующий здесь воздух, так удивительна, что к ней невозможно привыкнуть, хоть эти же звезды горели над нами на протяжении всего лунного дня.

Земля шлет нам столько света, что можно продолжать путь. Это очень благоприятное для нас обстоятельство — нам не приходится тратить время и за ночь мы сможем уйти так далеко на север, что завтра уже не надо будет опасаться отвесных солнечных лучей. Только мысль о ночном морозе, который уже чувствуется изрядно, пронизывает нас страхом.

Местность снова стала неровной, вынуждает нас к многократным поворотам и обходам, замедляющим продвижение. На носу машины горит прожектор, освещая дорогу. Иначе мы рисковали бы провалиться в одну из трещин, плохо различимых в тусклом свете Земли. Ориентируемся по звездам, потому что в этом странном мире никак не можем разобраться в показаниях компаса. К тому же металлические стены машины искажают положение стрелки.

*На Море Дождей, 7°45' запад-
ной лунной долготы, 24°1' се-
верной широты, в первом часу
вторых лунных суток*

Уже миновала полночь, и мы позабыли даже, как выглядит Солнце; трудно понять, как можно было жаловаться на жару. Почти сто восемьдесят часов, с самого заката, нас терзает такой неслыханный холод, что кажется, будто мысли замерзают в мозгу. Наши печи работают во всю мощь, а мы, съехившись около них, дрожим от холода.

Я пишу, прислонившись к печи. Спину мне жжет, и в то же время я чувствую, как кровь во мне леденеет и сгущается от мороза. Собаки лезут к нам на колени и воют не умолкая, а мы уже с ума сходим. Молча глядим друг на друга с какой-то непонятной ненавистью, словно кто-то из нас виноват, что здесь Солнце не светит и не греет триста пятьдесят четыре с половиной часа кряду.

Я пытался превозмочь себя и записать кое-какие впечатления ночного пути, но вижу, что не способен связать даже самые простые представления. Мозг у меня замороженный, неповоротливый, словно он из льда. В сознании сменяют друг друга то бессвязные картины, то какие-то отчаянные проблески, и мне никак не удастся связать их друг с другом. Временами мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. Вижу Марту, Томаса, собак, Педро, печь — и совершенно не понимаю, что это все значит, не знаю, кто я, откуда здесь взялся, зачем...

Действительно — зачем?

Хотел задуматься над этим, припомнить что-то — и не могу. Существовала же какая-то причина, по которой я вместе с этими людьми покинул Землю. Не помню... Мысли меня утомляют.

Кажется, мы стоим. Не слышно гудения моторов. Надо бы сходить посмотреть, что случилось, но я знаю — ни я, ни они этого не сделают. Ведь пришлось бы отойти от печки!

Что за мерзкий мороз!

В окно видны какие-то скалы, ярко освещенные Землей. Наверно, потому мы и стоим, что оказались среди скал... Все это страшно — и все безразлично...

Что я пишу? Может, я и в самом деле схожу с ума? Ужасно хочется спать, но знаю, что если усну, то замёрзну и уже не проснусь. Нужно встряхнуться, прийти в себя... Странно, что в первую ночь в Заливе Зноя мороз был не так силен. Видимо, там под поверхностью тянутся

какие-то вулканические жилы, и они немного согревают почву.

Писать, писать, чтобы не заснуть, — иначе смерть.

После заката мы непрерывно продвигались на северо-запад при все более ярком свете Земли, входящей в полноземлие, и все более жгучем морозе. Вблизи 9° западной долготы и 21° северной широты мы перебрались через низкие, покатые валы, преграждавшие путь. Не меняя направления, мы двинулись на северо-запад, в сторону взгорья, широко раскинувшегося вокруг кольца Архимеда, в надежде найти здесь какой-нибудь действующий вулкан, а вблизи него — тепло. Мы уже на границах этой горной страны, но все вокруг застывшее и мертвое. Мы выехали на середину странного полукруглого плато, за которым вздымается амфитеатр скалистых уступов. Фарадолъ сделал астрономические измерения, чтобы определить положение этих гор. Из его расчетов следует, что мы на возвышенности, которая на лунных картах обычно обозначается буквой Е и находится под 7°45' западной долготы и 24°1' северной лунной широты.

Холод, холод, холод... но нужно превозмочь себя и не спать, только не спать, потому что это — смерть! Она где-то поблизости, эта смерть. Там, на Земле, следовало бы избражать Смерть восседающей на Луне — потому что здесь ее царство...

Почему мы стоим? Ах, да! Все равно!

Нет, нужно превозмочь себя. О чем я писал только что? Ага, горы... Станный амфитеатр шириной около четырех километров, открытый к югу. Над ним, словно фонарь, висит Земля. Прямо перед нами, на севере, самая высокая из скал. Не меньше тысячи двухсот метров. Как-то жутко все это выглядит. Словно театр для гигантов — ужасающих, скелетоподобных гигантов. Я не удивился бы, если бы вдруг на склонах этих гор появились толпы огромных скелетов, неторопливо движущихся в земном сиянии, чтобы занять свои места в этом театре. На фоне черного неба, среди звезд, белели бы огромные черепа тех, что сели в верхних рядах. Мне даже кажется, что я их вижу. Восседают гигантские скелеты и переговариваются: «Который час? Уж полночь, и Земля, наш огромный и яркий цирферблат, уже встала полной в небе — пора начинать...» и обращаются к нам: «Пора начинать, мы смотрим, умирайте же...»

Дрожь меня пробирает.

Гнилое Болото, на дне расщелины, 7°36' западной лунной долготы, 27° северной широты. Вторые сутки, шестьдесят второй час после полуночи

Итак, свершилось. Мы приговорены к смерти, без всякой надежды на спасение. Вот уже шестьдесят часов, как мы знаем об этом, — время достаточное, чтобы освоиться с этой мыслью. И все-таки — смерть...

Спокойней, спокойней, ведь это бессмысленно. Нужно смириться с неизбежным. В конце концов, это не так уж неожиданно для нас; ведь еще на Земле, собираясь в это путешествие, мы знали, что идем навстречу смерти. Но почему эта смерть не поразила нас внезапно, как молния, почему приближается так медленно, что мы можем рассчитать каждый ее шаг и знаем, когда ее ледяная рука схватит нас за горло и начнет душить...

Да, душить. Все мы задохнемся. Запаса сжатого воздуха при величайшей экономии едва хватит на триста часов. А потом... Ну, что ж, нужно заранее подготовиться к тому, что будет потом... Еще триста часов все будет, как прежде. Будем дышать, есть, спать, двигаться... За это время опустеет последний резервуар сжатого воздуха, единственный оставшийся у нас. Через триста часов... То будет лунный полдень... Солнце будет стоять еще довольно высоко. Будет светло и тепло, даже жарко, — может быть, слишком жарко. Какое-то время, несколько часов, все будет еще хорошо. Потом мы начнем постепенно ощущать вялость, шум в голове, сердцебиение... Воздух в машине, не освеженный кислородом, которого нам уже недостает, переполнится выдыхаемой нами углекислотой. Сейчас мы искусственно удаляем ее, но тогда — зачем же ее удалять, если не будет кислорода, чтобы ее заменить? Эта углекислота начнет отравлять нас. Гулкие удары пульса, вялость, удушье, сонливость... Да, сонливость, необоримая сонливость. Мы ляжем в гамаки, ожидая смерти; Марта, наверно, как всегда, перегнется из своего гамака и положит голову на грудь Томасу... Потом придут сны... Земля, родные края, зеленые луга, воздух — много-много воздуха, целое море, огромное, голубое, чистое! И во сне — ужасный удушающий призрак садится на грудь; я уже будто ощущаю его! Он ломает ребра, хватает за горло, стискивает сердце... Ужас меня охватывает. Хочется стряхнуть призрак, вскочить, бежать... А потом сны кончатся. На Луне, среди бескрайней равнины Моря Дождей, в закрытой машине будут лежать четыре трупа.

Нет! А может, иначе? В ту минуту, когда начнет не хватать воздуха, мы откроем двери машины настежь! Мгновение — и мы будем уже в пустоте. Кровь брызнет из рта, ушей, глаз, носа; несколько судорожных, отчаянных вдохов — и конец. Зачем я все это пишу? Зачем я пишу вообще? Ведь в этом нет ни смысла, ни цели. Через триста часов я умру.

Часом позже

Возвращаюсь к запискам. Нужно чем-то заняться, потому что мысль о неизбежной смерти невыносима. Мы ходим по кабине и бездумно улыбаемся друг другу или разговариваем о совершенно безразличных вещах. Только что Фарадоль рассказывал, как в Португалии готовят какой-то соус из цыплячьих печенок с каперсами. При этом все мы, не исключая его самого, думали о том, что через двести девять часов умрем.

Если вдуматься, смерть вовсе не страшна — почему же мы так ее боимся? Ведь...

Ах! Как бессмысленны все эти философствования насчет смерти! Тиканье часов в моем кармане звучит отчетливой, чем голоса всех мудрецов, проповедующих спокойствие перед кончиной. Я слышу тихие, слабые металлические постукивания и знаю, что это шаги приближающейся смерти. Она будет здесь прежде, чем зайдет Солнце того долгого дня, что вскоре начнется. Она не опоздает ни на час.

Мы стояли среди этих подковообразных скал, цепenea от мороза, как вдруг Фарадоль, случайно взглянув на манометр одного из резервуаров сжатого воздуха, отчаянно закричал. Мы все вскочили, словно от удара тока, и уставились туда, куда Педро показывал дрожащей рукой, будучи не в силах от страха выговорить хоть слово.

В одно мгновение мне стало жарко: манометр не показывал никакого давления внутри. У меня мелькнула мысль, что, быть может, воздух в резервуаре, вделанном в стену, конденсировался от чудовищного холода. Я открыл кран — резервуар был пуст. То же самое во втором, третьем, четвертом, пятом. Только в шестом, последнем, был воздух.

Мы вдруг обезумели от ужаса. Не задумываясь над причиной загадочной, по сию пору, пустоты в резервуарах, над тем, что мы делаем, что нужно делать и можно ли вообще что-нибудь сделать, мы бросились разом к мотору, не ощущая ни холода, ни усталости, ни сонливости, ничего, — одержимые одной мыслью: бежать, бежать... Словно от смерти можно убежать.

Через несколько минут машина уже мчалась. Выбравшись с площадки, окруженной скалами, мы будто в беспмятстве спешили что есть сил прямо на север, среди невысоких взгорий, простирающихся от кольца Архимеда и заполняющих всю западную часть Гнилого Болота, которое граничит с Морем Дождей. Дорога была на редкость тяжелая и неровная. Машина подпрыгивала, тряслась, то взлетала, то проваливалась, немилосердно швыряя нас, но мы не обращали на это внимания. В пароксизме отчаяния и страха мы воображали, что нам удастся добраться до обратной стороны Луны, прежде чем кончится наш скудный запас воздуха!

Какая смехотворная мысль! Воздуха хватит всего лишь на триста часов, а от северного полюса Луны нас отделяет по прямой около двух тысяч километров, и половина из них приходится на горные неприступные районы!

Холод сковывал кровь в жилах, перехватывал дыхание в груди, но мы, не замечая ничего, безостановочно мчались напролом через горы, серебрившиеся в свете Земли, через черные котловины, через заваленные осыпями участки — только бы дальше, дальше. Даже о желании спать, недавно так мучившем нас, никто теперь и не вспоминал.

Лишь внезапное препятствие прервало эту адскую гонку, столь же безумную, сколь и бессмысленную. Мчась вслепую напрямик, мы наткнулись на расщелину, похожую на Ущелье Спасения под Эратосфеном, но более широкую и несравненно более глубокую. Мы заметили ее лишь вблизи — еще немного и мы рухнули бы в нее вместе с машиной.

Машина остановилась — и внезапно какое-то странное равнодушие овладело нами. Энергия отчаяния, охваченные которой мы без памяти мчались столько часов, исчезла так же мгновенно, как и появилась, уступив место невыразимой, парализующей подавленности. Все вдруг сделалось совершенно безразличным. Зачем мучиться и выбиваться из сил, если это все равно бесцельно. Мы должны умереть.

Молчаливые и апатичные, уселись мы у печки. Мороз терзал все яростней, но мы уже не заботились об этом. Ведь смерть — это все равно смерть, что от холода, что от удушья. Прошло много времени. Так мы и замерзли бы, если б не Вудбелл, который опомнился первым и начал уговаривать нас серьезно обдумать ситуацию.

— Нужно искать выход, какой-нибудь способ спастись, — говорил он, — пусть даже мы ничего не найдем, но, будучи чем-то заняты, хоть на время забудем о смерти, призрак которой гнетет нас.

Совет, конечно, был неплохой, но мы так устали и окоченели, что выслушали его абсолютно равнодушно и даже ничего не ответили Томасу.

Помню, я смотрел на него и видел, что он продолжает говорить, но не понимал ни слова. В эту минуту меня занимало только одно: а как он будет выглядеть после смерти?

С упорством маньяка я вглядывался в его двигающиеся губы и мысленно сдирал мясо со скул и челюстей, потом обнажил череп, ребра, берцовые кости — и, глядя на человека, видел перед собой скелет, который будто говорил мне, злорадно оскалась: такими вы все станете — скоро.

Увидев наконец, что с нами не договоришься, Томас сам стал у руля, и вскоре машина уже ползла вдоль края расщелины. Примерно через полчаса мы достигли того места, где расщелина кончалась. Увидев это, Фарадоль прыгнул к рулю, охваченный внезапно пробудившейся в нем энергией отчаяния, и закричал как безумный:

— Мы можем объехать ущелье и снова двигаться на север, к полюсу, где есть воздух!

Он смеялся и дергался, словно и впрямь сошел с ума. Но когда он попытался ухватиться за руль, Томас слегка отстранил его и произнес кратко и решительно:

— Мы не объедем ущелье, а въедем в него.

Педро мгновение смотрел на него бессмысленным взглядом, потом вдруг — видимо, в нервном припадке — бросился на Томаса и схватил его за горло.

— Убийца! — зарычал он. — Душитель! Ты хочешь нас убить, уничтожить, а я хочу жить! Слышишь, жить! На север, на север, к полюсу, там есть воздух!

Педро бесился, орал, будучи сильнее Томаса, он повалил его и придавил коленом, прежде чем мы успели прийти на помощь. Я бросился вместе с Мартой усмирять безумца, и началась борьба, сопровождаемая яростным лаем собак. Наконец мы схватили его, но тут он внезапно весь вытянулся, вскрикнул и безвольно повис у нас на руках. Томас, измученный и бледный, поднялся с пола. В эту минуту машина накренилась; я ощутил резкий толчок и потерял сознание.

Придя в себя, я увидел, что лежу в гамаке, а надо мной стоит Томас и трет мне виски эфиром. Марта и Фарадоль сидели тут же, молчаливые и понурые.

Томас действительно мужественный человек.

Во время его борьбы с Педро машина, лишенная управления, наткнулась на скалу. Брошенный этим толчком вперед, я ударился головой о стенку и потерял сознание. Томас

и Марта вышли из происшествия невредимыми, так же как и Педро, который без сознания лежал на полу, обессиленный припадком. И тогда Томас, поняв, что произошло, поручил Марте уложить нас в гамаки, а сам подал машину назад, развернулся и въехал в глубь ущелья. Лишь здесь, на глубине, где, как он и предполагал, было несравненно теплее, чем на поверхности, он начал приводить нас в чувство. Первым очнулся Педро. Он даже не помнил вспышки безумия, которая так испугала нас. Потом и я пришел в себя.

Смерть от холода пока уже не угрожает нам, потому что в этом невероятно глубоком ущелье мороз не очень силен. Видимо, недра Луны не целиком еще лишены собственного тепла, хотя Луна, будучи в 49 раз меньше Земли, и должна была остыть много раньше.

Томас предвидел это и потому ввел машину в ущелье. Он хотел, чтобы мы, защитившись от непосредственной опасности, которой угрожал нам парализующий мысли холод, могли спокойно посоветоваться, что делать дальше.

Мы начали совещаться. Нам пришло в голову, что, быть может, удастся настолько сгустить нагнетательным насосом окружающий разреженный воздух, что можно будет дышать им в кабине. Эта мысль сверкнула, как звезда надежды и спасения, и мы тотчас принялись сообщая претворять ее в жизнь. Однако после часа напряженных, изнурительных трудов мы убедились, что это неосуществимая затея. Лунная атмосфера здесь настолько разрежена, что даже если вдвинешь поршень до упора, невозможно преодолеть давление воздуха в кабине и открыть клапан. Мы пытались еще сгущать воздух в одном из пустых резервуаров, заделав в нем предварительно трещину, но и это оказалось невозможным.

Разочарованные и уставшие, мы бросили бессмысленную работу. Томас еще утешает нас, что, может, дальше к северу мы найдем более плотную атмосферу, где наши насосы смогут работать, но вряд ли он сам в это верит. На всем огромном пространстве Моря Дождей атмосфера будет такой же разреженной, иными словами, ее вообще почти не будет, а прежде чем мы одолеем это пространство, наши запасы воздуха исчерпаются и наступит неизбежное... Через двести девяносто часов мы умрем. Тем не менее, как только рассветет и станет теплее, мы выберемся из ущелья и двинемся дальше на север. Это ничего не даст, но ведь и стоять на одном месте — тоже ничего не даст. А вдруг... вдруг... мы действительно найдем где-нибудь более плотную атмосферу...

Мы наконец открыли причину, по которой потеряли свои запасы воздуха. Резервуары были повреждены, когда мы спускали машину со склонов Эратосфена. Какой-то острый выступ на пути скольжения машины глубоко процарапал стенки, а внутреннее давление довершило остальное. Трещины видны отчетливо. Два лишь обстоятельства меня удивляют: что давление сжатого воздуха не разорвало поврежденных медных резервуаров и что мы не заметили своей потери много раньше. Я ломаю голову над этими загадками, будто их решение может чем-то нам помочь.

Ни о чем другом не могу думать — все стоит и стоит перед глазами этот призрак смерти. И самое тут страшное то, что, зная о предстоящей смерти, мы чувствуем себя совершенно здоровыми. Это увеличивает ужас того чудовищного, что должно на нас обрушиться. Томас спокойнее всех, но я вижу, особенно по его обращению с Мартой, что и он непрестанно думает о приближающемся. Нежным, почти женственным движением он проводит рукой по ее волосам и смотрит на нее так, словно хочет просить прощения. А Марта целует его руки, говоря ему этой лаской и взглядом: не печалься, Том, все хорошо, ведь умрем мы вместе...

Для них это, может, действительно какое-то утешение, но для меня, откровенно говоря, эта общность нашей судьбы нисколько не уменьшает ее чудовищности. Все чувства во мне так возбуждены, что никакие размышления на меня ничуть не влияют. Я трезво оцениваю все, во всем ясно отдаю себе отчет, мысленно повторяю сотни раз, что умираю вместе с этими людьми как добровольная жертва всемогущей жажды познания, которая оторвала нас от Земли и швырнула на эту негостеприимную планету, уговариваю себя, что нужно смириться с судьбой и сохранить спокойствие перед лицом неизбежности, — а несмотря на все эти замечательные рассуждения, непрерывно ощущаю только одно: страх, безграничный, отчаянный страх! Так это неумолимо и так медленно приближается...

Не понимаю, действительно, почему мы не решаемся разом покончить с этим отчаянным положением. Ведь в наших силах сократить эту жизнь, которая стала уже только пародией на жизнь, мучительной и тягостной...

Нет! Я не могу это сделать! Не знаю, что удерживает меня, но — не могу. Быть может, детская тоска по Солнцу, этой доброй дневной звезде, которая скоро должна взойти над нами, а может, какая-то смешная, почти животная привязанность к жизни, какой бы краткой она ни была, или остатки глупой, абсолютно беспочвенной надежды...

Знаю, что нас ничто не спасет, и все же так отчаянно хочу жить и так... боюсь...

Все равно! Пусть будет, что будет.

Я смертельно устал. Пускай бы уж наконец пришло это — неизбежное! При каждом вдохе думаю, что мне осталось на один вдох меньше. Все равно...

На восходе Солнца...

Через час мы отправляемся в путь. Западный край ущелья уже сверкает над нами в солнечном свете. Снова выберемся на широкую равнину, чтобы еще раз увидеть Солнце, увидеть звезды и Землю, спокойную и такую яркую на этом черном небе...

И двинемся на север. Зачем? Не знаю. Никто из нас не знает. Смерть бесшумно двинется рядом с нами через каменные плато, через горы и долины, а когда стрелка манометра на последнем воздушном резервуаре опустится до нуля, смерть войдет в машину.

Мы молчим; нам не о чем говорить. Мы лишь стараемся чем-нибудь заниматься — наверное, не столько для собственного развлечения, сколько из ложного стыда перед другими. Какая работа может интересовать человека, который знает, что все его труды напрасны?

Итак, мы пойдем навстречу своей судьбе!

*Вторые лунные сутки, 14 часов
после полудня. На Море До-
ждей, 8°54' западной лунной
долготы, 32°6' северной широ-
ты, между кратерами*

Мы спасены! И спасение пришло так внезапно, так неожиданно, так странно и... страшно, что я до сих пор не могу опомниться, хотя миновало уже двадцать часов с той поры, как смерть, сопровождавшая нас две земные недели, отвернулась и отошла.

Отошла, но не без добычи... Смерть никогда не уходит

без добычи. Если из жалости или по необходимости она позволяет жить тем, кто уже был в ее когтях, то берет за них любой выкуп, где попадется, без разбора...

На восходе Солнца мы отправились в путь, скорее по привычке, чем по какой-либо осмысленной необходимости. Мы были уверены, что не увидим вечера этого долгого дня. Ехали молча, а призрак смерти восседал среди нас и спокойно ждал минуты, когда сможет схватить нас в свои ледяные удушливые объятия. Присутствие смерти ощущалось так живо, будто она была осязаемым и зримым существом, и мы удивленно оглядывались, не видя ее.

Теперь это все уже только воспоминание, но тогда это было невыразимо ужасной действительностью. Даже понять невозможно, как мы смогли прожить эти триста с лишним часов — в отвратительном беспомощном страхе, с неумолимым призраком перед глазами. Без преувеличения скажу, что мы умирали ежечасно, думая, что неизбежно должны умереть. Ибо спасения — особенно такого — никто из нас не ожидал.

Не припомню уже подробностей пути.

Час тянулся за часом, машина все так же быстро двигалась на север, и мы, как сквозь сон, смотрели на проносившиеся пейзажи. Сейчас я понимаю, что все ощущения слились у меня тогда в одно целое с ощущением неумолимой смерти. Я не могу сейчас распутать этот клубок. Все, что помнится мне в этом пути, было ужасным. Сначала мы двигались по границе между Гнилым Болотом и Морем Дождей. Справа от нас была гористая дикая местность. Налево, к западу, простиралась равнина, переходившая вдали в невысокие волнистые взгорья, тянущиеся параллельно нашему пути. За этими нагорьями сверкали далекие вершины Тимохариса, освещенные отвесными лучами Солнца.

В памяти сохранились ужасное величие и странно гармонизировавшее с ним неслыханное богатство красок этого пейзажа. Самые высокие пики кратера были абсолютного белыми, но от них спускались вниз полосы и кольца, играющие всеми цветами радуги. Не знаю, чем это объяснить; возможно, Тимохарис, горное кольцо размерами с Эратосфен, и вправду некогда действовавший, а ныне погасший огромный вулкан. Может, эти радужные полосы возникли оттого, что на склонах вулкана оседали полевые шпаты, трахиты, сера, лава и пепел? Не могу сказать, а в ту пору я и не задумывался над этим. Было только впечатление чего-то неправдоподобного, чего-то напоминавшего сказки о волшебных странах и о горах из драгоценных камней. Вглядываясь в эти искрящиеся на солнце вершины,

подобные г루дам топазов, рубинов, аметистов и бриллиантов, я ощущал в то же время их пронзительно-холодную мертвенность. В резком блеске разноцветных скал, блеске, не погашенном и не смягченном ничем, даже воздухом, было нечто безжалостно суровое и неумолимое... Какое-то мрачное великолепие смерти веет от этих гор.

Через несколько часов после восхода Солнца, все еще имея впереди вершины Тимохариса, мы въехали в тень невысокого кратера Беер. Миновав его, продвинулись вдоль подножия еще более низкого, расположенного рядом кратера Фейе и выбрались на бескрайнюю, необозримую равнину, тянущуюся на шестьсот километров до северной границы Моря Дождей. Повернув к северу, мы оставили вершины Тимохариса несколько сзади, зато на северо-западе показался на краю горизонта отдаленный, утонувший в тени кольцевой вал Архимеда.

Мне вдруг почудилось, что мы вступаем в гигантские ворота, настезь распахнутые на равнину смерти. Безграничный, гнетущий ужас обуял меня снова. Невольно захотелось остановить машину, свернуть в скалы, лишь бы только не въезжать на эту широкую равнину, с которой — я был в этом уверен — нам уже не выйти живыми.

Видно, не только у меня возникло такое ощущение, остальные тоже мрачно глядели на простирающуюся перед нами каменистую пустыню.

Будбелл, угрюмо склонив голову и сжав губы, казалось, долго мерял взглядом просторы равнины, которым не видно было конца, потом медленно перевел глаза на стрелку манометра, прикрепленного к последнему резервуару со сжатым воздухом. Я невольно последовал его примеру. Стрелка в небольшом цилиндре опускалась все ниже — медленно, но безостановочно...

И вдруг страшная, чудовищная мысль сверкнула в моем сознании; воздуха не хватит на четверых, но, может, хватило бы на одного. С этим запасом воздуха один человек мог бы добраться к местам, где лунная атмосфера достаточно плотна, чтобы дышать, хотя бы нагнетая воздух с помощью насоса.

Эта гнусная мысль напугала меня, я хотел сразу прогнать ее, но она была сильнее моей воли и возвращалась снова и снова. Глаза мои были прикованы к стрелке манометра, а в ушах неотвязно звучало: для четверых не хватит, но для одного... Украдкой, как вор, я взглянул на товарищей и — страшно сказать — прочел в их горящих тревожных взглядах ту же самую мысль. Мы поняли друг друга Молчание, гнусное, угнетающее, воцарилось в кабине.

Наконец Томас потер рукою лоб и проговорил:

— Если мы хотим это сделать, нужно делать быстро, прежде чем запас иссякнет...

Мы знали, о чем он говорит; Фарадолф молча кивнул; я почувствовал, как пылает от стыда мое лицо, но промолчал.

— Будем тянуть жребий? — вновь проговорил Томас, с явным усилием выдавливая из себя эти слова. — Но... — тут голос его дрогнул и изменился, становясь мягким, молящим, — но... я хочу... просить вас... Пусть Марта... тоже... останется в живых.

И снова глухое давящее молчание. Наконец Педро пробормотал:

— Двоим не хватит...

Томас каким-то надменным движением вскинул голову:

— Тогда ладно, пусть будет, что будет! Так даже лучше.

С этими словами он взял четыре спички, обломал у одной головку и, спрятав их в кулаке так, что видны были лишь концы, протянул к нам руку.

Все это время Марта стояла в стороне и ничего не слышала. Она подошла к нам именно в то мгновение, когда мы протянули руки к спичкам, и внезапно спросила совершенно спокойным голосом:

— Что вы делаете?

А потом обратилась к Томасу:

— Покажи, что у тебя в руке...

И вынула из его руки эти спички, в которых был смертный приговор троем из нас, чтобы мог жить четвертый.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели ей помешать. Мы до корней волос побагровели от стыда. Эта девушка разоблачила нас в тот миг, когда мы собирались совершить отвратительное преступление, продиктованное эгоизмом, подлостью и трусостью. Мы переглянулись — и вдруг обнялись, разразившись судорожными, долго сдерживаемыми рыданиями.

Не было уже и речи о том, чтобы тянуть жребий. Взаимная ненависть, вызванная близостью и неизбежностью нависшей над нами смерти, сменился теперь чувством теплоты и задушевной откровенности. Удивительное, безграничное умиротворение снизошло на нас. Мы сели рядом — Марта своим гибким упругим телом прижалась к Томасу — и вполголоса, от всего сердца говорили о всем том, что некогда было дорого нам на Земле. Каждое воспоминание, каждая мелочь приобретали теперь огромное значение: мы знали, что этот разговор — прощание с жизнью.

А машина тем временем неустанно мчалась на север через безграничную равнину смерти.

Проходили земные часы и сутки; все ниже падала стрелка манометра, но мы уже были спокойны — мы смирились с судьбой. Мы разговаривали, ели, даже спали, словно ничего не случилось. Я только чувствовал странное, болезненное сжатие возле сердца и в горле: пытаешься забыть огромную утрату и не можешь.

К полудню мы находились уже между 31 и 32 параллелями. Зной, хоть и весьма сильный, не терзал нас, как накануне, потому что на этой широте Солнце поднимается над горизонтом всего лишь на неполных шестьдесят градусов. Земля, все так же висящая в южной части неба, была в фазе полноземлия, когда диск Солнца, коснувшись пламенного кольца земной атмосферы, начал медленно скрываться за ней.

Нам предстояло увидеть почти двухчасовое затмение Солнца, которое люди на Земле наблюдают как затмение Луны.

Яркое кольцо земной атмосферы, когда его коснулось Солнце, превратилось в венец из кровавых молний, охвативший громадное черное пятно — единственный участок неба, где не сверкали звезды. Около часа понадобилось Солнцу, чтобы зайти за этот чернеющий среди пламени круг. Тем временем венец разгорался все багровей и шире. В тот миг, когда Солнце исчезло, сияние венца было уже столь ярким, что в его оранжевом полусвете призрачно проступали очертания местности. Черное пятно Земли зияло теперь будто отверстие гигантского колодца, вырытого в звездном небе; багово-огненный ободок, окаймлявший его, далее переходил в красные, оранжевые и желтые тона, расплывался широкими кругами и постепенно таял в слабом бледном свечении на черном фоне. А из-за пламенного венца стремились на запад и восток два снопа лучей, как два фонтана золотистой пыли, — то был зодиакальный свет, который виден при затмениях.

Тем временем все вокруг из оранжевого стало багровым, словно кто-то залил кровью мрачную пустыню перед нами.

Нам пришлось остановиться — в этом тусклом багровом полумраке невозможно было найти дорогу. Вместе с темнотой вернулся мучительный холод. Укутавшись и прижавшись друг к другу, мы ждали появления Солнца. Над нами в несказанном великолепии все пылал сверкающий рогатый венец многоцветных лучей — и вдруг собаки принялись выть, сначала тихо, а потом все громче и все тоскливей. От этого воя пошла по спине ледяная дрожь, вспомнилась ночь

перед кончиной О'Теймора, когда Селена вот так же вышла, встречая смерть, вступавшую в нашу машину. И по контрасту с великолепием небосвода еще резче ощутили мы безмерно ужасную безнадежность нашего положения; казалось, будто весь этот небесный фейерверк зажегся в насмешку над умирающими, на которых Солнце глядеть уже не хотело.

Воздуха в резервуаре оставалось всего часов на двадцать.

Два часа спустя край Солнца появился из-за черного диска Земли, а сверкающий ореол сузился и потускнел. Вид Солнца сначала даже удивил меня — настолько я уже свыкся с этой багровой ночью, настолько ощутил в ней предвестницу иной ночи, глубокой, вечной, в которую мы уйдем, так и не дождавшись света, что зарождающийся день показался мне чем-то непонятным. А потом вдруг — не знаю откуда — родилась во мне надежда, словно с появлением Солнца нас должно было спасти какое-то чудо.

— Мы будем жить! — воскликнул я так внезапно и так убежденно, что все обернулись ко мне с выражением недоумения и надежды.

В эту минуту произошло нечто странное. Из ящика, в котором был спрятан бесполезный теперь телеграфный аппарат, послышалось постукивание. Мы не верили собственным ушам, но стук доносился все явственней. Мы бросились к ящику и, открыв его, убедились, что аппарат действительно стучит, будто принимая идущую откуда-то депешу. Но тщетно пытались мы разобраться в ее смысле. Видимо, что-то испортилось или перепуталось, мы смогли уловить лишь несколько отдельных слов: «...Луна... через час... от центра диска... под углом... да... Франция... те... а если... смерть...»

Мы были поражены до крайности. Фарадоль метнулся к аппарату и простучал:

— Кто передает?

Мы ждали минуту — никакого ответа. Педро снова повторил запрос и снова, но безрезультатно. Аппарат замолчал, и стук уже не возобновился.

В абсолютной тишине прошло полчаса и уже начинало казаться, что все случившееся было какой-то непонятной галлюцинацией.

Солнце вышло из-за края Земли и застыло в небе рядом с ней. Зной снова усиливался.

И тут что-то мелькнуло в лучах Солнца и сверкнуло перед нами, и в ту же минуту почва под ногами дрогнула, как стена, в которую ударило орудийное ядро. Вскрикнув от удивления и испуга, мы бросились к окну. Какое-то

металлически поблескивающее тело, отскочив от лунной поверхности, описало гигантскую дугу в пустоте, и вновь ударилось о грунт, и вновь отскочило — второй, третий, четвертый раз, чудовищными скачками уносясь на северо-запад.

Не понимая, что это такое, мы застыли в изумлении, и вдруг Педро крикнул:

— Это братья Ремонье!

Внезапно мы поняли все! Ведь прошло ровно шесть земных недель с того часа, как мы упали на поверхность Луны, — это тот срок, после которого вслед за нами должна была отправиться вторая экспедиция. Видимо, наш телеграфный аппарат стучал, принимая депешу, которую братья Ремонье посылали на Землю, приближаясь к Луне. Быть может, он и раньше стучал, но слабее, и звук внутри ящика, где он находился, не привлек нашего внимания. Видимо, и братья Ремонье, занятые в последние минуты приготовлениями к спуску, тоже не услышали нашу передачу.

Все эти мысли молниеносно проносились в моем сознании, пока мы с лихорадочной поспешностью запускали мотор. Мгновением позже мы уже мчались на полной скорости в ту сторону, где исчез снаряд. Одна мысль, заслонившая в этот миг все остальное, владела нами: у братьев Ремонье есть воздух!

Менее чем за полчаса добрались мы до места, где после многократных скачков замер наконец снаряд наших друзей.

Страшное зрелище представилось нашему взгляду: среди обломков разбитого снаряда лежали два окровавленных, изуродованных трупа.

Как можно быстрее натянув гермокостюмы и наполнив их остатками воздуха, мы выскочили из машины, дрожа от волнения, которое порождалось — что скрывать! — не столько ужасной гибелью друзей, сколько опасением, не повреждены ли резервуары с воздухом.

Два резервуара действительно лопнули и валялись пустые среди искореженных металлических плит, но остальные четыре остались невредимыми.

Мы были спасены!

На мгновение нами овладела безумная радость, так мало соответствовавшая тому, что нас окружало. Но мы ведь умирали вот уже триста пятьдесят часов кряду, а сейчас узнали, что будем жить!

Успокоившись насчет собственной участи, мы начали наконец раздумывать об участи, постигшей братьев Ремонье. Фактически то же обстоятельство, которое спасло нас, стало

причиной их гибели. Из-за чисто случайной неточности в расчетах они упали там, где находились мы, а не в центре лунного диска, за тысячу километров отсюда. Эта случайность снабдила нас запасом воздуха, а их убила. Ибо на этой широте они падали на лунную поверхность не вертикально, а под углом, так, что снаряд ударился о твердую почву боком, где не было защитной рамы, и, отскочив несколько раз, в конце концов разбился. Ужас охватил нас, когда мы представили себе, что то же самое могло случиться и с нами...

Тщательно укрыв трупы камнями, мы принялись разбираться в печальном наследстве. Выбирая из обломков все, что могло пригодиться, мы, конечно, прежде всего перенесли в нашу машину драгоценные резервуары со сжатым воздухом, потом продовольствие, запасы воды и некоторые не слишком поврежденные инструменты. С замиранием сердца искали мы телеграфный аппарат, надеясь, что он окажется достаточно мощным и мы сможем связаться с жителями Земли. Однако эта надежда оказалась тщетной, аппарат разбился при падении. Та же участь постигла большинство астрономических инструментов. Мотор, хоть и сильно поврежденный, мы все же взяли с собой.

Какое счастье, что медные воздушные резервуары не пострадали в этой ужасной катастрофе!

Забрав имущество несчастных Ремонье, мы немедленно двинулись снова на север, потому что зной, прерванный морозом во время затмения, теперь быстро усиливался и нужно было поскорей найти какую-нибудь тень.

Мы остановились лишь здесь, между небольшими кратерами С и Д.

Эти крутые конусообразные горки, почти соприкасающиеся подножиями, имеют, несомненно, вулканическое происхождение. Вся земля вокруг покрыта пленкой серы и в ослепительном солнечном свете отливает желтизной. Глубокие трещины, которыми изрыты склоны кратеров от вершин до подножий, представляют собой надежную защиту от жгучего зноя.

Мы спасены, но угнетенное состояние не оставляет нас. Невольно встают перед глазами жуткие искаленные трупы Ремонье. Мы никак не повинны в их смерти, но что-то гложет мою совесть: ведь эта смерть нас спасла...

Я устал от этих событий, устал от этих долгих записей. Нужно лечь и отдохнуть перед продолжением пути. Ведь тяготы, да, наверно, и опасности для нас еще не кончились.

Я сейчас взглянул на Селену, играющую со щенками. Они удивительно выросли за эти недели... Странно — ког-

да нам грозила смерть от удушья, мы готовы были принести в жертву троих, чтобы спасти четвертого, и никому не пришлось в голову избавиться от собак, которые тоже ведь потребляют много воздуха, и продлить тем самым время жизни, оставшееся — как мы думали — нам! Как это было бы страшно, если бы мы действительно вот так пожертвовали кем-нибудь, а собак сберегли только по забывчивости!

Ну, пока опасность миновала и лучше, что собаки уцелели. В своей звериной простоте они живее напоминают о Земле, чем мы сами можем напомнить о ней друг другу. Растроганно смотрю я на них... Мы так одиноки и так ужасно оторваны от Земли. Двух человек выслала она за нами, но нам довелось увидеть только их трупы. Как мы надеялись, что с прибытием братьев Ремонье обретем друзей, а заодно и возможность связи с Землей, а между тем они спасли нам жизнь, но зато мы приговорены к вечному одиночеству.

*На Море Дождей, 9° западной
лунной долготы, 37° северной
широты, вторые сутки, 152 ча-
са после полудня*

Почти сто часов, то есть около четырех земных суток, мы движемся по равнине, которой, кажется, нет конца. До самого горизонта — ни единой возвышенности, ни единой горной вершины, на которой мог бы остановиться взгляд, ничего. Это страшное однообразие угнетает и томит нас. На Земле я однажды путешествовал по Сахаре, но, воистину, по сравнению с окружающей нас пустыней Сахара кажется мне прекрасным и щедрым краем! В Сахаре то и дело встречаются гряды скал, волнистые песчаные возвышенности, за которыми нередко обнаруживаешь зеленые верхушки пальм, окруживших великолепный оазис; над Сахарой — голубое небо, которое серебрится на рассвете, сияет в полуденный час, румянится зарей или затягивается звездным покровом ночи; по Сахаре бродят ветры и, волнуя ее песчаное море, напоминают своим дыханием о жизни. Здесь ничего этого нет. Каменная равнина, изрытая неглубокими бороздами, искрошенная поверху солнечным зноем, однообразная, страшная, как это небо над головой, которое почти не меняется за триста с лишним часов! Ветер, лазурь, зелень, вода, жизнь — все это кажется отсюда милой, прекрасной, но неправдоподобной сказкой, услышанной или пережитой когда-то в детстве, давно, уже очень давно... По земному счету мы находимся на Луне неполных два месяца,

но нам кажется, что прошла уже вечность с тех пор, как мы покинули Землю. Постепенно мы привыкаем к новым условиям жизни; нас уже не удивляет окружающее — скорее уж удивляют воспоминания, которые шепчут, что там, на светлом шаре, висящем в сотнях тысяч километров от нас в черном небе среди звезд, есть страна, где мы выросли, такая непохожая на этот мир и такая прекрасная, такая несказанно прекрасная!..

Нет, люди не умеют ценить красоту Земли! Если б им довелось побывать здесь, они любили бы ее так же, как мы сейчас любим ее, потерянную навсегда, и вспоминали бы о ней в тревожных, горячечных снах, наполненных упорной и мучительной тоской... Так утомительны эти сны! Просыпаешься через несколько часов и видишь, что Солнце стоит в небе почти там же, где стояло, когда ты засыпал, что машина, безостановочно мчась, все так же далека от горизонта, остается в центре все той же пустыни, и начинает казаться, что нет ни времени, ни расстояния, а есть лишь безмерность и вечность.

Чтобы развлечься, чтобы не сойти с ума в этой пустыне, мы подолгу рассказываем друг другу всевозможные истории или читаем взятые с Земли книги. У нас есть книги по естествознанию, обширная история цивилизации, несколько великопнейших поэтов и Библия. Особенно часто мы читаем Библию. Обычно Вудбелл раскрывает ее и выразительно, звучным голосом читает Книгу Бытия или Евангелие...

Мы внимаем тому, как Бог сотворил Землю для человека, чтобы он ступал по ней, и Луну, чтобы было светло по ночам, как он повелел ночи приходить вслед за днем, как изгнал Адама из цветущего рая в пустынный, бесплодный мир, как пришел на Землю Спаситель, чтобы искупить грехи человеческие, как он ходил с толпой верующих по благовонным полям и зеленым холмам Галилеи, как страдал и умер; слушаем все это, глядя на Землю, подобную серебряному серпу на черном бархате небес, мчась по пустынной страшной равнине, под Солнцем, которое ползет лениво и забывает отмечать для нас дни и ночи...

Марта всей душой погружается в эти рассказы, а когда Томас окончит чтение, задает ему разные, порой довольно странные вопросы... Она все приспосабливает к нашему здешнему положению. Недавно она сказала Томасу: «Мы с тобой здесь, как Адам и Ева». Действительно, они здесь — первая человеческая пара, изгнанная с Земли в пустыню, как некогда были изгнаны из рая первые люди. Но мы с Педро, кто же тогда мы с ним? Нечто противоестественное

вижу я в нашем теперешнем существовании: смысл жизни Марты и Томаса заключен в них самих, но мы — зачем живем мы?

Мне вспоминается, что мы говорили на Земле, собираясь в этот заоблачный путь: мы отправляемся туда во имя познания! Теперь я вижу, что одно лишь познание не удовлетворяет человека, если он не может закрепить его результаты и передать другим. Мы видим такие чудеса, каких не видел еще ни один человек от сотворения мира, и с удивлением замечаем, что относимся к ним весьма равнодушно — ибо нам некому рассказать об увиденном! И поэтому же невольно мы не исследуем многое из того, что могли и должны были бы исследовать... О, если б у нас была возможность общаться с Землей! Без этого наша жизнь бессмысленна. Счастливый Томас, счастливая Марта! Они живут друг для друга!

Какая-то лихорадка жжет меня, когда я смотрю на них, думаю о них. Прожив на Земле тридцать шесть лет, я принадлежал к числу тех, признаю теперь, безумцев, для которых существует лишь тоска по истине. Теперь я тоскую по великой тайне человеческой жизни, которая заключена в женщине, и по тому священному безумию, в облике которого является человеку эта тайна, — по безумию любви.

До чего смешно выглядят эти слова, когда они написаны на бумаге! Я одинок и буду одинок до самой смерти, которая придет и задушит меня вместе с этой нерастраченной жизнетворящей мощью, вместе с этим бесполезным знанием, подобным роднику, бьющему среди неприступных и бесплодных скал...

Марта... Сам не знаю, почему вдруг написал я это имя. Что мне до этой прекрасной, словно молодой проворный зверь, полудикой малабарки, которую загнала в этот мир, удаленный на сотни тысяч километров от Земли, не благороднейшая жажда постижения тайн, а обычная глупая любовь к мужчине?

Да, мне нет до нее дела, и все же я думаю о ней непрестанно, упорно, даже мучительно. Нас трое мужчин, сильных и умных, и все же не мы перенесли в этот мир человека, а она — эта глупая, слабая женщина. Лишь один из нас что-то значит — тот, которого она выбрала...

А мы двое — ничто и, по существу, только служим этой паре своим мозгом, как рабочая скотина — мышцами.

Как это несправедливо, если вдуматься. Почему он, почему только он, почему именно он?

Марта говорила на Земле, умоляя нас взять ее с собой: «Я буду вашей рабыней». А по существу, это мы ее рабы, хотя она нам никогда ничего не приказывает и мы не стараемся ей служить. Мы ее рабы по той весьма простой причине, что невольно, хоть и по-разному, служим той цели, которую она одна может осуществить: создать здесь новое человечество.

Ого, куда меня занесли мои мысли! Стоило лишь призраку смерти исчезнуть с моих глаз, а уж я по старому земному человеческому обычаю размечтался о будущем, которое, возможно, никогда и не наступит. Человечество, новое человечество! А тут вокруг нас пустыня, а тут мир безвоздушный, безводный и мертвый. Луна пока ничего нам не дала, мы все еще живем той частицей Земли, которую взяли с собой. У нас вообще нет доказательств, которые убеждали бы нас в том, что здесь можно найти условия для жизни. Мы прошли вот уже несколько сотен километров, так и не заметив никакой разницы ни в рельефе местности, ни в плотности атмосферы. Воздух всюду разрежен до такой степени, что даже днем не может затмить звезды и окрасить голубизной черное небо; на скалистой поверхности нигде не видно следов воздействия воды.

И все же мы не теряем надежды. Почти все наши разговоры начинаются исполненными веры словами: «А когда мы уже доберемся до той стороны... Какая она будет, та сторона?» Мы знаем об этом так же мало, как в ту минуту, когда отправлялись с Земли, то есть ровно ничего не знаем.

Под Тремя Головами, 7°40' западной лунной долготы, 43°6' северной широты, перед полночью вторых суток

Мы стоим у подножия горы, вздымающейся в северной части Моря Дождей и совершенно не похожей на все возвышенности, встречавшиеся нам до сих пор. Свет Земли, поднятой здесь лишь на сорок с небольшим градусов над горизонтом, косо падает на скалы, напоминающие гигантский готический храм или сказочный замок великанов.

Ночной свет здесь много слабее, чем там, где Земля стояла в зените; однако и при этом свете можно различать общие очертания. Это первая вершина, которая не имеет формы кольцевого кратера. Она похожа скорее на обломок развалин такого кольца, уничтоженного каким-то

ужасным стихийным катаклизмом или же медленным действием воды.

Да, мы уже говорим — действием воды, и хоть это всего лишь робкое предположение, но мы чувствуем такое радостное возбуждение, словно это уже истина... ибо если здесь была вода, то можно надеяться, что там, дальше, на той стороне, вода и сейчас есть; а если есть вода, то должен быть и воздух, пригодный для дыхания. Мороз, хоть и много слабее вчерашнего, все же мучительно угнетает нас, но, несмотря на это, мы вышли ненадолго из машины и в косом свете Земли исследовали окрестность, пытаясь найти что-либо, подтверждающее наши предположения. Ничего определенного мы не знаем, но несомненно, что эта гора создана иными силами, чем встречавшиеся до сих пор кольцообразные возвышенности. Прямо перед нами высится почти вертикальный склон, увенчанный тремя мощными зубцами, словно обломок циклопической крепостной стены с выступающими башнями. Мы назвали ее Тремя Головами. Стена тянется на северо-восток и обращена к нам черной, неосвещенной стороной. Только зубцы сверкают гранями, обращенными в сторону Земли, и выглядят как три серебряных шлема на черных головах. Сама гора выделяется на фоне неба лишь как черное пятно без звезд, усеявших остальную часть небосвода. Ее очертания угадываются так же, как на Земле угадывается ночью темная туча на темном, но звездном небе.

Мы движемся в абсолютном мраке, потому что гора заслоняет свет Земли. Дорогу можно различить только с помощью электрических фонарей. Это невероятно затрудняет путь. Каждый бугор отбрасывает длинную тень, и приходится продвигаться с величайшей осторожностью, чтобы не застрять в какой-нибудь неровности грунта или мелкой расселине, которые встречаются все чаще. По-видимому, мы немного успеем пройти за ночь, тем более что мороз, крепчающий перед рассветом, заставит нас, наверно, сделать привал. Хотелось бы добраться по крайней мере до вершины Пико, которая, судя по карте, находится в семидесяти километрах к северу от нас. По опыту мы знаем уже, что вблизи гор много теплее, чем на равнине. Мы объясняем это вулканическим характером многих из этих гор — там, должно быть, много ближе к поверхности проходят огненные русла лунной лавы.

После краткой остановки, необходимой для ремонта мотора, мы снова двинемся в путь. Приходится прервать записи, потому что во время езды о писании нечего и думать.

Неровности грунта и бесчисленные тени, которые от-

брасывает спустившаяся к горизонту Земля, заставляя всех нас быть начеку. Даже сон мы организовали теперь так, что один спит, а трое бодрствуют, чтобы не останавливать машину. Сейчас спит Марта. Я слышу ее ровное, спокойное дыхание, вижу в свете пригашенного фонаря ее лицо, выглядывающее из-под груды мехов. Ее губы чуть приоткрыты, будто в улыбке или поцелуе... Что ей снится сейчас?

А, глупости! Мы отправляемся.

*Третьи сутки, 30 часов после
полуночи, на Море Дождей,
9°14' западной лунной долготы,
43°58' северной широты*

Как странно, как странно все, что я вижу...

Почти в полночь мы двинулись от Трех Голов. Дорога была ужасающе трудная, мы то и дело попадали в тень небольших возвышенностей. В течение часа несколько раз пришлось останавливаться, чтобы разведать путь с помощью фонарей или измерить высоту звезд — наших единственных ориентиров. Равнина вокруг, перерезанная тенями, похожа на клубящиеся, слегка посеребренные сверху тучи. Ничего нельзя разглядеть, кроме общих очертаний. И все же... Может, именно поэтому...

За тридцать часов мы прошли всего сорок с лишним километров. И сейчас наконец добрались до странной серой полосы, напоминающей песчаную отмель. Она тянется на большое расстояние к северо-западу слегка изогнутой дугой, выделяясь более светлой окраской на темном фоне каменной пустыни. Насколько можно разглядеть при свете Земли, эта полоса кончается около диковинной группы скал, издали похожих на фантастические руины какого-то замка или города. Города?..

Мы направляемся по этой полосе: здесь дорога гораздо ровнее, чем усеянная камнями пустыня, а притом мы почти не отклоняемся от намеченного направления. Мы движемся довольно быстро, и эта группа скал, видимая издали, вырисовывается перед нами все более отчетливо. Можно уже ясно разглядеть отдельные камни, причудливо громоздящиеся друг на друга и поразительно напоминающие руины башен и зданий.

Не знаю, что и думать об этом. Стараюсь дать себе отчет... Нет! Это действительно слишком странно! Какой-то почти суеверный страх охватывает меня...

Неужели это...

Проклятье! Проклятье! Если мы потеряем Томаса... Он был и так страшно изможден болезнью, а теперь вновь... Боже! Спаси его, потому что мы уже... Этот город мертвецов...

*59 часов после полуночи, на
Море Дождей под Пико,
9°12' западной лунной долготы,
45°27' северной широты*

Собираюсь с мыслями... Надо наконец записать это.

Помню, я прервал записи и, глядя на загадочные руины или нагромождения глыб, невольно воскликнул:

— Но ведь это действительно похоже на город!

Томас, который все время стоял у окна и с возрастающим интересом разглядывал скалы, быстро обернулся. Он был явно взволнован.

— По-моему, ты прав, — сказал он серьезно, с легкой дрожью в голосе. — Это действительно может оказаться городом...

— Что?!

Мы бросились к окну.

Даже Педро остановил машину и отошел от руля, чтобы поглядеть на это диво. Томас протянул руку.

— Смотрите туда, направо, — сказал он. — Ведь это же явно развалины каменных ворот. Видны оба столба, и даже остаток арки еще сохранился вверху. Или там, в глубине, — разве это не башня, только полуразрушенная? А тут, смотрите, какое-то большое здание, впереди низкая колоннада, а по бокам две усеченные пирамиды... Ручаюсь, что вот это ущелье, кое-где заваленное глыбами, когда-то было улицей. А сейчас все это разрушено и мертво... Мертвый город.

Я не могу выразить чувства, которое овладело мной.

Чем дольше я вглядывался, тем больше склонен был поверить, что Томас прав. Взгляд мой находил все новые башни, арки и колонны, обломки разрушенных оград, улицы, перегороженные развалинами зданий. Свет Земли серебрил эти фантастические руины; они возникали из черного озера тьмы таинственно, как привидения. Смутный страх наводили они. Словно лунные Помпеи или Геркуланум, только не выкопанные из-под пепла, а скорее сами в пепел рассыпающиеся, и еще более страшные, громадные, более мертвые в этом жутком одиночестве, в этом призрачном свете.

Фарадоль пожал плечами и пробормотал:

— Да, эти скалы действительно очень похожи на развалины... Но ведь здесь, на Луне, никогда не было живых существ.

— Кто знает! — возразил Томас. — Сейчас на этой стороне Луны нет ни воды, ни воздуха, но, возможно, они были тут когда-то, столетия, тысячи столетий назад, когда Луна вращалась быстрее и Земля всходила и заходила на ее небе...

— Это возможно... — шепнул я в раздумье.

— Мы нигде не встретили следов эрозии, — сказал Педро. — А это доказывает, что воды здесь никогда не было; значит, не было и воздуха, а стало быть, и жизни.

Вудбелл усмехнулся и, протянув руку, показал на почву под колесами машины:

— А этот песок? А Три Головы, которые мы миновали недавно? Ведь они же выглядели, как остатки размытой горы. Нельзя утверждать, что здесь никогда не было воды. Может быть, все, что она создала, уничтожено и стерто многовековыми морозами и зноем...

Некоторое время в кабине царило полное молчание, потом Вудбелл вдруг сказал:

— Мне кажется, перед нами самая любопытная загадка из всех, какие мы могли встретить на Луне. Надо ее разгадать.

— Что же ты предлагаешь? — спросил я.

— Да просто подъедем к этим развалинам и осмотрим их.

Меня почему-то мороз пробрал. То не был страх, но было нечто очень на него похожее. Эти развалины — зданий или все же скал — казались белыми скелетами среди необъятной пустыни.

Педро тоже неодобрительно пожал плечами:

— Странные причуды! Не стоит тратить время, чтобы разглядывать скалы, которые при свете Земли действительно слегка напоминают здания, только и всего.

Мы все-таки повернули машину к развалинам. Марта всматривалась в них напряженно и с явным беспокойством.

— А если это город мертвых, построенный мертвецами... — прошептала она, когда всего уже два километра отделяло нас от аркады, образующей вход в это странное место.

— Город мертвых... очевидно, — сказал улыбаясь Томас, — но поверь мне, что строили его когда-то живые.

— Или силы природы, — добавил Педро и в тот же миг резко затормозил машину.

Мы бросились к нему посмотреть, что случилось. Песчаная гряда кончалась как раз в этом месте, а дальше все

было так завалено каменными глыбами, что нечего было и пытаться в машине приблизиться к городу. Томас, увидев это, задумался, но потом воскликнул:

— Я пойду пешком!

Сами не понимая почему, мы сразу же единодушно приняли отговаривать его.

Неужели это было предчувствие?

Однако он в конце концов настоял на своем. Педро чертыхнулся сквозь зубы и пробормотал, что это полнейшее сумасбродство — тратить время и выходить из машины на жгучий мороз ради пустой химеры. Я предложил сопровождать Томаса, но, когда он отказался, я не стал настаивать. По сию пору не знаю, что меня, собственно, удержало — то ли боязнь холода, то ли это странное, необъяснимое и тягостное ощущение какого-то страха перед мертвыми развалинами. Так или иначе, я не пошел с Томасом — и свершилось ужасное.

Выйдя из машины, Томас прямоком двинулся к причудливо громоздящимся развалинам. Стоя у окна, мы видели его в свете Земли, как на ладони. Он шел медленно, часто наклонялся, видимо исследуя почву. На мгновение исчез в тени небольшой скалы, потом мы увидели его вновь, но уже значительно дальше. И тут случилось нечто непонятное. Вудбелл, пройдя примерно треть пути, выпрямился и стал как вкопанный, и вдруг, повернувшись, отчаянными скачками кинулся обратно к машине.

Мы смотрели, ничего не понимая. В нескольких шагах от машины он споткнулся и упал. Видя, что он не поднимается, мы оба, уже охваченные тревогой, бросились к нему на помощь. Мы вышли не сразу — ведь нужно было надеть гермокостюмы. Наконец, управившись с ними, мы выбрались наружу. Томас лежал без сознания. Не время было соображать, что с ним случилось, — мы схватили его на руки и как можно быстрее внесли в машину.

Когда мы сорвали с него гермокостюм, нам представилось жуткое зрелище. Набрякшее и посиневшее лицо Томаса все было залито кровью, хлынувшей изо рта, из ноздрей и ушей; на отекавших руках и на шее тоже проступали капли крови, хотя ран мы нигде не обнаружили.

Марта дико закричала и бросилась к нему — только силой удалось Фарадолю удержать ее и немного успокоить. Я тем временем принялся приводить несчастного в чувство. Сначала мы думали, что его сразил апоплексический удар, но, когда Педро осмотрел сброшенный гермокостюм, нам открылась истинная причина обморока. В первую минуту мы не заметили, что стекло в маске было разбито. Видимо,

это случилось, когда Томас споткнулся и упал. Тогда воздух улетучился из гермокостюма. Прежде чем мы успели добежать, почти весь запас воздуха в резервуаре иссяк. Это вызвало кровотечение и обморок. Но пока оставалось загадкой, почему Томас так бежал.

Прошло довольно много времени, прежде чем нам удалось соединенными усилиями привести его в чувство. Первым признаком возвращающейся жизни был судорожный, глубокий вздох, после чего кровь снова хлынула из рта. Затем Томас открыл глаза и, часто, тяжело дыша, окинул нас безумным взглядом, видно, не понимая, что с ним происходит. Вдруг он пронзительно вскрикнул, протянул руки, словно отталкивая что-то, и снова потерял сознание. Мы опять привели его в чувство, но сознание к нему так и не вернулось: у него началась горячка, которая, кажется, предвещает длительную болезнь.

Уложив больного как можно заботливей в гамак, мы двинулись в дорогу. Так встревожены мы были страшным происшествием и так горели желанием поскорей выбраться из зловещих мест, что никто уже не думал о диких скалах или таинственном городе.

Через двадцать с лишним часов мы наконец добрались до склонов Пико, где и стоим сейчас. Мы задержимся здесь до рассвета.

Состояние Вудбелла остается по-прежнему опасным. Кровотечение, правда, уже прекратилось, но горячка все усиливается. Временами он вскакивает, мечется, будто хочет бежать, бредит, выкрикивает непонятные фразы, в которых часто повторяются имена несчастных братьев Ремонье. За этими приступами следует полнейшее изнеможение. Томас становится тогда мертвенно-бледным, будто во всем его теле не осталось ни единой капли крови.

Мы встревожены всем этим до чрезвычайности. Марта сходит с ума от тревоги и горя, но старается владеть собой, понимая, что ее помощь нужна больному. Мы всячески утешаем ее, скрывая собственные опасения...

Во всем этом страшном происшествии кроется какая-то тайна. Не могу понять, что вынудило Томаса к отчаянному бегству, которое, собственно, и стало причиной несчастья. Это ведь ясно, что маска разбилась только при падении. Теперь я жалею, что мы не догадались выйти из машины и осмотреть дорогу, по которой он прошел. Может, в этом был ключ к загадке — что могло так устроить Томаса? Ибо что-то уж там было, что-то произошло! Кто-кто, а уж Томас, который проявлял такое самообладание и трезвость в самых отчаянных положениях, не поддался бы беспричин-

ному страху. Но что его испугало? Что вообще могло его испугать в этом мертвом море?.. Он не прошел и полпути к воротам этого мнимого города мертвецов...

Под Пико, 148 часов после полуночи

Наконец-то мы вздохнули спокойней: кажется, нам удастся сохранить жизнь Томаса. Сейчас он уснул — это признак того, что кризис уже миновал. Мы стараемся двигаться как можно тише, даже говорим только шепотом, чтобы его не разбудить. Хочется верить, что этот сон его спасет.

Только бы собаки не залаяли, ведь сейчас разбудить Томаса — это значит убить его. Мы по очереди непрерывно дежури́м около собак, если какая-нибудь из них залает, мы тотчас вышвырнем ее из машины. На наше счастье, собаки ведут себя спокойно. Селена, любимица Томаса, уселась недвижимо возле его гамака, словно на страже, и не сводит глаз со своего больного хозяина. Я убежден, что это разумное животное отлично понимает состояние своего господина. В ее глазах столько жалости и тревоги... Когда кто-нибудь из нас приближается к больному, она тихонько ворчит, будто предупреждает, что охраняет его и не даст в обиду, а затем машет хвостом в знак того, что верит в наши добрые намерения и радуется нашей заботливости.

По ту сторону гамака сидит Марта. Вот уже сто часов, как она молчит. Разжимает губы лишь для того, чтобы договориться с нами об уходе за больным. Не могу представить себе большей скорби. Она не плачет, не жалуется, нет, она спокойна, но в этом спокойствии, в этих сжатых губах и сухих, широко раскрытых глазах есть нечто такое страшное, что глянешь — и прямо сердце разрывается.

Мы ощущаем какое-то невольное уважение к ней и к ее скорби. Хотелось бы утешить ее, вдохнуть в нее бодрость и надежду, но мы просто не решаемся ни приблизиться к ней, ни заговорить. И она глядит на нас с удивительным безразличием; видимо, она замечает нас лишь постольку, поскольку мы помогаем ей спасать Томаса. Кажется, что помимо этого мы для нее вообще не существуем.

Под Пико, на рассвете третьего дня

Самая высокая вершина Пико уже засверкала на солнце; через три-четыре часа и здесь, внизу, наступит день. Всю ночь серебрился перед нами в сиянии Земли отвесный

склон могучей горы; теперь эта стена посерела и потемнела по контрасту с сияющей вершиной.

Подобно Трем Головам, Пико не кратер, а скорее огромный обломок разрушенного горного кольца. Мы стоим под самым высоким из его зубцов, вздымающимся на северо-западе. Обрывается он здесь к долине почти отвесно и кажется еще выше оттого, что вокруг простирается равнина. Кружится голова, когда смотришь снизу на этот пик высотой в две с половиной тысячи метров.

Трудно понять, какие силы разрушили ту кольцевую гору, от которой остался только этот пик. Возможно, тут были мягкие породы, и они раскрошились от перепадов температуры, а может быть, их размыва вода?

Второй уже раз за время пути делаем мы такое предположение. Здесь в его пользу говорит и то обстоятельство, что нигде не видно вала из обломков скал, который должен был бы возникнуть, если бы эти горы разрушились под воздействием мороза и зноя. Там, где некогда вздымался, надо полагать, хребет горного кольца, смутно виднеется в свете Земли невысокий сглаженный вал. Невзирая на страшный холод, Педро выбежал наружу, чтобы исследовать почву. Он не смог пробыть там долго, но принес осколок камня, удивительно похожего на осадочную породу. Когда взойдет Солнце и осветит окрестность, нам, может быть, удастся выяснить что-нибудь.

Томас спит уже почти тридцать часов подряд. Это снится с нас часть забот, но, с другой стороны, такой долгий сон начинает нас тревожить. Страшно глядеть на это мертвенно-бледное лицо. Глаза закрыты, запавшие щеки обтянуты желтой, почти прозрачной кожей, губы спеклись и обескровлены. Он лежит неподвижно, только ребра чуть поднимаются от слабого дыхания. Временами мне кажется, что передо мной не живой человек, а мертвец. Хоть бы он наконец проснулся!

Марта, по-прежнему молчаливая, не отходит от его постели; побежденная изнеможением, она даже и засыпает так, сидя. Но сон ее длится не долго; она тут же просыпается и вновь глядит на Томаса широко раскрытыми глазами, словно хочет излечить его своим взглядом. Я начинаю всерьез беспокоиться за ее здоровье. Не хватает еще, чтобы и она расхворалась. Но все наши уговоры бессильны. Только с большим трудом нам удастся заставить ее поесть. Меня тревожит, что будет, если Вудбелл не проснется до рассвета? Мы хотели бы сразу же двинуться в путь, но боимся прервать его сон. Первоначально мы собирались повернуть от Пико на восток, чтобы обойти цепь Альп, замыкающих

Море Дождей с северо-востока, но в конце концов решили направиться прямо на север к громадному цирку Платона. Педро, детально изучив карты, утверждает, что нам удастся перевалить через это кольцо прямо на Море Холода, за которым находится горная страна, простирающаяся до самого полюса. Это значительно сократило бы нам дорогу.

*На Море Дождей, 10° западной
лунной долготы, 47° северной
широты, 20 часов после восхода
Солнца третьего дня*

Наконец-то мы приближаемся к границе необозримого Моря Дождей, для перехода через которое нам потребовалось почти два месяца. Здесь это два дня, но там, на Земле, Луна за это время дважды прошла все фазы — дважды сияла круглым диском и дважды исчезала в новолунии.

Вот уж часов пятнадцать, как появился из-за горизонта мощный вал цирка Платона. Его восточная часть уже сияет на солнце как громадная белоснежная стена на темном небе; на западе еще царит ночь, и только самые высокие вершины пылают в той стороне, словно факелы в ночи. Решительно, это самое великолепное и самое грандиозное зрелище из всех виденных нами до сих пор; мы, однако, так обеспокоены здоровьем Томаса, что почти не обращаем внимания на окружающее.

Томас проснулся на рассвете. Какое-то время он ошеломленно смотрел на нас, потом попытался сесть, однако сил не хватило. Он беспомощно откинулся назад, но Марта поддержала его и помогла сесть. Я сейчас же подбежал спросить, не нужно ли чего; Педро в это время стоял у руля машины.

Сначала Томас удивился, что уже настал день. Он не помнил ничего о своей болезни, забыл даже о том происшествии, с которого она началась. Я напомнил ему; он задумался, видимо припоминая, а потом вдруг побледнел — если можно это сказать о человеке и без того мертвенно-бледном, — и, закрыв глаза рукой, начал тревожно повторять:

— Это... было ужасно, ужасно!

Он содрогнулся.

Когда он немного успокоился, я попытался осторожно расспросить, что привело его в ужас и вызвало бегство, роковое по своим последствиям, но все мои старания были безрезультатны. Он упорно молчал или отделялся бессвяз-

ными словами, и в конце концов я прекратил этот бессмысленный допрос, увидев, что только утомляю и мучаю Томаса. Вместо этого мне пришлось рассказать ему со всеми подробностями, в каком состоянии мы его нашли и как протекала болезнь. Он внимательно слушал, негромко вставляя по временам медицинские термины по-латыни, допытываясь о самых незначительных деталях и симптомах и, выслушав все, наконец сказал мне со странным спокойствием, даже слегка улыбаясь:

— Знаешь, я, кажется, умру.

Я живо и решительно запротестовал, но он только покачал головой:

— Я ведь врач и сейчас, когда нахожусь в сознании, смотрю на свою болезнь с профессиональной точки зрения. Я только диву даюсь, что до сих пор жив. Ты говоришь, при падении разбилось стекло в маске. Я не погиб сразу лишь потому, что вы быстро пришли на помощь, раньше, чем воздух из резервуара успел просочиться через отверстие и улетучиться. Но из того, что ты рассказываешь о состоянии, в котором вы меня нашли, я заключаю, что воздух в моем гермокостюме все-таки был уже, по-видимому, крайне разрежен, и поэтому кровь под давлением изнутри начала выходить не только через рот и нос, но даже через поры тела. Если б вы опоздали еще на несколько секунд, то застали бы только бескровный труп. Вообще удивительно, что при такой страшной потере крови мне удалось пережить многодневную горячку. Впрочем, она, конечно, не могла быть очень сильной — с чего бы? — при такой потере крови и такой слабой деятельности сердца. Так или иначе, горячку я выдержал и живу, но это вовсе не значит, что выживу. Во мне нет крови. Смотри, пульс почти не прощупывается; коснись груди — слышишь, как бьется сердце? Еле-еле. На Земле я, может быть, справился бы с этим, но здесь нет условий...

Он устало замолчал и прикрыл глаза. Мне показалось, что он вновь засыпает, но это было не так. Опершись о подушку, он глядел из-под полуприкрытых век на Марту, занятую приготовлением лекарства, которое он только что сам себе прописал. Невероятная, бесконечная тоска была в этом взоре. Он шевельнул губами, потом тихо произнес, глядя мне прямо в глаза:

— Вы будете добры к ней? Правда?

Судорожная боль сжала мое сердце, и в то же время мне почудилось, что какой-то наглый, мерзкий голос шепчет на ухо: когда он умрет, Марта достанется одному из вас, быть может, тебе...

Я опустил глаза, стыдясь самого себя, но Томас словно бы успел уже прочесть эту мысль на моем лице, хотя, клянусь богом, она мелькнула всего на мгновение!

Он усмехнулся с невыразимой скорбью и, протягивая мне мертвенную руку с тончайшими голубоватыми жилками под восковой кожей, добавил:

— Не сорветесь из-за нее. Оставьте ее... уважайте... уважайте...

Он не в силах был договорить. Замолчал, перевел дыхание и внезапно изменившимся жестким голосом сказал:

— В конце концов, я могу выжить. Вовсе не обязательно, чтобы я умер.

Я поспешно стал его уверять, что он выживет, но сам в этом сомневаюсь.

С тех пор прошло уже десятка полтора часов, но его состояние ничуть не улучшается; напротив, кажется, даже ухудшилось. Непрерывно повторяются приступы сердцебиения, удушье, обмороки. Не знаю, что будет дальше. Он стал вдобавок невероятно привередлив и раздражителен. Марта не может отойти от него ни на шаг; на нас он смотрит как на врагов.

Я еще несколько раз пытался узнать причину его таинственного бегства, но стоит мне об этом заговорить, как он тотчас умолкает, а в глазах появляется выражение такого страха, что у меня не хватает духу мучить его расспросами. Да и что это мне даст, в конце концов? Несчастье уже произошло — и хоть бы только на этом кончилось!

*Третьи лунные сутки, 66 часов
после восхода Солнца, вблизи
Платона, по дороге на восток*

Предположения Фарадоля оказались совершенно неверными. Переход в машине через центр кольца Платона абсолютно невозможен. Нам придется обогнуть горную цепь Альп, что крайне удлинит наш путь. Но ничего не поделаешь.

Миновало чуть больше тридцати часов с восхода Солнца, когда мы остановились под вершинами Платона, пройдя за это время около ста километров, правда, по исключительно ровному грунту.

Гигантское, около девяноста с лишним километров в диаметре, кольцо Платона расположено на северном крае Моря Дождей. К юго-востоку от него тянется хребет лунных Альп до самого Болота Туманов, через которое Море Дождей соединяется с Морем Ясности.

Только в одном месте этот хребет прорезан широкой поперечной долиной, едва ли не единственной на видимой стороне Луны, — она ведет к Морю Холода, которое нам нужно будет преодолеть по пути на полюс. К западу от Платона на необозримое расстояние тянется высокий и крутой полукругом изогнутый обрыв, в который вдается широкий Залив Радуг. Само кольцо Платона образовано горным валом, охватывающим внутреннюю территорию площадью около 7500 квадратных километров! Самые высокие вершины в восточной части вала достигают двух с половиной тысяч метров.

Внимательно изучив по карте все эти детали, мы заметили, что в южной части вала Платона, неподалеку от расположенного на нем небольшого кратера, хребет понижается и делается пологим, образуя нечто вроде широкого перевала.

План Педро состоял как раз в том, чтобы для сокращения пути пройти через этот перевал на внутреннюю равнину цирка, а затем пересечь ее в северном направлении и снова поискать проход на возвышенность, полого спускающуюся к Морю Холода.

Подойдя к склонам Платона, мы легко отыскивали место, отмеченное на карте. Нам помог в этом остроконечный кратер, торчащий над седловиной. Но мы не решились все-таки сразу пускаться через перевал в машине. Сначала надо было убедиться, что там действительно удастся проехать.

Оставив Вудбелла под опекой Марты, мы с Педро отправились вперед пешком. Машина должна была ждать нашего возвращения.

Поднимаясь все выше в гору, мы обошли с востока кратер в основании Платона. Дорога совсем не была такой легкой, как это казалось снизу. Нам встречались каменные россыпи и обрывы, которые приходилось огибать. Но мы видели, что машина сможет здесь пройти. Оба мы были в наилучшем расположении духа. Солнце, стоявшее еще невысоко над горизонтом, грело в меру, нам было тепло и легко; вокруг нас простирались поистине чудесные места! Склоны скал, рассеченные черными, как смола, тенями, переливались в ослепительном солнечном свете всей симфонией великолепных радужных красок. Мы ступали по сокровищам, за которые на Земле можно было бы купить королевства и троны: среди выветрившихся каменных глыб кроваво-рдели темно-красные рубины; малахитовые жилы издали походили на зеленые газоны; рассыпанные по ним топазы и ониксы сверкали, как чудесные цветы. Временами

из какой-нибудь трещины, куда проник луч солнца, взлетал радужный фонтан ослепительного блеска, подлинная оргия света, преломившегося в огромных призмах горного хрусталя.

Это неслыханное богатство, по странной прихоти природы сосредоточенное в одном месте, вначале ослепляло и ошеломяло нас, но вскоре мы так привыкли к этому зрелищу и к этим бесполезным сокровищам, что ступали по ним, как по заурядным камням.

Этот сказочный пейзаж оказал на нас, однако, свое чарующее воздействие: нам стало весело. Мы позабыли обо всех огорчениях и заботах, о болезни Томаса, о пережитых тяготах и несчастьях, об опасностях, которые нам еще грозят, даже о ненадежном будущем! Мы, как дети, радовались чудесному утру и изумительным пейзажам. К неудобным гермокастюмам мы уже вполне привыкли, а мысль об опасности, которой грозила нам окружающая пустыня, почему-то не портила отличного настроения, несмотря на недавнее происшествие с Вудбеллом. Пользуясь легкостью тел на Луне и силой своих земных неослабленных мышц, мы перемахивали через огромные каменные глыбы или прыгали с высоких обрывов.

Только необходимость торопиться несколько сдерживала эти взрывы беззаботного веселья. Продовольствие и воздух мы взяли с собой на сорок часов, а это было совсем немного, если учесть, что могли встретиться какие-нибудь непредвиденные трудности, которые заставили бы нас задержаться в пути.

Не прошло и десяти часов, как мы уже стояли на перевале. Перед нами открылся вид на таинственную внутреннюю область Платона. Северный вал кольца, отдаленный от нас почти на сто километров, виднелся вдаль как гигантская неровная пила с зубцами вершин. До самой этой зубчатой стены простиралась темно-серая равнина, гладкая, как застывшее недвижимое море. Лишь там и сям ее пересекали более светлые широкие полосы с кое-где разбросанными по ним низкими кратерами, походившими скорее на неглубокие котловины. У наших ног скалы обрывались к внутренней долине необычайно круто, не могло быть и речи о том, чтобы спуститься туда в машине.

Безнадежной тоской веяло от этого моря смерти. Трудно представить себе пейзаж, более неподвижный и мертвенно-оцепенелый. Даже скалы здесь будто не спускаются, а как-то замедленно и словно лениво стекают к глубинам, вершины вздымаются сонно, громоздко, и так угрюмы они в свете Солнца, будто поднялись с трудом, неохотно, —

лишь только потому, что им велено встать на страже и оградить эту ужасную пустынную и серую равнину.

Наша прежняя веселость исчезла без следа.

Удивительно, как влияет пейзаж на душу человеческую! Я долго глядел молча, не в силах оторвать глаз от этой пустыни, и сердце мое все сильнее сжимала печаль — сам не знаю, о ком и о чем... Таким все стало для меня безразличным, и утомительным, и не стоящим усилий, и такой вожаденной показалась мне Смерть-утешительница, которая ведь недавно, нависнув надо мной, таким чудовищным страхом наполняла душу.

Я чувствовал, что меня убивает этот пейзаж, я не мог его больше выносить, однако мне понадобилась вся сила воли, чтобы от него оторваться.

Я повернулся лицом к югу, к сияющему в небе серпу Земли. За вершинами кратера, который служил нам ориентиром при восхождении, а теперь лежал далеко внизу, простиралось передо мной Море Дождей. Огромная-огромная пройденная равнина! Я смотрел на нее так же, как некогда с перевала у Эратосфена, только тогда она еще лежала впереди, как неведомый путь к неведомой стране обетованной, а сейчас она уже была далеко позади...

Серая она была, мертвая и обширная, как и тогда, только вместо пылающих на солнце вершин Тимохариса и Ламберта здесь чернели передо мной укутанные теньями остроконечные вершины: Пико и дальше к востоку — Питон. Серп Земли стоял над этим морем, уже более близкий к горизонту, чем к зениту. И вдруг вся эта равнина показалась мне широкой дорогой, идущей от самой Земли. Какая страшная, какая тяжелая и дальняя дорога! Пока мы двигались по ней, дважды прошло над нами Солнце, словно огонь губительный и живой, и дважды окружал нас ледяной, нескончаемый мрак. А сколько сил, сколько страданий и опасностей! Спуск с Эратосфена, смертельный полуденный зной, а потом яростный мороз, а потом вновь призрак смерти, сопровождавший нас столько часов! А потом смерть братьев Ремонье, а потом несчастный случай и болезнь Томаса... Смертью О'Теймора началась наша дорога, но она еще не окончена.

Так я стоял, погруженный в эти печальные размышления и охваченный внезапной тоской по Земле, сиявшей над необозримой пустынной равниной, как вдруг возглас Фарадоля пробудил меня от задумчивости. Я стремительно обернулся, подумав, что вновь приближается какая-то беда, но Педро стоял рядом, невредимый, и только протягивал руку в сторону далекого северного вала Платона. Я поглядел туда

и увидел нечто, похожее на тающее облачко — нет! — едва лишь на тающую тень облачка, которая заслонила подножие гор, за секунду до этого видневшихся совершенно отчетливо.

Я вздрогнул, словно это не облако двигалось, а сами горы сдвинулись с места и шли на нас. Педро же что есть силы кричал в трубку:

— Это облако! Значит, там есть атмосфера, там есть воздух, там можно будет дышать!

Безумная радость звенела в его переполненных надеждой словах. Да, над этой равниной смерти, как я назвал ее в мыслях, нам забрезжил первый луч жизни. Конечно, это облако еще не означает, что человек может дышать в та-мошной атмосфере, но не подлежит сомнению, что воздух там плотнее, чем в пройденных ранее местах, если в нем могут рождаться облака и существовать хотя бы над самой поверхностью. Внутри Эратосфена дым кратеров сразу же оседал на землю, как песок.

Вдохновленные этим явлением, которое укрепляло нас в надежде найти на той стороне Луны, а может и раньше, достаточно плотный воздух, мы начали обратный спуск к Морю Дождей. Настроение у нас вновь улучшилось, хотя цели нашей мы, собственно, не достигли — не нашли пути через кольцо Платона. Спускаясь, мы обсуждали, что делать. Быть может, дальше на запад от Платона мы и нашли бы место, где можно взобраться на крутые склоны возвышенности, но нельзя нам рисковать. Ведь если бы это не удалось, нам пришлось бы пройти почти тысячу километров, чтобы обойти границу Моря Дождей с запада. Куда надежней было сразу повернуть на восток. Быть может, нам удастся прорваться по той поперечной долине, что пересекает хребет Альп. Но даже если это окажется невозможным, мы ненамного удлиним путь, обходя всю горную цепь с востока.

С этим решением мы и спустились в долину. Но каков же был наш ужас, когда мы не обнаружили машину на месте. Мы сначала решили, что сбились с пути; но нет, это было то самое место — отчетливо виднелись скалы, под которыми мы оставили машину. Забыв об усталости, мы бросились к ним, еще не доверяя собственным глазам. Машины не было. Мы искали следы колес, чтобы выяснить, в каком направлении искать ее, но на скалистой поверхности ничего нельзя было распознать. Отчаяние охватило нас. Продовольствие, которое мы взяли с собой, было уже съедено, воды оставалось совсем немного, а воздуха — на несколько часов. Фарадолъ принялся звать, позабыв, что

если кто и может здесь услышать его зов, то лишь я, соединенный с ним переговорной трубкой!

Мы пустились на поиски, исходили всю окрестность, потратив на это шесть часов, но нигде не нашли и следа машины. Голод уже начал нас терзать, вода кончилась, а запас воздуха был на исходе, когда мы вернулись на прежнее место после бесплодных поисков. Мы беспомощно опустились на камни в ожидании смерти. Фарадол громко ругался, а я в отчаянии ломал голову, пытаюсь понять, что могло их заставить двинуться с места до нашего возвращения...

И вдруг у меня мелькнула догадка: быть может, Томас бежал умышленно, обрекая нас на смерть под влиянием болезненной ревности, проблеск которой я ощутил, когда он говорил о своей смерти и о Марте. Ярость охватила меня. Я вскочил и хотел бежать, догнать его, отомстить, убить и тогда...

И тут шагах в десяти от себя я увидел Марту. Она неторопливо шла к нам, на ее лице за стеклянной маской была привычная уже печальная улыбка. Мы бросились к ней и закричали, перебивая друг друга. Марта спокойно смотрела на нас, а когда мы умолкли, охрипшие и оглушенные собственными голосами, она знаками показала, что ничего не слышит! Мы забыли про отсутствие воздуха. Вся наша злость вдруг испарилась, и мы расхохотались, показывая жестами, что хотим вернуться в машину. Марта повела нас — машина стояла невдалеке, за скалой, которая ее закрывала.

Лишь теперь все объяснилось. Вскоре после нашего ухода Солнце, описывая пологую дугу на небосводе, зашло за скалы и машина оказалась в тени. Томас начал дрожать от холода. Тогда Марта двинула машину и, обогнув скалу, остановилась с ее южной стороны, где грело Солнце. Мы ужаснулись исчезновению машины и искали ее вдалеке, нам и в голову не пришло заглянуть за скалу, тут же рядом. Марта видела нас из машины, однако решила, что мы пошли исследовать местность в другом направлении, и терпеливо ждала нашего возвращения. Только увидев, что мы вернулись вторично и почему-то не подходим к машине, она вышла узнать, в чем дело, по-прежнему не предполагая, что мы просто не можем ее отыскать! Все происшествие окончилось до смешного благополучно, хотя могло стать для нас роковым.

Вудбелла мы нашли в относительно хорошем состоянии. За время нашего отсутствия он лишь четыре раза терял сознание. Сейчас он много спокойней и говорит, что чув-

ствует себя лучше. Хотя по его мертвенно-бледному и жутко исхудавшему лицу этого не скажешь, но дай бог, чтобы так было. И без того хватит с нас жертв для начала.

Мы двинулись в путь согласно намеченному плану. Пока продолжаем двигаться на восток под громоздящимися все выше зубцами Платона. Скоро доберемся до хребта лунных Альп.

Нужно спешить изо всех сил — ради Томаса. Чем быстрее он окажется там, где сможет выйти из закрытой машины, свободно двигаться и дышать, тем вероятнее его спасение. Поэтому мы будем мчаться днем и ночью — лишь бы подальше от этой пустыни и поближе к полюсу, где, вероятно, начнутся места, не лишенные воздуха и воды.

Вблизи Альп, 3° западной лунной долготы, 47°30' северной широты, 161 час после восхода Солнца, третьи лунные сутки

Все меньше надежд на то, что нам удастся сохранить жизнь Томаса. Мы гоним машину во всю мочь, насколько лишь позволяет местность, но полюс все еще далек, а Томас тем временем тает у нас на глазах. Мы дрожим от тревоги и нетерпения, а в довершение всего полоса Альп, преграждающая дорогу, вынуждает нас двигаться на юго-восток, и вместо того, чтобы приближаться к желанному полюсу, мы пока удаляемся от него. Через десяток-полтора часов мы доберемся до устья Прямой Долины; только бы нам удалось повернуть по ней на север! Все так же высятся слева от нас отвесные склоны Альп, рядом с которыми наша машина кажется крохотной букашкой, ползущей под стеной гигантской крепости. С нетерпением ждем мы минуты, когда в этой стене откроются перед нами ворота, а за ними — скальный коридор в полтора-два километра длиной, ведущий к Морю Холода. Уже попадаются кое-где невысокие, но обрывистые скалы, торчащие, как столбы, на подходах к долине; это признак того, что мы действительно к ней приближаемся.

Вудбелл то и дело спрашивает, далеко ли еще до полюса. Ему хотелось бы поскорее быть там, а мы не прошли ведь еще и полпути от Залива Зноя. Страх меня берет, как подумаю об этом! Томас, видно, позабыл о расстоянии! Он говорит с тоской о полярных краях, о воздухе и воде, словно все это мы увидим не позже чем завтра, а ведь совершенно ясно, что лунное утро, хоть до него еще и далеко, не принесет нам

ничего подобного. Чем заметнее тают силы Томаса, тем крепче он верит в свое выздоровление. Он уже строит планы на будущее и думает о том, как сложится его жизнь с Мартой... Тревожит меня его уверенность; на Земле говорят, что это дурная примета для больного.

Марта терпеливо выслушивает все, улыбаясь своей всегдашней печальной улыбкой. Как она, наверное, страдает! Ведь не может же она не видеть, что Томас умирает.

В Прямой Долине, 82 часа после полудня

Какой-то внутренний голос шепчет мне, что все напрасно. Меня охватывает отчаяние, ибо я хочу, чтобы Томас жил, хочу тем пламенней, что у меня в мозгу будто вьется мерзкая, гнусная змея и наперекор моей воле нашептывает: «Если он умрет, Марта достанется одному из вас, может быть, тебе...» Нет, нет! Он должен жить, должен, а если он умрет — я знаю, за ним последует и Марта. Что тогда? Что тогда? Зачем мы останемся? Для чего?.. Некогда я сетовал, что мы оба служим этой паре, а теперь понимаю: это служение — единственный смысл нашего существования здесь. С их смертью начнется и наше умирание, ибо мы сами ничего из себя сотворить не можем, наша жизнь и наш труд не нужны будут никому, даже нам самим — зачем они нам? Зачем?..

Вот если б Марта после его смерти осталась в живых, если б так же прильнула губами к одному из нас — может, ко мне, — если б так же обвила руками, как сейчас Томаса... И мне кажется, будто огненный шар лопается в моей груди, перехватывая дыхание и разливая жар по всем жилам.

Прочь, прочь, подлая мысль! Да ведь этим избранником может оказаться и Фарадоль... Нет! Пускай лучше не будет этой женщины между нами! Я чувствую, как против воли начинаю ненавидеть Фарадоля и желать смерти Томасу... А она сидит спокойно и всматривается в лицо умирающего возлюбленного...

Вудбелл не хочет умирать, он так отчаянно сопротивляется смерти. То и дело — кажется, наперекор собственным мыслям — он принимается рассказывать о своей будущей жизни и требует от нас подтверждений. Мы подтверждаем, кривя душой; одна лишь Марта кивает с глубочайшей убежденностью и повторяет низким певучим голосом: «Да, ты будешь жить... ты мой...» И глаза ее при этом туманятся

страстью и упоением... Неужто она и вправду обманывается и думает, что этот высохший труп, без сил, без капли крови в жилах, может жить?

А все же — чего бы я не отдал, чтобы он жил!

В полдень мы решили не останавливаться. Прежде всего зной был не так страшен, как в предыдущие дни, потому что мы уже в высоких широтах; а, кроме того, из-за Томаса мы крайне заинтересованы в быстром продвижении. Мы проделали уже изрядный путь от склонов Платона. Сейчас находимся на середине Прямой Долины, к закату доберемся, по-видимому, до Моря Холода.

Около полудня, миновав разбросанные на равнине невысокие скалистые утесы, мы неожиданно оказались перед широким входом в долину. Отвесная стена Альп здесь изламывается и отступает к востоку, разорванная горловиной огромного ущелья. Море Дождей входит туда широким полукругом, постепенно сужаясь в долину. Вход в нее прегражден округло выступающей террасой, чем-то вроде скального яруса высотой в несколько сот метров. По другую сторону этого полукруга, словно опора ворот, величественно вознесся почти на четыре тысячи метров лунный Монблан.

Мы несколько колебались, прежде чем въехать в долину. Нас напугала эта терраса. Если на пути встретятся другие такие же, рассуждали мы, то путешествие мы не ускорим, а, напротив, затянем, потому что придется то и дело взбираться на крутые склоны.

Фарадолъ снова извлек фотографические снимки Луны. Они уже неоднократно подводили нас, в последний раз — на Платоне, но другого способа ориентироваться у нас не было. В конце концов, после недолгих размышлений, мы решились войти в долину. На решение наше повлиял и Томас. С упрямством больного, который не терпит возражений, он настаивал, чтобы мы повернули на север. Он ведь знает, что долгий путь в обход Альп через Болото Туманов несомненно убьет его.

Что сделала болезнь с этим человеком! Прежде решительный, сообразительный и хладнокровный, отличавшийся рассудительностью и несгибаемой волей, он стал теперь похож на капризного и упрямого ребенка. Он бранит нас за что попало, а потом начинает просить прощения и умолять, чтобы мы его спасли... Но уж лучше это, чем те периоды полного изнеможения, когда он целыми часами лежит навзничь, похожий скорее на мертвеца, чем на живого человека. В остальное время он говорит даже больше обычного, будто в звуках собственного голоса ищет подтверждения, что еще живет. Лишь если кто-нибудь из нас по рассеян-

ности помянет о том, что с ним случилось, он тотчас умолкает и начинает дрожать всем телом, изъясняя величайшее беспокойство. Тщетно я ломаю себе голову, что это за тайна...

Уже миновал полдень, когда мы остановились перед скальной террасой, преграждающей вход в долину. С большим трудом удалось нам отыскать дорогу, по которой можно на нее взобраться. Поднявшись наверх, мы еще раз оглянулись назад, на Море Дождей, которое отныне теряли из виду навсегда. Что до меня, признаюсь, что прощался я с этой равниной не без некоторой печали, хоть не видели мы здесь ничего, кроме тягот, страданий и отчаяния... Странно устроено сердце человеческое. Целых два месяца, от полудня до полудня, мы пробирались через эту равнину, горя одним лишь желанием — как можно быстрее пройти ее, а теперь я оглядывался на нее чуть ли не с тоской.

По долине мы продвигаемся довольно быстро и относительно легко. Широкие террасы больше не попадают, а возвышенности поменьше, не занимающие всю ширину долины, удастся обходить. Солнце сейчас стоит в небе так, что освещает всю долину. По обеим ее сторонам вздымаются мощные горные кряжи до четырех тысяч метров высотой. Долина, которая у входа имела в ширину более десятка километров, к северо-востоку постепенно сужается. Так и кажется, будто ее массивные стены сближаются, все сильнее сжимая нас. Такое впечатление, словно мы движемся в гигантском коридоре, по прямой линии прорубленном среди гор. Глядя вперед, видишь вдалеке выход из этого коридора — словно узкую и глубокую расселину в белых скалах, закрытую куском неба. Не знаю, может, обманывает меня зрение, но мне кажется, что это небо не такое уж черное, а звезды на нем не так многочисленны и сверкают слабее. Это означало бы, что на Море Холода существует более плотная атмосфера... И барометр наш тоже едва заметно поднимается. Только бы довести Томаса живым туда, где будет вдоволь воздуха!

*В Прямой Долине, 168 часов
после полудня, третьи лунные
сутки*

От восхода Солнца мы проделали уже пятьсот с лишним километров и приближаемся к выходу из долины. Широкая горловина в скалах все более сужается, а кряжи по обеим сторонам становятся все ниже. Зато выход из ущелья на Море Холода, отчетливо видимый теперь, будто расширяет-

ся по мере того, как мы приближаемся к нему, а утесы, обрамляющие его, словно растут на наших глазах. К закату мы снова выйдем на равнину — лишь бы только выйти всем вместе...

Какой мучительный крестный путь прошли мы сегодня! Вот уже много часов мы вздрагиваем от малейшего шороха, поглядывая на гамак, где лежит Вудбелл, — может, уже?.. Он угасает; в этом нет ни малейшего сомнения. Он лежит теперь тихий и спокойный и только смотрит на нас молящим взглядом, и взор этот говорит, что он жаждет, мучительно жаждет жить! А мы ничем не можем ему помочь.

Толчки и сотрясения при переправе через трещину еще больше повредили ему. Мы прошли уже почти две трети пути, когда примерно на 3° восточной долготы наткнулись на препятствие, которое едва не заставило нас вернуться на Море Дождей. Солнце стояло уже низко над горизонтом, и вся западная часть долины тонула в непроницаемом мраке, лишь некоторые места были едва заметно высвечены косыми и слабыми лучами Земли. Нам приходилось держаться подножия восточного вала, чтобы не заблудиться во мраке. Вал достигал здесь наибольшей высоты и громадной вертикальной стеной уходил в небо над нами, подобно отвесному обрыву Альпийского хребта, вдоль которого мы двигались до полудня.

И вот в этом месте мы вдруг заметили в сотне шагов впереди черную полосу, преграждавшую путь по всей ширине долины. Чуть заметный подъем помешал нам разглядеть ее раньше. Приблизившись, мы увидели, что это трещина, поперек прорезающая обе скальные стены и дно долины. Густая тьма заполняла ее по самые края, так что нельзя было судить о ее глубине. Тысячметровые стены гор были разорваны этой трещиной до самой подошвы.

В полном отчаянии мы остановились перед этим новым непреодолимым препятствием.

Мы, конечно, видели на карте эту трещину, пересекающую возвышенность между Морем Дождей и Морем Холода в юго-восточном направлении и идущую от самого северного склона Платона, но мы не предполагали, что она настолько глубока, чтобы расцечь и дно Прямой Долины, расположенное на две-три тысячи метров ниже уровня окружающих ее плоскогорий. При виде этой бездонной пропасти меня прошиб холодный пот. Педро начал тихонько ругаться.

Тем временем Томас, обеспокоенный и нашим поведением, и тем, что машина стоит, принялся допытываться, что случилось. Мы не решались открыть ему ужасную правду, но он, видимо, не поверил нашим уклончивым словам,

собрал остаток сил и, приподнявшись, поглядел в окно. С минуту он смотрел, потом снова улегся — спокойный и с виду равнодушный. Из уст его лишь вырвалось:

— Они не хотят, чтобы я жил...

— Кто? — удивленно спросил я.

— Братья Ремонье, — ответил больной и замолчал, прикрыв глаза, словно уже приготовился к смерти.

Я больше не обращался к нему, и некогда мне было даже задуматься над смыслом этих странных слов, так как нам с Педро надо было решать, что теперь делать. Мы стали даже подумывать о возвращении к Морю Дождей, но тут у Педро мелькнула счастливая мысль осветить дно расщелины сильным прожектором, чтобы измерить ее глубину. Подойдя к самому краю провала, мы направили в него луч электрического света. В этом месте трещина была неширока и неглубока. Но дно ее было сплошь покрыто крупным щебнем, среди которого торчали огромные каменные обломки. Она напоминала высохшее русло могучего горного потока. И кто знает, не бурлила ли здесь и впрямь когда-то вода, воспользовавшись дорогой, проложенной другими стихиями?

Луч прожектора проползал по черным хаотически громоздящимся скалам, то и дело поблескивая на макушках самых высоких утесов, и тонул в глубоких, беспорядочно разбросанных мелких трещинах. Мы всматривались, не зная, на что решиться. Наконец Марта приблизилась к нам.

— Почему мы не двигаемся в путь? — спросила она таким тоном, будто приказывала.

И добавила, кивнув в сторону Томаса:

— Я должна жить для него... при мне вы не должны теперь ничего бояться...

Мы уставились на нее в изумлении. Что с ней произошло? Она никогда еще так с нами не разговаривала. Глаза ее странно сверкали, во всей фигуре, в словах и в движениях сквозила какая-то неожиданная и уверенная торжественность. Как она была прекрасна и желанна, эта женщина! Фарадоль впился в нее горящим взглядом, а я ощутил внезапную бешеную злость. Я грубо схватил его за плечо и крикнул, совершенно разъярившись:

— Ты что, не видишь: нам некогда! Говори, куда ехать — вперед или назад?

Педро резко повернулся ко мне, и какое-то мгновение мы мерили друг друга взглядом, готовые кинуться в бой.

И тут раздался негромкий, насмешливый и презрительный смех Марты. Мне показалось, будто в мое сердце вдруг впились сотни иголок. Мы пристыженно опустили глаза, а

она отошла, слегка пожав плечами. Я почувствовал, что начинаю ее ненавидеть.

В конце концов мы решили спуститься в трещину и пройти по устилающим ее обломкам. Это легче было решить, чем сделать. В одном месте, под самой стеной восточного вала, мы отыскивали пологий уступ и начали с величайшей осторожностью спускаться по нему машине. Но самое худшее ожидало нас на дне расщелины. Сюда уже не проникал ни солнечный, ни земной свет, так что мы очутились в кромешной мгле. Я не в силах передать, каких трудов нам стоило преодолеть эти несколько сотен метров. Луч прожектора вырывал из тьмы только узкий коридор прямо перед нами, ориентироваться было невозможно. Поочередно один из нас шел впереди машины пешком, а другой стоял за рулем. Машина то и дело кренилась, подпрыгивала, ударялась о скалы и проваливалась; один раз она застряла так, что мы уже сомневались, сумеем ли ее вытащить. Наконец-то мы добрались до противоположного края расщелины. К счастью, здесь когда-то произошел оползень, так что образовался склон, по которому мы вскарабкались вверх с помощью «лап».

Примерно на середине склона мы снова оказались в солнечном свете. Переход от полного мрака к ослепительному блеску после очередного прыжка машины был так стремителен, что я невольно закрыл глаза, защищаясь от лавины света, внезапно обрушившейся на нас. Когда я поднял веки и оглянулся, весь переход через трещину показался мне кошмарным сном. В нескольких сотнях шагов позади я видел край внезапно обрывающейся дороги, а между ним и нами лежала полоса абсолютного мрака. Смутно казалось мне, что мгновение назад мы были там, на дне этой словно бездонной трещины, в этом непроницаемом мраке, что мы пробирались там среди ужасных черных скал, которые так внезапно и мгновенно сверкали перед нами в электрическом свете, будто вдруг возникали из небытия и тотчас снова в нем утопали, — попросту не верилось, что эта страшная переправа происходила в действительности.

Вывавшись на поверхность Прямой Долины, мы ненадолго остановились, чтобы снять «лапы» и осмотреть машину — не повреждена ли она. Все оказалось в порядке, можно было двигаться дальше. Все — кроме здоровья Томаса. Перенесенные толчки и сотрясения так обессилили его, что он пластом пролежал несколько часов подряд, лишь изредка тихо постанывая.

Мы прошли уже немалую часть пути, когда Томас внезапно приподнялся и сел в гамаке. В широко раскры-

тых глазах его вновь пылал лихорадочный огонь. Педро стоял у руля, но мы с Мартой тотчас подбежали к гамаку. Томас взглянул на нас невидящим взором, а потом вдруг воскликнул:

— Марта! Я умру!

Марта побледнела и склонилась к нему:

— Нет. Ты будешь жить, — тихо, но отчетливо проговорила она, и багровый румянец вдруг залил ее лицо.

Томас слегка встряхнул головой, но она, еще ниже склонившись к нему, о чем-то тихо заговорила на малабарском наречии. Я не понимал слов, но видел, что они произвели сильное впечатление на Томаса. Сначала лицо его прояснилось, потом по нему пробежала невыразимо печальная улыбка, и наконец слезы появились у него на глазах, и, тихо простонав, он принялся целовать волосы Марты, разметававшиеся по его груди.

Некоторое время он лежал спокойно, не выпуская руку Марты из своих истаявших горячих рук. Но вскоре вновь начал беспокойно вскакивать и садиться — видно, он задыхался.

— Марта, я умру, — тревожно повторял он.

А она неизменно отвечала:

— Ты будешь жить.

И всякий раз, услышав этот ответ, он затихал, как плачущий ребенок, которому мать положила руку на глаза. Но однажды в ответ на ее слова он произнес:

— Что мне с того, раз я не доживу...

А потом добавил:

— Они не позволяют мне жить... Ремонье...

Я уже не мог больше сдерживать свое любопытство и напрямик спросил, что общего имеют Ремонье с его болезнью.

Он поколебался немного и наконец сказал:

— Теперь уже все равно... теперь я могу вам рассказать...

И заговорил медленно, тихо, прерываемый сердцебиением и удушьем.

— Помните, — говорил он, — тот мертвый город в пустыне, за Тремя Головами? Он и сегодня еще маячит передо мной, с этими руинами башен и полуразвалившимися воротами... Я знаю, что скоро умру, и все-таки мне жаль, что я в нем не побывал... Но, понимаете, дело было так... Когда я вышел из машины, мне пришлось карабкаться по нагромождениям камней, похожим на разрушенное покрытие древнеримской дороги где-нибудь в Швейцарии или в итальянских Апеннинах... Наконец я выбрался на чуть бо-

лее ровное место. Теперь город лежал передо мной как на ладони. Я уже отчетливо видел огромные ворота с сохранившейся половиной арки, и тут... тут...

Он схватил нас за руки и слегка приподнялся. Глаза его широко открылись, мертвенно-бледное лицо позеленело.

— Я знаю, — сказал он, — вам кажется, и мне... казалось... когда-то... что единственная истина — это знание... опирающееся на опыт и доступное выражению в математических формулах, однако же есть вещи непонятные и странные... Мы все еще очень мало знаем, очень, очень мало.

Он замолчал на мгновение и взглянул на нас, словно проверяя, не смеемся ли мы в душе над ним, но мы сидели неподвижно и задумчиво. Тогда он глубоко вздохнул и возобновил прерванный рассказ:

— И тут... я увидел... две тени — нет! — двух человек, то ли мертвецов, то ли призраков, — они вышли из ворот и двигались прямо ко мне... Ноги у меня подкосились. Я закрыл глаза, чтобы прогнать видение, но, разомкнув веки, вновь увидел... в четырех шагах от себя — братьев Ремонье! Они стояли оба, держась за руки, жуткие, опухшие, посиневшие, окровавленные — такие, какими мы их нашли, — и смотрели на меня таким ужасным взглядом... Вы знаете меня, я не трус, я не склонен к галлюцинациям, но говорю вам — они стояли там, и я оледенел от страха. Я не мог пошевелиться, не мог отвернуться... Тогда они заговорили, да, заговорили! И я слышал их голоса, как слышу вас, хоть там не было воздуха...

— Что же они говорили? — невольно спросил я.

— Зачем вам это знать, — ответил Томас. — Довольно того, что я это слышал. О, счастье, счастье... Они рассказали мне, как я умру и как вы умрете, вы оба... Они назвали мне день и час. И еще сказали мне, что нельзя безнаказанно оставлять Землю и нельзя безнаказанно узнавать тайны, сокрытые от людского ока. Лучше вам было, говорили они, умереть там, на Море Дождей, чем красть воздух у мертвых, продлевая свою жизнь для мучений, лишь для мучений, лишь для мучений... «Мы пошли за вами, — так они говорили, я слышал, — и вы в нашей смерти повинны, но и вы...» И, говоря это, завистливо сверкали побелевшими зрачками и злобно усмехались страшными, распухшими губами. И тут я увидел, что за ними стоит О'Теймор, бледный, белый, иссохший... Он не усмехался и ничего не говорил, но был печален и смотрел на меня словно бы с жалостью... Я вскрикнул от ужаса и, собрав всю свою волю, бросился бежать. Я забыл в ту минуту о городе, обо всем на свете. Потом я споткнулся,

хотел подняться и встать, но почувствовал, что мне не хватает воздуха, и потерял сознание.

Он устало замолчал, а нас охватила странная подавленность. В глубине души я убежден, что все это было только иллюзией, так же как и этот город считаю теперь иллюзией, порожденной причудливой группировкой скал. Но как-то не посмел я сказать этого Томасу. Да и в конце концов — почему я знаю? Есть странные тайны, удивительные загадки. В этот застывший мир уже пришли люди и пришла Смерть, и, быть может, вместе с людьми и их неразлучной спутницей Смертью пришло сюда и неведомое Нечто, которое на Земле извечно противится всякому познанию, всяким опытам и пробам...

Кончив свой рассказ, Томас заснул на полчаса.

Проснувшись, он начал спрашивать, где мы находимся. Я ответил, что мы приближаемся к концу Прямой Долины и скоро выберемся на Море Холода. Он слушал, словно не понимая, о чем я говорю.

— Ах, да, — сказал он наконец, — да, да... мне снилось, что я на Земле.

Потом он повернулся к Марте:

— Марта! Расскажи мне, как там, на Земле.

И Марта начала рассказывать:

— На Земле голубой воздух, а в нем плавают облака. На Земле много-много воды, целое большое море... На берегу моря лежит песок и разноцветные раковины, а дальше идут поляны, на которых цветут такие ароматные, сладкие, влажные цветы... А за полянами — леса, где полным-полно всяких зверей и щебечущих птиц. Когда веет ветер, море рокошет, и леса шумят, и травы шелестят.

Она говорила с детской простотой, а мы слушали ее слова, как прекраснейшую волшебную сказку... Томас беззвучно шевелил губами, словно повторяя вслед за ней: «И леса шумят, и травы шелестят...»

— Мы там уже никогда не будем, — громко сказал он наконец.

Ему внезапно ответило рыданье Марты. Она уже не в силах была сдержаться. Опираясь лбом о край гамака, она сотрясалась всем телом от неутешных, ужасных, отчаянных рыданий.

— Тише, тише, — шептал Томас, чуть касаясь рукой ее волос.

Но и его уже охватывал ужас.

Он обернулся к нам и снова заговорил прерывающимся голосом, будто с трудом исходящим из груди:

— Спасите меня! Сжальтесь! Спасите! Я не хочу уми-

рать! Здесь не хочу! Здесь так страшно! Спасите меня! Я хочу... жить... еще... жить... Марта...

Он разрыдался, как женщина, и, рыдая, протягивал к нам худые умоляющие руки.

Что мы могли ему ответить? Как спасти его?

Мы приближаемся к устью долины, и плоскость Моря Холода уже видна впереди. И во мне растет томительная уверенность, что это море мы пройдем — увы — без Томаса!

*На море Холода, третьи лунные
сутки, 23 часа после заката*

Смотрю на последние слова, записанные днем; они сбылись. На равнину Моря Холода мы выехали одни. Томас Вудбелл умер сегодня на закате.

Какая страшная пустота! Нас становится все меньше и меньше, нас осталось уже только трое...

Ни о чем не могу думать, только об этой тихой и такой ужасной смерти Томаса.

Солнечный диск коснулся нижним краем горизонта, когда мы наконец выбрались из коридора среди скал, по которому шли целую неделю. Перед нами простиралась гладкая равнина, позолоченная последними лучами Солнца. Я говорю «позолоченная», потому что в отличие от прежних закатов Солнце, клонясь к горизонту, приобрело желтоватый оттенок и чуть высветило черное небо вокруг. Это несомненный признак того, что атмосфера здесь уже гуще. И еще один благоприятный признак: вся равнина моря покрыта песком. Видно, и вправду эта равнина некогда была дном настоящего моря.

Надежда вошла в наши сердца, тем более что и Томас, по крайней мере на вид, чувствовал себя лучше. Мы уже слегка развеселились — нам казалось, что мы пролетим через эту равнину быстро, как птицы, и, прежде чем снова взойдет Солнце, уже будем стоять вместе с Томасом в Стране Жизни, ощутим веянье ветерка, услышим плеск воды, увидим зелень...

Суждено было иначе.

Едва мы проехали несколько десятков метров по равнине, как Томас попросил остановить машину. Малейшее сотрясение невыносимо терзало его.

— Я хочу отдохнуть, — сказал он слабым голосом, — и посмотреть на Солнце, прежде чем оно зайдет...

Мы остановились, и он начал глядеть на Солнце, лю-

щее на его лицо широкий поток прощального золотистого света. С минуту он смотрел недвижимо, потом обратился к Марте:

— Марта, как это: «Солнце, о светлый бог...» Как там дальше?

И Марта, как в час первого солнечного заката, который мы видели на Луне, выпрямилась в потоках света, протянула руки и, обратив к исчезающему светилу глаза, полные слез, начала не то говорить, не то напевать странный, в волнах ритма тонуший гимн:

«Солнце, о светлый бог, ты уходишь от нас в страны, которых мы не знаем!

Солнце, о светоч неба, о радость земли, ты уходишь, оставляя наши очи в печали, чтобы воссиять тем, кто уже освобожден от тела...

Те, кто уже освобожден от тела, а нового себе еще не взял, — они как рабы, которых отпустили ненадолго, чтобы вкусили они день тишины и покоя, прежде чем вернуться они к мукам и оковам.

Милостив Он, милостив предвечный, несказанный и непостижимый, тот, кто создал день тишины среди борьбы и терзаний...

В нем источник и исход всего сущего, в нем тонут души тех, кто уже кончил борьбу и вернулся туда, откуда появился века назад...

О Солнце, светлый бог, ты движешься к стопам его, и в печали остаются здесь наши тоскующие очи».

Казалось, Томас засыпает под звуки этих слов. Но вдруг глаза его раскрылись:

— Марта! О'Теймор умер?

— Умер.

— Ремонье умерли?

— Умерли.

— Я тоже умру... И они... И они... — Он показал на нас глазами.

— Они умрут. Ты будешь жить, — снова ответила она все с той же непонятной и глубокой убежденностью.

На миг воцарилось молчание. Селена положила передние лапы на гамак и лизнула свесившуюся ладонь Томаса. Он поглядел и шевельнул рукой, словно хотел погладить верного пса, но, видно, сил ему уже не доставало...

— Собака моя, собака... — только и прошептал он.

Потом он сказал, что хочет взглянуть на Землю.

Мы повернули его так, чтобы он мог ее увидеть. Она стояла на юге над скалами в первой своей четверти. Он долго смотрел, в невыразимой тоске протянув руки к

этому светлому серпу, на котором медленно плыла в эту минуту тень Индийского океана со светлым треугольником Индии.

— Смотри, смотри, там Траванкор! — воскликнул Томас.

— Там Траванкор, — словно эхо, откликнулась Марта.

— Там мы были счастливы...

— Да, счастливы...

Томас снова заволновался:

— Марта! Я пойду туда после смерти? Видишь ли, я не хочу... блуждать здесь... по этой пустыне... в этом городе мертвых... Марта, я пойду туда?..

Марта молчала, склонив голову, а Томас снова начал пытаться:

— Марта! Я пойду туда... когда умру?.. На Землю?

Судорога боли исказила ее лицо, но она сдержалась и ответила голосом, дрожащим от слез...

— Пойдешь ненадолго, на день покоя... А потом вернешься ко мне.

Глаза у него уже затягивались смертной пеленой, ладони бессильно повисших рук посинели и похолодели. Он еще раз шевельнулся и еле слышно шепнул:

— Марта, как там, на Земле?

Марта снова начала рассказывать о море, о полянах, о цветах, а на его губах застывала страдальческая, но покойная улыбка, и глаза медленно закрывались. Он еще раз на мгновение поднял веки, взглянул на Землю, на Солнце, уже только узеньким краешком горящее над пустыней, еле слышно вздохнул и умер вместе с последним лучом гаснущего дня.

Судорожное, безумное рыдание Марты раздалось в стремительно наступающей мгле.

Уже в темноте мы вырыли могилу и песком засыпали ему глаза.

И вот почти двадцать часов, как мы снова в дороге.

Мы движемся по ровной песчаной пустыне. На выходе из Прямой Долины мы пересекли пятидесятую параллель, Земля стоит всего лишь в сорока градусах над горизонтом, но на этой равнине, к счастью, нет возвышений, которые отбрасывали бы тени. Если удастся, мы будем двигаться всю ночь без остановки...

Тяжкая печаль гнетет нас. Марта сидит обессиленная, одичавшая от боли, а у ее ног Селена воет по своему умершему хозяину. Мы пытаемся успокоить ее, накормить, но она отказывается есть. Она приучена брать все только из рук Томаса.

*На Море Холода, 0°6' восточной
лунной долготы, 55° северной
широты, после полуночи, в на-
чале четвертых суток*

Поворачиваем прямо на север, к полюсу. Сто семьдесят с лишним часов, то есть с минуты смерти Вудбелла, мы двигались в северо-западном направлении. Теперь его могила осталась далеко-далеко позади... На Земле миновала неделя с тех пор, как мы похоронили его.

Целую неделю сеется песок сквозь колеса нашей машины, и только гуденье моторов нарушает безмолвие, царящее в кабине. Марта не плачет, она молча сидит, сжав губы и широко открыв глаза, в которых уже высохли слезы.

Селена погибла. После смерти Томаса она не хотела есть, только выла целыми часами и металась по кабине, обнюхивая все вещи, которые ему принадлежали или которых он хотя бы касался рукой. Потом легла в углу, ослабевшая и вялая, и сердито ворчала, когда кто-нибудь из нас пытался к ней подойти. Мы боялись, что она взбесится, и потому нам пришлось, хоть и с большим сожалением, убить ее. Впрочем, я уверен, что она все равно не долго бы прожила.

И вот теперь ужасная тишина стоит в кабине, потому что мы... ну, о чем мы с Педро можем говорить? С нами стряслась беда. Смерть Томаса — это не только смерть человека, не только потеря мужественного, верного, дорогого друга, это страшная беда, чудовищная насмешка, внезапно швырнувшая меж нас двоих эту женщину, которая для обоих нас равно желанна. Я не в силах взглянуть на нее без того, чтобы не пронзила меня дрожь желаний, — и в то же время я четко сознаю всю чудовищную низость этого святотатства над свежей могилой друга. Мне чудится, что душа Томаса все еще где-то вблизи и, видя эти мысли мои, она плюет мне в сердце, но я не могу им противиться, не могу, не могу! Жар сжигает мой мозг, кровь яростно клокочет в жилах, а взор мой так поглощен Мартой, что даже сквозь закрытые веки я вижу ее какой-то жуткой, неслышанной ясностью.

Усилием воли держу свои мысли, как свору взбесившихся псов, но они рвутся с цепи и бросаются все на Марту, и бесстыдно рвут с нее одежды, ластятся и трутся о каждый изгиб ее тела, вьются вокруг него и грязнят его своими отвратительными мордами, и, видя, что она все так же невозмутимо-холодна, начинают рычать, и хватать ее клыками, и грызть, и грызть! О, подлые мысли мои, как страшно они терзают меня!

С Фарадодем творится то же самое; я знаю, вижу, чувствую это. И он знает, что творится со мной. Отсюда эта глухая ожесточенная ненависть наша друг к другу. К чему обманываться, к чему украшать это красивыми словами! Мы исподличались оба, потому что между нами стоит она. Нас только двое в этом ужасном мире, а что-то в глубине наших душ вопит, что нас тут слишком много — на одного больше, чем нужно. Мы перестали разговаривать и не смотрим друг другу в глаза. Лишь иногда я ловлю краем глаза взгляды Фарадоля, страшные взгляды, в которых полыхает смерть, как пожар в окнах горящего изнутри дома.

Боюсь я его? Нет! Нет! Сто раз нет! Хотя и знаю, что он в любую минуту, даже не отдавая себе отчета в том, что делает, может ударить меня сзади и убить — например, сейчас, когда я пишу склонившись, а он стоит за мной и видит мою незащищенную шею... Дрожь пронизывает меня, но я не поворачиваюсь, не хочу перехватывать один из тех взглядов, в которых, как в зеркале, вижу собственную низость. Да и вправду, я не боюсь этой внезапной и неожиданной смерти — смерть лишь тогда страшна, когда приближается медленно и неотвратно. Я знаю это на собственном опыте. Одного лишь боюсь — боюсь мысли, что он может обладать этой женщиной, на которую имеет не более прав, чем я, что он может разрушить поцелуями ее лицо, еще бледное от слез, заставить ее грудь, еще раздираемую безутешными рыданиями, порывисто вздыматься... Нет! Я не могу думать об этом!

Мы так шпионим друг за другом, что, пока мы оба живы, она в безопасности!

Но по временам меня охватывает ярость. Мне хочется плюнуть самому себе в лицо, а после встать и громко сказать Педро: «Иди сюда! Будем драться за нее, будем грызть друг друга, как грызутся из-за самки разъярившиеся волки, — мы изгой в этом мире, не знающие, что ждет их завтра, не знающие, выживут ли они, будем драться из-за этой презрительно равнодушной к нам любовницы нашего недавнего умершего друга! Может быть, завтра мы умрем — иди сюда! Будем драться сегодня!»

Но я слишком лицемерен и труслив, чтобы так поступить... О, как я презираю себя!

И ее презираю, и ее ненавижу! Есть мгновения, когда я готов броситься на нее, ударами вырвать крик из этих молчаливых, печальных губ, а потом задушить этот крик вместе с жизнью. Возможно, так было бы лучше... Мы остались бы одни, без цели, без всяких стимулов к жизни,

может, мы бы тогда добровольно ушли из нее, но по крайней мере не возникла бы межда нами...

Зачем она живет? Что ее держит? Как она может еще жить, если любила того человека, если он действительно был для нее всем и с его смертью все кончилось для нее? Мы подлые, но и она подлая! Собака, неразумное животное, и та проявила большую преданность, не пережила смерти хозяина, выкормившего ее! А ведь собака не получила и сотой доли той нежности, не знала и тысячной доли той любви, которой он одарил эту женщину! Но женщина продолжает жить... И кто знает, кто знает, быть может, эти глаза, на вид погасшие и застывшие от страдания, украдкой уже бросают на нас взгляды, быть может, в этом сознании, еще заполненном образом того, умершего, уже зарождается исподволь вопрос: кого из этих двух живых выбрать, чтобы вершить извечное дело женщины?

Может быть! Может быть, есть во всем этом та первобытная, стихийная, заложенная в нашем существе самой природой, а потому священная жажда существования и творения, которая действует без оглядки, не считается с прошлым, не думает о будущем, — но мне все это кажется сейчас таким омерзительным, таким чудовищным и гадким!

Зачем она живет, эта женщина!

И все-таки — чувствую — я не пережил бы ее смерти.

На Море Холода, 0°30' восточной лунной долготы, 61° северной широты, 172 часа после полуночи

Марта была права, когда говорила Томасу: «Ты будешь жить!» Ах! Ну как это я сразу же, еще тогда, не понял!

Прошло уже три четверти ночи, когда, сидя у руля, я заметил, что Педро все похаживает около меня, будто хочет затеять разговор. До этого времени мы ограничивались лишь самыми необходимыми словами, так что меня удивило его намерение, но вместе и обрадовало. Я чувствовал, что настало время сбросить наконец с себя этот невыносимый, гнетущий кошмар и выяснить наши взаимоотношения. Я спросил его с наибольшей вежливостью, на какую был способен:

— Тебе что-нибудь угодно от меня?

— Да, да, — торопливо подхватил он, присаживаясь рядом, — я хотел с тобой поговорить...

Я заметил, что он заставляет себя улыбаться, но лицо его судорожно подергивается. Невольно я взглянул на его руки. Он словно бы понял смысл моего мимолетного взгляда, покраснел и, вынув руки из карманов, празднично положил их на колени. Помолчав, он заговорил, чуть запинаясь:

— Да, да, видишь ли, я хотел... Мне кажется, что этой ночью нам не следует останавливаться, потому что сильных холодов нет, а дорога ровная, и довольно светло, хотя Земля и низко стоит над горизонтом; впрочем, ты ведь не будешь отрицать, что нужно торопиться и, стало быть...

Я не сводил с него глаз, а он запутывался все более.

Внезапно изменившимся голосом он порывисто воскликнул:

— К черту! Мы идем на север без остановки, верно?

— Да, — согласился я, силясь быть спокойным.

Снова наступило напряженное молчание. Фарадол вскочил и принялся нервно расхаживать. Я вполне отдавал себе отчет, что с ним происходит, знал, о чем он хочет со мной говорить, и понимал — он потому лишь бормотал ничего не значащие фразы, что не мог выдать из себя вопроса, который рано или поздно надлежало наконец решить. На миг я ощутил злорадное удовольствие от того, что он так мучается, но тут мне, и притом совершенно внезапно, сделалось его жаль. Было такое мгновение, когда я готов был броситься ему на шею и — почему знать! — заклиная давней нашей дружбой, уступить ему эту женщину или просить, чтобы он дал согласие на ее смерть. Но я тотчас опомнился — ведь это вообще ни к чему бы не привело. Напротив, я понял, что нельзя оттягивать решительный разговор.

— Ты только это и хотел мне сказать? — внезапно спросил я его.

Он остановился, видимо пораженный доброжелательностью моего тона, и испытующе взглянул на меня. Потом усмехнулся со странной печалью и провел ладонью по лбу. Я видел, что рука его дрожит, как в лихорадке.

— Да, правда, я еще хотел...

Он вдруг замолчал и посмотрел на Марту. Поколебался еще мгновение, но наконец сдвинул брови и сухо, отрывисто спросил по-немецки, чтобы Марта не могла его понять:

— Что мы сделаем с этой женщиной?

Я ждал этих слов, и все равно они хватили меня, словно обухом по голове. Я стремительно затормозил машину — кровь ударила мне в голову и темной волной застлала глаза. Сердце отчаянно колотилось в груди, во рту я ощущал неприятную сухость. Решительный миг настал.

Я взглянул на Фарадоля. Он стоял передо мной, бледный, как мертвец, и пристально смотрел мне в глаза. Этого взгляда я не забуду до самой смерти! Было в нем смятение, и подлая, почти собачья мольба, и в то же время какая-то страшная угроза.

Не отвечая ни слова, я порывисто отстранил его и, сам не понимая еще, что делаю, подшел к Марте, сидевшей за каким-то шитьем. Он последовал за мной.

— Почему ты живешь, женщина? — неожиданно произнес я с немисливо смешным, как мне кажется сейчас, трагизмом, хотя в ту минуту, бог свидетель, мне было вовсе не до смеха!

Марта удивленно посмотрела на нас, а потом, заливаясь багровым румянцем, проговорила медленно, слегка дрожащим голосом, словно оправдываясь:

— Я жду возвращения Томаса...

Меня охватила яростная злоба.

— Хватит этих дурацких басен! — крикнул я, вырывая у нее из рук шитье, над которым она склонилась.

Не знаю, что было бы дальше, но тут я кинул взгляд на этот кусок полотна: то была детская распашонка.

Я вдруг все понял. Не в силах выговорить ни слова, я только протянул руку, показывая распашонку стоявшему сзади Педро. Он слегка вскрикнул и поспешно отошел к рулю.

Так вот почему она говорила умирающему Томасу с такой убежденностью: «Ты будешь жить!» Вот почему не последовала за ним!

Ведь, согласно верованиям ее народа, в ребенка, родившегося после смерти отца, переходит душа умершего. Значит, она ждет, что Томас вернется к ней в ребенке, духом облетев перед этим Землю, по которой он так тосковал, умирая? Видимо, она сообщила ему это «радостное известие» и то, что будет его вот так ждать, может быть, тогда, когда перед смертью говорила ему что-то по-малабарски.

Все это молнией промелькнуло в моем мозгу.

Я взглянул на нее: она теперь беззвучно плакала, укрыв лицо в этой маленькой рубашке, выкроенной из белья умершего.

И вдруг со мной случилось нечто странное. Я ощутил, словно что-то прорвалось в моем сердце, какой-то мучительный нарыв, и одновременно пелена спала с моих глаз. Марта показалась мне совсем иным существом. Я смотрел на нее с изумлением, будто впервые увидел. Это уже не была та женщина, за обладание которой минуту назад я

почти готов был драться с моим другом и единственным сотоварищем в этом мире, — это была мать нового поколения, побеждающая смерть великой тайной жизни и любви.

Невыразимая признательность заполнила мне душу, признательность за то, что благодаря ей мы не будем здесь одни, и за то, что этим ореолом материнства она заслонила от нас, слепцов, видевших в ней только вождя добычу. Я безотчетно склонился и поцеловал ее руку.

Она вздрогнула, но, видно, поняла мой поцелуй, ибо тотчас подняла лицо, еще заплаканное, но уже освещенное новым, гордым достоинством.

Удивительна натура человеческая! Ведь это не решает дела, а лишь отодвигает его на какое-то время, однако мы оба так спокойны сейчас, будто все уже улажено. Мы убеждены, что эта женщина не принадлежит никому из нас живых, а лишь тому, кто умер, и мы чтим ее, не задумываясь, что придет, возможно, время, когда снова...

Но нет! Нет! Я даже думать об этом не хочу!

Теперь — только на север, все время на север!

*Вблизи Тимея, на восходе Солнца
ча четвертых лунных суток*

Ни один восход Солнца не пробуждал в нас такой радости и такой надежды, как этот последний. Ему предшествовал рассвет — явление, которого мы здесь, на Луне, еще не наблюдали!

Ночь уже кончилась, и мы ожидали, что вершина горы, которая смутно виднелась перед нами в свете Земли, подтверждая, что мы приближаемся к северной границе Моря Холода, вот-вот внезапно вспыхнет в первых лучах восходящего Солнца. Но раньше, чем это случилось, мы увидели, что черное небо на востоке чуть посветлело, словно подернулось легкой опалово-молочной дымкой. Мы сначала подумали, что в этих высоких широтах — а мы уже миновали шестидесятую параллель — каким-то непонятным образом появляется зодиакальный свет, видный лишь вблизи экватора. Но нет, то был не зодиакальный свет; небо слегка серебрилось по всему горизонту, и звезды еле мерцали сквозь это белесоватое свечение. Вскоре и вершины Тимея (именно к этому кратеру мы приближались) запылали в лучах Солнца, но — о чудо! — они расцвели на фоне ночи, как бледно рдеющие розы. Больше нечего было сомневаться — этот рассвет и эти розовеющие горы возвещали нам,

что здесь воздух уже достаточно плотен, чтобы посветлеть от рассеявшихся в нем лучей и окрасить румянцем их белизну.

Великое, сладостное блаженство овладело мной, я, улыбаясь, взглянул на Педро, который самозабвенно упивался этим зрелищем, а потом обратился к Марте.

— Смотри, — воскликнул я, — твой ребенок родится уже там, где можно будет дышать так же, как на Земле!

Она подняла голову и взглянула на восток, где возникало легкое, как сон, золотистое свечение и разливалось по горизонту, как по нашим сердцам разливалась надежда на новую жизнь.

Солнце всходило медленно, еще медленней, чем в предыдущие дни, потому что оно шло не прямо вверх, а ползло по дуге, круто изгибавшейся к югу, где низко над горизонтом висела Земля. Выйдя целиком из-за горизонта, оно встало в небе, окруженное широким ореолом, похожим на белесый туман; на краях он переходил в синеву и постепенно сливался с черным небом вокруг. Поблизости от Солнца звезд уже не видно. В отдалении от него они еще сверкают, но уже исчезла их многоцветность и они все больше походят на те мерцающие огоньки, которые там, на Земле, расцветают в ночном небе.

Еще сутки, самое большее — двое лунных суток, и мы сможем выйти из этой машины и впервые вдохнуть полной грудью лунный воздух.

За прошедшую ночь мы пересекли немалую часть этого мира.

Здесь, вблизи полюса, ночные холода значительно слабее, чем у экватора, ибо Солнце не уходит глубоко за горизонт, так что мы не останавливались в пути ни на минуту. На закате въехали мы на Море Холода, а сейчас эта равнина осталась уже позади.

С запада подступает к нам горная стена; Тимей — это ее пограничный столб, который мы сейчас минуем.

Прямо перед нами уходит на север долина, врезающаяся в предгорья, подобно широкому заливу; карты свидетельствуют, что она доходит до шестьдесят восьмой параллели. Поверхность здесь не такая ровная, как на Море Холода, — она кажется волнистой от параллельно расположенных низких продолговатых холмов; это, однако, не препятствует нашему продвижению, так как их склоны чрезвычайно пологи. Мы, по-видимому, пройдем эту равнину прежде, чем кончится день, так что следующая ночь застанет нас уже в горах. От полюса будет нас тогда отделять еще около шестисот километров.

Но что значит шестьсот километров, когда мы столько уже прошли!

Мы исполнены бодрости и надежды, все недоразумения между нами развеялись; исчезли, как туман в свете солнца, те ужасные кошмары, что мучили нас по ночам; нас поддерживает блаженная дума о том, что к желанной цели нашего тяжкого паломничества мы привезем росток новой жизни — и так нам хорошо, так спокойно как-то, что временами кажется даже, будто мы не сожалеем о разлуке с Землей.

Почему же нет с нами Томаса! Он делил наши муки; чего я не отдал бы за то, чтоб могли мы поделиться с ним надеждой на жизнь!

Четвертые лунные сутки, 78 часов после восхода Солнца, 0°2' восточной долготы, 65° северной лунной широты

Странная печаль удручает меня. Не знаю, откуда она взялась и чего хочет от меня? Мы движемся быстро, небо над нами постепенно становится темно-лазурным, неподвижные ранее звезды начинают мерцать, все предвещает близость той «земли обетованной», где мы наконец отдохнем после несказанных тягот, длящихся уже четвертый месяц, а я, вместо того чтобы радоваться, печалюсь, все сильнее печалюсь.

Что тому виной? Быть может, Земля, склоняющаяся все ниже к горизонту, Земля, которую мы вскоре совсем потеряем из виду; быть может, могилы, которыми отмечен наш путь через ужасные безвоздушные пустыни Луны; быть может, те потрясения, от которых душа моя еще не опомнилась, а может быть, мысль об этом ребенке умершего, которому предстоит родиться в неведомом краю и для неведомой судьбы...

Я спокоен; вот только эта нестерпимая грусть и эта усталость! Глаза уже ослепли от разящего блеска Солнца; утомляет меня вид диких, бескрайних равнин и круто склоненных гор, что торчат над нами... О, если бы хоть небольшой, крохотный пруд, хоть бы веточку, хоть травинку!..

Вся эта местность похожа на огромное кладбище. Мы едем по дну моря, пересохшего столетия назад, по разрыхленным осадочным грядам известняка, из которых торчат остатки древних кольцевых скал.

Что случилось с тем морем, которое некогда колыхалось здесь, вздымая изогнутые гребни волн к Земле, видневшейся тогда, словно золотой диск, среди туч, ползущих над волнами? Только берег возвышается над сухой котловиной, отвесный, громадный, изглоданный ударами уже не существующих волн... Ветер развеял его обломки, истертые в пыль; теперь и ветров здесь уже нет. Пустыня и смерть...

Как мучительно я жажду попасть в края, где наконец-то увижу жизни! Только бы поскорей! Сил может не хватить.

Из нас троих Марта, наверно, самая терпеливая... Да ведь что ж! Ее мир теперь в ней самой! И, кажется, об этом своем мире она думает даже больше, чем об умершем возлюбленном. Я часто вижу, как, сидя за работой, она вдруг роняет руки и смотрит куда-то в будущее, улыбаясь собственным мыслям. Уверен, что очами души она уже видит в такие минуты крохотное розовое дитя, простирающее к ней ручонки. Лишь изредка глубокие вздохи сгоняют с ее лица эту улыбку невыразимого блаженства и наполняют слезами глаза. Это воспоминания о Томасе, который уже не увидит своего ребенка. Но потом она вновь улыбается, она знает, что, если б он не умер, его душа не смогла бы вернуться к ней в ребенка.

Вечно занятая своими мыслями, Марта мало разговаривает с нами, но однажды она сказала мне: «Хорошо, что я пришла сюда вслед за Томасом, потому что теперь я дам ему новую жизнь...»

Как же ей не чувствовать себя счастливой, если она может такое сказать о себе!

Четвертые сутки, 17 часов после полудня, на плато вблизи Гольдшмидта, 1°3' восточной лунной долготы, 69°3' северной широты

Равнины окончились; мы находимся в горах, простирающихся до самого полюса. Это, собственно, нечто вроде горного плато, по которому всюду разбросаны кольцеобразные возвышения, а среди них поднимаются обширные и высокие цирки, например огромный Гольдшмидт, что перед нами, или соприкасающийся с ним на востоке еще более высокий Барроу. Подумал я сейчас — до чего это странно, что мы видим горы и долины, по которым люди никогда

еще не ходили, но которым уже дали имена... Смешные мысли!

Сегодняшний полдень застал нас на вершине граничного вала этого плато. Оглянувшись назад, мы увидели низко над краем пустыни Землю в фазе новоземля, подернутую легкой воздушной дымкой. Светящееся кольцо ее атмосферы сверкало сквозь эту завесу еще багровей, чем в прежние дни. Прямо над ней, почти касаясь ее огромного черного шара, стояло Солнце в узком радужном ореоле лучей.

Впечатление такое, будто Земля за эти четыре месяца свалилась с зенита на горизонт, но на самом деле это мы убежали от нее, приближаясь к полюсу. Климат здесь уже совсем иной. Послеполуденное Солнце, едва поднимаясь над горизонтом, не палит нас зноем, не ослепляет блеском. Каким-то печальным и усталым кажется это Солнце — совсем как мы... Длинные тени тянутся через все плато. Небо к северу все гуще голубеет; звезды там уже не видны, хотя на юге они еще сверкают белесовато и тускло, отодвинувшись подальше от Земли и от Солнца.

Устал я немислимо. Хоть и мало весит мое тело на Луне, временами мне кажется, что голова моя, руки и ноги налиты свинцом. Боюсь, как бы не расхвораться. Бесконечно долгим кажется мне это путешествие, и, хотя по всем признакам путь наш близится к концу, я начинаю сомневаться, что мы когда-либо дойдем до цели... Впрочем, — цель? Где, какая цель? Ах, все утомляет, все печалит.

Марта невероятно добра. Мне кажется, если б не она, я бы и пальцем не шевельнул, чтобы повернуть руль машины к полюсу, куда мы движемся с такими трудностями. Но она видит мою страшную усталость и умеет какими-то теплыми, хорошими, душевными словами придать мне бодрости, поддержать мои силы. Чем я заслужил такую доброту с ее стороны? Той обидой, которую наносил ей своими мыслями и вожделениями? Я так устал, что все мне безразлично, кроме — клянусь! — счастья этой женщины. Я хотел бы выжить, может, буду ей в чем-то полезным. Но кто знает, выживу ли я.

Перед нами горы, высокие, крутые горы. Их нужно перейти. Эти горы, и другие, и снова горы, потому что до полюса еще далеко... У меня больше нет сил. Я даже писать уж не могу.

Фразы не вяжутся, я то и дело забываю, что собирался сказать. Только мне и хотелось бы растянуться в гамаке и

сквозь полуприкрытые веки смотреть на Марту, которая все улыбается мыслям о своем ребенке.

Счастливица!

*На перевале между Гольдшмид-
том и Барроу, 161 час пополуд-
ни четвертых лунных суток*

Из последних сил борюсь с непрерывно гнетущей меня усталостью. Чувствую, что болен, и боюсь этого. Как они справятся без меня? Дорога становится все хуже, а ночь, долгая ночь приближается. Дождусь ли я ее конца? Может, настал теперь мой черед, вслед за О'Теймором и Вудбеллом? Ведь братья Ремонье будто бы предсказали...

Жаль мне было бы умереть. Я бы хотел увидеть ребенка, которому предстоит родиться, хотел бы еще раз вдохнуть полной грудью.

Ну когда же придет конец этой дороге! Судя по карте, горы, через которые теперь мы переходим, — это последняя серьезная преграда, отделяющая нас от полюса. Спустившись с перевала, на котором сейчас находимся, мы повернем по широкой долине на запад, вдоль северных склонов Гольдшмидта, потом, снова свернув на север, пройдем мимо кратеров Халлис и Мэйн, обойдем с востока цирк Гиоя, перейдя через его невысокий отрог, тянущийся вдоль параллели, и выберемся на равнину, отделенную от приполярного края уже лишь одной узкой горной цепью.

Так выглядит наша дорога по картам. Но карты этих мест, плохо видных с Земли, очень неточны. К тому же большую часть этого пути нам предстоит проделать ночью, даже без света Земли, которую заслонят от нас горы.

Здесь, с этой высоты, просматривается изрядный участок местности, но уже лишь вершины гор ало блещут на Солнце, а внизу разливается черное море тени. Когда мы спустимся туда, звезды будут нашими единственными проводниками.

В голове моей что-то испортилось или надорвалось. Чтобы трезво мыслить, мне приходится до предела напрягать волю. То и дело возникают какие-то видения, какие-то полусонные грезы и кошмары. Неужели у меня горячка? Я кусаю руки, чтобы прийти в себя. Но и это не помогает. Все качается у меня перед глазами, я вижу мрачное море, по которому плавают багровые вершины гор, наша машина кажется мне кораблем, который вот-вот рухнет в эту бездну... Я так ужасно устал. Куда мы поплывем по этому черному океану? А может, к Земле?... Ах, да! Земля осталась

далеко-далеко в небесных просторах; туда мы не вернемся уже никогда. Никогда...

В голове грохочут чудовищные жернова; кажется, у меня горячка.

*После захода Солнца, в ущелье
среди гор*

Я еще сполз с гамака. Марта велела мне лежать, но что она знает! Мне нужно еще что-то сделать или записать — не помню, но я должен припомнить. Я уверен, что мы утонем во мраке, если я этого не сделаю... Но что же это я должен был сделать?

Почему так темно? Видимо, какая-то бомба взорвалась у меня в голове, наверняка взорвалась, потому что голова у меня раздувается, распухает, растет, она уже величиной с Луну...

Как забавно, что мы на Луне! А может, мне это только снится? Ведь откуда бы взялись на Луне собаки? Где Вудбелл? Что-то с ним случилось, но я не помню... Звали его Томас...

Кто-то стоит рядом и говорит, чтобы я лег, потому что у меня горячка. А, все равно! Почему бы ей и не быть? Что, нельзя мне?..

Перо стало ужасно тяжелым... да и пальцы у меня тоже тяжелые... Не знаю, что все это значит... слышу какие-то два голоса рядом... больше я не могу...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НА ТОЙ СТОРОНЕ

Никогда не забуду я ощущения, какое испытал, открыв глаза после долгой болезни, ввергшей меня в беспмятство под конец этого страшного пути сквозь безводную и безвоздушную лунную пустыню. Сейчас, когда я приступаю к описанию дальнейших наших приключений, это мгновение так живо встает в моей памяти, словно с тех пор миновало лишь несколько часов. Но, пересчитывая лунные сутки, я вижу, что на Земле идет уже одиннадцатый год с того дня, как мы упали на поверхность Луны, и десять лет — с тех пор, как вышли мы из машины после полугодичного заточения. Теперь мы дышим полной грудью под небом таким же голубым, как на Земле, на берегу настоящего волнующегося моря и смотрим на зелень растений — странных, неправдоподобных, но все же полных жизни. Сто тридцать четыре раза мы видели, как встает Солнце над этим миром, и уже почти свыклись с ним. Волосы наши седеют, а рядом с нами растет новое поколение — поколение людей, которые некогда сочтут легендой историю о том, как прилетели сюда их праотцы с Земли, с этого огромного светящегося шара, что встанет перед тобой на горизонте, если подойдешь к самому рубежу безвоздушной пустыни. Для них Земля будет интересным, редко видимым небесным светилом; для нас — это мать, которую мы покинули навсегда, но так и не смогли порвать последнюю и крепчайшую связь с нею — тоску по ней.

Пройдет еще несколько десятков лунных дней, и все мы, рожденные на Земле, умрем, а новое поколение, читая этот мой дневник, наверно, будет принимать его за что-то вроде Книги Исхода, пока не появится среди них «критик» и не

докажет неопровержимо, что легенда о земном происхождении людей — это лишь наивная, ребяческая фантазия древних времен.

Думаю я об этом, как о чем-то вполне естественном, ведь уже и мне самому многое из пережитого кажется фантастическим сном. Главное — болезнь, из-за которой я целые лунные сутки пролежал в бесспамятстве, образовала в моей жизни странный пробел; мне трудно было связать прошлое с тем, что я увидел, придя в себя, трудно было отличить действительность от горячечного бреда.

А пробуждение мое и вправду было весьма необычным.

Я открыл глаза и сначала вообще не мог разобраться в том, что меня окружает. Оглядевшись, я увидел, что лежу на просторной луговине средь холмов, поросшей удивительно свежей пушистой зеленью. Все вокруг было залито мягким полусветом, словно в земной рассветный час, когда солнце только начинает появляться у черты горизонта. Лишь нагие пики высоких гор пылали алым пламенем. Над ними смыкался купол бледно-голубого неба, подернутого легкой дымкой. Долго я глядел на все это и никак не мог понять, где нахожусь. И тут я увидел, что по долине медленно идут двое людей и все наклоняются, словно разыскивают что-то. Вокруг них с веселым лаем прыгают две собаки.

Мне сперва показалось, что я на Земле, где-то в незнакомой местности, и я уж раздумывал, каким образом здесь очутился, но вдруг припомнилась мне наша экспедиция и долгий путь через лунные пустыни в замкнутой машине. Я снова огляделся вокруг, насколько можно было это сделать, не поднимая тяжелой, словно свинцом налитой головы. Куда же девалась машина? Где те суровые пейзажи, которые я видел из ее окон и помню до сих пор? Я хотел было позвать людей — они ходили невдалеке, — но вдруг овладела мной страшная усталость, и я не мог произнести ни звука. Впрочем, я уже готов был предположить, что все эти неслыханные приключения мне просто приснились. Мне предстояло путешествие на Луну, я заснул где-то, на каком-то лугу — кто знает, сколько я проспал, — и снилось мне, словно я уже был там, боролся со страшными трудностями, терял друзей, рисковал жизнью... Странно лишь, что вокруг мне все незнакомо...

Неясное ощущение пережитой тяжелой болезни начало просыпаться в моем мозгу. Да, наверно, у меня была горячка, и в горячечном бреде я странствовал по Луне. Но кошмары эти наконец миновали. Я ощутил огромное облегчение при мысли, что все это было лишь сном, что я

нахожусь на Земле и никогда не должен буду ее покидать. Странное сладостное блаженство овладело мной, а потом я опять погрузился в сон.

Когда я проснулся снова, у моей постели стояли те двое, которых я увидел на лугу, и разговаривали вполголоса. Я будто бы расслышал слова: «Он спит», а другой голос ответил: «Он будет жить». Меня это удивило, но я не подал виду, что бодрствую, и недвижимо, полусомкнув веки, внимательно разглядывал стоявших надо мной. Хоть спал я, как мне казалось, довольно долго, освещение вокруг нисколько не изменилось, и трудно было различить в неясном свете их лица. Когда глаза привыкли к сумеркам, люди эти показались мне знакомыми, но я не мог припомнить их имен. Медленно перевел я взгляд на горы у черты горизонта; по-прежнему освещены были лишь их вершины, однако свет падал на них теперь с другой стороны.

В этот миг я заметил там нечто, целиком поглотившее мое внимание. Над глубоким ущельем меж двумя высокими пиками висел огромный тускло-белый диск, до половины выдвинувшийся над горизонтом. Я долго глядел на него, и вдруг все стало мне ясно: Земля сияла там, на небе!

Сознание, что я действительно нахожусь на Луне, вернулось во всей полноте — и меня пронизал озноб. Я громко вскрикнул и вскочил с постели. Педро и Марта — это они только что склонялись надо мной — радостно бросились ко мне, но мысли мои совсем смешались, и я снова потерял сознание.

Это был последний обморок за время моей долгой болезни. Очнувшись от него, я начал понемногу выздоравливать. Прошло еще часов полтора, прежде чем я смог встать с постели и передвигаться без посторонней помощи. Педро и Марта ухаживали за мной с подлинно материнской заботливостью, я же был еще слишком слаб, чтобы разговаривать да расспрашивать, и только размышлял над окружающим. Я знал уже, что за время моей болезни мы прибыли в обетованные края, где есть и воздух, и зелень, но долго не мог привыкнуть к мысли, что все это произошло совершенно естественным образом. Трудно мне было поверить, что целый земной месяц я лежал без сознания, а за это время машина, непрестанно продвигаясь на север, достигла наконец полюса, до которого оставалось еще несколько сот километров, когда горячка свалила меня.

Мы действительно находились теперь на северном полюсе Луны. Станный край! Край вечного света и вечного мрака, где нет ни сторон света, ни восхода, ни заката, ни полдня, ни полночи. Лунная ось почти перпендикулярна к

плоскости эклиптики, так что Солнце здесь не уходит за горизонт и не поднимается к зениту, а будто бы вечно катится по краю неба. Если подняться на одну из окрестных гор, то Солнце кажется пламенно-красным шаром, лениво проползающим у самого небосклона. Вершины гор вечно пылают в розовом сиянии, которое льется на них каждый раз с иной стороны; от сотворения мира эти горы не ведали ночи. Зато зеленые долины у их подножий никогда не видели Солнца. На них неизменно лежит тень высот, здесь царят вечные сумерки или вечный рассвет. На свежую темную зелень падают лишь отблески нагих, розовеющих от Солнца вершин — словно огромный венок бледных роз, брошенный на траву. Лишь иногда, раз в два земных месяца, Солнце, слегка приподнятое лунной либрацией над горизонтом, сверкнет в расщелине меж скал пламенно рдеющим ликом и застынет так на мгновение в горных вратах, словно златокрылый херувим. Тогда по ущелью струится огромная река огня, каскадами падает со скал и широкой золотисто-багровой полоской ложится на сумрачные низины. Проходит несколько часов, Солнце прячется за горы, и мягкий полумрак снова заливают тихую долину.

Лишь изредка пробивается сквозь эти сумерки странный слабый отсвет над вершинами гор, похожий на бледную, размытую, мерцающую радугу: это — лунное полярное сияние, сходное с земным, как сон бывает сходен с явью, и, как сон, прекрасное, чистое, грустное.

Есть нечто странно таинственное в этом бледном свете лунных полярных областей. Помню, глядя на них, я чувствовал, будто перенесся во сне в некий зачарованный Элизиум. Легкие туманные испарения, подобно призракам, блуждают там по незапятнанной зелени; необъятную упоительную тишину не нарушает ничей голос. И всегда царит здесь прохладная, но погожая весна. Прожили мы в этих местах более полугода, и за все это время лишь однажды подернулось тучами бледно-голубое небо. Дождя не бывает там почти никогда, и потому нет там ни озер, ни рек, ни источников. Воздух, однако же, так насыщен водяными парами, что этой влаги вполне хватает для растений. Наши земные травы, деревья и цветы засохли бы здесь, но в этих лунных полярных краях произрастает особая, им присущая, приспособленная к условиям флора.

Здесьние луга поросли удивительно сочными травами, которые походят на земные мхи и, подобно им, наделены способностью всасывать влагу из воздуха, — только в гораздо большей степени. Они накапливают в себе столько воды, что из охапки таких растений мы выжимали несколько

литров этой столь ценной для нас жидкости. Питье, таким образом, мы добывали легко; несколько хуже было с пропитанием. Мы обнаружили несколько видов сочных растений, пригодных в пищу, и множество любопытных созданий, похожих на больших улиток без раковины, но эту пищу не на чем было приготовить. Запасы топлива, взятые с Земли, вскоре иссякли, а здесь мы не нашли ничего, что могло бы их заменить. Даже самые толстые, деревянистые ветви здешних растений были до того пропитаны влагой, что на них невозможно было развести огонь, а о том, чтобы высушить их в этом воздухе, насыщенном испарениями, словно в бане, не могло быть и речи. Торф, который мы обнаружили там в изобилии, тоже истекал водой, как только стиснешь его в ладони.

К тому времени, как кончились запасы топлива, я уже окреп и начал выходить из своего наспех сооруженного шалаша. Мы подолгу обсуждали эту проблему и искали выхода, но все наши попытки неизменно кончались неудачей. Педро подал идею перенести нарубленные толстые ветки и отжатый торф повыше в горы, где светит Солнце, — быть может, там они высохнут лучше, чем в сумрачной долине. Однако же и там теплота солнечных лучей была слишком слабой. Отжатый торф за несколько десятков часов снова набирал столько влаги из воздуха, что наши труды пропадали даром.

Тогда мы пожертвовали всеми деревянными предметами, без которых хоть как-то можно было обойтись, и разожгли большой последний костер, пытаясь высушить над ним собранный вокруг горючий материал. Но, к сожалению, и эта надежда нас обманула. Сожгли мы все, что только удалось сжечь, а получили всего лишь горсточку сухих веток и торфа. Оказалось, что для просушки некоего количества здешнего топлива надо втрое больше его сжечь. Наш «вечный огонь» погас через несколько часов. Только и было пользы, что мы запустили от него устройство для подзарядки аккумуляторов нашей машины.

Итак, пришлось нам обходиться без огня. Воздух, насыщенный водяными парами и всегда равномерно прогретый, великолепно сохранял скупое солнечное тепло, так что холод нам не докучал. Но очень трудно было привыкнуть к сырой пище. Остатки сахара и искусственного белка, весьма удачно изготовленного, мы хорошенько припрятали на случай, если в дальнейших странствиях окажемся в местности, где не добудешь пропитания. Мы ведь ни на минуту не отступались от намерения продвигаться дальше, к центру невидимого с Земли лунного полушария. Но три обстоятель-

ства удерживали нас пока от этого похода. Прежде всего, я еще был слишком слаб после болезни, чтобы вынести тяготы странствий; Марта, которая вскоре ожидала ребенка, тоже не могла сейчас рисковать... Ко всему этому добавлялся рожденный отсутствием топлива страх перед долгими морозными ночами, которые обрушатся на нас, как только мы, отдаляясь от полюса, покинем страну вечного полумрака.

Невзирая на все нехватки и страхи, месяцы, проведенные на полюсе, принадлежат к лучшим воспоминаниям моей жизни на Луне. Строго на точке полюса разбили мы полотняную палатку, привезенную с Земли, так что прямо над нашими головами было созвездие Дракона, где сверкает лунная полярная звезда. Правда, звезду эту, что долго была для нас путеводной, мы увидели здесь только раз, во время солнечного затмения, когда нам уже предстояло снова отправляться в путь. Ведь звезды, в безвоздушной пустыне видимые и днем, и ночью, здесь не появляются никогда, — разве если Солнце зайдет за диск Земли и краткая ночь покроет эту страну вечного рассвета.

В палатке мы только спали, а большую часть времени проводили под открытым небом, наслаждаясь пейзажем, который хоть и стал привычным, но не утратил для нас своего мягкого, волнующего очарования. Там все удивительно гармонично, все настроено на общий необычайно спокойный лад: зелень, и розовые горы, и бледное небо над ними, и свежий, холодный, целебным ароматом тамошних трав напоенный воздух. И в души наши входил покой. Сердечная теплота царила в нашем маленьком кружке. Все страсти, все обиды и недоразумения были от нас так же далеки, как те страшные пустыни, при воспоминании о которых нас все еще пронизывала дрожь.

Время летело незаметно, когда мы целыми часами говорили, — то о Земле, краешек которой еще появлялся иногда над горизонтом в полноземные как серовато-белое облачко, то о дорогих наших друзьях, спящих в тихих могилах среди пустынь, то о неведомом будущем, которое нас ожидает. Говорили о ребенке, которому предстоит родиться, о краях, которые мы увидим, — обо всем, кроме одного... Мы никогда не касались вопроса, который однажды уже чуть не привел к разрыву между мной и Педро, — кому из нас в будущем должна принадлежать Марта. Странно, но, кажется мне, мы тогда действительно даже и не думали об этом. По крайней мере я не думал. Однако теперь, через много лет, когда все давным-давно уже решено и исполнено, я могу признаться сам себе... Я любил эту женщину, любил

ее больше, нежели способен выразить, но была эта любовь какая-то необычная...

Когда я смотрел на нее, на ее нежное исхудавшее лицо, с которого не сходила мечтательная и печальная полуулыбка, на ее маленькие бледные руки, вечно занятые какой-нибудь работой, она казалась мне совсем непохожей на ту Марту, что я знал когда-то, — красивую, страстную, уверенную в себе, иной раз даже надменную, — и я чувствовал, как в груди моей поднимается волна безграничной нежности к этому столь доброму и столь несчастному существу. Мне хотелось медленно и осторожно гладить рукой ее волосы и говорить ей, что я готов сделать все, что в моих силах, отказаться от всего, чего мог бы требовать, лишь бы она стала от этого хоть чуточку счастливей, — в знак благодарности уже за то, что я могу ее видеть.

На Земле смеялись бы над такой любовью; я же, когда сейчас об этом думаю, только печалюсь, ибо вижу, что ничего не сумел для нее сделать, хоть и принес величайшую жертву, на какую был способен.

Однако же тем, что я жив, я обязан только ей. Когда на перевале возле Барроу я свалился в бреду, только ее стараниями вернулось ко мне здоровье, а сейчас только мысль о ней удерживает меня в живых. Мучительная это мысль; но там, на полюсе, она была еще далека от меня, я даже и не предчувствовал еще, как все сложится, и потому, говорю вам, это был самый счастливый период моей жизни на Луне. Марта была постоянно рядом со мной. Пока я болел, она ухаживала за мной, когда я выздоровел, мы вместе ходили на прогулки по долине, разыскивая улиток на обед или собирая душистые травы, которыми она украшала потом нашу палатку.

Когда силы уже вполне вернулись ко мне, я часто поднимался с Педро в горы, чтобы увидеть Солнце и огромный бледный диск Земли на небосклоне, чтобы взглянуть пытливым оком на те неведомые и таинственные места, никогда не знавшие человеческого взгляда, куда предстояло нам отправиться. Марта оставалась тогда в палатке — то было время, когда излишние усилия могли ей повредить.

Во время одной из таких прогулок Педро показал мне сверху тот путь, по которому мы прибыли в долину, и рассказал о немыслимых трудностях, какие пришлось ему преодолевать в этом горном краю среди непроглядной ночи, имея на попечении меня, больного, и Марту, обессиленную от горя.

— Мне приходилось все делать самому, — говорил он, — и были минуты, когда меня охватывало отчаяние. Не раз я

сбивался с пути среди скал, а иногда вынужден был отводить машину назад, попав в ущелье-тупик. Я уж и не думал, что мы выберемся оттуда. В такие минуты мне придавал бодрости взгляд на барометр, который поднимался все выше и выше. Но по-настоящему надежда затеплилась во мне лишь тогда, когда мы выбрались на равнину за Гиоией. Земные астрономы, так окрестившие эту гору, и не предполагали, что для нас ее имя обретет буквальный смысл: после неслыханных тягот и страданий именно тут нам улыбнется наконец радость.

Ночь посветлела. Мы находились уже так близко от полюса, что рассеянный в довольно плотной атмосфере свет Солнца, не очень глубоко ушедшего за горизонт, создавал нечто вроде серых сумерек, и можно было различать предметы. Там я и отважился впервые выйти из машины без воздушной маски. В первый миг я ощутил головокружение; атмосфера была еще разреженной, и приходилось сильно напрягать грудь, чтобы дышать. Никогда не забуду радости, охватившей меня, когда я наконец вдохнул лунный воздух...

Педро рассказывал мне и о том, какие страшные тяготы вынес он при переходе через последнюю горную цепь, отделяющую равнину под Гиоией от Полярной Страны. На помощь Марты он не мог рассчитывать — тем более что я, находясь между жизнью и смертью, нуждался в ее непрестанным попечении; и пришлось ему в одиночку вести машину в тусклом свете по крутому склону, усеянному выветрившимися каменными глыбами.

Через восемьдесят с лишним часов после наступления полночи он выбрался на перевал. Отсюда уже открывался вид на Полярную Страну.

— Казалось мне, — говорил Педро, — что я увидел землю обетованную; перед взглядом моим, уже привыкшим к зрелищу суровых скал и пустынь, распростерлась огромная зеленая равнина. От радости у меня перехватило дыхание, слезы показались на глазах. И сквозь слезы смотрел я на сумрачные луга и на багровое Солнце, которое видел с высоты, хоть далека еще была та минута, когда ему надлежало взойти на этой долготе.

При этих словах мы невольно оглянулись на Солнце. Оно лежало на горизонте в той стороне света, которая до сих пор была для нас севером, а теперь становилась югом. На невидимом с Земли лунном полушарии был день.

Тогда-то впервые овладела мной необоримая жажда познать эти таинственные края, под которыми сейчас стояло Солнце. Спускаясь с горы, я только об этом и думал, а в палатке начал строить планы дальнейшего путешествия.

Педро тоже считал, что нужно продвигаться на юг, к центру неисследованного полушария.

— Здесь нам хорошо, — говорил он, — и мы могли бы, в конце концов, провести тут всю жизнь, но еще спокойнее нам было бы жить на Земле. Мы прибыли на Луну, чтобы раскрыть ее тайны, вот и следует это сделать.

Итак, на новую экспедицию мы в принципе решились, но пока задерживались из-за Марты. Ожидая времени, когда она сможет продолжать путь, мы делали приготовления, накапливали запасы.

Прежде всего мы переделали свою машину. Не имело смысла тащить за собой такую тяжесть. Сначала мы собирались снять ее верхнюю часть, отчего она уподобилась бы глубокой лодке на колесах, но нас удержала мысль, что мы можем оказаться в местах, где ночи морозны и где герметически замкнутая отапливаемая повозка станет для нас бесценным убежищем. Поэтому мы сняли только всю тыльную отвинчивающуюся часть, где раньше размещались наши склады. Возникшее отверстие мы закрыли алюминиевой плитой, которая прежде замыкала склады снаружи. Кроме того, мы удалили металлический каркас, упрочнявший стены и теперь ненужный. Мотор, взятый некогда у несчастных Ремонье, отладили, насколько возможно, и поместили в машине на случай, если наш испортится.

Все эти работы, а также подготовка запасов продовольствия и воды, которую приходилось капля за каплей выжимать из мха, заняли у нас более трех месяцев. Наконец все было готово.

Уже пятый раз наступало полноземие с тех пор, как мы прибыли на полярную равнину, когда, возвращаясь после дальней одинокой прогулки, я услышал в палатке писк ребенка. Ни один звук в жизни не взволновал меня так глубоко, как этот тихий плач существа, которое явилось, чтобы расширить наш кружок и скрасить наше одиночество. Услышав его, я бросил охапку собранных в пути съедобных мхов и бегом кинулся в палатку. Марта лежала на постели, бледная и усталая, но сияющая радостью. Она, казалось, даже не заметила моего появления. Все ее внимание было поглощено крохотным существом, завернутым в белое полотно и кричащим во весь голос, которое она каким-то страстным движением прижимала к груди.

— Мой Том, мой Том, сынок мой любимый, красивый! — шептала она слабым голосом и смеялась сквозь слезы.

У постели терлись обе собаки и, вытягивая любопытные морды, обнюхивали это незнакомое им крикливое создание.

Я оглянулся на Педро и был удивлен его видом. Он сидел в углу палатки, угрюмый и задумчивый. Но я пока не стал размышлять об этом. Я подбежал к Марте, чтобы сказать ей, что я радуюсь ее ребенку, что благословляю ее за этот дар жизни, но не смог промолвить ни слова.

Я только схватил ее маленькую, исхудавшую руку и пробормотал нечто невразумительное. Она взглянула на меня, словно лишь сейчас заметила. Я почувствовал болезненный укол в сердце, ибо этот взгляд сказал мне, что я ей так безразличен, как только может быть один человек безразличен другому. Нежданная грусть овладела мной, и Марта, видимо, заметила это, потому что улыбнулась, словно желая загладить невольно причиненное мне огорчение, и мягко проговорила, показывая на ребенка:

— Смотри, Томас вернулся, мой Томас, мой...

Понял я в то мгновение, что никто из нас никогда не займет места в сердце этой женщины, ибо оно навсегда отдано этому ребенку, в котором она любит не только кровь и плоть свою, но и душу умершего возлюбленного.

Молча принялся я готовить пищу и питье для Марты. Педро вышел из палатки вслед за мной.

— Так что ты думаешь обо всем этом? — спросил он меня, когда мы оказались снаружи.

Я пока не знал, что ему ответить.

— Ну, что ж, появился сын Томаса... — пробормотал я минуту спустя...

— Да, сын Томаса, — повторил Педро и задумался.

Мне не хотелось больше его расспрашивать — я знал, о чем он думал.

Опасаясь затрагивать щекотливую тему, мы с тех пор говорили почти исключительно о предстоящем путешествии. К Марте быстро возвращались силы, здоровье маленького Тома не внушало никаких опасений, так что мы решили до наступления первой четверти Земли двинуться в путь. Это было самое подходящее время, потому что на центральном меридиане обратного полушария Луны, вдоль которого нам предстояло продвигаться к экватору, день начинается именно в первую четверть. Значит, начав путешествие в этот период, мы имели впереди две земные недели светлого времени и в случае, если нигде не встретятся пригодные для жизни условия, успели бы до наступления ночи вернуться в Полярную Страну.

Через две недели после рождения Тома наступило новоземное, а вместе с ним солнечное затмение, уже второе из виденных нами на Луне. Первое затмение — там, в пустыне, — мы, угнетаемые страхом перед нависшей над нами

смертью, совсем не исследовали; зато теперь хотелось лучше использовать такой благоприятный случай. Поэтому, уложив астрономические приборы в небольшую тележку, которую тянули собаки, мы вышли на самую близкую к полюсу возвышенность, откуда видно было Землю и Солнце.

Зрелище было великолепное, но наблюдения нам не очень удались. Низкое положение Земли над горизонтом и насыщенная водяными парами атмосфера не позволяли произвести точные измерения и настолько мешали наблюдениям, что уже через несколько минут после того, как Солнце зашло за земной диск, мы оставили астрономические приборы, чтобы просто полюбоваться волшебной игрой света на небосклоне. Земля огромным черным полукругом вырисовывалась на фоне кроваво-золотого зарева. Широко вокруг нее расплававшееся небо потом потемнело, и высыпали звезды. Казалось, словно на ночном небосклоне вспыхнуло зарево огромного пожара или что мерцающее полярное сияние, которое пылает на Земле вблизи полюсов, внезапно перенесенное сюда, оцепенело и застыло перед нами в невероятном каком-то размахе.

Воспоминание об этом зрелище по сей день стоит перед моими глазами. Казалось мне тогда, что предо мной явился в огне обугленный труп Земли. Было в этом нечто жуткое и странно-волнующее. Еще и сегодня, когда я думаю о Земле, она встает передо мной в том чудовищном черном облике, в каком я видел ее тогда, и приходится напрягать всю силу воображения, чтобы представить ее в виде серебряного сияющего диска.

Не долго я смог выносить это невыразимо-великолепное, но какое-то мучительное зрелище и перевел взгляд на звезды, которых уже несколько месяцев не видел. Все они сверкали над моей головой, искрясь и переливаясь, как порою бывает у нас на Земле зимними ночами. Я смотрел на них с удовольствием, как на добрых старых знакомых, отыскивал известные мне с детских лет созвездия и мысленно вопрошал их, что слышно там, на родной моей планете, лежащей сейчас передо мной, словно шлак в отблесках пламени.

Внезапно я заметил, что звезды тускнеют перед моим взором. Я протер глаза, полагая, что слезы, вызванные воспоминаниями прошлого, застилают мой взор, но это не помогло: звезды светились все слабее. Заметил это и Педро. Мы были обеспокоены, ибо не могли понять причины этого явления. Тем временем звезды все тускнели и даже зарево в той стороне, где Солнце зашло за Землю, становилось все менее заметным и будто бы расплывалось. Через несколько

минут нас объяла непроглядная беззвездная мгла, только в южной части неба еще виднелся легкий красноватый отсвет. Одновременно мы ощутили сильный порыв ветра — явление в этих местах для нас новое. Охваченные изумлением и тревогой, мы не смели двинуться с места.

Наконец затмение окончилось, Солнце выдвинулось из-за диска Земли. Но мы лишь догадывались об этом, потому что, хотя ночь снова исчезла, ни Солнца, ни окрестностей не было видно. Все утонуло в густом, молочно-белом тумане испарений.

Только теперь я все понял. В Полярной Стране не возникают тучи и не идут дожди лишь потому, что воздух все время равномерно прогрет, а значит, нет причин для сгущения водяного пара. Так бывает в обычных условиях; однако во время затмения внезапно похолодало, отчего возник ветер, а водяные пары в охлажденном воздухе сгустились в туман.

Найдя естественную причину неожиданного явления, мы несколько успокоились; но положение наше пока что оставалось весьма неприятным. Мучительный холод пронизывал нас, а при таком тумане невозможно было отыскать дорогу в долину, где стояла палатка. Вдобавок меня преследовала мысль о Марте. Но делать было нечего, приходилось сидеть и ждать, пока прояснится.

И действительно, туман вскоре начал подниматься вверх. Менее чем через полчаса открылся вид на долину; теперь уже только вершины гор тонули во тьме, сгущавшейся все плотнее. Видно было, что там хлещет дождь, поэтому мы, не теряя времени, начали спускаться с холма. Но не успели мы пройти и полдороги вниз, как над нами сверкнуло, и почти одновременно с глухим раскатом грома хлынул на нас подлинный потоп. За несколько секунд мы промокли до нитки. Сквозь струи льющей с неба воды ничего нельзя было разглядеть, сверкание и грохот не утихали ни на миг.

Продолжался ливень часа два; все это время мы, промокшие и иззябшие, жались вместе с собаками под нависающим скальным карнизом, хоть был он весьма слабой защитой. Как только дождь утих, мы поднялись, чтобы продолжить обратный путь, но, едва выглянув из-за гребня скалы, застыли, пораженные зрелищем, которое открылось перед нами.

Вместо зеленой котловины у наших ног широко разливалось озеро.

Первой моей мыслью было: что с Мартой и ребенком? Место, где стояла палатка, теперь, очевидно, затоплено. Я бросился бегом к озеру, не обращая внимания на крики

Педро, который хотел меня удержать. Добежав до воды, я пошел вброд. Сначала было неглубоко, но вскоре вода уже доходила мне до пояса. Я заколебался, не зная, брести ли дальше или вернуться, а между тем Педро, бросившись за мной, схватил меня за руку и заставил вернуться на берег.

Состояние мое было ужасным. От страшной тревоги за участь Марты пот крупными каплями проступил у меня на лбу, но все же я сознавал, что Педро прав и что, бродя по затопленной долине, я лишь рискую жизнью, а помочь Марте ничем не могу.

— Если Марта вовремя заметила наводнение, — говорил он, — и укрылась на холме, то наша помощь ей пока не нужна, мы разыщем ее, когда вода спадет. А если она не успела убежать, мы тоже ничем уж ей не поможем.

Он говорил это спокойно, даже с какой-то жестокостью, от которой меня бросало в дрожь. Я смотрел ему в глаза, и показалось мне, что прочел в них чудовищную, завистливую мысль: пусть она лучше погибнет, чем когда-нибудь станет твоей.

— Все равно я пойду им на помощь! — воскликнул я.

— Иди, — ответил он и спокойно уселся на берегу.

Я действительно хотел идти, но это легче было сказать, чем сделать. Да, впрочем, куда мне было идти? На середину этого озера? Искать их под водой?

Злой и отчаявшийся, я уселся на берегу рядом с Педро и начал упорно вглядываться в воду. По ее поверхности там и сям плавали оторванные веточки мхов, но вообще она была ровной и гладкой — ни один порыв ветра не рябил ее. Я было задумался, как могло столько воды излиться из атмосферы за такой короткий срок и сколько часов пройдет, пока это море высохнет и мы сможем отыскать трупы нашей подруги и ребенка (ибо я уже не сомневался, что они погибли), когда вдруг заметил, что все ветви мхов довольно быстро плывут в одном направлении. Очевидно, их уносило течением, а это значило, что вода нашла где-то выход из котловины. Это наблюдение безмерно меня обрадовало, так как позволяло надеяться, что спада воды не придется ждать слишком долго. Чтобы проверить, не ошибочны ли мои предположения, я отправился по берегу в ту сторону, куда, видимо, стекала вода.

Через несколько километров я увидел нечто вроде залива, который перешел вброд. На той стороне я уже уверился, что сток действительно существует: над поверхностью воды, подобно плоским зеленым островкам, обозначились более высокие места котловины.

Все это вместе представляло зрелище необыкновенно

красивое и увлекательное, тем более что в гладком стекле воды среди зеленых островков отражались макушки нагих прибрежных гор, уже снова порозовевших от Солнца. Но я мало обращал внимание на пейзаж, думая лишь об одном — о Марте. Едва ли не в первый раз ясно ощутил я тогда, как дорога мне эта женщина и каким страшным ударом была бы для меня ее смерть. С этой чудовищной мыслью я не мог смириться. Трудно мне было представить, каким образом могла бы Марта спастись, однако я еще таил в глубине души отчаянную надежду на то, что она жива, и бежал вперед все быстрее, словно спасение Марты зависело от того, скоро ли доберусь я до места, куда уходит нахлынувшая вода.

Я был слишком взволнован, чтобы мыслить логически; только ясно сознавал, что вся жизнь моя ничего не стоит без этой, не моей, женщины и без этого, не моего, ребенка и что я согласился бы никогда не желать Марты для себя, если б этим мог ее спасти... Кто знает, не подслушивает ли порою судьба молчаливые обеты человека...

Прошло уже двенадцать часов, как я расстался с Педро, когда путь мне преградил глубокий поток; это вода стекала по широкому ущелью, которого мы ранее не замечали: оно открывало путь из полярной котловины к неизвестной стороне лунного шара. Измученный, изголодавшийся, я уселся на берегу, не зная, что предпринять.

Бесцельность моей беготни лишь теперь стала вполне очевидной для меня. Совершенно упав духом, я бездумно и безвольно вытянулся на моховом ковре, еще сочащемся только что схлынувшей водой, и смотрел в небо, вновь такое же спокойное и бледное, как перед этим зловещим затмением Солнца.

И тут показалось мне, что кто-то зовет меня по имени. Я вскочил, внимательно прислушиваясь. Мгновенье спустя голос донесся вновь, на этот раз уже явственней. Внимательно озираясь кругом, я увидел на том берегу потока Марту с ребенком на руках, машущую мне издали. Поистине безумная радость охватила меня. Не обращая внимания на опасность, я кинулся через реку и вскоре уже стоял рядом с Мартой. Я онемел от радости и только покрывал поцелуями ее руки, и Марта, сама взволнованная, мне не противилась.

— Друг мой, добрый мой, дорогой друг, — только и повторяла она еще бледными, но уже улыбающимися губами.

Когда мы оба немного успокоились, Марта начала рассказывать, как она, заметив воду, подступающую к палатке,

успела еще вместе с ребенком и самыми ценными для нас вещами укрыться в машине, стоявшей неподалеку. Это спасло ее. Герметически замкнутая машина, после того как мы удалили многие утяжелявшие ее части, стала достаточно легкой, чтобы удержаться на поверхности воды, которая непрерывно поднималась от чудовищного ливня и от потоков, летящих с гор. В раскатах грома, в непрерывном сверкании молний машина носилась по волнам, как некогда Ноев ковчег, и тем еще походила на него, что тоже спасала род человеческий на этой планете от гибели.

Положению Марты никак нельзя было позавидовать. Она не могла управлять своим импровизированным кораблем и была отдана на волю волн и ветров, которые швыряли машину, как скорлупку. К страху, вызванному внезапной катастрофой, добавлялась тревога за нас и полное неведение, чем все это кончится. Когда дождь утих и вода наконец перестала подниматься, Марта заметила, что машина плывет в каком-то определенном направлении. Она догадалась, что машину уносит поток стекающей воды, но это лишь усилило ее опасения. Машину могло загнать в какую-нибудь расщелину или в лучшем случае унести так далеко, что нам трудно было бы ее найти.

Марта вздохнула свободней лишь спустя несколько часов, когда заметила, что вода убывает, что под нею проступают проплешины холмов. Однако все попытки направить корабль к одной из таких проплешин кончались неудачей. Она уже слышала грохот потока, мчащегося по ущелью, и внутренне приготовилась к тому, что поплывет куда-то в неведомые края, как вдруг по счастливой случайности машина задержалась у скалы над самым входом в ущелье. Сообразительная женщина воспользовалась моментом и через открытое окно забросила канат на выступ скалы, чтобы уберечься от течения, которое ежеминутно могло вновь подхватить машину. К тому времени, как я появился, опасность уже миновала — вода настолько схлынула, что машина оказалась на суше.

Еще через несколько часов в котловине остались только лужицы, похожие на стеклянные окна среди зеленых зарослей.

Педро мы ожидали довольно долго. Привели его к нам собаки, бежавшие по моему следу. Он смерил нас подозрительным взглядом и, ни слова не говоря, принялся просматривать спасенные в машине припасы и снаряжение. Странный человек! Живу я тут с ним уже одиннадцать земных лет, а все еще случается, что не могу разобраться в его характере. Отвага, самоотверженность, решительность при-

чудливо перемешаны в нем с необузданной страстью, с себялюбием, завистливостью, скрытностью и склонностью к меланхолии. Знаю лишь одно, что от Педро абсолютно всего можно ожидать.

Катастрофа нанесла нам довольно значительный ущерб. Многие необходимые вещи пропали в воде безвозвратно, многие с большим трудом удалось разыскать на обширной равнине. Палатку, унесенную водой, мы так и не нашли. Счастье еще, что, готовясь в путь, мы большую часть нашего имущества перенесли в машину. Но из этого наводнения мы извлекли и немалую пользу: уходящая вода показала нам путь на юг. Мы рассуждали очень просто: раз вода так быстро схлынула, то очевидно, что ущелье выходит к местам, расположенным ниже, и там, по всей вероятности, мы найдем какой-то обширный водный бассейн, большое озеро или море, а следовательно, и побережье, орошаемое дождями, и, стало быть, не безжизненное.

Задолго до того, как настало время отправляться, мы были полностью готовы.

Снаряженная машина стояла у самого входа в ущелье, открывавшееся перед нами, как врата в новый мир; оставалось только запустить электромотор при помощи аккумуляторов, заряженных еще в пору, когда у нас был огонь.

Мы исследовали заранее немалую часть дороги, пешком пройдя по ущелью. Это не был торный путь, тем более что недавнее наводнение местами глубоко изрыло почву, но все же по нему можно было продвигаться, не опасаясь чрезвычайных трудностей. Мы выжидали только подходящего времени, чтобы двинуться вслед за водой, схлынувшей на юг — в неведомый край удивительных чудес, долгих ночей которого никогда не освещает серебряный диск Земли, сверкающий над пустынями.

II

За сорок часов до наступления первой четверти Земли мы двинулись в путь. На невидимой стороне Луны, куда мы направлялись, еще стояла ночь, но Солнце вскоре уже должно было осветить эти края.

Не без тягостного чувства скорби и даже тревоги покидали мы Полярную Страну. Мы уже знали ее и понимали, что она может нам дать, а все, что нас ожидало, было тайной и догадкой. Снова предстояло нам терпеть палящее солнце долгих дней и холод ночей, которым конца не видно; снова предстояло проходить ущелья, горы, а может

быть, и пустыни, направляясь в край, о котором мы совсем не знали, примет ли он нас, прокормит ли. Вдобавок нас очень тревожила нехватка топлива. Что будет, думали мы, если заряд в аккумуляторах кончится сверх ожидания быстро, раньше чем мы найдем какое-либо топливо и сможем развести огонь, запустить машину и вновь их зарядить? Успеем ли мы тогда пешком возвратиться до наступления ночи в Полярную Страну и укрыться от надвигающейся стужи, смертельно опасной для нас, не имеющих огня? Была такая минута в самом начале пути, когда мы из-за всех этих опасений чуть не решили вернуться в поросшую мхом полярную долину, чтобы провести там всю жизнь, греясь слабым теплом рассеянных в атмосфере косых лучей Солнца и питаясь, как земные животные, сырыми улитками и растениями. Но колебания были краткими, любопытство и надежда победили. Запаса провизии могло хватить нам надолго; взяли мы с собой также малую толику тщательно отжатого торфа, надеясь, что в солнечных местах нам удастся его настолько высушить, чтобы разжечь огонь. За первые двадцать-тридцать часов пути нам не встретилось ничего заслуживающего внимания. Ущелье кончилось, и мы выбрались на равнину, которая походила на полярную, только была гораздо обширней. И здесь видны были следы недавнего наводнения; в лучах восходившего Солнца кое-где сверкали широко разлившиеся неглубокие лужи. Удивило нас, что растительность здесь стала уже иной, хотя мы удалились всего на несколько десятков километров от полюса. Среди уже знакомых нам растений — здесь они были чахлые, подернутые ржавой желтизной, — там и сям торчали из почвы какие-то тощие стебли, скрученные спиралью, словно молодые побеги земного папоротника. Холод сильно ощущался после ночи, которая в этих краях уже бывает, хотя, наверное, походит скорее на сумерки, потому что Солнце опускается всего на несколько градусов за горизонт. Мы согрелись, хлопая руками, как делают на Земле возчики, но тут Марте пришлось в голову наломать этих стеблей и попробовать развести костер.

Мы немедленно принялись за работу; но каково же было мое удивление, когда стебель, за который я ухватился, стал то сжиматься, то развертываться, совсем как живое существо. Я выпустил его с невольным возгласом испуга, а оправившись от первого впечатления, принялся исследовать эти необычные растения. Срезав одно из них ножом, увидел, что это большой, длинный мясистый лист, скрученный двойным образом — сначала в трубку, а потом винтообразно, наподобие рулонов английского табака, — с коричневой

внешней оболочкой, состоящей из мелких деревянистых чешуек. По внутренней светло-зеленой поверхности были рассеяны многочисленные розовые прожилки. Это растение, пока оно оставалось живым, способно было сжиматься, подобно нашей мимозе. Однако больше всего меня заинтересовало то, что эти свернутые листья были значительно теплее, чем все вокруг, по-видимому, их организм благодаря каким-то биохимическим процессам сам для себя вырабатывает в большом количестве тепло, которого ему не хватает во время длинных ночей.

Все это было весьма любопытно, однако надежда разжечь огонь в конце концов снова рассеялась. И мы с тоской обращали взоры к багровому Солнцу, ожидая, чтобы его скупые лучи поскорее обогрели местность.

К морозу прибавилась еще одна беда — мы не знали, какую именно избрать дорогу. Мы намеревались двигаться в том направлении, куда стекала вода, но его трудно было определить на равнине, сплошь залитой при наводнении. Пока мы раздумывали, оглядываясь вокруг, Педро заметил метрах в двухстах от нас какой-то большой белый предмет. Заинтересованные, мы двинулись в ту сторону и увидели свою унесенную водой палатку, которая лишь тут застряла на небольшом пригорке. Находке мы обрадовались вдвойне; прежде всего, эта единственная наша палатка была нам действительно необходима, а кроме того, теперь можно было установить, в каком направлении стекала вода. Палатка попала на равнину через то же ущелье, по которому мы двигались, а следовательно, линия, протянутая от выхода из ущелья до места, где мы обнаружили палатку, более или менее точно определяла направление потока. Линия эта пролегла по равнине на юг с небольшим отклонением к западу.

Двигаясь в ту сторону, мы попали в узкое извилистое горное ущелье, а затем пересекли еще одну небольшую котловину и выбрались на широкую зеленую равнину, что тянулась к югу.

По обеим ее сторонам вздымались высокие цепи гор, изрытые многочисленными кратерами, похожими на те, которыми усеяно безвоздушное полушарие Луны. Вершины гор покрыты были снегом; снег, видимо выпавший ночью, лежал кое-где на равнине, лишь начиная таять под лучами невысоко поднявшегося Солнца. Струящаяся из-под снега вода образовала целую речку, быстро бегущую по очень извилистому руслу.

В этой долине мы решили остановиться на некоторое время, ибо понимали, что, продолжая путь на юг в такую

раннюю пору лунного дня, мы будем терпеть мучительный холод, так как в этих краях все заметней становится разница между средней температурой дня и ночи.

Когда мы снова двинулись в путь, Солнце прошло уже почти треть своей ежедневной дороги. Было ясно и тепло. Снег в долине совершенно исчез, а странные свернутые стебли, которые здесь уже преобладали над другими чахлыми растениями, под воздействием солнечного тепла начали быстро разворачиваться в огромные листья, окрашенные во все оттенки зеленого цвета. Форма их была чрезвычайно разнообразна: одни походили на гигантские веера, окаймленные нежной колеблющейся бахромой, другие же, испещренные яркими пятнами, преимущественно красными и темно-голубыми, напоминали какие-то сказочные павлиньи перья. Встречались и такие, края которых были изрезаны на манер листьев акантуса и усеяны колючками, и такие, что свертывались внизу, образуя воронки, и еще другие — гладкие и блестящие либо покрытые длинными желто-зелеными ворсинками, ниспадающими по обе стороны до самой земли, — словом, величайшее разнообразие красок и форм, и все это живое, движущееся, извивающееся при легчайшем прикосновении.

По берегу ручья, наполовину уходя в его кристально чистые струи, тянулись длинные водоросли, словно ржаво-зеленые змеи и канаты, как цветами увешанные снежно-белыми кругами с сильным, опьяняющим ароматом. А в тех местах, где вода разливалась пошире и течение замедлялось, ряска развевалась из шариков, в форме которых она перенесла ночные морозы, и покрывала водную гладь легчайшей трепещущей сеткой, похожей на изысканнейшие кружева из фиолетового и зеленого шелка. Мы были очарованы этим великолепием растительности; на каждом шагу замечали мы нечто новое и достойное внимания. Из зарослей начали выходить на солнечный свет престранные создания, вроде длинных ящериц с одним глазом и несколькими парами ног. Они с любопытством разглядывали нас и быстро прятались, когда машина приближалась к ним. Собаки погнались за одним из этих зверьков и изловили его. Мы отобрали у них добычу, но зверек был уже мертв, и нам оставалось только разглядывать трупик и изумляться невероятно интересному строению его, решительно непохожему на строение земных организмов. Костяк его ограничивался одним продольным кольцом, составленным из подвижных позвонков, размещенных по обе стороны тела прямо под кожей. Весь череп состоял из мощных челюстей, мозг располагался под спиной, внутри кольца. То, что мы приняли

за ноги, представляло собой два ряда упругих бескостных щупалец, при помощи которых животное перемещалось по земле с необычайной быстротой.

Позже мы обнаружили на Луне множество других удивительных созданий, но ни одно не поразило нас так, как это первое, весьма типичное для здешней фауны.

Вообще все это наше путешествие было словно волшебным сном, полным неожиданных и фантастических видений. Часы проходили за часами, а пейзаж перед нашими глазами непрестанно менялся. Местами долина реки сужалась, образуя скалистые теснины, сквозь которые мы пробирались с трудом, по самому берегу ручья, превратившегося уже в обильную шумную речку; потом мы вновь выбирались на просторные круглые долины, по которым река разливалась широкими озерами с песчаными либо поросшими зеленью берегами. Живности встречалось все больше. Глубины вод кишели странными уродцами, в воздухе носились какие-то летающие ящерицы, издали похожие на птиц с толстой шеей и длинным хвостом. Но вот что необычайно — на Луне все животные немые. Здесь нет тех неисчислимых голосов жизни, что звучат среди земных полей и лесов, только шелестят под порывами ветра огромные листья здешних растений да журчат потоки, нарушая вечное безмолвие.

Буйная растительность неимоверно мешала нам продвигаться вперед. То и дело приходилось останавливаться и распутывать обвившиеся вокруг оси стебли, а иногда пробивались мы сквозь такие густые заросли, что машина прямо застревала в них. Огорчали нас эти задержки, тем более что и так уж очень медленно мы продвигались, часто останавливаясь то для сна и отдыха, то для разведки местности или поисков пищи и топлива. Пропитание мы находили в изобилии. Неоценимую услугу оказывали нам в этом собаки; беспрестанно шныряя в зарослях, они находили съедобные сочные растения или вкусных моллюсков. Много хуже было, однако, с топливом. Правда, торф, который мы набрали в Полярной Стране, высох и горел вполне хорошо, но его приходилось экономить, поэтому что запас был невелик, а мы не находили здесь ничего такого, чем можно было бы поддерживать огонь, когда торф кончится. Таких деревьев, как на Земле, здесь вовсе нет, а эти широкие листья-стебли так сочны, что кипят в огне, а не горят. Отсутствие топлива сильно тревожило нас, тем более что залежи, покрывающие чуть ли не весь простор Полярной Страны, остались уже далеко позади.

Тем временем приближался лунный полдень, и нужно

было окончательно решить, двигаться нам дальше или же из-за отсутствия топлива вернуться до наступления ночи в полярные края. Сначала было у нас намерение возвратиться; особенно уговаривала нас Марта, страшая из-за Тома ночных морозов. Я тоже склонялся к возвращению, но Педро решительно воспротивился.

— Вернуться сейчас, — говорил он, — это значит обречь себя на пожизненное пребывание в полярных краях. Имейте в виду, сейчас у нас еще заряжены аккумуляторы, этого заряда хватит, чтобы пройти ту же дорогу обратно; а что будет потом? Если мы когда-нибудь и захотим вновь отправиться в другие области Луны, то как сможем без огня зарядить аккумуляторы?

— Но ведь путешествие на юг тоже ничего не дает, — заметил я, — а нам грозят ночные морозы, которых мы не выдержим без огня.

— До ночи мы можем еще найти топливо...

— Но можем и не найти.

— Да, однако это лишь предположение, а наверняка известно, что на полюсе мы его не найдем никогда. В конце концов, у нас есть еще немного торфа. С этим запасом мы в крайнем случае как-нибудь продержимся ночь, а следующий день посвятим поискам.

Нельзя было не признать его правоту, а потом двинулись мы дальше по направлению к экватору.

Часов примерно через пятнадцать после полудня небо заволкло тучами и пошел сильный дождь. Он был для нас весьма желанным, ибо освежил знойную и душную атмосферу. Когда схлынули струи воды и Солнце выглянуло из-за туч, нас поразило необычайно сильный шум.

Сначала мы думали, что это шумит разлившийся поток, но вскоре поняли, в чем дело. Мы находились как раз в том месте, где долина, круто сворачивая на запад, образовала изгиб, так что дальнейшая ее часть исчезала из поля зрения. Когда же мы достигли поворота, перед нами открылся обширный и прекрасный вид.

В нескольких сотнях метров от нас долина внезапно обрывалась, спускаясь широкими террасами к необозримой равнине, тянущейся до самого горизонта. По этим террасам пенистыми каскадами ниспадал поток, образуя на них ряд уступами расположенных прудов, и наконец, достигнув долины, тянулся по ней извилистой серебряной лентой, исчезающей где-то в необъятной дали. Насколько хватало глаз, край этот был ровным и плоским, только вблизи окаймляющих его гор изредка вздымались кольцеобразные холмы, словно чаши, наполненные водой. Такие же маленькие

круглые озера, только с менее приподнятыми берегами, виднелись по всей равнине. Те, что поближе, казались громадными глазками павлиньего хвоста, более отдаленные походили на жемчужины, густо нашитые на сине-зеленый плюш. Между ними, как серебряные нити разной толщины, извивались ручьи, а может, и большие реки.

Мы вышли из машины и, стоя на краю террасы, долго смотрели в молчании на удивительную страну, что раскинулась перед нами. Первой заговорила Марта.

— Спустимся туда, — сказала она. — Там так красиво!

Действительно, там было красиво, но будет ли там хорошо? Готовясь к спуску по крутым террасам, мы невольно задавали себе этот вопрос.

После многих трудов очутившись внизу, мы оставили машину на берегу ручья и сразу же принялись искать какое-нибудь горючее. Мы исходили вдоль и поперек всю окрестность на несколько километров вокруг, копали глубокие ямы в надежде напасть на залежи торфа или каменного угля, рвали разные растения, проверяя, не годятся ли они на топливо, но все было напрасно. Оставалось лишь несколько часов до захода Солнца, когда, измученные и упавшие духом, мы отказались наконец от бесплодных попыток и поисков.

Положение наше было весьма тягостным, и мы начали уже сожалеть, что так легкомысленно покинули Полярную Страну. Страх пробирал при одной мысли, что станет с нами ночью. Торфа было немного, приходилось экономить чрезвычайно, чтобы хватило на всю ночь. Когда мы обследовали свои запасы, оказалось, что на каждые двадцать четыре часа приходится небольшая горстка, едва заполняющая маленькую переносную печурку.

— Но мы ведь замерзнем, если будем так экономно топить! — воскликнула Марта, когда мы показали ей приготовленные порции.

Педро пожал плечами.

— Если будем жечь больше, то замерзнем еще скорее — ведь торфа не хватает! Придется как следует укутаться.

— Зачем мы ушли из Полярной Страны! — причитала Марта. — Том не вынесет стужи — он такой маленький, несчастный.

— А, Том! — пренебрежительно процедил Педро сквозь зубы.

Я уже тогда заметил, что любое упоминание о ребенке невыразимо раздражало его. Меня это задевало вдвойне: прежде всего сам я горячо полюбил прелестного ребенка, а затем — я думал и о Марте. Страстно привязанная к сыну,

она болезненно ощущала неприязнь Педро, и я не раз видел, как она бросала на него взгляды, в которых упрек сливался с инстинктивным страхом. Я заметил еще, что Марта никогда не оставляла ребенка с Педро, хотя мне часто поручала его, если должна была чем-нибудь заняться.

— Том здесь не самая важная персона, — продолжал ворчать Педро, — хотя бы он и замерз...

Обычно Марта сносила подобные замечания молча, но тут она внезапно вскочила и с горящими глазами бросилась к Педро.

— Слушай, ты! — глухим голосом выкрикнула она. — Том здесь важнее всех, и он не замерзнет, потому что я раньше убью тебя и твоими костями истоплю эту печь!

Сказав это, Марта взмахнула перед его глазами маленьким индийским кинжалом, лезвия которых тамошние жители обычно смазывают ядом. Мы даже и не знали до этого времени, что у Марты есть это страшное оружие.

Педро невольно отступил. Сначала он пытался улыбнуться, но в голосе и взгляде Марты была такая страшная, неумолимая угроза, что он побледнел и тщетно пытался скрыть растерянность.

Чтобы замять дело, я громко, хоть и несколько принужденно, рассмеялся.

— Ничего не скажешь, Марта заботится о своем сыночке! — воскликнул я. — Пойдем, Педро, подумаем, как спастись от ночных холодов, не жертвуя собственными костей на отопление.

План мой был довольно прост. Совместными усилиями мы выкопали большую яму, в которой легко могла поместиться машина, и, вкатив ее туда, еще накрыли сверху землей и нарезанными листьями. Теперь мы могли надеяться, что машина не станет терять много тепла и ее легче будет обогреть.

Солнце уже село, когда мы завершили наконец работу. Но мы пока не входили в машину — после долгого дня воздух был теплый и приятный; широкое красное вечернее зарево освещало медленно тонущую во мраке равнину, на которой лишь ближние озера еще сверкали, словно чаши, налитые ртутью или кровью, если падал на них отблеск заката.

Мы уселись на пригорке, неподалеку от машины, но разговор как-то не клеился. Недавняя сцена произвела на нас глубокое впечатление. Поэтому, перебросившись какими-то незначущими фразами, мы замолчали, и тишину нарушал только шум близких водопадов да сливающийся с

ним голос Марты, баюкавшей ребенка протяжными и трогательными индусскими песнями.

Я задумчиво слушал это пение, глядя на меркнувшее во мраке зеркало озера, как вдруг негромкий возглас Педро оторвал меня от раздумий. Я вопросительно посмотрел на него, а он протянул руку в сторону равнины:

— Смотри, смотри!

На равнине творилось нечто странное. По мере того как небо темнело, внизу делалось все светлее. Сначала мелкие голубые искры рассыпались по берегу реки. Постепенно искр этих становилось все больше, они вспыхивали справа, слева, спереди — повсюду. Спустя полчаса сверкала уже вся равнина, словно подернутая пеленой голубоватого искрящегося тумана. Озера на ней казались черными пятнами.

Марта перестала петь и вместе с нами глядела на это волшебное зрелище.

Лишь через некоторое время я понял, что это фосфоресцируют странные растения-листья, которыми покрыты здешние равнины. Внутренняя их поверхность светилась, как светятся гнилушки в чащах земных лесов.

Это продолжалось недолго. Только мы успели насладиться необычайным зрелищем, как огоньки начали гаснуть один за другим. Листья закрывались от холода и свертывались на двухнедельный сон.

Выпала обильная роса — и пора нам уже было укрыться в надежно изолированной машине.

Ночь была морозная, но благодаря предпринятым мерам мы с нашим запасом торфа перенесли ее не так уж плохо. Мы ни на миг не выходили наружу, чтобы не терять тепла. Через окна тоже нельзя было видеть, что делается снаружи, потому что машина, как я уже говорил, была плотно укрыта землей и листьями. На эти две ночные недели мы были абсолютно отрезаны от мира.

Только когда наши календарные часы показали время восхода Солнца, я отважился выглянуть наружу. Для безопасности я облачился в гермокостюм, толстая, специально обработанная оболочка которого отлично защищала от холода. Выйдя из машины, я убедился, что осторожность моя была не излишней.

Взглянув на равнину в первых лучах восходящего Солнца, я сначала не узнал ее. Все вокруг было покрыто толстым слоем искристого морозного снега. Зеркала озер исчезли под снегом, лишь кое-где светились матовые оконца льда. Мне показалось, будто меня внезапно перенесли в какой-то арктический край.

Я побыстрее вернулся в машину с известием, что сейчас

выходить еще нельзя. Эта зимняя погода невесело нас настроила, ибо запас торфа был уже на исходе. И действительно, мы за всю ночь меньше страдали от холода, чем в начале дня, пока не настала «весна». Трое земных суток пришлось нам еще ожидать ее, и, что хуже всего, обходясь уже под конец без огня. Но после семидесятичасовой борьбы с холодом Солнце наконец победило. Тающий снег стекал потоками, озера вышли из берегов, все реки и ручьи разлились, а когда мы немного спустя вышли наружу, то на просыхающей равнине уже разворачивались навстречу Солнцу огромные, бесконечно разнообразные листья, и только вершины гор еще были укрыты белым саваном.

С отправлением в дальнейший путь, о котором мы все время думали, приходилось подождать, чтобы земля хоть немного подсохла. Пока что мы снова принялись разыскивать топливо. Во время одной из вылазок, которые мы предпринимали с этой целью во всех направлениях, набрали мы случайно на яму, нами же вырытую в предыдущий лунный день в надежде найти торф или уголь. Она была до краев залита водой. Я равнодушно миновал ее, но Педро, видимо пораженный чем-то необычным, остановился и начал пристально в нее вглядываться. Я отошел уже довольно далеко, когда услышал его голос.

— Ян! — кричал он, махая мне рукой. — Иди-ка, иди скорей, смотри!

Когда я подошел, Педро стоял на коленях, опираясь одной рукой о край ямы. Лицо его пылало от волнения.

— Что случилось? — воскликнул я.

Вместо ответа он зачерпнул горстью странную грязновато-желтую воду и сунул мне ее прямо под нос.

— Нефть! — радостно закричал я, почуяв знакомый резкий запах.

Педро кивнул, торжествующе улыбаясь. Чтобы проверить, не обманываемся ли мы, я обмакнул в жидкость носовой платок и зажег его. Он вспыхнул ярким алым пламенем, которое мы оба созерцали словно радугу, предвещающую нам новую жизнь.

Мы немедленно кинулись к Марте, чтобы поделиться с ней этой доброй вестью.

Находка эта имела для нас огромное значение. Теперь мы могли отправляться дальше на юг или оставаться здесь, уже не опасаясь ни морозных ночей, ни отсутствия горячей пищи. Несколько десятков часов мы посвятили тому, чтобы набрать как можно больше этой благословенной жидкости. Для этого мы выкопали еще несколько глубоких ям и собирали скопившуюся в них нефть, куда только было

возможно. К полудню все наши резервуары уже были заполнены. Затем мы посоветовались, что предпринять дальше. Осмотрительней всего было бы оставаться на месте, поблизости от нефтяных источников, но мы не могли совладать с искушением продвинуться дальше, к морю, которое, судя по всему, находилось не слишком далеко. Кроме любопытства, в пользу этого путешествия говорило еще и то обстоятельство, что на побережье климат значительно смягчен влиянием большого водного бассейна. Суточные колебания там будут менее резкими, хоть мы и приблизимся к экватору. В конце концов, у нас был теперь такой солидный запас топлива, что с ним мы могли отважиться даже на пробное путешествие, ибо в случае неудачи сумели бы вернуться к нефтяным источникам, которые нетрудно будет отыскать, возвращаясь вверх по течению реки.

Этот день и следующую ночь мы провели еще на том же месте, на краю Равнины Озер, как называли мы эту огромную территорию. Начало путешествия мы отложили на следующий день, считая, что нам будет значительно удобней иметь впереди триста с лишним светлых часов, в течение которых не придется прерывать пути из-за тьмы и холода. Но зато, едва лишь горные снега зарумянились под первыми лучами, мы двинулись в путь, не ожидая даже восхода Солнца, хотя мороз изрядно давал себя знать.

Утренний — или, как следовало бы тут говорить, — весенний паводок застиг нас примерно в ста километрах от того места, где мы останавливались шесть недель назад по земному счету. Сначала оттепель очень нас беспокоила; грунт размяк до такой степени, что продвигаться стало просто невозможно. Однако вскоре мы сообразили, что если заменить колеса подвижными лопастями и установить подходящий руль, то машина легко превратится в плавающий корабль, а поэтому вовсе нечего было бояться паводка — наоборот, мы даже могли им воспользоваться, чтобы плыть по стремню вздувшегося потока. Это была весьма счастливая идея, тем более что поток служил путеводной нитью, которая должна привести нас к морю. Вдобавок мы сэкономили массу горючего, ибо сильное течение несло нас с такой быстротой, что не приходилось пускать в ход машущие лопасти.

Весь долгий лунный день мы так и провели на волнах, лишь изредка причаливая к берегу то для отдыха, то для того, чтобы исследовать заинтересовавший нас прибрежный участок.

Прежде чем паводок схлынул, мы продвинулись далеко вниз по течению; поток здесь превратился уже в большую

реку, русло которой было даже чересчур глубоко для нашего маленького кораблика.

Вид и характер местности непрерывно менялись. Некоторое время плыли мы посреди обширной и с виду довольно сухой степи, покрытой низкорослой, чахлой растительностью, совсем непохожей на великолепные листья-кусты, что росли выше по течению. Было нечто безмерно печальное в однообразных пейзажах этой унылой равнины.

Мы уже оставили далеко позади кольцеобразные пригорки, до краев налитые водой, и круглые озера со скалистыми, едва поднятыми над водой берегами среди холмов, похожих на стога сена. Теперь слева и справа простиралась ржаво-зеленая равнина, на которой местами выделялись лишь фиолетовые лужайки, поросшие какими-то мелкими псевдоцветами, да осыпи желтого песка на невысоких склонах. Река здесь разливалась широко и текла так лениво, что мы запустили мотор, приводящий в движение лопасти, чтобы ускорить свое путешествие.

Вскоре после полудня мы приблизились к скалистой гряде, замыкавшей эту степь с юга. Река здесь на протяжении нескольких километров была так зажата с обеих сторон скалами, что плавание становилось весьма опасным. Течение то и дело подхватывало нас и швыряло корабль на подводные камни. Мы уцелели лишь благодаря прочности снаряда, теперь превращенного в корабль.

Сразу же за этими каменными вратами река разливалась в большое озеро, холмистые берега которого, покрытые буйной растительностью и изрезанные заливами, представляли собой один из прекраснейших пейзажей, виденных нами на Луне.

Не успели мы пересечь озеро, как небо, до тех пор почти всегда ясное, внезапно заволочло темными тучами. Сначала мы обрадовались этому, потому что невыносимый зной уже порядком докучал нам, но вскоре встревожились, предчувствуя приближение бури. Уже слышны были отдаленные мощные удары грома, а небо на юге то и дело озарялось кровавыми молниями. Нам едва хватило времени, чтобы укрыться в маленьком заслоненном холмами заливе, как буря разразилась вовсю.

На Земле я знавал страшные тропические грозы, но все же ничего столь чудовищного не мог себе представить. Оглушительные удары грома сливались в немолкнущий грохот, молнии непрерывно сверкали у нас перед глазами, словно струны какой-то огненной арфы, плотно натянутые между небом и землей. Дождь... нет! Это уже был не дождь! Потоп, хлынувший из туч, превратил всю атмосферу в

висящее озеро, терзаемое яростными вихрями. Воздух, смешавшийся с дождем и волнами, взлетающими под ветром, был так насыщен электричеством, что временами вспыхивал сам по себе, и тогда возникало перед нами странное, дьявольское зрелище: под тучами, кроваво подсвеченными снизу, воздух светился, как прозрачное пламя, и огромные, в кулак величиной, капли воды сверкали в нем, словно кипящий, расплавленный металл.

Временами буря внезапно стихала, тучи, будто раздвигающийся занавес, открывали Солнце и голубое небо; но едва мы успевали перевести дух, как небо вновь чернело, и под натиском ужасающего циклона, мчащегося с юга, снова начинали грохотать громы и хлестать струи бьющей из туч воды.

Продолжалось все это с перерывами около сорока часов. Измученные, ошеломленные, глядели мы на эту чудовищную борьбу огня, воды и воздуха. Корабль мы привязали канатами к каким-то торчащим из берега корням, опасаясь, чтобы залив, временами метавшийся под нами, как дикий зверь в предсмертных судорогах, не вышвырнул нас в открытое озеро на произвол вихрей и волн.

Наконец все утихло, небо прояснилось, и вот уже только бурные потоки шумели среди холмов, вздымая еще зыблущую поверхность озера.

Вода неимоверно поднялась. Нам пришлось ждать еще более двадцати часов, прежде чем она склынула настолько, что можно было отважиться на дальнейшее путешествие. Теперь мы плыли куда быстрее, течение разлившейся реки весьма ускорило. Всюду виднелись следы страшного опустошения: целые участки почвы были смыты водой; огромные, странные растения, которые образовали здесь уже целые леса неимоверно перепутанных листьев и длинных, толстых и мясистых стеблей, местами были прибиты к земле и истерзаны ветром. Из каждой расщелины низвергались каскады мутной воды; на равнине стояли широкие лужи, вокруг которых собиралось множество самых разнообразных, большей частью уродливых существ, похожих на рептилий.

Ныне, когда мы уже обжились на Луне, нам известно, что здесь эти ужасающие бури — явление повседневное в буквальном смысле слова. Они возникают вследствие немыслимой жары, царящей в послеполуденную пору, и, несмотря на свою чудовищность, являются благом для этого мира, потому что освежают воздух и пересыхающую почву. Если б не они, жизнь тут была бы невозможной.

Я не буду описывать наше послеполуденное путешес-

вие — оно протекало без происшествий. Только ландшафт непрестанно менялся, а с ним и растительность, хотя следует заметить, что на этой планете, не имеющей четко выраженных климатических зон, флора значительно однообразней, чем на Земле.

Уже близился вечер, когда мы достигли места, где река, замедлив бег, широко разливалась и появились многочисленные мели, чрезвычайно затруднявшие плавание. Мы поняли, что это знаменует приближение устья.

— Увидим море, — переговаривались мы, обращая взоры к Солнцу, словно хотели проверить, хватит ли нам дневного света, чтобы добраться до этой желанной цели.

Но тем временем плавание наше становилось все более мучительным. Несколько раз садились мы на мель и наконец решили вновь превратить корабль в машину и двинуться дальше по сухопутью.

Закат настиг нас у подножия невысоких песчаных дюн, скудно поросших каким-то подобием травы. Мы предчувствовали, что за этими дюнами уже простирается море; нам даже порой казалось, что мы слышим мощный приглушенный рокот волн и ощущаем острый запах морской воды. Поэтому, гонимые нетерпением, мы не прерывали пути, хотя уже наступали сумерки.

Мрак уже основательно сгустился, когда мы наконец взобрались на гребень этих песчаных дюн. Мы напрягали зрение, чтобы увидеть море, но ничего не удавалось разглядеть. Сверкали перед нами на плоской низменности призрачно фосфоресцирующие растения; с востока, откуда доносилось какое-то бульканье и словно бы плеск взлетающей воды, ползли густые белые испарения или полосы тумана, как призраки, блуждающие по светозарным лугам. Мы сначала не знали, что делать — оставаться на ночь наверху или спускаться вниз, — но тут внезапный порыв ветра развеял пелену испарений и мы увидели, что невдалеке от нас по широкому скальным террасам стекает поток, образуя небольшие естественные бассейны на каждом уступе. Это видение длилось лишь миг, ибо завеса пара тут же вновь скрыла воду, и только плеск да бульканье по-прежнему доносились до нашего слуха. Нас удивило необычайное обилие и плотность испарений, и мы направились к бассейнам. Вскоре мы очутились в густом теплом тумане. Колеса машины громыхали теперь по камням.

Когда ветер снова разогнал испарения, мы увидели, что находимся прямо на берегу одного из бассейнов. Теплое влажное дуновение скользнуло по нашим лицам.

— Горячие источники! — воскликнули мы.

Действительно, где-то неподалеку, видимо, находились горячие источники, ибо температура воды в бассейнах была двадцать с лишним градусов по Цельсию. Не время было сейчас, в темноте, исследовать местность; мы лишь решили воспользоваться счастливым случаем и провести морозную ночь у этой воды, которая поставляла нам достаточно тепла.

Ночь была довольно беспокойной. Через четверо земных суток после захода Солнца выпал обильный снег, и ледяной ветер начал пронизывать нас насквозь так, что для спасения от стужи нам пришлось столкнуть машину в теплую воду бассейна. Тьма была непроглядная. Лишь изредка, когда ветер разгонял клубящиеся над водой испарения, мы видели сверкающие в небе звезды. В эти мгновения появлялась также широкая полоса голубоватого света, бегущая на юге по краю горизонта. Нас удивляло это свечение, так долго не исчезавшее в ночи, хотя фосфоресцирующие растения, которые мы сначала сочли его источником, давно уже свернулись. Это загадочное сияние угасло лишь далеко за полночь, когда мороз вдали от источников был уже, наверное, чрезвычайно крепким. Однако же, прежде, чем это произошло, нас встревожило нечто иное. А именно, около полуночи мы ощутили сильное волнение воды, которому сопутствовал глухой подземный грохот. Почти одновременно разглядели мы сквозь туман кровавое зарево на востоке, столбом вздымающееся к небу. Несколько часов спустя оно погасло, но потом разгорелось вновь и так с небольшими перерывами стояло в небе четверо земных суток, словно страшный, адский призрак, возникающий в тумане и мраке над снежной пустыней.

Температура воды в бассейне, колеблемом непрерывными сотрясениями почвы, в это время несколько повысилась, так что мы страдали теперь скорее от избытка тепла, чем от нехватки его.

Уже ночью, созерцая это явление, которое нас сначала встревожило и даже напугало, мы догадались, что где-то поблизости находится вулкан, извержение которого мы как раз и видим. В этом убеждало и само существование горячих источников, которые чаще всего появляются в вулканических местностях.

Приблизившийся день подтвердил наши догадки. Сначала мы ничего не могли разглядеть, хоть и посветлело, потому что из-за холода еще не покидали бассейна, а испарения застилали перед нами окрестность. Лишь через сорок часов после восхода Солнца мы причалили к каменистому южному берегу бассейна и вышли из машины.

Первые несколько шагов мы сделали еще в густом тумане.

не, и вдруг словно взвился волшебный занавес — перед нами открылся широкий простор.

Мы застыли на месте, охваченные изумлением и восторгом. Метров на десять ниже, в двух-трех километрах от нас, простиралось море.

Это его тускло фосфоресцирующие волны так долго светились в ночи сквозь туман и мрак.

Теперь мы видели его ясно. Еще скованная льдом у берега, но дальше уже подвижная и колышущаяся, позолоченная солнцем необозримая водная гладь простиралась куда-то за край горизонта.

В первое мгновение мы были так захвачены этой долгожданной картиной, что не могли оторвать от нее глаз. Лишь потом, насытившись этим великолепием, которого не видели с момента разлуки с Землей, мы начали оглядываться вокруг. На западе среди обширной равнины поблескивало широко разлившееся и разделенное многочисленными песчаными грядами устье реки, по которой мы плыли почти весь последний день. На востоке ландшафт поражал буйством и многообразием форм. Прежде всего привлекал взоры поднебесный заснеженный конус вулкана, величественно царившего над окрестными горами в радиусе нескольких десятков километров. Южные склоны этих гор, спускающихся к морю, чернели густыми лесами странных, огромных, невероятно перепутанных листообразных кустов и вьющихся растений, которые в этот час разворачивались, возвращаясь к жизни после ночного сна. Поближе к нам среди фантастически нагроможденных скал и небольших дымящихся озер били бесчисленные жемчужные гейзеры, окутанные облаками белого пара. Рождающийся от них поток прыгал по террасам, кружил в бассейнах и опять бежал, журча по камням, все ниже, пока не исчезал под конец в гуще зарослей, стремясь к морю.

Здесь предстояло закончиться нашей одиссее.

III

Десять земных лет миновало с той поры, как мы прибыли на берег моря, где живем и сейчас. Мало что изменилось здесь за эти годы. Все так же шумит море и так же долго светятся по ночам его искрящиеся волны; время от времени повторяются извержения вулкана, который мы назвали Отеймором в память о нашем дорогом друге; все так же бьют гейзеры и журчит по камням ручей... Только над одним из бассейнов поднимается теперь зимний дом на

сваях, а пониже, на берегу моря, стоит шалаш, который служит нам летним жилищем, да на песчаном побережье либо на лугах резвятся четверо детей, собирая раковины и цветы или играя с собаками.

И мы уже привыкли к этому миру. Нас не удивляют ни долгие морозные ночи, ни дни, во время которых лениво ползущее Солнце пышет огнем с небес; страшные послепо-луденные бури регулярно, каждые семьсот девять часов проходящие над нашими головами, перестали пугать нас; на этот дикий, фантастический пейзаж, на растительность, столь непохожую на земную, на уродливых и неуклюжих лунных животных мы глядим как на нечто хорошо знакомое и естественное. Зато Земля в наших воспоминаниях становится все более похожей на сон, который миновал и оставил лишь какой-то неуловимый, грустно-мечтательный след в памяти.

Иногда мы садимся на берегу моря и долго, долго говорим о ней... Мы рассказываем друг другу о коротких земных днях, о земных лесах и птицах, о людях и о странах, в которых они живут, о множестве незначительных, но знакомых вещей — словно о чем-то безмерно интересном и только в сказке услышанном. Том уже большой, умный, он слушает все это действительно как сказку. Он никогда не был на Земле...

В конце концов жизнь свою мы устроили здесь вполне сносно. У подножия Отеймора на рыхлой вулканической почве мы нашли вьющиеся растения, мощные толстые корни которых могут, на худой конец, заменить земное дерево. Высушенные и очищенные от деревянистых чешуек огромные листья, необычайно плотные и прочные, заменяют нам кожу, а из волокон других растений мы ткем себе нечто вроде толстого и мягкого холста. После долгих поисков мы нашли на равнине за рекой залежи бурого угля и открыли более близкие источники нефти. Железо, серебро, медь, сера и известь имеются здесь в изобилии; море предоставляет нам множество очень полезных раковин и янтаря, который отличается от земного лишь пламенно-алой окраской.

Пищу мы тоже добываем в основном из моря. Тут водятся различные странные ракообразные, вполне съедобные, и еще какие-то не то рыбы, не то ящерицы, весьма питательные и вкусные. Кроме того, в прибрежном песке и в зарослях мы собираем яйца — ни одно из здешних созданий не является живородящим, все несут яйца, до невероятия морозоустойчивые и очень быстро созревающие на солнце, — либо же готовим вкусные и сытные блюда из нескольких видов растений, которых здесь изобилие.

Вначале нам досаждало отсутствие мясной пищи, но теперь мы уже привыкли. Мясо всех здешних животных жилистое и такое вонючее, что есть его невозможно. Только собаки им не брезгают.

Прошло несколько лунных суток, пока мы тут мало-мальски обжились. Прежде всего принялись мы за поиски строительного материала и топлива, а потом поставили на сваях, вытесанных из мощных корней, зимний дом над тем самым озерцом с горячими ключами, на котором провели в машине первую ночь. По окончании этой наиболее важной работы начались дальние походы. Мы совершали их преимущественно пешком, погрузив припасы и инструменты в тележку, запряженную собаками. Собаки тут для нас — единственные рабочие животные; из лунных обитателей мы разводим только один вид больших крылатых ящериц, которые несут крупные и вкусные яйца.

Временами мы отправлялись по морю, плывя вдоль берегов; к западу побережье плоское и песчаное, зато на востоке оно изрезано множеством мысов, которые представляют собой выступы вулканических гор и разделены глубокими, далеко уходящими в сушу заливами. Почти каждая такая поездка по воде или по суше приносила какую-то пользу, мы открывали нечто новое, что могло нам пригодиться, или по крайней мере узнавали особенности и тайны мест, где мы проживем, видно, уже до самой смерти.

Через тринадцать лунных суток, то есть земной год нашего пребывания у моря, мы уже очень хорошо изучили здешние края, а кроме жилого дома, имели мастерские, маленькую плавильную печь, склады, помещение для собак — словом, все, что было нам здесь необходимо. Кончился период лихорадочной напряженной деятельности, и понемногу подступила к нам скука и то, что страшнее скуки, — тоска по оставленной Земле. Ужасная это была для нас пора; помню, что мы никак не могли с этим справиться. Днем мы еще разведывали местность, в одиночку бродя по горам или пополняя запасы продовольствия — что нетрудно было делать, — но долгими ночами нас охватывало отчаяние. Запертые в маленьком домике над теплым озером, вялые и бездеятельные, мы только старались как можно больше спать.

Но и это не всегда удавалось. Тогда мы сидели молча, подавленные скукой и тоской, испытывая взаимную неприязнь. Это истина, одна из самых несомненных, — ничто так не отталкивает людей друг от друга, как страдание и скука. К сожалению, я имел возможность неоднократно убедиться в этом. Можно было бы, правда, кое-чем занять-

ся, внести какие-то улучшения в наш быт, подумать о будущем, но нас лишила энергии мысль, что мы обречены здесь на вымирание. На Земле люди даже не понимают, что большая часть их энергии порождается убеждением, порою подсознательным, что работают они не только для себя, но и для тех, кто придет после. Человек хочет жить — вот и все. А между тем неумолимая смерть стоит у него перед глазами, и если б он не сыскал увертки, не наловчился обманывать ее, — а может, только себя? — ей-богу, я не верю, чтобы в его голове могла возникнуть иная мысль, кроме этой, страшной и парализующей: я у м р у! Есть разные лекарства: вера в бессмертие души, вера в бессмертие человечества и дел людских. Человек делами своими продлевает собственное существование, ибо если он и думает иной раз о тех столетиях, когда его уже не будет, то представляет себе, что все же останутся тогда какие-то следы его дел; и так, в мыслях своих, он присутствует в том будущем, которого уже не увидит при жизни. Но для этого человеку нужно знать, что после него будут жить люди и что если они даже не вспомнят его имени, то хотя бы, не зная о том, воспользуются плодами его трудов. Это — необходимое условие для того, чтоб дела его жили. Ведь дела человеческие как сами люди: они живут или умирают. Дело, которое не вызывает никаких изменений ни в чьем сознании, мертво.

Все это мысли чрезвычайно простые и естественные, но осознал я их для себя целиком и полностью только на Луне, во время тех долгих бездеятельных и безнадежных ночей в начале нашей жизни у моря.

Не раз думал я: хорошо было бы исследовать пределы этой большой воды, изъездить этот край вдоль и поперек, изучить здешние горы и реки, сделать карты, описать растения, животных и минералы, но тут же вставал передо мной язвительный вопрос: а кому это нужно? «В самом деле, кому это нужно, — думал я, — кому расскажу я то, что узнаю, кому оставлю то, что запишу? Тому?.. Но ведь и маленький Том умрет так же, как я, — немного позже, правда, но это дела не меняет: он будет последним человеком в этом мире, где мы были первыми. Вместе с ним кончится все...»

Сознание этого парализовало все мои действия — и когда я намеревался исследовать этот удивительный край и это море, которым налита Луна, как серебряная чаша, сухим донцем обращенная к Земле, и когда я собирался построить более прочный дом, оборудовать новые, усовершенствованные мастерские, разбить сад, устроить зоо-

парк — словом, когда думал о благосостоянии нашего маленького хозяйства.

И вот тогда мы с Педро ощутили необходимость положить здесь начало новому человечеству, и взор наш снова обратился к Марте. Я пытаюсь сейчас оправдаться в этом перед самим собой, ибо знаю, что это было преступлением и эгоизмом. Я и тогда это видел, но... но... Человек хочет жить как угодно, любой ценой, но лишь бы жить — и все тут!

Было нечто ужасное в нашем решении, тем более что приняли мы его холодно и трезво. По крайней мере я...

Меня привязывала к Марте какая-то великая любовь, тихая и нежная; но то время, когда я желал ее для себя, для своего наслаждения и счастья, миновало уже давно и, как казалось мне, бесповоротно. Я и сам не знаю почему... Иногда кажется мне, лишь потому, что, полюбив Марту настоящей любовью, я понял, что она меня не любит и никогда не будет любить, ибо навеки поглощена мыслью о том умершем и возродившемся в ее сыне.

Нет, не о Марте думал я тогда прежде всего, а о детях, о маленьких веселых девочках, на которых, когда они вырастут, Том сможет жениться и положить этим начало новому человечеству. Я мечтал об этом как о величайшем счастье — ведь тогда труды наши не пропадут зря, и всем, что мы откроем или сделаем, будут пользоваться те, кому из поколения в поколение, долгие века суждено жить на лунном шаре.

Я не хочу сказать, что эти мечтания мои были полностью безличными. Конечно, думая о детях, я невольно представлял себе, что это мои дети, а за их веселыми, улыбающимися личиками возникал тихий, добрый, спокойный облик Марты, моей Марты... Томительные это были мечтания, даже мучительные — ведь они казались мне такими неосуществимыми...

А потом я вновь попрекал себя, глядя на этот все же негостеприимный и не для человека созданный лунный мир. «Какова же будет, — думал я, — судьба человечества, которое мы легкомысленно хотим оставить здесь для того, чтобы придать цель нашим действиям и смысл нашей собственной жизни?» Я уже достаточно изучил эту планету, чтобы понимать, что человечество никогда не сможет развиться здесь так, как на Земле. Человек всегда останется тут назойливым пришельцем, который явился непрошеным и — слишком поздно. Да, слишком поздно. Луна все же планета умирающая.

Глядя на здешнюю жизнь, существующую на такой ни-

чтожно малой части планеты, на растения, будто бы и роскошные и буйные, но куда менее жизнеспособные, чем земные, на животных — диковинных, но измельчавших и бессильных, я не мог избавиться от ощущения, что вижу великолепие заката. Тут жизнь перестала уже развиваться, она созрела, даже перезрела и ждет своего конца. И вот природа, трудясь здесь на много веков дольше, чем на Земле (ведь Луна, будучи меньше Земли, раньше остыла и стала «миром»), не сумела создать разумного существа, а если и создала, то его время миновало безвозвратно. И это наилучшее доказательство того, что лунный мир, тем более сейчас, не предназначен для таких существ.

Человеку здесь всегда будет тесно и скверно.

Такие раздумья занимали мой ум, но чувства всегда сильнее, чем абстрактные умозаключения: несмотря ни на что, я всем сердцем желал, чтобы после нас здесь остались люди. Иногда я обманывал себя и пытался оправдать это эгоистическое желание тем, что хочу создать человечество для Тома, чтобы спасти его от самой страшной доли: быть человеком одиноким, последним. Но это неправда — я хотел нового поколения для себя.

Не знаю, что думал Педро и что он чувствовал, но это желание владело им наверняка не менее сильно. Немало времени прошло, прежде чем мы заговорили об этом. Помню, было то однажды на закате; Марта с Томом на руках пошла к источнику, и мы оба молча сидели на морском берегу.

Педро долго смотрел вслед Марте, а потом начал потихоньку считать, сколько лунных суток мы уже прожили.

— Двадцать третий закат, — произнес он наконец вслух.

— Да, — ответил я, не вдумываясь, — двадцать третий, если считать и дни, проведенные на полюсе, где закаты, правда, не было.

— И что же дальше? — спросил Педро.

Я пожал плечами.

— Ничего. Еще несколько закатов, может быть, несколько десятков, может быть, несколько сотен — и конец. Том останется один.

— Я не о Томе забочусь, — сказал он. А немного погода добавил: — Так или иначе, дела плохи.

Мы долго молчали, потом Педро заговорил вновь:

— Марта...

— Ну да, Марта, — повторил я.

— Надо ведь как-то решить?

Мне показалось, что я вновь уловил в его голосе инто-

нацию, памятную мне со времен страшного пути через Море Холодов после смерти Вудбелла. Глухой протест шевельнулся в моей душе. Я быстро глянул в глаза Педро и подчеркнуто произнес:

— Надо.

Он как-то странно усмехнулся и ничего не ответил.

В тот день мы больше не говорили на эту тему.

Долгая ночь прошла в молчании и скуке. Том слегка прихворнул, и встревоженная Марта все время возилась с ним. Мы созерцали ее безграничную материнскую нежность, и, кто знает, не тогда ли именно зародился в нашем подсознании гнусный план сыграть на любви к ребенку, чтобы заставить Марту подчиниться нашим желаниям. Во всяком случае, эта пустая и тоскливая ночь убедила нас, что нужно, в конце концов, «как-то решить».

Утром следующего дня мы с Педро отправились в леса у подножия Отеймора. В дороге мы договорились окончательно: один из нас женится на Марте, а другой дает обещание никогда не становиться ему поперек дороги.

«Один из нас!» — мысленно повторял я с какой-то тоскливой, болезненной тревогой.

Когда эти слова произносил Педро, они звучали как угроза. Не знаю, может, я ошибся, но так мне казалось. Выбор между нами двумя мы решили предоставить Марте, а если она категорически откажется выбирать, то мы будем тянуть жребий. Педро настаивал, правда, чтобы сразу решать дело жеребьевкой, утверждая, что Марта не захочет выбирать, но я решительно воспротивился этому и вынудил у него обещание сначала спросить Марту. Он согласился неохотно и, сказав наконец «да», загадочно усмехнулся, а в глазах у него мерцали странные недобрые огоньки.

Вернувшись в дом, мы долго еще оттягивали решительный разговор — слишком уж были уверены, что Марта неприязненно отнесется к нашим планам. Педро все время ходил задумчивый и угрюмый, делая вид, что чем-то занимается, а я бродил по берегу моря, и сердце мое переполняла необъяснимая тревога. В этот день должна была решиться судьба каждого из нас.

Наконец наступил полдень, знойный и душный. Солнце, стоявшее на небе почти полтора часа, пылало нестерпимым зноем, от которого никли растения, ожидая живительных дождей. Над морем с юго-востока, там, где Солнце уже миновало экватор, собирались густые черные тучи. Воздух висел под ними недвижно и тяжело; но время от времени уже срывался яростный краткий вихрь, бил о берег волна-

ми, ерошил леса, сбивал жемчужные фонтаны гейзеров и выл среди скал, предвещая ежедневное время бурь.

Из летнего домика на берегу мы перебрались в пещеру около гейзеров, обычно служившую нам прибежищем во время бури. Когда мы все трое сидели там у входа, а маленький Том, цепляясь за колени матери, пытался на собственных ногах проковылять вокруг этой опоры, Педро многозначительно глянул на меня, а затем с выражением внезапной решимости обратился к Марте.

Я почувствовал, как заколотилось мое сердце, даже горло сдавило. Приближение грозы всегда возбуждающе влияло на нас, а теперь к этому добавилось и лихорадочное нетерпение при мысли о близком и решительном, таком важном разговоре с Мартой. У Педро это неестественное состояние выражалось особенно резко: расширенные зрачки его беспокойно сверкали, он дышал быстро и нервно, на скулах рдели красные пятна. Я смотрел на него, затаив дыхание, а он без предисловий и подготовки так и спросил напрямик:

— Марта, кого из нас ты предпочитаешь?

Марта, захваченная врасплох этим внезапным вопросом, казалось, не сразу поняла, о чем идет речь. С изумлением поглядела она на меня, на него, потом снова на меня и презрительно пожала плечами.

Педро повторил:

— Марта, кого из нас ты предпочитаешь?

Его взгляд, неотступно на нее устремленный, верно, сказал ей больше, чем этот вопрос, — она побледнела, внезапно все поняв, и с легким вскриком вскочила с места. В ее руке вновь сверкнул кинжал, которым она однажды уже грозила Педро.

— Из вас? Никого! — крикнула она.

Педро шагнул к ней.

— И все-таки ты должна выбирать и... выбрать, — с нажимом произнес он.

Ее ресницы затрепетали в немом отчаянии, как испугнутые птицы. Мне почудилось, что на мгновение, на краткое, мимолетное мгновение глаза Марты остановились на мне с какой-то нерешительной мольбой или колебанием, но — нет! — это мне лишь почудилось, это наверняка мне лишь почудилось, ибо в тот же миг Марта взмахнула кинжалом и твердо проговорила:

— Не выберу, и хотела бы я видеть, кто из вас осмелится подойти ко мне! Не хочу никого!

И снова, помню, показалось мне, что последние слова в ее устах как-то странно смягчились, а взор ее снова встретился с моим — но это, несомненно, была лишь иллюзия.

Я был тогда так взволнован... Боже мой, хочу верить, что это мне показалось!

Когда Марта вскочила, Том уселся на полу пещеры и с любопытством смотрел на всех нас. Педро положил руку ему на голову.

— Прочь! — тревожно закричала Марта. — Прочь! Не подходи к нему! Он мой!

Педро не пошевелинулся. Касаясь пальцами головки ребенка, он упорно глядел на Марту с язвительной улыбкой.

— А что будет с Томом? — спросил он наконец.

Марта заколебалась.

— С Томом? Что будет с Томом? — повторила она почти безотчетно.

— Ну да, когда мы умрем, а он останется один...

Эти слова как громом поразили Марту. Глаза ее расширились, словно она внезапно увидела пропасть, о которой до сих пор не подозревала; потом она глубоко вздохнула и села, видно ощутив, что сил не хватает.

— Да, что будет с Томом... — шепотом повторяла она, с беспомощным отчаянием глядя на ребенка.

А Педро начал ей втолковывать, что ради любви к Тому она должна выбрать одного из нас. Ведь не захочет же она обречь своего любимого сыночка на страшную одинокую смерть, а до этого на еще более страшную одинокую жизнь? Что же он будет делать, когда мы умрем? Осиротевший, печальный, одичавший, будет он одиноко блуждать по этим горам и по берегу моря, последний человек, единственный человек на планете, думая об одной лишь неизбежности — о смерти.

Настанет миг, когда он проклянет мать, породившую его. Не имея собеседника, он забудет людскую речь. Он будет терять одно за другим слова, которым научился от нас, как рассыпают, не задумываясь, по пустыне деньги, на которые ничего не купишь. Может, под конец в его памяти удержатся несколько последних бесполезных слов, звуком которых он станет тешить себя, хоть будут это, наверно, страшные слова, выражающие ужас, одиночество, сиротство и тоску. Когда он придет в отчаяние, никто не утешит его; когда будет нуждаться в помощи, ему никто не поможет. Если он заболит, у его ложа встанет только страшный, насмешливый призрак голодной смерти. И тут даже собаки — более счастливые, чем он, потому что смогут здесь плодиться и размножаться, — даже они покинут своего хозяина, беспособного уже им приказывать. Быть может, одна, самая верная, которая была ему другом и спутником в одиночестве, останется с ним дольше, пока не испугается

его мертвых глаз, наполненных последним отчаянием, и не начнет протяжно и долго выть со страху. Другие, уже одичавшие, сбегутся на ее голос и... устроят себе пиршество над теплым еще трупом последнего человека на Луне.

Он говорил еще долго, рисуя все ужасы, на которые будет обречен Том после нашей смерти, а я, накажи меня бог, я помогал ему измываться над этой женщиной и убеждал ее, что ради Тома она должна выбрать одного из нас...

Марта слушала все это, не говоря ни слова. Только на ее лице, вначале изумленном, сменились поочередно страх, отчаяние, подавленность, покорность.

С юга уже доносились первые далекие раскаты надвигающейся грозы... Марта сидела молча.

Мы наконец выговорились, и Педро спросил, согласна ли она выйти замуж за одного из нас, но Марта, казалось, и не расслышала этого. Только когда он повторил свой вопрос, она вздрогнула и подняла голову, словно проснувшись. Посмотрела на нас, а потом отозвалась глухо, с трудом выговаривая слова:

— Я знаю, вы не о Томе думаете, но все равно... Вы правы... Я для Тома... я сделаю... все.

Она судорожно вздохнула и умолкла.

— Bravo, — воскликнул Педро, — вот это разумно! — И добавил, склонившись к ней: — Так кого из нас ты предпочитаешь?

Я стоял в стороне и смотрел на Марту. Она инстинктивно отпрянула, словно охваченная внезапным отвращением, но тут же овладела собой и посмотрела на нас. И снова, снова, уже в третий раз мне показалось, что ее взгляд задержался на мне — взгляд несчастной, загнанной, окруженной и молящей о пощаде лани.

Вся кровь из стеснившегося сердца бросилась мне в голову. Должно быть, и Педро уловил этот взгляд, потому что он вдруг побледнел и повернулся ко мне с выражением какой-то ужасающей жесточенности.

В это мгновение Марта разразилась бурными, долго сдерживаемыми слезами и, бросившись на землю, в отчаянии зарыдала:

— Томас! Томас! Мой Томас! Мой добрый, любимый Томас!

Она призывала мертвого, словно он мог спасти ее от живых.

Педро нетерпеливо махнул рукой.

— Не о чем говорить и нечего ждать, — сказал он. — Давай тянуть жребий.

Я пытался еще противиться. Мне было душно и страшно. Тучи уже заволокли полнеба, над морем то и дело пролетали ослепительные молнии. Маленький Том, увидав, что мать плачет, и сам расплакался.

Я шагнул к Марте.

— Марта... Марта, — повторил я, слегка коснувшись рукой ее плеча.

— Прочь! Прочь! — крикнула она. — Вы оба омерзительны!

— Давай тянуть жребий, — торопил Педро.

Я оглянулся. Он стоял за мной, зажав в кулаке два угла носового платка.

— Кто вытянет узелок, тот ее возьмет. — Он повел головой в сторону Марты, по-прежнему лежавшей на земле.

Со мной творилось что-то ужасное. В голове моей царила странная ясность, я был даже спокоен, только воздуха мне не хватало, словно кто-то гору на грудь навалил. Я смотрел на два угла платка, торчавшие из кулака Педро, и сначала заинтересовал меня рубчик, слегка надорванный в одном месте. Потом мне припомнилась другая сцена, на Море Туманов, где мы тоже должны были тянуть жребий — на смерть... как теперь на... любовь!

Педро терял терпение.

— Тяни! — крикнул он.

Я взглянул на него. Лицо его судорожно искривилось, глаза неотступно следили за мной. Я вдруг понял все. Если я вытяну узелок, мне придется немедленно убить этого человека, потому что иначе он меня убьет. Я невольно сунул руку в карман, ища оружие. Но потом я подумал, что с такой же вероятностью узелок может достаться Педро. И что тогда? Хватит ли у меня сил отказаться от любимой женщины, зная, что все решил пустой случай? Не взбунтуюсь ли я против него?

Крупный пот выступил у меня на лбу.

Если б я знал, что Марта предпочитает меня, что она хоть немного больше расположена ко мне, чем к Педро, я не стал бы ожидать жребия...

Но так...

Ведь сказала же она только что: «Вы оба омерзительны...» Оба!

И я должен буду насиловать ее, да к тому же убить человека... или же склонить голову перед слепым случаем?

Я посмотрел на Марту. Она уже перестала плакать и тихо сидела, глядя в морскую даль, будто и не зная, что мы здесь, в двух шагах...

Страшная, бездонная, мучительная жалость к этой женщине пронзила меня.

Все это длилось не больше секунды, но я уже невольно сунул руку за пазуху и, касаясь рукоятки пистолета, блуждающим взглядом выбирал, кого убить — Педро, Марту, себя или Тома, которого мы превратили в бессознательное орудие пытки для матери...

В конце концов после этого невероятного нервного напряжения все во мне разом оборвалось. Осталось только равнодушные и... гордость. Я разжал руку, уже стиснувшую револьвер.

— Тяни! — сдавленным голосом прошипел Педро.

— Нет! — произнес я с внезапной решимостью.

— Что?!

— Мы не будем тянуть жребий.

Он не сразу смог понять. Торопливо сунул руку в карман, и я услышал щелчок курка. Значит, и он был наготове — я не ошибся. Молниеносным движением я схватил его за обе руки. Он изогнулся и стал вывертываться, в глазах у него был страх.

Я услышал пронзительный крик Марты. Сначала мне почудилось, будто в нем звучит какая-то радостная нотка, но потом я подумал, что, может, она тревожится за Педро. Я взглянул на него — он смотрел мне в глаза с бессильной, отчаянной яростью. Мне показалось, что он ждет смертельного удара. Я усмехнулся и покачал головой.

— Нет! Это не то... Бери ее себе, — сказал я и отпустил его руки.

Сначала он остоленел от изумления. Сумасшедшими глазами посмотрел на меня, а потом принужденно улыбнулся.

— Ты благороден, да, спасибо... Правда, я моложе, так что правильно... Но, — он понизил голос, — но ты поклянешься мне, что никогда... никогда...

И он снова кивнул в сторону Марты.

Я посмотрел ему в глаза.

— Да, да, знаю, не нужно... Благодарю тебя, ты... — быстро выговорил он.

Неописуемое отвращение овладело мной. Педро мгновенно поколебался, потом быстро отвернулся и шагнул к Марте. Я тоже посмотрел на нее, и снова наши глаза встретились, но теперь ее взгляд выражал безграничное презрение или ненависть. Заметив, что я смотрю на нее, она тотчас же отвернулась.

— Марта, я буду твоим мужем, — сказал Педро.

— Я знаю. — Она произнесла это совершенно равнодушно.

— Марта...

— Что?

— Буря приближается...

— Я вижу...

Педро судорожно вздохнул.

— Пойдем спрячемся в пещере.

В глазах его горела страшная, звериная страсть. Слова с трудом проходили сквозь судорожно стиснутые зубы, а тело сотрясала лихорадочная дрожь.

Я не смел взглянуть на Марту. Услыхал только ее голос, приглушенный, равнодушный:

— Хорошо. Я иду.

Педро еще поколебался.

— Марта, сначала отдай кинжал.

Она швырнула кинжал наземь — лезвие так и звякнуло о камни — и, не оглядываясь, вошла в пещеру. Схватив Тома на руки, Педро бросился вслед за ней.

В этот миг ослепительная молния пронеслась по черному небу и глухой, продолженный эхом раскат грома возвестил начало грозы. Уже и ливень хлынул, охлаждая потрескавшуюся, иссохшую землю.

Голова у меня закружилась, и я рухнул на камни, разразившись отчаянными, немужскими рыданиями. Надо мной неустанно грохотал гром, а весь мир затуманился от разбушевавшегося ливня.

Так сложилась наша жизнь на Луне.

IV

Итак, началась для меня одинокая жизнь.

Мои отношения с Педро никогда не были особенно сердечными, а с Мартой я не мог заставить себя быть таким же, как прежде. Что-то стало между нами, какая-то взаимная обида и стыд... Трудно это объяснить! И сама она изменилась до неузнаваемости. Исхудала, побледнела, даже подурнела. Вечно замкнутая, неразговорчивая, она, казалось, избегала меня. Долгие часы проводила наедине с Томом. Только при виде ребенка происходило чудо: ее хмурое лицо на мгновение освещалось счастливой улыбкой. Сын был для нее всем, только о нем она думала; часто сажала его на колени и долго и страстно ласкала или рассказывала ему разные удивительные истории, которых он даже не мог еще понимать: о Земле, оставшейся дале-

ко-далеко в лазури, об отце, лежащем в гробу среди страшной пустыни, о себе...

Педро ревновал. Он и раньше недружелюбно относился к ребенку, а теперь посматривал на Тома порою таким взглядом, что я, зная его характер, опасался, как бы он не причинил малышу зла. Да и ко мне он ревновал, хоть я всячески избегал ситуаций, которые могли бы дать ему повод для этого. С Мартой я вначале никогда не встречался наедине и даже в его присутствии мало с ней разговаривал. И все-таки я каждый раз, когда хоть словечко говорил Марте, ощущал на себе взгляд Педро, хищный и тревожный.

Тяжкой была жизнь для меня и для Марты, но Педро был едва ли не самым несчастным из нас троих. Марта по крайней мере находила утеху в ребенке, а я — в том гордом, пусть и бесплодном удовлетворении, которое дает добровольно принесенная жертва, тогда как он, Педро, терзаемый ревностью рядом с желанной, но холодной к нему женщиной, не имел опоры ни в чем. Я невольно отстранился от него, а Марта, правда, была во всем покорна и послушна его желаниям, но на каждом шагу давала Педро понять, что считает его всего лишь орудием, с помощью которого она хочет обеспечить своему сыну благо общения с другими людьми на Луне. Никогда я не видел, чтобы она обрattилась к Педро с мало-мальски теплыми, сердечными словами; когда он покрывал ее руки или лицо поцелуями, она не противилась, но сидела неподвижно, застывшая и равнодушная, только в глазах ее сквозило иногда выражение усталости и... отвращения.

А ведь он по-своему любил ее, этот человек, все средства пускал в ход, чтобы добиться ее взаимности — словно этого можно вообще чем-либо добиться! Бывали минуты, когда он угрожал Марте и старался показать свое превосходство, но она тогда смотрела на него равнодушно и спокойно, не пугаясь, однако, и не желая протестовать. Если Педро что-то приказывал, она все выполняла безропотно, но и безрадостно, — совершенно так же, как и тогда, когда он о чем-то просил. Это доводило его до отчаяния. Я видел, что временами он пытался пробудить в Марте даже протест и ненависть — лишь бы вырвать ее из этого страшного равнодушия. Прибегал он уж и к самому крайнему средству: преследовал Тома. При мне он не осмеливался тронуть ребенка — я сказал ему однажды, что, если он причинит мальчишке хоть малейшее зло, я пушу ему пулю в лоб; а он знал, что с того памятного полдня я всегда ношу с собой револьвер. Но в мое отсутствие он бил Тома. Я узнал об

этом лишь много позже и случайно... Марта молча, холодно-кровно пригрозила ему кинжалом, который я поднял в тот полдень у входа в пещеру и отдал ей.

А иной раз, впадая из одной крайности в другую, Педро бросался к ногам Марты и рыдал, и умолял ее сжалиться.

Однажды я незаметно присутствовал при такой сцене. Я возвращался из одинокого похода к довольно отдаленным источникам нефти и, приближаясь к дому, услышал взволнованную речь, а затем рыдания Педро. Марта сидела в садике, разбитом на склоне, откуда открывался немыслимо великолепный вид на горы и море; у ее ног лежал Педро. Сложенными руками он опирался о ее колени, его лицо, взгляд, голос молили.

— Марта, — говорил он, — Марта, смилуйся ты надо мной! Разве ты не видишь, что со мной делается! Ведь это ужасно... Я схожу с ума по тебе, я теряю рассудок, а ты... ты...

Какое-то судорожное неприятное вхлипывание прервало его речь.

Марта даже не шевельнулась.

— Тебе что-нибудь нужно от меня, Педро? — спросила она немного погодя.

— Твоя любовь мне нужна!

— Ты мой муж...

— Люби меня!

— Хорошо. Я люблю тебя.

Она произносила все это медленно, спокойно и так бесконечно равнодушно, что у меня мороз побежал по коже.

Педро вскочил.

— Женщина! Не дразни меня! — прохрипел он.

— Хорошо. Я не буду тебя дразнить.

Педро схватил ее за плечи, лицо его было искажено бессильной яростью. Я невольно сжал револьвер; сердце у меня бурно колотилось, но я знал, что моя рука не дрогнет.

— Ты хочешь бить меня, Педро? — произнесла она все так же спокойно, будто спрашивала: «Ты хочешь пить?»

— Да, я буду тебя избивать, колотить, мучить, пока... пока ты...

— Хорошо, бей меня, Педро...

Он застонал и пошатнулся, как пьяный.

Я подошел ближе, чтобы своим появлением прервать эту невыносимую сцену.

Видеть вечную гнетущую печаль Марты и ужасную внутреннюю борьбу Педро было мне невыразимо тягостно, а они тоже отчасти избегали меня, хоть и по разным причи-

нам, — и все сложилось так, что большую часть долгих лунных дней я проводил в полнейшем одиночестве. Постепенно я привык к этому. Впрочем, теперь я уже мог мечтами о будущем заполнять пустоту и тоску, на которые сам себя добровольно обрек. Правда, я, бывало, иначе представлял себе супружество «одного из нас» с Мартой: я мечтал о какой-то безоблачной, тихой, пускай слегка овеванной грустью идиллии, о новых сердечных узах, соединяющих наш тесный круг, о долгих беседах вполголоса, посвященных заботам о счастье и удобствах тех, кто придет после нас; но хотя действительность и разрушила до основания все эти прекрасные мечты, она все же дала мне одно неоценимое сокровище: надежду на новое поколение. Я уже любил это будущее поколение, этих не моих детей, раньше, чем они появились на свет. В своих долгих одиноких блужданиях я непрестанно думал о них. Для них я накапливал запасы, изучал окрестности, записывал свои наблюдения; для них очистил от пыли и привел в порядок захваченную с Земли библиотечку; для них делал кирпичи и обжигал известь, чтобы построить каменный дом и небольшую астрономическую обсерваторию; для них выплавлял из руды железо или ковал из серебра, в изобилии тут имеющегося, разную утварь, делал стекло, бумагу и другие материалы, необходимые для цивилизованного человека. Я так несказанно радовался этим детям, которым еще лишь предстояло родиться! Мне казалось, что с их появлением все обязательно изменится к лучшему, что их улыбки и лепет развеют наконец ту удушливую атмосферу, которая царила среди нас.

Я ждал не слишком долго. И года не прошло, как Марта произвела на свет близнецов — двух девочек.

Они родились ночью. Когда я услышал из другой комнаты, где сидел с Томом, их первый слабый плач, я вскочил, охваченный безумной радостью; но в тот же миг мое сердце сжалось от такой ужасной, неутолимой боли, что я начал кусать пальцы, чтобы подавить рвущиеся наружу рыдания, и слезы полились у меня из глаз.

Том удивленно смотрел на меня, прислушиваясь в то же время к звукам, доносившимся из другой комнаты.

— Дядя, — произнес он наконец (так он меня всегда называл), — дядя, кто это там так плачет, мама, что ли?

— Нет, детка, это не мама плачет, это... это такой маленький ребенок... как ты, но еще меньше.

Том сделал серьезную мину и начал раздумывать.

— А откуда этот ребенок? А зачем этот ребенок? — спросил он снова.

Я не знал, что ему ответить. Он тем временем зорко приглядывался ко мне.

— Дядя, а ты почему плачешь? — спросил он вдруг.

И правда, почему я плакал?

— Потому что я дурак! — резко сказал я, отвечая скорее на собственные мысли, чем на его вопрос.

Ребенок покачал головой с невероятной серьезностью.

— А вот и неправда! Я знаю, что ты не дурак. Мама так не говорила. Мама сказала, что ты добрый, очень добрый, только... только...

— Только — что? Как тебе мама сказала?

— Я забыл...

В эту минуту открылась дверь и на пороге появился Педро. Он был бледен и явно растроган. Он улыбнулся мне горько, но искренне — впервые за весь этот год — и сказал:

— Две дочки...

Потом добавил:

— Ян, прошу тебя, Марта хочет, чтобы ты привел к ней Тома.

Я вошел в комнату, где лежала Марта. Увидев сына, она сразу протянула к нему руки.

— Том! Подойди же, посмотри! У тебя две сестрички! Две сразу! Это для тебя! Ты мне простишь, Том, правда? Простишь? Ведь это я для тебя, только для тебя, мой самый дорогой, мой единственный, любимый сыночек! — прерывающимся голосом говорила она, прижимая ребенка к груди.

Том задумался.

— Мама, а что я буду делать с этими сестричками?

— Что тебе захочется, мой маленький! Ты будешь их бить, любить, царапать, ласкать — все, что тебе захочется! А они будут тебя слушаться и работать вместо тебя, когда подрастут, понимаешь?

— Марта! Что ты говоришь! — вскричал Педро. — Марта! Это мои дети!

Она холодно посмотрела на него:

— Я знаю, Педро: это твои дети...

Педро рванулся, словно хотел на нее броситься, но превозмог себя и, шагнув к постели, сказал со всей кротостью, на какую был способен:

— Это н а ш и дети, Марта. Неужели у тебя нет для меня уже ни единого слова? Ничего?..

— Есть. Я благодарю тебя.

И она снова принялась гладить и страстно целовать светлую головку сына:

— Мой Том, мой самый дорогой, любимый, золотой сыночек...

Педро бросился из комнаты, как безумный, а мне стало трудно дышать. Что-то чудовищное было в такой безраздельной материнской любви.

Рождение двух девочек, Лили и Розы, мало изменило нашу жизнь — вопреки ожиданиям. Взаимоотношения Педро и Марты были все такими же. Марте я с самого начала сочувствовал, но теперь стал ощущать глубокую жалость и к судьбе этого человека. Педро помрачнел, поник, в каждом его слове, в каждом движении сказывалась громадная, смертельная усталость и подавленность. Он был моложе меня на несколько лет, однако сгорбился и поседел, запавшие глаза его горели каким-то нездоровым огнем. Никогда бы я не подумал, что год жизни способен так разрушить неутомимого человека, который отлично перенес, лучше, чем все мы, неслыханные трудности путешествия через пустыню. Конечно, причиной тому была Марта, но я не мог ее винить... Она любила того, первого, который умер; кроме Томаса и его сына, никого уже не могло вместить ее сердце — вот в чем была вся беда.

Кажется мне даже, что она и дочерей не любила. Правда, она заботливо ухаживала за ними, но видно было, что она делает это только из-за Тома. Девочки для нее были дорогими игрушками сына, редкостными зверьками, которые требуют внимания и ухода, ибо потеря их может оказаться невозможной. Даже то, как она называла дочерей, свидетельствовало об этом, — она всегда говорила: «Девочки Тома». Педро беспомощно глядел на это и мрачнел все больше.

Во всяком случае, девочки причиняли Марте много хлопот и занимали массу времени, особенно в первые месяцы, поэтому получилось, что Том непрестанно находился на моем попечении. Я приобрел товарища. Ребенок был очень умен и не по годам развит. Он все допытывался о разных вещах и говорил со мной, как взрослый. Через некоторое время я так привязался к нему, что уже не мог обходиться без его общества. За несколько одиноких лунных ночей я привык к непрерывным скитаниям, а теперь во все, даже далекие походы брал с собой Тома. Марта охотно доверяла мне мальчика, зная, что со мной он в безопасности, даже в большей безопасности, чем дома, где отчим терпеть его не мог.

Я соорудил тележку и приучил шесть крепких собак ходить в упряжке. При легкости нашего веса на Луне этой упряжки вполне хватало, чтобы без труда и быстро перево-

зить нас с места на место. Иногда мы совершали более далекие походы, длившиеся по лунному дню, а то и больше. Тогда для защиты от ночных морозов я брал герметически закрывающуюся и отапливаемую машину с электромотором, которую я соорудил из нашей старой машины, значительно ее уменьшив. Внутри нее, кроме меня и Тома, умещались две собаки и солидные запасы пищи и топлива.

Путешествуя таким образом, мы с Томом изъездили почти все северное побережье центрального лунного моря, пробирались далеко на запад и на восток, к границам пустыни, где редкий воздух вынуждал нас к отступлению. Самой далекой точкой, которой мы достигли на западе, было Море Гумбольдта, низменность, расположенная примерно на той же лунной широте, что и Море Холода; эта низменность порой видна с Земли во время благоприятствующей либрации Луны как крохотная темная точка на самом правом краешке верхней части серебристого диска.

И мы оттуда увидели Землю, появляющуюся из-за горизонта. Я остался здесь на всю долгую двухнедельную лунную ночь, чтобы вдоволь насытиться созерцанием так давно не виденного и еще более давно покинутого родного моего мира.

Когда всходило Солнце, было полноземие (ибо мы находились на девяностом меридиане, который представляет собой западную границу видимого полушария Луны). Когда я увидел этот воссиявший, слегка рдеющий диск и заметил проплывающие по нему светлые очертания Европы, меня вдруг охватила такая невыразимая, неодолимая тоска по этой планете, сверкающей в небесах, что я никак не мог с собой справиться. Казалось мне, что я был изгнан из рая и вот, после долгих блужданий, вновь увидел на мгновение его золотой отсвет и протянул к нему руки с неразумным, наивным, детским, но безудержным желанием: еще раз попасть туда, хотя бы... после смерти. Но в этот миг мне припомнилась Земля, какой я ее видел в последний раз в Полярной Стране — почерневшая, мертвенная на фоне кровавого зари, — и внезапно овладела мной великая скорбь.

Все беды, все дурные страсти и горести людские, которые веками преследуют там род человеческий, включая и грозную их царицу — неумолимую смерть, все они пришли за нами сюда, на эту планету, доселе тихую и спокойную в своем омертвлении. Повсюду человеку плохо, ибо всюду несет он сам в себе зародыш несчастий...

Мои угрюмые мысли прервал голос Тома. Мальчик стоял

рядом со мной, только что пробудившись после долгого сна, и глядел на незнакомый ему светозарный круг в небе.

— Дядя, а что это такое? — сказал он наконец, протягивая ручонку.

— Да ведь ты знаешь — это Земля. Я же часто говорил, что привезу тебя туда, где ее можно увидеть, и покажу. Да ты ее и видел уже, когда мы сюда приехали, помнишь?

— Нет, этой Земли я не видел. Та была другая, такая однобокая, рогатая, а эта — круглая.

— Это одна и та же Земля, малыш.

Том подумал немного.

— Дядя...

— Что?

— А я уже знаю: это она, наверно, выросла или развернулася утром, как те большие листья.

Я пытался объяснить ему как можно доходчивей причину изменений Земли. Он рассеянно слушал, видимо, не понимая, что я говорю. Наконец он перебил меня новым вопросом:

— Дядя, а что такое эта Земля?

Я рассказал ему — в сотый раз, наверно, — что есть там моря, горы, материки и реки, как на Луне, только гораздо больше и красивее, что там много домов, построенных рядом друг с другом, и это называется город, а в тех городах живет много-много, прямо масса людей и маленьких детей; я говорил ему, что оттуда мы прилетели на Луну: и я, Педро, и мама, и отец, который умер, и даже обе старые собаки, Заграй и Леда, с которыми он так любит играть.

Когда я кончил, Том, с большим интересом слушавший мой рассказ, скорчил лукавую усмешку и сказал, глядя на мой подбородок:

— Это я уже знаю, но сейчас, дядя, ты, пожалуйста, не шути, а скажи так, на самом деле, что такое эта Земля?

Обе собаки стояли около нас и, задрав головы, тоже с любопытством разглядывали светящийся на небе диск.

Через несколько часов после восхода Солнца мы тронулись в обратный путь. Земля, потускневшая при дневном свете, казалась теперь лишь пепельно-серым округлым облачком позади на горизонте.

Как-то в другой раз мы отправились в далекий поход к югу. Морское побережье, тянувшееся изломанной линией между пятидесятой и шестидесятой параллелью, отступает к экватору около ста сорокового восточного лунного меридиана, образуя не то полуостров шириной в несколько километров, не то перешеек, соединяющийся с сушей южного полушария. Именно это я и хотел проверить и потому

отправился по этому длинному мысу, но не смог пройти дальше тридцатой параллели. Дальнейшему продвижению на юг помешал невыносимый климат. Ночи, несмотря на соседство моря, были так холодны, что мне вспоминались морозы, царящие на безвоздушной стороне, а во время ужасного дневного зноя почти не прекращались чудовищные ураганные бури. Почва была скалистая, вулканическая и совершенно обнаженная. Ни одного растения, никаких признаков жизни, ничего — только жуткая мертвая пустыня между двумя необозримыми морями, среди которых торчали острые вершины вулканических островов, нередко окутанные облаком дыма или кровавым отблеском огня.

Был такой момент во время этого похода, когда я пожалел, что взял с собой Тома, ибо начал опасаться, что оба мы погибнем. Крутые горные склоны мешали нам продвигаться по середине перешейки, и мы держались восточного берега, где вдоль подножия диких, фантастически-причудливых скал тянулась низменная долина шириной в несколько сот метров. Было около полудня, и прилив, вызванный солнечным тяготением, в этих краях весьма неторопливый, но довольно высокий, поднял море так, что его поверхность оказалась почти на одном уровне с побережьем. Я опасался, что долина, по которой мы двигались, будет затоплена, и уже начал озираться, ища, где можно выбраться наверх по крутым горным склонам, — и тут разразилась гроза, которой предшествовал ураган, внезапно примчавшийся с востока. Огромные волны начали бросаться на берег, одна из них ударила в нашу машину и отшвырнула ее на полсотни шагов назад, прямо под нависающий скальный карниз. Нельзя было терять ни минуты. Я цепью прикрепил машину к скале, тщательно закрыл ее снаружи и, посадив Тома на закорки, начал карабкаться вверх. В жизни своей не припомню такого смертельного страха, какой я пережил тогда. Цепляясь за выветрившиеся скалы ногами и одной рукой — другой я поддерживал дрожащего от страха мальчика, — я видел прямо под собой бушующее, яростное, вспененное море, а над головой — низвергающую ливень и громы тучу. К счастью, скальный карниз защищал меня от прямого натиска урагана, иначе я неминуемо свалился бы в пропасть вместе с камнями, которые градом сыпались вокруг меня, срываясь с вершины. Ужас нашего положения усугублялся нестерпимым беспокойством за оставленную внизу машину. Если б волны сорвали цепь и умчали машину или разбили ее о скалы — да что там! если б только мотор повредили! — мы были бы обречены на верную гибель, потому что пешком, без запасов пищи, без защиты

от морозов мы не смогли бы добраться до дому. Поэтому, как только я вскарабкался на такое место, где можно было найти прочную опору, я посадил Тома под скалой, хорошенько укрыл и привязал, чтобы его не сбросил вихрь, а сам тотчас вернулся вниз и постарался получше закрепить машину. После многих трудов мне удалось наконец втащить ее в расщелину, где она была защищена от ударов волн.

Несколько часов просидели мы так с Томом, ожидая конца бури. Перепуганный ребенок жался ко мне и со слезами спрашивал, зачем мы сюда пришли. Я не мог ответить ему, зачем мы сюда пришли, как давно уже не могу ответить сам себе, зачем мы вообще прибыли на Луну...

Наученный опытом, я на обратном пути был уже осторожнее и выбрал дорогу, достаточно приподнятую над уровнем моря. Впрочем, это был единственный случай, когда нам грозила серьезная опасность. Все другие походы проходили весело и без приключений.

Была также у нас большая и крепкая лодка. Второй электромотор, который некогда служил несчастным Ремонье, мы с Педро отремонтировали, и я поставил его на шлюпку, чтобы он двигал гребной винт. Этой шлюпкой мы пользовались для рыболовных экспедиций, а иногда я с Томом выходил в ней в тихие предполуденные или вечерние часы в открытое море.

Во время одного из таких плаваний я открыл остров, во всех отношениях достойный внимания. Меня уже издали поразило его вид.

Все острова, какие я видал здесь до той поры, представляли собой либо вулканические пики, торчащие над поверхностью моря, либо вершины залитых водой кольцеобразных гор. Этот же сразу показался мне остатком материка, поглощенного морем. Он был обширный и довольно плоский, только в юго-западной его части поднималась цепь невысоких гор, искрошенных вековым воздействием дождей и ветров. Берега поднимались круто — надо полагать, их обглодали удары волн, потому что море вокруг было такое неглубокое и так густо усеяно мелями, что даже на нашей лодке, с ее незначительной осадкой, трудно было причалить к острову.

А остров это был интересный, совсем непохожий на известные нам лунные окрестности. Прежде всего меня удивила совершенно иная растительность; менее буйная, чем в других местах, она отличалась несравненно большим разнообразием. На этих нескольких квадратных километрах суши я встретил всего лишь три или четыре знакомых мне

вида, зато обнаружил множество растений, нигде более не встречающихся. Все они были удивительно унылые и чахлые. Глядя на них, я не мог отделаться от впечатления, что передо мной последние представители жизни, вымершей и отовсюду вытесненной, которые каким-то чудом еще сохранились тут, чтобы рассказать о формах жизни на Луне много-много веков назад, когда здесь, где теперь море, была суша, а вода покрывала иные места.

То же самое я подумал, увидав животных, обитавших на этом странном острове. Их было немного, однако те, которых я встретил, также отличались от всех, мне известных. Что-то старческое и печальное было в их виде и поведении. При моем приближении вылезали из нор неуклюжие карликовые уродцы и смотрели на меня разумно и настороженно, но без боязни. Только собака, которую я взял с собой, нагнала на них страху: они начали прятаться от ее наскоков, издавая не то гневное, не то жалобное пыхтение, которое, как я убедился, было единственным звуком, какой они способны издать.

Том и на этот раз был со мной. Он всему удивлялся и повсюду застревал, занятый то каким-нибудь цветным камешком или раковиной, то здешним душистым растением, у которого листья были расположены так, что это напоминало венчики земных цветов. Я ушел вперед на полсотни шагов и вдруг услышал его возглас:

— Дядя! Дядя! Иди-ка сюда, посмотри, какие красивые палки!

Я обернулся и увидел, что мальчуган сидит на земле среди кучи белых тонких и длинных костей. Я начал их разглядывать; не знаю на Луне животного, которому эти кости могли бы принадлежать.

Нагнувшись, я заметил среди них поразительный предмет: это был кусок толстой, с одной стороны основательно истертой листовой меди, по форме похожей на широкий нож. Сердце мое заколотилось; если я не ошибался, если это действительно был искусственно обработанный предмет, то, значит, на Луне когда-то, задолго до нашего прибытия, жили уже разумные существа.

Я подумал тут о Городе Мертвых, который встретился нам много лет назад в пустыне и запомнился из-за страшного происшествия, повлекшего за собой смерть Вудбелла. Мы проехали тогда мимо скал, столь разительно похожих на руины, где некогда, быть может, процветала жизнь, но так и не выяснили, что это было в действительности: странная игра природы или призрак города, погибшего столетия назад. И вот теперь я вновь обнаружил предмет,

казалось бы говоривший о том, что разумные создания существовали здесь давным-давно, до нашего прибытия.

Я предпринял тщательные поиски. Обошел весь остров вдоль и поперек, исследовал скалистые гроты у подножия горной цепи, но не нашел ничего, что могло бы бесспорно убедить меня в справедливости моих предположений. Правда, в некоторых гротах мне казалось, что я вижу следы сознательной деятельности; на берегу небольшого озера я нашел два-три обломка окаменевших корней, на которых было нечто вроде насечек; преграда, вынудившая ручеек разлиться в это озеро, выглядела так, словно была искусственно сооружена; еще в одном месте лежали друг на друге каменные глыбы, будто остаток развалившейся стены. Однако все это могло быть в равной степени случайностью или же делом неразумных, но ловких животных. Ведь вот на Земле бобры, например, возводят интересные сооружения...

Так я и не решил этой чрезвычайно важной задачи. Но во всяком случае, проведя эти поиски, я утвердился в мнении, которое сложилось у меня с самого начала, — что остров этот является остатком большого материка, утонувшего в море, и что он приблизительно воссоздает картину лунного мира в давно минувшие времена.

Я назвал это место Кладбищенским островом. Я любил наведываться сюда по пути и с вершины холма глядеть на раскинувшееся вокруг посеребренное солнцем море, под волнами которого погибла, вероятно, остальная часть этого материка и жизнь, — кто знает, какая удивительная и богатая?

Передо мной на горизонте виднелись вершины далеких вулканов, над которыми царил угрюмый, почти всегда пылающий заревом огромный конус Отеймора. Море шумело, вздымаясь приливом к медленно ползущему в небе Солнцу, а я — убаюканный этим великим широким шумом, в котором было нечто от шелеста крыльев пролетающих хрувиров, нечто от тайного голоса души людской — не то во сне, не то наяву, думал я о том, что было и миновало на этой планете, миновало, возможно, без мыслящего свидетеля — и невозвратно...

Когда началась тут жизнь? Быть может, в ту пору Земля, висящая в ледяных просторах, только начала остывать на поверхности, а лунный шар вращался быстрее и Солнце резвее продвигалось над здешними материками и морями, отмечая для буйной просыпающейся жизни краткие, быстро сменяющие друг друга ночи и дни, без морозов, без нестерпимого зноя? Тогда — тогда и Земля не висела неподвижно

над ужасной пустыней смерти, а кружила по лунному небу, восходя и заходя... Тогда — может, тогда вовсе еще не было безвоздушной и безводной пустыни? Ведь на этом полушарии, которое, раз навсегда обратившись к Земле, утратило воздух, а с ним и воду, могли же долгие, немыслимо долгие века омертвения так основательно стереть всякий след былой жизни, что сегодня кажется, будто пустыня существовала испокон веков? Томас ведь предполагал это.

Я закрывал глаза и воображал, что в неустанном слитном грохоте морских волн слышу голоса этой первоначальной жизни. Шумят под порывами ветра мощные и стройные деревья, которым не приходится гнуться и сжиматься от ночного мороза, сквозь лесную чащобу пробираются огромные и сильные животные, предки здешних измельчавших существ, среди ветвей хлопают крыльями мощные летающие ящеры... Вечереет, и ветер приутих — и вот над туманом теплых болот восходит исполинский пламенный яркий диск Земли.

И кто знает, может, глядели на этот восходящий свет мыслящие очи со стен огромных городов и со стройных башен? Может, простирались к нему руки, оторвавшись от премудрой работы, чтобы приветствовать серебряного ангела-хранителя, который освещал долгие ночи?

Кто знает, может, догадывались некогда тут, на Луне, что на этом огромном шаре, висящем среди небес, тоже есть разумные существа, может, старались представить себе, как они выглядят, как живут?

И невольно обращалось мое воображение в иную сторону; отрывалось оно от Луны, как птица, вылетающая из клетки, и устремлялось дальше, через сотни тысяч километров пространства, туда, к той Земле, которую тоска моя так украшала и озаряла таким очарованием, каким закатное Солнце озаряет снежные вершины гор...

Обычно эти мои мечты на Кладбищенском острове прерывал Том, раздосадованный слишком долгим моим молчанием.

И возвращались мы домой, где Марта нетерпеливо ожидала мальчугана.

Здесь Том уже не принадлежал мне. Мать, истосковавшись в долгой разлуке, хватала его в объятия, а когда кончались бесчисленные страстные поцелуи, садилась с ним на пороге и начинала свою вечно повторяющуюся повесть о молодом, красивом и добром англичанине, его отце, за которым она отправилась на Луну и который сейчас спит в песках великой безмолвной лунной пустыни... Под конец она уже рассказывала скорее для себя самой, чем для сына,

и горячие обильные слезы ее лились на светлую головку ребенка.

Педро, сломленный, удрученный, брался за какие-то дела по хозяйству или отправлялся обихаживать девочек.

А я, никому не нужный, снова уходил в сторону, чтобы раздумывать в одиночестве или заниматься какой-нибудь работой.

Шли часы за часами, Солнце вставало и закатывалось, проходили земные годы, с трудом вычисляемые по лунным дням. Том подрастал, и девочки бегали за ним по лугам, но для меня ничто не менялось.

По старой привычке я одиноко бродяжничал по всему пустынному краю, проводил долгие часы на Кладбищенском острове, а когда возвращался домой, неизменно видел печальную, молчаливую Марту и Педро, похожего скорее на призрак, чем на живого человека. И только тоска по Земле снова и снова поднималась в моем сердце и разрасталась с годами, пока не стала в конце концов невыносимым гнетущим бременем. Чтобы защититься от нее, я думал о новом поколении, лихорадочно хватался за работу, но в минуты передышки, когда, уставший и изнуренный, я падал на землю, тоска возвращалась — торжествующая, неотразимая; она вызывала в памяти бледные лица моих здешних друзей и бесконечные воспоминания о тех, кого я покинул навеки...

V

Там, где время отмеряется сменой времен года и Солнцем, орбита которого то поднимается, то снижается на небосводе, — там, на Земле, кончался уже седьмой год со дня нашего прибытия на Луну, когда Марта почувствовала, что в третий раз станет матерью. Она с нетерпением ожидала рождения ребенка, надеясь, что это будет сын, которого она заранее предназначала в слуги Тому. Она и не скрывала этого, напротив, как только ощутила, что после долгого перерыва ей снова предстоит стать матерью, сказала нам:

— Теперь лишь я буду спокойна, когда дам наконец Тому слугу и раба.

Она проговорила это с виду равнодушно, как говорят о вещах вполне естественных, но я уловил в ее голосе странную многозначительную нотку...

Это было как возглас торжества, купленного такой тяжелой ценой, что оно уж почти перестает быть торжеством, как вздох труженика, сбрасывающего с плеч добровольно

взваленное бремя, — с отвращением, но и с радостью, что донес это бремя туда, куда намеревался, и не упал, не бросил его на полпути.

Педро, окончательно сломленный, давно уже спокойно переносил жестокости Марты, которая непрерывно ранила его каждым словом, каждым поступком, так легко и неумолимо, словно делала это бессознательно, будучи лишь орудием некоего злого рока. Но в тот раз, услышав слова Марты, Педро глянул на нее своими потускневшими глазами и язвительно усмехнулся, а потом схватил Тома за плечо и, притянув его к себе, начал осматривать. Том был умственно очень развит, но выглядел весьма хрупким для своего возраста. Отчим отвернул широкий рукав его рубашки и обнажил худенькую детскую ручонку, легонько шлепнул ладонью по его узким плечам, ошупал бедра и колени, постучал по груди, опять ехидно усмехнулся, положил руку на голову перепуганного мальчика и неспешно процедил, уставившись на Марту:

— Да... Том, в конце концов, достаточно силен, чтобы верховодить над девочками, но его брат может оказаться сильнее.

Марта побледнела и тревожно взглянула на мальчика.

Но ее беспокойство длилось недолго. В сверкающих глазах ребенка она, видно, прочитала то, что испокон веков можно было прочесть в глазах созидателей нового строя, ибо лишь усмехнулась и коротко сказала в ответ:

— Том будет сильнее, даже если тот будет больше.

И действительно, Том уже в ту пору, будучи шестилетним мальчонкой, проявлял необычайную сообразительность и энергию. Он развивался очень быстро и как-то по-особому, во многом непохоже на то, как обычно развиваются дети на Земле. Он рано стал самостоятельным, и практическая жилка была у него так необыкновенно развита, что мы порой изумлялись. В нем не было и следа мечтательности, присущей земным детям. Том был рассудителен, так страшно рассудителен, что у меня прямо сердце болело, когда я глядел на эту светловолосую головку, в которой мысли, не прерываясь и не путаясь от капризных мечтаний, шли спокойным и слитным строем, словно под лысым черепом старца. Несмотря на это, мальчик был очень чувствителен: необычайно любил мать и ко мне сильно привязался. Одного лишь Педро он терпеть не мог. Всегда уверенный в себе и хладнокровный, как его отец, в присутствии отчима он казался оробевшим и смущенным. Впрочем, я даже не знаю, нашел ли я подходящее слово для описания того, что, вероятно, происходило в душе этого ребенка, когда он видел

отчима. Том всегда так упрямо молчал при нем, что, казалось, предпочел бы вынести побои, чем разжать губы. Только глаза у него беспокойно бегали. Был в его поведении какой-то страх, но было и упрямство, и ожесточение, и ненависть, и отвращение... Педро чувствовал и видел это, и, мне кажется, он уже тогда побаивался этого странного ребенка.

Марта была права: Том был не из тех, кто создан для повиновения. Слишком силен был в нем решительный, всевластный английский дух и слишком много пламенной крови гордых раджей из Траванкора.

И потому я был уверен, что если у Тома появится брат, то пусть даже он будет больше и сильнее Тома, а станет так же бегать за ним и так же покорно смотреть ему в глаза, как эти две маленькие девочки, Лили и Роза.

Но брат не родился, вместо него появилась на свет третья девочка, которую мы называли Адой.

Марта без радости и умиления встретила рождение этого ребенка.

— Том, — сказала она, когда мы по ее желанию привели мальчика, — Том, у тебя уже не будет брата. Но зато у тебя есть три сестрички. Тебе их должно хватить — как жен, как друзей, как служанок...

Том уже не спрашивал, как в первый раз, что ему делать с сестричками, он только оглянулся на Лили и Розу, которые стояли в уголке, держась за руки, и, как обычно, глядели на него глазами, полными любви и восхищения, слегка коснулся пальцем маленького, орущего во всю глотку новорожденного существа и серьезно сказал, кивнув:

— Хватит, мама, хватит...

— Том, — вмешался я тут, неприятно задетый словами Марты и поведением мальчика, — ты должен быть добр к ним.

— А зачем? — наивно спросил он.

— Чтобы они тебя любили.

— Они меня и так любят.

— Да, мы Тома очень любим, — почти в один голос откликнулись девочки.

— Вот видишь, Том, — продолжал я нравоучительным тоном, — они лучше тебя, потому что они тебя любят, хоть ты, возможно, и не всегда этого заслуживаешь. Но эта малышка может тебя и не любить...

Том ничего не сказал, но я заметил, что он посмотрел на девочку с неприязнью и нахмурил брови.

В конечном счете, может, и хорошо, что у Тома не появился брат. Он стал бы его рабом или врагом.

И тогда, и еще долго потом я размышлял над страшной иронией человеческого существования, которая пришла с нами с Земли на Луну. Вспомнился мне О'Теймор, несчастный благородный мечтатель! Как он грезил, что здесь, на Луне, дети Томаса и Марты, огражденные от дурного влияния земной «цивилизации», дадут начало идеальному поколению, лишенному тех пороков, не знающему тех различий, которые порождают извечные беды человечества на Земле! Смотрю я на этих детей, и кажется мне: забыл благородный мечтатель О'Теймор, что потомство человека всегда будет слагаться из людских существ, несущих в своей душе зародыш всего, что стало позором земных поколений. И разве это не ужаснейшая ирония, что человек переносит своего врага сам в себе даже на звезды, сверкающие в небе?

Хорошо получилось, что у Тома нет брата. По крайней мере эпоха братоубийственных войн и рабства наступит позже, и мы к тому времени, может, умрем, и не придется нам глядеть на все это.

А девочки... Кажется мне, что эти девочки созданы для того, чтобы подчиняться. Они, может, даже и не поймут, что с ними поступили несправедливо, и будут счастливы, если их брат, муж и господин иногда проявит к ним благосклонность. По отношению к Лили и Розе я в этом уже уверен, Ада же еще слишком мала — ей сейчас всего три года по земному счету, — чтобы можно было делать какие-либо правдоподобные догадки о будущем ее отношении к единоутробному брату. Я только замечаю, что она не любит его так, как те, старшие. И Том к ней более равнодушен.

Внимательно наблюдать за тем, как растут и духовно развиваются эти четверо детей, стало в последнее время самым приятным, хотя и грустным, моим развлечением. В физическом отношении они великолепно приспособились к условиям лунного мира, который для нас, прибывших с Земли, продолжает оставаться чужим и невыносимым, хоть мы столько лет здесь живем. Неимоверно тяжело, например, для нас регулировать сон. За время долгого дня нам требуется почти столько же сна, что и за время ночи. И третью часть того времени, что Солнце стоит на небе, мы тратим на сон, очень нерегулярный и оттого мало подкрепляющий силы, а две трети ночи мы просиживаем без сна, томимые холодом, темнотой и, хуже того, скукой. Дети, родившиеся здесь, днем спят очень мало — всего лишь час, самое большее два, с двадцатичасовыми интервалами, зато почти всю ночь они проводят во сне.

Уже через несколько часов после захода Солнца ими овладевает необоримая сонливость. Если они и просыпаются ночью, то на два-три часа, самое большее — четыре, а потом снова засыпают — так спят зимой у нас на Земле суслики и сурки — до той поры, пока первый легкий отсвет в небе не возвестит наступление дня.

Несравненно лучше нас переносят они и здешний климат. Зной не ослабляет их в такой степени и не вызывает такого раздражения либо сонливости, как у нас. Но больше всего нас поражает, что эти дети и мороз выдерживают лучше, чем мы, старшие. Утром, когда холод возрастает до предела, дети, проснувшись после долгого сна, часто выбегают наружу и даже уходят довольно далеко, тогда как мы решаемся выйти из дому только в случае крайней необходимости.

Инициатором этих вылазок всегда является Том. Обе старшие девочки только бегут за ним, как и старый Заграй, и побуждают их к этому, мне кажется, одинаковая слепая привязанность. Эта собака и эти девочки — неизменная свита Тома.

Сначала я думал, что дети ходят поиграть на снегу, быстро тающем после восхода Солнца, или устраивают катание на льду замерзшего за ночь моря. Но вскоре я выяснил, что этот крохотный отряд под руководством Тома выходит в такую рань на охоту! Странно, что мы до этого не додумались!

Все здешние зверьки засыпают на ночь, зарывшись в землю для защиты от мороза. Том это выследил и с помощью Заграя, у которого превосходный нюх, разыскивал под снегом убежища разных уродцев и убивал их, пока они еще не проснулись. Правда, мясо здешних наземных животных, как я уже говорил, в пищу не годится, зато их шкуры дают нам прочные и красивые меха или же роговые пластинки, очень похожие на черепашины. Днем охотиться очень трудно, потому что зверьки уже научились не доверять и нам, и нашим собакам, которые тоже их преследуют. Поэтому я весьма удивился, когда Том однажды принес мне больше дюжины шкурок, среди них две свежеснятые, а остальные — ранее добытые и тщательно выделанные! Мальчик не раз видел, как мы скребли острыми раковинами шкурки, снятые с убитых зверьков, и обрабатывали их солью, которой предостаточно оседает на морском берегу, а теперь он сделал все это самостоятельно и, надо отдать ему должное, ничуть не хуже, чем мы!

Да уж, смекалки у него хватает... Восьми лет от роду он уже до тонкостей знал все наши мастерские, понимал на-

значение каждого устройства, ценность любого инструмента или материала. Я взял на себя обязанность учить его, но к книгам Том равнодушен. Его интересует все, что имеет практическую ценность, а до остального ему дела нет. Я хотел обучить его земной географии, истории тамошних народов, познакомить с доступными его пониманию шедеврами великих земных писателей, но очень скоро понял, что это ничуть не интересует мальчугана, столь любознательно-го в других областях. Сначала я не прерывал обучения, полагая, что смогу развить в нем эстетическое чувство и понимание истории, и бросил свои попытки лишь после того, как он во время одной из таких научных бесед спросил меня напрямик:

— Дядя, зачем ты мне все это рассказываешь?

Я не знал, что ему ответить; ведь действительно — зачем? А он продолжал:

— Это все, о чем ты говоришь, вроде бы есть на Земле... Я ее помню, видал раз во время поездки — такой большой блестящий шар. И оттуда ты, дядя, вроде бы прилетел сюда, верно?

— Да, все это находится на Земле, откуда я прилетел и откуда вообще происходят люди.

Мальчик посмотрел на меня, словно колеблясь, сказать ли то, что он думает, и наконец произнес с озабоченным видом:

— Но я не знаю, дядя, правда ли все это...

Меня задело это замечание, впрочем, вполне естественное для ребенка, которому рассказываешь о происшествиях на отдаленной планете.

— Ты когда-нибудь убеждался, что я говорил неправду?

— Нет, нет, никогда, — живо запротестовал он, а потом добавил, опять уже спокойно: — Но сейчас я не могу убедиться, что ты говоришь мне правду.

Я вынул из кармана часы.

— Знаешь, что это такое? Часы... Ты думаешь, я, или Педро, или твоя мама можем сделать такую машинку? Ты видишь — вот книги, которых мы не печатаем, астрономические приборы, которые не нами сделаны. Так откуда бы это все взялось, если б мы не привезли этого с Земли? А раз мы прибыли сюда с Земли, так мы же знаем, что там есть и что было.

Мальчик задумался.

— Ну, я уже верю тебе, дядя, но... зачем же вы прилетели на Луну, если вам на Земле было хорошо, как ты говоришь?

— Зачем мы прилетели? Ну... видишь ли, мы хотели узнать, как тут, на Луне.

— Но я-то ведь, я, верно, никогда не попаду на Землю, а?

— Нет, никогда не попадешь.

— Так знаешь что, дядя, научи ты меня лучше делать такие часы и увеличительные стекла и брось мне рассказывать, как проехать из какой-то там Европы в Америку или что делал этот Александр Великий и еще тот, Наполеон...

В глубине души я не мог не признать, что Том прав.

Он никогда там не был и никогда там не будет, так зачем же говорить ему о том, что интересует меня лишь потому, что я родом с Земли? Эти сведения ни на что ему не пригодятся, а если когда-нибудь он или его потомки захотят что-то узнать о Земле, о которой, может, уже лишь неясные слухи будут ходить — что это есть отчизна людского племени и что можно увидеть ее, сверкающую в небесах, на рубеже смертоносной пустыни, — так ведь останутся же тут книги, которые мы с собой привезли, книги, поистине более сказочные для будущих жителей Луны, нежели для землян самые фантастические истории «Тысячи и одной ночи».

Впредь я решил обучать мальчика лишь тому, что имеет практическую ценность для его дальнейшей жизни на Луне. К этому он проявлял чрезвычайную охоту.

Он жадно глотал всякие сведения, если только понимал, что они могут ему пригодиться. Так, например, астрономия вначале мало его привлекала, а принялся он за нее со всем пылом, лишь когда я разъяснил, какую практическую пользу дают измерения высоты звезд.

Я убежден, что если б мы не взяли с собой книг, которые здесь после нас останутся, то для последующих поколений пропала бы вся идеальная сторона этой крупницы духовного наследия человечества, доставленной с Земли, потому что бесспорно способный, но странно рассудочный Том не смог бы ее передать. А я все же продолжаю думать об этих грядущих поколениях... Мне хотелось бы, чтобы это не были дикари. Пускай они знают, что разум человеческий могуч, что он творит дела великие и прекрасные, что он ищет Бога в золотой пыли звезд и самого себя среди сухожилий и сосудов собственного тела, что он способен страстно алкать истины ради истины и красоты ради красоты и служит надежнейшим оружием в борьбе человека с природой, пусть умеют ценить этот разум и пользоваться его силой...

Так не терпится мне сказать обо всем этом Тому, хоть он, к сожалению, не всегда желает слушать подобные речи, так мне не терпится, словно я опасуюсь, что не хватит времени. Ведь когда умру я, когда умрем все мы, земляне, учителем и пророком лунного племени останется он, его прародитель, да старые книги, перенесенные в этот мир людьми с далекой планеты.

Я однажды сказал Тому, что он должен быть прилежным и изучать все, а не только то, что ему нравится, ибо в будущем он станет воспитателем нового поколения. Том посмотрел на меня изумленными глазами и спросил:

— А ты, дядя, что же ты тогда будешь делать? Ведь ты все знаешь.

— Я тогда уже не буду жить.

— А кто тебя убьет?

Том не понимал, что существует иная смерть, естественная. Он видел убитых животных и сам убивал их, но еще никогда не видел умирающего существа. Начал я объяснять ему неизбежность смерти. Он внимательно слушал и вдруг прервал меня, воскликнув:

— Так и Педро умрет?!

— Умрет, сынок, как я, как и твоя мама, как и ты сам, наконец...

Том мотнул головой.

— Я не умру, потому что... ну, какая мне от этого польза?

Я невольно рассмеялся и вновь начал ему толковать, что смерть не зависит от желания человека, но мальчик был рассеян и явно думал о чем-то своем. Наконец он заговорил, понизив голос и словно колеблясь:

— Дядя, ежели Педро умрет, так пускай он раньше умрет, чем ты, раньше нас всех, быстрее пускай умирает. Ведь он же вовсе не нужен. Тогда ты остался бы один с нами и с мамой и было бы нам хорошо...

Я выбралил мальчика за эти слова, сказал, что никому он не должен желать смерти, а уж меньше всего Педро: ведь Педро — отец его сестричек. Том угрюмо посмотрел на меня, вздохнул, а потом укоризненно произнес:

— Почему же ты, дядя, не отец моих сестричек? Я лучше тебя хочу, чем Педро, и мама тоже... Педро нам не нужен.

Я почувствовал, что затрепетали самые сокровенные, самые глубокие струны моей души, а вместе с тем охватил меня страх, ибо это была та мысль, которая за последнее время и мне все чаще приходила на ум.

Я не могу винить себя: я сдержал однажды данное слово и не отступил от добровольно избранной и такой неимоверно смешной роли честного воспитателя чужих детей, но сколько я в себе переборол, сколько перестрадал — этого мне сегодня уже не выразить!

Ведь женщина эта, единственная в этом мире и столь мне дорогая, была все время рядом со мной, я видел, что она несчастна, а временами даже обольщался мыслью, что со мной она, может, была бы счастливей. Бывали такие дни, когда, глядя на Педро, я сжимал рукоять револьвера в кармане, и такие, когда я совал дуло револьвера себе в рот и клал палец на курок, думая, что больше не вынесу, не выдержу...

Но я вынес и выдержал. Вынес, хотя кровь нередко застилала мне взор и спазмы сжимали грудь; вынес, хотя нельзя вымыслить такого искушения, которое не навещало бы и не преследовало меня во сне или наяву.

В тот памятный день, когда нам предстояло тянуть жребий, я думал, отрекаясь от обладания Мартой, что успокоюсь и позабуду ее со временем, но напрасно проходили годы, напрасно бродил я вдали от нее по лунным материкам, тщетно посвящал себя воспитанию Тома и мыслям о будущем поколении: Марта все так же мне дорога, как там, в Полярной Стране, где после долгой, ее заботами благополучно перенесенной болезни я гулял с нею по благоуханным сумрачным лугам и говорил о вещах, ничего не значащих, но полных значения для нас.

Телом я все еще крепок и силен, однако дух мой стареет — я чувствую это; тоска по Земле нарушает течение моих мыслей, и печаль все сильнее охватывает меня: я не только сквозь слезы смотрю на все, но даже думаю обо всем сквозь слезы; одна лишь любовь моя не хочет состариться и ослабнуть во мне — напротив, мне кажется, что она возрастает со временем, как и тоска, гнетущая меня все сильнее. Знаю, что я смешон, но даже смеяться над собой не могу.

Порой я пробую язвить. Грубо твержу себе, что люблю Марту лишь потому, что она — единственная женщина на Луне и принадлежит другому, что это якобы возвышенное чувство есть всего лишь грубейшая животная похоть, преломленная в призме человеческого разума, — и многое иное, в том же духе. Но, сказав себе все это в сотый раз, я невольно ищу Марту и чувствую, что охотно позволил бы распять себя на кресте, если б хоть это могло вызвать спокойную, ясную улыбку на ее губах.

Даже в пустыне, даже на иной планете в человеке рядом со звериными инстинктами живет чувство справедливости или законности. Не знаю, что оно — только следствие воспитания или же какая-то врожденная особенность духа, но это точно: оно существует и громко откликается даже там, где нет никого, кто мог бы попрекнуть его за молчание.

Марта принадлежала Педро. Я сам на это согласился, и эта мысль все же удерживала меня от многих поступков, которые я, возможно, совершил бы в ином случае. Я старался настолько отдалиться от Марты, чтобы даже у меня самого не возникло подозрение, будто я пытаюсь ей понравиться. Да и она не искала моего общества; я заметил даже, что мое присутствие всегда смущает ее. Но все это изменилось после рождения младшей девочки, когда произошел полный разрыв между Мартой и Педро.

Через двое лунных суток после рождения Ады, незадолго до захода Солнца, сидели мы вместе — что с нами вообще не часто случалось — и молча смотрели на морские просторы. Заходящее Солнце позолотило воды, чуть колеблемые ветерком и уже слегка флуоресцирующие в тени скал. Снега на вершине Отеймора были совершенно багровыми; на черной туче дыма, висящей над кратером, тоже вспыхивали темно-красные отблески.

Молчание прервала Марта. Не меняя позы, не опуская взгляда, устремленного куда-то в морскую даль, она заговорила с нами внешне спокойно, как всегда, хотя я заметил, что голос ее вначале дрожал.

— Я совершила тяжкое преступление, — начала она, — не сохранила верности умершему мужу, и я готова искупать свою вину сотни тысяч лет в разных воплощениях... Но вы знаете, что я сделала это только ради его сына, в котором живет для меня он сам. Никогда я этого не скрывала. О чем думали вы и какие у вас были замыслы, это меня не касается: я хотела, чтобы у Тома были сестры и брат... Брата у него, правда, нет, но есть три сестры, и я считаю, что исполнила свой долг... Тяжкий долг, ты знаешь это, Педро. Жаль мне тебя, ты ведь надеялся, что можешь быть для меня чем-то большим... Не моя вина... Но теперь все кончено. Я снова обретаю свободу. Я не спрашиваю вас... тебя, Педро, захочешь ли ты мне ее дать: я беру ее сама, я больше не жена тебе...

Она глубоко вздохнула и умолкла.

Мы были так поражены и словами, и неожиданной интонацией ее голоса, что сидели некоторое время молча,

не находя ответа. Да и какой, собственно, можно было дать ответ? Она его даже не ждала...

«Беру себе свободу. Я уже не жена тебе...»

Удивительное впечатление произвели на меня эти слова. На мгновение они прозвучали в моих ушах как призыв к новой жизни, как обещание чего-то, о чем я и мечтать не смел, как... нет! Не могу уже сейчас рассказать, что со мной творилось! Показалось мне, будто одна эта фраза стирает и разрушает все грустное, что миновало, в груди я ощущал какую-то полноту, какой-то прилив крови, живее пульсирующей в жилах.

Я взглянул на Марту. Она сидела неподвижно и тихо, заглядевшись на море, и лишь губы ее, застывшие в бесконечно печальной улыбке, иногда чуть подрагивали, будто она собиралась расплакаться.

«Беру себе свободу...»

Так минуту назад произнесли ее уста.

Но ее глаза и улыбка говорили сейчас, что она берет свободу не как крылья, дающие силу для полета, а как саван, дающий право на покой, что эта свобода для нее — не заря, предвещающая день, а сумерки, которые приносят отдых...

На ее ресницах засверкали слезы, и сквозь эти слезы она упорно смотрела вдаль, на позолоченное Солнцем лунное море.

Сердце мое стиснул болезненный спазм, ибо я понял, что от прошлого можно отвернуться, но его невозможно стереть.

Между тем Педро сухо произнес:

— Мне все равно.

И немного спустя добавил:

— Что ты теперь собираешься делать?

Марта вздрогнула:

— Ничего... Пожить еще немного — для Тома... для детей... А потом...

— Для детей, — как эхо, повторил Педро.

От берега как раз бежали обе девочки, смеющиеся, сияющие, с передничками, полными камешков, раковин, янтаря. Они громко звали Тома, который неподалеку на ручейке соорудил какую-то мельницу. Педро медленно проводил их взглядом.

— Для детей, — еще раз повторил он и подпер голову ладонями.

Я помню эту минуту, как сейчас. Солнце уже касалось горизонта, и мир из золотого становился пурпурным. Лег-

кий ветер с моря доносил до нас вместе с острым запахом водорослей шорох волн, растекающихся по галечному берегу, и звонкие серебристые голоса детей.

Марта вдруг встала и обратилась к Педро.

— Прости, Педро, — произнесла она таким глубоким и теплым голосом, какого я у нее давно уже не слышал. — Прости... может, я была... несправедлива... прости, но знаешь... видишь, я не могла, не могу... Мне больно, что из-за меня у тебя была... такая жизнь.

Она протянула ему руку.

Педро тоже встал, поглядел на нее, потом на ее протянутую руку, снова на нее — и вдруг жутко, судорожно расхохотался.

— Ха-ха-ха! Это здорово, вот так, одним словом, за столько лет! Ха-ха-ха! Свобода тебе понадобилась! Отличная мысль! А может, новый выбор? Ха-ха-ха! «Прости, Педро! Я уже не жена тебе!»

Он хохотал, как безумный, и выкрикивал какие-то непонятные слова. Потом вдруг замолчал, повернулся и побрел к дому.

Марта стояла мгновение смущенная, ее лицо выражало отвращение и стыд; потом и она потеряла самообладание и горько, безудержно разрыдалась — впервые с того дня, как стала женой Педро.

Я ушел, не сказав ни слова, подавленный еще более, чем обычно.

Долгую четырнадцатидневную ночь мы провели, почти не разговаривая друг с другом. На следующий день все пошло будто бы по-прежнему. Утром мы сразу взялись за обычные дневные дела, даже говорили, как прежде, не упоминая о «разводе», который с того вечера действительно стал совершившимся фактом. Прежние взаимоотношения Марты и Педро были таковы, что разрыв их мы все ощутили скорее как облегчение. Особенно благотворную перемену я заметил в настроении Марты. Не скажу, чтобы она стала веселее, но по крайней мере не чувствовалось в ней прежней принужденности, она говорила с нами свободней, даже к Педро относилась лучше, хоть он так грубо отверг единственные теплые слова, с которыми она к нему обратилась.

А что делалось с ним? Это, видно, навсегда останется для меня загадкой.

Внешне он все это принял равнодушно, и неожиданная вспышка в тот вечер, когда Марта с ним порвала, была единственным проявлением его скрытых чувств. Но сколько же боли, унижения и тоски, наверное, накопилось в стра-

стной душе этого человека! И какая сила воли понадобилась ему, чтобы все это подавить и замкнуть в себе! Ведь он любит Марту, несмотря ни на что, любит ее и сейчас, в этом у меня нет никаких сомнений.

В первый день после разрыва Педро подошел ко мне около полудня, когда я только что возвратился из поездки по морю и привязывал лодку к береговому столбу. Некоторое время он беспокойно сновал вокруг меня, словно хотел что-то сказать, но не знал, как начать. Потом, внезапно решившись, схватил меня за руку и произнес, глядя мне прямо в глаза:

— Ты помнишь клятву, которую дал мне, когда я получил Марту?

Я удивленно посмотрел на него, еще не понимая, к чему он клонит. Он же продолжал:

— Ты мне поклялся в тот день, что никогда не будешь пытаться забрать Марту к себе, никогда! Помнишь?

Я молча кивнул.

Педро горько усмехнулся.

— Впрочем, как хочешь. Это смешно. Как хочешь. Только сначала... застрели меня.

Последние слова он произнес глухо и с такой мучительной страстностью, что меня прямо дрожь проняла. Я хотел ему ответить, успокоить его, но он повернулся и ушел.

С того времени я испытывал ужасающую внутреннюю борьбу и невыразимые муки. Марта, в сущности, не принадлежала теперь никому, однако же я чувствовал, что тянуться к ней вдвойне преступно: и по отношению к ней, которая жаждет лишь покоя и живет, сбросив ненавистное ярмо, только воспоминаниями о давно умершем любимом и заботами о его сыне, и по отношению к Педро, столь подавленному и несчастному, что любая обида, причиненная ему, становилась чем-то большим, нежели преступление, — становилась подлостью. А все же бывали такие мгновения и такие обстоятельства, когда я колебался и изо всех сил напрягал волю, чтобы не застрелить Педро, по его же собственной просьбе, и не начать с Мартой новую жизнь. Такие искушения одолевали меня в особенности, когда я замечал растущую симпатию Марты. Она часто улыбалась мне и называла по-прежнему своим другом, а мне уже мерещилось, что если б не Педро, мы были бы счастливы. Но вскоре наступило отрезвление.

Ведь Марта, думал я, симпатизирует мне лишь потому, что я никогда не становился между ней и памятью ее о том, умершем, единственном, кого она любила, что я не

запятнал святости ее чувства, не коснулся ее тела и не возжелал ее души, которую она навечно отдала тому, кто лежит сейчас в песках Моря Холодов. А захоти только я чего-то большего...

Ужасный порочный круг!

И все же однажды я чуть не совершил безумного поступка...

Мы предприняли втроем поход на вершину кратера Отеймора. Девочек мы оставили дома под присмотром Тома, на которого уже можно было вполне положиться. Пробившись со стороны моря сквозь гущу вьющихся растений и пройдя через заросли громадных древовидных листовиков, мы выбрались на покатую равнину, поросшую стелющимися по земле крупнолистными мхами. Здесь мы бывали уже не раз, но теперь намеревались забраться выше, если окажется возможным, то на самую вершину, чтобы насладиться великолепным видом, который должен открыться с верхушки этого вулкана, самого высокого во всей окрестности.

Дальнейший путь был нелегок, приходилось круто взбираться в гору по глубокой расщелине, зияющей среди застывших и выветрившихся лавовых потоков и вверху засыпанной снегом по самые края. Здесь, на Луне, такую дорогу осилить, конечно, проще, чем на Земле, где человеческое тело весит в шесть раз больше, но все же труд был не из легких.

После многочасовых усилий мы оказались под самым срезом кратера; дальнейший же подъем был совершенно невозможен. Там, выше, снег таял от горячих испарений, непрерывно поднимавшихся из огромной воронки, края которой торчали теперь над нами как горная цепь, а вода, стекая, замерзала на ветру и покрывала камни стеклянистой ледяной оболочкой, на которой нельзя было удержаться.

Убедившись, что дальше двигаться невозможно, мы уселись на снегу, чтобы отдохнуть перед возвращением и немного оглядеться.

Вид был бесподобный. Прямо перед нами, за черным лесным массивом, простиралось в безбрежную даль море, играющее всеми цветами радуги и усеянное островами, которые отсюда выглядели как маленькие черные точки на сверкающей глади. Те, что побольше, казались пятнами, обрамленными цветной каймой, как глазки павлиньих перьев. Налево, к востоку, поднимались черные вершины и кольца кратеров горной гряды, а среди них кое-где поблескивала голубая лента залива, глубоко врезающегося в су-

шу. Направо, за гейзерами, которые можно было распознать лишь по маленькому облачку белесого тумана, простиралась широкая равнина, прорезанная извилистой рекой, и, словно нанизанные на нить жемчужины, сверкали на ней дальние озера у отрогов зеленых взгорий.

Мы сидели довольно долго, зачарованные великолепным зрелищем, как вдруг встревожил нас глухой подземный грохот. Пар, поднимавшийся над кратером, почернел и сгустился в огромный клуб, из которого вскоре начал сыпаться на нас тонкий удушливый пепел. Следовало возвращаться как можно скорей, приближалось извержение вулкана. Однако мы не успели вовремя уйти. Прошли мы едва полпути по той расщелине, что кончалась в лугах над лесом, как подземный грохот усилился, задрожали горы, с них во все стороны начали обрушиваться лавины, а черная дымная туча над вулканом вспыхнула кровавым заревом.

Времени раздумывать не было. С величайшей поспешностью укрылись мы в первой попавшейся щели и с трепетом выжидали минуты, когда можно будет снова продвинуться вниз.

Небо над нами, все в густом клубящемся дыму, походило на огненное жерло ада, глухой грохот не прекращался уже ни на миг, а воздух, насыщенный сернистыми испарениями и мелким пеплом, душил нас и обжигал легкие. Сверху начали падать большие куски раскаленного шлака. Нам пришлось бежать из расщелины, по которой теперь стремительно несся поток растаявшего снега, смешанного с землей и пеплом. Видимо, сотрясения почвы, которые мы ощущали, широко расходились от подножия гор; когда ветер, на мгновение разогнав удушливые пары и клубы пепла, приоткрыл окружающий мир, мы увидели, что море бурлит и пенится.

Цепляясь за крутую скалу, как мыс торчащую в том месте, где расщелина раздваивалась, уходя дальше вниз, мы, отчасти прикрытые сверху скальным карнизом, просидели несколько часов, не зная, уцелеем ли. При этом Марта ужасно тревожилась о детях. Правда, Том был уже знаком с землетрясениями, довольно частыми и не очень опасными в этих местах, и можно было надеяться на его предусмотрительность и здравый смысл, но Марту, да и меня удручала мысль, что в случае нашей смерти детвора, предоставленная самой себе, тоже была бы обречена на верную гибель. Педро был равнодушен и спокоен или, по крайней мере, притворялся спокойным.

Наконец немного утихло. Сильный ветер, внезапно рванувшийся с моря, несколько очистил воздух и разогнал

редеющие клубы дыма. Град пепла и шлака прекратился. Мы вздохнули свободней, но только собрались двинуться дальше, в обратный путь, как нас встревожил мощный шипящий шум, доносящийся сверху. Педро выскочил из убежища посмотреть, что там такое, но едва он шагнул на выступ скалы, как отчаянно вскрикнул от ужаса: по расщелине мчался поток разбушевавшейся лавы! Я видел, как Педро попытался вернуться к нам, но в то же мгновение завыл вихрь, летящий впереди этого потока жидкого огня, и Педро внезапно исчез, а мы даже понять не успели, что с ним случилось.

Невыносимый удушливый жар веял на нас, текучая, багрово пылающая масса заполняла уже обе расщелины, гудя, свергалась вниз чудовищными каскадами огня и камней. Нельзя было терять ни минуты. Если извержение усилится, лава может отрезать нам обратный путь, заполнив поперечные впадины между двумя расщелинами или, того хуже, может разрушить и снести наш каменный островок, как стремительное течение разлившейся реки сносит по пути глинистые островки. Поэтому, не думая уже о Педро, которого сначала счел погибшим, я взвалил на плечи Марту, оцепеневшую от ужаса, и начал как можно быстрее спускаться вниз, цепляясь за выступы скал.

Мне и сегодня страшно вспомнить, что это был за спуск! Скалы, о которые билась адская волна, дрожали у меня под ногами, как палуба корабля, на всех парах идущего против ветра; чудовищный жар грозил испечь нас живьем. Марта потеряла сознание и безжизненно повисла у меня на плече, что крайне затрудняло мои движения. А ведь приходилось следить, чтобы не поскользнуться, ибо каждый неверный шаг означал смерть.

Каким чудом, полузадохшийся от жара, ослепший от горячего дыма и сверканья лавы, оглушенный невыразимым шумом, избитый летящими сверху камнями, я добрался с Мартой до равнины, откуда мы вышли часов двадцать назад, этого я уж и сказать не могу.

Тем не менее мы были спасены. Лава потекла по сторонам от нас, сквозь леса, которые тотчас задымились, и оставила в середине огромный пустой треугольник, вершиной которого был луг и нависший над ним скальный карниз, а основанием — берег моря, находившийся более чем в тысяче метров внизу под нами.

Прежде всего я принялся приводить Марту в чувство. Когда она открыла глаза и убедилась, что нам уже не грозит опасность, то сразу же стала допытываться насчет Тома. Я

заверил' ее, что Том дома и что мы наверняка найдем его в добром здравии еще до полудня. Тогда она протянула ко мне обе руки и начала повторять, как в Полярной Стране, когда я разыскал ее после наводнения:

— Мой друг, мой друг...

Было в ее голосе нечто столь кроткое и сладостное, что все тело мое затрепетало и судорога перехватила мне горло. Я склонил лицо, чтобы глаза меня не выдали, а она тогда охватила мою голову ладонями и прижала к своей груди, говоря:

— Тебе я обязана своей жизнью и больше того: жизнью Тома, которому мы еще нужны. Ты такой хороший...

Грудь ее была обнажена, потому что, приводя ее в чувство, я разорвал платье у ворота. Я коснулся лбом ее груди и почувствовал, что голову мою кропят слезы, льющиеся из ее глаз.

Внезапный пожар разгорелся во мне. Эта женщина, все еще такая красивая, самая желанная и любимая, была передо мной, достаточно было протянуть руки, обнять ее, осыпать поцелуями, задушить в объятиях. Кровь застлала мне глаза, в ушах гремели яростные удары пульса, я ощущал тепло и податливость ее тела, его запах пьянил меня, одурманивал, сводил с ума. «Да мы ведь одни, — мелькало в моем мозгу, как сквозь туман, — мы теперь единственные люди на этой планете, ведь Педро, наверное, лежит где-нибудь мертвый среди скал... Да и что мне Педро, в конце концов, что все на этом свете и на том, когда она...» Невыразимое блаженство, несказанное счастье тихой волной разливалось по всему моему существу.

— Нет!

Я рванулся изо всех сил и отпрянул назад.

Педро, быть может, лежит в эту минуту где-нибудь на камнях, окровавленный, полуживой, и ждет помощи, а я...

Марта подняла на меня глаза и — поняла.

— Ты прав, — сказала она, будто отвечая мне, хоть я и не сказал ни слова, — ты прав, иди поищи Педро...

Потом она поднялась и сжала мою руку.

— Спасибо тебе, — шепнула она.

Педро я действительно нашел неподалеку от того места, откуда его сбросил ветер. Он зацепился за острый выступ, который спас его от падения в зияющую огнем бездну, и лежал без сознания. Я принес его домой, и общими усилиями нам удалось вернуть ему жизнь.

Немало времени прошло с тех пор, а я помню о минутной слабости и тем настойчивей добиваюсь, чтобы моя воля

всегда господствовала надо всем остальным, что вместе с ней создает душу человеческую.

А Педро?.. Он сидит, все такой же молчаливый и угрюмый, на пороге дома и — уж не знаю — возможно, жалеет порой, что не погиб тогда, на склонах Отеймора.

Для меня, видно, все кончено. Скоро и эти дети не будут уже во мне нуждаться. Я начал строить себе гробницу на Кладбищенском острове.

VI

Шесть дней спустя...

Я смотрю на эти последние слова, написанные несколько лунных суток назад, и в глазах у меня темнеет — уже не от слез, слезы давно высохли, — а от режущей, как горячий песок, пелены ужаса и отчаяния. Не для себя возвел я склеп на Кладбищенском острове.

Почему... почему?!

Извечный нелепый и мучительно-скорбный вопрос — без ответа!

Я остался один.

Один с четырьмя детьми, родившимися здесь, — не моими детьми. Я последний на Луне из людей, которые прибыли с Земли. Двое остальных, Марта и Педро, ушли вслед за О'Теймором, за Ремонье, за Вудбеллом. А я — живу.

Та самая судьба, которой я более всего страшился и менее всего ожидал...

Подумать только, до чего быстро все это произошло! Шесть лунных дней, половина земного года. Кто бы мог тогда подумать! А ведь уже третий раз взошло это ленивое Солнце над морем с тех пор, как я их похоронил. Я одинок, так ужасно, так отчаянно одинок, что начинаю вскакивать во тьме по ночам, а днем — пугаюсь шелеста и теней, которые бросают мне под ноги, раскачиваясь на ветру, диковинные растения.

Да, я одинок. Ведь эти дети чужды мне. Это существа с иной планеты в буквальном смысле слова.

Чего бы я только не отдал, чтоб еще хоть на краткий миг увидеть здесь, рядом с собой, Марту или Педро!

Когда Марта захворала, я и не предчувствовал, что это так ужасно кончится.

Правда, я давно уже видел, что организм ее истощен

всем пережитым, ослаблен мучительной печалью, но все же эта мысль была от меня далека, так далека!

В последний день Марта была уже нездорова. Притихшая и еще более задумчивая, чем обычно, она провела почти весь день с детьми на берегу моря. Играла с Томом и даже ласкала девочек, немало удивленных этим редким для нее проявлением материнской нежности. Близ полудня, когда я пришел к морю и сказал, что пора уже возвращаться в дом над бассейном, потому что вскоре надвинется буря, Марта улыбнулась мне и дважды повторила:

— Пора возвращаться, пора возвращаться...

Все эти мелкие детали так живо сохранились в моей памяти, так настойчиво приходят на ум, что и теперь, когда я пишу, Марта стоит у меня перед глазами, я вижу каждое ее движение, слышу ее голос и поверить не могу, что на самом деле ее уже нет и что на самом деле никогда ее не увижу...

По пути к дому она взяла младшую, Аду, на руки и допытывалась, любит ли она Тома. Девочка отрицательно качала головой:

— Нет, не люблю.

Марта опечалилась.

— Почему не любишь? Почему, Адочка?

— Потому что Том злой. Том хочет, чтобы я его слушалась.

— Это плохо, — отвечала мать, — нужно слушаться Тома и любить его, потому что ты его девочка...

— Нет. Я не его девочка. Лили и Роза его девочки. Я своя.

Я громко рассмеялся, услышав ответ ребенка, но у Марты в глазах блеснули слезы.

— Нельзя быть своей, нельзя, — прошептала она скорее себе. Однако нежно поцеловала девочку.

После полудня она долго разговаривала с Томом. Рассказывала ему об отце, повторяя, может, в тысячный раз всякие подробности, которые вместе слагались не то в какую-то странную легенду, не то в восторженный гимн умершему любимому. Томас был мужественным и благородным человеком, но в воспоминаниях Марты он становился неким божеством, воплощением всего великого, доброго и прекрасного.

Наставляла она также Тома, чтобы он был добр к своим сестрам. Это более всего удивило меня, потому что такие поучения я редко от нее слышал.

К вечеру Марта начала жаловаться на общую слабость,

головокружение и боли в суставах. Обычно она всякие недомогания переносила молча, и мы только по ее лицу могли догадываться, что ей не по себе, а она никогда ни слова об этом не говорила и не искала у нас ни сочувствия, ни помощи. Даже если мы допытывались, что с ней, видя, как плохо она выглядит, Марта только качала головой и говорила с улыбкой: «Ничего такого...» или: «Это пройдет, я еще не умру, я еще нужна Тому». Поэтому меня особенно встревожили ее жалобы в тот вечер. Я посмотрел на нее внимательней и лишь теперь, при свете гаснущего дня, заметил, что лицо ее пылает лихорадочным румянцем, а провалившиеся глаза обведены темными кругами. Глаза Марты ничуть не утратили прежнего своего блеска — его не смогли погасить ни пролитые слезы, ни жгучая скорбь, но сейчас они горели каким-то болезненным огнем, вовсе непохожим на их прежнее, звездное сияние.

После захода Солнца Марта, которая легла в постель — больше от слабости, чем из желания уснуть, начала беспокоиться и метаться. Видно было, что ее одолевает горячка. Она то звала детей, которые уже спали, то еле слышным шепотом оправдывалась — перед собой или перед призракoм Томаса, видно стоявшим перед ее взором, — в своей жизни, в том, что породила на свет этих бедных девочек, и даже в своей любви к ним, которую ей не удалось полностью подавить и превозмочь. Кажется, по ее понятиям, материнская любовь принадлежала исключительно сыну, а всякое проявление любви к дочерям не только ущемляло его, но и оскверняло память умершего.

Потом она несколько успокоилась. Мы с Педро сидели у ее постели, крайне удрученные и встревоженные, тем более что лекарств у нас не было и мы чувствовали себя беспомощными перед болезнью. Марта долго смотрела на нас широко открытыми глазами, а потом вдруг спросила, зашло ли уже Солнце. Я ответил ей, что уже началась долгая лунная ночь.

— Да, правда! — сказала она более трезво. — Ведь вокруг темно, а тут горит огонь... Я сразу не заметила. А там, на Море Холода, что там сейчас?

— Там сейчас день. Как раз недавно взошло там Солнце.

— Да, взошло Солнце... И светит сейчас над могилой Томаса, правда? И то же самое Солнце от его могилы придет утром к нам сюда?

Я молча кивнул.

— То же самое Солнце... — повторила больная. — Подумать только, что вот так, ежедневно, столько лунных дней

это Солнце глядело на могилу, а потом на меня здесь, живую, и снова шло на могилу рассказать ему, что здесь видело!

Она закрыла лицо руками, и дрожь начала сотрясать все ее тело.

— Это ужасно! — твердила она.

Педро насупилсь и понурил голову. Мне показалось, что на его пожелтевшем и увядшем лице я заметил внезапный багровый румянец, разлившийся вплоть до изборожденного морщинами лба.

Видно, заметила это и Марта, потому что обратилась к нему:

— Я не хотела обидеть тебя, Педро... сейчас... Ведь ты, в конце концов, не виноват. Как ты мог бы принудить меня стать твоей женой, если б я сама не хотела... для Тома...

Она замолчала, с трудом дыша. Потом заговорила снова:

— Я хотела бы дождаться утра. Это так страшно — блуждать в темноте и искать дорогу там, в пустыне. Когда здесь настанет день, над Морем Холода будет светить Земля. Я хочу стать над могилой при ее свете, потому что не знаю, посмею ли вот так, средь бела дня, взглянуть ему в...

— Марта! Что ты говоришь! — невольно вскрикнул я.

Она посмотрела на меня и ответила кратко:

— Я умру.

К полуночи я стал действительно опасаться, что она умрет. Ее мучила какая-то болезнь, которую мы не могли даже определить. Мы видели лишь крайний упадок сил, который вместе с повторяющимися приступами лихорадки не сулил ничего доброго.

Да, впрочем, что значат все врачебные наименования. Я знаю, что это за болезнь, знаю ее даже слишком хорошо: она называется — жизнь! Она пробуждает человека из небытия, голубит его, играет с ним, а во время игр дергает его и треплет, бьет, калечит, пока наконец не одолеет его и не раздавит. С этой болезнью рождаемся мы все, и нет от нее другого лекарства, кроме смерти.

Педро почти не отходил от постели Марты. Глядя на его мрачное неподвижное лицо, я невольно, невзирая на тревогу о Марте, задумывался: какие чувства кроются под этой маской? К несчастью, мне предстояло узнать об этом слишком скоро.

Под утро Марта очень металась, и только первые проблески дня принесли ей успокоение.

— Я еще увижу Солнце! — шептала она и пыталась улыбнуться побледневшими губами.

Теперь я один сидел рядом с ней, потому что Педро, изнуренный долгой бессонницей, поддался наконец моим уговорам и прилег в соседней комнате. Утренний свет пробивался сквозь окна из толстого, сделанного на Луне стекла, а свет лампы все заметней желтел и тускнел. Снег лежал на полях, как обычно, и когда ветер слегка разгонял испарения, вечно клубящиеся над горячими прудами, сквозь окна виднелась широкая сверкающая равнина.

В этом резком и холодном, отраженном от снега сиянии наступающего дня, спорящем с желтым и мертвенным светом лампы, я глядел на Марту и уже ничуть не сомневался в том, что вскоре она покинет нас навсегда. За эту двухнедельную ночь она неузнаваемо изменилась. Лицо ее осунулось и побледнело, губы, некогда такие полные, пурпурные, притягательные, подернулись бледно-синим цветом смерти. Из-под приспущенных, почти прозрачных, сетью мелких жилок покрытых век смотрели уже гаснущие и невыразимо печальные глаза.

Я оперся лбом о край постели и кусал себе руки, чтобы не разразиться ужасным немужским рыданием, которое рвалось из груди, словно зверь с цепи.

А снаружи тем временем становилось все светлее. Испарения, недавно еще серые, теперь проплывали за окнами, подгоняемые ветром, будто легкие белоснежные призраки. Временами пар клубился, заслонял свет, временами вытягивался в длинные колеблющиеся тени, которые внезапно возникали, склонялись, словно в поклоне, у окон и двигались дальше. Сквозь их полосы виднелись снежные поля и увитые облачками пара жемчужные колонны гейзеров, а дальше, над ними, на фоне бледно-голубого неба высилась вершина Отеймора, уже порозовевшая в первых лучах солнца.

Марта спросила о детях, но услышав, что они спят, не велела их будить.

— Пускай спят, — шепнула она, — я еще их увижу... прежде, чем Солнце взойдет. А сейчас хорошо, что так тихо...

Потом повернулась ко мне:

— Ты всегда будешь их опекать, ведь правда?

— Буду, — сказал я, и горло мне сдавили слезы.

— И не оставишь их никогда?

— Нет.

— Клянешься мне?

— Да. Клянусь.

Она протянула мне руку.

— Добрый ты, друг мой, — шепнула она. — Я умру спокойно, зная, что ты о них не забудешь.

Я схватил ее руку и страстно прижал к губам. Ее пальцы слегка дрогнули, словно хотели сжать мне руку. От них веяло уже таким холодом, что даже мои горячие губы не могли их согреть.

— Я хотела тебе еще сказать перед смертью, — заговорила она, помолчав, — что ты... был мне дорог. Из-за этого я корила себя больше, чем из-за того, что была женой Педро... Может быть, если б я стала твоей, а не его, я бы еще жила...

Она говорила все это тихим, гаснущим голосом, а во мне вдруг разразилась буря. Я зарыдал, как малое дитя, и в беспамятстве покрывал ее руку поцелуями, бормоча сквозь слезы бессвязные слова любви, так долго таившиеся и освобожденные лишь сейчас — перед лицом смерти.

Марта слегка склонилась и положила другую руку мне на голову.

— Успокойся, — говорила она, — успокойся... Я знаю... Не плачь... Так лучше, как получилось... Ты был мне дорог своим благородством, своей любовью к Тому... я даже сама не знаю, чем... а, несмотря на все, я, может, плохо к тебе относилась бы, если б ты встал между мной и тем единственным, кто имел на меня права. Ну, успокойся, не плачь. Теперь уж ты знаешь. Я думаю, Томас меня простит, что я это чувствовала и что сказала об этом тебе в час своей смерти... Я была так несчастна.

Она замолчала, обессиленная, а я, спрятав лицо на ее груди, весь дрожал, сотрясаемый подавленными рыданиями.

Но она заговорила вновь:

— Пускай уж... признаюсь тебе во всем. Все равно я в последний раз говорю с тобой... В тот полдень...

Она вдруг замолкла, словно внезапный стыд, не отступивший даже перед смертью, перехватил ей горло, но я знал, о каком полдне она говорила!

Марта помолчала, едва шевеля губами, а потом с неожиданной силой, поднеся ладони к вискам, выкрикнула:

— Почему ты не убил Педро?!

И в эту минуту я услышал сдавленный стон. Было в нем нечто такое страшное, что я невольно вскочил и обернулся. В дверях, опираясь рукой о косяк, стоял Педро, бледный, как труп, и смотрел на нас широко открытыми глазами. Должно быть, он уже давно там стоял и слышал все, что Марта мне говорила. Когда он заметил, что я увидел его,

он сделал несколько неуверенных шагов вперед и пробормотал что-то невразумительное.

Марта с подавленным криком отвращения повернулась лицом к стене.

— Простите, — простонал Педро, — простите, я невольно... Я не хотел...

В это время в соседней комнате раздался голоса и топот.

— Дети! — закричала Марта и протянула руки.

Но девочки, оробев, остановились у порога, и только Том припал к ней, а она охватила его голову дрожащими руками и прижала к себе.

Педро посмотрел на это и шагнул ко мне.

— Ты обещал ей, — он кивнул на Марту, — помнить обо всех детях... обо всех! одинаково...

Прежде чем я, пораженный этими странными словами, успел ответить, его уже не было в комнате.

Сквозь пляшущие за окном испарения пробивался солнечный луч, превращая верхние стекла в кусочки сверкающего золота, и пронизывал светящимся снопом душный воздух комнаты. Марта лежала неподвижно, глядя угасающим взором на полосу солнечного света, которая все ниже соскальзывала по стене и, словно ангел, нисходящий с небес, плыла к ее изголовью. Девочки на цыпочках приблизились к постели и с изумлением смотрели на бледное, застывшее лицо матери.

Душно мне было, на губах я ощущал едкую горечь. Этот наступающий день шел ко мне как безжалостная, мучительная насмешка, ибо я знал, что вместе с ним начнется пустота и неотступные думы о прошлом. Минуты проходили в молчании...

Внезапно Том вскрикнул:

— Дядя! Дядя! Я боюсь! Мама так страшно смотрит!

Я повернулся: солнечный луч, упав на подушки, освещал лицо Марты, застывшее, мертвое, но еще глядящее на Солнце остекленевшими глазами.

— Ваша мама умерла... — каким-то чужим, сдавленным голосом шепнул я детям, которые теснились у постели, перепуганные и удивленные. Потом наклонился, чтобы закрыть глаза Марте.

В эту минуту раздался грохот выстрела. Я метнулся к двери: Педро лежал в соседней комнате на полу с пробитым виском и дымящимся револьвером в руке.

Я зашатался на пороге, как пьяный.

Сейчас они оба уже лежат в могиле. Я сам оказал им

последнюю, посмертную услугу — завернул их тела в большие, сотканые из растительных волокон и пропитанные смолой саваны и своими руками отнес их в лодку, которой предстояло везти их на Кладбищенский остров. В лодке рядом с трупами и со мной сидело четверо детей. Трое старших примостились возле тела Марты. Том, ошеломленный и напуганный зрелищем смерти, молча сидел у ног матери, Лили и Роза цеплялись за саван и с плачем звали маму, будто требуя материнских ласк, на которые она поскупилась при жизни. Педро все покинули. Только младшая девочка подползла к нему и, глядя покрывающую его грубую ткань, тихонько шептала:

— Бедный папа, бедный...

Печальной нашей поездке сопутствовала чудесная погода. Солнце, еще невысоко поднявшееся над горизонтом, заливало золотистым светом огромный, спокойный, чуть подернутый мелкой рябью от легчайшего дуновения ветра морской простор, на котором смутно рисовались вдали острова, утопающие в прозрачной голубой дымке. И никогда прежде я не ощущал так живо и так болезненно эту безжалостную и ужасную иронию, которая таится в красоте природы, одинаково равнодушной и к радостям, и к страданиям человека. Ведь в этой лодке были со мной трупы двух последних человеческих существ, которые вместе со мной прибыли на эту планету и знали, как и я, родную мою Землю; я вез их, чтобы положить в склеп, для меня самого предназначенный, и потом остаться навсегда одиноким, а Солнце светило спокойно, прекрасно и великолепно — совсем так же, как в детстве, когда я беззаботно играл в его сиянии на той, далекой от меня сейчас планете.

С лодки я перенес их обоих в гробницу, которую соорудил на холме в самой красивой части острова. Легкими были эти трупы, вшестеро легче, чем на Земле, а я сгибался под их тяжестью... Чему удивиться! Ведь я нес в могилу останки своего горького счастья!

Марту я похоронил в могиле, которую некогда предназначал для себя. Для Педро выкопал другую, чуть поодаль.

И буду я жить дальше... По правде говоря, когда тяжесть невыразимой тоски совсем подавляет и сокрушает меня, нередко испытываю я страшное искушение уйти с этой планеты единственным оставшимся для меня путем, по которому уже ушли отсюда шестеро: О'Теймор, братья Ремонье, Вудбелл, Фарадоль и Марта; но тогда вспоминается мне клятва, которую я дал умирающей, — что я не оставлю

ее детей. Для них я должен жить. Я приговорен теперь к жизни, как раньше, пока жива была Марта, приговорен был к любви. И две эти лучшие в мире вещи — любовь и жизнь стали для меня жесточайшей болью и горчайшей мукой...

Дни мои принадлежат этим детям. Изю всех сил я стараюсь все время думать о них, занимаюсь с ними, учу их, держу возле себя, охраняю и воспитываю, потому что на мне, бездетном, лежит, право же, долг духовного отцовства перед всем лунным поколением.

Но по ночам я возвращаюсь на Землю и говорю с умершими. Что-то уже разладилось и расстроилось в моем мозгу, или это боль, туманом встающая из сердца, окутала его, но только явь кажется мне сном, а сновидения — это подлинная моя жизнь...

Я тоскую по снам. В них я хожу по Земле и умиленно целую ее деревья, цветы, даже пыль и камни, — и все мне кажется, что никогда не отрывала меня от Земли неистовая, надменная жажда познать тайны звездных просторов.

А иногда ко мне приходят мертвые друзья.

Сперва появляется седовласый О'Теймор и винит себя — он, который был воплощением доброты, — в том, что легкомысленно увел нас на эту пустую планету, подвешенную в небе, как светильник для Земли. Потом я вижу братьев Ремонье. Они жалуются, что пошли за нами и встретили смерть. Появляется Вудбелл, весь бледный, и спрашивает: что мы сделали с Мартой? Была ли она с нами счастлива? Педро рассказывает о том, что в последние годы жизни я читал в его глазах: о неистовой и страстной своей любви, которая поглотила его, как огонь поглощает горстку стружек, о своей страшной судьбе, которая не дала ему ни одной счастливой минуты, а повелела долгие годы видеть отвращение, гадливость и презрение в глазах желанной и ему принадлежавшей женщины, и молчать, и душить в себе всю любовь, и всю боль, и оскорбленную мужскую гордость; он говорит мне, какие адские муки терзали его душу в ту последнюю ночь, когда он увидел меня, укрывшего лицо на ее груди, и позже, когда он подносил револьвер к виску...

Этот хоровод печальных призраков замыкает Марта. Она является передо мной тихая, с застывшей на губах страдальческой улыбкой, и благодарит меня за то, что я был человеком, а временами, кажется мне, молча укоряет за то, что я им не был.

Какая бездна печали и сожалений во мне...

Так эти тени беседуют со мной. И хоть они не говорят мне ничего радостного, все же мне просто и хорошо с ними, ибо это близкие мои.

Это новое лунное поколение, подрастающее вокруг меня, — оно какое-то уже иное. Это еще дети, но я ошущаю, что они создают себе особый мир, который для пришельца с Земли всегда будет чужим, подобно тому как мой мир недоступен им, рожденным на Луне.

А ведь я, собрат шести могил, рассеянных по Луне, вынужден жить с теми, для кого эта планета — родина. И кто знает — как долго еще...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СРЕДИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

I

В Полярной Стране

Поколение это уже созревает, и я чувствую себя среди него все менее необходимым и все более печальным... Вот и отправился я в Полярную Страну, чтобы глядеть на Землю и быть одиноким.

От И с х о д а нашего из Земли Утраченной прошло уже двести девятнадцать лунных дней, и шестьдесят семь прошло со дня смерти Марты и Педро.

Странно мне, что я не умираю...

*

Итак, я снова обитаю на полюсе. Безграничная тоска по родине моей, по Земле, гнетет меня все сильнее. Из-за нее я забываю даже об этом поколении, доверенном мне Мартой в смертный час. Но они живут там, над морем, и они счастливы. Когда я уходил, в них пробуждалось весеннее чувство любви. Слишком сладостно... и слишком больно было мне смотреть на эту весну.

Здесь тишина, и одиночество, и воспоминания...

*

Снова было затмение Солнца, и черная, как труп, Земля в золотисто-радужном ореоле, и ливень, и наводнение...

От И с х о д а нашего лунных дней двести двадцать шесть...

Тревога на меня что-то нашла — как там Мартыны дети.

Придется мне снова пойти туда, к морю, и поглядеть, не нужен ли я им.

Тяжкий сон мне снился, и Марту я видел во сне.

*

После семи лунных дней отсутствия я снова побывал в Стране Теплых Прудов... Тревога о детях Марты привела меня туда.

Том стал мужем своих сестер, Лили и Розы.

Это просто удивительно, как люди мельчают на Луне. Ада, кажется, будет еще меньше ростом...

Во время моего пребывания у моря произошло страшное извержение Отеймора, самое сильное из всех, какие я помню. Южный склон кратера обрушился в море... Это был день двести тридцать восьмой от И с х о д а нашего; началось извержение через четырнадцать часов после полудня.

Когда я уходил, Роза ожидала ребенка.

Аду я взял с собой — слишком она одинока там... Сейчас она более, чем когда-либо, нуждается в моей опеке. Это ужасно, что мне еще нельзя умереть!

Я возвратился в Полярную Страну на двести пятьдесят первый день от нашего И с х о д а.

Том пытался удержать меня при расставании, но я видел, что он рад моему уходу. Том властолюбив, и ему не по душе, что я пользуюсь таким авторитетом у его жен. Рад он и тому, что со мной уходит Ада; он не любит Аду за то, что она не желает ему подчиняться, хоть она совсем еще ребенок.

*

Идут часы, тусклые и холодные, словно полярный свет незримого Солнца, — длинная-длинная, нескончаемая вереница часов...

Я с трудом сохраняю счет времени; говорю я мало, и Ада рядом со мной молчит. Просиживает целыми часами на зеленых мхах и обводит печальными, смутными глазами розовато освещенные вершины гор...

А я?..

Прямо и сам не знаю...

Давно я перестал жить настоящим, а тем более — будущим. Зато озираюсь назад и неустанно смотрю в лицо своим воспоминаниям. Невеселое общество! Печален я там, у моря, печален и здесь, где вижу Землю на краю небосклона.

Много времени прошло с тех пор, как я сделал последнюю запись. Ада подрастает и начала тосковать по своим близким, я вижу это по ней, хоть она и не желает прямо в этом признаться.

И я думаю, что пора все же мне возвращаться к морю. Я старею; а если я умру среди этой пустоты и одиночества, Ада будет обречена на смерть. Ради нее я вернусь, хотя, видит бог, как желал бы я остаться здесь и умереть, глядя на Землю!

Я уж и так боюсь, что слишком долго это дитя пробыло со мной, молчаливым и грустным отшельником. Станный это ребенок, и странно, что мы в этом одиночестве вместо того, чтобы сблизиться, становимся все более чужими друг для друга. Она глядит на меня широко открытыми глазами, и я вижу, что она думает о многом таком, чего мне не говорит.

Но самому-то себе я могу признаться? Я так давно здесь с этой девочкой, а ведь не привязался к ней, напротив, неприятно мне ее присутствие, так хотелось бы мне быть одному и беспрепятственно думать о прошлом... о Земле...

И все-таки нужно возвращаться... к Тому, к детям Тома, которые с удивлением и страхом будут смотреть на меня, на старого, седого человека, который некогда прилетел с Земли, а теперь долго жил в одиночестве...

Нужно мне возвращаться... Возвращаться нам нужно, Ада...

Еще нельзя мне умереть.

II

У моря, на Теплых Прудах

От И с х о д а нашего лунных дней четыреста девяносто два, то есть примерно тридцать восемь земных лет.

Очень давно уже я ничего не записывал на этих страницах — сегодня беру их в руки, чтобы отметить смерть Розы.

Она погибла, страшно сказать, от руки своего мужа и брата, любимого некогда моего воспитанника Тома, который в гневе ударил ее камнем по голове.

Вторая жена Тома и старшие его дети приняли это молча; им кажется, что он имеет право убивать всех, кто ему перечит. Одна лишь Ада, обычно державшаяся поодаль

от семьи Тома, на сей раз выступила против убийцы. Без рыданий, без криков, но с гневным лицом и воздетыми руками шла девушка к нему, а он боязливо отступал, хоть мог свалить ее одним ударом, потому что он выше и сильнее.

Но Ада остановилась в двух шагах от него и, указывая на неостывшее тело Розы, начала потрясать руками и кричать:

— За кровь жены твоей проклинаяю тебя от имени Старого Человека!

(Старым Человеком теперь называют меня здесь.)

Том устранился, но минуту спустя мрачно взглянул на меня, все это время молчавшего, а потом сказал Аде, сиюсь придать надменность своему голосу:

— Роза была моя, я мог делать с ней все... кормить ее или убить. Почему же она меня не слушалась?

Этот страшный случай, это преступление — невольное, ибо я посейчас не верю, что Том ударил жену с намерением убить ее, — вдруг прояснило для меня три обстоятельства, в которых я ранее не отдавал себе отчета.

Я вижу прежде всего тиранию Тома, и мне кажется, что я тому виной, ибо воспитывал его и не сумел сделать иным. Да и не следовало, может, проводить одинокие годы в Полярной Стране, а их здесь предоставлять своей судьбе...

Еще удивила меня Ада. По ее выступлению против Тома и по многим другим признакам, которые мне лишь теперь припомнились, я понял то, на что мало обращал внимания до сих пор, — необычные взаимоотношения у нее с братом и его семьей. Мне кажется, это взаимная ненависть, однако все остальные боятся этой девушки, самой молодой из первого поколения здешних людей. Она держится от всех вдалеке и считается чем-то вроде жрицы, хоть я и не знаю, удачное ли это определение. Жаль мне Аду, она одинока и, кажется, навсегда останется одинокой в этом мире, как и я, — жаль еще сильнее потому, что я не сумел стать для нее тем, чем, наверное, должен бы стать в таких обстоятельствах: добрым отцом и другом. Но и в ее отношении ко мне больше какого-то суеверного преклонения, чем любви. Видно, и в этом повинен я сам.

А третье, что более всего ужаснуло меня, ибо ближе всего меня касается: они считают меня... Но нет! Может, мне просто кажется! Что ж из того, что Ада проклинала Тома от моего имени? Ведь я же здесь самый старый, так,

наверное, только поэтому... А все же, если это так и есть, — неужто и в этом... идолопоклонстве повинен я сам?

Как странно все они произносят те слова, которыми меня именуют: С т а р ы й Ч е л о в е к...

*

Сегодня я снова видел сон, который уже много лет неотступно меня преследует, и я из-за него чувствую себя все более чужим в этом мире...

Снилось мне, что я был на Земле.

Но сегодня это был странный сон...

Меня окружали люди, и я весьма увлеченно беседовал с ними о делах государств, народов, о прогрессе... Мне говорили, что границы некоторых стран изменились с тех пор, как я оставил Землю, что другие теперь законы и отвергнуты прежние верования. Все это меня заинтересовало, и захотелось мне после долгого отсутствия своими глазами увидеть Землю, чтобы понять, какой она стала.

И вот я отправился в путь и проходил по знакомым мне некогда городам и краям. Действительно, изменилось многое. Я пролетал над континентами и с высоты птичьего полета дивился тому, что на месте прежних столиц видны руины, на месте цветущих полей — пустыри и пепелища, а там, где некогда простирались пустыни, я видел воду, и видел я возделанные поля и луга вокруг новых столиц, бурлящих движением и жизнью. Я останавливался по временам и заходил в дома людей и расспрашивал их о событиях моего времени, но никто уже ничего не мог мне ответить. Качали только головами и говорили: «Мы ничего об этом не знаем» или: «Мы забыли».

Ужас мной овладел и невыразимая печаль, ибо видел я, что Земля стала иной, совсем непохожей на ту, какую я знал.

«Видимо, — думал я во сне, — прошли уже не годы, а века с тех пор, как я отсюда удалился, на Луне ведь так трудно считать долгие, похожие друг на друга дни, должно быть, я многие из них затерял в памяти... И вот я на Земле, которую не знаю и которая уже не знает меня».

И вдруг я почувствовал себя таким ужасающе несчастным! Чужой на Луне, с которой не сумел сжиться, чужой на Земле, на которую чудом каким-то вернулся — слишком поздно! Где же я теперь найду себе место?

И продолжал я парить в воздухе, а в сердце моем была страшная пустота. А тем временем на смену короткому дню приходила ночь. Первые звезды уже засверкали на небе,

когда, несомый внутренней силой, я оказался над безбрежной равниной океана. Подо мной колыхались волны, будто чудовищные, переливающиеся извивы какого-то зверя с блестящей скользкой оболочкой, а в волнах отражались россыпи золотистых небесных светил.

Я взглянул вокруг: только здесь ничто не изменилось! Этот водный простор был все таким же безмерно громадным — и таким же подвижным. Но, думая об этом, я заметил, что море странно вспучивается и вздымает ко мне свои волны. И только сейчас я увидел, что прямо надо мной стоит полная Луна, а по океану катится к ней гигантский вал прилива. Ужаснул меня призрак того мира там, вверху, и хотел я бежать куда-нибудь, где не виден его ослепительный блеск, но вдруг силы меня покинули. Я почувствовал, что падаю на вздымающиеся волны, а они все растут и поднимают меня все выше, к Луне, выгибаются, словно громадные, неслыханно длинные шеи со сверкающими гривами, приглушенно хохочут и все выше швыряют меня. В нестерпимом ужасе я обернулся к Луне: она росла на глазах, становилась все ближе, раздувалась, занимала уже половину горизонта, покрывала уже все небо, словно тускло-серебряным шлемом. Мне казалось, что я вижу, как из-за ее краев высовываются головы измельчавших потомков Марты, и слышу злорадный смех и крики:

— Вернись к нам! Вернись к нам, Старый Человек! Ты ведь уже не земной.

Отчаяние, ужас, отвращение, гадливость и безумное желание остаться на Земле, пусть даже она знает меня не хочет, — все это бурей хлынуло в мою грудь, ужасный крик вырвался из моего горла, я напряг все силы, чтобы противостоять волнам, швыряющим меня в пространство, я хватался руками за воду, бил воздух ногами... Тщетно! Я вдруг почувствовал, что Земля уже не внизу, а над моей головой, и я падаю обратно на Луну...

Страшный сон! И еще более страшная действительность...

*

От И с х о д а нашего лунных дней пятьсот и один.

Том с двумя старшими сыновьями предпринял исследовательскую экспедицию по морю к югу. По его рассказам я заключил, что они добрались почти до самого экватора. Однако продвинуться дальше им помешали страшные тропические штормы. Так и пришлось им вернуться ни с чем.

Том долго беседовал со мной после возвращения. Много говорил о своей матери и о Розе — жалел о ее смерти.

Потом, вспомнив о путешествии и описав мне страшные трудности, которые ему пришлось преодолеть, он задумался, а под конец сказал, что опасается, не было ли это его последним путешествием...

Действительно, смотрю я на него и прямо не понимаю... Этот человек, прожив еще половину моего возраста, уже состарился. На Земле он только достиг бы расцвета сил... Здесь люди раньше созревают и раньше стареют. Тем удивительней, что я живу...

Я сказал об этом Тому, а он взглянул на меня и, поколебавшись, произнес:

— Да, но Ада и мои дети говорят, что ты — Старый Человек...

Странно прозвучали у него эти слова.

— Но ты-то, — возразил я, — ты, который знаешь меня с детских своих лет, что обо мне говоришь ты?

Том ничего не ответил.

*

Через четырнадцать лунных дней после смерти Розы умер Том. Оставил он двенадцать детей: пятеро от умершей жены, а семеро от Лили.

Я сам похоронил его на Кладбищенском острове, рядом с могилами Марты, и Педро, и Розы, и самого младшего, тринадцатого, ребенка, который умер вскоре после рождения.

Лили ужасно горюет по умершему. Кажется мне, что и она вскоре последует за ним.

Одна Ада спокойна.

Патриархом лунного народа стал теперь Ян, старший сын Розы и Тома, женатый на дочери Лили...

А я... я давно уже не в счет...

*

Ада с глубоким убеждением сказала мне сегодня, что я никогда не умру... Не знаю, то ли она сошла с ума, — да и все это лунное поколение, которое внимает ей и, надо полагать, верит, — то ли я и вправду некое странное исключение меж людей... Ведь действительно — почему я все еще живу?

*

Лили умерла.

Из первого поколения лунных людей одна только Ада еще жива.

От И с х о да нашего лунных дней пятьсот и семнадцать...

Ужас меня охватывает, потому что вокруг меня действительно происходит нечто такое, чего я не могу и не хочу — не хочу! — понимать...

Во время бури, на этот раз более лютый, чем обычно, и совпавшей с грозным извержением Отеймора, лунный народец пришел к моему дому с жертвоприношениями, а во главе шла безумная Ада, которая, видимо, лишилась рассудка из-за долгого одиночества в Полярной Стране. Уже со времени плачевного конца Розы, который страшно ее потряс, я начал думать, что в ее мозгу творится нечто неладное, а теперь вижу, что Ада действительно помешалась. Но только я один это и вижу! Они ее чтят и думают, что ее осенило свыше! И сегодня, под ее безумным предводительством — страшно вымолвить! — они молились мне, чтобы я остановил ветры и успокоил колеблющуюся под их ногами почву! Значит, они и вправду считают меня...

Как страшно одинок я в обществе этой безумицы и этих карликов, едва заслуживающих наименования людей!

Такое ужасающее уныние по временам овладевает мною...

Сегодня взялся приводить в порядок давно уже насквозь пропылившуюся библиотеку и бумаги, и вдруг напала на меня охота все сжечь, и дневник этот тоже...

Не сжег я ничего. Но книги и бумаги остались разброшанскими на полу, лежат в беспорядке передо мной, а мне и рукой шевельнуть неохота, чтобы их поднять.

Пусть так и останутся. Когда я умру, наверно, никто уже к ним не прикоснется.

III

Столько дней, столько нескончаемо долгих дней и ночей...

Мне кажется, что я утратил счет времени. Так тяжело считать дни, похожие друг на друга, как две капли воды, дни, за которыми не поспевают мои старые земные часы и останавливаются на ходу прежде, чем Солнце взойдет в зенит... Только сердце мое отмечает биением каждую частицу суток, и когда я спрашиваю его, который час, оно неизменно отвечает, что это час неутолимой тоски, а ежели я спрошу, сколько таких часов протекло, оно отвечает лишь: «Слишком много. Слишком много!»

Так оно и есть, о безутешное, одинокое сердце мое! Слишком много этих часов, слишком много тоски — и жизни уже слишком много...

Волосы мои поседелли много лет назад... Сколько лет? Почему я знаю! Там, на Земле, наверно, прошел не один десяток лет с того дня, как я опускал трупы в первые могилы на Кладбищенском острове. Теперь этих могил прибавилось. Я вырыл могилу для Тома, для Лили и Розы, а ведь они были детьми, когда я уже клонился к старости; вокруг меня подрастают правнуки тех, кто прибыл со мной в этот мир с Земли, а я все живу.

Это так поразительно, что я уж порой не могу понять своей сущности; я сам готов допустить, что правду говорит легенда, возникшая среди лунных поколений, будто я вообще никогда не умру...

Припоминаю: на Земле, на моей любимой, утраченной навеки Земле, я читал однажды в книге какого-то ученого-естествоиспытателя, что смерть есть явление непонятное и случайное, отнюдь не вытекающее из условий жизни. Страх меня охватывает, как подумаю, что в таком случае она может забыть обо мне и не прийти.

*

Если я правильно считаю, то уже пятьдесят с лишним лет миновало с той поры, как я с умершими ныне товарищами покинул Землю.

Из тех людей, кого я знал, наверно, мало кто жив; те, кто в детстве слышал о безумцах, отправляющихся на Луну, теперь поседелли и, может, забыли имена этих путешественников, которых там считают погибшими...

Пятьдесят лет! Сколько перемен, наверно, было за это время на Земле. Может, я не узнал бы теперь знакомых некогда мест. И память моя слабеет... Пока она еще хранит множество деталей, которые я с нежной любовью перебираю в часы долгих размышлений, но я вижу, что с каждым днем они становятся все более разрозненными образами, мозаикой из драгоценных, тоской моей отшлифованных камней, которая уже разламывается и распадается.

Я все заново и заново укладываю эту мозаику в своих мыслях; взамен камешков, которые я порастерял за долгие годы, подставляю какие-то смутные домыслы и снова сменяю картины, развлекаясь под старость этими сокровищами воспоминаний, как ребенок калейдоскопом.

И так они искрятся и переливаются, эти воспоминания, когда смотришь на них сквозь слезы!

Хоть один бы день, один час — там, на Земле! Хоть раз еще повидать бы людей, настоящих, на меня похожих лю-

дей! Услышать бы, как шумят сосны, дубы, липы, увидеть распушенные по ветру косы березовой рощи и траву на лугах, вдохнуть запах земных трав и цветов, услышать пение птиц, поглядеть, как на полях весной зеленеют озимые, а летом колышутся золотистые колосья!

Многое, наверно, изменилось на Земле, но люди по-прежнему там есть, и птицы есть, и зелень!

Временами мне вспоминается прекрасное поверье, что душа человека, освободившись от тела, может вольно странствовать по иным мирам, по звездам и планетам. Некогда, мальчонкой, находясь еще на Земле, я мечтал, услышав об этом, о странствиях по звездным просторам, — а сейчас я только и хотел бы жить на Земле, всегда, вечно на Земле! И если иной раз станет мне страшно, что Земля теперь уж не та, какой я знал ее пятьдесят лет назад, я напоминаю себе, что есть ведь люди, есть леса и поют в них птицы, есть луга и цветут на них цветы... Этого хватит душе моей, если ей позволено будет уйти туда...

Как давно уж я не слышал пения птиц!

А я помню, еще помню рассветы, насквозь пронизанные пением птиц... Серый свет разливается над миром, небо бледнеет, потом слегка розовеет на востоке; тишина царит безграничная, слышен только шелест крупных жемчужин росы, спадающих с листьев деревьев. Потом вдруг раздается первое, короткое, отрывистое чириканье, за ним еще, в другой стороне, и третье, и четвертое... Еще мгновение тишины, а потом, словно все деревья, все кусты сразу ожили, вокруг подымается щебет, шелканье, посвист, трели, гомон; сначала еще можно различить отдельные голоса: вот здесь дрозд отозвался, там, из лесу, слышен крик сойки, поближе где-то воробьи, трясогузки, синички, а сверху жаворонок, — а потом уже слышится единый, огромный, радостный, звонкий хор, и воздух трепещет от него, и листья, кажется, трепещут, и цветы, и травы. В мире тем временем становится все светлей, небо розовеет все ярче и наконец Солнце выплывает на небосвод...

Здесь Солнце восходит лениво и безмолвно... Так и хочется сказать — не спешит оно потому, что никто его не призывает... Многочасовой серый рассвет, при котором все вокруг по-прежнему сковано холодом и покрыто снегом, не знает веселого пения птиц. Солнце здесь, на Луне, всегда восходит над мертвым миром и в бездонной тиши. Прокричит лишь человек, пришелец с далекой планеты, тихонько заплачет проснувшийся ребенок или одичавший пес, коче-

нея от холода, заскулит в яме, из которой он с вечера выгнал какого-нибудь лунного уродца...

И весь нескончаемо долгий день царит тишина, разве что ветер сорвется, разбудит море и засвищет средь скал, или проревет широкая глотка вулкана, вторя грохочущим громам...

*

Как живо встало у меня в памяти все, что я пережил! Перелистываю пожелтевшие страницы, и, чуть прикрою глаза, кажется мне, что я слышу громыханье машины, несущей нас сквозь ужасные лунные пустыни, что вновь вижу черное небо и сияющую Землю на нем, и гигантские горы, угольно-черные в тени и отливающие всеми цветами радуги в сверкании чудовищного Солнца без лучей, которое движется меж разноцветных звезд к Земле, изгибающейся все более узким серпом. А потом вспоминаются мне первые годы, прожитые уже здесь, на берегу моря. Сквозь сомкнутые веки я вижу бледную и печальную Марту, и Педро, и тех прелестных детей, которых уже нет в живых. Только Ада еще жива, но мне кажется, что она не помнит родителей, хотя и рассказывает новому поколению многое из того, что слышала о них от меня, со всякими фантастическими добавками. Она была такая еще маленькая, когда они умерли. Теперь она самая старшая после меня на всей планете, и эти карлики чтят ее почти так же, как меня, с той лишь разницей, что меня они вдобавок боятся, — уж не знаю почему: видит бог, я никогда ничего плохого им не сделал.

Но, правда, я не умею обращаться с ними, как с равными себе людьми. Иногда они скорее кажутся мне удивительно смысленными зверьками. Уже первое родившееся здесь поколение отличалось от нас, прибывших с Земли; Том и его сестры, даже когда выросли, рядом со мной казались детьми. И рост их, и силы уже приспособились к условиям здешнего мира — к меньшей его массе и к уменьшенному весу предметов. А по сравнению с тем племенем, что сейчас окружает меня, я подлинный великан. Внуки Марты, уже взрослые люди (удивительно они здесь быстро созревают!), едва достают мне головой до пояса и сгибаются под тяжестью предметов, которые я абсолютно легко подбрасываю одной рукой. При таком хрупком телосложении они, однако же, вполне здоровы и необычайно хорошо переносят и зной, и морозы.

Правда, долгими ночами они по большей части спят, но

в случае необходимости могут в самый лютый мороз работать с таким азартом, что диву даешься.

Но дух у них поразительно захирел. Куда девались даже те крохи культуры, которые мы привезли с собой с Земли! Я гляжу вокруг, и мне кажется, что я попал к существам, которые лишь наполовину люди... Они умеют читать и писать, умеют выплавлять металл из руды, ставить капканы и ткать одежду, пользуются огнем, даже знают, как употреблять разные измерительные приборы, говорят со мной на довольно чистом польском языке и неплохо понимают содержание книг, написанных по-французски и по-английски, но меж собой они беседуют на странном убогом жаргоне, который состоит из искаженных польских, английских, малабарских и португальских слов, а мысли плывут лениво и тяжело в их тесных черепах; кажется, что с величайшим трудом они складывают их в слова, помогая себе при этом мимикой и жестами, как дикари где-нибудь в глубинах Африки или на южной оконечности американского материка.

И такая безмерная печаль овладевает мною, когда я смотрю на это третье поколение людей, прибывших сюда с Земли! Печаль моя тем сильнее, что я, сознавая собственное превосходство, не могу избавиться от презрения к этим жалким полудикарям и в то же время чувствую себя соучастником преступления. Ибо воистину мы преступно надругались над родом человеческим, перенесли его сюда в своем лице и позволив ему плодиться на этой, не для него предназначенной планете... Природа одинаково неумолима, и когда она триумфально шествует вперед, и когда, осуществляя свое издавна любимое дело эволюции, создает все новые и все более высокоразвитые формы, и когда, оскорбленная, отступает, уничтожая то, что создала. Тщетно я боролся с ней, пытаюсь сохранить в лунном поколении человеческий дух на той же высоте, на какую он вознесся на Земле. Единственный и неожиданный результат моих усилий — то смешанное со страхом уважение, которое они питают ко мне. Я для них не только великан, но и таинственное существо, которое знает то, чего они не знают, и понимает то, что они неспособны понять...

А к тому же Ада все твердит им, что на севере есть край, где Солнце никогда не заходит, а еще дальше есть ужасная, бескрайняя, смертоносная пустыня, а над пустыней сияет огромная золотистая звезда, и что я с той звезды прилетел на Луну. Разве этого недостаточно, чтобы заморочить жалкие мозги этим карликам? Они не были там

никогда и не видели сверкающей Земли, но Ада была со мной в Полярной Стране и рассказывает им теперь чудеса, а они слушают ее, затаив дыхание, и боязливо поглядывают на меня, седого гиганта...

И до того я одинок среди них!

*

Ночь. Не умею я, к сожалению, спать по триста часов кряду, как эти лунные людишки, а потому сижу вот и думаю.

Я живу в старом доме, который некогда построил с Мартой и Педро. Днем спуют вокруг пруда карлики и поглядывают на меня с любопытством, хотя знают меня сызмальства, но ни один из них не отваживается войти сюда. Одна лишь Ада приходит ко мне в некие строго установленные часы, приносит пищу, прибирает, а если застанет меня дома, то задаст мне два-три привычных, обыденных вопроса, потом часок-другой молча посидит на пороге и уходит, вновь оставляя меня одного.

Мне кажется, что она понимает эти посещения как своего рода долг по отношению ко мне и как бы совершает при этом обряд почитания, подобающего Старому Человеку.

Странное помешательство у этой женщины. С виду совершенно спокойная и рассудительная, она одержима маниакальной идеей, неведомо откуда взявшейся в ее сознании. Ей кажется, что я сверхъестественное существо, властвующее над лунным миром, а она — моя жрица и пророчица этого народа, который неколебимо верит в нее.

Какой-то миф, какая-то новая, фантастическая религия возникла в ее бедной голове, религия, соединившая в себе обрывки Священного писания и моих рассказов о Земле и о нашем прибытии сюда. Ада проповедует эту религию детям Тома, которые верят ей больше, чем мне.

Вначале я старался всячески противодействовать распространению этого мифа, в котором столь существенное место занимала моя персона, но в конце концов убедился, что тут я совершенно бессилен. Я долго втолковывал Аде, что ведь я — и ее родители, которых она должна еще помнить, — такой же человек, как лунные люди, а если я больше и сильнее их, то лишь потому, что родился на иной, большей планете, на Земле. Она слушала меня внимательно и молча, а когда я наконец потерял терпение, прошептала, глядя на меня с хитровой улыбкой:

— А как ты сумел, Старый Человек, попасть сюда с

Земли и перенести моих родителей, если никто другой не смог этого сделать? Откуда ты знаешь все, что никто другой не знает? А главное — почему ты не умираешь, как все другие?

Я выбрал ее и запретил раз и навсегда рассказывать сказки обо мне, но не очень-то это помогло. Несколько часов спустя я услышал, что она говорит Яну, теперешнему лунному патриарху, который пришел ко мне по какому-то делу:

— Старый Человек сердится, Старый Человек не хочет, чтоб было известно, что он... Старый Человек.

Ян ужасно огорчился.

— Это плохо, это очень плохо, а я как раз хотел просить его, чтобы он перенес к моему дому камень, который мы с сыновьями не можем поднять...

— Надо его умолить, — сказала Ада, — только вы принесите побольше улиток, салата и янтаря, и я ему все это отдам. А главное, — тут она приложила палец к губам, — не говорите ничего при нем! Тсс! Потому что он этого не хочет.

Выйдя из-за угла, откуда я слушал весь этот разговор, я вновь отчитал Аду и направился к дому Яна, чтобы сделать то, чего он хотел. Уходя, я еще расслышал, как Ада шепнула приунывшему патриарху:

— Вот видишь! Он все знает и все слышит!

С чего началось у этой женщины такое помешательство — не знаю, но, бесспорно, оно составляет смысл ее жизни и на нем зиждется колоссальный авторитет, которым она пользуется у лунных людей. Еще при жизни первого лунного поколения Лили и Роза боялись ее, и даже Том, который не всегда был склонен уступать мне, дрожал перед Адой. Сейчас его дети нипочем не посмели бы послушаться ее приказов.

Меня возмущает эта бестолковщина, которую Ада вбивает в бедные мозги внуков Марты, однако я испытываю к ней великую жалость... Тем более что в этом ее тихом безумии я наблюдаю светлые полосы, проблески сознания, во время которых она, надо полагать, отдает себе отчет, что живет иллюзиями, и, наверное, страдает.

Помню один такой случай.

Было уже полночь, когда Ада пришла ко мне. Меня удивило посещение в такое необычное время, тем более что мороз тут не шутит и выходить из дому ночью — дело и неприятное, и страшное.

Она застала меня склоненным над какой-то книгой и, не желая мешать, тихо уселась в углу на скамейке.

Я видел, что ей хочется говорить со мной, но умышленно не обращал на нее внимания. Ада сидела некоторое время молча, но наконец, видя, что я ее будто не замечаю, подошла ко мне и легко, легонько прикоснулась рукой к моему плечу:

— Господин!

Я стремительно повернулся. Так она никогда не обращалась ко мне. Из ее уст я слышал всегда лишь «Старый Человек». И странно! Услышав сейчас это обращение «Господин», я испытал необычайное чувство: в нем был и оттенок радости, что ко мне обращаются по-человечески, а вместе с тем словно бы и возмущение, что смеют так обращаться.

— Господин... — повторила Ада.

— Чего ты хочешь, дитя? — спросил я как можно более ласково. Мне пришлось дважды повторить вопрос, прежде чем она наконец ответила:

— Я хотела спросить... хотела бы узнать...

— Что?

— Господин! Я ничего не знаю! — вдруг воскликнула она с таким трагизмом в голосе и с таким отчаянием в устремленном на меня взоре, что, глянув на нее, я сдержал язвительное замечание: мол, тогда не стоило бы ей так много разглагольствовать перед лунными людьми.

А она между тем продолжала:

— Я совсем ничего не знаю... И я хотела просить тебя, чтобы ты сказал мне наконец, что это все значит, кто ты на самом деле и кто мы? Я вижу, что ты одинокий и старый, сильный и большой, но мне кажется, что я еще помню моих родителей, которые тоже были не такие, как мы сейчас, а похожие на тебя...

Она замолчала, а потом снова повторила, глядя мне в глаза:

— Скажи, кто ты и кто такие мы?

А со мной происходило странное. Правда, мне казалось, что на этот ее вопрос я отвечал уже давно и неоднократно, однако на меня вдруг нахлынуло желание говорить, говорить по-человечески с этой женщиной, которая наконец по-человечески обратилась ко мне. Я был растроган, я ощущал, как смягчается мое сердце и слезы просятся на глаза, и я не мог произнести ни слова.

Через некоторое время я лишь повторил, как эхо:

— Кто я!..

Мне казалось, что я уж и сам этого толком не знаю...

Ада снова заговорила:

— Да, кто ты, господин? Мы все называем тебя Старым Человеком, но я сегодня думала... и вот пришла спросить тебя... скажи мне правду: ты действительно Старый Человек?

Это здешнее мое прозвище, которое сама же она и распространила, Ада произнесла теперь с суеверным страхом, всякий раз запинаясь и понижая голос.

— Я хочу знать, — продолжала она, — действительно ли ты пришел сюда с той Земли, которую я видела, и можешь сделать все, что захочешь, и в самом ли деле ты никогда не умрешь, и если ты оставишь нас и вернешься на Землю, то действительно ли мы будем обречены на погибель, как думаем мы?

Она сказала все это почти одним духом и вперила в меня сверкающий тревожный взор.

Но что же я должен был ответить? Мгновение назад я еще хотел пооткровенничать с ней, повторить задушевно все, что я столько раз уже рассказывал — о Земле, о нашем прибытии сюда, об умерших друзьях моих, — но, слушая ее речи, внезапно понял, что все это тщетно, ибо она хочет утвердиться в убеждении, что я — Старый Человек, то есть, по их понятиям, некое сверхъестественное существо.

Снова обуяла меня скорбь, и я долго не мог найти слов...

— Зачем ты спрашиваешь? — проговорил я наконец. — Ведь я уже не раз тебе объяснял.

— Да... но я хотела бы, чтобы ты сказал мне правду!

Мне вспомнилось, как много-много лет назад вот так же обратился ко мне маленький Том, когда я ему показывал Землю и говорил, что прибыл оттуда: «Дядя, а теперь скажи мне правду!»

— Скажи мне, — настаивала Ада, — скажи, правда ли, что ты вместе с моими родителями прибыл с той громадной звезды, которую ты зовешь Землей?

Она схватила мою руку и уставилась на меня горящими глазами. Никогда еще я не видел ее такой.

— Скажи мне! — восклицала она. — Ведь я повторяю это всем людям, и они верят в тебя!

Последние слова у нее будто из самого сердца вырвались. Это просто перепугало меня. Я никогда не думал, что в душе этой скрытной, полоумной, уже увядающей девушки может происходить такая борьба, могут бушевать такие чувства. «Они верят в тебя!» — вот в чем заключалась

сейчас вся удивительная трагедия ее жизни. Ада создала для лунного народа новую идолопоклонническую и фантастическую религию и теперь, когда у нее внезапно возникло сомнение в том, что она сама же проповедовала, она пришла ко мне, чтобы из уст моих услышать подтверждение, — ибо люди верят в меня! В этом возгласе звучала словно и жалоба, что люди эти так несчастны и ничтожны по сравнению со мной, и в то же время мольба — не лишать их этой веры.

Я долго смотрел на нее, и, кажется, слезы стояли в моих глазах.

— Ада, ты согласишься тому, что я тебе сейчас скажу?

— Поверю, поверю!

Я с минуту поколебался: а может, отречься от своего земного происхождения? Если б они думали, что я родился на Луне, как они сами, то, может, перестали бы считать меня высшим существом? Но отречение от Земли вдруг показалось мне чем-то таким чудовищным, что при одной этой мысли пот проступил у меня на лбу. Я все же решил толковать Аде, что я действительно человек старый, но отнюдь не Старый Человек в их понимании, и что они должны это понять, хоть и будет им мучительно трудно расставаться с укоренившимся суеверием.

— Я действительно прибыл сюда с Земли... — начал я. Но Ада уже не дала мне закончить.

— Так это правда? — вскричала она. — Правда?

Я молча кивнул. В тот же миг Ада припала к моим ногам.

— О, благодарю тебя, Старый Человек, и прошу — прости меня, что я осмелилась... Теперь я знаю, ты воистину Старый Человек!

Я взглянул на нее с изумлением. В глазах Ады, мгновение назад еще разумных и трезвых, вновь пылал тот таинственный огонь, который сжигает ее, руки ее дрожали, а лицо зарделось лихорадочным румянцем.

— Благодарю тебя, Старый Человек, — твердила она. — Я пойду и возведу народу.

Не успел я опомниться от изумления, в которое привели меня эти неожиданные слова, как Ада уже не было рядом. Она ускользнула столь поспешно, что я не успел ни остановить, ни окликнуть ее.

Ада безумна, но странно мне, что потомки Тома так безоговорочно верят ее словам, странно, что все эти сказки нашли в их умах столь благодатную почву.

Нередко задумываюсь я над тем, как это все произошло.

Может, и сам я в этом частично повинен: слишком сторони́лся нового лунного племени, а заметив, что они создают вокруг меня легендарный ореол, счел это поначалу ребячеством и не попытался подавить в зародыше. Когда же, наконец, придя в ужас, я начал бороться против этой легенды, было уже слишком поздно.

Еще при жизни Тома я заметил, что среди его детей начинают ходить обо мне всякие фантастические слухи. Из случайно услышанных фраз я понял, что мои познания и необычайную — по сравнению с ними — силу они считают каким-то сверхъестественным явлением. В их глазах я был по меньшей мере могучим чародеем. Том, правда, не распространял таких слухов, но, насколько мне известно, и не опровергал их. Меня это поначалу только смешило.

Но после смерти Тома дела приняли гораздо худший оборот. Мне кажется, что сейчас я для этого народца нечто куда большее, чем чародей. Они полагают, что я все знаю и все могу, а если не всегда делаю то, о чем они просят, так потому лишь, что не хочу. Ведь просили же они меня, чтобы я отвел идущие с юга ураганы, и говорили, что Аде это, к сожалению, не удастся, хоть она действует от моего имени. И она послала их ко мне — ибо я все могу!

А еще как-то раз Ян допытывался у меня под большим секретом, когда я намереваюсь покинуть их и вернуться на Землю. Ада пророчит им, что это, несомненно, произойдет, а они страшатся моего ухода!

Я, конечно, смотрю с глубокой и мучительной скорбью на то, что творится в умах у этого поколения. Ничем я тут не могу помочь, а может, просто не хочется мне уже бороться против наивного невежества... Все меня мучает, все меня угнетает. Радуюсь, когда могу хоть на минуту забыть, где я и что вокруг происходит, и, закрыв глаза, наяву видеть сны о Земле.

Там люди, настоящие люди, такие леса, такие птицы, такие ароматные цветы на лугах!..

Да, там...

И только все больше хочется мне навсегда уйти отсюда! Если бы я мог, как они уверовали, вернуться на Землю! Я помешан на этих мыслях о Земле. Чем ни займусь, а мысли эти снова и снова приходят на ум и по ночам не дают мне покоя. Стоит только уснуть, как всплывают перед глазами всякие фантастические картины, но все они — лишь вариации одного мотива: Земля! Земля! Земля!

Давным-давно, когда я еще жил там, слово «Земля» означало для меня разные континенты, разные страны,

государства, народы — сейчас все это слилось в единую мысль, в единую любовь и тоску. Я не могу уже различить на таком расстоянии во времени и в пространстве ни государств, ни народов, отличающихся по языку и по религии, и даже человечество сливается в душе моей в нераздельное единство с животными, растениями и всей громадой планеты, и так это все сияет и сверкает в моих мыслях, как там, в черном небе над пустынями.

Земля! Земля!

*

Вспомнился мне сегодня Том — в те счастливые времена, когда он, еще ребенок, был моим постоянным спутником и другом. Я долго думал о нем — и сейчас, в тихой и морозной ночи, мелькают пред моим взором отшельника красочные картины его детских лет...

Как-никак, это был единственный человек из лунного племени, которого я действительно любил. И так необычайно занимало меня все, что касалось его.

Он развивался поразительно быстро — по-видимому, под влиянием особых условий здешнего мира. В четырнадцать лет он был уже взрослым, зрелым мужчиной. Подрастали и две старшие девочки. Я смотрел на них, как на расцветающие цветы, которые еще не сознают своего очарования, но уже благоухают и, может быть, инстинктивно предчувствуют, что они привлекательны и что свершается в них некое таинство, растет непостижимая сила, делающая их драгоценными, желанными и священными.

Их отношение к Тому заметно переменилось. Раньше это были две служанки, два маленьких мотылька, которые непрерывно вьются вокруг своего светловолосого повелителя и только ищут возможности понравиться ему или в чем-нибудь пригодиться. Том сознавал свое огромное превосходство над сестрами и считал его вполне естественным. Он даже пренебрежительно относился к девочкам.

Если изредка, в приливе нежности, он гладил одну из сестер по пышным, мягким волосам или даже целовал, то делал это всегда с видом доброго властелина, который желает вознаградить преданность своих слуг, но печется о том, чтобы их не разбаловать слишком частыми проявлениями своей монаршей милости. Это его отношение к девочкам всегда огорчало меня, и я не раз выговаривал Тому, видя, как он беспощадно командует сестрами, а взамен только и позволяет — любить себя. Я не предвидел, что все это

совершенно изменится — по крайней мере на некоторое время.

В ту пору, о которой идет речь, девочки стали сдержанней проявлять любовь к брату и даже, как мне показалось, начали его избегать. Иногда лишь украдкой они бросали вслед ему пугливые беглые взгляды и краснели всякий раз, как он к ним подходил. Чем больше они отдалялись от Тома, тем нежнее и ласковее становились друг с другом.

Перемена эта совершилась быстро и как-то так неприметно, что, обнаружив ее, я уже не смог уяснить, когда все это случилось. Я одно лишь понимал, глядя на этих троих детей, если судить по-земному, что у меня на глазах произошел полнейший переворот, совершенный природой, которая стремится творить, — даже если впоследствии она выместит свой гнев на орудиях и созданиях великой своей воли.

Это уже не были брат и сестры; это были две женщины и мужчина...

Сами они, ясное дело, не понимали этого. Том старался обращаться с сестрами по-прежнему, но это ему давалось с трудом. В их обществе он терял уверенность в себе, конфузился. Видно было, что теперь эти смиренные хрупкие девочки в чем-то имели перевес над ним, будущим владыкой лунного мира. Он теперь не командовал ими, а скорее им прислуживал. Приносил им пищу, заботился об их одежде, об удобствах и развлечениях, собирал для них красивые пестрые раковинки и кусочки янтаря, которые они вплетали в косы, или катал их в хорошую погоду на лодке. В этих прогулках обычно участвовал и я. Странное дело! Девочки, выросшие вместе с Томом и проводившие с ним ранее все дни напролет, теперь не хотели оставаться с ним наедине. Порой я, как более сильный и опытный, предлагал сменить Тома на веслах, но Том не соглашался. Я заметил, что он не столько меня оберегает, сколько хочет щегольнуть перед девочками своей силой и ловкостью.

Извечная комедия разыгрывалась у меня на глазах, но я с радостью наблюдал ее. Мне казалось, что передо мной трое птенцов, моя ладонь лежит на их бьющихся сердцах, и я знаю, как бьются сердца, и понимаю даже то, чего они сами еще не понимают. Со времени смерти Марты это была едва ли не единственная пора в моей жизни, когда я чувствовал себя почти счастливым... Чем-то свежим, весенним веяло на меня от этих детей, в которых совершалось великое таинство жизни и любви...

Сегодня и это — уже воспоминания далекого прошлого!

Я с умилением вызываю их в памяти — ведь так мало знал я на этой планете дней, о которых мог бы вспоминать с удовольствием и без душевной боли.

Но — снова эта ужасная ирония жизни! Любовь Тома к Лили и Розе — он любил их обеих, — любовь, от одного вида которой блаженно таяло мое сердце, породила то карликовое поколение, что теперь понемногу заселяет окрестности Теплых Прудов.

Каждый раз, как мне приходит это на ум, я содрогаюсь, будто вдруг обнаружил в корзине роз отвратительно извивающихся червей.

Впрочем, я, может быть, несправедлив к этим карликам. Ведь они прежде всего несчастны, так несчастны, что когда я на них смотрю, моя человеческая гордость прямо корчится от боли.

Том несравненно превосходил их. Я помню его невысокую, но полную достоинства фигуру... Энергичен он был и умен, в глазах у него еще светилось то, что мне трудно разглядеть во взгляде его потомков: душа.

Слишком все это мучительно для меня — прямо-таки трудно писать об этом спокойно!

«Почему все так сложилось?» — смешной вопрос, на который не сыщешь ответа. Да потому же, почему мы прилетели сюда, почему Томас умер и оставил Марту между нами двумя, почему я отказался от нее, хотя был ближе ее сердцу, почему она умерла и почему я живу — то есть все по той же роковой и беспощадной необходимости, которая зажигает и гасит звезды, а о счастье и стремлениях человека заботится не больше, чем ветер об уносимой им песчинке.

*

Я снова перечитываю то, что записал на этих листках последней ночью, и невольно спрашиваю себя: зачем и для кого я это пишу?

Некогда, отмечая события, происходившие за время нашего путешествия через мертвую пустыню, и позже, описывая первые годы нашей жизни на Луне, я думал, что оставлю этот дневник лунным людям, чтобы будущие поколения знали, как попали мы сюда, что пришлось нам страдать и преодолеть, прежде чем мы нашли мало-мальски подходящие для жизни условия. Но теперь... Ведь это же смешно — так думать! Лунные люди, такие, как они есть, никогда этого не прочтут. И я даже не хочу, чтобы они читали. Что им до того? Что им до моих переживаний,

чувств, страданий? Разве они смогут понять? Разве они увидят в этих листках нечто большее, чем фантастический и не очень внятный рассказ? А если б и смогли понять, то зачем им знать, что они — выродившиеся остатки великого племени, дух которого подчинил себе далекую и прекрасную звезду? С того дня, как они узнали бы об этом, им осталось бы только страдать от тоски, стыда и боли, как страдаю я, глядя на них.

Так пусть уж здешнее человечество постепенно забывает, чем оно было некогда на другой планете, и пусть не навешает его «метафизическая грусть».

Я этот дневник пишу теперь для самого себя. Если б я мог мечтать о том, чтобы каким-нибудь чудесным образом переправить его на Землю, я писал бы его как послание к братьям моим по духу, которые остались на Земле, приветствовал бы и благословлял на каждой странице земные широкие просторы, злаки, цветы и плоды, леса и сады, птиц и людей — все, все, что сегодня, в воспоминаниях, так невыразимо дорого мне!

Но я знаю, к сожалению, что никогда этого не будет, что я не могу ни единого слова послать на Землю и устремляюсь к ней лишь мыслью да взглядом, когда порой одолевает меня тоска и я отправляюсь на рубеж Полярной Страны, чтобы увидеть отчизну, сияющую над пустынями. Итак, я пишу для себя. Болтаю сам с собой, как все старики. А если иногда мне удастся на краткий миг обмануть себя, будто я пишу для людей, живущих на Земле, то сердце начинает живее биться в груди и кровь стучит в виски, ибо кажется мне тогда, что я протягиваю какую-то нить между собой и родной моей планетой, удаленной на сотни тысяч километров...

Я бы тогда охотно описывал мельчайшие подробности здешней своей жизни, исповедовался бы в своих мыслях, жаловался на страдания и перечислял редкие, мимолетные радости.

Только... радостей этих было так мало!

*

Итак, я писал о весне, о единственной весне, которую пережил на этой печальной планете, глядя на пробуждающуюся любовь Тома и девушек.

Возможно, следовало мне тогда остаться с ними... но мне казалось, что если я удалюсь от них на некоторое время, распорядившись, чтобы в мое отсутствие ничего важного не

предпринимали, то продлю эту свежесть, весну эту, а вернусь в летнюю пору, чтобы вязать зрелые снопы.

Безумец я старый! Ведь падающий камень не удержишь тем, что отвернешься от него! Жизнь пошла своим обычным путем.

Когда я вернулся к морю через несколько лунных дней, прожитых в Полярной Стране, Том приветствовал меня с необычайной серьезностью и повел к старому дому, где мы жили все вместе.

— Вот твой дом, — сказал он, — такой, каким ты его оставил. Мы ничего не трогали. Только Ада жила здесь без тебя, да два твоих старых пса, которых ты не взял с собой.

— А ты? — спросил я. — А старшие сестры? Где же вы были?

Том оглянулся. Я последовал за его взглядом и лишь теперь заметил, что неподалеку, среди зарослей на берегу теплого бассейна, расположенного повыше, стоит почти уже достроенный новый дом.

— Я построил себе другой дом, — сказал Том.

— Зачем? — невольно удивился я.

Том слегка замаялся, затем показал на Лили и Розу, как раз приближавшихся к нам, и произнес, глядя мне прямо в глаза:

— Это мои жены!

— Которая? — спросил я почти безотчетно.

Наступило молчание. Том поник головой, а девушки встревоженно глядели на нас.

— Которая из них? — повторил я уже сознательно.

— Я их обеих люблю, — ответил Том, — и обе они мои!

Сказав это, он взял девушек за руки и подвел ко мне.

— Благослови нас, Старый Человек!

Вот тогда он впервые и назвал меня этим именем, которое теперь ко мне приросло навсегда, как видно.

С той поры в жизни нашей наступили перемены, с виду незначительные, но весьма существенные. В маленьком нашем обществе произошел раскол. Том с женами составлял отдельную, замкнутую в себе семью, узы которой все укреплялись по мере того, как на свет появлялись дети. Я и Ада остались в стороне. Я чувствовал, что с каждым днем становлюсь все менее нужным этому миру, и с каждым днем нарастала во мне тоска по моему родному миру, такому далекому и иному, а жизнь тем временем развивалась вокруг меня стремительно и неудержимо.

Я неохотно думаю о дальнейшей совместной жизни Тома

с сестрами. Он не был добр к ним, хоть они неизменно любили его до последнего вздоха. Слишком многого он от них требовал и слишком был деспотичен. Даже я потерял прежнее влияние на него. Эти неприятные взаимоотношения отчасти были причиной того, что я вторично отправился в Полярную Страну, взяв с собой Аду.

А потом, по вторичном моем возвращении, начался уже, видимо, последний акт моей лунной трагедии — длится он по сей день. Страшная смерть Розы, помешательство Ады, затем кончина Тома и Лили, и эта безутешная моя тоска по Земле, и это ужасное одиночество, углубляющееся для меня день за днем, хотя здесь, на Луне, чуть ли не с каждым днем становится все многолюдней.

Том от двух своих жен имел многочисленное потомство: шестерых сыновей и семерых дочерей, из которых, впрочем, самая младшая умерла через несколько лунных дней после рождения. Еще при жизни родителей Ян, старший сын Розы, достигнув примерно пятнадцати лет, женился на дочери Лили, а потом, постепенно подрастая, все разбивались на пары. Теперь, после смерти Тома, Розы и Лили, живут на Луне, кроме меня и Ады, двенадцать детей Тома, двадцать шесть его внучат и двое правнуков, от старшего сына Яна, женатого уже два года. Итого сорок два человека, которые обживают эту планету, расселяясь все дальше к западу вдоль морского побережья. Вместе с ними продвигается «цивилизация». Сооружаются дома, кузницы, псарни...

Я остался в прежнем домике на Теплых Прудах и тут останусь, видимо, уже до самой смерти — лишь бы поскорей она пришла. Все равно я уже изгой в этом странном мире, где люди, пересаженные сюда с Земли, так рано созревают и умирают так рано...

IV

Кажется мне, я был бы счастлив, если б мог подать хоть какой-то знак людям Земли, что живу здесь и думаю о них. Это так немного, но так хотелось бы мне это сделать! Ведь страшно становится, как подумаешь, сколько сотен тысяч километров, какая непреодолимая межпланетная бездна отделяет меня от той громады из камня и глины, на которой я родился. Сколь же счастливей эти карлики, которые думают лишь о том, чтобы улов на море был обильным, чтобы хорошо уродился салат и чтобы одичавшие собаки не загрызли яйценосных ящериц в загонах...

Сегодня я провел несколько часов на Кладбищенском острове. Прежде, много лет назад, я любил подолгу сидеть там и думать о прошлой жизни ныне оцепеневшего лунного мира; теперь я снова стал часто туда наведываться, но, сидя на изрытом могилами зеленом холме над морем, я думаю лишь о Марте, Педро, о Томе и о себе; может, вскоре и я — наконец! наконец! — успокоюсь рядом с ними.

Когда я там сегодня сидел вот так и смотрел на спокойную морскую гладь, нашла на меня вдруг такая безмерная скорбь, такая неутешная печаль, что я расплакался, как ребенок, и, простирая руки к могилам друзей, молил их, чтобы они вышли, поговорили со мной или взяли меня к себе.

Чувствую, что дальше жить невозможно. И что меня, собственно, держит в этом мире? Страдания, скорбь, тоска, жесточайшее одиночество — все это я уже пережил, и давно никому я не нужен; пора уходить.

Да, так и есть — пора уходить. Хочу только еще раз увидеть Землю, посмотреть на этот светлый шар, висящий в лазури, на щиты материков, медленно движущиеся по его поверхности, и на проплывающие над ними белые пятна облаков, хочу еще раз напрячь зрение: может, распознаю ту страну, где я родился... а потом...

Когда я греб обратно к побережью, замысел мой созрел. Поеду в Полярную Страну, чтобы хоть посмотреть на Землю.

С таким решением приближался я к дому, мысленно планируя всю эту поездку и обдумывая, что нужно будет сделать для подготовки к ней.

На пороге летнего домика я увидел Аду. Она пришла в обычный час и, не застав меня, терпеливо дожидалась, когда я вернусь. Сердце мое было так переполнено надеждой снова увидеть Землю хоть издалека, что я не мог сдержаться и поделился своими замыслами с Адой.

— Слушай! — воскликнул я, когда она приветствовала меня. — Скоро уже я уйду от вас!

Она посмотрела на меня с той таинственной, маниакальной почтительностью, которую всегда проявляет в обращении со мной, и после паузы ответила:

— Я знаю, Старый Человек, что ты уйдешь, когда захочешь... но...

Никогда еще, пожалуй, не была мне до такой степени неприятна эта странная манера обращаться со мной —

впрочем, мне уже следовало бы к ней привыкнуть. В первый миг сердце мое сжалось от ощущения невыразимого одиночества, мучительной горечи, а потом вдруг злость меня разобрала.

— Хватит с меня этих комедий! — закричал я, топнув ногой. — Я уйду, когда мне захочется и куда мне понравится, но ничего в этом нет ни таинственного, ни необыкновенного! Иди к Яну и скажи ему, что мне завтра утром понадобятся ездовые собаки — я отправляюсь в Полярную Страну.

Ада не ответила ни слова и пошла выполнять мой приказ.

Часа через два я заметил, что перед домом собрался народ. Ян с братьями и дети их — словом, все, не исключая и женщин, стояли с непокрытыми головами и молча, боязливо поглядывали на дверь. От них отделилась Ада и стала на пороге. Она была в торжественном одеянии: на голове сверкал венец, ожерелья из громадных кроваво-красных янтарей и голубоватых жемчужин свисали с ее шеи до самого пояса. В руке она держала посох, сделанный из позвонков пса, отшлифованных и плотно нанизанных на длинный медный прут.

— Старый Человек! Мы хотим говорить с тобой!

Меня охватила невыразимая ярость. В первое мгновение хотел я снять со стены ременную плетку и разогнать этот сброд, который явился ко мне с такой нелепой торжественностью, но потом жалко мне их стало. Чем они виноваты... Я пересилил себя и вышел на порог, решив, что еще раз постараюсь образумить их.

Общий одобрительный гомон, поднявшийся после слов Ады, немедленно утих, как только я появился на пороге. В тишине слышался только плач младшего внука Яна и отчаянный приглушенный шепот матери:

— Тише, тише, а то Старый Человек рассердится...

Безграничная жалость овладела мной.

— Что надо вам от меня? — спросил я, отстраняя Аду.

Тогда Ян выдвинулся вперед. Он с минуту смотрел мне в глаза взглядом беспомощного оробевшего карлика, наконец оглянулся, словно рассчитывал набраться отваги при виде товарищей, и проговорил:

— Мы хотим просить тебя, Старый Человек, чтобы ты от нас еще не уходил.

— Да, да! Не уходи еще! — повторили за ним тридцать с лишним голосов.

Была в них такая боязнь и такая мольба, что я снова почувствовал волнение.

— А что вам до моего ухода? — спросил я скорее самого себя, чем их.

Ян немного подумал, а потом медленно заговорил, явно с трудом увязывая в фразы свои смутные, разбегающиеся мысли:

— Мы были бы одни... Пришла бы длинная ночь и мороз — о! злой мороз, он кусается, как собака, — а мы были бы одни... Потом Солнце взошло бы, а тебя бы не было, Старый Человек... Ада, — тут он оглянулся на стоящую рядом «жрицу», — Ада говорила нам, что ты знаком с Солнцем и еще с другой звездой, которая больше Солнца, она таинственная, иногда черная, а иногда светлая... Ада видела ее, когда была с тобой там, на севере... Она говорила, что ты оттуда пришел и что ты говоришь с этой звездой, когда ее увидишь, на святом языке... На том, на котором нам надлежит говорить с тобой... Мы боимся, чтобы ты не вернулся туда, на ту звезду, потому что мы остались бы одни... И мы тебя просим...

— Да, да, мы просим тебя! Останься с нами! — кричали карлики и карлицы, договаривая за Яна.

Некоторое время я стоял молча и совершенно не знал, что ответить. Мужчины и женщины теснились вокруг меня, простирали руки и молили тревожно:

— Останься с нами! Останься!

Я видел — бесполезно повторять сейчас им то, о чем я столько раз уже говорил: что я обыкновенный человек, не наделенный никакими таинственными способностями и подвластный смерти, как все они. Я не знал, что делать, и только звучало немолчно у меня в ушах, словно тягучая молитва: «Останься с нами!»

Я глянул на Аду. Она стояла неподалеку в своем жреческом одеянии и держалась с необыкновенным достоинством, но показалось мне, что она улыбнулась — не то язвительно, не то грустно.

— Зачем ты их сюда привела? — спросил я.

Она вновь улыбнулась и подняла на меня дотоле потупленный взор.

— Ведь ты слышишь, Старый Человек, чего хотят они от тебя.

Вокруг неустанно раздавалось:

— Останься с нами!

Для меня это было уже чересчур.

— Нет! Не останусь! — крикнул я непреклонно. — Не останусь, потому что...

И опять я не находил слов. Как объяснить им, что я иду посмотреть на Землю, громадную яркую звезду, по которой тоскую? Ведь это лишь укрепит их в убеждении, что я — существо сверхъестественное.

Вокруг меня все затихло. Я посмотрел на них и — кто бы мог поверить! — увидел: эти карлики плачут при мысли, что я их покину. Они не кричали уже, не молили, но в их заплаканных глазах, устремленных на меня, читалась собачья покорность, немая мольба — и она была сильнее, чем крик.

Жалко мне их стало.

— Я уйду от вас, — сказал я уже мягче, — но еще не сейчас. Можете спать спокойно!

Смутный вздох облегчения вырвался из десятков грудей.

— А когда я отправлюсь в путь, — добавил я, осененный внезапной мыслью, — в путь туда, на север, где сверкает прекраснейшая звезда, о которой вы слышали от меня и от Ады, тогда я и вас возьму с собой, чтобы вы эту звезду увидели и могли потом рассказывать о ней своим детям и внукам...

— Ты велик, Старый Человек! Велик и милостив! — хором ответили мне радостные голоса. — Только не уходи от нас на ту звезду, о которой ты говоришь!

— Если б я мог уйти! — я невольно вздохнул. — Но, к сожалению, я только человек, такой же человек, как и вы...

Карлики задвигались и оживились. Они переглядывались, и казалось мне, что на их толстых губах играет понимающая усмешка — дескать, знаем уж мы, знаем, Ада нам говорила, Старый Человек неизвестно почему не хочет, чтобы мы знали, что он... Старый Человек.

Снова охватило меня уныние, я повернулся и ушел к себе. Карлики загомонили; из окна я видел, что все столпились вокруг Ады, которая о чем-то оживленно разглагольствовала, — наверное, о моих сверхъестественных свойствах.

Сейчас уже близится закат, и лунные людишки давно ушли к своим домикам, лепящимся по каменистым берегам Теплых Прудов, которые длинной вереницей тянутся к юго-западу. Часов через пятнадцать все погрузится в долгий сон, и сниться им будет, наверное, путешествие, обещанное Старым Человеком, и Земля, громадная, изменчивая звезда, которую они знают лишь понаслышке.

Через пятнадцать часов я буду единственным бодрствующим существом на Луне. Но пока еще повсюду царит движение. Я вижу в окно, как возле дома Яна суетятся его старшие сыновья, невдалеке от них женщины подготавливают запас продовольствия, торопясь управиться до наступления ночи.

Не знаю, хорошо ли я делаю, оставаясь среди этих людей... Впрочем, что тут думать, я ведь обещал им, что еще побуду здесь.

Но утешься, старое сердце мое, уже недолго я тут останусь! Еще несколько дней, самое большее двенадцать-тринадцать долгих лунных дней, и я двинусь на север, в Полярную Страну, чтобы там и окончить жизнь, глядя на Землю.

Я знаю, эти люди, помня мое обещание, захотят пойти со мной. Что ж, возьму несколько человек, пускай увидят Землю и пускай вернутся потом к своим родичам — без меня.

Слишком уж сильно гнетет меня тоска. Я жалею, что уступил и обещал пока остаться, и временами тревожусь лишь об одном: хватит ли у меня сил, чтобы уйти отсюда в тот край, где Земля будет у меня перед глазами!

Но нет! Хватит еще моих сил, хватит! Я сам иногда дивлюсь своей неутомимости. Ведь мне уж сто лет почти, а каждый новый день вместо того, чтобы истощать мои силы и подтачивать здоровье, будто лишь закаляет меня.

И снова я невольно думаю об этом смешном, но пугающем поверье здешних людей — что я никогда не умру...

Ужасающая, чудовищная мысль! Ведь, к сожалению, лишь тело человека может свыкнуться с тем, что ему не соответствует, а душа — никогда и никак! Скорбь моя и тоска моя не только не уменьшаются с годами, а наоборот, возрастают непрерывно, сверх меры...

Гоню от себя эту мысль, а взамен того с наслаждением и умиротворением думаю о том, что через несколько лунных дней я увижу Землю. Сердце мое колотится так странно и страстно, будто я — двадцатилетний юнец и иду на свидание с пленительной, бесконечно мне дорогой девушкой, с которой я раньше отваживался говорить лишь в своих снах...

Но я знаю — моя возлюбленная останется холодной, безмолвной и далекой, и только я буду, отчаявшись, истосковавшись, простирать к ней руки, только я буду взывать

к ней через эти непреодолимые небесные бездны, а она не услышит меня, не подумает обо мне, не вспомнит...

Странно это и страшно — чтобы то, о чем тоскуешь, находилось на небе... Мне кажется, я привязан к этой далекой, невидимой отсюда родной моей звезде длинной нитью, прoderнутой сквозь сердце, и нить эта может растягиваться до бесконечности, но никогда не порвется. И я, связанный с уже недоступным мне миром, чувствую, что эта почва под моими ногами чужда мне и останется чуждой навсегда.

Страшно это — любить звезду. Ведь Земля для меня теперь — только звезда, которую я люблю превыше всего.

Если бывает так, что духи из великолепных светлых миров или с пламенных солнц падают на темные планеты, то, сохранив память, они терпят жесточайшие муки, которые и мне суждено было переносить...

Сколько раз на дню повторяю я себе, что этот лунный карликовый народец, который я презираю и жалею, который чуть ли не во прахе ползает передо мной, Старым Человеком, — что он ведь во сто крат счастливей меня.

Вот и сейчас, окончив работу, бродят эти человечки у своих домиков и улыбаются друг другу безмятежно и до-вольно. Ян, который по естественному праву старшинства считается у них главным, созывает их вечером, чтобы совместно прочесть несколько отрывков из назначенных мною книг, как я велел, раз навсегда, много лет назад. Некогда, еще при жизни Тома, когда Ян был малышом, я обычно сам председательствовал на этих вечерних собраниях, толковал им Библию или другие книги, отобранные мной для чтения, и рассказывал длинные истории о Земле и о людях, но теперь даже не показываюсь на месте, где проходят собрания, — там, под крестом, значение которого они еле понимают. Что мне с ними говорить, когда они любое мое слово по-своему, наыворот, истолковывают и к любой истине немедленно присочиняют наивные фантастические легенды?

Хотя, опять-таки повторяю, чем они виноваты! Чем виноваты, что все услышанное относят к себе, так как неспособны подняться мыслью над тем клочком сухопутья, который они заселяют? Чем они виноваты, что, слушая библейские сказания, думают о своем деде Педро, могилу которого видели на Кладбищенском острове, и обращают глаза ко мне с идолопоклонническим страхом? Что люди могут жить в другом мире, на какой-то из звезд, вроде тех, которые сверкают по ночам над ними, — это они считают чем-то

таким, во что, правда, следует верить, раз это сказал я, но что представить себе невозможно.

Я сделал все, что было в моих силах, чтобы пробудить душу в этих людях, и опустил руки лишь тогда, когда убедился в полнейшей бесплодности своих стараний; так что я не должен был бы себя попрекать, а все же чувствую лежащую на мне страшную ответственность за этот упадок племени человеческого, которое было мне доверено.

И опять — ирония жизни: они считают себя счастливыми, а я горюю над ними и бессильной тревогой о них усиливаю свою муку, свою тоску...

V

Снова годы прошли на Земле с тех пор, как я в последний раз перелистывал эти страницы. Сегодня я открываю дневник, чтобы записать дату ухода из этой страны над морем. Ухожу наконец в Полярную Страну — навсегда уже, кажется.

От И с х о д а нашего лунных дней шестьсот девяносто один.

*

Все уже готово; в старую нашу машину, вдвое уменьшенную и отремонтированную, я погрузил запас продовольствия и топлива, такой, чтобы его надолго хватило в Полярной Стране... Может, на более долгий срок, чем мне понадобится... Ведь стар я уже...

Я собирался отправиться в путь сегодня утром, но неожиданное происшествие заставляет меня отложить отъезд по крайней мере на один лунный день.

Дело обстояло так. После экспедиции на юг, за которую Том едва не поплатился жизнью, я запретил такие затеи, будучи заранее уверен, что они ничего не дадут, а путешественники подвергаются бессмысленной опасности. До сих пор мой приказ свято выполнялся, и мне думалось, что так всегда оно и будет, ибо это племя не отличается особой предприимчивостью и целиком обращено к практическим и повседневным житейским делам.

Однако я ошибся. Видно, попала сюда с Земли и тлеет в душах этих карликов скрытая искра того огня, который движет прогресс и побуждает людей открывать новые материки за океанами. Я давно уже замечал, что кое-кто из мужчин бросает жадные взгляды на юг, в морскую даль. Они меня однажды спросили, что там находится, за этим

морем. Я ответил: «Не знаю», — но они, судя по выражению их лиц, этому не поверили. Вернее, заподозрили, что я не хочу им сказать...

Последнюю ночь я провел с Яном у ближних нефтяных источников, подготавливая запасы для путешествия в Полярную Страну. Утром, вернувшись к морю, чтобы попрощаться с лунным народцем и благословить его, я узнал, что, пользуясь моим отсутствием, трое мужчин, самые сильные и самые смелые из всех, отправились на юг. Сделали сани, установили на них второй электромотор и, взяв с собой, кроме запасов продовольствия, двух собак и меховую одежду, двинулись ночью по замерзшему морю, чтобы к утру добраться до противоположного берега на южном полушарии.

Сумасшедшая затея! Я уверен, что они не придут никогда назад, но пока приходится уступить просьбам Яна и Ады. Подожду еще один день, чтобы их благословить перед уходом... если они вернутся.

Я спрашивал жену Каспара, старшего из троих искателей приключений, зачем они пошли на юг. Она ответила — хотели посмотреть, что там такое. Никаких объяснений, кроме этого, она дать не могла.

Жаль мне этих людей, ибо они, несомненно, погибнут, а ведь они энергичны и мужественны, что и доказали своим походом.

*

Итак, наступил день отъезда!

Солнце взошло часа два назад, и снега уже тают; скоро сяду я в машину и двинусь на север.

Без сожаления прощаюсь я с этим краем, хоть и знаю, что ухожу отсюда, чтобы никогда не вернуться. Только... все вспоминаю я о могиле Марты на дальнем Кладбищенском острове, и странное что-то творится у меня в душе...

Вчера я провел на ее могиле несколько предвечерних часов. Тяжко было с ней расставаться: это единственное, что мне дорого в лунном мире. Взял комочек земли с могилы — прижму его к губам, когда буду умирать в далеком краю...

Пора уже отправляться... Лунный люд собрался, чтобы попрощаться со мной. Они не ропшут, не противятся — знают, что так быть должно. Ада, Ян и два его брата будут сопровождать меня в Полярную Страну. Я не мог им в этом отказать.

Те трое еще не вернулись и, наверно, никогда уже

не вернутся. Но я больше не буду ждать. Впрочем, все так удручены моим отъездом, что о тех даже и не думают. Только Ян сегодня на рассвете вспомнил о них и сказал:

— С ними случилось несчастье, потому что они отправились, не спросив совета у Старого Человека.

Люди вокруг него внезапно разрыдались.

— Теперь уже некого будет нам спрашивать! — причитали они сквозь рыдания и жались ко мне.

Кажется, эти люди меня любят. Странное открытие — в последнюю минуту... Все равно! Пора мне в путь!

*

В пути, на Равнине Озер

Легко дышится мне сейчас, когда я знаю, что моя лунная жизнь осталась уже позади и передо мной — лишь краткое пребывание в Полярной Стране, первом нашем пристанище на Луне, а потом — смерть перед лицом Земли — любимой, в небесах сияющей отчизны моей.

Все для меня понемногу превращается в сон — прошлая моя жизнь и эти люди, оставленные там, над морем, — все тонет в серебристой призрачной дымке, и сквозь нее просвечивает в душе моей только огненный диск Земли.

Нетерпение меня охватывает, и так хочется мне поскорей увидеть Землю, что я не могу унять тоски. Ночь наступила, а сон меня не берет. Пробую сократить писанием долгие ночные часы.

Вот — остановились мы на ночь тут, где Педро впервые обнаружил нефтяные источники. Сколько же лет минуло с тех пор! И снова я невольно возвращаюсь мыслью к той минувшей жизни, которая осталась за мной. Встают перед глазами умершие товарищи мои, и Марта, и дети ее, которых тоже уж нет в живых... Ах, долой эти воспоминания, они только расстраивают сейчас, когда мне нужны силы, чтобы добраться до того края, где я увижу Землю!

Тоскуя, стремился я в путь, а ведь приходится признать, что тяжело мне дались последние минуты расставания. Так странно устроено сердце человеческое и так велика власть привычки. Видно, и к тюремной решетке можно привыкнуть.

В то последнее утро, кончая предыдущую запись, я увидел, что у моего дома собралось все население этого мира. Они стояли молча, угрюмые и грустные, и ждали. Я пере-

считал их, глядя в окно: были все, за исключением тех троих. И машина стояла наготове...

Тогда я поглядел еще раз на пристанище, в котором прожил пятьдесят с лишним лет, и, опасаясь, что дом этот будут потом идолопоклоннически чтить как жилище Старого Человека, собственноручно поджег его вместе со всеми вещами, которые в нем еще оставались и которыми я пользовался, и вышел к столпившимся людям...

Яркое пламя рванулось вслед за мной из дверей и окон. Это был мой погребальный костер.

Сдавленный короткий крик вырвался у собравшихся, когда я стал перед ними. Они глядели на горящий дом и на меня, но никто не кинулся гасить огонь: поняли, что это моя воля... Все молчали.

— Я сегодня последний раз нахожусь среди вас, — начал я, не зная, что сказать, ибо в этой тишине, нарушаемой лишь потрескиванием огня, овладевало мной угнетение и печаль. — Я ухожу от вас, — продолжал я, — в те края, куда давно уже замыслил уйти. Вряд ли я вернусь сюда, но вы, если захотите, сможете меня там навещать, пока я не умру...

Карлики по-прежнему молча глядели на пылающие стропила крыши и на меня; у некоторых, я видел, в глазах стояли крупные слезы.

Я глубоко вздохнул — какая-то тяжесть навалилась мне на грудь.

— Вы все выросли на моих глазах, — начал я снова, с трудом подыскивая слова, — и были до сих пор со мной, а теперь придется вам самим управляться с делами. Помните, что вы — люди, помните.

Голос мой дрогнул.

— Много раз давал я вам наставления — не забывайте о них! Я оставляю вам книгу, святую книгу, привезенную с Земли, где говорится о сотворении мира, об искуплении и предназначении человека, читайте ее почаще и живите, как жить надлежит.

Я снова прервал речь, понимая, что говорю вещи банальные и бесполезные.

Тогда одна молодая женщина вышла вперед и проговорила:

— Старый Человек, скажи, прежде чем уйдешь, хорошо ли, чтобы муж бил жену?

Эти слова послужили как бы сигналом. Немедля окружило меня множество женщин и мужчин, и начали они жалобными голосами спрашивать:

— Старый Человек, скажи, хорошо ли, чтобы старший брат заставлял младшего работать на себя потому, что младший слабее?

— Скажи, имеют ли право дети выгонять родителей из дому, который родители сами когда-то построили?

— Скажи, справедливо ли, чтобы один человек говорил: «Это мои поля», — и не позволял другим собирать с них урожай?

— Справедливо ли, чтобы один у другого отнимал жену?

— Чтобы портил инструменты?

— Чтобы мстил за обиду?

— Чтобы обманывал для собственной корысти?

— Скажи, справедливо ли это?

— Скажи, прежде чем уйдешь, потому что и ты, и книги учили, чтобы это не делать, а ведь это творится у нас изо дня в день!

Ужасная боль сжала мне сердце. Покидая этот народ, я уже ясно видел, по какому пути пойдет его дальнейшее развитие. Многие из духа человеческого было утрачено по пути на Луну, но зло человеческое пришло сюда с нами с Земли!

— Это плохо! — ответил я наконец. — Если на моих глазах такое творится, что же будет, когда я уйду?

— Так зачем же ты уходишь? — спросили меня.

Это был такой простой и такой страшный вопрос! Почему я уйду?

Я виновато поник головой, не зная, что ответить. В тишине слышалось лишь потрескивание горящего дома да приглушенное далекое рычание вулкана.

Люди больше ничего уже не говорили. Видно, поняли то, что чувствовал и я в этот миг: что отъезд мой — это суровая необходимость, рок, которому бесполезно противиться.

— Может, я когда-нибудь вернусь к вам. Живите пока в согласии и по-человечески, — пробормотал я, понимая, что лгу и им, и себе.

— Не вернешься! — откликнулась молчавшая дотоле Ада.

А потом повернулась лицом к толпе и прокричала:

— Старый Человек вас покидает!

Было нечто страшное в этом крике, и всех проняла дрожь.

— Так быть должно! — глухо произнес я.

Часом позже я уже сидел в машине вместе с Адой и троими ее племянниками, направляясь к северу...

Четвертый лунный день мы находимся в пути. Солнце, взойдя сегодня утром, уже не двинулось прямо вверх, а повернуло к горизонту и теперь ползет чуть ли не вровень с ним, раскрасневшееся, почти касаясь синей линии гор на юго-востоке. Это значит, что мы приближаемся к цели. На севере вырастает предо мной горная цепь, я уже различаю невооруженным глазом самые высокие, вечно озаренные солнцем вершины и ущелья среди них — ворота в полярную долину.

Как бьется у меня сердце...

У сегодняшнего дня не будет конца, ибо к тому времени, когда Солнце заходит на этом полушарии, мы окажемся уже на полюсе, в стране вечного рассвета, где в любой час существуют одновременно восход и закат, полдень и полночь для всех меридианов, которые сходятся в одну точку у нас под ногами.

И тогда я увижу Землю!

В Полярной Стране

После четырех лунных дней пути, в тот самый час, когда в окрестностях Теплых Прудов заходило Солнце, настал великий миг: мы прошли сквозь ущелье в горной цепи, которая высится, как пограничная стена полярной котловины.

С величайшим волнением вступал я в этот край, вперяя взгляд в ту сторону небосвода, где вскоре должна была показаться Земля; а когда я внезапно увидел ее сквозь расселину меж скалами, то был глубоко потрясен и сначала не замечал, что делают мои спутники. Лишь через некоторое время, поднявшись с колен (ибо, стоя на коленях, приветствовал я мою далекую отчизну и простирали к ней руки, как ребенок простирает руки к матери), посмотрел я на свой отряд. Ян и два его брата стояли с непокрытыми головами, ошеломленные, оцепеневшие, со священным ужасом глядя на полукружие Земли. Ада стояла впереди всех, простирая руки к Звезде Пустыни.

Немало времени минуло, прежде чем она обратилась к своим задумавшимся спутникам.

— Оттуда он прибыл, — приглушенным голосом сказала она, словно не желая, чтобы я ее услышал, — и туда вернется, когда настанет час. Падите ниц!

И они пали ниц перед Землей, по которой ступали их предки...

Поднявшись, они не осмеливались приблизиться ко мне, а когда я наконец опомнился и начал еще прерывающимся от волнения голосом толковать им явление, которое предстало перед ними, они стали вокруг меня, оробевшие, охваченные ужасом, и словно бы думали, что я в любую минуту могу воспарить над их головами и понестись сквозь сумрачный воздух высоко-высоко, к той сияющей звезде.

Ах, если б я мог это сделать!..

И вот пока я говорил с ними, непонимающими, внезапно увлекла меня эта мысль до такой степени, что я сам не заметил, как замолчал, заглядевшись на Землю, и только чувствовал, что мне совершенно нечего сказать этим людям.

И они довольно долго молчали, а потом, отойдя немного назад, начали подталкивать друг друга локтями и перешептываться:

— Смотри, смотри, он прибыл оттуда!

— Тогда еще никого тут не было...

— Да... ОН привел сюда деда Педро и его жену Марту...

— А еще одного, который был отцом нашего прародителя, оставил мертвым в пустыне. Так учит Ада.

— Этого в писании нет. Там говорится только об Адаме, это вроде бы Педро, и о...

— Молчи, писание — это другое дело. Писание тоже ОН принес оттуда...

— Да, все ОН сделал; для первых людей ОН тут сделал море, и солнце, и источники...

Я быстро повернулся, услышав эти последние слова, и разговор, шедший вполголоса, немедленно замер. Я хотел было их отчитать, но тут же понял, что это бесполезно. Поэтому сказал им только, чтобы они разбили палатку, так как мы долго пробудем здесь.

И проходят с тех пор часы, отмечаемые невидимым Солнцем на розовеющих горных вершинах, — проходят для них, кажется, медленно, а для меня даже слишком быстро.

Так мила мне эта Полярная Страна, что страх и боль пронизывают меня при одной мысли о том, что пришлось бы вернуться туда, на берег моря, к Теплым Прудам... Когда я здесь, у меня такое ощущение, что я нахожусь в последнем преддверии, почти на самом пороге лунного мира, что отсюда всего лишь шаг через межзвездное пространство до Земли — и, право, больше влечет меня к себе безбрежная мертвая пустыня, которая начинается вон за теми горами

вперед, нежели тот плодородный край, где я прожил так долго.

Даже могила Марты на Кладбищенском острове не манит меня теперь. Ведь тут все окружающее больше говорит мне о ней, чем там... Тут она принадлежала мне, хоть мы об этом никогда не говорили друг с другом; тут она сидела у моего изголовья, когда я болел, тут ходила со мной по зеленым пушистым лугам или взбиралась на розовые вершины гор, а там... там она была женой другого, там я лишь глядел на ее муки и унижение, сам униженный и измученный.

Хорошо мне здесь, в Полярной Стране, так хорошо, как только может быть человеку, который потерял все, даже землю под ногами, и, вися на мертвом серебристом шаре средь лазури, живет лишь прошлым, и далью, и мыслями о невозвратном...

Молчи, молчи, старое, неисправимое, неутешное сердце мое! Вот тебе сияющий диск Земли, вот тебе те самые луга, по которым бродили вы с ней, с той, чужой и мертвой... и, наверно, могила уже близка — чего же тебе еще, старое сердце мое!

*

О братья мои, там, на светлом шаре, что сияет сейчас пред моим взором! Братья мои далекие, незнакомые и превыше всего дорогие!

О Земля, звезда ярчайшая! Радость очей моих! Свет, пламенеющий над пустынями!

Земля, чудесный рай! Сокровище истинное, изумруд сверкающий, в лазурь морей оправленный! Ворох цветов! Кадильница благовонная! Арфа, звенящая птичьими головами!

Земля, Земля, отчизна моя! Матерь моя утраченная!

Рыдания рвутся из старой, измученной груди моей, а слез уж нет, чтобы плакать по тебе, звезда, сияющая над пустынями, свет, превыше всех любви достойный!

Вот простираю я руки к тебе — самый дальний, самый несчастный из детей твоих, но и единственный, кого ты достаиваешь лицезреть тебя в этом золотом облике — как звезду среди звезд небесных!

Вот молюсь я тебе, покинутый и одинокий, я, которого ты знала ребенком и который теперь состарился не на твоём материнском лоне.

Земля! Прости, что покинул тебя, одержимый неистовой

жаждой познания, которую сама ты во мне воспитала; обольщенный серебряным ликом этой мертвой планеты, которую ты в незапамятные времена извергла из себя, чтобы она освещала твои ночи и колыхала твои моря!

Я молю, твой блудный сын, которому ты дала все блага, — гордый облик и мыслящий разум, цветы, чтобы тешить ими взор, и птиц, чтобы упиваться их песнями, и братьев, чтоб было с кем делить скорбь и радость; блудный сын, который жестоко наказан, но уже не может возвратиться, чтобы снова стать хоть ничтожнейшим из детей на твоём просторном лоне.

Земля!

Не забывай обо мне! Сияй глазам моим, покуда не застелет их пелена желанной смерти!

Пью, впиваю свет твой всем существом своим. Упиваюсь твоим светом до иступления, до безумия!

Сияние твое, от лазурных морей отраженное, от снежных вершин и зеленых лугов, блестящей листвы деревьев и венчиков цветов, от росы, что блестит на траве, от соломенных сельских крыш и от стрельчатых колоколен костелов, от лиц людских, что в раздумье обращены к небу, пролетело сотни тысяч миль, стремясь сюда, ко мне, сквозь извечную пустоту, и теперь оно стало для меня всем: лазурью морей твоих и зеленью лугов, сверканием росы и красочной пестротой цветов, и отсветом духа человеческого, отражающегося в глазах, обращенных к небу!

Земля! Земля моя!

Когда же наконец дух мой, освободившись от тела, сможет пойти по световым струнам, натянутым меж тобой и этим страшным миром, и, достигнув твоего лона, тихим ветром целовать все, что так любил и о чем так безмерно тоскует!

Земля моя!

VI

Странное у меня предчувствие, что скоро уже я умру. Эта мысль так и снует вокруг меня, ею проникнут воздух, ею налиты кровавые лучи Солнца; небо кажется мне похожим на спокойный мягкий саван, а Земля светится на нем, как серебряная лампада в гробнице. Никогда еще не ощущал я так живо, как сейчас, что скоро умру...

Без скорби, без сожалений и тревоги думаю я об этом, но — что более странно — и без радости, которую должна была пробудить в моей груди близость окончательного освобождения.

Кажется мне, будто я должен еще что-то сделать, что-то безмерно простое и колоссально важное, до чего никак не могу додуматься. И это меня гнетет, из-за этого я не радуюсь смерти-избавительнице, которая, знаю, кружит уже вблизи меня.

Во сне я слышу явственно, что зовут меня оттуда, с Земли. А я, тоже во сне, всякий раз отвечаю им: жажду идти к вам, но не знаю дороги...

Уж не лежит ли дорога на Землю через безвоздушную пустыню?

*

Был я недавно на вершине горы, откуда мы с Педро смотрели некогда на затмение Солнца, а потом — на озеро, внезапно залившее всю полярную котловину.

На эту прогулку я взял с собой Аду. Она сама меня об этом просила. Заметив, что я часто поднимаюсь на окрестные горы посмотреть на Землю или на пустыню, она стала помогать, чтобы я как-нибудь взял ее с собой, ибо и она хочет увидеть то, на что я смотрю и о чем тоскую.

Отправляясь со мной, она надела самое роскошное жреческое облачение, а Яну сказала, что идет посмотреть на отчизну Старого Человека. Ее серьезность сместила меня; глядя на нее, казалось, что отправляется она на эту вершину для того, чтобы совершить какое-то великое жертвоприношение. Я уверен, что именно так и думали люди, оставшиеся внизу в палатке. Они поглядывали на Аду с преклонением и некоторым страхом.

Мы молча поднимались на гору. Жреческое облачение Ады уже не сместило меня — я даже забыл, что эта женщина следует за мной. Я глядел на Землю, медленно встающую над горизонтом по мере того, как я поднимался все выше, и на Солнце, которое здесь уже было видно и стояло, как красный шар, на противоположной стороне горизонта. Под ногами у меня был ковер из каких-то вересковых растений, румяных от Солнца, а над головой — бледное застывшее небо...

Странное чувство владело мной! Казалось, что, поднимаясь на эту вершину, я навсегда уже удаляюсь от лунных людей и от всего этого опротивевшего мне мира; казалось, что я и вправду какой-то таинственный Старый Человек, который выполнил здесь свой тяжкий труд и возвращается теперь на родину — туда, к звездам... Красное Солнце горит за моей спиной и провожает меня из этого мира, в

котором я ведал лишь труды да муки, а Земля встает предо мной, огромная, яркая, и она готова принять меня в свое светлое лоно...

Я уже стоял на вершине горы, в океане невыразимо чистого воздуха, когда, глянув на щит Земли, увидел движущийся по нему светлый клин Европы. Видны были даже детали, хотя облака, проплывающие над Францией и Англией, стерли очертания в той стороне. Но широкие польские равнины на востоке блестили, как серебряное полированное зеркало, которое опирается с одной стороны на темную полосу Балтийского моря, а с другой — на цепь Карпат, сверкающую своими вершинами, как ожерелье из драгоценных жемчужин.

Таким неожиданным и чарующим было это появление моей родины в небесной лазури, что я сначала застыл, не дыша, весь поглощенный созерцанием, а потом вдруг, громко расплакавшись, как дитя, пал ниц на вершине лунной горы.

Через некоторое время я поднялся, несколько успокоившись, и с удивлением заметил, что Ада стоит передо мной на коленях и по лицу ее текут крупные слезы.

— Что с тобой? — спросил я невольно.

Вместо ответа она охватила руками мои колени и громко зарыдала. Не сразу смог я среди рыданий различить отдельные слова.

— Ты несчастен, Старый Человек! — говорила она.

— И поэтому ты плачешь?

Она не сказала больше ни слова и только, подавляя рыдания, вглядывалась в золотистый щит Земли. Мы опять долго молчали. Наконец Ада подняла голову и посмотрела мне в лицо странно пронизательным взглядом.

— Здесь, на Луне, все такое печальное и несчастное, даже ты, — сказала она. — Зачем ты пришел сюда? Зачем... с той звезды?..

Она замолкла, но потом снова заговорила:

— Те, мои родители, умерли. А почему ты не умираешь?

— Не знаю.

Я сказал правду. Я действительно не знаю, почему не умираю до сих пор. И снова охватил меня страх, потому что припомнилась мне эта ужасная лунная сказка — что я никогда не умру.

Ада некоторое время молчала, потом заговорила низким приглушенным голосом:

— Потому что ты — Старый Человек. И, несмотря на это, ты несчастен...

— Именно поэтому, — безотчетно возразил я.

Спускаясь обратно с гор, я испытал иллюзию, от которой у меня слезы навернулись на глаза. Когда за поворотом внезапно увидел я палатку Яна и его братьев, стоявшую на том же самом месте, где некогда стояла наша палатка, на краткий миг показалось мне, что в этой палатке ждет меня Марта с маленьким Томасом на руках и Педро, почти всегда задумчивый, но еще молодой и не такой сломленный, как позже, там, на берегу моря.

Эту сладостную иллюзию грубо развеял вид карликов, спящих вокруг палатки. Увидев их, я остановился, охваченный внезапным отвращением. Ада заметила это.

— Ты не хочешь идти к ним, Старый Человек? — спросила она.

Что же мне было ответить? Я невольно оглянулся на Землю, но мы спустились уже вниз, и лишь краешек ее виднелся на горизонте.

Ада, поймав мой мимолетный взгляд, сделала испуганное движение, а потом умоляюще сложила руки:

— Нет, нет! Еще не сейчас. Они еще нуждаются в тебе. Она боялась, что я вернусь туда, в отчизну свою.

— Ты думаешь, что я могу вернуться на Землю? — спросил я.

— Ты можешь все, чего пожелаешь, — ответила она. — Но... не желай!

Расстроенный и усталый, вошел я в палатку и лег спать, но сон мой был очень беспокойным. Сначала мне часа два не давал заснуть шепот моих спутников за полотняной стенкой: они допытывались у Ады, что я говорил во время восхождения на гору, что делал... Ужасно меня раздражали эти голоса; а когда я наконец уснул, снились мне былые времена, Марта, лунная пустыня и Земля!..

Мучают меня эти сны...

*

Хотел бы уж я остаться один. Общество этих людей, что пришли со мной сюда, мучает и утомляет. Мне кажется, что они непрестанно стоят между мной и Землей и бросают какую-то тень мне на душу.

А они-то и не думают об отъезде! Раскинули лагерь в долине, устраиваются, делают запасы, словно век им тут

жить. А может, они питают надежду, что со временем удастся им склонить меня к возвращению?

Кто знает, не приложила ли к этому руку Ада? Все больше удивляет меня эта женщина. Временами я уж и вправду не знаю, действительно ли имею дело с помешанной, настолько ее поступки и слова видятся мне в ином свете. Ибо разве не поразительно, что эта сумасшедшая, собственно говоря, умнее всех людей, здесь родившихся?

А впрочем, что мне до этого! Ведь я человек из другого мира, человек, уже уходящий отсюда и так невыразимо, так ужасающе утомленный тем, что здесь пережил.

Ах, если б эти люди оставили меня в покое и ушли, а я бы остался один!

Земля моя, Земля! Ты не знаешь, как тяжело мне жить без тебя и как хотел бы я умереть! Хоть завтра, хоть сегодня, сейчас...

*

Что за богохульство я написал! Вчера еще жаждал я умереть, а сегодня хочу жить, я должен жить еще хоть несколько лунных дней, а там — пускай творится что угодно! В голове у меня шумит, и вся грудь наполнена несказанным блаженством. Да, да! Я должен это выполнить, должен!

Слава богу, что старая наша машина со мной и припасов достаточно...

И ведь это так просто! Удивительно, что я раньше об этом не подумал!

О Земля! О братья мои любимые! Не так я покинут и оторван от вас, как думал сам еще недавно. Есть возможность послать вам известие о себе, и, хотя мне придется за это жизнью заплатить, я это сделаю, и да поможет мне бог!

Итак, умру я в пустыне, озаренный сиянием родимой моей звезды, но прежде...

*

Только бы мне ее найти! О ней я сейчас только и думаю, о ней мечтаю и, право, не знаю, жаждал ли я когда-нибудь встречи с любимой так страстно, как жажду сейчас найти ее, эту пушку, оставленную пятьдесят лет назад у могилы О'Теймора!

Когда это впервые пришло мне в голову, меня охватила неистовая радость. Казалось мне, что нисходит на меня

некое чудесное откровение, указывая, как сообщаться с братьями моими на Земле.

Ведь и вправду, пятьдесят земных лет я тут прожил, а до сих пор ни разу не подумал о том, что в Заливе Зноя, среди каменистой пустыни стоит у могилы О'Теймора пушка, нацеленная точно в центр серебряного щита Земли, и ждет лишь искры, чтобы швырнуть доверенное ей письмо в пространство, к Земле.

Да, я пойду в мертвую пустыню искать эту пушку, пойду искать каменную могилу, труп О'Теймора, который стережет эту пушку уже полвека, пустыми глазами глядя на Землю... Я знаю, что не вернусь из этого путешествия, слишком я стар и слишком измучен, а главное — некуда мне возвращаться и незачем. Смерть презрела меня, не захотела прийти за мной туда, к морю, так я пойду сам навстречу ей, в эти ужасные края, где воистину должно находиться ее обиталище.

И там я упокоюсь навеки, рядом с О'Теймором, на скалах, под ярким кругом Земли в зените... Лишь бы поскорее!

Но прежде... сердце так бурно бьется! — прежде сверну я этот дневник, эту книгу страданий, которую некогда хотел оставить будущим лунным племенам, прижму к груди, поцелую и pošлю в ядре, как письмо в стальном конверте, вам, братья мои далекие, возлюбленные братья мои!

Кровь стучит в висках, когда я представляю, как кто-то там, на Земле, найдет стальное ядро, — может быть, лишь через много дней, а может, через годы, через века? — и откроет его, и вынет сверток бумаг... И будете вы, неведомые братья мои, читать то, что я писал с неотступными думами о вас и о матери нашей общей, Земле, которую вы знаете в зелени, в роскошном цветении, в серебристости зимних рассветов, а я знаю еще и как свет небесный, чистейший и спокойный, что извечно струится над страной безмолвия и смерти!

О братья мои! Вы не знаете, как я тоскую по ней и по вас и как проклиная небо, что лежит между нами, хотя оно украшает таким сиянием мою отчизну!

*

Вот как это было.

Солнце в третий раз уже встало над пустыней, и в третий раз почернела Земля в фазе новоземля с того дня, как мы прибыли в Полярную Страну, когда Ян пришел ко

мне на взгорье, где я предавался раздумьям, и внезапно заявил:

— Старый Человек, пора возвращаться!

Я вздрогнул, услышав это; и до того я был погружен в мысли о Земле, что не сразу понял значение слов Яна и подумал, что он призывает меня вернуться туда, откуда я прибыл на Луну!

Но он продолжал:

— Жены ожидают нас и дети... Пора возвращаться на море, к Теплым Прудам, к полям нашим и загонам, Старый Человек...

Он говорил несмело, словно бы скорее спрашивал, чем требовал, но в голосе его и в выражении лица я ощутил, несмотря на это, непреклонную решимость.

И вдруг овладела мной глубокая печаль: эти люди думают о возвращении, о своих семьях, о родном крае, по которому тоскуют и который вскоре увидят, а я?.. Мой дом, моя семья и отчизна — там, в небесах! И не вернуться мне туда, не жить мне там никогда, хоть, наверное, во сто крат сильнее тоскую я по своей Земле, чем эти люди — по полоске Луны на берегу лунного моря! Зависть меня ододела.

— Возвращайтесь! — сухо ответил я.

— А ты? — спросил Ян с величайшим изумлением и ужасом, отступив на шаг перед размашистым движением руки, которым я показал дорогу на юг, и глядя на меня снизу вверх.

— Я останусь тут. Ведь я же говорил вам, когда брал в дорогу с собой, что уйду, чтобы никогда не вернуться.

— Да, — шепнул Ян, — но я думал, что со временем все же... Тут людям плохо жить...

— Вот и возвращайтесь. Я останусь.

Теперь он не сказал ни слова. Склонил только голову, будто тяжесть свалилась ему на плечи, и быстро ушел. «К Аде! — сразу подумал я. — За советом!»

И вправду, я не ошибся. Вскоре пришла лунная жрица. Я ожидал какой-нибудь смешной сцены с добавлением общих просьб, заклятий, даже рыданий, вроде той, которая разыгралась перед моим отъездом. Каково же было мое удивление, когда Ада пришла одна, совсем спокойная, и, ни о чем не спрашивая, ни о чем не моля, спросила только:

— Ты остаешься здесь, чтобы смотреть на Землю, Старый Человек?

Я молча кивнул.

— Но ты еще не уйдешь т у д а? — говоря это, она

указала на Землю и на мертвую лунную пустыню, раскинувшуюся под ней.

Невольно посмотрел я в ту сторону, и тогда впервые пришло мне в голову, что я мог бы отправиться туда, в пустыню, которую пятьдесят лет назад проходил с друзьями, чтобы хоть ненадолго, прежде чем умру от истощения, почувствовать себя ближе к Земле, видеть ее прямо над головой. Сейчас эта мысль безраздельно овладела мной, сопутствует моему движению, и я не могу от нее отделаться, но тогда это был лишь первый проблеск, который я тут же приглушил, считая, что это невозможно, словно смерть стоит уже надо мной и невозможно купить то, за что надо заплатить жизнью.

— Т у д а ты не уходишь? — повторила жрица.

Я поколебался.

— Нет. Ещё нет.

— Тогда... не мог бы ты пока вернуться с этими беднягами к морю? Они так жаждут, чтобы ты был среди них.

— Нет, — ответил я резко, видя, что уже начинаются просьбы, — я останусь тут.

— Как ты захочешь, Старый Человек. Они будут очень печалиться, но... как ты захочешь, так и сделаешь. Когда они вернутся без тебя, их спросят те, кто оставался дома: «А где же Старый Человек, на которого смотрели мы с детских лет?» Они же только понурят головы и ответят: «Он нас покинул». Но — как ты хочешь. В конце концов, они ведь знают, что ты лишь гость среди них и что наступит час, когда они должны будут сами со всем управляться.

— Ты с ними останешься и будешь ими править. Даже Ян тебя уважает и слушается.

— Нет, я с ними не останусь.

Я удивленно посмотрел на нее, а она после некоторого колебания припала к моим ногам:

— Есть у меня к тебе просьба, Старый Человек...

— Говори.

— Не прогоняй меня!

— Что?

— Не прогоняй меня. Позволь мне остаться с тобой.

— Со мной — здесь? В Полярной Стране?

— Да. С тобой, в Полярной Стране.

— Но зачем? Что ты будешь тут делать? Твои родичи там, у моря!

— Я знаю, ты не родич мне, ты оттуда, с далеких звезд, я знаю, но позволь мне...

Я задумался над этой странной просьбой.

— Почему ты хочешь остаться со мной? — снова спросил я наконец. — Жить здесь и трудно, и невесело...

Ада склонила голову и тихо, но твердо ответила:

— Потому что я люблю тебя, Старый Человек.

Я молчал, а она мгновение спустя продолжала:

— Я знаю, это преступная дерзость — говорить, что люблю тебя, но я не могу иначе назвать то, что чувствую. Родителей своих я почти не помню. Вспоминаю только, что они были несчастливы. На тебя я смотрю с детских лет и вижу в тебе какое-то величие, свет, могущество какое-то — нечто, чего я не постигаю, но знаю, что оно пришло с тобой со звезд!

Она умолкла, но пока я, пораженный, раздумывал над ее словами, снова заговорила:

— А при всем том и ты был так же несчастлив и так же одинок, всю жизнь одинок, как и я. Я не знаю, зачем пришел ты на Луну с той сияющей звезды... Так ты хотел... Я знаю, что ты делаешь все, что захочешь, что тебе хватает себя самого и я тебе не нужна, но я хочу служить тебе и быть с тобой до конца. Не прогоняй меня! Ты великий, ты добрый и мудрый!

Говоря это, она снова кинулась мне в ноги и так и осталась, припав лбом к моим коленям.

— А когда ты пожелаешь уйти в свою отчизну, сияющую на небе, — продолжала она немного спустя, — то я провожу тебя до самого рубежа великой мертвой пустыни, попрощаюсь с тобой и буду долго-долго смотреть тебе вслед, Старый Человек, пока ты не исчезнешь вдали, и тогда я вернусь к людям на морском берегу и скажу им только: «Он уже ушел...» Потом я умру.

Пока она говорила это голосом, тающим в мечтательном шепоте, какого я раньше у нее не слыживал, лунные человечки подкрались поближе и слушали ее слова, затаив дыхание. И вдруг я услышал сдавленный голос Яна:

— Старый Человек уйдет от нас... на Землю!

И потом — плач. Станный, трогательный, негромкий плач.

И вот что удивительно! Обычно раздражал меня и злил плач этих человекоподобных, а сейчас — не знаю, то ли из-за волнения, которое пробудили во мне неожиданные речи Ады, то ли из-за мысли о последнем пути в пустыню, под лучи Земли, но только обуяла меня великая скорбь и жалость.

Я повернулся к ним, и Ян, видимо приободренный моим взглядом, вышел вперед и заговорил, глядя мне в глаза:

— Старый Человек, это уже бесповоротно? Тебя там уже ждут? Ты уже возвестил о своем прибытии? И мы должны остаться одни?

И тут — словно меня кто обухом по голове хватил! Только одна вспышка, одна только мысль: «Пушка!»

Да! Пушка! У могилы О'Теймора, там, в пустыне!

Все завертелось у меня перед глазами, я прижал обе руки к сердцу, боясь, что оно выскочит из груди. Глаза я вперил в краешек земного диска, виднеющийся над горизонтом, а в мозгу сверкали теперь какие-то неистовые молнии: путешествие, пустыня, пушка, выстрел, братья мои земные, дневник... а потом — серый туман, в котором тает все... Я понял: это смерть!

Я совершенно забыл, где нахожусь и что творится вокруг. Они, онемев, глядели на меня, надо полагать, с величайшим изумлением, но я их не видел. Как сквозь сон, долетел до меня только голос Ады:

— Отойдите, Старый Человек говорит с Землей. Скоро он нас покинет.

Опомнившись несколько от первого ошеломляющего впечатления, которое произвела на меня эта мысль, я увидел, что остался в одиночестве.

Я понял, что это — откровение, что я должен идти в пустыню, найти пушку, переслать Земле последнюю весть и последнее приветствие и — умереть в пустыне.

Несколько позже я сказал Аде и Яну о своем решении; они выслушали меня, угрюмо понутив головы, но без малейших возражений, словно были готовы к этому.

О своем возвращении к морю они и говорить перестали. Хотят остаться тут до самого моего отъезда.

Сейчас Солнце, если стоишь лицом к Земле, находится справа; прежде чем оно опишет полукруг и станет с левой стороны, принося день на пустынное полушарие, — я отправлюсь в путь.

*

Итак, кончилась моя лунная трагедия! Я здесь, где впервые увидел на Луне луга, зелень, жизнь; тогда я прибыл сюда, совершив путешествие через смертоносную пустыню, теперь собираюсь совершить это путешествие во второй — и в последний раз.

Мрачна душа моя, но спокойна. Я смотрю на минувшую жизнь, и кажется мне, что пора подвести итоги. Хотел бы я, как делают на Земле люди, готовясь к смерти, испове-

даться в грехах, но — странно! — на язык просятся только несчастья мои! Может, это одно и то же?

Господь, ты, который одинаково слышишь и ничтожнейшего червяка, и грохот миров, летящих в пространство, ты, который видишь меня тут, на Луне, как некогда видел меня на Земле, прими эту исповедь, в которой я признаюсь, что был грешен и несчастлив!

Когда я был ребенком, тесно мне было на Земле, которую ты для меня создал, и я непрестанно устремлялся мыслью на крыльях желаний к далеким мирам, сверкающим на небосводе, даже избегал материнских ласк, чтобы мечтать о чудесах, которые ты создал — не для меня! Грешен я был и несчастлив!..

Когда я подрастал и впитывал те крупницы знания, которые ты разрешил получить людям, душа моя все кричала «мало!» и грезил о том, чтобы сорвать заветные печати и сдернуть завесу, твоей рукой задвинутую. Грешен я был и несчастлив.

А едва созрел я, обуяла меня жажда витать в пространстве — будто бы, стоя на Земле, я не был также в безмерности Вселенной и не летел над безднами, — и я воспользовался случаем и с легким сердцем покинул мать-кормилицу ради серебряного, обольщающего лунатиков лика Луны. Грешен я был и несчастлив...

Я видел смерть друзей и товарищей, и душа моя разрывалась, но я готов был спорить с ними из-за глотка воздуха, чтобы продлить жизнь, или из-за женщины, которая не принадлежала никому из тех, кто простирал к ней руки... А будучи свидетелем ее горя, пассивным виновником которого сам же и стал, я не сделал ничего, чтобы избавить ее от этого горя... Грешен я был и несчастлив...

Я остался один в этом страшном мире, куда попал по собственной воле, и было мне доверено молодое поколение человеческое, а я не сумел пробудить в нем душу и обратить его взоры к небу. Да, вместо любви питал я презрение к несчастным и позволил, чтобы они чтили меня, хотя одного Тебя чтить надлежит... Грешен я был и несчастлив...

А теперь, изломанный болью, изнуренный тоской, покидаю тех, кого судьба доверила моему попечению и руководству, и иду навстречу последнему печальному блаженству — смерти перед ликом Земли!

Грешен я, Господи, и несчастлив!

Жизнь моя разломилась на две большие части, одна из которых была стремлением к неизведанному, а другая —

тоской по утраченному... Но обе были печальны и невыразимо мучительны...

И не достиг я того, чего жаждал, ибо вот сделал всего лишь ничтожный шаг по Вселенной, а не познал даже тайн того места, где нахожусь. Напрасно я всем пожертвовал, напрасно преодолел лазурные просторы, прошел через пустыню, что страшнее любой земной, тщетно прожил я десятки лет на этой серебряной планете: вокруг меня и сегодня тайны, как полвека назад...

А того, по чем я тоскую, — знаю — никогда мне не вернуть.

И вот — вся жизнь моя!

Пора! Пора уж ей окончиться.

С любовью и страстным нетерпением гляжу я на пустыню, куда вскоре спущу свою машину, чтобы быть одиноким — до самой смерти.

Эти люди, последние, которых я вижу, останутся здесь... Взойдут, наверное, на вершину горы и долго еще будут следить взглядом за мной, за черной машиной, исчезающей в сиянии Солнца, а потом вернуться к своему народу и скажут: «Старый Человек уже ушел».

И из этого, из этих слов, вырастет здесь в будущем легенда, так же, как из нашего появления в этом мире!

Грешен я...

Близится миг отъезда.

VII

На Море Холодов

Я один — и каким мучительным страхом пронизывает меня это безграничное одиночество и безмолвие. Мне кажется, что я уже умер и плыву в этой машине, как в ладье Харона, к каким-то неизвестным краям...

А ведь знаю я это бездорожье и видел уже эти горы, встающие вокруг на горизонте. Я проезжал здесь годы назад, многие годы назад. Но тогда мы стремились к жизни, а теперь...

Боже, дай мне лишь столько сил, чтобы я смог добраться туда, к могиле О'Теймора! Ни о чем уже больше я не прошу тебя!

Я обещал лунному народу, что если хватит у меня сил вернуться из пустыни, то я поселюсь среди них до конца жизни, — но знаю, что из пустыни я не вернусь...

Хотя, возможно, сейчас я более нужен на Теплых Прудах, чем когда-либо еще.

Если это правда...

Странную и страшную весть услышал я перед отъездом.

Я уже собирался сесть в машину и попрощался со своими спутниками, когда внезапно заметил у входа в долину двух людей. В первое мгновение я решил, что мне показалось, но вскоре нельзя уже было усомниться: два карлика поспешно приближались к нам. Ян тоже увидел их, и у него вырвался вскрик:

— Послали за нами! Беда там, наверно, случилась!

Предчувствие не обмануло его — посланцы с побережья прибыли со странной и страшной вестью.

Вскоре после моего отъезда вернулись из экспедиции на южное полушарие отважные искатели приключений, которых я уже счел погибшими. Но вернулись только двое. Третий не вернется никогда. И эти двое принесли такие вести, что решено было как можно скорее послать за мной в Полярную Страну и склонить меня к возвращению.

Два избранных посланца двинулись вверх по течению реки, потом, руководствуясь рассказами, которые слышали ранее от Ады, поднялись на возвышенность над Равниной Озер, а оттуда, пробираясь по ущельям, сравнительно быстро нашли вход в полярную долину.

Я нетерпеливо слушал этот рассказ, желая выяснить, что же их склонило к такому необычному путешествию. Наконец послы, побуждаемые мной и Адой, начали, перебивая друг друга, рассказывать, что случилось в пути со смельчаками.

Из хаотической путаницы слов и фраз я понял только, что они на санях, оснащенных парусами, при весьма сильном попутном ветре стремительно промчались по замерзшему морю и к восходу Солнца добрались до южного побережья. Это ясно; но дальше трудно было разобраться в том, что говорили карлики... Да и звучало это так необычайно...

На просторных равнинах среди гор живут якобы там какие-то странные существа — полулюди, полужвери; прячутся они от мороза в глубоких ямах, которые роют вокруг развалин городов, покинутых, должно быть, столетия назад. С этими-то существами, чрезвычайно хищными, путешественники якобы вступили в схватку, из которой вышли живыми (потеряв одного из товарищей) только потому, что имели огнестрельное оружие. Они бежали назад в величайшем испуге, так как эти существа упорно преследовали их.

— Это злые чудовища! — говорил рассказчик, дрожа при одном воспоминании. — Небольшие, но очень злые! Нашим пришлось бежать, потому что их много-много и они

злые! У них вот такие длинные руки и клюв вместо рта... Каспара они поймали длинной веревкой и растерзали, а потом затащили труп в глубокую яму, в которой они живут. Край тамошний красив, но эти чудовища злы! Товарищи бедного Каспара нам про них рассказали. Эти чудовища гнались за ними, но у них были сани с мотором и собаки, так что они смогли убежать, хотя и с большим трудом. О! Станный край, очень странный, там, за морем, на юге. Там стоят большие башни, но разрушенные, есть какие-то огромные машины или фабрики, но поломанные, заросшие. Эти чудовища их сторожат и поклоняются башням, однако же, кажется, они не знают, что со всем этим делать. Они живут в ямах, и они злые.

Тщетно расспрашивал я посланцев, пытаюсь разузнать какие-либо подробности насчет этих существ, живущих за лунным морем: ничего больше они мне рассказать не смогли. Услышал я только еще рассказ о возвращении из-за моря — ужасную, в трепет приводящую одиссею! На обратном пути ветер не был попутным, так что перебраться через море за ночь не удалось. Лед уже трещал и ломался поутру, когда они, совсем перепуганные, добрались, к счастью, до маленького, почти нагого островка, на котором, прячась в расщелинах от ужасного экваториального зноя, просидели целый день в ожидании ночи и мороза, чтобы двинуться дальше по льду. На вторую ночь ветер отбросил их далеко на запад, а к довершению несчастий под конец путешествия отказал мотор, и они с невыразимыми трудностями добирались пешком по берегу, а собаки тянули сани.

И вот они вернулись наконец в страну Теплых Прудов, чтобы узнать, что Старого Человека там уже нет.

— Так чего же вам надобно от меня? — спросил я, выслушав этот удивительный рассказ.

— Защити нас, Старый Человек, защити нас! — закричали вместе оба посла. — Плохо нам живется без тебя, и бедствия на нас обрушиваются. Эти хищные чудовища теперь непременно переберутся через море, раз уж они узнали о нашем существовании, и будут нападать на нас, преследовать нас, мучить! А их больше! Куда больше, чем нас!

Умоляюще сложив руки, они бросились передо мной на колени. Я чувствовал устремленные на меня тревожные, молящие взгляды Яна и его братьев. Только Ада стояла недвижимо и с виду равнодушно.

А я был потрясен до глубины души, я еще колебался, не зная, что сказать, что делать; меня поразило даже не

столько то, что эти существа могут напасть на лунную человеческую колонию, сколько само известие о том, что здесь живут какие-то создания, по-видимому наделенные разумом. Было мгновение, когда я уж думал отказаться от последнего счастья, от взлелеянного замысла послать весть о себе вам, земные братья мои, для того чтобы остаться среди лунного поколения, увидеть это странное заморское племя, о котором я узнал лишь невзначай, после десятков лет, прожитых тут, и в случае надобности защищать от них потомство моих умерших друзей.

Но колебался я не долго. Безграничная печаль овладела мной. Что мне лунные племена — и те, что с Земли прибыли, и эти, остатки какого-то древнего лунного народа, живущие, словно кроты, в ямах вокруг разрушенных городов, которыми некогда, должно быть, владели их гордые предки? Пускай пожирают друг друга, пускай дерутся, пусть истребят друг друга... Что мне до этого? Я стар и не знаю, хватит ли мне сил, чтобы совершить далекое смертоносное путешествие по безвоздушной пустыне, — так могу ли я их тратить сейчас на глупую жалость или еще более глупое любопытство? Да и кто может поручиться, в конце концов, что рассказ тех двух безумцев достоверен? Может, вовсе это не города там стоят, а нагромождения скал? Может, это мнимое лунное племя — всего лишь звери, лишенные разума? Я уже стар, и нет у меня времени проверить это, ибо спешу я, чтобы умереть там, у могилы О'Теймора, в ярком сиянии Земли.

— Ничем я уже не могу вам помочь, — прошептал я наконец, — думайте о себе сами. Ждет меня безвозвратное путешествие, а путь мой лежит не в ту сторону, что ваш...

— Я знала, что ты так ответишь, — произнесла Ада, когда я уже поставил ногу на подножку машины.

Но Ян обхватил мои колени.

— Обещай нам только, — закричал он, — если иначе нельзя, обещай, что вернешься к нам из пустыни, куда ты держишь путь! Мы будем тебя ждать, и мысль о тебе будет придавать нам силы в битвах, которые нам придется вести!

— Если хватит сил и жизни, вернусь!

Ада обратилась к своим родичам:

— Он вернется — но туда!

Говоря это, она показала рукой на краешек Земли, светящийся над горизонтом. Я был уже в машине и держал

руку на руле, когда донеслись до меня последние слова Ады:

— А сюда он снова придет лишь через века... через века... когда свершится...

*

На Море Дождей, под Тремя Головами

Страшный путь я прошел, стремясь к вам, братья мои! Я каменею от ужаса, как подумаю об этом бездонном одиночестве, об этих горных перевалах и ущельях, о мертвых просторах пустыни. Одинокó плыл я через моря тьмы, а передо мной еще развезнется огненный ад, слепящий зной и безжалостный мороз. И пустота... пустота...

Другим путем пришел я сюда, не тем, которым мы двигались когда-то, но не менее страшным. Опасаясь, как бы мне снова не застрять в той ужасной расщелине на Поперечной Долине, я при выходе из Моря Холодов обогнул кратер Платона с запада и таким образом попал на ту великую равнину, которая приведет меня прямо к подножию Эратосфена...

Но зачем мне рассказывать об ужасах, пережитых ранее? Наверное, ждет меня и нечто худшее.

Был я и на том месте, где мы некогда видели Город Мертвых. Но пустыня там ровная, а я ничего не увидел, ни скалы даже никакой, ни следа... То ли у нас тогда был обман чувств, то ли я сейчас ошибся в измерениях и миновал стороной это проклятое место. А может, караван мертвецов свернул свои каменные шатры и двинулся в пустыню, по безбрежной равнине смерти.

Страх идет за мной, страх идет впереди меня — а я ужасающе, окончательно одинок...

Встает сверкающее Солнце... искрятся разноцветные звезды на черном бархатном небе — и страшно мне... страшно... Зачем мне искать Город Мертвых, я найду его скоро, достаточно скоро: разве не Страна Смерти вокруг меня?

*

Под Эратосфеном

Еще одно недолгое последнее усилие... Последняя гора, последняя вершина. Обогну ее с запада и с юга, попаду на Залив Зноя и оттуда, от каменной могилы старца О'Теймора...

Невероятные, причудливо изломанные скалы предо мной — и Земля, почти в зените, как цветок, развернувшаяся в полноземлии, и Солнце прямо под ней...

Хватит мне продовольствия и хватит воздуха — лишь бы сил хватило! Убывают они все больше, стремительно, торопливо... Я знаю, что умру здесь. Спать давно уже не могу, даже ночью, даже в полдневный зной. Когда я уснул в последний раз — где-то посреди Моря Дождей, после захода Солнца, преследовали меня во сне разные голоса и видения. Сначала чудилось мне, что я слышу призыв покинутого народа — карлики молили меня, чтобы я вернулся и защитил их от лунных жителей, которые переплыли уже через экваториальное море и жгут их дома, убивают их жен и детей...

Я проснулся от этого видения, но не успел снова уснуть, как появились предо мной умершие мои друзья и товарищи. Они приветствовали мой приход и звали, чтобы я шел к ним, тень к теням, вечно блуждать по пустыне... и это был единственный призыв, на который я откликнулся всем своим существом.

Я проснулся и иду на этот зов, о братья мои земные, и знаю, что больше уже не усну до тех пор, пока не дозволено мне будет навсегда сомкнуть веки в последнем сне.

Это будет уже скоро — ведь правда? — скоро...

*

Над могилой О'Теймора — в последний час

Хвала Всевышнему: нашел я дорогу и то место... проклятое! где впервые коснулись ноги наши лунной почвы, и... благословенное! откуда смогу я послать на Землю весть о себе.

Стою над могилой старца О'Теймора и дивлюсь, видя, что он моложе меня, живого. Годы прошли над ним, не коснувшись его, как легкий ветер проносится над гранитными скалами. Тут, в этой безвоздушной пустоте, нет гниения: О'Теймор выглядит так же, как в тот миг, когда мы его покидали, и неустанно смотрит на сверкающую Землю широко раскрытыми мертвыми глазами. А я, который молодым уходил от его могилы, стою сейчас над ним с седой бородой до пояса и с остатками седых волос на облысевшем черепе — и гаснущие глаза мои полны ужаса.

Слишком долго я жил, О'Теймор! Слишком долго!..

Пушку я нашел: она налажена и цела; ждет меня пять-

десять с лишним лет... И вот я пишу последние слова, перед тем как замкнуть эти бумаги в ядре, которое понесет их к Земле.

Запасы продовольствия кончились, воздуха хватит самое большее на два-три часа. Надо поторопиться...

От И с х о д а нашего лунных дней семьсот семь.

О Земля! О Земля Утраченная!

.....

НА ЭТОМ ОБРЫВАЕТСЯ РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В
ЯДРЕ, КОТОРОЕ ПРИЛЕТЕЛО С ЛУНЫ.

Написано в Кракове

зимой 1901—1902 гг.





РОМАН

Древняя
ЗЕМЛЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Они даже не могли определить, сколько прошло времени. Бесконечные часы текли, не отраженные ни на одном циферблате. А снаряд, мчась в межзвездном пространстве, попадал из бездны солнечного света в огромную тень Земли, и тотчас внезапная ночь и холод окружали замкнутых в стальной скорлупке нечаянных путешественников... И вновь во мгновение ока, без всякого перехода путешественники, коченевшие от стужи, охваченные безумным ужасом перед кажущейся вечной ночью, оказывались среди света, который слепил им глаза и чуть ли не докрасна раскалял стены их корабля.

Не было ощущения движения. Только Луна позади делалась все меньше, горела все ярче и постепенно становилась похожа на изменчивое светило, что озаряет земные ночи. Они видели, как с одной стороны ее медленно накрывает тень, врезааясь щербатым полукругом во впервые открывшуюся их глазам Великую пустыню... Зато на черном, усеянном звездами небе росла Земля, раздуваясь до чудовищных размеров. Ее яркий серебряный свет бледнел, как бы расплывался, и когда она своим гигантским серпом закрывала половину небесной бездны, то показалось, будто сделана она из опала, сквозь молочный блеск которого просвечивают разнообразнейшие краски морей, нив, песков. Лишь кое-где на фоне бархатно-черного неба неизменным серебряным светом, от которого резало глаза, сверкали снега.

И вот так, не ощущая движения, они неслись в пространстве между двумя светлыми серпами Земли и Луны; один из них — вогнутый — все разрастался внизу, а дру-

гой — выпуклый, — висящий над ними, становился все меньше и меньше.

Ученый Рода за все время этого непостижимого полета почти не произнес ни слова. Вжавшись в угол, он сидел пришибленный, словно полуживой; лицо у него стало желтее обычного, широко раскрытые испуганные глаза под лохматыми наспуленными бровями ввалились. А Матарет сразу стал хозяйничать в этом на беду захваченном корабле Победоносца. Он нашел воду и запасы разных экстрактов, сам их отведал и заставлял своего спутника хоть немного подкрепиться.

Рода ел неохотно, со страхом и ненавистью поглядывая на увеличивающуюся Землю. В голове у него кружился вихрь мыслей, и он тщетно пытался упорядочить их. Все ему теперь казалось непонятным, странным и безумным. Он размышлял, с чего все это началось и как произошло, и неизменно запутывался в хаосе противоречий, опровергающих все то, во что он верил как в очевидную и несомненную истину.

И впрямь, была во всем этом какая-то поразительная и прямо-таки смехотворная неправдоподобность... Он родился и вырос на Луне среди народа, хранящего предание, что будто бы много веков назад первая пара его прародителей прилетела под водительством легендарного Старого Человека с Земли на Луну и дала здесь начало новым поколениям. И еще предание гласило, что когда люди, подвергающиеся постоянным нападениям страшных лунных первожителей кроважанных шернов, окажутся у последнего предела отчаяния, вновь с Земли на Луну явится Победоносец, дабы избавить народ от врага. Роду кормили этими сказками с младенчества, однако, войдя в разумный возраст, он очень скоро перестал в них верить. Более того, он дошел до убеждения, что Луна является извечной колыбелью людей, а Земля, огромная яркая звезда, что сияет над мертвым и пустынным, лишенным воздуха полушарием Луны, точно так же мертва и пуста, и никакой жизни на ее сверкающей поверхности нет и быть не может.

Рода так яро верил в эту истину, которую сам и открыл и которую священнослужители ради собственных корыстных интересов стараются сокрыть золотыми сказочками о якобы земном происхождении людей, что даже стал основателем братства, поставившего целью распространение и развитее этого убеждения. И вот когда организованное им Братство Истины начало приобретать силу и значение, объединяя все большее число сторонников, на Луну прилетает таинственный человек гигантского роста, которого народ тут

же стал звать именем столь поджидаемого с Земли Победоносца.

Роде припомнились все его борения и кровавые усилия ради защиты Истины от растущего влияния странного пришельца...

Нет, ни единой секунды Рода не сомневался, что этот огромный человек свалился вовсе не с Земли, а просто-напросто прилетел в своем летающем корабле с обратной стороны Луны, якобы пустынной, но на самом деле укрывающей в своих глубоких укрепленных ущельях чудесную плодородную страну, праотчизну людей, которую живущее там счастливое племя ревниво прячет от изгнанников.

Было решено захватить корабль Победоносца, занятого за морем войной с шернами, и тем самым принудить его открыть дорогу в таинственные недра утраченной отчизны. Корабль захватили, и он, Рода, вне всяких сомнений, достиг бы своей возвышенной цели, если бы не этот проклятый плешивец Матарет, который оказался замкнутым вместе с ним в металлической скорлупке и мчится теперь сквозь бездны межзвездного пространства, насмешливо пялясь на него лупоглазыми буркалами.

А ведь он же прекрасно знал, так как Роде удалось вытянуть эти сведения у Победоносца и он сообщил их Матарету, что корабль подготовлен к полету, и все-таки, когда они оказались внутри, уже уверенные в своем торжестве над ненавистным пришельцем, этот плешивец то ли нечаянно, то ли намеренно нажал на роковую кнопку, и родимая Луна как-то нелепо исчезла у них из-под ног, словно провалилась в бездну, и вот они оба летят в пространстве, беспомощные, бессильные, не ведающие, что уготовит им судьба в следующую минуту.

И такая безумная ярость охватила Рода, такой стыд, такое отчаяние, что еще немного и он в бессильном гневе завыл бы и впился себе в руку зубами. Однако от подобного взрыва чувств его удерживал спокойный и, как ему чудилось, издевательский взгляд Матарета. Потому учнейший и столь чтимый своими приверженцами Рода еще глубже забивался, словно пойманный лесной зверь, в самый дальний угол и терзался от стыда и мучительных мыслей, не находя никакого разумного выхода.

И сейчас, когда он сидел, быть может, в тысячный раз оценивая безвыходное положение, в каком оказался, к нему подошел Матарет, указал рукой на окно в полу, за которым с ужасающей быстротой росла Земля, и сообщил:

— Падаем на Землю!

В его голосе и в немудрящих коротких словах Роде

почудилась издевка над его ученостью, знаниями, достоинствами, над всей его наукой и всеми теориями, в соответствии с которыми этот пресловутый Победоносец не имеет никакого отношения к Земле, и кровь мгновенно ударила ему в голову.

В эту минуту ему было совершенно все равно, что станет с ними через час или два; сейчас он с радостью отдал бы жизнь, лишь бы втоптать в грязь, унижить ставшего вдруг ненавистным спутника.

— Ну, разумеется, болван! — закричал он. — Разумеется, мы падаем на Землю!

На сей раз Матарет действительно улыбнулся.

— Учитель, ты говоришь, разумеется, а значит...

— А значит, ты дурак, полный дурак! — уже не в силах владеть собой кричал Рода. — Дурак, раз не понимаешь, что в том-то и состоит коварство этого проклятого пришельца!

— Коварство?

— Да! Да! И только такой тупой, безмозглый кретин, как ты, мог попасться на него! Если бы ты послушался меня...

— Но ты же ничего не говорил, учитель.

Слово «учитель» Матарет произнес с некоторым, возможно, произвольным ударением.

— Да нет, говорил, говорил я тебе, чтобы ты не прикасался к кнопке! Неужели ты думаешь, что этот Победоносец до такой степени глуп, чтобы оставить готовый к полету корабль, который любого дурака, нажавшего проклятую кнопку, повезет в страну, откуда он прибыл, в благодатные города на той стороне Луны? Смех да и только! Нет никакого сомнения, что он намеренно так настроил корабль, чтобы зашвырнуть непрошенных гостей на Землю.

— Ты так думаешь? — прошептал Матарет, вынужденный признать за этим предположением определенную правдоподобность.

— Думаю, убежден, знаю! Благодаря твоей дурости он избавился от самого опасного противника, от меня! Сам он, когда захочет, доберется к себе на родину каким-нибудь другим способом, а вот мы погибнем. Ведь мы же, как два червяка в брошенном в реку орехе, несемся без воли, без смысла, без цели и рано или поздно рухнем на Землю, проклятую, безжизненную, пустую звезду, где попусту, зря вскоре сдохнем, даже если уцелеем при падении. Ох, как он, должно быть, сейчас насмехается над нами, как издевается!

При этой мысли его вновь обуяло бешенство. Он поднял

кулаки к уменьшающейся над ними Луне и самыми грубыми, самыми простонародными словами принялся клясть победителя-пришельца, грозить ему, словно когда-нибудь надеялся увидеть его и отомстить.

Матарет не слушал его воплей. Он задумался, а через несколько секунд поинтересовался:

— Ты по-прежнему убежден, что Земля необитаема и жизнь на ней невозможна?

Рода уставился на Матарета, не веря собственным ушам. Да неужто у него хватило наглости высказать столь кошунственное сомнение? Наконец Рода язвительно рассмеялся.

— Убежден ли я? Да ты сам посмотри!

И теперь уже он указал на иллюминатор, находящийся у их ног. Выброшенные в пространство силою взрыва сжатых газов и медленным относительно вращения Земли поступательным движением Луны, они, пролетев по гигантской параболе, все более приближающейся к прямой, сейчас падали на Землю, которая, вращаясь с запада на восток, открывала их взорам все новые и новые моря и континенты. Они были еще достаточно далеко от нее, и вращение это им казалось довольно медленным. Однако какие-то материки, которые они совсем недавно видели, исчезли, наклонясь за край горизонта; теперь они пролетали над Индийским океаном, заполнившим почти все поле зрения вплоть до дугообразной линии тени на западе, которой уходящая ночь отсекала светлый дневной серп Земли.

Матарет, следуя взглядом за рукой учителя, всматривался в безнадежно пустынную серебристо-синюю поверхность. Неизменная улыбка исчезла с его мясистых губ, лоб перерезали мелкие вертикальные морщинки. Смотрел он долго, наконец обратил к Роде мрачный, но тем не менее спокойный взгляд и коротко бросил:

— Да, ты прав. Мы погибнем.

С Родой же произошло что-то необъяснимое. Он совершенно збыл, что слово «погибнем» означает смерть, неминуемую смерть для них обоих, и испытывал одно лишь ликование, оттого что все-таки оказался прав, считая Землю зловещей безжизненной звездой. Глаза у него просветлели, он встряхнул большой лохматой головой и громко, как совсем недавно, когда, уверенный в себе, наставлял на Луне толпу сторонников, заговорил:

— Да, да! Погибнем! Я был прав, и только такой глупец, как ты, мог хотя бы на секунду допустить, что эта мордастая сияющая звезда, что брюхатится перед нами, словно

шенная сука, может быть обителью хоть какой-то жизни! Я рад! И ты, и все остальные наконец убедитесь: то, что я всегда утверждал...

— Все не убедятся, — передернув плечами, заметил Матарет. — Мы умрем...

Он оборвал фразу и взглянул на своего спутника, в котором под влиянием этих страшных слов вдруг пробудилось ужасающее понимание их безнадёжного положения. Рода сорвался с места и, ярясь от злобы, размахивая кулаками, подбежал к нему и стал осыпать оскорблениями и ругательствами.

— Что же ты наделал, дурак! — без конца повторял он, а потом, схватившись руками за голову, упал на пол и со стенаниями и причитаниями стал проклинать тот день и час, когда принял этого кретина и безумца в почтенное Братство Истины, которое осталось на Луне, навеки лишившись своего учителя и главы.

Матарет некоторое время смотрел на содрагающегося от спазматических, непристойных для мужчины рыданий учителя, но, так и не найдя нужных слов, чтобы успокоить его, скривил губы и с презрением отвернулся.

Время тянулось бесконечно. Матарет не знал, что делать, да, впрочем, и работы тут никакой для него не было. Они мчались к Земле, а верней, падали на нее со скоростью, какую Матарет и представить себе не мог. Ему захотелось глянуть в иллюминатор, но невольный страх удерживал его. Он заложил руки за спину и принялся осматривать стены — без мыслей, без чувств, с одним только холодным и упорным сознанием, что скоро, быть может, всего через несколько минут, наступит нечто ужасное, помешать чему никто не в силах.

Близость Земли ощущалась уже в росте силы притяжения, проявляющейся в увеличении тяжести всех предметов. Низкорослый, малосильный Матарет, представитель выродившегося на Луне людского рода, чувствовал, что с каждой минутой его собственное тело весит все больше и больше: вещи, которые на Луне были в шесть раз легче и которые он поднимал без всякого труда, становились для него непосильными; ему казалось, что некие незримые провода связывают все в единую и неразделимую массу, гибельно устремляющуюся уже только по причине своего веса к Земле. Еще несколько минут, и он стал сгибаться под собственной тяжестью. Руки его бессильно свесились, колени дрожали под гнетом тела.

Он опустился на пол возле округлого иллюминатора и глянул вниз...

То, что он увидел, было настолько страшно, что лишь неодолимая неповоротливость не позволила ему отпрянуть от иллюминатора после первого же взгляда. Теперь Земля росла перед глазами с невероятной, неправдоподобной быстротой, и притом у него было ощущение, будто он попал в какой-то вихрь, от которого кружилась голова и подступала тошнота.

Сейчас перед снарядом, отброшенным относительно не слишком стремительным поступательным движением Луны с запада на восток, поверхность Земли вращалась с головокружительной скоростью четыреста с лишним метров в секунду, и с каждым мгновением по мере приближения к ней падающего снаряда это чудовищное вращение, казалось, возрастало; поэтому через несколько минут то, что видел Матарет, перестало походить на твердое тело, а выглядело чем-то наподобие проносящихся вихрем смутных, смазанных контуров.

Этот обезумевший диск, в который по причине увеличения благодаря близкому расстоянию угла зрения превратился еще недавно сверкавший у них под ногами серп, заполнил весь оком. Океан уже перевалил за внезапно ограничившийся горизонт, внизу мелькали какие-то острова, но их невозможно было разглядеть, и вдруг снаряд словно попал в космический смерч! Они вошли во вращающуюся земную атмосферу; корабль, до сих пор казавшийся неподвижным, затрясся, закрутился; под давлением воздуха по бокам у него автоматически развернулись предохранительные крылья и в тот же миг лопнули... Матарет чувствовал уже только жар от мгновенно раскалившихся вследствие атмосферного трения стен корабля и нечеловеческий страх. Он попытался крикнуть...

Внезапно его объяла ночь.

II

«Неслыханные, невероятные изобретения и открытия уходящего столетия ставят перед нами проблему, которая способна наполнить человека гордостью, но в то же время и страхом. Мы устремляемся к прогрессу столь стремительным шагом, что утратили всякую меру скорости этого продвижения вперед; уже ничто не кажется нам невероятным, неслыханным. Одним, поскольку они знают столь много и проникли в столь сокровенные тайны бытия, что все новое воспринимают как естественное и необходимое следствие уже существующего, как одно из поочередно овеществляю-

щихся в человеческом мозгу применений извечных и неизменных сил природы...

А для других ничего удивительного в этом нет всего-на-всего потому, что они ничего не знают и знать не хотят и лишь привычно ожидают ежедневно нового чуда, которого не понимают и заранее считают простым так же, как высшее чудо, до сих пор непостижимое для человеческого мозга — развитие организмов, возникновение звезд и вообще сам факт жизни, чему никогда никто не поражался, за исключением самых мудрых.

Неизвестно, докуда мы дойдем, но уж совершенно точно, очень высоко — до самого предела людских возможностей, если таковой вообще существует. Ибо есть люди, утверждающие, что постижение сил природы и многообразного их использования для потребностей человека является не чем иным, как сотворением их в новой форме в соответствии с человеческим духом, а процессу творения конца нет и быть не может, пока существуют элементы, которые можно соединять и сочетать друг с другом.

Однако в любом случае можно не сомневаться, что через несколько десятков или же сотен лет человечество сумеет достичь столь полной власти над природой, что все возможное ныне для нас покажется будущим поколениям совершенно ничтожным.

Гордость охватывает, когда думаешь об этом развитии, но одновременно, как я уже говорил, и страх. В умственной жизни человека существуют странные противоречия, необходимые, неизбежные, но роковые по своим последствиям. Кто через несколько веков, не говоря уже о тысячелетиях способен будет охватить умом всю сумму знаний, добытых человеческим мозгом? Не произойдет ли внезапный и страшный кризис этой все возрастающей мощи человеческого духа?

Некогда, тысячелетия назад, прогресс шел куда более размеренным шагом, и разница в духовном уровне величайшего ученого и полудикого крестьянина даже в малой степени не была схожа с той, что существует ныне между людьми, идущими во главе прогресса, и толпой, которая повсеместно и беззаботно пользуется их изобретениями и открытиями и внешне выглядит вполне культурной.

Римский цезарь, живший в мраморном дворце в роскоши и разврате, при всем том по знаниям немногим отличался от грязного оборванца, закусывающего луковицей в тени колонн амфитеатра, под которыми он прятался от полуденного зноя. Сейчас мой сапожник живет точно так же, как я, а может, даже и куда зажиточней, вместе со мной

пользуется всеми устройствами и усовершенствованиями, пользуется защитой тех же самых законов и установлений, придающих его личности общественную значимость, а между тем он не знает ничего, а я знаю все.

Тяжелее и тяжелее становится труд знать все или хотя бы много и то бремя, которое способна нести все уменьшающаяся горстка избранных. Мы несем просвещение всем, учим людей всему, но чем же может быть это «все» при той огромности знаний, которое уже почти не под силу объять человеческим умом и памятью? Кроме действительно знающих, которые единственно и являются творцами науки, искусства и жизни и которые невольно отделены безмерной пропастью от остальных людей, формируются два типа, и неизвестно, какой из них хуже. Первый — это поверхностные люди, знающие название произведений и изобретений, с удовольствием говорящие обо всем, и потому их нередко, а кто и преимущественно считают умными, хотя они не знают ничего. Второй — те, кто посвятил себя какой-то одной ветви, трудится в одном направлении и с косным презрением отбрасывает все остальное, не относящееся к их сфере, словно оно ничего не стоит. Их тоже почитают умными, хотя они точно так же не знают ничего.

Пока что они делают много, и, видимо, так будет продолжаться еще долго. Но не всегда. Ибо уже подходит предел, и им все неуютней в узких колодцах, которые они с чрезмерным самомнением копали вглубь, и все явственней они ощущают, что им не хватает воздуха для дыхания.

Постепенно они приближаются к сердцу бытия, где сходятся все сосуды, и тот, кто не знает их все, путается в непонятной их сети, неспособный продвинуться далее, разве что на ощупь. И тогда они выходят на поверхность и стоят там в растерянности.

И без того ничтожен отряд всеведущих, что движут на согбенных плечах прогресс и судьбу человечества, а что будет, когда их не станет? Что если и их сверхчеловеческие силы не вынесут огромности бремени?»

Яцек отложил книжку. Тонкой белой ладонью провел по высокому лбу, и еле заметная улыбка тронула его бескровные губы; черные сверкающие глаза заволоклись дымкой задумчивости.

Это было написано в конце двадцатого века, а сколько столетий прошло с тех пор! После периода неслыханных, невероятных изобретений, когда одно открытие порождало десять новых и действительно казалось, что человечество

находится на пути какого-то сказочного развития, которому нет конца и который даже пугал своей грандиозностью, внезапно наступил застой, как будто таинственные силы природы, способные служить человеку, наконец исчерпали свои комбинации, все уже впряжены в колесницу людского благосостояния и больше ничего не в силах приоткрыть. Настал период всестороннего использования и применения прошлых завоеваний человеческой мысли, которая достигла уже вершин знания.

А тем временем те, кто обладал знанием, те и вправду уменьшавшиеся в числе всеведущие с каждым днем все ясней и наглядней убеждались, что действительно ничего не знают, в точности как некогда, в самом начале, когда человеческий дух только раскрывал крылья для полета.

В ту же самую эпоху, когда череда изобретений, прежде чем внезапно прерваться, казалось, умножалась с какой-то головокружительной быстротой, знание, подлинное знание о сущем, стало, напротив, продвигаться все медленней. Происходило это так, словно к уже добытому за многие века знанию постоянно прибавлялась лишь половина того, что осталось еще неизведанным, указывая вдали четкую, но недостижимую границу возможностей; к ней можно приближаться — все медленней, но всегда впереди будет оставаться половина того, что еще не постигнуто, оставаться осененное тайной, и в конце концов человек столкнется с теми же самыми неразрешимыми загадками, перед которыми останавливались в раздумье еще древнегреческие мудрецы.

Чем в глубинной своей сути является то, что существует, и почему оно вообще существует? Что есть человеческая мысль и сам дух познания? Какие нити связывают человеческий разум с миром, и на каких дорогах и каким образом бытие претворяется в сознание? И наконец, что происходит в миг смерти?

И опять легкая улыбка тронула красивые, почти женственные губы Яцека.

Да, было время — как раз тогда и была написана книжка, которую он только что отложил, — когда люди, не в силах разрешить эти вопросы, пытались их попросту отрицать, утверждая, что они не имеют никакого значения и даже смысла. В эту эпоху человеку, ошеломленному прогрессом науки, казалось, что действительный смысл имеют только те проблемы, на которые можно ответить немедленно, либо, по крайности, существует уверенность или хотя бы надежда, что рано или поздно ответ на них будет

найден. А по поводу всех прочих только пожимали плечами, именуя их «метафизикой».

Но эта «метафизика» вновь и вновь возвращается и опять встает с неизменно сокрытым ликом перед человеком и не дает ему покоя, ибо пока не знаешь этого, в сущности, не знаешь ничего!

И вновь, как века и тысячелетия назад, появляются пророки и несут людям, жаждущим и способным верить, Откровение, которое должно прояснить мысли, успокоить сердца и дать на все вопросы окончательный ответ. Религии существуют и сейчас, как существовали всегда, хотя им столько раз предсказывали конец и исчезновение, и сейчас они, быть может, даже могущественней, чем прежде, разве что сменились их сфера и значение. Толпа, ослепленная наукой, которой она не понимает, и блеском сокровищ, добытых высочайшими умами, сокровищ, которыми она пользуется, не приложив даже крохотного усилия мысли, чтобы собрать их, перестает верить и искать божество за небесной синью.

Зато мудрейшие, те самые, кто некогда, в пору чрезмерной веры в свои силы первыми начали сокрушать религию как «суеверие», как вещь ненужную и непонятную, один за другим с каким-то страхом в глазах, что слишком близко вглядывались в непостижимые тайны, и с жаждой умиротворения в истощенных мудростью сердцах, теперь прячутся под ее крыло.

А наряду со всем этим по-прежнему откуда-то с гор, уходящих в небо, из непроходимых джунглей, еще сохранившихся в Азии, приходят странные люди, которые не пытаются дотошно исследовать тайны природы, но имеют над нею прямо-таки магическую власть, хотя и не пользуются ею, потому что им ничего не нужно, и они в невозмутимости духа с загадочной улыбкой на устах смотрят с жалостью на «всезнающих», открывших ничтожность своего знания...

Яцек машинально, не отдавая себе отчета, стал переворачивать ножом из слоновой кости, который держал в руке, страницы лежащей перед ним книги. В безмолвии комнаты, двери которой не пропускали звуков извне, слышался только шелест пожелтевших страниц да тиканье электрических часов, и ему вторил в углу жучок, прогрызающий ходы в старинной деревянной мебели.

Да, он, Яцек, является одним из немногих «всезнающих»... Но он даже толком не знает, когда и каким чудом сумел объять всю огромность знаний, добытых в течение десятков веков, а порой даже сам себя спрашивает: стоили

ли того эти сверхчеловеческие усилия? Природа вроде бы раскрыла перед ним все свои тайны и покорна ему, как властелину, но ему-то слишком хорошо известно, что это не более чем иллюзия, и даже не его, а тех, что смотрят на него и восхищаются его мудростью и могуществом.

Но он-то знает, что его власть над миром столь же смешна и нелепа, как власть вождя давно исчезнувших и забытых ирокезов, который каждую ночь перед восходом вставал на вершине холма и, указывая рукой на восток, велел солнцу взойти именно там, а затем пальцем прочерчивал ему по небу дневной путь до самого заката. И солнце слушалось его. Видимо, познать предметы и явления означает обладать властью над ними, и он, Яцек, обладает ею, но вся его власть, которой человечество обязано столькими чудесными, благословенными изобретениями, если рассматривать ее как силу личности, не стоит одного взгляда того неделю назад встреченного азиата, что на его глазах силой воли и взора опрокинул бокал, полный воды, хотя и сам не понимал, как он это делает, не говоря уже о том, что этим нелепым своим деянием он никому не принес никакой пользы.

А впрочем, многим ли больше этого чудотворца знает он о том, что делает сам, и о характере сил, которым велит повиноваться с куда меньшим напряжением воли, просто благодаря знанию того, как они действуют? Скоро уже будет три года, как в этой самой комнате он, не сходя с места, начертил для своего друга Марка проект корабля, чтобы тот смог долететь на нем до Луны, и установил кораблю дорогу сквозь пространство, столь же точную, как орбиты звезд, а потом, не выходя из этой комнаты, с места даже не стронувшись, одним нажатием кнопки в точно назначенную долю секунды отправил корабль с сидящим в нем путешественником в путь и абсолютно уверен, что в точно определенный момент корабль в целости и сохранности упал в точно назначенной точке на поверхности древнего спутника Земли. И все-таки, что он в действительности знает о самом движении, которое здесь с такой точностью рассчитал и определил?

Разве в этом смысле не находится он примерно там же, где тысячелетия назад остановился Зенон Элейский¹, пытавшийся на наивных примерах продемонстрировать в самом

¹ Зенон из Элеи (ок. 490—430 до н. э.) — древнегреческий философ-диалектик. Здесь имеется в виду его знаменитая апория (парадокс) «Ахилл и черепаха» о невозможности движения.

понятии движения поразившую его противоречивость? Зенон утверждал, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху, поскольку за то время, какое он затратит на преодоление разделяющего их расстояния, черепаха еще немножко продвинется вперед... А он, Яцек, после нескольких десятков веков, отделяющих его от Зенона, к тому же еще и знает: все, что движется, в то же время неподвижно, а то, что неподвижно, движется, так как любое движение и покой относительны; хуже того, движение, эта единственная и неуловимая реальность, является сменой положения в пространстве, которое вообще нереально...

Яцек встал и, чтобы прервать поток гнетущих мыслей, подошел к окну. Чуть притронувшись к кнопке в стене, он раздвинул занавеси и открыл сверкающие створки окна. Комнату, освещенную без всяких ламп перебегающими по потолку световыми полосами, залил серебристый свет Луны. Яцек легким движением пальца погасил искусственное освещение и стал смотреть на почти полную Луну.

Он думал о Марке, об этом мужественном человеке, принадлежащем словно другому веку, необузданном, веселом, всегда готовом совершить что-нибудь непредсказуемое... Дальние родственники, они вместе росли, но какими разными путями пошли по жизни! Пока он лихорадочно, с самозабвением, какого сейчас уже и сам не может понять, накапливал знания, Марк безумствовал и совершал поступки, искал невероятных приключений, от любовных интриг бросался в вихрь общественной жизни, принимал участие в гигантских народных собраниях, кидался на защиту каких-то дел, оставлявших Яцека совершенно безразличным, а потом вдруг неожиданно исчезал, только ради того, чтобы удовлетворить свою фантазию и взобраться на недоступную гималайскую вершину или предаться на несколько недель любовному дурману.

И вдруг этот сумасброд, которого Яцек любил всей душой и который смотрел на мир сквозь розовые очки, приходит и объявляет, что желает не больше и не меньше как слетать на Луну.

— Яцек, я знаю, ты все можешь и умеешь, — точно ребенок умолял Марк. — Сделай корабль, чтобы мне слетать туда и вернуться.

Яцек рассмеялся: всего-навсего?.. Ну, такой пустяк он, разумеется, способен сделать и чрезвычайно благодарен Марку, что тому взбрело в голову отправиться на Луну, а не, скажем, на какую-нибудь планету солнечной системы, потому что в этом случае удовлетворить его желание было бы несколько трудней.

Оба они смеялись и шутили.

— А с чего тебе вздумалось полететь на Луну? — поинтересовался Яцек. — Тебе что, Земля уже не по нраву?

— Да нет, просто мне любопытно, что случилось с экспедицией О'Теймора, который несколько столетий назад, кажется, вместе с двумя мужчинами и женщиной дал забросить себя в снаряде на Луну, чтобы основать там новое людское общество.

— С О'Теймором полетели трое мужчин и одна женщина.

— Это значения не имеет. Впрочем, у меня есть еще одна причина. Мне надоела Аза.

— Аза? А кто она такая?

— Как! Ты не знаешь Азу?

— Это что, твоя новая охотничья собака или кобыла?

— Ха-ха-ха! Аза! Это же чудо! Певица, танцовщица, которой восхищаются оба полушария! Позаботься, пожалуйста, о ней, пока меня не будет.

Так говорил ему веселый, смеющийся, полный буйной радости жизни Марк.

Яцек нахмурил брови и потер лоб, словно желая отогнать некое неприятное воспоминание.

«Аза... Да, Аза, которой восхищаются оба полушария...»

Яцек опять поднял глаза на Луну.

— Где ты теперь и когда возвратишься? Что расскажешь? Что ты там увидел и что с тобой произошло? — прошептал он, несколько секунд молчал и громко произнес: — Тебе везде хорошо.

«Да, ему будет везде хорошо, — подумал Яцек, — потому что он еще сохранил в себе то первобытное, неукротимое, творческое стремление к жизни, которое способно создать вокруг себя желаемые условия и даже в самом худшем найти добрые стороны.

Ведь Марк и здесь чувствовал себя свободно и непринужденно и не жаловался, хотя это и безмерно трудно при том, что их окружает. Он совершенно не похож на остальных, довольных...»

Яцек закрыл окно и, не зажигая света, вернулся к столу, стоящему посередине овальной комнаты. Он неслышно прошел по мягкому ковру, нащупал в темноте высокую спинку кресла и опустился в него. Он вспомнил происходившие в течение нескольких последних столетий перемены, которые должны были осчастливить, освободить, возвысить человечество...

Как бы поразился автор этой книги, живший в далеком двадцатом столетии, имея он возможность взглянуть на

карту нынешних Соединенных Штатов Европы! В ту эпоху это казалось далеким и недостижимым идеалом, а ведь осуществилось сравнительно легко и без особых препятствий.

Правда, для этого потребовалось, чтобы произошли все те потрясения человечество перевероты, о которых сообщает история: страшный, неслыханный, беспрецедентный разгром Германского рейха Восточной империей, в которую преобразовалась бывшая Австро-Венгрия после захвата принадлежавшей России части Польши и объединения с южнославянскими государствами; неожиданная для всех трехлетняя война могучей Англии, владычицы полумира, с Федерацией Латинских Государств, из которой Британская империя вышла непобежденной, но и не победительницей, после чего рассыпалась, словно зрелый стручок гороха, на несколько самостоятельных государств. А сколько еще было других потрясений, войн, революций!

И вот наконец пришло ясное и очевидное понимание, что, собственно говоря, бороться больше нет причин, и все стали поражаться, для чего с такой яростью было пролито столько крови. Народы Европы после многовекового исторического развития дозрели до объединения и объединились на основе самостоятельных национальных общностей, сохраняющих максимум свободы.

За этими переменами шаг за шагом следовало развитие общественных и экономических отношений. Поначалу опасались резких переверотов в этой сфере, и, более того, все вроде бы свидетельствовало о неизбежности катастрофы, однако процесс этот прошел на удивление гладко и... скучно прямо-таки до тошноты. Возникновение всякого рода компаний и кооперативных сообществ облегчило переход и сделало его практически незаметным. Использование новых изобретений потребовало, с одной стороны, объединения все больших сил, а с другой, неожиданно быстро повысило уровень всеобщего благосостояния. Вскоре уже не имело никакого смысла прибавлять себе забот обладанием личного капитала.

Однако это не привело к предсказывавшемуся некоторыми утопистами равенству. Да, все были уравнены в правах, было поднято человеческое достоинство, благосостояние и просвещение стали общим достоянием, но души людей уравнивать не удалось, а равно и то, что является следствием подобного неравенства — значимость отдельной личности и объем власти, которой она обладает. О, как же все это далеко от рая, о котором некогда так мечтали!

По-прежнему оставались богатые и относительно бедные.

Люди, занимавшие «полезные» и важные для общества посты, получали иногда прямо-таки колоссальное вознаграждение, а после относительно недолгой службы пожизненную пенсию, позволявшую им проводить остаток жизни в развлечениях, не занимаясь никаким обязательным трудом. Редко случалось, чтобы эти «выслужившие отставку» добровольно посвятили себя какому-нибудь общественно полезному занятию.

Единственным собственником всего было правительство, однако о своих интересах оно пеклось ничуть не меньше, чем в прежние времена частные владельцы. В огромных городах было множество роскошных отелей; в театрах, цирках и залах развлечений золото текло рекой; певцам и всевозможным лицедеям платили суммы, в былые времена показавшиеся бы просто невероятными. Таким способом деньги из карманов сановников и «отставников» вновь перекачивались в государственные кассы.

А сколько людей «непроизводительных» не умирали с голоду только потому, что принуждены были заниматься обязательным трудом, а если оказывались не способны распорядиться тем немногим, что им платили за принудительную работу, их брали под государственную опеку. А ведь среди этих молодых людей, вынужденных губить себя на физической работе, нередко оказывались будущие изобретатели и ученые, писатели и художники; часто случалось, что они становились известными лишь после смерти, а при жизни их оттесняли в тень удачливые и модные коллеги, льстившие самомнению толпы.

Яцек размышлял обо всем этом, взвешивая на руке книжку, которую читал несколько минут назад.

Нет, не на две части делится человечество, как утверждал этот писатель двадцатого века, преданный в свое время анафеме за свой якобы пессимизм, а на три. Посередине — толпа. Огромное большинство. Сытое множество, в меру пользующееся правом на отдых и по возможности старающееся думать как можно меньше. Да, они обладают правом на благополучие и образование, то есть изучают в школах все, что сделано для них. Им присуще чувство долга, по преимуществу они честны и добродетельны. Они делятся на нации, и каждый горд, что принадлежит к своей нации, хотя принадлежи он к другой, гордился бы этим ничуть не меньше. Некогда нация была святыней, ей приносились жертвы кровью, но постепенно нации выродились, и все их различие ныне сводится к отличающимся друг от друга национальным нарядам, никакого существенного значения не представляющим. Духовная разница стерлась. И несмот-

ря на разные языки, уровни доходов, системы управления, в глубине своих ничтожных душ толпа повсюду до отчаяния одинакова.

Расовые и племенные различия, возможно, живы еще только для «хранителей знания», стоящих над европейской толпой и отделенных от нее непреодолимой пропастью духовного развития. Но они как раз меньше всего говорят о национальностях, объединенные своею судьбой в общее братство знания и духа.

А еще ниже сытой, довольной толпы находится интернациональный плебс, и между ними тоже непреодолимая пропасть. Это неизменно и громогласно опровергается, но тем не менее это так. И тут не помогут самые красивые и даже искренние слова о равенстве, о праве каждого на жизнь и благополучие, об отсутствии угнетенных. Кстати, они вовсе не ощущают себя угнетенными.

Для обслуживания миллионов машин, нужных людям, необходима неисчислимая масса подготовленных, умелых рабочих, в сущности, отданных в рабство безжалостным металлическим чудищам и ни о чем больше не думающих, кроме того, что сейчас нужно нажать на эту кнопку или передвинуть этот рычаг. Рабочий день у них относительно короток, платят им хорошо, но их ум, неизменно направленный на одни и те же операции, странно тупеет и постепенно становится невосприимчивым ко всему, что происходит вне фабрики или мастерской и семьи.

Знаменательно, что они не бунтуют, не восстают, как рабочие прошлых эпох. Им мудро предоставляется все, чего они хотят, так что в конце концов они перестают хотеть чего бы то ни было, даже того, что могло бы им быть доступно без всяких затруднений. Они не имеют родины, поскольку в связи с потребностью в рабочей силе их вечно перебрасывают с места на место, и даже наречие себе они создали особое, интернациональное, слепленное из обрывков разных языков.

В сущности, все остается так же, как было! Разве что неявные границы, за сохранение которых некогда боролись верхи, а за уничтожение низы, теперь стали отчетливей, расширились и с той минуты, когда начали решительно отрицать их существование, преодолеть их стало куда трудней. Прекратилось обустороннее стремление вырваться за их пределы, и силой фактов общественные слои стали сплываться и обособляться, вопреки собственным желаниям и распространению знаний все более отделяясь друг от друга.

Да, все так, как было. И невзирая на благосостояние, развитие науки, невзирая на свободы и вроде бы совершен-

ные законы, сейчас, как и столетия назад, неуютно на Земле и сумрачно, и все так же душно в этой жизни, в конце которой ждет Смерть со все так же сокрытым непостижимым ликом.

А счастье? Личное счастье человека?

О неисправимая и вечно несытая человеческая душа! Ни наука, ни знание, ни мудрость не искоренят в твоих глубинах неразумных и нелепых желаний, что сжигают тебя, как неугасающее пламя!

Тучи закрыли Луну, и в комнате стало совсем темно. Яцек непроизвольно протянул руку и по памяти нажал на кнопку, скрытую среди резных украшений стола. На овальном диске матового стекла, заключенном в бронзовую раму, замерцала красочная картина: некрупное, кажущееся детским лицо, пышные волосы цвета соломы и темно-синие огромные, широко распахнутые глаза...

— Аза... — прошептал Яцек, пожирая взглядом изображение.

III

Придя в сознание, Матарет долго не мог сообразить, что произошло и где он находится. Несколько раз он принимался протирать глаза, не понимая, то ли действительно его окружает непроницаемая тьма, то ли веки у него все еще сомкнуты. Наконец, вспомнив, что находится в снаряде, который мчался с Луны на Землю, он безуспешно попытался зажечь электричество. Сперва ему никак не удавалось найти кнопку — в корабле все как-то странно перевернулось, а когда он все-таки нашел ее, то долго и безрезультатно жал на нее пальцем. Тьма не уходила; видимо, что-то повредилось в проводах.

Матарет стал в темноте звать Роду. Тот долго не откликался, наконец раздался стон, и Матарет хотя бы убедился, что его товарищ жив. На ошупь полез он туда, откуда донесся голос. Ориентироваться было страшно трудно. Все время полета корабль под действием собственной тяжести и притяжения сперва Луны, а потом Земли летел так, что под ногами у них всегда был пол; сейчас же Матарет чувствовал, что ползет по вогнутой стенке корабля.

Он нашел учителя и потряс его за плечо.

— Живой?

— Пока живой.

— Не ранен?

— Не знаю. Голова кружится, и все тело болит. И такая тяжесть, так страшно давит...

Матарет ощущал точно такую же тяжесть, он передвигался с огромным трудом.

— Что случилось? — спросил он.

— Не знаю.

— Мы были уже у самой Земли. Я видел, как она вращается. Где мы сейчас?

— Не знаю. А вдруг мы пролетели над ней? Пролетели мимо Земли и опять несемся в пространстве, сокрытые ее тенью?

— Ты заметил, что положение корабля непонятно изменилось. Мы теперь ходим по его стене.

— Да что мне с того! На стене или на полу, нас все равно ждет неминуемая смерть!

Матарет замолчал, признавая в душе правоту учителя. Он лег на спину, вытянулся и закрыл глаза, покоряясь охватившей его неодолимой сонливости, что, видимо, являлось предвестием надвигающейся смерти.

И все-таки он не заснул. Просто в каком-то полубессознательном состоянии перед ним вставали видения широкой лунной равнины и города на Теплых Прудах у берега моря. Виделись ему люди, вроде бы возвращающиеся с какого-то торжества от храма, а на его ступенях стоял человек огромного роста, которого на Луне прозвали Победоносцем и насмешливо смотрел на Матарета. И даже позвал его по имени. Раз и еще раз.

Матарет открыл глаза. Его и вправду звали.

— Рода?

— Ты что, спишь?

— Нет, не сплю. Победоносец...

— Да плевать мне на Победоносца! Я уже с полчаса кричу тебя. Раскрой глаза!

— Свет!

— Точно. Становится светлей. Что это?

Матарет приподнялся и сел, задрал голову вверх. Божьей иллюминатор, который теперь стал потолочным, на черном фоне тьмы казался чуть посветлевшим серым пятном.

— Светает, — прошептал Матарет.

— Ничего не понимаю, — буркнул Рода. — Раньше мы переходили из света в тень и наоборот в один миг, резко...

А иллюминатор становился все светлее, и тут же они услышали какой-то сухой шорох — первый звук, долетевший до них после отлета с Луны.

— Мы на Земле! — крикнул Матарет.

— Не понимаю, чему ты радуешься?

Но Матарет уже не слушал Роду. Борясь с невыносимой тяжестью собственного тела, он подтащился поближе к иллюминатору, над которым словно бы неслись тучи песка, порой становившиеся такими густыми, что внутри корабля опять заметно темнело. Матарет смотрел, ничего не понимая. Вдруг он зажмурил глаза, в которые внезапно ударил яркий свет. Песка уже не было, в иллюминатор заглядывало слепящее солнце. Явственно слышался свист ветра.

Когда он снова открыл глаза, было светло, вверху над иллюминатором висело небо — темно-синее, не черное, как тогда, когда они летели в межзвездном пространстве.

— Мы на Земле, — убежденно повторил Матарет и принялся отворачивать гайки, которыми запирался выход из их долговременного жилища.

Нелегко давалась ему эта работа. Все казалось безмерно тяжелым, а скованные собственным весом обессилевшие руки уставали так быстро, что чуть ли не каждую минуту приходилось давать им отдых. Когда же со звоном упала последняя отвернутая гайка и из открытого иллюминатора в лицо ударила струя свежего воздуха, измученный работой Матарет, опьянев от него, пошатнулся; у него не было сил выбраться наружу.

Лишь после долгой передышки он пришел в себя, ухватился обеими руками за крайину иллюминатора, сперва высунул голову, а потом наполовину перевалился наружу. Подошел Рода и тоже выглянул из корабля.

Они долго молча осматривались.

— Ну разве я не говорил, что Земля обитаема? — наконец отозвался Рода.

Вокруг, куда ни кинь взгляд, расстилалась желтая песчаная равнина, покрытая, словно застывшими волнами, барханами и опаленная ярким солнцем. Их корабль, упав на Землю, зарылся в песчаный бархан, из которого его выкопал только что прекратившийся ветер.

Матарет ничего не ответил Роде. Он смотрел на открывшуюся картину широко распахнутыми глазами и мысленно пытался упорядочить впечатления. Вокруг все было тихо, безжизненно, недвижно; трудно было поверить, что это та же Земля, несущаяся в безумном вращении, которую, казалось, всего минуту назад он видел у себя под ногами... Он протер глаза и постарался собрать разбегающиеся мысли, пытаясь понять: спит ли он или, напротив, пробудился от причудливого сна.

Временами его охватывал нервический страх, причин которого он не мог определить. И тогда от головы до ног

его сотрясала лихорадочная дрожь, а в сердце возникало безумное желание, чтобы и этот их полет, и Земля оказались просто сонным бредом. И все-таки Матарет старался овладеть собой и мыслить здраво.

В конце концов он почувствовал голод. Он вернулся на корабль, достал остатки воды в мешке из непроницаемой пленки, скудный запас еще не съеденной провизии и обратился к Роде:

— Поешь!

Учитель пожал плечами.

— Ради чего нам есть? Чтобы продлить жизнь еще на несколько часов?

Тем не менее он набросился на еду с такой жадностью, что Матарету пришлось остановить его, заметив, что надо бы экономить провиант.

— Зачем? — рявкнул Рода. — Я голоден. Вот съем все, что можно, и повешусь на носу этого проклятого корабля!

Матарет, не слушая его, собрал в мешок остаток еды и стал выносить из корабля разные мелкие вещи, которые в дальнейшем смогут им пригодиться. Но когда связал все вместе в узелок и попытался забросить его на спину, оказалось, что он переоценил свои силы, позабыв о шестикратно возросшей по сравнению с Луной силе тяжести. Пришлось выбросить все, без чего можно обойтись, а остальное разделить на два узелка.

— Возьми, — указал он Роде на один из них, — и пошли.

— Куда?

— Куда глаза глядят. Пойдем прямо.

— Да какой смысл! Мне все равно, в какой точке этого плоского пространства умирать.

— Когда Земля вращалась под нами, я видел моря и места, которые мне показались покрытыми зеленью. Может, доберемся до таких мест, где можно жить.

Рода, недовольно бурча, взвалил на плечо узелок и поплелся за Матаретом. Увязая в песке, они брели на восток, обессиленные жарой и слишком плотным для их лунных легких воздухом, но более всего весом собственного тела; оно теперь казалось налитым свинцом. Через каждые несколько десятков шагов они садились передохнуть.

Во время остановок Рода продолжал, пользуясь каждой замеченной подробностью, доказывать, что Земля необитаема и вообще никакое живое существо не может жить на ней.

— Ты только подумай! — говорил он. — Эта чудовищная тяжесть! Какое существо сможет долго выдерживать ее!

— Ну, а если тут люди больше и сильнее нас, как, например, Победоносцев?

— Не говори глупостей! Если бы здешние люди были больше, то больше бы и весили и тогда не смогли бы двигаться.

— Но все-таки...

— Не смей прерывать меня, когда я говорю! — разозлился Рода. — Я не собираюсь спорить с тобой, а просто рассказываю вещи, о которых знаю. А ты слушай и набирайся ума.

Матарет пожал плечами и, подхватив свой узелок, молча двинулся вперед. Учитель плелся за ним, не переставая доказывать прерывающимся голосом, что он прав.

— Сдохнем, как псы, — повторял он. — Говорю тебе, здесь нет ни одного живого существа.

— Значит, мы будем первыми, — отрезал Матарет, — и вся Земля будет принадлежать нам.

— Много тебе от этого будет пользы! Песок и вода, которую мы видели сверху, если это только вода, а не сплавившийся в стекловидную массу камень.

Матарет, не обращая на него внимания, остановился и с интересом глядел куда-то вдаль.

— Видишь? — указывая рукой, спросил он.

— Что?

— Не знаю, что это. Подойдем поближе.

Через несколько десятков шагов они ступили на твердый, скалистый грунт и могли уже ясно различить впереди какую-то линию, пересекающую их дорогу и тянущуюся до бесконечности в обе стороны. Когда они подошли поближе, то увидели металлический брус, приподнятый над землею и опирающийся на металлические козлы; брус этот тянулся из конца в конец пустыни, докуда достигал взгляд.

— Что это? — прошептал изумленный Рода.

— Видимо, тут все-таки кто-то живет, — заметил Матарет. — Похоже, эта странная вещь сделана руками человека.

— Не человека! Не человека! Быть может, какая-то жизнь тут и существует, но людей на Земле нету! Это бесспорно, и ты сам убедишься... Да разве стал бы разумный человек переводить столько железа неизвестно на что?

— Кто же тогда живет на Земле?

— Не знаю. Какие-нибудь существа...

— Шерны, — пробормотал Матарет, и оба почувствовали, как при одном упоминании о страшных первожителях Луны по телу у них пробежала дрожь.

Рода и Матарет с любопытством рассматривали рельс, который вдруг начал легонько гудеть.

Они с ужасом отскочили от него. Огромное сверкающее чудовище с плоской головой промчалось с ревом по рельсу с такой стремительностью, что когда они пришли в себя, оно уже было далеко. Перепуганные, ошеломленные, они стояли, не решаясь даже задать себе вопрос, что же это такое было.

Первым прервал молчание Матарет. Недоверчиво глядя в ту сторону, где скрылось чудовище, он пробормотал:

— Какой-нибудь земной зверь...

— Ну, если тут водятся такие страшилища... — пробурчал Рода. — Оно же длиной шагов сто, если не больше. И неслось, как вихрь. Ты заметил, какие у него ноги?

— Нет. Я только заметил, что у него вдоль тела до самого хвоста множество глаз, которые очень похожи на окна. И еще мне показалось, что оно катилось на колесах. Может, это вовсе не чудище, а какая-нибудь повозка?

— Не говори глупостей. Да разве может повозка мчаться с такой скоростью, если ее ничто не тянет?

— А кто тянул наш корабль сквозь пространство? — заметил Матарет. — Может, на Земле так устроено?

Рода на мгновение задумался.

— Нет, это невозможно. По одному единственному и притом такому гладкому брусу никакая повозка не могла бы ехать, она тут же перевернулась бы.

— Да, ты прав, — согласился Матарет.

Они пролезли между козлами под рельсом, недоверчиво поглядывая на него, и вновь пошли вперед с тоской и тревогой в сердцах. Они чувствовали себя чужими здесь; по легенде, которую они опровергали на Луне, Земля — колыбель людей, но им она показалась страшной и пустынной. Рода уставал быстрее Матарета и то и дело останавливался, жалуясь на невыносимую жару, которую, хотя она и не могла сравниться с жарой в лунный полдень, они в плотной земной атмосфере переносили куда тяжелее. Вокруг же среди желтой песчаной равнины нигде не было и намека на тень. Только далеко впереди виднелись странной формы скалы, казавшиеся в ослепительном сиянии почти белыми, а среди них нечто наподобие огромных растрепанных султанов на высоких чуть изогнутых столбах.

Из последних сил они брели к этим скалам в надежде найти под ними хоть немного прохлады и неожиданно обратили внимание на стремительно бегущие по песку тени. Рода первым поднял голову и увидел в небе стаю чудовишных птиц с широкими белыми крыльями и упло-

щенными хвостами. Матарет заметил, что у некоторых, летевших ниже, вместо ног колеса, и хотя птицы летели очень быстро, крыльями они не махали. Зато у них впереди головы, почти не разделявшейся с туловом, кружился какой-то вихрь, правда, едва заметный взгляду.

Очень быстро птицы улетели в ту же сторону, куда мчалось сверкающее чудовище.

— На Земле все ужасно, — онемевшими губами прошептал Рода.

Матарет молчал. Когда он наблюдал за птицами, его поразило положение солнца на небосклоне. Оно стояло низко и начало краснеть, скрываясь за какой-то желтоватой дымкой.

— Сколько времени прошло, как мы вышли из корабля? — поинтересовался он.

— Не знаю. Часов пять, может, шесть.

— Солнце тогда стояло в зените?

— Да.

Матарет указал на запад.

— Посмотри, оно уже садится. Совершенно непонятно. Неужели оно так быстро прошло по небу?

В первый момент и учитель был ошеломлен этим непонятным явлением. Он ужасно перепугался и остоленело смотрел на солнце, которое точно сошло с ума, пробежав за шесть часов почти половину небосвода, тогда как на Луне ему потребовалось бы на это несколько десятков часов. Но тут же на его пухлых губах заиграла улыбка.

— Матарет! — воскликнул он. — Неужели ты не запомнил ничего из того, чему я учил вас в Братстве Истины?

Лысый ученик вопросительно взглянул на учителя.

— На Земле сутки короче, — продолжал Рода, — и длятся всего двадцать четыре наших часа, а потому...

— Ой, верно!

И все же, несмотря на это объяснение, оба с тревогой следили за солнцем, которое, как им казалось, прямо-таки стремительно катилось по небосклону.

— Через час наступит ночь, — прошептал Матарет.

— Проклятие! — выругался учитель, забыв обо всем, что только что сам объяснял. — Триста пятьдесят часов тьмы и мороза. Что будем делать? Не надо было выходить из корабля.

На этот раз Матарет первым сориентировался в новых условиях.

— Если сутки двадцать четыре, то ночь будет длиться всего двенадцать часов. Ведь это Земля.

— Ну да, конечно, — спохватился Рода, а через не-

сколько секунд добавил: — И все равно непонятно. Мороз, конечно, даст нам знать, пока не взойдет солнце, но вот как будет со снегом? У нас на Луне он начинает идти часов через двадцать-тридцать после захода солнца, но тут же через двенадцать часов начнется новый день.

— Может, снегопад тут начинается быстрее?

За разговорами они продолжали идти вперед. Дневная жара немножко спала; они начали привыкать к увеличившемуся собственному весу, так что чувствовали себя не-сколько терпимей.

До скал уже было рукой подать. Под ногами из-под песка кое-где выглядывала гранитная порода, и в ее трещинах местами росла какая-то хилая пожелтевшая трава.

Рода и Матарет останавливались у каждой травинки и внимательно рассматривали ее, пытаясь по ее виду представить, как может выглядеть земная растительность, если таковая вообще существует.

Солнце зашло, и жители Луны, добравшиеся наконец до скал, стали искать, где бы укрыться на ночь, и вдруг в быстро сгущающейся темноте обратили внимание на огромное каменное изваяние получеловека-полузверя. Телом это чудовище более всего напоминало им собаку, единственное четвероногое животное, жившее с людьми на Луне, только выглядело оно округлей и мускулистей, а на поднятой шее у него была человеческая голова.

— Раз на Земле могут создавать из камня такие вещи, значит, тут есть разумные существа — либо люди, как мы, либо шерны, — после недолгого изумленного созерцания заключил Матарет.

— Но если они так выглядят... — кивнув на чудовище, пробормотал Рода.

Их переполнял страх и невыразимое уныние. Отыскав в расщелине скалы, как можно подальше от этого противостественного изваяния, укрытие, они стали готовить себе лежбище, чтобы хоть как-то уберечься от надвигающейся ночной стужи, но тут восточная часть неба вновь стала золотиться, и по ней разлилось светлое зарево, от которого поблекли яркие звезды, а затем на небосклон выплыл огромный красный сияющий шар.

Это было странно и непонятно, как все, что они видели здесь за этот самый короткий в их жизни день. Тем временем шар, словно бы наполненный светом, поднимался все выше, и хотя, казалось, уменьшался в размерах, но светил все ярче. Тьма отступила; ласковым серебряным отсветом сияли песок и скалы, и отсвет этот придавал видимость жизни каменному чудовищу.

— Что же это может быть за звезда?

Рода долго думал и вспоминал, наконец покачал головой и промолвил.

— Я такой не знаю.

Он не узнал Луну, с которой они прилетели всего несколько часов назад.

Но Матарету припомнилась картина, которую он наблюдал из иллюминатора летящего в пространстве корабля, и хотя то, что он видел тогда, было куда больше и не такое отчетливое, но все-таки некоторое сходство сохранилось.

— Луна! — воскликнул он.

— Луна...

С невыносимой жгучей тоской в несчастных сердцах они смотрели, как равнодушно проплывает по небу их родная планета, которую они утратили навсегда.

IV

Из сверхскоростного экспресса Стокгольм—Асуан вышла молодая светловолосая девушка с огромными темно-синими глазами, смотревшими на мир с каким-то полудетским изумлением. За нею, неся маленький чемоданчик, следовал седовласый, но еще крепкий господин с лицом в одно и то же время простоватым, хитрым, слегка туповатым и добродушным. Он чувствовал себя явно не слишком удобно в костюме, сшитом по последней моде, к которой никак не мог привыкнуть, и к тому же несколько утомился, упорно разыгрывая роль человека вполне еще не старого, хотя старался этого не показывать.

Едва девушка вышла из вагона, к ней устремился директор самого большого отеля «Олд-Грейт-Катаракт-Палас» и, с достоинством поклонившись, указал на ожидающее ее электрическое авто.

— Номер вам был готов еще вчера, — сообщил он с легкой укоризной в голосе.

Девушка улыбнулась.

— Дорогой господин директор, я крайне благодарна вам за то, что вы затруднились лично встретить меня, но я, право же, не могла вчера приехать. Кстати, я ведь телеграфировала.

Директор вновь поклонился.

— Вчерашний концерт отменили.

И он вновь указал на ожидающее авто.

— Нет, нет. Получите только мой багаж. У вас должны быть квитанции, — обратилась девушка к своему спутни-

ку. — Я пройдуся пешком. Вы не против, господин Бенедикт? Это же совсем недалеко.

Бодрый старичок что-то пробурчал под нос, разыскивая по карманам квитанции, а директор тактично постарался не выказать неудовольствия. В конце концов знаменитая Аза имеет право на любые прихоти, даже на такие невероятные, как, скажем, ходить пешком.

Выйдя из вокзала, певица стремительно пошла по аллее, обсаженной низкими пальмами. Она с наслаждением вдыхала воздух весеннего вечера. Сегодня утром, закутанная в теплые меха, она в Стокгольме села в вагон, промчалась туннелем под Балтийским морем, пронеслась через всю Европу, затем вновь проехала туннелем под водами Средиземного моря, затем по восточной кромке Сахары и вот, спустя несколько часов, еще до захода солнца любуется берегами Нила и с наслаждением расправляет молодое гибкое тело, немножко занемевшее после долгого сидения.

Она быстро шагала, забыв о своем спутнике, который едва поспевал за ней, и совершенно незаметно для себя дошла до огромного отеля. Номер ей приготовили на привилегированном верхнем этаже, откуда открывался вид на разлив Нила, который когда-то, тысячелетия назад, в пору своей юности, низвергался здесь водопадами со скал, скрытых теперь под водой, поднявшейся после возведения плотины и орошающей некогда пустынные земли.

Войдя в лифт, Аза спросила про ванну — та, естественно, была уже приготовлена. Не желая спускаться в ресторан, она распорядилась через два часа подать обед в номер.

Поручив г-ну Бенедикту проследить за прислугой, вносящей в номер вещи, Аза заперлась в спальне и даже отослала горничную. Около кровати была дверь в ванную, Аза настежь распахнула ее и стала быстро раздеваться. Оставшись в одном белье, она села на софу и подперла подбородок рукой. Ее огромные глаза утратили выражение детского удивления, в них появилось какое-то негибкое упрямство, холодный, жесткий свет; пурпурные губы сжались. Аза на минутку задумалась.

Сорвавшись с софы, она подбежала к телефонному аппарату, стоящему по другую сторону кровати, сняла трубки.

— Прошу соединить меня с центральной станцией европейских телефонов.

Некоторое время она молча слушала.

— Да... Хорошо... Это Аза. Скажите, где доктор Яцек? Узнайте, пожалуйста.

Через несколько секунд ей ответили:

— Его превосходительство генеральный инспектор телеграфной сети Соединенных Штатов Европы сейчас находится в своей квартире в Варшаве.

— Соедините меня с ним.

Аза повесила трубки, вернулась на софу и вытянулась на мягких подушках, положив руки под голову. Странная улыбка блуждала на ее устах, глаза, устремленные к потолку, блеснули.

Зазвенел негромкий звонок, и она вновь подошла к аппарату.

— Это ты, Яцек?

— Я.

— Я в Асуане.

— Знаю. Ты должна была быть там еще вчера.

— Я не поехала. Не хотела, чтобы вчерашний концерт состоялся.

— Вот как?

— И ты даже не спросишь, почему?

— Гм...

— Ведь у тебя вчера было ежегодное собрание Академии...

Аза схватила записную книжечку из слоновой кости, которую, раздеваясь, бросила на кресло, и, взглянув на запись — она переписала эти сведения по дороге из какой-то газеты, — продолжала:

— В восемь вечера в Вене. Ты докладывал там о...

Не разобрав нечетко написанное слово, Аза отбросила записную книжку и закончила с легкой укоризной в голосе:

— Вот видишь, я знаю!

— И что же?

— Ты не смог бы присутствовать на концерте. Он состоится завтра.

— Завтра меня тоже не будет.

— Будешь!

— Не могу.

— Но самолетом же это всего два-три часа...

— Значит не хочу.

Аза громко рассмеялась.

— Хочешь! И еще как хочешь! И будешь! До свидания. Нет, погоди! Ты слушаешь?.. Знаешь, что я делаю сейчас?

— Время обеденное. Скоро сядешь за стол.

— Нет, я собираюсь принять ванну! И сейчас на мне почти ничего нет.

Аза со смехом повесила трубки, сорвала с себя рубашку и бросилась в мраморную ванну.

А тем временем г-н Бенедикт, отпустив прислугу, еще раз пересчитал взглядом вещи. Все было в полном порядке. Он перешел в свой номер, вид которого сразу же вызвал у него беспокойство. Номер показался ему слишком большим и роскошным. Поискав взглядом на стенах ценник и не обнаружив его, Бенедикт позвонил.

Он спросил у вошедшего лакея, сколько стоит номер. Лакей изумленно воззрился на него: подобные вопросы были не в обычае «Олд-Грейт-Катаракт-Паласа», однако почтительно ответил, назвав весьма внушительную сумму.

Глаза г-на Бенедикта, светившиеся добродушием и хитростью, стали круглыми. С таинственно-доверительной миной он обратился к лакею:

— Голубчик, а не найдется ли у вас номера подешевле? Понимаешь, этот для меня слишком дорог.

Отлично вымуштрованный лакей все-таки сумел сохранить невозмутимое выражение на физиономии.

— На этом этаже других номеров нет.

— Почему же меня не спросили?

— Мы полагали, раз вы с госпожой Азой...

— Все верно, дорогуша моя, но я всю жизнь работал, как вол, не для того, чтобы теперь набивать вам карманы.

— Может быть, этажом ниже?

— Что поделаешь! Распорядись, голубчик, перенести мои вещи.

Бенедикт спустился вниз и осмотрелся в отведенном ему мстительным лакеем номере; по правде сказать, он был немногим дешевле, чем предыдущий, но зато совершенно темный, и к тому же в нем омерзительно воняло бензином от какого-то мотора, находящегося внизу во дворе. Г-н Бенедикт, грустно вздохнув, разложил вещи, после чего отправился на прогулку, не забыв тщательно запереть дверь на ключ.

Напротив отеля находился огромный игорный дом. Г-н Бенедикт неспешным шагом направился к нему. Нет, сам он никогда не рискнул бы поставить ни одного золотого в столь непредсказуемой игре, как рулетка, но любил смотреть, как другие проигрывают деньги. При этом он испытывал какое-то странное ощущение. Сравнивая себя с легкомысленными и алчными игроками, он чувствовал душевный подъем и даже нечто, смахивающее на умиление, при мысли о собственной бережливости. И в то же время г-н Бенедикт отнюдь не был жаден или скуп. Он страстно любил пение и с удовольствием мотался по всему свету в дорогих поездах, лишь бы побыть в обществе восхищавших его певцов. Весьма серьезно он подумывал, не броситься ли

ему в какое-нибудь любовное приключение, но поскольку опыта в подобных делах у него не было, он неизменно откладывал это на «потом».

В дверях игорного зала его остановил изысканно одетый лакей.

— Сударь, вы не во фраке? — полуутвердительно, полувопросительно бросил он, окинув критическим взглядом г-на Бенедикта.

Почему-то вопрос привел Бенедикта в ярость.

— Да, не во фраке, болван! — рявкнул он, стараясь при этом сохранять максимальное достоинство, отодвинул загордившегося дорогу лакея и вошел в зал.

Однако это незначительное происшествие испортило ему настроение. Некоторое время он бродил по залу, раздражаясь от того, что люди, на которых он смотрит, преимущественно выигрывают, без труда, словно назло ему, получая деньги, а когда какая-то размалеванная кокетка попросила его одолжить сто золотых, он молча развернулся и отправился назад в отель.

Аза уже ожидала его в столовой.

После обеда вдвоем г-н Бенедикт протянул певичке раскрытый портсигар, но она легонько отвела его рукой.

— Нет, спасибо. Я не буду курить. И вас попрошу сегодня не курить у меня. Мне надо беречь горло перед завтрашним концертом.

Не без грусти на добродушной физиономии старик поспешно спрятал портсигар.

— А вы ступайте к себе в номер и покурите, — предложила Аза. — Он же рядом.

— Я переехал этажом ниже.

— Почему?

— Здесь мне слишком дорого!

Аза расхохоталась.

— Нет, старичок, вы просто прелесть! У вас же куча денег.

Г-н Бенедикт почувствовал себя уязвленным. По-отечески снисходительно он глянул на смеющуюся девушку и с легким упреком в голосе изрек глубокомысленную сентенцию:

— Милостивая государыня, кто не бережет денег, у того они и не держатся. У меня есть деньги, потому что я их не швыряю понапрасну.

— А зачем же они тогда вам?

— Это мое дело. Да хотя бы для того, чтобы засыпать вас цветами после каждого выступления. Полжизни я трудился, как проклятый. И если бы я поступал, как вы...

— Как я?

— Разумеется. Вы телеграфом отменили вчерашний концерт, и теперь вам придется заплатить огромную неустойку компании..

— Но мне так захотелось!

— Ах, если бы вам действительно так захотелось! Но на самом-то деле вы опоздали по легкомыслию — засидевшись на приеме в клубе, пропустили последний поезд.

Певвица внезапно вскочила. Ее детские глаза вспыхнули гневом.

— Сударь, никому об этом ни слова! Ни слова! И вообще это неправда. Я не приехала вчера, потому что мне так заблагорассудилось.

— Дорогая моя, ну зачем же так сердиться? — успокаивал ее перепугавшийся г-н Бенедикт. — Я, право же, вовсе не собирался обидеть вас и не думал...

Аза уже смеялась.

— Ничего страшного. Ой, какое у вас испуганное лицо! — воскликнула она и совершенно неожиданно вдруг спросила: — Господин Бенедикт, я хороша собой?

Вытянувшись, она стяла перед ним в легком цветастом домашнем платье с широкими рукавами и клинообразным вырезом на шее. Откиннутая голова с короной светлых волос, руки сплетены на затылке, из опавших рукавов выглядывают округлые белые локти. На устах дрожит манящая улыбка, чуть-чуть выпяченные губы набухли, словно бояться слишком широко раскрыться и выпустить на волю поцелуи.

— Хороша! Хороша! — прошептал г-н Бенедикт, восторженно глядя на нее.

— Очень хороша?

— Очень!

— Я красивая?

— Прекрасная! Чудная! Несравненная!

— Я устала, — опять сменив внезапно тон, бросила Аза. — Ступайте к себе.

Однако после его ухода она не пошла отдыхать. Опершись белыми локтями на стол и обхватив ладонями подбородок, она долго сидела, нахмурив брови и сжав губы. Недопитый бокал шампанского стоял перед ней, сияя в свете электрических свечей всеми оттенками топазовой радуги. То был старинный, бесценный венецианский бокал, тонкий, как лепесток розы, чуть-чуть зеленоватого оттенка, словно бы подернутый легкой опалово-золотистой дымкой. Рядом на белоснежной скатерти лежали виноградные гроздья: огромные, почти белые из Алжира и маленькие, цветом

похожие на запекающуюся кровь — со счастливых греческих островов.

В дверях встал лакей.

— Можно убрать со стола?

Аза вздрогнула и поднялась.

— Да. И, пожалуйста, пошлите мне с горничной еще бутылку шампанского в спальню. Только не очень охлажденного.

Она прошла в будуар, достала дорожную стальную шка-тулку и открыла ее золотым ключиком, который висел у нее на поясе вместе с брелоками. Высыпала на стол связку записок и счетов. Долго подсчитывала какие-то суммы, выводя карандашом цифры на пластинках слоновой кости, а затем вынула пачку телеграмм. Аза торопливо проглядела их, выписывая из некоторых имена и даты. В основном то были приглашения из разных городов со всех сторон света удостоить их посещением и дать один-два концерта в самом большом театре. Телеграммы были короткие, составлены почти в одних и тех выражениях, вся их красноречивость заключалась в цифре, названной в конце, как правило, очень большой.

Некоторые из них Аза откладывала с презрительным или безразличным видом, над некоторыми надолго задумывалась, прежде чем записать на табличке дату.

Из пачки телеграмм выпал случайно попавший в них листок. На нем было написано только одно слово: «Люб-лю!» — и имя. Певица улыбнулась. Красным карандашом она дважды подчеркнула имя, несколько секунд думала, приписала дату двухнедельной давности и стала искать в шкатулке место для этого листка.

У нее из рук посыпались записки и листки, нередко вырванные из записных книжек: на некоторых было второпях написано всего несколько слов. На иных ее рукой были сделаны короткие приписки — дата, цифры, иногда просто какой-нибудь значок. Аза перебирала их, то улыбаясь, то хмурия брови, словно с трудом припоминая писавшего. Один листок она поднесла к свету, чтобы прочесть нечетко написанное имя.

— Ах, это он, — прошептала Аза. — Уже умер.

Она порвала бумажку и бросила в угол.

Теперь в руках у нее был листок старинной черпальной бумаги, несколько уже пожелтевший и словно выглаженный частыми прикосновениями пальцев. Он источал аромат ее платья и тела: видно, она долго носила его при себе, прежде чем он попал в эту стальную шкатулку к другим бумагам.

Губы ее дрогнули; она пристально всматривалась в написанные карандашом несколько слов, почти уже стершихся.

Чуть отчетливей выделялись только два фрагмента, где рука писавшего сильнее нажимала на карандаш: «ты прекрасна» и подпись внизу — «Марк».

Аза долго сидела, не отрывая глаз от этих слов, вспоминая человека, который написал их, день и час, когда они были написаны, а потом, углубляясь все дальше в прошлое, перешла к воспоминаниям о своей жизни, начиная с ранней юности, с затерявшегося где-то в памяти детства.

Нищета, вечно пьяный отец, вечно плачущая мать, работа в кружевной мастерской и первые взгляды мужчин, оглядывавшихся на улице на совсем еще маленькую девочку.

Аза с отвращением содрогнулась.

А перед глазами вставал цирк, танец на проволоке и аплодисменты... Аплодисменты, когда в финале бесстыдной любовной пантомимы она, отклонясь, держась на проволоке одной ногой, на пуанте, а вторую откинув назад, позволяла себя целовать гнусному шуту, стоявшему у нее за спиной.

Цирк содрогался от рукоплесканий, а у нее сердце сжималось от ужаса, потому что всякий раз шут, глядя на нее налитыми кровью глазами, шептал сдавленным голосом:

— Если не согласишься, макака, столкну, и свернешь шею.

Ужины в роскошных ресторанах и все те же взгляды и похотливые улыбки почтенных отставных сановников; улыбки, которые она уже умела обращать в золото...

Ненавистный омерзительный благодетель, имя которого она почти забыла; учеба пению и первое выступление, ну, а потом цветы, слава, богатство... Люди, которыми она научилась помыкать, прельщать, оставаясь совершенно холодной, а после, когда они надоедят или разорятся, равнодушно отбрасывать...

Аза вновь взглянула на записку, которую не выпускала из рук. Только от этого человека она бегала, только его боялась. Она помнит свои письма ему — письма, какие писали много веков назад, в правданные смешные времена:

«О, если бы за мной не было всей этой жизни, если бы, целуя тебя, я могла бы сказать, что ты первый, кому я дарю поцелуй!...»

Аза внезапно вскочила и, побросав все бумажки в шкапулку, побросав в беспорядке, нервным движением захлопнула ее. Некоторое время она расхаживала по комнате, и

глаза ее сверкали под нахмуренными бровями. Красивый маленький рот искривился в усмешке, которая должна была бы выражать презрение, но приподнятые, чуть подрагивающие уголки губ создавали ощущение, что прославленная певица Аза готова вот-вот расплакаться.

Она потянулась к бутылке шампанского, уже несколько минут ожидавшей ее на столе. Налила до краев бокал и залпом выпила чуть охлажденное жемчужного цвета вино, стекающее белой пеной по пальцам.

И вдруг ей захотелось свежего воздуха. Она вошла в лифт, находящийся в номере, и поднялась на крышу.

Здесь на плоской кровле огромного здания был разбит сад с карликовыми пальмами, экзотическими кустами, редкими кактусами и цветами, источающими терпкий, удушливый аромат. Аза стремительно прошла по устланном тростниковыми циновками дорожкам и остановилась у ограждающей сад балюстрады.

Из пустыни дул освежающий ночной ветерок. Сухо шелестели карликовые пальмы, дрожали пергаментные листья смоковниц. Аза стояла и с наслаждением дышала. За спиной у нее находилась бескрайняя непроницаемая пустыня, до сих пор не покорившаяся трудолюбивым человеческим рукам, а перед ней внизу широко разлился Нил, над которым откуда-то со стороны Счастливой Аравии, со стороны Красного моря вставала огненная Луна.

Вода заблестела, засеребрилась, и где-то вдали над ее поверхностью можно было различить темные очертания словно бы скал и стволов, возносящихся из глубины; с каждой минутой в сиянии лунного диска они становились все отчетливей и резче... То были развалины храма, посвященного в древности Исиде, на давно уже затопленном острове.

Блуждающий взор певицы остановился на этих руинах, и ее прекрасные уста раскрылись в торжествующей улыбке.

V

В глубине души Хафид презирал и цивилизацию, и все ее выдумки. Он возил на базар финики по старинке, на верблюдах, как его отец, прадед и прапрадед в те давние времена, когда Ливийскую пустыню еще не пересекали одно- и двухрельсовые дороги и над нею не летали птицы из полотна и металла, внутри которых сидят люди.

Быть может, он был единственным человеком на свете, который всем сердцем радовался, что несмотря на колос-

сильнейшие усилия, затопление Сахары не удалось. Ему вполне хватало родного оазиса, в котором растут финиковые пальмы, и многолюдного базара в городе над Нилом.

Было раннее утро. Сидя на старом дромадере, он вместе с двумя работниками вел караван из восьми тяжело навьюченных верблюдов и заранее радовался, предвкушая, как продаст груз в лавки, а на вырученные деньги вместе с друзьями напьется до бесчувствия. Хмельное было единственным из даров цивилизации, который он принимал и ценил. Под старость Аллах тоже стал снисходительней и, чтобы не оттолкнуть от себя и без того не слишком верящих в него почитателей, уже не так строго запрещал им огненные напитки.

И Хафид в простоте своего сердца радовался, что в оазисе растут пальмы и на них созревают финики, что он возит эти финики в Асуан, а там люди охотно их покупают и что единый и всемилостивый Бог дозволил неверным собакам настроить кабаков и закрывает глаза, когда правверные напиваются в них. Он как раз размышлял над столь совершенным и справедливым устройством мира, когда его работник Азис, которому надоело долгое молчание, заговорил, указав пальцем на запад:

— Люди говорят, что вчера где-то за дорогой упал с неба огромный камень.

Хафид философски пожал плечами.

— Может, звезда какая-нибудь сорвалась, а может, одна из этих проклятых искусственных птиц сломала крылья.

Помолчав, он улыбнулся.

— Приятно видеть, как падает человек, который ни с того ни с сего летает по воздуху, вместо того чтобы ездить на верблюде, сотворенном Аллахом нам для удобства.

Но поскольку человек он был практичный, то, подумав, спросил с интересом:

— А не знаешь, куда он упал?

— Не знаю. Говорят, за дорогой, но, может, врут.

— Может, врут, а может, и нет. В любом случае, когда будем возвращаться, надо будет поискать. Ежели кто упал, так убился, а тому, кто убился, уже не нужны деньги, которые у него могли быть при себе. Жаль будет, если их приберет к рукам какой-нибудь недостойный человек.

Еще с час они проехали в молчании. Солнце уже припекало, когда они доехали до скал, за которыми виднелись стены города над Нилом. Хафид чрезвычайно дружелюбно поглядывал на скалы: они были важным звеном в божественной гармонии мира. Когда, пьяный, он возвращался

домой, гонимый, невзирая на усталость, к родному очагу героическим чувством долга, его дромадер, лишенный, как и всякий скот, души, опускался здесь в известном месте на колени и сбрасывал хозяина на скудную травку, растущую в тени скалы. Таким образом Хафид с чистой совестью, ни в чем не укоряя себя, мог проспать и прийти в чувство.

Хафид как раз размышлял о столь мудром установлении Провидения, и тут вдруг верблюды начали фыркать и тянуть длинные шеи к торчащей из песка потрескавшейся скале. Азис забеспокоился и вместе со вторым работником Селимом пошел взглянуть, что там встревожило верблюдов. Через минуту они принялись звать Хафида.

Дело в том, что там они обнаружили дрожащих от страха пришельцев с Луны.

Когда Рода открыл глаза, у него было ощущение, будто заснул он всего несколько минут назад, и еще он был безмерно поражен, увидев, что на горизонте уже взошло солнце и довольно сильно пригревает. Не сразу он вспомнил, что находится на Земле и что тут так заведено. Спутник его спал чутко и тоже вскочил, едва Рода зашевелился.

— Что случилось? — бросил он, протирая глаза.

— Ничего. Солнце светит.

Они оба вылезли из укрытия, удивляясь, что ночь прошла без снега и мороза. При этом они убедились, что Земля все же не лишена растительности покрупней и обильней, чем та, какую они видели вчера: в нескольких десятках шагов от них раскачивались чудные высокоствольные деревья с зелеными венцами огромных листьев на макушках. Это вдохнуло в них надежду, что, быть может, удастся сохранить здесь жизнь, и только воспоминание о виденных вчера чудовищах отравляло их души тревогой.

Боязливо оглядываясь, они стали красться к деревьям, но, завернув за скалу, застыли, потрясенные открывшейся картиной. Перед ними возносилось нечто, что можно было бы назвать развалинами дома великанов. Остолбенело взирали они на невероятной толщины колонны, на гигантские каменные блоки, которые опирались на эти колонны и, видимо, служили крышей.

— Существа, которые здесь жили, были больше Победоносца раз в шесть, а то и в десять, — задрав голову, пробормотал Матарет.

Рода, заложив руки за спину, рассматривал руины.

— Они уже давно покинуты и разрушились, — изрек он. — Посмотри, какие колючие кусты выросли в трещинах.

— Да. И все же, учитель, это доказывает, что Земля

вовсе не необитаема, как ты неизменно втолковывал нам. Тут, наверное, есть люди, только огромные. Взгляни-ка! Какие изображения на стенах! Посмотри, они точь-в-точь похожи на людей, только у некоторых собачьи, а у некоторых птичьи головы.

Рода недовольно поморщился.

— Дорогой мой, — наставительно произнес он, — я всегда утверждал, что сейчас на Земле людей нет, но когда-то они вполне могли жить на ней. И против этого я никогда ничего не говорил. Да, весьма вероятно, что раньше на Земле были другие условия и прежде чем она стала бесплодной пустыней, на ней могли жить люди или какие-нибудь подобные людям существа. Теперь же, как сам видишь, их бывшие жилища лежат в развалинах, жизнь здесь угасла, и...

Он умолк, обеспокоенный каким-то звуком, долетевшим до них из пустыни. К ним приближались неправдоподобные и страшные существа о четырех ногах и двух головах, из которых одна покачивалась впереди, а вторая, очень смахивающая на человеческую, торчала над спиной зверя.

— Бежим! — крикнул мудрец, и оба потрусили к укрытию, в котором провели ночь. Там, зарывшись в сухие пальмовые листья, они в смертельном страхе ожидали, когда ужасные эти твари пройдут мимо.

Однако их надежде не суждено было сбыться. Верблюды их учуяли, а работники Хафида вскоре вытащили из-под пальмовых листьев и, пораженные своей находкой, стали призывать хозяина.

Араб неспешно — работники были черными, и чрезмерно торопиться на их зов было бы ниже его достоинства — приблизился, и глазам его открылось поистине поразительное зрелище.

Возле разметанного логова из камней и сухих листьев стояли два страшно перепуганных существа, имеющих человеческий облик, но до смешного маленьких. Один из этих человечков был лысый и лупоглазый, а второй вертел слишком большой для своего росточка головой с торчащими патлами и лопотал что-то, чего ни один порядочный человек понять не смог бы. Работники с наигранной угрозой тыкали в их сторону палками и взалех хохотали над их безумным страхом.

— Что это такое? — осведомился Хафид.

— Не знаем. Может, ученые обезьяны, а может, люди. Ишь, говорят чего-то.

— Да где вы видели, чтобы люди так выглядели? Таких людей не бывает.

Хафид слез с дромадера, схватил лохматого человечка за шиворот и поднял, чтобы получше рассмотреть. Тот отчаянно заверещал и задрывал ногами. Это привело работников в неопиcуемый восторг, они чуть не лопались от хохота.

— Заберем их с собой в город?

— Может, кто купит...

Хафид затряс головой.

— Нет, продавать не стоит. Куда больше можно будет заработать, если показывать их в клетке или водить на веревке. А что они тут делали, когда вы пришли?

— Лежали, прятались, — отвечал Азис. — Я едва их вытащил. Они страшно перепугались, смотрели то на меня, то на верблюдов и что-то лопотали по-своему.

А тем временем лысый человечек взобрался, чтобы казаться повыше, на камень и принялся что-то говорить, размахивая руками. Хафид и оба его работника смотрели на него, а когда он кончил, весело рассмеялись, решив, что это одна из шуточек, которой карлика выучили в цирке.

— Может, он голодный? — заметил Хафид.

Селим вынул из вьюка горсть фиников и на ладони подал их карликам. Те недоверчиво смотрели, не решаясь протянуть руку к предложенным плодам. Тогда подстрекаемый сострадательностью Селим левой схватил лохматого за шиворот, а правой попытался засунуть ему в рот финик, но тут же вскрикнул и выругался. Человечек впился ему в палец зубами.

— Ишь ты, кусается, — удивился Азис и, отодрав от бурнуса кусок грязной тряпки, крепко обмотал ею голову опасного уродца. После этого обоих привязали веревками из пальмового волокна к вьюкам и поспешили с неожиданной добычей в город.

— Первым делом нужно будет купить клетку, — рассуждал Хафид. — Так их показывать нельзя. Еще сбегут. — И, подумав, добавил: — Не надо, чтобы люди прежде времени их увидели. Лучше, если мы пока спрячем их в мешки.

Перед въездом в город он засунул сопротивляющихся карликов в пальмовые мешки и крепко их завязал.

Днем, занятый куплей-продажей, Хафид начисто забыл про них, тем паче, что день был особенный и поглазеть было на что. Вроде какая-то певица вечером должна была давать представление, и на него со всех сторон света съехалась тьма народу. Из каждого поезда, приходившего на вокзал, высыпали толпы, а самолеты садились целыми стаями, точь-в-точь как осенью ласточки, прилетающие с европейских берегов. Было множество нарядных дам и господ,

у которых, видать, нет другой заботы, кроме как по нескольку раз в день переодеваться и показываться людям в новых нарядах, точно на маскараде.

Хафид, сгрузив с верблюдов финики, бродил по городу, глазел, дивился. Только вечером в кабаке он вспомнил про найденных уродцев и велел работникам привести их. Селим побежал к верблюдам за добычей, Азис же принялся рассказывать, с каким огромным трудом ему удалось добиться доверия этих странных существ и накормить их кокосовым молоком.

— Они вовсе не глупые, — доказывал он, — у них даже имена есть! Они все показывали друг на друга и повторяли: «Рода! Матарет!»

— Ага! Так их, наверное, называли в цирке, откуда они сбежали. Это, видать, ученые обезьяны, — сделал вывод Хафид.

И в предвкушении больших денег, которые он соберет, показывая их, Хафид велел принести большую бутылку водки. При этом он ощутил в своем благородном сердце прилив щедрости и пригласил в отдельную комнату нескольких друзей, желая угостить их и для почина показать задаром карликов, которых уже привел Селим.

Первым делом со стола все убрали и вытащили его на середину комнаты. Погонщики верблюдов и ослов, возчики, носильщики с любопытством разглядывали карликов, вертели их во все стороны, щупали лица, проверяя, похожа ли их кожа на человеческую. Хафид принялся хвастать, какие они сообразительные.

— Рода, Матарет, — говорил он, показывал пальцем то на одного, то на другого.

Человечки кивали, явно довольные, что наконец-то их поняли. После этого все наперебой стали задавать им вопросы, естественно, не получая вразумительного ответа. Но спустя некоторое время карлики, видимо, сообразили, чего от них добиваются собравшиеся, один из них, который откликнулся на кличку Рода, наклонился к окну, сквозь которое в комнату заглядывала Луна, и принялся упорно тыкать в нее рукой, лопоча что-то на непонятном языке.

— Они с Луны свалились, — пошутил Хафид.

Ответом ему был громовой хохот. Все ради забавы стали показывать на Луну и жестами изображать малышам, как они упали с нее. И всякий раз, когда те утвердительно кивали, гости, большинство из которых уже изрядно захмелело, заходились неудержимым пьяным смехом.

Кто-то подсунул плешивому уродцу по кличке Мата-

рет плошку с водкой. Тот, должно быть, страдал от жажды и, ничего не подозревая, отхлебнул большой глоток, но тут же ко всеобщей радости поперхнулся и страшно закашлялся. Второй страшно разозлился, стал что-то верещать, топая ногой и размахивая руками. Это было до того смешно, что когда он немножко приутих и перестал яриться, один возчик взял индюшачье перо и принялся щекотать человечку в носу, чтобы вызвать у него новый приступ гнева.

А отравившийся водкой Матарет лежал на столе и стоял, сжимая руками плешивую голову.

V

Плавно, медлительно, как птица, что, паря на широких крылах, сплывает к земле, белый самолет спускался на спокойное в вечерний час Нильское водохранилище. Яцек летел один, без пилота. Уже с минуту как он остановил вращавшийся пропеллер, и теперь самолет скользил вниз на распростертых крыльях, словно воздушный змей, лишь иногда легонько покачиваясь при дуновении ветра. Далеко впереди, там, где когда-то был священный остров Филадельфия, над освещенными огнями развалинами сияло зарево.

Уже почти коснувшись воды, Яцек снял руки со штурвала и резко потянул два находившихся по бокам рычага. Под самолетом в тот же миг развернулась парусиновая лодка и острым днищем коснулась нильской волны, взбив тучу брызг, напоенных лунным серебром.

Двумя другими рычагами Яцек поднял вверх белые крылья, и они образовали два соединенных накрест паруса, подобных парусам лодок, что плавают у подножья Альп по озеру Леман.

Откуда-то от Аравии дул легкий ветерок, гоня по воде мелкую серебристую волну. Яцек позволил нести себя волнам и ветру, слушая журчанье струй, обтекающих нос лодки. И только когда перед ним замаячил близкий берег, он очнулся от задумчивости и стал ловить парусом ветер, направляя лодку к виднеющимся в отдалении руинам.

Некоторое время он плыл в лунном свете один, но по мере приближения к бывшему храму Исида ему стали чаще встречаться самые разные лодки, и в конце концов вокруг оказалось их столько, что под ними уже и воды не было видно. Все они направлялись к храму, теснясь и стараясь обогнать друг друга; то и дело слышались ругательства лодочников или крики женщин, перепуганных креном у-

лого суденышка, получившего удар веслом в борт. Многочисленные моторные лодки, двигателем которых было электричество, едва продвигались в этой сутолоке, с трудом пробивая себе дорогу сверкающими носами.

К счастью, перед Яцеком открылось несколько метров свободного пространства, и он вновь раскинул крылья самолета и включил воздушный пропеллер.

Легко, как чайка, срывающаяся с водной глади в полет, самолет Яцека взмыл вверх и закружил над теснящимися лодками. Они сверкали под ним разноцветными огоньками, словно фонарики, пущенные по реке. Где оказывалось чуть побольше свободного места, вода тут же воспроизводила огни, горящие на лодках, дробя мелкой набегающей волной их отражения и превращая в продолговатые переливающиеся золотом пятна.

Храм Исиды сиял изнутри, словно в нем под пурпурными тентами, натянутыми между колоннами без капителей, укрывалось солнце.

При входе у остатков пилонов находились бдительные контролеры; они принимали у зрителей билеты и назначали им провожатых, которые указывали лодкам места в залитом водой храме. Яцек бросил сверху билет, завернутый в носовой платок, и опустил на своем крылатом челне в ненакрытом тентом преддверии храма.

Тут высились колонны египетских размеров, затопленные на половину своей высоты и уже покрывшиеся плесенью на границе с водой, но выше сияющие неуничтожимой красотой красок, которые пережили столько веков, что даже мысль, желая счесть их, путается и сбивается. У входа в анфиладу гигантских нефов, накрытых покровом из пурпурной ткани и залитых ярким светом, на двух балкончиках, подвешенных над самой водой на пилонах, тоже стояли контролеры и зорко следили, чтобы внутрь не проник кто-нибудь, не имеющий на то права. Здесь Яцек свернул крылья самолета, снял их, закрепил по бокам и дальше поплыл в ничем не примечательном челноке, в какой превратился его воздушный аппарат.

Храм весьма смахивал на ярмарочный балаган; его заполняли цивилизованные и богатые варвары со всех концов света. Они плавали в неаполитанских барках, моторных лодках, черных венецианских гондолах, сновали по свято-татственно подвешенным к стенам и колоннам металлическим галереям, отираясь локтями о древние иероглифы и изображения богов, которых много десятков столетий назад

вырезали в камне и которые теперь стояли по колено в воде, что затопила их священный остров.

Яцек в неприметном дорожном костюме, не привлекая ничьего внимания, лавировал между лодками, направляясь вглубь сквозь становившийся все более густым лес колонн, покрытых резьбой и увитых у верхушек венками искусственных электрических огней.

В последнем зале ламп не было. Под сохранившимся с древних времен перекрытием — гранитными блоками, лежащими на лотосах, которыми завершались колонны, — струился голубоватый переливающийся полусвет, словно застывшая и плененная летняя зарница, разливаясь во все стороны от головы таинственной богини. В этой части храма у пьедестала изваяния вода была не так глубока и тоже насыщена волнами голубого света; она казалась каким-то сказочным водоемом, где бьет волшебный источник.

И в этом свете высилось огромное черное изваяние Исиды с поднятой рукой, с замершими приоткрытыми устами, на которых словно застыло тысячелетия назад слово неизреченной, до сих пор остающейся непостижимой тайны.

А у ног статуи на огромном искусственном листе лотоса стояла женщина. Ее светлые волосы были спрятаны под полосатым, как у египетской богини, платом; голову венчала тиара, украшенная в навершии птичьей головой и солнечным диском. Тонкие плечи были закутаны в серебристый газ, бедра завернуты в тяжелую жесткую ткань, стянутую поясом, который скреплял громадный бесценный опал. Из-под ткани выступали белые обнаженные ноги с золотыми браслетами на лодыжках, точно такими же, какие были на запястьях воздетых рук.

Увидев, с каким вожделием пялится на нее толпа, Яцек опустил глаза и стиснул зубы.

Аза пела, сопровождая пение чуть заметными волнообразными движениями плеч и бедер. Пела странную ритмичную песню о богах, которых уже много тысячелетий никто не почитает.

Пела о борьбе света и тьмы, о высшей мудрости, сокрытой непроницаемой тайной, о Жизни и Смерти.

Пела о героях, о крови, о любви...

Скрытый оркестр, казалось, звучал где-то в истекающей светом глубине, и гармоническая музыка послушно следовала за голосом певицы, дрожа, словно в священном ужасе, когда та повествовала о таинстве возрождения к жизни, вторила ей бурей звуков, когда она славila победоносных

светозарных героев, шептала тихо, пламенно, самозабвенно, когда Аза пела о блаженстве и сладости любви.

Она пела в полуразрушенном, подмытом водой храме Исиды, окруженная блистательной толпой, которая не верила ни в богов, ни в героев, ни в жизнь, ни в смерть, ни в любовь, а пришла сюда только потому, что то было неслыханное, небывалое событие — концерт в древнем храме, и его давала знаменитейшая, прославленная Аза, а еще потому, что за вход нужно было выложить сумму, которой бедняку хватило бы на год жизни.

Немного здесь было таких, кто пришел ради великого искусства артистки и теперь наслаждался ее дивным выразительным голосом, колдовски воссоздающим то великое, что было, но минуло и теперь почти забыто. Зрители, в основном, глазели на ее лицо, на обнаженные колени и плечи, мысленно подсчитывали стоимость немногих, но бесмерно дорогих украшений и с нетерпением ждали, когда она кончит петь священные гимны и начнет танцевать перед толпой.

Но понемногу начало свершаться чудо. Певица трогала голосом людские души, сокрытые глубоко в утробах, и пробуждала их. Раскрывались доселе незрячие глаза, и души, потрясенные тем, что они существуют, что живы, начинали вибрировать в такт собственного напева... То один зритель, то другой вдруг прижимал руки к груди и словно бы впервые разверзшимися очами ловил странные, спавшие в мозгу воспоминания, полученные в наследство от многих и многих поколений, и под воздействием певицы ему краткий миг мнилось, будто он и впрямь предан богине и готов идти на битву за свет, как только призовут его эти уста — царственные, обольстительные, властные. И тогда обострившимся слухом человек ловил каждый звук ее голоса, самозабвенно следил взглядом за каждым движением ее почти нагого тела. В короткие перерывы, когда она прекращала петь и только кружилась в священном танце, колышась в такт ритму, который подавала ей откуда-то из глубин умолкающая музыка, такая тишина наполняла бывший храм, что был слышен легкий-легкий плеск волн, что долгими десятилетиями неумоимо подмывали колонны и слизывали вырезанные в граните таинственные знаки.

Яцек медленно поднял глаза. Свет незаметно переходил из голубоватого в фиолетовый и почти сразу же в кроваво-пламенный; яркие лучи, блуждавшие под потолком, неизменно когда погасли; только вода пылала — как море холодного огня, да какие-то застывшие молнии вспыхивали за

изваянием Исиды, которое на этом фоне стало еще черней и, казалось, увеличилось, выросло. В темноте уже была неразличима таинственная улыбка прекрасных уст богини; только рука, поднятая на высоту лица, все тем же мягким, сдержанным жестом то ли тщетно призывала к молчанию, то ли подавала некий знак, который уже многие тысячелетия никто не был способен ни понять, ни истолковать.

На какое-то мгновение Яцеку почудилось, будто на темном лице богини он видит живые глаза, обращенные к нему. И не было в них ни гнева, ни возмущения этими людьми, что устраивают развлечения в месте, которое некогда соорудили для свершения величайших таинств, не было сожаления по давнему поклонению, не было печали, что храм разрушается; в этом взгляде читалось лишь непостижимое, уже десятки веков длящееся ожидание человека, который придет сегодня... завтра... через столетие... через тысячу лет, покорится жесту богини, требующему молчания, и воспримет из ее уст высшую тайну.

Исида с высокого трона не видит разрушения, постигшего все вокруг, не видит толпы, не слышит шума, криков, пения, как, наверное, некогда не видела смиренных паломников, молчаливых жрецов, не слышала молитв, просьб, гимнов. Она смотрит вдаль, жестом велит молчать и ждет...

Идет ли? Близок ли тот, долгожданный?

И придет ли он когда-нибудь?

Но в этот миг Яцек вздрогнул от вдруг вспыхнувшего яркого света и голоса вновь запевшей Азы. Аза пела теперь об утраченном божественном возлюбленном Осирисе, передавая голосом и движениями самозабвенного танца сладость и упоение любви, страсть, тоску и отчаяние.

Яцек вздрогнул; он отвернулся, чувствуя, как лицо его заливают краска непонятного стыда. Он хотел вспомнить улыбку и только что виденные мысленным взором глаза богини, но вместо этого в воображении упрямо оставалось пойманное боковым зрением движение грудей танцовщицы и ее по-детски маленькие полуоткрытые влажные губы. Жаркая волна ударила ему в голову; он поднял веки и вызывающе, страстно, забыв обо всем, всматривался в Азу.

А ее белые плечи трепетали, и трепет пробежал по всему телу от головы до ног, когда с уст, словно набухших от желания и еще болящих после поцелуев, лилась песнь о божественном Осирисе, о сладости его объятий и о пламенном, жизнь отнимающем обладании. Рухнули чары, державшие людей в заколдованном круге. Души, наполовину выглянувшие из тел, мгновенно укрылись в них, как прячутся

в дупла деревьев малые лесные зверьки; люди уже не могли слушать иначе, как сладострастными нервами, возбуждающими застывшую кровь. Глаза их мутнели, кривились губы в похотливой улыбке, в горле щекотало от вожделения.

Теперь толпа стала хозяином, а певица — купленной ею рабыней, которая за деньги обнажает плечи и грудь, под видом искусства за деньги позволяет прикасаться к себе липкими, нечистыми мыслями и выставляет на всеобщее обозрение тайны своих чувств.

Яцек невольно поднял глаза на лицо богини; как прежде, оно было невозмутимо, в нем чувствовалось ожидание, и непостижимая улыбка таилась на устах.

Вновь — мгновение полнейшей тишины, и весь храм взорвался громом рукоплесканий, несущихся, подобно лавине, отовсюду. Вода под раскачивающимися лодками заплескалась, заволновалась.

Аза кончила петь и, усталая, оперлась о колени изваяния Исиды. Две служанки набросили ей на плечи белый плащ, но она не уходила, взглядом и улыбкой благодаря за безумную, все не утихающую овацию. Люди без конца выкрикивали ее имя и бросали ей под ноги цветы, так что вскоре она стояла словно в плавучем саду — царственная, торжествующая. А над ней все так же возносилась рука Исиды, тщетно призывая мистическим жестом к безмолвию...

Вдруг Аза, словно что-то припомнив, стала осматриваться и наконец ее взгляд встретился со взглядом Яцека. Уста ее на миг тронула едва уловимая улыбка, и тут же она отвела глаза. Яцек увидел, что к ней приблизился небезызвестный господин Бенедикт, который ездит за ней по всему свету. Аза что-то сказала ему, потом говорила с другими людьми, теснившимися вокруг, — улыбающаяся, кокетливая и одновременно царственная. Чувствовалось, она убедилась, что Яцек здесь, и теперь намеренно избегает смотреть на него.

Яцек отплыл к гигантским колоннам и направился между ними к выходу. Его гнело непонятное чувство стыда, раздражали взгляды людей, удивленных, что какой-то чудак покидает «театр» именно сейчас, когда Аза, кончив первый номер программы, выступит в самой знаменитой своей роли — нагая будет исполнять танец Саламбо¹ со змеями, а потом со священным покрывалом богини.

Яцеку было душно в огромном зале и тесно. Хотелось

¹ Героиня одноименного романа Г. Флобера (1821—1880), посвященного истории древнего Карфагена.

поскорей выбраться на простор, увидеть звезды и водную ширь, посеребренную лунным светом.

Столпотворение перед храмом прекратилось. Часть лодок была внутри, часть, не нашедшая там места, вернулась в город. Только несколько пароходиков ожидали зрителей, что занимали места на галереях. Яцек проплыл мимо них и повернул к берегу. Ему не захотелось ни поднимать парус, ни включать мотор, и он поплыл, подгоняемый ветром, дующим от Аравии, чуть покачиваясь на слабой волне.

Недалеко от берега ему почудилось, будто кто-то позвал его по имени. Удивленный, он глянул на берег — там было тихо и пусто, лишь в лунном свете на фоне неба вырисовывались тонкие силуэты трех пальм. Он уже собрался плыть дальше, но снова услышал, а верней, почувствовал голос, который звал его.

Яцек пристал и вышел на берег. Под пальмами сидел полунагой человек с непокрытой головой, одетый в рваный бурнус; длинные черные волосы опадали ему на плечи. Он сидел неподвижно, скрестив на груди руки и устремив взгляд к звездам.

Яцек наклонился и заглянул ему в лицо.

— Нианатилока!

Человек неторопливо повернулся к нему и ответил дружеской улыбкой, не выказав ни малейшего удивления.

— Да, я.

— Что ты тут делаешь? Откуда ты взялся? — изумился Яцек.

— Сiju здесь. А ты?

Молодой ученый не ответил, а может, не захотел. После недолгого молчания он снова спросил:

— Откуда ты узнал, что я здесь?

— Я не знал.

— Но ты же звал меня. Дважды позвал.

— Я не звал. Просто в этот миг я думал о тебе.

— Но я же слышал твой голос.

— Ты услышал мою мысль.

— Странно, — прошептал Яцек.

Индус усмехнулся.

— А разве не странно все, что нас окружает? — заметил он.

Яцек молча сел на прохладный песок. Буддист не смотрел на него, но у Яцека было ощущение, что невзирая на это, тот видит его, более того, проникает в его мысли. Ощущение было гнетущее. Совсем недавно во время одного

из многочисленных своих путешествий Яцек познакомился с этим непонятным человеком, и вот, объявший и постигший всю современную науку, обладающий могуществом, какое мало кто имел на Земле, с невольным презрением взирающий с одинокой башни духа на людскую толпу, он испытывает странную робость в присутствии этого «посвященного», отшельника с душой бездонной и, на первый взгляд, примитивной, как у ребенка. Но что-то неодолимо влекло Яцека к нему.

После знакомства Яцек часто встречал его в разных концах света, и всякий раз встречи эти были совершенно неожиданны. Вот и сегодня необъяснимая встреча на берегу Нила...

Нианатилока улыбнулся и, не поворачивая головы, заметил, словно чувствуя недоумение Яцека:

— Я вижу ты прилетел сюда самолетом.

— Да.

— Зачем?

— Так мне захотелось.

— Почему же ты удивляешься, что я здесь. Мне ведь тоже могло захотеться.

— Да, но...

— У меня нет самолета, да?

— Да.

— А что такое эта твоя машина? Не средство ли, с помощью которого ты по своей воле меняешь местоположение собственного тела и картины, что видят твои глаза?

— Ну разумеется.

— А ты не допускаешь, что непосредственным усилием воли можно проделать то же самое без помощи всяких искусственных и сложных устройств?

Ученый опустил голову.

— Все, что я знаю, велит мне ответить: нет! И однако с тех пор, как я познакомился с тобой и такими, как ты...

— Почему же ты не хочешь непосредственно изведать силу собственной воли?

— Мне неизвестны ее пределы.

— У нее нет пределов.

Некоторое время оба молчали, любясь Луной, которая плыла в небе, становясь все ярче. Наконец Яцек прервал молчание:

— Я уже видел необъяснимые вещи, которые ты делал. Взглядом ты опрокинул стакан с водой и проходил сквозь закрытые двери. Если могущество воли безгранично, смог

бы ты точно так же вот эту Луну, что движется по небосводу, направить в противоположную сторону или преодолеть без всяких защитных и вспомогательных средств пространство, что отделяет нас от нее?

— Да, — спокойно, с неизменной улыбкой на устах подтвердил индус.

— Почему же ты этого не делаешь?

Вместо ответа Нианатилока поинтересовался:

— Над чем ты сейчас работаешь?

Ученый нахмурил брови.

— Сейчас в моей лаборатории находится поразительное, страшное изобретение. Я ослабляю то сцепление сил, которое именуют материей. Я открыл ток, который будучи пропущен через любое тело, разделяет его атомы на первичные составные частицы и попросту уничтожает их.

— Ты уже производил опыты?

— Да, с мельчайшими пылинками материи в долю миллиграмма. Сила взрыва такой пылинки равна силе взрыва динамитной шашки.

— И ты так же легко мог бы ослабить связи и в более крупных массах? Скажем, взорвать и уничтожить дом, город, целый континент?

— Да. И что самое поразительное, с такой же легкостью. Мне достаточно пропустить ток...

— Почему же ты этого не делаешь?

Яцек вскочил и принялся расхаживать под пальмами.

— Ты отвечаешь вопросом на вопрос, — наконец промолвил он, — и притом это совершенно разные вещи. Тем самым я причинил бы неизмеримое зло, совершил бы акт уничтожения...

— А разве я не произвел бы сумятицу и замешательство во вселенной, которая должна быть такой, какова она есть, если бы стал перебрасывать звезды на другие орбиты? — заметил Нианатилока и через несколько секунд добавил: — Я знаю, вы смеетесь над «освободившимися», мол, они только и умеют, что делать мелкие фокусы. Не спорь! Если ты и не смеешься, то другие ученые потешаются, как потешаются и над нашими упражнениями по движению и дыханию, внешне кажущимися детски простыми, но на самом деле долгими и кропотливыми. Ведь нужно стать властелином над собой, узнать возможности собственной воли. Посты, упражнения, самоотречение, отшельничество именно к этому и ведут. А когда воля обретет свободу и научится сосредотачивать свою силу, разве не безразлично, в чем она будет проявляться?

— Думаю, нет. Вы могли бы действовать во благо...

— Чье? Только сам человек может действовать себе во благо. Благо для человека — очищение души. Иного блага освобожденная воля не видит и не стремится к иной цели. Почему же ты хочешь, чтобы я делал вещи, которые мне безразличны и которые, быть может, снова затянут меня в грубые формы жизни, из которых я как раз высвободился?

— Поразительно все окружающее нас, — заметил после некоторого молчания Яцек, — стократ поразительней, чем могло бы даже пригрезиться людям, не привычным смотреть вглубь. И однако же у меня ощущение, что поразительней всего именно то, что делаешь ты.

— Почему?

— Я не знаю, как ты это делаешь.

— А ты знаешь, как двигаешь рукой или что происходит, когда выпускаешь из руки камень и он падает на землю? Ты слишком мудр, чтобы ответить мне ничего не значащим словом, которое укрывает за собой новое незнание.

Молодой ученый задумался, а индус продолжал:

— Растолкуй мне, как происходит, что твоя воля велит подняться веку на твоём глазу, а я объясню тебе, как можно волей двигать звезды. И тут, и там — и равное чудо, и равная тайна. Воля больше, чем знание, но она узница тела, и тело обычно ограничивает ее. Она должна решиться выйти вне тела, должна ничего не желать для тела и тогда овладеет всей полнотой бытия, потому что для нее уже не будет разницы между «я» и «не я».

— И тогда уже не будет пределов?

— Их и не может быть. Существуют пределы для движения, для желаний, для знания, наконец, но для воли их быть не может уже через одно то, что она возвысилась над телом, над любой формой, над любой жизнью. Ведь это же ваш поэт много веков назад воскликнул:

Когда б я волю вмиг собрать и высвободить смог,
Быть может, сотни б звезд задул и сотни звезд зажег!

И он был прав. Вот только слова «быть может» были лишними. Они были выражением сомнения, и потому у него ничего не получилось.

Яцек с изумлением глянул на Нианатилоку.

— Откуда ты знаешь наших поэтов?

Отшельник молчал.

— Я не всегда был бикху, — наконец нерешительно промолвил он.

— Ты по крови не индус?

— Нет.

— А твое имя?

— Я взял себе имя Нианатилока — «Познавший три мира», потому что познал тайны трех миров: материи, форм и духа.

Нианатилока умолк, и Яцек не стал его расспрашивать, так как видел, что тот отвечает с явной неохотой. Он снова сел под пальму и стал смотреть на водохранилище, где в отдалении поблескивали слабые огоньки лодок и сверкал между огромными пилонами вход в храм, похожий на горящую печь.

Внезапно, словно очнувшись от задумчивости, Яцек вскинул голову и взглянул в глаза Познавшему три мира.

— Почему ты искал меня? — спросил он.

Отшельник обратил к нему спокойный взор.

— Мне жаль тебя, — ответил он. — Ты чистый, но вот высвободиться из трясины материи не можешь, хотя уже и сам знаешь, что она всего-навсего иллюзия и значит даже меньше, чем слово, определяющее ее.

— Ну что ж, ты поможешь мне, — опутив голову, прошептал Яцек.

— Да, я подстерегаю миг, когда ты пожелаешь отправиться со мной в девственный лес.

Яцек собрался что-то сказать, но его внимание отвлекло движение на воде и долетевшие издали голоса. Лодочные фонари зароились у ворот древнего храма и постепенно сформировали длинную вереницу, направляющуюся в сторону города к берегу.

Возгласы, перекличка гребцов, женский смех в ночной тишине рассыпались, словно жемчуга, по глади искусственного озера.

Представление закончилось.

Яцек порывисто обернулся к буддисту, не в силах скрыть замешательства.

— Нет, в лес... я не пойду, — сказал он, — но хочу просить тебя навестить меня в Варшаве.

Нианатилока отступил на шаг и с умиротворенной улыбкой взирал на Яцека.

— Я приду.

— Боюсь только, — улыбнулся Яцек, — что тебе, привыкшему к одиночеству, будет чужд гул городской жизни.

— Мне он безразличен. Сейчас я уже способен быть один в толпе, меж тем как ты даже в одиночестве не можешь быть один.

Произнеся это, Нианатилока кивнул головой и скрылся в тени прибрежных пальм.

Триумфальный кортеж Азы приближался; Яцеку даже почудилось, что он различает ее серебристый голос.

VII

Клетка, установленная на спине осла, была даже просторной для двух человек их роста, но в ней не на чем было сидеть. Правда, висели в клетке двое качелей, но и Рода, и Матарет сочли ниже своего достоинства пользоваться этими нелепыми приспособлениями.

Осел шагал как-то валко, клетка раскачивалась, удержаться на ногах было трудно, и им пришлось усесться на застланный пальмовой циновкой пол клетки. Они сидели, пряча друг от друга глаза.

От стыда и отчаяния им не хотелось жить. Они не понимали, что с ними происходит. Злые огромные люди Земли посадили их, красу и гордость достойнейшего Лунного Братства Истины, в клетку, словно неразумных зверей, и теперь непонятно зачем возят от площади к площади. К тому же к ним посадили третьего товарища, по поводу которого они никак не могли прийти к решению, зверь это или человек. Роста он был примерно такого же, как они, и лицо у него было вроде человеческое, однако все его тело покрывали волосы и вдобавок там, где у людей ноги, у него была вторая пара рук.

Этот их третий товарищ чувствовал себя в клетке вполне довольным и даже завладел обоими качелями, все время перепрыгивал с одних на другие. Рода попытался объяснить с ним и словами, и жестами, но тот, слушая его, корчил непристойные гримасы, а потом вдруг вспрыгнул мудрецу на плечи и стал быстро-быстро перебирать его лохматые волосы.

Поэтому они сочли его представителем животного мира, невзирая на определенное сходство с человеком. Его присутствие в клетке еще более унижало их, тем паче что приходилось утолять голод из одной плошки вместе с этой непонятной тварью.

Наконец около полудня Матарет после длительного молчания чуть скосил глаза на учителя и поинтересовался:

— Ну как? Обитаема Земля или нет?

Рода опустил голову.

— Нашел время насмеяться! Тем более что во всем виноват ты. Это из-за тебя мы тут оказались.

— Не уверен. Если бы ты не упорствовал так, доказывая, что Победоносец прилетел не с Земли...

— Ну, достоверных доказательств этому пока еще нет, — бросил Рода, спасая остатки достоинства.

Матарет хмуро рассмеялся.

— Ладно, не будем об этом, — сказал он. — Ты виноват, или оба мы виноваты, теперь все равно. Временами я и сам готов допустить, что Победоносец прилетел не с Земли, а откуда-то из другого места, потому что он разумный человек, а со здешними объясниться нет никакой возможности. За кого они нас принимают?

— Если бы я знал.

— Мне кажется, я догадываюсь. Они считают нас животными или чем-то в этом роде. Да ты посмотри, как они на нас пялятся!

Рода, потрясая буйной гривой, метался по клетке, точно как крохотный лев, попавший в неволю. Гнев, отчаяние, стыд, ярость душили его до такой степени, что он был не в состоянии выдать хоть бы слово. А Матарет все подшучивал, словно хотел побольнее его уязвить.

— Попробуй запрыгнуть на качели да перекувыркнись, как этот косматый зверек, и увидишь: эти люди придут в восторг! Они же только этого и ждут. А если ты еще как следует зарычишь да высунешь язык, глядишь, они тебе и горстку плодов дадут, а плоды нам, ой, как пригодились бы, потому что страшно хочется есть. Эта четырехрукая скотина все сожрала.

Рода вдруг остановился.

— Знаешь, а мне кажется...

Однако он тотчас же умолк.

— Что кажется?

— Может, это нам наказание? Может, они догадались, что мы украли у Победоносца корабль? Вполне вероятно, они нашли его там в песках...

Матарет наморщил лоб.

— Да, пожалуй, это было бы самое худшее. В таком случае наше положение безнадежно.

— И ты виноват во всем этом! Как всегда, ты! Зачем ты показывал этим людям, что мы прилетели с Луны? Надо было притвориться...

— Чем притвориться? Кем?

— Силы Земные! — возопил Рода, по сохранившейся с детства привычке взывая к силе, которую жители Луны почитали божественной. — Что же нам теперь делать?

Матарет пожал плечами. Он и вправду не имел ни малейшего понятия, как выбраться из этого безнадежного отчаянного положения.

Полные уныния, они стояли, пытаясь придумать выход. Обезьяна, их сотоварищ по клетке, приблизилась к ним и, передразнивая, замерла в такой же позе. Однако неподвижность странных существ надоела одному из зрителей, и он бросил Роде в нос финиковую косточку, а когда это не помогло, стал тыкать его палкой в то место, где у настоящих обезьян обычно растет хвост.

Хафид разрешал подобную фамильярность только тем, кто отдельно за это заплатил, но на сей раз ее позволил себе человек, заплативший совершенно ничтожные деньги за то, чтобы полюбоваться обитателями клетки, и потому Хафид ужасно рассердился и прогнал наглеца, отхлестав обрывком веревки.

Вообще настроение у него было не слишком радужным. Нет, дела шли великолепно, за полдня он не только вернул деньги, потраченные на покупку клетки и наем осла, но и оказался с изрядным барышом. Так что в этом отношении причин для огорчения не было. Речь шла совсем о другом.

У Хафида было врожденное и непреодолимое отвращение к общению с властями и, в частности, с людьми, охраняющими общественный порядок, а какое-то неясное предчувствие ему нашептывало, что рано или поздно его призовут и начнут допытываться, откуда он взял этих гномов и по какому праву возит их напоказ по городу. Сразу-то он об этом не подумал, а сейчас прямо-таки чувствовал: надвигается неладное. Недаром же его друг, возчик, человек весьма рассудительный, утром, когда Хафид отправлялся на базар, покачал головой, а полицейский, который стоит на углу площади, слишком уж долго смотрел в его сторону.

Потому по зрелом размышлении Хафид решил как можно скорее избавиться от добычи и от неприятностей, то есть продать карликов, но покупатель как назло не подворачивался. В кварталах, по которым он возил клетку, жили люди, с трудом сводившие концы с концами, а забредать туда, где стоят большие роскошные отели и живут богатые чужеземцы, Хафид не отваживался.

Он уже стал даже подумывать, не подарить ли кому-нибудь этих полуобезьян, а то, может, тихонько утопить вечером в Ниле, потому что везти их в оазис никакого смысла не было, как вдруг заметил важного седого господина, что в задумчивости неторопливо брел по площади. То был г-н

Бенедикт, который решил купить для уезжающей послезавтра Азы большую корзину фруктов и подсчитал, что куда дешевле выйдет, если он сам отправится на базар, а не поручит покупку жуликоватой прислуге из отеля.

Завидев г-на Бенедикта, Хафид стал призывать его на всех неизвестных ему языках, то есть издавать разные звуки, которые, по его мнению, соответствовали на этих языках почтительному обращению. Г-н Бенедикт заметил старания араба и направился к нему, решив, что тот хочет предложить ему бананы.

Однако, увидев клетку с сидящими там людьми и обезьяной, он крайне удивился.

— Что это? — осведомился он.

— Господин, это... это такие твари...

— Что за твари?

— Очень редкие.

— Откуда они у тебя?

— О господин, если бы я начал рассказывать тебе, с какими трудами мне удалось добыть этих двух похожих на людей, вокруг нас выросла бы свежая трава, а мы еще не сдвинулись бы с места — ты, слушая, а я, повествуя.

— Тогда отвечай коротко, где они водятся?

— В сердце Сахары, господин, среди песков, по которым носится один лишь самум, есть оазис, до сих пор не открытый людьми. Я и верный мой дромадер были первыми, кто добрался туда...

— Не лги. Где ты нашел этих карликов?

— Купи их у меня, господин.

— Да ты взбесился!

— Они очень забавные, знают множество разных шуток, но сейчас немножко устали, вот и не хотят показывать их. Этот, с длинными волосами, кувыркается на качелях, а плешистый делает вид, будто умеет читать, ну совсем как человек. Даже обезьяна, которая живет с ними в большой дружбе, помирает от смеха.

У г-на Бенедикта мелькнула идея.

— Как думаешь, они могли бы научиться прислуживать в доме?

— Еще бы нет! У меня в доме они подметают комнаты, а моей бабушке чистят туфли, хотя она ходит только босиком, но лишь из упрямства, потому что я для нее ничего не жалею. Старая она...

— Хватит молоть чепуху!

— Господин, если ты прикажешь, я буду нем, как могола.

— А при столе они смогут прислуживать?

— Не хуже лучшего лакея из Олд-Грейт-Катаракт-Паласа, который является моим другом и может засвидетельствовать...

— Сколько ты хочешь за этих обезьяно-людей?

Хафид назвал цену и после получасового торга отдал свою добычу в десять раз дешевле, чем запросил. Г-н Бенедикт уплатил, и араб, первым делом спрятав деньги, приготовил две веревочные петли, открыл клетку и стал ловить перепуганных жителей Луны. В конце концов это ему удалось. Он привязал каждому на ногу веревку, после чего извлек их из клетки, поставил на землю и концы веревок сунул г-ну Бенедикту.

— Да благословит тебя Аллах, господин! — сказал он на прощание.

— Постой! Постой! Не поведу же я их так. Ты должен доставить их мне в отель.

Хафид покачал головой.

— Э, нет, господин! Такого уговора не было. Да у меня уже и времени нету.

С этими словами он хлестнул осла и исчез в толпе, радуясь, что сумел да еще и за неплохие деньги избавиться от опасной находки.

Уличный сброд, зеваки мигом окружили озабоченного г-на Бенедикта. Он стоял в полной растерянности. Толпа со всех сторон дергала и дразнила карликов, напуганных новой переменой своей судьбы, и громко смеялась, когда их новый владелец грозил пристающим тростью. Началась такая давка и столпотворение, что бедный г-н Бенедикт не мог ступить и шагу вперед.

Осознав свое беспомощное положение, он стал предлагать мальчишкам, скачущим вокруг него, деньги, чтобы они отвели карликов в отель. Но те притворялись, будто боятся их, и с криком отскакивали, чуть только г-н Бенедикт пытался сунуть кому-нибудь из них в руки веревку.

Хочешь не хочешь, пришлось ему самому вести человечков в отель в сопровождении мальчишек, зевак и приехавших в город феллахов.

По пути он заглянул в магазин детской одежды, выбрал для новообретенных питомцев бархатные штанишки и матроски с золотыми галунами и велел их тут же переодеть. Когда он вновь появился на улице с обряженными таким образом членами Братства Истины, ликованию толпы, терпеливо ожидавшей у дверей магазина, не было предела. Особенный восторг вызвал лысый Матарет с широким бе-

лым матросским воротником. Но и Рода, бросающий вокруг полные ярости взгляды, тоже изрядно веселил толпу.

С такой вот свитой г-н Бенедикт добрался до отеля, в котором жила Аза.

VIII

Держа во рту погасшую сигару, Грабец поглядывал поверх развернутой газеты в окно на толпу возле кафе. Перед ним стояла недопитая чашка уже остывшего кофе; в руке, лежащей на мраморной столешнице, он машинально вертел пустую рюмку из-под коньяка. Его высокий лоб, переходящий в обширную лысину, был изрезан неглубокими подвижными морщинами, нижнюю часть поразительно памятного лица укрывала длинная светлая борода, а полные, подвижные юношеские губы под скудными усами составляли кричащий контраст с казалось бы погасшими глазами, хотя в их стальном холодном блеске иногда можно было уловить прорывающуюся сквозь усталость и скуку неиссякающую, как бы до времени спящую упрямую силу.

Газету он уже давно не читал, но продолжал держать ее в руке, возможно, чтобы укрыться от взглядов, а возможно, чтобы отделиться бумажной стеной от сидящего за столиком человека. Его безразличный взор скользил по нарядным смеющимся дамам, которые сидели со своими кавалерами за столиками, расставленными перед кафе, а временами переходил на другую сторону засеянной зеленой травой площадки, где у огромного и уродливо пышного игорного дома началась обычная послеполуденная суета. По широкому крыльцу, разделенному на несколько проходов блестящими латунными перилами и устланному ярким ковром, торопливо поднимались мелкие игроки с небольшими деньгами в карманах, которые намеренно выбирали эту раннюю пору, когда их не будет смущать присутствие набобов, швыряющих на зеленое сукно целые состояния. Сквозь поток гуляющих протискивались, не глядя по сторонам, профессиональные игроки, маньяки, которые наспех, давясь, перекусили, чтобы не тратить драгоценного времени: а вдруг в этот миг может прийти везение. У портала затормозили несколько автомобилей; среди тех, кто вышел из них, Грабец узнал некоторых постоянных солидных посетителей казино; они приезжали пораньше, чтобы никто не занял их любимые места. Лакеи, скупая, стояли на ступеньках и лишь время от времени обменивались какими-то полужразами.

Ежеминутно из-за столиков у кафе кто-то поднимался и направлялся к широким дверям казино — иногда лощеный, щеголеватый молодой человек, чаще солидный отставник, а порой одна из дам, что внимательным взглядом следят за теми, у кого карманы набиты золотом. От дам иного рода, что торопились попытать счастья при волшебном столе, этих ловительниц выигранного презренного металла можно было отличить с первого взгляда: они шли неспешно, как бы прогуливаясь, и хотя слишком хорошо знали себе цену, чтобы завлекать ласковыми взглядами прохожих, тем не менее и выражение их лиц, и походка давали понять, что они вовсе не являются пугливой дичью особенно для охотников, желающих и имеющих возможность сорить золотом.

Грабец поглядывал на прохожих рассеянным взором, который, казалось, мимолетно скользил по лицам, словно то были деревья или катящиеся с горы камни. Лишь порой он на миг задерживал взгляд на физиономии, которая могла бы сойти за вельможную, или на псевдоряцарственной фигуре, но тут же разочарованно отводил и продолжал осмотр толпы нарядных, громко смеющихся женщин, всего этого людского муравейника, непонятно почему безмерно довольного собой и жизнью, и только рот его чуть заметно кривился в презрительной усмешке, которая мало-помалу настолько приросла к его губам, что в конце концов стало казаться, будто они так искривлены от рождения.

— А что вы думаете о современной литературе?

Грабец чуть вздрогнул, словно на лицо ему села назойливая муха. Занятый своими мыслями, он почти совершенно забыл о человеке, что, непрошенный, уселся к нему за столик. Среднего роста, пузатый, с уродливой головой на тоненькой шее, тот держал в усыпанных веснушками и бриллиантами пальцах какой-то еженедельник и, бесцеремонно наклонясь над столом, важно смотрел на Грабеца выпуклыми, смахивающими на рыбы глазами сквозь толстые стекла очков, кривовато сидящих на красном горбатом носу. Редкие жирные волосы его были зачесаны на лоб с явной целью укрыть прыщавую лысину, а вытянутые вперед мясистые, хотя и тонкие губы еще шевелились, как будто он безмолвно повторял и пережевывал только что заданный вопрос.

— Ничего не думаю, господин Хальсбанд, — ответил Грабец, принудив себя произнести эту фразу вежливым светским тоном.

Хальсбанд отбросил еженедельник и, энергично жести-

кулирую, произнес гортанным голосом с характерным, пережившим тысячелетия акцентом:

— Вы всегда как-то странно отвечаете. Можно подумать, вы не хотите разговаривать. Так вот, я вас спросил, а если я спрашиваю...

— Да я слышал, слышал, — улыбнулся Грабец. — Но вопрос ваш несколько неопределенный.

— А как я еще мог вам его задать? Меня интересует не какое-то отдельное произведение, а ваше обобщенное мнение, синтез вашего суждения. Вот тут я прочел в «Обзрении»... — И Хальсбанд хлопнул ладонью по еженедельнику.

Грабец чуть пожал плечами.

— Я в этом не специалист, — бросил он, с притворным интересом всматриваясь в проходящих мимо кафе людей.

Хальсбанд раздражился.

— Это не ответ, это увертка! Ведь вы же сами литератор. Как же можно...

— Можно. То, что, по случайности, я сам пишу, вовсе не дает мне оснований высказывать суждения, особенно такие, которые могли бы быть вам полезными. Скорей наоборот. Для болтовни, вынесения суждений, для бесконечного и бесцельного обсасывания того, что создано или хотя бы только написано, существуете вы — редакторы крупных газет, критики, пережевыватели, историки литературы и искусства. Я даже не знаю названий произведений, о которых вы можете говорить часами.

— Смирение паче гордыни, — язвительно усмехнулся Хальсбанд. — Всем известно, что вы эрудит. Но вы ошибаетесь, полагая, будто мне для чего-то там нужно ваше мнение. Я спрашиваю только потому, что мне интересно, в каком синтезе сливаются определенные факты в фокусе вашей индивидуальности. Вы сами по себе интересуете меня, — добавил он со снисходительно-доброжелательной интонацией.

Однако Грабец его не слушал. Что-то на площади перед кафе по-настоящему заинтересовало его; он пристально всматривался в открытое окно туда, где за столиком сидел в одиночестве человек странного вида. Он не был горбуном, но производил именно такое впечатление по причине длинных рук и огромной головы, вдавленной в плечи. Одет этот человек был старательно, но неумело; он только что снял шляпу, и волосы на голове у него торчали во все стороны. Человек этот был бы смешон, если бы не глаза — огромные, бездонные глаза, настолько притягивающие к себе

внимание, что стоило взглянуть на них, и совершенно забывалось уродство его тела.

— Кто это? — спросил Грабец, прерывая поток слов своего собеседника. — Вы случайно не знаете его?

Хальсбанд без всякой охоты глянул туда, куда указал Грабец.

— Вы что же, не знакомы с ним? Это Лахеч.

— Лахеч?

— Да, тот самый, что сочинил музыку к вашему гимну, который Аза вчера вечером пела в храме Исида. Он служит у меня. Я пригласил его...

Грабец вскочил, бросил на стол деньги и поспешил к выходу. Но когда он протиснулся в двери сквозь поток посетителей, входящих в кафе, странный человек исчез, словно сквозь землю провалился. Напрасно Грабец искал его глазами в толпе. То ли из-за маленького роста тот затерялся среди прохожих, то ли успел войти в игорный дом, на широких ступенях которого становилось все многолюдней. Многие, правда, теперь уже выходили, сталкиваясь со входившими. Иным удавалось сохранять на лицах маску равнодушия, однако по движениям большинства, по их походке, выражению глаз, гримасе губ легко можно было определить, какая судьба ждала их там, у зеленых столов: бегут ли они, спустив за несколько минут все до последнего гроша, или же на сей раз уносят вожаделенную добычу, чтобы завтра, прежде чем настанет вечер, вновь прийти сюда и проиграть ее.

Какое-то время, стоя перед кафе, Грабец раздумывал, а не пойти ли в казино и не поискать ли Лахеча в залах. До вчерашнего вечера он не знал его музыки: Лахеч был молодым, начинающим композитором, и фамилию его Грабец слышал всего раза два-три, да и то упоминали ее не в связи с его талантом, а скорей с чужаковатостью. Правда, Аза, как-то попросив у Грабца позволения исполнить на концерте его гимн к Исида, говорила, что «поражительный, феноменальный Лахеч» переливает его слова в звуки, но Грабец как-то пропустил это мимо ушей. Впрочем, ему это было безразлично. Без всякой охоты согласился он (и то только после настойчивых просьб певицы) на свое участие в этом фарсе превращения руин древнего храма в театр и пародирования там — так он выразился — стародавних наивных обрядов и посему ни во что не желал вмешиваться.

И только вчера... Опять же сдался он лишь после долгих и неотступных упрасиваний Азы (кстати, он принадлежал

к тем немногим, кому она не смела приказывать) и вечером прибыл в храм на бывшем острове Фила, прибыл с язвительной и горькой уверенностью, что будет слушать собственные слова как некие чуждые звуки и что в оскверненных руинах звучать они будут нелепо, никто их не прочувствует, не поймет, и потому выглядеть все это будет чистейшим святотатством. Ведь в своем гимне Грабец воспевал величие, героизм, тайну, могущество страсти, то есть все то, чему эта почтенная толпа была бы враждебна с самого рождения, если бы смогла понять это до такой степени, чтобы возненавидеть и устраниваться.

Еще вчера он, презрительно улыбаясь, так и думал. Но вот, прислонясь спиной к гранитной колонне с изъеденными плесенью иероглифами, он услышал, как зазвучал голос Азы, поначалу вроде бы затерявшийся в могучих волнах какого-то непонятного, странного оркестра. До сих пор Грабец не слышал исполнения своего гимна, не слышал этих звуков, так как намеренно не бывал на репетициях, и потому сейчас у него возникло ощущение неожиданного, ослепляющего откровения.

Словно бы некто, во сто крат сильнее, чем он, схватил его орлиными когтями и вознес над землей и наяву показал миры, которые ему только лишь грезились... Словно бы его собственные слова ожили, мысли обрели крылья, стали способны метать молнии и, подобно богам, убивать и воскрешать. Грабец узрел сонм херувимов, танцующих в воздухе, который был огнем, и даже не поверил, что это он сам сотворил их, такими огромными и пламенными показались они ему. Увидел бушующее море, бьющее разъяренными белопенными волнами в берег...

Невольно он скользнул взглядом по слушателям. Песок на морском берегу. Мелкий, сыпучий, не оказывающий сопротивления морской волне, не отвечающий ей эхом. С певицы не сводили глаз, рассматривали ее ноги, обнаженные колени, с видом знатоков кивали, когда оркестр швырял какой-нибудь необыкновенный снап молний, и — не багровели под ударами бича, хлещущего ничтожность, не протягивали рук к явленному им среди золотых туч величию, к приоткрывающей свой лик тайне...

Вчера он бежал из древнего храма от собственного вотще воплощенного и понапрасну гибнущего крика, однако шум крыл, которые музыка подарила его мыслям, продолжал звучать у него в ушах и в мозгу. Этот шум звучал, несмотря на мелкие дела, которыми он занимался днем, несмотря на пустую болтовню всевозможных докучных Хальсбандов.

И в этот миг безумным воспоминанием расплясался в его памяти оркестр бурь, моря и солнца, освещающего клубящиеся тучи и белопенные валы.

— Это должно, должно, должно произойти! — чуть ли не в полный голос сказал он себе, отвечая тайным своим мыслям.

Что-то возмутилось в нем, закипело. Он сорвал с головы широкополую шляпу и, не замечая, что люди с удивлением поглядывают на него, широкими шагами принялся расхаживать вокруг газона, лишь кое-где затененного пальмами. Он уже забыл, что собирался поискать Лахеча в казино; впрочем, его охватило отвращение при одной мысли, что он мог бы оказаться там в толпе, в давке, среди людей, которые столь же внимательно, как вчера за движениями артистки, но только куда напряженней и с корыстным интересом будут следить за вращением шарика рулетки. Сам не зная почему, он повернул налево, к садам, тянувшимся от здания казино и позолоченных отелей до желтого берега Нила.

Палило весеннее солнце, но под пальмами ощущалась благоуханная свежесть только что политых газонов и цветущих кустов, что росли на огромном пространстве. Оросительные ручейки дарили жизненосную влагу экзотическим деревьям, привезенным сюда со всех концов света; над маленькими прудами, заросшими лотосами, стояли громадные фикусы с блестящими листьями и висящей в воздухе сетью корней. На невысоких холмах, творении человеческих рук, среди искусно разбросанных обломков скал торчали кактусы самой разной формы и происхождения, похожие на столбы, шары и причудливо свившихся змей, опунции с одеревяневшими стволами, серебристо-зеленые агавы, взметнувшиеся из розетки мясистых листьев огромные подсвечники соцветий. В гротах, укрытые от жгучего солнца, в воздухе, охлажденном водой, что протекает сквозь искусственные ледники, прятались папоротники и северные растения, изумленные соседством пальм, которые расхаживались у входа на фоне темно-лазурного неба.

Пройдя по главным широким аллеям, Грабец стал блуждать по боковым дорожкам среди разнообразных рощиц и лесков, над крохотными ручейками, берега которых заросли бамбуком и широколиственным тростником. Люди встречались тут все реже; дневная жара усиливалась и тяжело висела в недвижном воздухе, перенасыщенном душной, парной влагой. Занятый своими мыслями, Грабец шел, не поднимая головы. Он даже не заметил, как дошел до большого зверинца, расположенного на возвышенности за сада-

ми. Не глядя, он проходил мимо огражденных полей, где между разбросанных камней паслись антилопы, огромными печальными глазами глядящие сквозь решетки в сторону далекой родимой саванны; мимо водоемов, в которых, выставив на воздух только ноздри, лежали на теплом мелководье крокодилы; мимо прочных клеток, где дремали поникшие в неволе львы с угасшими глазами, с грязными всклокоченными гривами.

На самом возвышении в тени нескольких финиковых пальм стояла высокая клетка. В средней узкой ее части, отделенной блестящими решетками от боковых крыльев, на ветвях засохшего дерева сидели четыре поразительно громадных королевских грифа. Вжав головы с огромными крючковатыми клювами между повисшими крыльями, встопорщив перья у основания коротких мускулистых шей, они обратили к солнцу круглые глаза и недвижно застыли, замерли, словно четыре египетских божества, ожидающие чудовищного, таинственного жертвоприношения.

Однако вокруг них царил непристойный, бессмысленный гам. Надо думать, по неумышленной, но оттого не менее вредоносной глупости в обоих крыльях клетки поместили по громадной стае попугаев и обезьян, которые все время переносились с места на место, мелькали перед глазами, верещали. Ежеминутно то гиббон, то павиан с омерзительно голым красным задом протягивал сквозь решетку косматую лапу, пытаясь из озорства вырвать хотя бы одно перо из хвоста царственной птицы; попугаи галдели, повиснув на прутьях и разевая клювы, карикатурно смахивающие на орлиные, вторили хриплыми криками воплям кривляющихся обезьян.

Но грифы в каменной своей невозмутимости, казалось, были слепы и глухи. Ни один из них ни разу голову не повернул, ни один даже не захлопал крыльями, чтобы напугать нагнецов. Когда уродливый гамадрил дотянулся длинной лапой до обвисших маховых перьев одного грифа и выдернул целый пук, тот только подвинулся на полшага на ветке, даже не взглянув на обезьяну; вот так же когда-то в горах он отодвигался от сломенной ветром ветки.

Сперва Грабец глядел на птиц чисто машинально; мыслями он был далеко, но вскоре с растущим интересом стал наблюдать за ними. Он осторожно просунул руку между прутьями и попробовал перегородку.

— Прочная, — шепнул он. — Жаль.

Одна обезьяна, больше и злобнее других, опять протянула мохнатую лапу с длинными, плоскими на концах паль-

цами и пыталась вцепиться в перья на груди грифа. Птица подняла и откинула назад голову, чуть-чуть наклонившись вбок. Ее красно-кровавые глаза всматривались в обезьянью ладонь, перебирающую перед нею пальцами. Она еще чуть откинула голову, словно перед ударом, слегка приоткрыла клюв.

— Бей! — прошептал Грабец.

Но гриф, видя, что несмотря на все старания, обезьяна не может дотянуться до него, перестал обращать на нее внимание и вновь спрятал голову под крыло.

— Глупец! — вполголоса пробормотал Грабец. — Неужели ты думаешь, что это и есть величие?

— Да, это величие, — раздался голос за его спиной.

Нахмуясь, Грабец оглянулся, раздосадованный, что кто-то следит за ним и подслушивает.

Сзади под балдахином огромных листьев банана стоял молодой стройный человек в облегающем костюме авиатора; из-под чуть сдвинутого на затылок шлема выбивались пряди кудрявых волос.

— Доктор Яцек!

В голосе Грабеца кроме удивления прозвучала нотка невольной почтительности, но без какой-либо униженности.

Ученый протянул писателю руку. Они молча обменялись рукопожатиями.

Еще какое-то время они стояли рядом, не произнося ни слова; Яцек смотрел на клетку, где перескакивали с места на место обезьяны, с обычной пренебрежительной улыбкой в печальных глазах; Грабец отвернулся и глядел туда, где между перистыми кронами растущих чуть ниже пальм огромным, стеклянисто-тусклым зеркалом блестел далекий разлив Нила. В центре его плавало только солнце, уже пригасшее, словно разлитое по поверхности воды, но у берегов в полуденной жаре дремало множество барок с повисшими на изогнутых ряях парусами. Блестящие моторные лодки куда-то подевались, а может, их не было видно за черными корпусами барок. Милосердные листья пальм укрывали от взгляда новый город, выстроенный в пышном и уродливом современном стиле. У Грабеца на миг возникло ощущение, что время пошло вспять и он оказался в давнем, известном только по преданиям тысячелетии, когда еще были живы фараоны и боги.

— Я вчера слышал ваш гимн Исиде...

Грабец обернулся. Произнося эти слова, Яцек не смотрел на него; взгляд его был обращен к Нилу, туда, где из залитой солнцем воды поднимались руины храма.

— Значит, слышали...

— Да. И даже не знаю я, что вы его автор, я все равно бы узнал вас. Этот крик, этот призыв...

Яцек говорил неспешно, все так же не глядя на Грабеца.

Писатель чуть заметно пожал плечами. В задумчивости он поднял руку и дотронулся до прутьев клетки.

— Вот вы только что укорили меня, — начал он, — за то, что мне захотелось увидеть, как гриф раздробит клювом бесстыдную лапу посаждающей ему обезьяны. Признаюсь, я с огромным удовольствием открыл бы этим птицам клетку, чтобы они тут устроили побоище. Но что бы вы сказали, если бы эти королевские грифы, не имея возможности бороться, но и не будучи способны спокойно переносить неволю, стали бы устраивать представление перед попугайной сволочью? Если бы стали биться головами о прутья и размахивать крыльями? Призывать бурю, призывать горные вершины и морские валы, которым никаким способом сюда не добраться? И все это только для того, чтобы показать, что им ведомо и величие, и свобода, и что они безумно тоскуют по ней... Чтобы об этом узнали и попугаи, и обезьяны...

— Мы этак запутаемся в сравнениях, — заметил Яцек. — Потому оставим в стороне животных и птиц, пусть даже королевских. Возможно, сравнение звучит красиво, но оно всегда неточно и приводит к ошибочным выводам. Все-таки, невзирая на то, что вас окружает, вы, как монарх, стоите над толпой, и она слушает вас.

В ответ раздался резкий, язвительный смех.

— Ха-ха-ха! Знаем, слышали эти прекрасные теории, которые, кстати, сами же мы и придумали в утешение себе! Я понимаю, вы думаете: всякое подлинное искусство является властью над душами, внушением другим людям собственных чувств, представлений, мыслей. И вы действительно верите, что это так?

— Да, это так.

— Было. Но в столь давние времена, что сейчас они кажутся легендой, да к тому же и неправдоподобной. Но так действительно было. Здесь, где мы сейчас с вами стоим, когда-то возносились исполинские храмы и стояли гранитные боги — таинственные, внушавшие ужас. Да, да, здесь — вместо этих отелей и заурядных домов, сделавших весь мир одинаковым. Но тогда не только искусство, но и мудрость, и знание были царями, а не наемными слугами, как сейчас.

Яцек молча слушал. По выражению его лица невозможно

было понять, согласен ли он с Грабцом или просто не хочет с ним спорить. А тот, прислонясь спиной к стволу пальмы, задумчиво говорил, и казалось, его даже не интересуется, слушают его или нет: он просто развивал перед самым собой давно выношенные, наболевшие мысли.

— Так было в Греции, в Аравии, в Италии, в Европе примерно до середины девятнадцатого века. Великие художники прошлого, порой даже умиравшие с голоду, были самодержавными властителями народов, вели их за собой, возносили, низвергали в прах. Зажигали пожар или превращали диких зверей в задумчивых ангелов. У них были подданные, которые были готовы и хотели повиноваться им, но как только художники поддались под власть своих подданных, тут же утратили их. Теперь мы наемники, которых держат, чтобы они поставляли умиление, высокие слова, звуки, краски, точно так же, как вас, мудрецов, держат ради знаний, а коров ради молока.

Яцек безразличным тоном бросил:

— И чья же это вина?

— Наша. С той минуты, когда искусство перестало быть самодержавным властеином, перестало формировать жизнь людей, призывать их к действию — ведь вся суть только в действии! — надо было отбросить его, как вещь, пришедшую в негодность, и искать новые средства власти над душами или создать новый мир, в котором опять появлялись бы люди, способные покоряться ему. Искусство было средоточием жизни и силы, а из него сделали, верней, из его формы — цель: фокус, ремесленническую подделку, игрушку. И речь теперь уже идет не о том, что оно обрушит на головы людям, с какой стороны пронесется вихрем над равниной, где велит взойти над ней солнцу или месяцу, а о том, как будут звучать слова, искусно ли сопрягнутся звуки или краски. Из волшебства возникло жалкое шарлатанство, ибо только оно ныне доступно глазам и ушам. Сейчас уже поздно метать в песок перуны. На него надо бы направить океан, чтобы тот его затопил, размыл, поглотил! Но искусству нынче таким океаном не стать.

— И все же, — задумчиво промолвил Яцек, — и сейчас, как и прежде, существуют великие творцы и поистине в устах у них порою пылает солнце.

Грабец кивнул.

— Да, существуют. Только значение их в обществе в корне переменялось. Они уже не ведут за собою словом, потому что некого вести, и потому разговаривают сами с собой, чтобы выговориться. Они даже лоскуток придумали,

чтобы прикрыть нынешнюю свою наготу: искусство для искусства. Как красиво звучит! Я не имею в виду жонглеров словами, красками, звуками, равно как и канатоходцев и глотателей живых лягушек, — я говорю о творцах! Сейчас искусство для них (искусство для искусства, милостивый государь!) это род предохранительного клапана, чтобы миры, родившиеся у них в душах, не разорвали грудную клетку, поскольку у них нет силы выплеснуть их наружу в действий, возвещая истину. Вы только подумайте: творец, художник всегда обнажается до самой сердцевины своего существа, но когда в древности Фрина представала перед народом на залитом солнцем морском берегу нагая, никто сладострастно не причмокивал, никто не пилился на нее, нет, все опускали головы перед откровением, и она наперед знала, что так и будет, ибо в ее красоте была священная энергия. Мы же теперь бесстыдно обнажаемся, точно продажные девки в публичном доме, который внешне смахивает на дворец, да нет! даже на храм — столько там золота, мрамора, огней! Но это только внешнее, а в сущности, он был и остается грязным торжищем!

Грабец поднял руку и раскрыл ладонь, словно демонстрируя, что в ней одна лишь пустота.

Яцек слушал его, сидя на каменной скамье и подперев подбородок кулаком. Слушал, не сводя с него спокойных, голубых глаз, потом едва заметно улыбнулся и бросил:

— И все-таки наберитесь смелости сказать, что только от нашей мысли и нашего намерения зависит, чтобы любое место, где мы находимся, превратилось в подлинный храм.

Грабец сделал вид, что не слышит его слов, а может, и вправду не слышал, занятый собственными мыслями. Некоторое время он молчал, глядя вниз на город, а потом вновь заговорил сдавленным, полным ненависти и презрения голосом:

— Слишком хорошо живется на свете обезьянам, попугаям и всякой бездумной мрази, которая одна только и имеет власть благодаря организованности и многочисленности! О бунтах мы знаем только из романов. Когда-то бунтовали угнетенные, нищие, униженные, но трудом рук своих вращавшие мировую машину. Они кричали: хлеба! Для приличия их вожди велели им добавить: и прав! Да только это чушь, потому что в действительности они требовали одного хлеба. Сейчас у них его вдосталь, и потому они тихо сидят: ведь больше им нечего желать. Слишком даже много на свете равенства, слишком много хлеба, всеобщих прав и обыденного счастья!

Теперь Грабец обращался прямо к Яцеку, глядя ему в лицо.

— Не кажется ли вам, — спросил он, внезапно переменив тон, — что пришла пора бунтовать обладателям высочайшего духа, которые внешне ни в чем не терпят недостатка? Не пора ли им действием воспротивиться навязанному равенству, которое стало для них оскорбительным?

Яцек встал, лицо его неожиданно посерьезнело.

— Поверьте мне, нет никакой необходимости протестовать против того, чего не существует. Мы все вовсе не равны. И вы прекрасно сами знаете это. А то, что мы на равных получаем от общества, как и оно от нас...

Грабец расхохотался.

— Вот вам еще одна сказочка, навязанная толпой! Я как раз и говорю, что настала пора всем высоким духом перестать верить в мнимую благосклонность общества обезьян, которое якобы обеспечивает им возможность мыслить и творить, обильно одаряя средствами жизни, облегчая исследования... Оставим в стороне, что счастье это выпадает не всем, что половина людей высоких духом по-прежнему умирает с голоду, так ничего и не сумев совершить, но, повторяю, оставим это в стороне. Ведь для меня, для вас, для нас всех позорно получать, словно из милости и по установленной мере, то, чем мы сами должны распоряжаться, причем без всяких ограничений! Все блага и все чудеса жизни принадлежат нам, ибо сотворены они нами, а одаряется ими лишь толпа. Мир нынче похож на чудовищного зверя, у которого в ущерб ногам и голове выросло огромное, неимоверных размеров брюхо. Вместо того, чтобы заставить толпу, как оно и должно быть, работать на себя, мы все трудимся на эту гнусную, безмозглую, ленивую массу, у которой нет иного занятия, кроме назначенной ей службы. На толпу трудятся рабочие, мудрецы, а она только жрет и...

Грабец остановился, недоговорив.

— Так и лезет на язык грязное слово, — через несколько секунд произнес он, — но что тут поделать: грязно все, что окружает нас. Нужно либо вырваться из этого, либо подохнуть. Сейчас должно начаться обратное движение — прилив уже много веков отступающего моря. Начнется новая священная война и завоевание, а верней, осуществление высочайших, но отнюдь не всеобщих прав. Нам сейчас нужны не свобода, но власть и рабство, не равенство, но различия, не братство, но борьба! Мир принадлежит людям высочайшего духа!

— И какие же силы вы видите своими союзниками в этой борьбе? — поинтересовался Яцек, поднимая на него глаза. — С одной стороны, общество с совершенной организацией, довольное нынешним своим состоянием и готовое защищать его всеми средствами, а с другой?

— Мы.

— То есть?

— Творцы, мыслители, обладающие знанием, — одним словом, те, кто жив.

— Похоже, вы сочиняете драму.

— Нет, я хочу жизни. Творю жизнь. Можно возмутить рабочих, огромную массу, которая, как Атлас, держит мир на своих плечах. Пусть-ка они тряхнут его! Они предпочтут служить великим, а не чиновничьей сволочи, всем этим отставникам, бессмысленным бездельникам и дармоедам.

— Это иллюзия.

— Впрочем...

— Да?

— Вы сами являетесь силой. У вас — знание, у вас — могущество.

Яцек медленно, но решительно покачал головой и произнес с какой-то внутренней гордостью:

— Нет, сударь. Только знание. Могущество, которое оно несет с собой, все изобретения и практическое их применение мы отдаем человечеству для совместного использования. И это как раз то, что вы называете нашим прислуживанием. Себе мы оставляем знание, потому что из толпы никто не сможет воспринять его. Более ничего.

Грабец с любопытством глянул на Яцека, словно у него были основания не вполне верить, что все свое страшное, безмерное могущество, основой которого является знание, тот отдает толпе, однако он сдержался и невозмутимо осведомился:

— Что же, и так должно быть всегда?

— Я не вижу выхода. Подчиняясь закону всемирного тяготения, вода, плодотворяющая поля, устремляется с поднебесных ледников вниз, в долины.

— Красивое сравнение. А вам известно, что эта вода разрушает горы и смывает их с поверхности Земли, чтобы поднять общий уровень на толщину пальца, чтобы еле заметно изменить морское дно? В конце концов все станет плоским. Гор и ледников не станет, но равнины к небу не поднимутся.

— Но гаснут ведь и звезды, исчерпав на обогревание

бесплодного пространства свою энергию. Это закон природы, которому подчиняется и Земля, и вселенная, и человеческое общество.

— Так, но не совсем. По законам природы погасшие солнца сталкиваются, чтобы из них родились новые туманности, беременные будущими мирами; по законам природы внутренний огонь из глубин Земли выталкивает новые горные цепи. Но прежде возрождения всегда приходит гибель! И нам тоже необходимо землетрясение, что превратит города в развалины и наизнанку вывернет целые материи.

— А если после него не расцветет жизнь?

— Расцветет, иначе быть не может.

Яцек в задумчивости склонил голову.

— Власть, действие, битва, жизнь... А не переоцениваете ли вы людей, которые целиком посвятили себя мысли? Я уж не говорю о борьбе, но допустим невероятное: восстанут люди высокого духа и с помощью, уж не знаю даже чего, может быть, своего знания и гения, может быть, рабочих масс, ныне спокойно дремлющих, масс, неизменно обманываемых и используемых ради чужих целей и интересов, одержат победу. И что дальше? Вы говорите, что подлинное, великое искусство сейчас стало всего-навсего бессмысленным и жалким выходом энергии духа, которая могла бы проявиться в действии. Так вот — это заблуждение. Не сможет. Наша мысль отделилась от наших поступков, и нам только кажется, что она сможет вернуться и соединиться с ними. Оставайтесь, сударь, с театром и со своими пьесами, что играют в нем, а нам позвольте остаться в бескрайнем мире мысли, куда не способен вторгнуться непосвященный. Не имеет смысла сходить вниз.

— А лорд Тедуин? — бросил Грабец.

На миг воцарилось молчание.

— Лорд Тедуин, — промолвил Яцек, — оставил власть и сейчас является только мудрецом. И это доказывает, что сейчас сочетать жизнь и мысль невозможно. Так что оставьте нас в покое.

— Это ваше последнее слово? — угрюмо насупив брови, поинтересовался Грабец.

То ли в его голосе, то ли в выражении лица что-то поразило Яцека, и он посмотрел Грабцу в глаза.

— Почему вы так спрашиваете?

Грабец наклонился к Яцеку.

— А если бы я вам сказал, что Земля уже дрожит, что

под ее застывшей скорлупой уже вздымается волна огненной лавы, то и тогда?

Яцек вскинул голову. Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза.

— То и тогда?.. — повторил Грабец.

Яцек долго не отвечал. Наконец поднялся и спокойно, но твердо произнес:

— Да. Даже и тогда я не дам другого ответа. Я не верю в движение в толпе и вместе с нею. А теперь послушайте меня: то, что существует, мерзко, но когда отвращение пересилит во мне все остальные чувства, когда я окончательно усомнюсь и решу, что лучше гибель, чем такая жизнь, что гибель — последнее средство остановить надвигающийся на нас потоп ничтожности, все необходимое я сделаю сам.

После этих слов Яцек кивнул Грабцу и направился в сторону города.

IX

— Иду срывать банк, — сказал себе Лахеч, пересчитывая деньги, еще оставшиеся от гонорара, уплаченного Товариществом Международных Театров.

Было их немного; не считая серебра, которое за игорным столом не принимали, чуть больше двадцати золотых монет. Лахеч улыбнулся.

— Тем лучше. Больше не смогу проиграть.

И все же он испытывал непонятную грусть. У него вызвали робость заполняющие роскошный вестибюль казино нарядные, элегантные мужчины, смеющиеся женщины с обнаженными плечами, овеянные ароматами дорогих духов. Ему чудилось, что, проходя мимо, они мельком бросают на него насмешливые взгляды, мысленно издеваются над его дурно сшитым костюмом, несуразной фигурой. Тщетно пытался он принять независимый, самоуверенный вид. Он уже забыл, что еще вчера все эти люди сходили с ума, слушая его музыку, и чувствовал себя рядом с ними маленьким, запуганным, нелепым и ничтожным.

Ему хотелось как можно скорей затеряться в толпе. У дверей Лахеч отдал входной билет и вошел в зал. До слуха долетел такой знакомый, щекочущий, дробный звон пересыпаемых золотых монет. Все столы были плотно окружены. Позади сидящих в креслах стоял еще ряд, а то и два, и эти люди бросали свои ставки через плечи тех, кто сидел. Раньше Лахечу нравилось, прежде чем начать игру, побро-

доть по залу, наблюдать за лицами и жестами, ловить разговоры, немногословные, отрывистые, но такие красноречивые. Но теперь он испытывал какое-то внутреннее беспокойство, ему не терпелось поскорее самому вступить в игру. Он стремительно прошел через первый и второй залы, даже не глянув на игроков, и только в третьем осмотрелся, нет ли где свободного места.

Один из игроков поднялся и стал пробираться через ряды людей, стоящих за спинками кресел. Лахеч воспользовался тем, что на миг образовался проход, и бочком протиснулся к самому столу.

— Messieurs, faites vos jeux!¹

На зеленом сукне лежали столбики золотых монет и продолговатые билетки со штампом казино, которые выдавали игрокам в особой кассе в обмен на крупные суммы денег. Со всех сторон еще бросали на стол пригоршни монет, старший крупье с колодой карт в руке ждал, когда сделают последние ставки.

— Rien ne va plus!² — объявил он и бросил первую карту.

Кто-то попытался поставить еще несколько монет на «красное», но сидящий рядом помощник крупье отодвинул их лопаткой.

— Trop tard, monsieur, rien ne va plus!³ — повторил он.

В напряженной, исполненной ожидания тишине шелестели карты, падающие на кожаный квадрат.

С безучастным выражением гладко выбритого лица крупье стремительными и изящными движениями белых пальцев метал красные и черные карты, подсчитывая очки.

— Trente neuf!⁴ — объявил он, закончив первый ряд.

Радостно заблестели глаза у тех, кто ставил на «красное»: вряд ли на второй сдаче будет выброшено такое же количество очков, притом всего на одно меньше максимума.

— Quarante! — прозвучало неожиданно. — Rouge perd et couleur!⁵

Кто-то тихо охнул, какая-то женщина нервно смяла последний лежащий перед нею на столе банкнот, с другой стороны стола донесся сдавленный смешок. Лопатки крупье алчно набросились на золото, сгребая его с одной половины

¹ Господа, делайте ваши ставки! (франц.)

² Ставок больше нет! (франц.)

³ Сударь, вы опоздали, ставок больше нет! (франц.)

⁴ Тридцать девять. (франц.)

⁵ Сорок! Красное проигрывает, выигрыш на черное! (франц.)

стола; вновь слышался дробный, рассыпчатый приторный звон. На оставшиеся, выигравшие ставки полился золотой дождь: один из крупье виртуозно бросал сверху монеты, покрывая ими лежащее на столе золото и бумажки. Ото всюду протянулись руки игроков. Кто-то забирал выигрыш или передвигал его на другое поле, кто-то на место проигранного бросал новые пригоршни золота.

— Messieurs, faites vos jeux! — повторял крупье освященные традицией слова, вновь держа наготове карты.

Лахеч пока не ставил. Стоя за креслом толстой матроны, он оглядывал игроков, что теснились вокруг стола. Некоторых из них он знал. Эти приходили сюда каждый день и всегда играли; в какую пору дня ни войди, их неизменно можно было увидеть здесь, если не за тем, так за другим столом — с неизменно сосредоточенными лицами; перед ними лежали кучки золота и банкнотов и листки бумаги, на которых они тщательно отмечали каждую игру.

Казалось, для них не имело никакого значения, выигрывают они или проигрывают. Лахеч догадывался, что эти люди играли только для того, чтобы играть; иной цели, иных намерений у них попросту не было. Он чуть ли не с завистью смотрел на них: ведь их радует и занимает то, что для него было тяжким трудом, — сама игра, наблюдение за картами, падающими из рук крупье, вид передвигаемого золота. Проигрыш мог стать для них катастрофой только потому, что не позволил бы продолжить игру, а выигрыш радовал, так как увеличивал капитал, который они опять смогут бросить на зеленое сукно.

Было заметно, что они с удивлением, не лишенным изрядной доли презрения, смотрят на тех, кто прибегал к столу, чтобы выиграть несколько золотых монет и уйти, унося в кармане добычу, словно там, за дверями игорного дома, ее можно было использовать с большей пользой, чем здесь, вновь поставив на кон.

А таких алчных игроков было немало. Это они стояли тесными рядами за креслами, они протискивались на каждое освободившееся место, и они... обогащали банк. Одни из них играли, ставя по одной монете и с тревогой следили за каждой картой, падающей из рук крупье, от которой зависела судьба их мизерных ставок; другие швыряли порой целые состояния, горы золота и банкнотов, стараясь сохранить безразличное выражение на лице, которое, впрочем, передергивалось судорожной гримасой, как только крупье начинал метать карты.

После каждой игры по столу перемещались просто не-

правдоподобные суммы. Лахеч смотрел на периодический приток и отток, на золотую волну, вновь и вновь переливающуюся по зеленому сукну, и пальцами пересчитывал в кармане свои жалкие несколько монет, которые ему предстояло швырнуть в этот потоп. Его разбирал горький смех.

Уже давно он ежедневно играл здесь — без пыла, без страсти, даже без особого желания, словно по обязанности ежедневно отрабатывал тут по несколько часов. Ему было скучно и даже противно, но он поставил себе задачу вытерпеть.

Лахеч хотел выиграть. Хотел избавиться от той тягостной зависимости, что подобно кошмару душила его всю жизнь. И ему было все равно, каким способом будет достигнута цель; этот показался ему самым простым и — последним.

Когда-то, когда Лахеч был еще мальчишкой, ему казалось, что он очень скоро пробьется наверх благодаря таланту, в который он неколебимо верил, благодаря своим произведениям, что являлись ему в снах в виде птиц, широко распростерших крылья, сжимающих в когтях пучки молний и летящих в солнечном ореоле к людям. Снилось ему обретенное царственное величие, перед которым люди будут склонять головы, снился лучезарный, священный восторг, но его очень рано пробудили от этих сновидений.

По причине телесного уродства и боязливости он был посмешищем для одноклассников уже в средней школе, которую, как и все, должен был обязательно закончить. Учителя не любили его за постоянную рассеянность, из-за которой он не мог сосредоточиться надолго на одном предмете; они обзывали его дураком и бестолочью и предсказывали, что пользы обществу от него не будет никакой.

А он ждал окончания школы, как освобождения. Положение его родителей было весьма невысоким, а потому были они небогаты, так что Лахеч не мог и мечтать о том, чтобы учиться за собственный кошт музыке, которая одна занимала и притягивала его. Но в кодексе законов их совершенного общества имелся параграф, предусматривавший право на обучение на государственный счет для всякого, выказавшего способности в какой-либо области.

Закончив среднюю школу, Лахеч надеялся, что ему удастся попасть под крыло этого благотельного закона, но на экзамене, где он должен был продемонстрировать свои музыкальные способности, с треском провалился. Профессиональные музыканты, получающие большие жалованья от государственной казны, безоговорочно и в один голос зая-

вили, что ему кастрюли надо чистить, а не музыкой заниматься и что он чудака.

В законах был и другой параграф, по которому каждому вменялся в обязанность труд на благо общества. Ну, а если кто-то решил бы не подчиниться этому закону, пусть даже временно, то ему оставалось одно — умирать с голоду.

Лахеча назначили на мелкую должность в Управление международных путей сообщения, где он в течение нескольких лет считался бестолочью, понапрасну получающей жалование. Он прикладывал прямо-таки сверхъестественные усилия, чтобы учиться и из своего более чем скромного жалования платить частным учителям, которые должны были открыть перед ним царство звуков. Он буквально умирал с голоду и одевался чуть ли не в лохмотья. Отбыв положенное число лет на «общественно полезной службе» все в том же Управлении путей сообщения и на той же самой низкой должности, он, как только наступил день, когда по закону дозволялось бросить службу, без раздумий и, скорей, крайне легкомысленно бросил ее и ушел в отставку с пенсией, до такой степени смехотворно крохотной, что ему, чтобы прожить на нее, пришлось бы есть раз в три дня да и то не досыта. Зато у него была папка, битком набитая оркестровыми произведениями, которые никто не хотел исполнять.

Сам же он, творец, не обладающий исполнительским, нет, не даром, а умением, лишь смотрел на написанные ноты, с жадностью мечтая о дне, когда они воскреснут в его ушах живыми звуками, и дрожал от возбуждения и нетерпения при одной мысли, что наконец услышит их, однако день этот все не наступал.

Он ходил по музыкальным авторитетам, толкался в театры и концертные залы, вел переговоры с виртуозами, но все безрезультатно. Услышав, что он самоучка, все только пожимали плечами; у него не было диплома об окончании государственной музыкальной школы, он даже не был принят туда, значит, у него не могло быть таланта. С ним просто не желали разговаривать.

Лишь однажды директор некоего театра в приступе благодушного настроения согласился прослушать его концерт. Лахеч несколько недель дожидался, когда будет допущен пред светлые очи театрального сановника. Наконец великий день настал. Лахеч, робея, сжимая в руках нотные тетради, вступил в изысканный кабинет, и выглядел он еще диковатей и неуклюжей, чем всегда. Директор небрежным мановением руки указал ему на фортепьяно.

— Сыграйте, — сказал он, — у меня всего пятнадцать минут свободного времени.

Лахеч залился краской и промямлил что-то невразумительное.

— Поторопитесь же, — проглядывая какие-то бумаги, бросил сановник, — время идет.

— Я не умею.

— Что?

— Я не умею играть, — объяснил Лахеч. — Я только пишу и дирижирую.

Директор позвонил.

— Следующий, — приказал он вставшему в дверях театральному служителю.

Так завершилось то незабываемое прослушивание.

В конце концов пришлось Лахечу обратиться с просьбой о помощи к г-ну Бенедикту, дальнеюродному дядюшке с материнской стороны. Г-н Бенедикт почитал себя человеком милосердным и с удовольствием доказывал это самому себе, потому в помощи не отказал и несколько раз уделял ему небольшие суммы в виде займа, однако был не слишком щедр, тем паче что не верил в талант этого странного музыканта, не умеющего даже играть.

А потом Лахеч попал в лапы Хальсбанда, по заказу которого за ничтожную плату писал, чтобы выжить, музыку к чудовищным виршам на заданные темы.

Хальсбанд, побывавший поочередно комиссионером, репортером, журналистом и владельцем крупной ежедневной газеты, сейчас занялся историей искусства и литературы и одновременно стоял во главе огромной «Компании по распространению современных шедевров посредством усовершенствованных граммофонов». Этим-то усовершенствованным ревушим чудовищам и служил музыкальный дар Лахеча. Иногда он писал для них даже «вновь найденные» произведения умерших великих композиторов прошлого. И тут он в ярости мстил, как умел, слушающей эти мерзости публике, ядовито пародируя знаменитейшие мелодии, но никто этого почему-то так и не заметил.

Ко всему прочему у Хальсбанда как теоретика истории литературы и искусства и притом бывшего журналиста имелись собственные претензии. Он считал прекрасным и всегда прославлял перед другими то, чего не понимал, видимо, в убеждении, что это вернейший способ поглядеть умным и глубокомысленным. А поскольку он весьма предусмотрительно угождал так называемым вкусам публики, делая ради них «уступки», Лахеч получал от него для «худо-

жественной обработки» чудовищный материал, являющий собой чистойшей воды хаос, где вещи по случайности поистине гениальные были перемешаны с модными кошмарами, а то и с совершеннейшей дилетантской чушью, в которой, кроме бессмысленных звуков и напыщенных слов, ничего не было.

Он уже думал, что погибнет в этой удушающей атмосфере, но тут то ли случайно, то ли по какому-то стечению обстоятельств на него обратила внимание знаменитая Аза. Из шуточных рассказов г-на Бенедикта она узнала, что Лахеч бессонными ночами написал музыку на известный «Гимн Исиде» прославленного Грабца, и захотела спеть его в разрушенном храме на Ниле, который до сих пор никому не пришло в голову использовать как театр.

Замысел поначалу представлялся невыполнимым, но Аза преодолела все препятствия и добилась своего. Древние руины на Нильском водохранилище превратили на одну ночь в концертный зал. Со всего света понаехали люди, чтобы стать свидетелями этого невероятного представления, причем влекла их, разумеется, слава певицы и необычайность замысла, а отнюдь не имя знаменитого Грабца и уж тем паче совсем им ничего не говорящее имя начинающего композитора.

Тем не менее Лахечу заплатили весьма неплохо. Он долго пересчитывал и вертел в руках впервые выписанные на его имя чеки. И внезапно почувствовал, что в золоте, на которое он сможет их обменять, огромная сила. Непонятная сила, вкованная в драгоценный металл тяжелыми молотами на монетном дворе, сила, которая дает ее обладателю свободу делать, что ему хочется, свободу повелевать людьми, свободу жизни, творчества.

Лахеч сжал руку в кулак. Какая-то яростная, непостижимая мстительность судорожно передернула мышцы его лица, заставила стиснуть зубы. Месть за все унижения, за голод, за нищету, за грязные лохмотья, которые ему приходилось носить, за поклоны Хальсбанду, за грабмофонное рабство, за даром потраченную половину жизни!..

В ушах у него зазвучали неизвестно откуда налетевшие голоса, бессловесные песни, буря звуков и ветер, веющий над сухими травами замершей степи... Он широко раскрыл глаза, положил подбородок на сплетенные пальцы рук. Лицо его постепенно разгладилось; он вглядывался в глубины своей души, в сокровища, сокрытые в ней и готовые в любой миг явиться на свет.

И вдруг он осознал: ему, в сущности, совершенно без-

различно все, что он пережил до сих пор, нет у него ни к кому претензий, ему даже не очень и хочется, чтобы его слушали; единственно, он жаждет жить и творить, жить в звуках песен, что зарождаются у него в душе. Тихая, доверчивая, детская радость наполнила до краев его сердце и разлилась на устах безмятежной улыбкой.

Лахеч долго сидел, погруженный в раздумье. Потом вдруг сорвался и вновь пересчитал деньги. Да, такой большой суммы он еще ни разу в жизни не держал в руках, и все же она мала, отчаянно мала, чтобы купить свободу, покой и право на творчество. Ну, на год ее хватит, может, на два. А потом снова возвращение в нищету, в грязь, унижения или, в лучшем случае, придется хлопотать, торговаться, продавать, думать об успехе, стараться понравиться отвратительной зрительской черни, добиваться благосклонности виртуозов, комедиантов, лицедеев, поддержки певичек.

Внезапно кровь ударила ему в голову. В первую минуту он не мог понять, что это — стыд или какое-то другое, новое и неизвестное чувство. Лахеч понимал только одно: он не желает, не может согласиться на то, чтобы хоть чем-то быть обязанным Азе как благодетельнице. В первом порыве он хотел схватить эти деньги, помчаться к ней и швырнуть их ей под ноги.

Но он мгновенно опомнился. Аза расхохочется, презрительно глянет и на него, и на эту жалкую сумму, которая ему кажется целым состоянием.

Состоянием, заработанным благодаря ей! По необъяснимому капризу ей захотелось, чтобы он получил деньги, и она их ему просто-напросто подарила.

Лахеч прикрыл глаза, уткнулся лицом в стиснутые ладони. Как живая, Аза стояла у него в памяти — такая, какой он видел ее на репетициях, когда дирижировал своим произведением: горделивая, царственная, прекрасная.

И сладостная! Сладостная — как жизнь, как безумие, как смерть!

Нет, нет, по-другому надо предстать перед ней когда-нибудь, хотя бы раз в жизни! Предстать властелином, владыкой, богом — несмотря на это уродливое тело, на эту отвратительную вскочеченную голову, предстать прекрасным воплощением силы и величия!

Надо работать, творить!

С невольным презрением Лахеч смял щеки, еще недавно так поразившие его, и сунул в карман. В ближайшей государственной кассе он разменял их на золото и направился напрямиком в казино.

Играл он упорно, ожесточенно и в то же время хладнокровно. Он поставил себе целью выиграть некую невероятную сумму, которая дала бы ему полную независимость до конца жизни. Он не рисковал, не безумствовал. Попросту тяжело работал, добывал за зеленым столом монету за монетой или же... терял их.

После нескольких часов он выходил, чтобы глотнуть воздуха, и результат оказывался так ничтожен, что временами его охватывало отчаяние, поскольку он видел, что не способен даже проиграть имеющихся у него денег и тем самым хотя бы избавиться от гнетущей и в то же время иллюзорной надежды. Бывали моменты, когда ему яростно хотелось поскорей лишиться всего, лишь бы только не чувствовать себя обязанным снова бросаться в невыносимый круговорот игры.

Но такое настроение быстро проходило.

— Я должен выиграть! — вновь говорил он себе и возвращался в игорные залы, чтобы опять «трудиться» в поте лица своего.

Играл он осторожно, можно сказать, по-крестьянски. Начинал с маленьких ставок и повышал их только после того, как позволял выигрыш. А тем временем судьба играла с ним, словно кот с мышью. Когда он после часовой борьбы, во время которой добывал монету за монетой, переходил в атаку и бросал на кон крупную сумму, ему неизменно выпадала проигрышная карта.

Порой, видя, как золото перетекает перед ним целыми потоками, как люди в течение нескольких минут выигрывают совершенно умопомрачительные суммы, его охватывало желание враз рискнуть всем, что у него есть. Ведь выиграть так легко: достаточно поставить на счастливый цвет и удвоить сумму, во второй раз она учетверится, в третий — уже станет в восемь раз больше...

Да, но только надо поймать такой счастливый момент, попасть на него.

Лахеч поставил монету — на пробу — и выиграл. Рука у него задрожала, и он бросил на кон с десятков золотых; хищная лопатка крупье смела их в кассу. Он опять начал с одного золотого.

И вот так до сих пор все и шло. Лахеч опасался, что и сейчас пойдет по-прежнему. Он начал ставить несмело, стыдливо, протягивая руку с блестящим золотым кружком над плечом сидевшей перед ним дамы; всякий раз она зло оборачивалась к нему, опасаясь, что он заденет ее фантастическую шляпку. Лахеч после каждого ее такого взгляда

смиренно шептал: «Прошу прощения», — и пятился назад, с трудом заставляя себя протянуть руку за выигрышем.

А судьба как раз начала улыбаться ему. Теперь он постоянно выигрывал, поначалу по две монеты, потом, когда осмелел, целыми пригоршнями. Через некоторое время он почувствовал, что карман, куда он ссыпал выигранные деньги, отяжелел. Он сунул в него руку и испугался. Карман был полон; среди монет под пальцами шелестели банкноты, которые выдавались только на крупные суммы.

«Пришел мой час», — подумал Лахеч.

Он героически зачерпнул из кармана столько, сколько поместилось в руке, и на секунду заколебался.

«Пять раз подряд ставлю на красное!»

Не считая, он бросил деньги на стол.

— Trente deux!¹ — прозвучал безразличный голос крупье.

Лахеч слегка побледнел.

«Проиграю!» — подумал он.

Еще секунда...

— Trente un!²

Как ни странно, Лахеч выиграл. В ушах у него зашумело.

Крупье быстро пересчитал его ставку и добавил столько же с таким безразличным видом, словно передвигал от нечего делать по зеленому сукну горстку гороха.

У Лахеча дрогнула рука: ему захотелось забрать выигрыш.

«Я сказал себе, что пять раз подряд поставлю на красное», — подумал он и оставил все на столе.

И опять красное выиграло. На сей раз крупье, пересчитав его ставку убрал все золото и положил несколько продолговатых бумажных билетов.

«Ставлю пять раз подряд», — мысленно повторил Лахеч, усилием воли удерживая руку, которая тянулась сунуть банкноты в карман.

И снова вышло красное. И опять. Четыре раза подряд. На Лахеча начали уже поглядывать с завистью: как же, ведь он попал в полосу везения; сумма, лежащая на столе и, вне всяких сомнений, принадлежащая ему, и вправду была огромна. Он задышался, чувствуя, как на шее бешено пульсирует артерия; хотелось схватить деньги и убежать.

«Пять раз!»

¹ Тридцать два! (франц.)

² Тридцать один! (франц.)

На висках выступили крупные капли пота. Если еще раз сумма удвоится...

Крупье-банкомет, держа в руках колоду, осматривался, спрашивая взглядом, все ли сделали ставки.

«Нет, это просто невозможно, чтобы еще раз вышло красное!» — гудело в мозгу у Лахеча.

— Rien ne va plus!

Судорожным движением Лахеч схватил лопатку и передвинул груды банкнотов на соседнее поле в центре стола — в последний миг, когда уже падала первая карта.

Затаив дыхание, Лахеч ждал.

— Rouge gagne, couleur perd!

А он как раз передвинул ставку с красного поля на couleur и — проиграл.

Странное дело, но это его не огорчило. Он даже сам удивился. Единственно он ощутил только небывалый азарт.

«Так мне и надо, — подумал он. — Нужно было оставить. Ничего, сейчас отыграюсь».

Он зачерпнул из кармана, сколько вместилось в руку, и поставил на красное.

Дразняще шелестя, карты из рук крупье ложились на кожаный квадрат. Лахечу каждая секунда казалась бесконечно долгой. С притворным безразличием он оторвал взгляд от карт и стал присматриваться к окружающим стол игрокам. Его внимание привлек стоящий напротив за креслом бородатый еврей, который хоть сам ничего не поставил, с безмерным возбуждением следил, как крупье мечет карты; при этом он нервно вертел головой и шумно причмокивал языком: видимо, во рту у него совсем пересохло.

— Rouge perd, couleur gagne!

«Ага, — подумал Лахеч, глядя, как поставленные им деньги сбрасывают в кассу, — надо было в тот раз оставить, как я и решил, на красном, а сейчас поставить на черное».

Неслыханная простота этого вывода потрясла его.

«Это же так элементарно», — мысленно повторял он, не соображая, на что же ему теперь ставить.

Он даже не заметил, что пропустил несколько игр. Сейчас он пытался вспомнить, чем они закончились; ему показалось, будто он слышал, что выигрыш все время падал на черное.

«Значит, надо ставить на черное».

И он протянул к столу руку с полной горстью золота.

Однако крупье вежливым жестом остановил его. В центре стола заново тасовали карты, и пока исполнялся цере-

мониал этого торжественного обряда, все ставки полагалось убирать.

«Это хорошо, просто прекрасно! — мысленно возликовал Лахеч. — А то я опять бы свалил дурака. Ведь совершенно очевидно, что если черное выигрывало несколько раз подряд, то сейчас все должно перемениться, а значит, ставить нужно на красное».

— *Faites vos jeux, messieurs!*

Лахеч поставил на красное и проиграл. Семнадцать раз подряд он ставил на красное, и семнадцать раз подряд выходило черное.

А он все смотрел на крутящего головой еврея. Заметил, что тот держит в руке золотую монету и вот уже с час, наверное, не может решить, на что поставить. Глаза у него чуть ли не вылезали из орбит, чмокал он все громче и противнее.

Лахеч улыбнулся.

«Вот уж кто, наверно, терзается!»

Он полез в карман, чтобы сделать новую ставку; пальцы, загребая последние монеты, наткнулись на полотно. Он мгновенно опомнился, словно очнулся после глубокого сна, во время которого потерял себя. Его охватил страх.

«Как! — промелькнуло у него в голове. — Ведь у меня же было столько...»

Ему казалось, что все смотрят на него и посмеиваются. Быстро, точно убегая, он отошел от стола. Кровь стучала у него в висках, по всему телу бегали мурашки. Только теперь он обрел способность трезво судить о своей игре: все моменты, на которые у стола он не обращал внимания, четко возникали в его сознании.

«Да, надо было перейти на черный, потому что явно пошла «полоса», — размышлял он. — Достаточно было поставить по монете на черное и спокойно ждать. И я имел бы целое состояние». А уж если нет, то следовало прекратить играть, как только он заметил, что ему не везет. Ведь до сих пор он так всегда и поступал. Если бы он ушел пятнадцатью минутами раньше, у него было бы...

Лахеч принялся прикидывать, сколько же у него было четверть часа назад.

А сейчас?

Он сунул руку в карман и, расхаживая с опущенной головой по залу, стал пересчитывать оставшиеся монеты. При этом он кого-то толкал, кому-то неловко уступал дорогу, наступая на ноги другим. Один из задетых что-то прошипел сквозь зубы, другой одарил его не слишком лестным

эпитетом. Но Лахеч не обращал на это внимания, похоже, он ничего не слышал.

Пересчитанные монеты смешивались в кармане с пересчитанными; сосчитав, он тут же забывал итог, и приходилось начинать счет заново.

В конце концов он встал и, не смущаясь присутствием плящих на него людей, высыпал на ладонь последнюю горстку золота и сосчитал ее. У него оказалось почти столько же, сколько было, когда он начал игру; одним словом, он не потерял ничего, кроме того, что выиграл.

Словно бы утешая себя, он чуть ли не в полный голос произнес это и тем не менее не мог избавиться от охватившего его чувства угнетенности, которое с каждой секундой все больше походило на отчаяние.

Совсем недавно он был богат. Да, ведь то, что он выиграл, было, вне всяких сомнений, его собственностью, а это было целое состояние, которое могло бы наконец дать ему покой, свободу, жизнь, о какой он мечтал. Судьба улыбнулась ему, наполнила его карманы золотом, но так ненадолго, что он даже не успел насладиться обретенным богатством, и тут же унесла, как уносит ветер сухие листья.

И только для того, чтобы теперь он испытал чувство утраты.

А что же дальше?

Придется либо снова начинать на оставшиеся деньги осторожную, изнурительную, мелочную игру, либо отказаться от нее и, истратив эти гроши, доставшиеся ему по милости певички, опять вернуться к Хальсбанду, к граммафонам, к высиживанию в приемных директоров театров, к работе для заработка, убивающей все, что нарождается в душе.

Но он понимал, что ни на то, ни на другое сил у него больше не осталось, и ему вдруг захотелось по-детски расплакаться.

И тут же пришло какое-то странное равнодушие.

— Все едино, — прошептал он с чувством неожиданного облегчения. — В сущности, это такая чепуха, что там станет завтра! А сейчас... Сейчас я могу еще выпить бутылку шампанского! Денег хватит.

Лахеч прошел в буфет, рухнул на угловой полукруглый диванчик и велел подать бутылку вина.

— Маленькую бутылку? — с едва уловимым пренебрежением осведомился важный лакей, бросив мгновенный и привычно оценивающий взгляд на невзрачную фигуру Лахеча.

— Большую. самого сухого.

— Слушаюсь.

Ляхеч раскинул длинные руки по спинке диванчика, положил ногу на ногу. Его охватило божественное и сладостное чувство, какое бывает у человека, когда он осознает, что ему терять нечего. Он мысленно улыбнулся, подумав об игре и о проигрыше, о том, что он, в сущности говоря, нищий, а между тем швыряет тут деньги и пьет шампанское, потому что ему так захотелось.

Он налил бокал до краев и, откинув голову на спинку диванчика, поднес его ко рту. Почувствовал на губах вкус микроскопических брызг, вырывающихся из бокала; в ноздри ему ударил бодрящий, возбуждающий запах.

Чуть пригубив вино, он следил из-под полуопущенных век за проходящими мимо людьми. Первый же глоток ударил ему в голову.

«Я сам себе господин, — убеждал он себя. — Проиграл, потому что мне так захотелось, так взбрело в голову. А сейчас пью превосходное вино, посиживая на бархатном диванчике, потому что мне так нравится, а захочу — завтра плюну музыкой в рожу всей этой разряженной швали, что смотрит на меня, как на волка. А захочу — повешусь, и конец всему! Что захочу, то и сделаю».

Ему было безумно приятно от этого ощущения абсолютной и бесспорной свободы, доведенной до последней границы. Он мысленно несколько раз повторил это определение, радуясь в глубине ликующего сердца тому, что оно так просто и ясно, и удивляясь, почему оно раньше не пришло ему в голову.

В поле его зрения вдруг возникла стройная фигура женщины, которая с кем-то разговаривала. Она стояла к Ляхечу спиной, но он узнал ее с первого взгляда, узнал еще прежде, чем уловил ее движение, чем определил цвет ее волос.

Что-то оборвалось у него в груди, стиснуло горло. Он вскочил, задев за стол, и тотчас же снова уселся, не понимая, зачем вставал.

А женщина обернулась на шум, увидела Ляхеча и стояла с приветливой улыбкой, ожидая, что он поздоровается с нею.

— Аза...

Ляхеч вновь неуклюже поднялся и подошел к ней. Руки у него дрожали, на лбу выступил пот, а когда он подал ей руку, ему пришло в голову: а ведь она, видя его здесь, решила, что он играет на деньги, которые она для него заработала. Его охватил жгучий стыд и ярость, такая ярость,

что он едва не потерял остатки соображения. Мимо него прошло, что Аза представляет его своему собеседнику; он только уловил «мой композитор», и это определение непонятно почему уязвило его.

— Я бросаю музыку, сударыня, — неожиданно и глупо вырвалось у него.

— Да что вы? — засмеялась певица. — Неужели вы так много выиграли?

Она тут же пожалела, что сказала это. Лахеч побагровел и улыбнулся странной улыбкой, скорей похожей на гримасу приближающего плача. Аза дотронулась до его руки.

— Господин Хенрик, — обратилась она к нему по имени и с чуть заметной укоризненной интонацией, — вы не должны так говорить даже в шутку. Вы — великий композитор, и было бы безмерно жаль, если бы вы загубили огромный талант, которому сейчас настало самое время пробиться.

Лицо у великого композитора стало ярко-алого цвета; ему казалось, что сейчас из всех пор у него брызнет кровь. А развеселившаяся Аза продолжала болтать, с очаровательной кокетливостью, чуть склонив голову набок:

— Почему вы не были у меня после концерта? Я ждала вас. Хотела еще раз поблагодарить за чудесную музыку. Это был ваш триумф, а не мой и даже не Грабца.

«Из жалости хочет сделать мне приятное», — пронеслось в голове у Лахеча.

Ему казалось, что спутник Азы, потрясаяще элегантный молодой человек, именно так и понимает ее слова и смотрит на него с насмешкой, как на нищего.

В нем вдруг вспыхнула гордость, и он вскинул голову. Лицо у него залилось бледностью, и, обойдя взглядом молодого человека, который как раз открыл рот, чтобы добавить к словам Азы и свой разменный комплимент, Лахеч взглянул ей в глаза и произнес, медленно цедя слова:

— Это я вас благодарю. Вы великолепно исполнили мое произведение. Лучшей исполнительницы и желать невозможно. Я весьма доволен и еще раз благодарю вас.

С неожиданной даже для самого себя ловкостью он отвесил стремительный поклон и вышел. Но в дверях вспомнил, что не заплатил за вино. Вернувшись, Лахеч небрежно бросил официанту несколько золотых, чуть ли не половину того, что у него осталось, и, не оглядываясь, выбежал на лестницу.

И тут его покинула минутная уверенность в себе, напряженные нервы отказали в послушании.

«Экий же я идиот! — сокрушался он, пробираясь в толпе к выходу в парк. — Идиот, шут гороховый, ничтожество и хам! Что она подумает обо мне? Небось разговаривает сейчас со своим красавцем, и оба хохочут надо мной».

Его охватило безумное, нервическое отчаяние. Он бежал по пальмовым аллеям, из которых жара выгнала гуляющих, и грыз, и грыз себя.

— Дальше! Дальше! Надо бежать!

Лахеч чувствовал, что его душат рыдания, чувствовал, что отдал бы все — жизнь, душу, — лишь бы суметь разговаривать с нею иначе — как тот франт, и чтобы она смотрела на него так же, как на того.

«Повеситься!» — вспыхнуло у него в мозгу. Он сжал зубы и стал искать, захваченный этой мыслью, укромное дерево с подходящими ветвями.

«Да, повеситься! — безмолвно повторил он. — Все это не имеет никакого смысла. Слишком я никчем и глуп».

Он заметил смоковницу с разлапыстыми кривыми ветками. Выбрал одну из них, проверил рукой, достаточно ли они прочна. Швырнул на землю шляпу, сорвал воротничок. Все было готово.

И тут он вспомнил, что ему не из чего сделать петлю. Подтяжки слишком слабы и, без сомнения, оборвутся. И внезапно ему стала отчетливо видна вся стыдная и трагическая комичность ситуации. Лахеч опустил на землю, у него случился приступ спазматического, судорожного смеха, а из глаз потекли крупные жаркие слезы.

Х

Яцек решил уехать из Асуана, не повидавшись с Азой. Он был зол на себя, что поддался ее уговорам, а точнее, ответил на мимоходом брошенное приглашение, поскольку она вовсе не уговаривала его, и вопреки своему твердому решению приехал только для того, чтобы вновь убедиться, что находится в рабской зависимости от нее. К тому же его раздражила беседа с Грабецом. Теперь он совершенно уверен, что этот незаурядный человек, гениальный писатель одержим идеей возвысить роль творцов и действительно подготавливает некий переворот. Яцек думал об этом с огорчением, так как совершенно не верил в успех. По правде сказать, и в нем часто вскипало возмущение против самовластия посредственностей, которые, если здраво рассудить, эксплуатировали мыслителей и творцов ради собствен-

ного благополучия, оставляя им мнимую и якобы заслуженную свободу, но усилием воли он тут же подавлял негодование как чувство, недостойное высокого духа, величие которого в самом себе, и лишь с еще большим презрением, но и снисходительностью смотрел на окружающих. Вмешиваться в хаос борьбы без особой необходимости у него не было никакой охоты: слишком многое могли потерять высокие духом, чтобы все поставить на одну карту ради не слишком ценного выигрыша, каким оказалась бы власть над толпой.

Тем не менее удерживать Грабца Яцек не мог и не хотел. Во-первых, потому что, честно говоря, чувствовал в его словах правоту, а во-вторых, потому что знал: никакого толка от уговоров не будет.

Об этом Яцек и думал в отеле, укладывая дорожную сумку, которую брал с собой в самолет.

В дверь постучали. Яцек обернулся.

— Кто там?

Ему пришло в голову, что это может быть посыльный от Азы, и хоть он решил улететь, не повидавшись с ней, сердце его забилось от радостной надежды.

С нескрываемым разочарованием он увидел в дверях лакея, которого назначили прислуживать ему.

— Ваше превосходительство, самолет, как вы распорядились, готов к полету.

— Хорошо. Сейчас выхожу. Кто-нибудь спрашивал меня?

— Ваше превосходительство распорядились никого не принимать.

— Кто был?

— Рассыльный.

— Откуда? От кого?

Яцек почти выкрикнул этот вопрос, и сразу же ему стало неловко, тем паче что он заметил на тонких губах лакея сдержанную улыбку, которая, правда, мгновенно исчезла.

— Из «Олд-Грейт-Катаракт-Паласа». Он оставил письмо.

Лакей подал Яцеку узкий длинный конверт.

Яцек бросил взгляд на листок бумаги.

— Когда его принесли?

— Только что.

— Так... хорошо... — пробормотал Яцек, пробегая глазами несколько строчек, написанных крупным, четким почерком. — Распорядитесь вкатить самолет обратно в ангар, я полечу позже.

Как был, в дорожном костюме Яцек вскочил в лифт и

через две минуты вышел из него на первом этаже. «Олд-Грейт-Катаракт-Палас», где остановилась Аза, был довольно далеко, и сейчас, в жару, идти по улицам было не слишком приятно, но тем не менее Яцек не сел в подкативший автомобиль, а отправился туда пешком. Хотя сегодня он уже много ходил, Яцек испытывал потребность в движении, которое всегда успокоительно действовало на него.

По пути у него скользнула мысль, что, может быть, лучше было бы вернуться и улететь, послав Азе письмо с извинениями.

Но он лишь посмеялся над собой. К чему эти детские штучки? Ведь было же ясно с самого начала, что он повидается с нею. Даже если бы она не прислала ему записку, он в последний момент нашел бы какой-нибудь повод, чтобы оправдаться перед собой, и помчался бы к ней.

Станным было его отношение к этой женщине. Он знал, что она его не любит и никогда не полюбит, понимал: она намеренно удерживает его при себе neodолимым своим очарованием, так как ей лестно видеть у своих ног среди множества позолоченных дураков мудреца, а также еще и потому, что ее забавляет, до какой степени он неловок и слаб перед ней. Кроме того, у нее могли быть и какие-то скрытые причины, по которым она не хотела упускать его из рук; как-никак при его положении, знаниях и имени он мог быть ей полезен при решении важных для нее вопросов в тех кругах, на которые ее безмерная женская власть все-таки не распространялась.

Яцек знал все это и, более того, знал, что она сознательно избрала для их взаимоотношений фальшивую видимость дружбы, чтобы еще сильнее мучить его и еще надежней привязать к себе, однако не возмущался и не обижался на Азу. Если порой ему и хотелось вырваться из-под ее власти, то только для того, чтобы избавиться от мук безответной любви и спасти мысль от ее чар, из-за которых та все чаще путалась и туманилась.

Но ему не доставало на это сил, и тогда он думал, что эти муки и наслаждение, какое он испытывает, любясь ее дивным, прекрасным телом, пожалуй, единственное, что он получает от жизни, как бы возносясь частью своего существа над ее кругами.

Порой, когда в нем вскипала кровь и приходило безумное желание поцеловать, стиснуть Азу в объятиях, он извивался, как червяк, от невыразимой боли и думал, что она, должно быть, расточает и продает безмерное сокровище своей красоты не только на театральных подмостках в ярком

свете лампы, но и в благоуханной тишине своей спальни, когда лишь свет приглашенных ламп указывает святотатственным устам путь к белоснежной груди.

Так считали все, и он, не смея думать иначе, старался вообще не вспоминать об этом. Но когда к нему приходили подобные мысли, он боролся с ними, подавлял их, пока они не растворялись в каком-то бесконечном море печальной нежности, готовый все простить, со всем смириться.

— Ты моя, — шептал он тогда, — моя, хоть тысячи глядят на тебя и тянут к тебе руки, потому что я, быть может, единственный способен понять красоту твоего тела и почувствовать твою бедную светлую душу, прячущуюся где-то в самой глубине сердца, куда едва доходит эхо твоей жизни.

И он снова смотрел на нее с доброй, хотя и грустной снисходительностью и спокойно воспринимал свою слабость перед ней и то, что другие назвали бы унижением; так взрослый человек иногда подчиняется капризам любимого ребенка и по его приказу бежит на четвереньках вокруг стола.

Такое же чувство он испытывал и сейчас, спеша по ее приглашению к ней в гостиницу, хотя у него и не было полной уверенности, что его примут и встретят с радостью. Яцек знал: все будет зависеть от минутного настроения Азы, и тем не менее торопился, потому что сам хотел увидеть ее. Шел и с тихой нежностью думал о ней.

На повороте пальмовой аллеи, где та близко подходила к пустыне, Яцек непроизвольно остановился. Он смежил веки, оставив лишь крохотные щелочки, чтобы с солнечным светом, падающим на лицо, в них проникала и желтизна песков, что уходили за границу клеверных полей в бескрайность.

Постепенно в сознании у него все стало расплываться и смазываться. Он уже почти забыл, где находится, зачем вышел из гостиницы и куда идет. Ощущение несказанного сладостного облегчения, несказанного успокоения проливалось на него с лучами солнца. В памяти промелькнуло: Аза, Грабец, взлеты и тяжелый духовный труд, мудрец Нианати-лока, но все тут же таяло, как тает у него на родине весенний снег, когда теплом дышат и небо, и набухшая земля, и разлившиеся воды.

Солнце! Солнце!

Был момент, когда он думал только о солнце да о жарком ветре, отраженном розовыми скалами, пролетевшем через пустыню с лазурного моря от теплых волн, что набе-

гают на песок со сладострастностью кошки, которая пронзительно мурлыкает и трется о глядящую руку. Он упивался благоуханной, звенящей в ушах предвечерней тишиной и прикосновениями ласкового ветра, которые ощущал на лице, на волосах, на приоткрытых губах.

Странное, тревожащее чувство прямо-таки физического наслаждения растекалось по всему телу.

— Таковы же, должно быть, поцелуи ее уст, так же ласкают ее мягкие, нежные, сладостные руки...

Свое сознание и чувства он удерживал на одном-единственном ощущении, точно хрустальный шар на острие ножа — вне времени и пространства.

— Вот таковы же, наверно, ее поцелуи...

И вдруг он открыл глаза, словно пробудился после длившегося целую вечность летаргического сна. Несмотря на жару, дрожь пробежала по его телу, залитая светом пустыня потемнела в глазах. Он вспомнил, что потерял все утро, непонятно зачем сидя в отеле и теща, как мальчишка, «мужскую гордость», хотя мог быть рядом с ней, смотреть ей в глаза, чувствовать прикосновение руки, слушать ее мелодичный голос. И даже сейчас, когда она позвала его, он тратит попусту время.

С нервической торопливостью он махнул проезжавшему мимо электрическому экипажу и велел отвезти себя в отель.

Аза ждала его у себя в номере. Радостно и с видимым удовлетворением, оттого что он пришел, она поздоровалась с ним, но очень скоро не выдержала и стала выговаривать за то, что он явился так поздно и только после того, как она пригласила его.

— Тебе что, вчера не понравилось? — Они уже некоторое время как были на «ты». — Сбежал, не дождавшись конца концерта, а сегодня я едва дождалась тебя.

Яцек не вышел еще из того мечтательного настроения, какое охватило его на солнце, и, не отвечая, смотрел на нее с улыбкой, словно его сон вдруг превратился в явь. Всякий разговор был для него ненужной докукой; ему хотелось только смотреть на нее и чувствовать, что она рядом.

Но Аза требовала, чтобы он ответил. Он протянул руку и кончиками пальцев прикоснулся к ее ладони.

— Ты была чудесна, — шепнул он, — но я, право же, предпочел бы не видеть тебя там вчера и не слушать вместе с другими твоё пение.

— Почему?

— Потому что ты прекрасна.

Яцек пожирал ее взглядом.

— Ну и что? — недоумевала Аза. — Раз я прекрасна, мною нужно любоваться и любить меня, а не убегать.

Яцек покачал головой.

— Когда я смотрю на тебя в театре, то не могу избавиться от впечатления, будто ты измываешься над своей красотой и швыряешь ее в добычу толпе. И тогда мне становится до боли жалко, что ты так божественно прекрасна.

Аза улыбнулась.

— Значит, я все-таки божественно прекрасна?

— Ты сама знаешь это, и даже слишком хорошо. Меня только порой удивляет, что тебе недостаточно сознания собственной красоты и ты испытываешь, так ли сильна она, улавливая ею людей, которые даже смотреть на тебя недостойны.

— Искусство принадлежит всем, кто его пожелает, — искренне и заученно промолвила Аза. — Я — артистка, то, что есть во мне, я должна выразить перед людьми движением, голосом. И когда я творю, я вовсе не спрашиваю...

Улыбнувшись, Яцек прервал ее:

— Нет, Аза. Это заблуждение. Ведь ты же ничего не творишь. Ты просто делаешь чудо из того, что сотворено мыслью других, и только потому, что ты сама чудо. Тебя и хотят видеть — чудом! Тебе только за одно это и платят, и ты обязуешься быть прекрасной для каждого, кто заплатит за вход. Ты теряешь свободу красоты и в театре отказываешься от себя для всех тех, кто любит говорить об искусстве, но при этом похотливым взглядом следит каждое твоё движение. Вчера именно такое я и видел, да ты и сама не можешь этого не чувствовать. По мне, ты слишком хороша для подобной службы.

Аза рассмеялась — громко, презрительно.

— Ну, я лучше знаю, для чего я хороша! И не служу я, а властвую. Для меня построены театры, написаны оперы, изобретены музыкальные инструменты. Для меня трудился тот, кто тысячелетия назад возвел на острове этот храм, и те, кто века назад затопил его водой, чтобы ныне я могла смотреться в эту водную гладь, когда танцую и пою. Я прекрасна и могущественна. Я могу и желаю властвовать и потому...

— Продаешь красоту своего тела.

— Точно так же, как ты могущество своего духа, — вызывающе бросила она ему в лицо.

Яцеку припомнился недавний разговор с Грабцом. Он склонил голову и потер ладонью лоб.

— Как я могушество духа... — повторил он. — Да, быть может, быть может... Все мы в одинаковом положении. Человеку кажется, будто он властвует, приказывает, предводительствует, берет себе, что заблагорассудится, а на самом деле он является наемником, купленным уже при рождении, и служит толпе за установленную без его участия плату. Толпа покупает себе и рабочих, и мудрецов, и изобретателей, и вождей, и шутов, и актеров, и холопов, а когда были короли, она их покупала за то, что они являются королями, хотя тем казалось, как и тебе, будто они царствуют милостью Божьей. Толпа покупает даже погромщиков, разрушителей и собственных врагов, потому что ей и эти нужны, — добавил Яцек, думая о Грабце.

Но Аза не обращала внимания на то, что он говорит. Она встала и, чтобы прервать досаждающий ей разговор, бросила с деланным безразличием:

— Что ж, смирися с этим.

— Разумеется. Мы всегда, постоянно и неизменно смиряемся со всем, как будто то, что окружает нас, и впрямь чего-то стоит и действительно необходимо. Ведь ты и в диких дебрях, одинокая, как цветок, была бы так же прекрасна.

— И какой был бы мне прок от этого?

— Вот, вот. Человек всегда думает, какой ему будет прок. Ты, я, они — все. Мы не умеем ценить того, что в нас есть, и потому ищем у других подтверждения нашего представления о себе, строим на их мнении. Мы так мало верим, что мы вечны, и потому ищем у других, столь же бранных, как и мы сами, мнимого бессмертия (славы, славы!) и пытаемся делами или хотя бы деятельностью обеспечить своим мыслям долговечность, какой жаждем для себя.

Яцек говорил, подперев лоб ладонью, словно разговаривая с самим собой, но в то же время задумчиво смотрел на стоящую перед ним женщину.

А она слушала его с внутренней враждебностью. Ей скучны были не слишком понятные слова, и она воспринимала только их звучание да простейший смысл, но задумываться над ними у нее не было ни малейшей охоты. Более того, когда Яцек при ней развивал для себя самого свои мысли, она испытывала к нему глухую неприязнь, потому что чувствовала: в такие минуты он уходит из-под ее колдовской власти.

Аза вдруг положила ему на плечи руки.

— Я хочу, чтобы со мной ты думал обо мне, только обо мне.

Яцек улыбнулся.

— А я о тебе и думаю, Аза. Ах, если бы я верил в бессмертие души так же сильно, как жажду его, и верил в извечное, ни от чего не зависящее совершенствование ее!

— И что тогда?

Аза прервала его этим бездумно брошенным вопросом, не требующим иного ответа, кроме улыбки. Длинные ресницы наполовину затеняли ее огромные детские глаза, она чуть надула губы, легонько подрагивающие то ли от таящейся в их уголках улыбки, то ли от предчувствия поцелуев. Ее восхитительная грудь, чистые линии которой обрисовывались под легкой тканью платья, высоко поднималась от глубокого дыхания.

Яцек смотрел ей в лицо так безмятежно и спокойно, словно перед ним и вправду был цветок, а не прекрасная, желанная женщина.

— Тогда я взял бы тебя за руку и сказал бы так: пойдем со мной и попробуем быть одиноки даже вместе, вдвоем. Цвети, как цветок, потому что твоей красоте не нужны ничьи глаза; объеми душою мир, сколько сможешь, точно-точно как это делает солнце, и не думай о большем. Не пропадет вовсе сладость твоих уст, хотя ничьи губы и не выпьют ее; не пропадет ни одно движение твоего тела, не погибнет ни одна улыбка, хотя и не запечатлится даже на краткий миг в чужих глазах и чужом вожделении.

Аза смотрела на него с неподдельным изумлением, не в силах взять в толк, серьезно он говорит или просто посмеивается над ней. Яцек поймал неуверенность в ее взгляде и внезапно умолк. Ему стало грустно и стыдно, оттого что он говорит ей о вещах, кажушихся смешными и нелепыми; ведь, оторвавшись от мысли, которая была их основой и из которой они выросли, они превратились в разбредшиеся слова, едва-едва выражающие породившую их мысль.

Он встал и потянулся за лежащими на столе перчатками. Аза бросилась к нему.

— Останься!

— Не хочу. Да мне и пора. До заката солнца я должен уже лететь над Средиземным морем.

— Зачем ты мне это рассказываешь? Ведь ты же прекрасно знаешь, что останешься.

И Яцек послушно уселся.

Разумеется, он останется. Еще на минутку или на час.

Он чувствовал, что стоит ей пожелать, и он останется с нею навсегда. И в то же время понимал, что она никогда этого не пожелает, потому что он сам не умеет желать, нелепо выйдя за скобки жизни, и вот теперь разливается перед нею соловьем, толкуя об одиночестве красоты, вместо того чтобы протянуть к ней руки, прижать к груди, прильнуть губами к ее губам, преодолев сопротивление, если она окажет его.

Яцек видел, до чего она красива, обольстительна, прелестна, неповторима. Предугадывал, что вся она — счастье и наслаждение. Жаркий туман окутал его мозг; он впивался в нее глазами, в которых постепенно стало загораться любовное исступление, бездонное и скорбное, как смерть.

В крови, что для его разгоряченных мыслей была тем же, чем было масло для древних лампад, пробежало какое-то волнение и дрожь — из прадавних воспоминаний, быть может, еще из тех времен, когда его предки готовы были весь мир взять на шпагу ради одного только взгляда прекрасных глаз. И как море, вздымающее свои воды к Луне, кровь его неудержимым приливом устремлялась к величайшему таинству жизни, каким является любовь; к таинству, вроде бы утраченному на вершинах, но тем не менее живому и неизменно напоминающему о себе дыханием уст, биением сердца, пульсацией крови в жилах.

— Аза... — прошептал Яцек.

Она подошла к нему.

— Что?

Она смотрела на него из-под приопущенных век взглядом, который казался уже полубессознательным (вот так смотрит загипнотизированная удавом газель), однако губы ее хищно подрагивали, свидетельствуя, что жертвою здесь является вовсе не она. Протянув руку, Аза коснулась его лба. Легонько, легонько — словно напоенный солнцем ветер, что ему откидывал упавшие волосы со лба.

Как там — на границе пустыни...

Он ощутил солнце в воздухе, втекающем в грудь, в крови, что, становясь все жарче, распирала артерии, заволакивала глаза туманом, увлекала за собой мысли в странный танец... И волна непередаваемо сладостного, лишшающего воли блаженства затопила все его существо.

Как там — на границе пустыни...

Яцек потянулся лбом к ее рукам, а она чуть приподняла его голову.

— Любишь меня?

Аза выдохнула эти слова ему прямо в лицо, ее губы были рядом с его губами.

— Да.

Она стояла над ним, сознавая свою безмерную, неодолимую силу: в этом человеке, что словно младенец, затих в ее ладонях, к ее ногам склонилось все бездонное знание, высочайшая мудрость мира. Потому что она женщина, потому что она прекрасна, она теперь могла повелевать ею, как повелевает всеми творцами, поэтами, живописцами, композиторами, хоть те и почитают себя выше ее, как повелевает толпой, богачами, сановниками, стариками и юнцами.

В памяти у нее промелькнуло то, что недавно ей говорил Грабец:

«Яцек сделал таинственное и страшное изобретение. Сам он никогда его не использует, но тот, в чьих руках оно окажется, станет самодержавным владыкой мира».

Владыкой мира!

Аза еще ближе склонилась к Яцеку. Прядки волос, упавшие у нее с висков, щекалели ему лоб.

— Ты знаешь, что я прекрасна? Прекрасней, чем жизнь, чем счастье, чем сон?

— Знаю...

— А ведь ты еще ни разу не целовал меня.

Слова ее были тихи, почти беззвучны, как дыхание.

— Хочешь?

— Аза!

— Скажи мне свою тайну, отдай мне свое могущество, и я стану твоей.

Яцек вскочил и попятился от Азы. Он был смертельно бледен. Стиснув зубы, он молча смотрел на удивленную его реакцией артистку.

— Аза, — с трудом выговаривая слова, наконец произнес он. — Неважно, люблю я тебя или только желаю, неважно, в чем моя тайна и мое могущество, но я не хочу... покупать тебя, как другие.

Аза гордо вскинулась.

— Как другие? Кто может похвастаться, будто видел в одиночку чудо моего тела? Кто обладал мною?

Яцек бросил на нее быстрый изумленный взгляд. Но она поймала его и рассмеялась.

— Ради одной только... нет, даже меньше, чем улыбки, даже меньше, чем снисходительного взгляда, люди ползают у моих ног и идут на гибель, если мне захочется! Никто

не способен дать цену, за которую можно меня купить. Теперь за меня нужно отдать весь мир!

Онемев, затаив дыхание, Яцек смотрел на нее и чувствовал, что сейчас она говорит правду. А она, склонив голову и нахмурив брови, словно под влиянием какого-то воспоминания, бросила ему:

— Слишком много грязи пришлось мне повидать в детстве, чтобы и сейчас еще пачкаться в ней. Когда я была беззащитна, мною помыкали, пытались овладеть, но я никому не отдалась, кроме одного человека, которого ты услал на Луну!

— Аза!

Она уловила в его голосе странную ноту, вырвавшуюся из самой сокровенной глубины сердца, и тут же в ней разыгралась женская жестокость. Она поняла, что теперь у нее в руках есть орудие пытки для него, цепь, держа за которую и ранив ее, она еще сильнее прикует его к себе. Широко раскрытыми глазами она всматривалась в Яцека; на губах у нее заиграла улыбка, с какой, наверное, римские матроны слушали стоны гладиаторов, умирающих на арене.

— Он, твой друг, единственный, кто познал меня, — говорила она. — Он единственный во всей вселенной, кто знает, какого вкуса мои поцелуи, как благоуханна моя грудь, как умеют ласкать мои руки. Но теперь его нет на Земле. Туда, на Луну, к звездам, в бескрайнее синее небо он унес тайну моей любви, которая кого-нибудь другого могла бы убить несказанным наслаждением. Не веришь? Спроси его, когда он вернется ко мне. Он расскажет тебе, ведь ты же его друг и мой благородный друг, единственный, кто от меня ничего не хочет.

Яцек покачнулся, как пьяный.

Внезапно за стеной раздался громкий многоголосый смех. Послышался топот ног бегущей прислуги, тонкие голоса мальчиков-боев и бас управляющего, который тщетно пытался восстановить порядок.

Но Яцек совершенно не обращал на это внимания. Не отрывая глаз от певички, он что-то пытался ей сказать.

Аза же, только раздался шум, направилась к двери и открыла ее, поскольку ей показалось, что она различает в этой сумятице голос г-на Бенедикта.

Ее взору предстала, можно сказать, единственная в своем роде картина. В передней, набитой прислужкой, стоял г-н Бенедикт и правой рукой отбивался от какого-то крохотного лохматого человечка, который, вцепившись, как кот, ему в грудь, лупил его кулачком по физиономии. В правой руке

почтенный отставник сжимал веревку, привязанную к ноге второго карлика, который словами и жестами напрасно пытался утихомирить своего сотоварища. Слуги были беспомощны, потому что стоило кому-нибудь из них протянуть руку, чтобы схватить разъяренного малыша, как г-н Бенедикт начинал кричать:

— Не смейте его трогать! Это для госпожи Азы!

Певица нахмурилась.

— Что здесь происходит? Вы что, с ума все посходили?

Г-н Бенедикт сумел наконец избавиться от агрессора и прямо-таки с юношеской прытью подбежал к Азе.

— Сударыня, — чуть задышавшись и состроив на покрытом синяками лице улыбку, проблеял он, — я тут вам кое-кого привел...

С этими словами он подтянул за веревки наряженных в детские матросские костюмчики карликов.

— Это что такое?

— Гномики, сударыня, очень смирные. Их легко научить прислуживать...

Аза уже достаточно раздраженная разговором с Яцеком, к тому же прерванным так не вовремя и неожиданно, пребывала не в самом лучшем настроении.

— Убирайся отсюда, глупый старик, вместе со своими обезьянами! Убирайся, пока цел! — топнув дивной ножкой, грубо закричала она, точь-в-точь как в те времена, когда служила в цирке.

Прислуга, давась от сдерживаемого смеха, моментально вылетела из передней, г-н же Бенедикт онемел. Он никак не ожидал подобного приема. Ухватив Азу за широкий рукав, он стал извиняться, уверять, что надеялся доставить ей удовольствие, подарив столь редкостных уродцев.

Привлеченный чрезмерно громким разговором, в дверях появился Яцек. Он уже полностью пришел в себя, только лицо у него было чуть бледнее, чем обычно. Певица тут же принялась жаловаться ему.

— Ты только погляди, — жалобным голосом говорила она, — мне же не дают ни минуты покоя. А этот — старик, и ни капли ума! Притаскивает ко мне каких-то не то людей, не то марышек, и еще к тому же злобных.

Яцек глянул на карликов, и что-то дрогнуло у него внутри. Несмотря на идиотский наряд, в них чувствовался незаурядный ум, не свойственный ни обезьянам, ни даже обычным дюжинным людям. В нем зародилось неожиданное предчувствие.

— Кто вы такие? — задал он вопрос, причем совершенно случайно произнес его на родном польском языке.

Результат был самый неожиданный. Лунные жители поняли его слова, произнесенные на священном языке их древнейших книг, и оба вместе, перебивая друг друга, принялись рассказывать о себе в радостной надежде, что наконец-то кончится это затянувшееся роковое недоразумение.

Яцек с трудом угадывал значение обрушенных на него исковерканных выражений и слов. Он задал еще несколько вопросов и наконец обратился к Азе. Лицо у него было серьезно, только слегка подергивались губы.

— Они прилетели с Луны, — сообщил он.

— От Марка? — вскрикнула Аза.

— Да, от Марка.

Г-н Бенедикт вытарашил глаза. Он никак не мог взять в толк, что происходит.

— Да нет же, мне их продал араб, — принялся он объяснять. — Кажется, они живут в пустыне, в отдаленном оазисе...

XI

— Послушайся меня хоть на этот раз, — уговаривал Рода Матарета, — и поверь, я все делаю правильно, иначе нельзя.

— Вот увидишь, нам еще отольется твоя ложь, — хмуро бросил Матарет и, повернувшись спиной к учителю, влез на стул, а с него на стол, стоящий у окна гостиничного номера. Взобравшись, он высунул голову в окошко и стал с интересом смотреть на уличное движение, притворяясь, будто не слышит, что говорит ему Рода.

Но отвязаться от Роды было не так-то просто. Сидя в уголке мягкого кресла, он откинул упавшие на глаза волосы и продолжал доказывать, что все беды, обрушившиеся на них, произошли по вине Матарета, но если тот не будет мешать ему, Роде, действовать, их судьба мигом улучшится.

— Никак нельзя признаваться, — продолжал он, — что мы враждовали с этим Марком, потому что люди могут нам за это отомстить.

В конце концов Матарет не выдержал. Он повернулся и сердито бросил:

— Но это вовсе не означает, что мы должны представлять себя его лучшими, самыми доверенными друзьями, как это постоянно делаешь ты.

— Дорогой мой, но, утверждая так, я не слишком грешу против истины.

— Что? И это говоришь ты?

— Разумеется. Он доверял нам, когда рассказывал все о себе и своем корабле. Ну, а дружба... Что такое дружба? Это когда один человек желает добра другому. Наивысшим благом человека является истинное понимание своей жизни. А вся наша деятельность была направлена на то, чтобы вывести Победоносца из ошибочного представления о его якобы земном происхождении, а следовательно, мы желали ему добра, то есть...

— Да ты с ума сошел! Ведь этот Марк вправду прилетел к нам с Земли! — прервал Матарет стремительный поток слов главы Братства Истины.

Рода даже поперхнулся от негодования.

— Ты как всегда страшно туго соображаешь. Ну и что с того, что он прилетел с Земли? Да хоть бы даже с Солнца! Мы вовсе не обязаны были знать это. Лучше всего будет, если ты станешь помалкивать и предоставишь говорить мне.

— И ты опять будешь врать про дружбу с ним.

— Я уже доказал тебе, что это вовсе не ложь. Мы в таком положении, в каком могут быть только его лучшие друзья. Мы прилетели на Землю в его корабле и напрямую от него, значит, мы как бы его посланцы. А отсюда следует вывод, что мы — его друзья. В некоторых случаях следствия определяют причину. Не морщись, я говорю совершенно серьезно. Быть может, мы и сами не знали, что он испытывает к нам дружеские чувства.

Матарет сплюнул и слез со стола.

— Я не желаю иметь к этому никакого отношения. Делай, что хочешь, а я умываю руки.

— Да я ведь только и прошу тебя, чтобы ты мне не мешал. А я справлюсь, не беспокойся. Если бы не мое энергичное обращение с этим старым дураком, что таскал нас на веревке, мы, быть может, опять сидели бы в клетке, а теперь сам видишь: благодаря мне к нам начинают относиться с уважением. Я по натуре добр, снисходителен и не злопамятен, но как только займу тут высокое положение, тотчас же прикажу содрать с того негодяя, что возил нас в клетке, заживо кожу или закопать вниз головой в песок.

Приход Яцека положил конец выступлению главы Лунного Братства Истины. Он стремительно вскочил, дабы приветствовать вошедшего, а так как слезть с высокого кресла у него уже не было времени, то он встал на мягком

сиденьи и, держась одной рукой для сохранения устойчивости за подлокотник, отвесил низкий поклон.

— Приветствую тебя, достопочтенный господин!

Яцек дружески улыбнулся.

— Господа, — сказал он, — я больше не могу задерживаться здесь, но в пути у нас будет достаточно времени, чтобы побеседовать. Надеюсь, вы согласитесь сопутствовать мне и стать гостями в моем доме?

Рода вновь склонился с высоты кресла в глубоком поклоне, а Матарет, чуть кивнув, ответил:

— Мы благодарим тебя, господин. Впрочем, ты зря спрашиваешь нас: у нас нет выбора, и мы полностью зависим от тебя.

— Нет, нет, — возразил Яцек, — это мой долг, причем приятный, принять вас, посланцев моего друга, и постараться, чтобы вы позабыли о тех злоключениях, что произошли с вами по прилете на нашу планету. Мне очень стыдно. Простите Земле ее варварство и глупость.

После этого он с озабоченным видом обратился к Роде.

— Сударь, мы не нашли писем. Я сам ездил в пустыню к кораблю Марка, но писем там нет. Мы все обыскали.

Рода изобразил глубочайшее огорчение.

— Ах, как скверно! Впрочем, содержание писем, которые вам написал наш друг Марк, я помню почти наизусть и могу вам повторить.

— В таком случае большой беды нет.

— Я только опасаюсь... Все-таки они — единственное подтверждение, что мы...

— Не беспокойтесь, я верю вам на слово.

Рода хлопнул себя по лбу.

— Вспомнил! Конечно же, писем в корабле нет и не может быть. Их отобрал этот скот, что возил нас в клетке.

— Прошу вас, не надо больше вспоминать об этом несчастном недоразумении. Я велел отыскать Хафида. Если он не выбросил письма, их у него заберут. Однако меня призывают мои обязанности, и я не могу дожидаться здесь результатов поисков. Я хотел бы вылететь немедленно, если вы не против сопровождать меня.

— Мы вполне готовы, — ответил Рода и еще раз поклонился.

Через несколько минут они уже садились в самолет. Яцек расположился на переднем сиденье, оглянулся, крепко ли держатся его спутники, и положил руку на рычаг, соединяющий воздушный пропеллер с системой аккумуляторов.

Лопастя пропеллера завертелись с умопомрачительной скоростью, и с уплотненной площадки перед отелем взметнулся песок, поднятый воздушным вихрем. Самолет взлетел с места почти вертикально. Рода невольно вскрикнул, закрыл глаза и ухватился за передние металлические поручни, чтобы удержаться и не соскользнуть назад.

Яцек с улыбкой обернулся.

— Не беспокойтесь, господа, все в порядке, — бросил он.

Побледневший Матарет тоже судорожно вцепился в перекладины, но глаз не закрыл, стараясь усилием воли преодолеть головокружение. Он ощущал легкое покачивание и свист ветра, налетающего сверху из-под самых крыльев самолета. Перед глазами у него было небо. А когда он наклонил голову и взглянул вниз, то увидел у себя между коленями стоящий среди пальм отель; тот с поразительной быстротой уменьшался. Ему вспомнился отлет с Луны, и внезапная дрожь страха пробежала по всему его телу. Матарет зажмурил глаза и судорожно стиснул зубы, стараясь не закричать.

Самолет же тем временем принял положение, близкое к горизонтальному, и набирал по спирали высоту, описывая в небе расширяющиеся круги.

Когда Матарет наконец справился со страхом и открыл глаза, Асуан уже казался маленьким пятнышком на желтой равнине, которую перерезал Нил, похожий на голубую ленту с зеленой каймой берегов.

Круговое движение самолета создавало ощущение, будто мир медленно вращается. Когда солнце ударило Матарету в глаза, он обратил внимание, что оно снова стоит высоко на небосклоне, хотя когда они выходили из гостиницы, оно уже садилось. Солнце было золотого цвета, словно исчерпало себя, изливая дневной зной, и золото пробивалось сквозь некий розовый пепел, что медленно оседал на солнечном диске, притемняя его на круто падающем побагровевшем небосводе.

До Матарета донеслись какие-то слова. Это Яцек опять обернулся и обратился к нему. В первый момент Матарет не мог понять, что тот ему говорит. Он инстинктивно глянул вбок. Рода, просунув одну руку между прутьями, ограждающими сиденье, второй быстро-быстро осенял лоб, рот и грудь Знаком Пришествия, над которым на Луне смеялся, и при этом немилосердно выбивал зубами дробь.

— Успокойте своего товарища, — попросил Яцек. — Нам ничего не грозит.

Рода вдруг открыл глаза и, перестав чертить ритуальный

знак, принялся кричать. На обиходном лунном языке он ругательски ругал Яцека, угрожая, что если тот немедленно не опустится на Землю, то он собственными руками придушит его, а проклятую машину разнесет в клочья. Яцек, разумеется, не мог его понять, но Матарет испугался, как бы учитель от страха и впрямь не совершил какую-нибудь глупость. Одной рукой он схватил Роду за запястье и прошипел сквозь зубы:

— Если ты сейчас же не заткнешься, я вышвырну тебя отсюда. Все равно ничего другого ты не заслуживаешь.

В голосе его звучала нескрываемая угроза, и Рода моментально замолчал, только зубы его продолжали выбивать дробь, когда он ошалелыми и испуганными глазами смотрел на своего бывшего ученика, который теперь утратил к нему всякое почтение.

Яцек улыбался, приязненно глядя на них.

— Сейчас мы на высоте примерно трех тысяч метров над уровнем моря, — сообщил он. — Теперь летим прямоком к дому.

Говоря это, он развернул машину на север, придал рулям горизонтальное положение и нажатием рычага выключил аккумуляторы. По инерции пропеллер еще некоторое время вращался, но все медленней и медленней — уже можно было различить его лопасти, и наконец остановился. Теперь самолет, словно воздушный змей или огромная птица, благодаря действию силы тяжести скользил на распростертых крыльях по наклонной плоскости, угол наклона которой определялся положением рулей.

Тряска, вызванная вращением пропеллера, прекратилась, а поскольку не было даже слабого ветерка, летящим казалось, будто они неподвижно повисли в небе.

Но иллюзия эта длилась недолго. По мере увеличения скорости воздух, разрезаемый крыльями падающего вниз самолета, начал бить в лицо порывами резкого ветра, а когда Матарет вновь посмотрел вниз, то увидел, что там, глубоко-глубоко, земля стремительно убегает назад и в то же время чуть поднимается к ним. По левую руку огромный багрово-фиолетовый шар солнца почти лег на пески пустыни. С востока на них надвигалась ночь.

Яцек, еще раз проверив положение рулей и крыльев, а также направление полета по магнитной игле, закурил сигару и повернулся лицом к пассажирам.

— До ночи будем над Средиземным морем, — сообщил он. — Ну вот, теперь у нас есть время побеседовать.

Произнес он это дружеским тоном с обычной улыбкой

на устах, но Роду его слова повергли в ужас. Ему почудилась в них некая страшная, угрожающая издевка, и он перепугался, что Яцек заподозрил правду и теперь — между небом и землей — потребует от него отчета и, чего доброго, сбросит его в распростершуюся под ногами бездну, которую уже начали покрывать вечерние тени.

— Смилуйся, господин! — закричал он. — Клянусь тебе именем Старого Человека, что Марк действительно Победоносец и король на Луне и мы ничего худого ему не сделали!

Яцек удивленно взглянул на него.

— Успокойтесь, сударь. Вы чрезмерно возбуждены прибытием на Землю, а может, событиями последних дней. Я думаю, мне нет надобности повторять, что никаких злокозненных намерений по отношению к вам у меня нет. Скорей наоборот. Я бесконечно благодарен вам за то, что по желанию моего друга вы совершили героический перелет через межзвездное пространство, хотя и не скрываю, что предпочел бы увидеть его самого. Ведь, прислав вас в своем корабле, он лишился возможности вернуться на Землю.

Эти слова несколько успокоили Роду. Он подумал, что раз у Марка нет возможности возвратиться сюда, то все в порядке: никто не сможет узнать, что все их рассказы — ложь от начала до конца. Он мгновенно обрел уверенность в себе и, удобней устроившись на сиденье, принялся заливать Яцеку о своей дружбе с Победоносцем и только старался ненароком не глянуть вниз, потому что всякий раз при этом у него начинала кружиться голова.

— А Марк, — бесстыдно врал он, — вовсе и не собирается возвращаться. Так хорошо, как на Луне, на Земле ему никогда не было. Мы избрали его богом и королем, он купил себе множество молодых жен и взял во владение самые лучшие участки. Много у него и собак. Он как раз и писал в письмах, которые украл у нас Хафид, чтобы его тут не ждали. Он долго не мог найти посланцев, пока мы, решив повидать Землю, не согласились полететь. Нам хотелось сделать для него доброе дело.

Легкий порыв западного ветра качнул самолет и тем прервал излияния Роды. Когда установилось равновесие, Рода осведомился у Яцека, не грозит ли им какая-нибудь опасность, и, получив успокаивающий ответ, продолжил:

— Путешествие было очень неприятным, а посадка, как вы сами знаете, крайне опасной. Я думаю, что за это на Земле нас обязаны достойно вознаградить. Я — великий ученый, да и мой спутник тоже не глупец, хотя и неразго-

ворчив. Тем не менее чрезмерных притязаний у нас нет. Я совершенно удовлетворюсь, если получу какую-нибудь высокую должность.

Яцек прервал его, вновь спросив про Марка, и Рода принялся врать еще отчаянней.

Через некоторое время Яцек окончательно уверился, что имеет дело с обманщиком, сознательно скрывающим правду. Но как выглядит эта правда и каким образом добратсья до нее?

Он задумался. Вероятней всего, положение Марка отнюдь не блестяще, раз он прислал сюда в своем корабле посланцев. Может, ему необходима помощь? Но почему он выбрал таких лгунов, и почему они лгут? Действительно ли они потеряли письма Марка или их вообще у них не было? А вдруг Марку грозила такая страшная опасность, что у него просто не оказалось ни времени, ни возможности написать?

И опять у Яцека мелькнула мысль, что, возможно, предположения его слишком уж мрачны. А вдруг этому необузданному искателю приключений и впрямь неплохо на Луне? Ведь это весьма правдоподобно, что он стал королем и самодержавно правит народцем карликов?

Уже спустился вечер. Они пролетели над пирамидами, как всегда освещенными электрическими прожекторами на радость туристам, и теперь проплывали под звездами над широкой дельтой Нила. Самолет изрядно снизился, поскольку Яцек, неоднократно включая пропеллер, только увеличивал скорость, используя все еще набранную в Асуане высоту. И хотя от поверхности Земли их отделяли всего несколько сотен метров, внизу ничего не было видно, кроме внезапно появляющихся и быстро исчезающих во тьме огоньков. То были электрические лампы, указывающие ночным самолетам места посадки, — деревни и города, чьи названия, выведенные светом, при взгляде сверху казались светящимися змейками, извивающимися по черной земле.

Яцек молчал, а у лунных путешественников постепенно стали слипаться веки. Лишь временами, когда вдруг заработавший пропеллер сотрясал легкое воздушное суденышко или дующий из пустыни ветер наклонял его крылья, они испуганно открывали глаза, не сразу понимая, где находятся и что делают, вися в черной ночи.

Спустя некоторое время самолет стал сильнее дрожать и раскачиваться. Матарет заметил, что они борются с ветром и поднимаются по крутой спирали вверх. Он глянул вниз: тусклые огоньки исчезли без следа; ему показалось, что он

слышит во тьме какой-то равномерный, бескрайний, непре-
станный гул.

— Где мы? — спросил он.

— Над морем, — ответил Яцек. — Мы перелетим через
него ночью, когда наверху полное безветрие. Сейчас мы
выходим из зоны прибрежных ветров.

Вскоре, когда самолет набрал высоту, качка прекрати-
лась, и только металлические связи корпуса тихонько под-
рагивали от вращения пропеллера, который на бешеной
скорости взрезал ночной воздух. Через некоторое время,
поднявшись на достаточную высоту, Яцек выключил пропел-
лер, и самолет поплыл в спокойном, недвижном просторе
над морем, над которым справа от путешественников восхо-
дила ущербная Луна.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В дверь кабинета Роберта Тедуина тихонько постучали.

Старец поднял голову от листа бумаги, на котором были написаны какие-то символы и колонки цифр, и прислушался. Стук повторился: семь ударов, четыре с большими промежутками, три быстрых. Ученый нажал кнопку на письменном столе, и двери бесшумно раздвинулись, уйдя в стены. Откинув тяжелую портьеру, вошел Яцек.

Подойдя к сидящему в высоком кресле старику, он молча поклонился. Сэр Роберт протянул ему руку.

— А, это ты... Какое-нибудь важное дело?

Яцек пребывал в нерешительности.

— Нет, — наконец произнес он. — Просто захотелось увидеться с тобой, учитель.

Лорд Тедуин испытующе взглянул на своего бывшего любимого ученика, но не стал задавать вопросов.

Началась беседа. Старик-ученый поинтересовался, что слышно в мире, но когда Яцек стал рассказывать о всевозможных событиях и происшествиях, слушал невнимательно, не придавая никакого значения происходящему там, снаружи, за почти всегда запертыми металлическими дверями его лаборатории.

А ведь некогда он держал в руках судьбы этого беспокойного мира, о существовании которого теперь порою просто-напросто забывал.

Шестьдесят с небольшим лет назад он, которому еще не исполнилось и тридцати, был избран президентом Соединенных Штатов Европы, и тогда казалось, стоит ему захотеть, и он станет пожизненным правителем государства.

Поразительный административный и практический ге-

ний сочетался в нем с железной решительностью и несгибаемой волей, умеющей прямым безошибочным путем идти к намеченной цели. Он смело изменял существующие законы, определял судьбы наций и общества, не отступая ни перед чем. Среди огромной чиновничьей массы (а кто в нынешние времена не является чиновником, раз исполняет какую-либо государственную должность?) у него было множество ярых врагов, возмущавшихся его своеволием и упорством; они роптали и порой даже довольно громко, но стоило Тедуину приказать, ни один недовольный не осмеливался ослушаться. Поговаривали, будто он рвется к неограниченной власти и что его необходимо отрешить не только от поста, но и вообще от всякого участия в управлении, и между тем каждый понимал, что в тот день, когда ему взбредет фантазия возложить себе на голову королевскую корону, откопанную в каком-нибудь музее, все до единого молча склонятся перед ним.

Сэр Роберт Тедуин сам добровольно оставил власть. При чем столь неожиданно и без всякого видимого повода, что люди долго не могли с этим примириться и ломали головы, доискиваясь тайных причин его поступка.

Лорд же Тедуин начал трудиться. Один из величайших ученых-естественников, особенно занимающийся биохимией и притом обладающий гигантским умственным кругозором и просто неслыханными знаниями во всех областях науки, он в течение десятка с небольшим лет после ухода с президентского поста одарил человечество множеством поразительнейших и полезнейших изобретений.

Через некоторое время уже даже не вспоминали, что он был президентом Соединенных Штатов Европы, а помнили только, что благодаря его препаратам, возрождающим организм, исчезли болезни, что это он овладев атмосферным электричеством и управлением погоды и потоками тепла, устанавливает урожай и кормит человечество, позабывшее про голод, что он дал людям еще множество чудесных, благотворных открытий.

То был второй период жизни Роберта Тедуина. Он закончил с ним, когда ему исполнилось пятьдесят. Так же неожиданно, как некогда покинул президентский пост, он оставил свою «кузницу», откуда ежегодно выходили новые изобретения, и, отказавшись от занятий практической наукой, стал наставником, подготавливая избранных учеников к главнейшему и тяжелейшему труду — приятию на плечи всего достояния человеческой мысли.

Любимым и одним из самых талантливых его учеников

был Яцек. Он познакомился с сэром Робертом, когда тот уже был стариком, но почитал его не только как учителя и величайшего мудреца, но и как друга, который невзирая на огромную разницу лет, всегда был готов мыслью и сердцем делить его жизнь.

Но и период, когда этот поразительный старец был воспитателем и как бы отцом «всеведущих», тоже принадлежал к прошлому. С годами он стал принимать все меньше учеников и все скупей делиться с ними своими безграничными знаниями, и вот однажды настал день, когда те немногие, кого он еще допускал к себе, придя, застали дверь его дома закрытой.

Лорд Тедуин прекратил учить будущих мудрецов.

Когда его умоляли поделиться знаниями, он лишь пожимал плечами и отвечал с грустной улыбкой:

— Я сам ничего не знаю. Я растратил почти восемьдесят лет жизни и теперь должен использовать оставшиеся мне дни, чтобы потрудиться для себя.

И он трудился. Его могучая мысль, не слабевшая с возрастом, углублялась в тайны бытия, творила общие всеобъемлющие теории, открывала истины, столь ужасные, что хотя сэр Роберт крайне редко и только перед теми, кому доверял, приподнимал над ними краешек покрывала, дрожь охватывала слушателей, и даже у самых мудрых начинала кружиться голова, словно они вдруг заглянули в пропасть.

Вокруг великого умолкнувшего старца начала рождаться легенда. Люди давно уже не верили в чернокнижие и колдовство, однако с опаской обходили его стороной, точно некоего чернокнижника, когда он, горделивый и задумчивый, совершал ежедневную прогулку по морскому берегу.

В своем доме он не принимал никого, кроме членов великого братства ученых, в котором он был председателем, и то только по настоятельным просьбам бывших учеников.

Яцек, занятый собственными исследованиями и обязательной в его возрасте государственной службой, нечасто навещал сэра Роберта. Но всякий раз, бывая у него, он не мог преодолеть в себе странного ощущения: старик, казалось, неизменно молодел духом, словно его мысль с течением лет обретала все большую ясность и отвагу.

И еще поражал взгляд — спокойный и холодный, который пробегал по делам людей, стараясь притвориться, будто они интересуют его, и исчезал где-то в недальней, неизмеримой бездне, что разверзается сразу же за произнесенным словом, за лучиком света, подвешенным на воздушной пылинке, за колеблющейся частицей так называемой материи,

за элементарным стяжением того непостижимого, что получило название энергии, и уносился дальше — за грань любого бытия, охватывая разом и людские души, и скалы, и небытие.

Но никогда лорд Тедуин не давал почувствовать, будто что-то ему безразлично или недостойно его внимания. В свободные от трудов минуты он одинаково охотно беседовал и со случайным прохожим на берегу моря, и с ребенком, собирающим раковины, и с членом братства мудрецов. Порой даже казалось, что в редкие часы отдыха он охотно обращается мыслью к ничтожным, будничным, простым вещам.

И сейчас, сидя с Яцеком в тихом кабинете, он вскоре перевел разговор, который первоначально пошел о событиях в мире, в куда более скромную колею, касающуюся частных происшествий и знакомых.

Сэр Роберт расспрашивал о бывших своих учениках, которые все жили в его поразительной памяти, хотя многие из них уже лежали в могиле, с добродушной улыбкой вспоминал разные забавные случаи с ними и подробности, сопутствовавшие этим случаям.

Яцек, сидевший лицом к окну, слышал только голос мудреца, и у него было впечатление, что того действительно интересует то, что он рассказывает, отвечая на его вопросы. Однако когда он нечаянно обернулся и увидел глаза сэра Роберта, то мгновенно прервал свой пустой, ничего не значащий рассказ. Недвижные глаза старца были подобны двум беспредельным колодцам в бездну, двум лучам света, летящим из бесконечности; не задерживаясь на том, о чем шел разговор и что происходило вокруг, они чего-то искали в безмерности.

Яцеку стало стыдно, и слова замерли у него на устах. Наступило молчание. Лорд Тедуин улыбнулся.

— Ты с чем пришел ко мне, сын мой? — спросил он. — Расскажи о себе. Это меня по-настоящему интересует.

Молодой человек покраснел. Он действительно хотел поговорить о Грабце и о беспорядках, приближение которых безошибочно предугадывал, попросить у старца, что мог бы стать самодержавным властелином, совета, узнать его мнение, но вдруг понял: все это столь же мало интересует непостижимого сэра Роберта, как и сухой лист, который, быть может, в этот миг сорвался с дерева, растущего у его дома, или столь же много, потому что он увидит за всем этим своими глазами чернокнижника только тайну бытия, проявляющуюся в равной мере как в крупинке песка, не-

согомо морской волной, так и в величайших катастрофах миров и человеческих сообществ или в проблеске гениальной мысли.

Яцек опустил голову.

— Я действительно хотел поговорить с вами о некоторых делах, но сейчас вижу, как, в сущности, они ничтожны...

— Ничтожных вещей не бывает, — возразил сэр Роберт. — Все по-своему значительно и ценно. Говори.

Яцек стал рассказывать о встрече с Грабецом и о том, какое возмущение, какой мятеж тот вознамерился поднять на давно уже умиротворенной Земле, о том, что Грабец хочет втянуть в этот водоворот их, мудрецов и ученых, дабы они обрели как мозг мира достойное их положение.

Старец слушал молча, чуть наклонив голову и глядя из-под высоко поднятых кустистых бровей прямо перед собой. Лишь время от времени на его гладко выбритом изборозженном морщинами лице около узких, плотно сжатых губ появлялась мимолетная улыбка и в тот же миг угасала.

— Отец, — закончив рассказ, промолвил Яцек, — этот человек напрямую предложил мне помогать ему, предложил бросить на чашу весов ту мощь, какой является наше знание.

Лорд Тедуин обратил на Яцека проницательный взгляд.

— И что же ты ему ответил?

— Ответил, что наша мощь принадлежит всем, она вся уже давно передана в руки толпы, и у нас нет ничего, кроме наивысших истин, которые невозможно перековать ни в золото, ни в железо.

На несколько секунд воцарилось молчание. Лорд Тедуин несколько раз покивал головой, прошептав, вероятно, скорей самому себе, чем Яцеку:

— Кроме истин... Наивысших истин... Ну, ну! Вся беда только, что мы уже не знаем, что означает выражение «истина», до того ничтожно и бессмысленно все, что мы определяем этим словом.

Он поднял голову и взглянул на Яцека.

— Прости, я невольно возвращаюсь к собственным мыслям. Но все, что ты мне рассказал, крайне любопытно.

Яцек молчал. Старец внимательно присмотрелся к нему.

— О чем ты думаешь?

— Разговаривая с Грабецом, я солгал ему.

— Вот как?

— Мы обладаем могуществом. Я обладаю, — тут же поправился он.

Лорд Тедуин ничего не ответил. Рассеянным взглядом он

скользнул по лицу Яцека и как-то непонятно пошевелил губами.

— Ты обладаешь могуществом... мы обладаем могуществом... — через секунду шепнул он.

По губам его скользнуло некое подобие улыбки.

— Да, — подтвердил задумчиво Яцек.

Он сидел, склонив голову, и не заметил улыбки учителя.

— Да, — повторил он. — Я обладаю страшным могуществом. Я сделал ужасающее открытие. Физически совершаю то, что раньше мы имели возможность проделывать лишь мысленно: разлагаю материю и гашу ее так же легко, как гасят дыханием горящую свечку. И если бы я захотел...

— Если бы захотел?..

— То мог бы страхом принудить к полнейшей покорности себе или тому, кому передал бы свое изобретение. Одним мановением пальца с помощью прибора не больше обычного фотографического аппарата я могу уничтожить города и целые страны, так что от них не останется и следа.

— И что из того? — поинтересовался лорд Тедуин, не спуская с Яцека глаз.

Яцек пожал плечами.

— Не знаю.

— Почему ты не отдал свое изобретение Грабцу?

Яцек стремительным движением вскинул голову. Некоторое время он смотрел на учителя, словно пытаясь по выражению его лица понять значение и смысл этого вопроса, однако глаза и черты сэра Роберта были столь же бесстрастны, как и тон, каким был задан вопрос.

— И этого тоже не знаю, — наконец произнес Яцек. — У меня было ощущение, что я должен оставить его у себя и уничтожить перед смертью или применить... в случае крайней необходимости... один-единственный раз...

— Сегодня же уничтожь свое устройство. К чему прилагать усилия для разрушения фантома, именуемого материей, если раньше или позже он неминуемо развеется сам?

— Но ведь все так скверно и подло...

— И что из того? Неужели поэтому мы должны физически совершать то, что, как ты сам это признаешь, в любую минуту имеем возможность совершить мысленно, не вырывая наших ближних из состояния, которое для них, быть может, является наилучшим? Запомни: когда через так называемую смерть мы высвободимся из материальных пут, деятельность нашей мысли станет для нас единственной реальностью.

— Нужно верить...

— Да, нужно верить, — серьезно подтвердил лорд Тедуин.

— А этот мир, что окружает нас, он что же, пусть идет тем же путем, каким шел до сих пор?

Старец положил руку на плечо Яцеку.

— Твое изобретение не выведет его на истинный путь.

— Но если бы власть получили лучшие...

— Тебе хочется власти?

— Я не заключил союз с Грабцом. Не знаю, смог ли бы я вершить власть. Мне жаль мир, в котором я живу. Но...

— Ну, ну?

— У меня такое ощущение, будто я добровольно и беспомощно стою вне жизни, и порой я испытываю от этого стыд.

Несколько секунд лорд Тедуин молчал. Его взгляд, казалось, блуждал в далеком прошлом, встававшем в памяти. Внезапно он чуть тряхнул головой и обратился к Яцеку:

— Что можно сделать для этой жизни, верней, для сосуществования людей? Ты ведь знаешь, когда-то у меня была власть, какой, быть может, не обладал никто другой.

— Да.

— И я отказался от нее. А знаешь почему?

— Она не давала тебе, учитель, удовлетворения, ты предпочел работу духа.

Мудрец медленно, но решительно покачал головой.

— Нет. Дело вовсе не в этом. Я просто убедился, что невозможно ничего сделать для общественной системы. Общество не является разумным творением и потому никогда не станет совершенным. Всякая утопия — начиная с древнейшей, платоновской, вплоть до нынешних дней, до мечтаний твоего Грабца — навсегда останется утопией: покуда она переходит из книжки в книжку, она похожа на картонный домик, построенный без всякого соотнесения с законом тяготения, но стоит по-настоящему приложить к ней руки, утопия порождает новое зло, возникшее на месте былого, ликвидированного. Идеальное сосуществование людей, идеальный общественный строй — это задачи, по природе своей не имеющие решения. Согласие является понятием искусственным, придуманным; в природе, во вселенной, в человеческом обществе существует только борьба и временное, иллюзорное равновесие борющихся друг с другом противоположных сил. Справедливость — крайне соблазнительное и популярное требование, поскольку как раз с человеческой точки зрения оно ничего определенного не

значит и каждый может трактовать его по-своему. И это совершенно естественно, так как у каждого должно быть свое, особое понимание справедливости, а общество между тем едино или, по крайней мере, стремится быть таковым. В конце концов, абсолютно безразлично, кто правит — народ или тиран, избранные мудрецы или бешеная свора крикунов; всегда кто-то оказывается угнетенным, всегда кому-то будет плохо, всегда свершается какая-нибудь несправедливость.

Кому-то всегда приходится страдать. В одном случае страдает большинство, в другом — немногие, но, может быть, самые лучшие, а то просто один-единственный, терпящий несправедливость — тот, кому вменено быть «равным», меж тем как он по случайности родился самодержцем. Кто оценит, когда свершается большая несправедливость, и кто соизмерит право, какое приносит с собой на свет всякий родившийся человек? Признание верным одного принципа оказывается поправлением другого, не менее «справедливого», и так всегда — без конца.

Сэр Роберт на миг умолк и провел рукой по высокому изборозженному морщинами лбу.

— Это вовсе не значит, — продолжал он, обратив взор на молчащего Яцека, — будто я считаю, что не стоит стараться исправить существующие в каждую эпоху отношения. Но делать это могут — более того, должны — люди, у которых есть иллюзии, то есть верящие, что созданное ими будет лучше существующего. В таких недостатка никогда не бывает — верить подобному в свойствах человеческой натуры

— Ты и сам так считал, учитель, — заметил Яцек.

— Да, я и сам так считал больше чем полвека назад, когда был молод. А позже, утратив эту веру, считал, что раз невозможно удовлетворить всех и создать идеальные, «справедливые» условия, то пусть хотя бы будет много, как можно больше благ, чтобы разделить их между всеми. Ты ведь знаешь, много лет я «осчастливливал человечество» изобретениями, но в конце концов убедился, что и это пустое. *Hawel hawolim, omag kohelet, hawel hawolim, hakol hawel...* «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует — все суета»¹. Нет, это не тот путь. Изобретениями, открытиями, всевозможными благодетельными улучшениями пользуются прежде всего те, кто и без того сыт и представляет наименьшую ценность для общества: подавляющее большинст-

¹ Еккл. 1, 2.

во, праздное и ленивое. Изобретения лишь усиливают эти «достоинства» толпы...

— И ты считаешь, что делать изобретения не нужно, не имеет смысла?

— Неужто же их появилось бы меньше, если бы я сказал, что их не нужно и не имеет смысла делать? Всегда будут люди, чья мысль соперничает с природой и вынуждает их служить человечеству. Они полезны и более того — они единственные и являются людьми. И я счел, что главное — думать прежде всего о них, о тех, кто представляет собой мозг и душу человеческого общества. Я уже был стар, когда принял на себя труд наставничества. Я хотел, чтобы на Земле стало как можно больше истинных, мыслящих людей. Ты знал меня в тот период и слушал мои слова.

— Мы все благословляем тебя, учитель.

— И напрасно. Мне вновь придется привести слова Екклесиаста: «Кто умножает познания, умножает скорбь». Смотрю я на вас, цвет человечества и хранителей земных знаний, и вижу, как вы горды, но и печальны, как запутаны в круговорот мирских событий, как напрягаете дух ради так называемой пользы толпы, от которой вас отделяет пропасть. Моя вина, что вы видите и ощущаете эту пропасть, что вы так печальны и одиноки, моя вина, что ваша утомленная мысль витает над крайней предельной пустотой, не находя отдохновения, словно орел, заплутавший над океанским простором.

И что же я дал вам взамен? Какую несомненную истину? Какое знание? Какую силу? Подлинно, слишком мало я знаю сам, чтобы быть учителем. Все, что я вам говорил о вселенной и жизни, было лишь неумелым анатомированием действительности, которую видят ваши глаза, но, увы, ни на одно «почему?» я так и не сумел дать вам исчерпывающего ответа.

Потому-то однажды я и замкнул двери перед своими учениками, желая прежде отыскать мудрость для себя за те немногие годы, что еще остались мне до вечной жизни... Ведь мне уже без малого сто лет, и почти двадцать из них я тружусь в одиночестве и сосредоточении.

— И что же ты теперь можешь поведать нам, учитель? — спросил Яцек.

Казалось, лорд Тедуин не слышал вопроса. Подперев руками голову и глядя в окно на бескрайнее взволнованное летним ветром море, он продолжал говорить, и временами голос его сходил почти до шепота.

— И труд жизни, и все усилия, какие способна пред-

принять человеческая мысль, для меня остались позади. Я всходил на высочайшие вершины, откуда зрению уже неразличим дольный мир и вокруг одна пустота, и опускался в такие глубины, где опять же одна только пустота. Я не пугался никакой мысли и никакую сущность не почитал неприкасаемой, исследуя ее до глубочайших корней, расчленив на первичные волокна...

— И что же ты нам поведаешь, учитель? — настойчиво повторил Яцек.

Старец обратил к нему безмятежный взор.

— Ничего.

— То есть как, ничего?

— Все, что я открыл, это всего лишь взгляд на известный нам мир с близкого расстояния, изнутри капли воды, изнутри атома или колеблющегося электрона либо из такой уже дали, когда исчезают все подробности и различия, а бытие сливается в единое однообразное море. Нигде я не вышел за пределы опыта, не ответил себе ни на одно «почему?», а следовательно, мне и вам нечего сегодня сказать.

— Но что же ты открыл? Ответ!

В голосе Яцека звучало настоятельное любопытство человека, который, поднимаясь на высокую недоступную гору, вдруг встречает на дороге путника, как раз возвращающегося с ее вершины.

Сэр Роберт какое-то время пребывал в нерешительности. Он протянул руку и взял лежавшие перед ним листки, пробежал глазами колонки цифр, математические знаки и поспешно набросанные на полях замечания.

— *Nihil ex nihilo*¹ — прошептал он. — Воспринимаемый нами чувственный мир поистине и дословно есть ничто.

Он поднял голову. В нем пробуждался гениальный открыватель, пробуждался учитель.

— Давняя, много веков назад выдвинутая теория так называемого эфира, — начал он, — рухнула, низвергнутая принципом относительности движения, не будучи способна согласоваться и с другим фантомом человеческой мысли — материей. Сейчас даже дети в школах знают, что свет расходится во всех направлениях с одинаковой скоростью, неважно, в покое находится источник света или в движении. Если бы мы захотели согласовать этот факт с существованием эфира как проводника колебаний, нам пришлось

¹ Ничто из ничего (лат.).

бы принять не одну, а столько разновидностей эфира, всеобъемлющих, неделимых и безграничных, сколько существует тел во вселенной, меняющих положение относительно друг друга. И все-таки должна быть какая-то среда, через которую со звезды на звезду летят волнообразно лучи света, тепла и электричества, через которую передается тяготение от одного небесного тела другому.

Сэр Роберт встал и принялся расхаживать по кабинету, заложив за спину руки. Внезапно он остановился перед Яцеком и положил ему ладонь на плечо.

— Эфир существует, — произнес он, — и не имеет значения, как мы его назовем, не существует лишь материи. То, что наши органы чувств извечно воспринимают как единственную реальность, не является даже сосредоточением сил, не является постоянным сгущением или разрежением эфира, но всего лишь нелепой видимостью, всего лишь волнами, которые распространяются сквозь эфир, подобно тому как голос распространяется в воздухе. Нет ни одного постоянного и действительного объекта; как солнце и системы солнц, так и каждая частица, каждый атом и электрон представляют собой лишь колебания, являются производными призраками, мчащимися в эфире, который перед исследовательской мыслью разveивается во всеобъемлющее и бесконечное ничто. Материя же еще менее, чем ничто.

Сэр Роберт сел и подпер руками лоб.

— Все течет: *panta rei*. Как огонь, который для нас существует и длится, хотя его образуют все новые частицы углерода, соединяющиеся с кислородом. Но после огня остается какой-то след в виде нового соединения тел, волна же материи бесследно проносится в эфире. Солнце, что мчится в пространстве, каждую минуту, каждую секунду, каждую сотую долю секунды создается из все новых колеблющихся частиц эфира, творящих его облик, и если прекратить эти колебания, оно исчезнет без остатка и следа, как радуга, когда гаснет луч света. Принцип неуничтожимости материи и энергии — иллюзия человеческой мысли, гонящейся за постоянством, ибо все обращается в ничто и все возникает из ничего.

— Но где же истина? Где незыблемое бытие? — прошептал побелевшими губами Яцек.

Роберт Тедуин положил руку на раскрытую старинную книгу, что лежала на столе.

— Здесь. Возьми и прочти.

Яцек склонился над ней и в сгущающихся вечерних сумерках стал читать.

Старинные, много веков назад вручную вырезанные из букowego дерева литеры, отпечатанные на пожелтевшей, неистлевающей бумаге...

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог.

Оно было вначале у Бога.

Все через Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть.

В Нем была жизнь, и жизнь стала свет человеков.

А свет во тьме светит, и тьма не объяла его»¹.

Яцек оторвал взгляд от страницы и с удивлением взглянул на седовласого мудреца.

Губы сэра Роберта медленно шевелились, словно он беззвучно повторял:

«Вначале было Слово...»

— Учитель?

Сэр Роберт повернулся к Яцеку.

— Да, да. Все мое знание, которому я посвятил жизнь, смогло доказать мне только одно: не существует препятствий для веры. Все это смешные призраки, все «очевидности», что якобы опровергают Откровение, развеялись перед моей мыслью, как горячечный сон, который снится душной ночью, и я встал перед пустотой, непостижимой и всетворящей пустотой, какую только слово способно заполнить и оплодотворить.

Единственной истиной и реальностью среди несущихся волн является дух. Все сущее — из него, для него и через него. Слово стало плотью.

— Аминь! — произнес чей-то голос с порога.

Яцек оглянулся.

У тяжелого занавеса, закрывающего дверь в другие комнаты, стоял молодой священник с сухим невыразительным лицом, одетый в черную сутану. Он держал в руках небольшую книжку с крестом и серебряными уголками на переплете.

Священник кивком указал на открытое окно, из которого доносился звон дальнего колокола.

Лорд Тедуин встал.

— Вот мой учитель, — представил он вошедшего. — В

¹ Иоан. 1, 1-5.

старости я нашел источник мудрости и истины, которые Бог ниспосылает в этот мир через уста кротких.

Яцек глянул на священника и, хотя ему отнюдь не показалось, что этот человек с тупыми резкими чертами способен быть кротким служителем Истины, промолчал.

Сэр Роберт торопливо прощался с ним.

— Извини, но проводить тебя я не могу: подошло время ежедневной вечерней молитвы.

Уже темнело, когда Яцек в задумчивости возвращался берегом моря к своему самолету. Только сейчас он спохватился, что старый учитель, в сущности, не дал ему никакого ответа и не разрешил его сомнений, как относиться к движению, которое при подстрекательстве Грабеца вот-вот начнет разворачиваться. И еще он вспомнил, что собирался задать множество вопросов, хотел рассказать о пришельцах с Луны, о том, что они сообщили про Марка, поведать про удивительного чудотворца Нианатилоку, но ему не хватило на это времени. Впрочем, беседуя с сэром Робертом, он забыл обо всем.

Яцек подумал было, не вернуться ли к сэру Роберту, а то, может, подождать до завтра и продолжить беседу...

Но он только усмехнулся и пожал плечами.

«К чему? Все равно он ничего мне не ответит. Он стар, его гнетут годы».

Неприятно кольнуло его воспоминание о молодом священнике, появившемся в дверях кабинета ученого, тем паче что было ясно: тот всецело и безраздельно завладел душой сэра Роберта.

— Да, состарился он, и мысль его ослабла, — прошептал Яцек.

Но в тот же миг он припомнил, что рассказывал ему старец о своих открытиях, припомнил исписанные цифрами листки бумаги, которые держал сэр Роберт; подумал, каким духовным мужеством нужно обладать, чтобы не побояться выдвинуть, на первый взгляд, безумную и неправдоподобную теорию, и какую нужно иметь остроту и ясность мысли, чтобы до конца развить ее, подкрепить доказательствами и неопровержимыми расчетами, и почувствовал, что вконец запутался.

Яцек уселся на каменную скамью, стоящую у самого моря, подпер рукой голову и поднял глаза к темному небу, на котором уже зажглись первые звезды.

Его мысли упорно кружили вокруг одного и того же:

«Как, почему этот священник, молодой, засушенный,

никому не ведомый священник, завладел разумом величайшего мудреца?»

Он долго ломал голову над этой непостижимой загадкой, и вдруг его словно осенило — нет, возникло предчувствие.

Дело вовсе не в священнике и вообще не в каком-то ничтожном и несовершенном человеке, но в чем-то огромном, невыразимом, с чем никак не желает согласиться человеческий разум, но что живет в людских душах, мечтах, устремлениях, — в Откровении!

В каком? Чьем? Кому явленном? И почему именно в этом, а не в ином?

А может, это и безразлично?

Седовласый мудрец признался, что вся наука и все его знания смогли только — и это было их наивысшее деяние — разрушить мнимые очевидности, которые якобы стоят преградой к принятию Откровения и веры.

Может, в сущности, наука ничего иного и не совершает, кроме как раздвигает свитые нашими органами чувств сети мнимостей, чтобы сквозь них мог проникнуть свет? Творящая сила пребывает где-то в ином месте, и то, что она — творящая, знать нельзя, в это можно только верить.

Творит человеческий дух, и творит дух вселенной...

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...»

И под тяжестью Слова неуловимый эфир расколыхался силами, рассиялся светом и теплом, завибрировал электричеством, и сквозь него пошли судороги материи: электроны, атомы, частицы, сливающиеся в космическую пыль, в звезды, в солнца, в солнечные системы... и в громады систем, в млечные пути, во вселенную...

Слово!

И благословенны те, кто не видел, но уверовал!

Как пробудить в себе этот огонь, неизменно говорящий: да! — единственно творческий и дающий подлинную силу и спокойствие?

Вера и действие превыше мысли и знания, но как трудно — как трудно! — дотянуться до них руками, если они сами не пробудились в душе!

Но, может, все это смешные нелепицы, всего-навсего тоска проснувшейся фантазии, которую просто нужно гнать от себя?

Яцек поднял голову.

Над морем на небе среди звезд вытянулся огромный сноп

света, струя белого огня, где-то в зените истаявающая жемчужной мглой, а на западе опирающаяся световой головой почти на горизонт.

То была комета, которая неожиданно появилась несколько дней назад и через несколько дней, почти коснувшись Солнца, исчезнет из его окрестностей на веки вечные. На веки вечные... Навсегда!

Светящееся ничто, растянувшееся в пространстве на миллионы километров, символ и живой образ вселенной...

Яцек невольно припомнилось, что давным-давно комет боялись, почитая их за предвестников несчастья или войны, и тут же на мысль ему пришел Грабец.

Может, это его комета? Его, который хочет привнести в мир действие, презрительно отринув все, что является чистым мышлением? Ведь некогда комета вела Александра Македонского и Цезаря, Аттилу, Вильгельма Завоевателя, Наполеона...

Игры теней, битвы теней, победы теней...

Единственная истина — дух!

Яцек задумался, укрыв лицо в ладонях.

II

Г-н Бенедикт сидел у себя в кабинете за письменным столом, на котором лежали фотографии Азы, и тут автоматическое устройство, давно уже заменившее неловких и недешево обходившихся лакеев, дало ему знать, что кто-то хочет видеть его.

Достойный старик не слишком обрадовался неожиданному гостю. После того неприятного происшествия в Асуане г-ну Бенедикту пришлось порвать все отношения с певицей, которая запретила ему показываться ей на глаза. Некоторое время он пребывал в полнейшем расстройстве. Г-н Бенедикт привык к праздным разъездам по всему миру в свите дивы, которая, по правде сказать, была с ним достаточно резка, но, привыкнув неизменно видеть его рядом с собой, почти всегда заключала колкости и насмешки дружеской улыбкой. Теперь же он просто не представлял, что ему делать и как распорядиться своим временем, которого у него вдруг оказалось в неимоверном излишке. Г-н Бенедикт был весьма высокого мнения о своих достоинствах, хотя спроси его кто, в чем они заключаются, он явно бы затруднился ответить, и потому пребывал в полном убеждении, что рано или поздно Аза заскучает по нему, признает свою вину и, исполненная раскаяния и покорности, вновь призовет его к

себе. Однако неделя за неделей проходили в тщетном ожидании, а певица все не подавала признаков жизни.

Наконец терпение его истощилось, и он решил отомстить.

«Женюсь! — сказал он себе. — А о ней знать больше не желаю!»

Непонятно почему, но ему казалось, что его женитьба весьма уязвит Азу.

Г-н Бенедикт довольно потер руки. Правда, подругу жизни он пока еще себе не избрал, но это дело десятое. На свете столько молоденьких бедных девушек, принужденных заниматься тяжелым трудом или выступать на крохотных сценах, и любая из них, несомненно, будет безмерно счастлива, если состоятельный отставник предложит ей делить с ним жизнь.

Г-н Бенедикт сразу же взял быка за рога, то есть поставил уведомить о своем решении Азу.

Он осведомился в центральном адресном бюро, где сейчас находится певица, и купил почтовой бумаги меланхолического фиалкового цвета. Ему пришло в голову, что вместе с письмом следовало бы возвратить Азе и ее фотографии. Единственно он пребывал в нерешительности, должен ли он отослать вместе с теми немногими фотографическими карточками, что получил из ее рук, и то множество снимков, которые он скупал в лавках и которыми горделиво украшал стены своего кабинета и забивал ящики письменного стола.

По основательном размышлении он решил для вящего эффекта отослать ей все разом.

Ящик был уже приготовлен, и г-н Бенедикт прощался с фотографиями, мысленно составляя фразы письма, которое он собирался написать, но тут-то и явился гость.

Г-н Бенедикт тихо выругался, но, правда, не так чтобы слишком крепко. У него уже не было никакой возможности спрятать разбросанные фотоснимки. Засунуть их обратно в ящик стола? Но это заняло бы слишком много времени, а Г-н Бенедикт не хотел, чтобы неожиданный пришелец увидел их. Несколько секунд в состоянии, близком к панике, он лихорадочно осматривал комнату, и вдруг ему пришла гениальная мысль: он сорвал узорчатое покрывало с софы и накрыл им стол вместе с фотографиями. После чего пошел к двери, открыл ее и нажал на кнопку, приводящую в движение электрический лифт.

Минуты через две в дверях прихожей стоял Лахеч.

— Ах, это ты...

— Да, я.

Оба обменялись кислыми улыбками.

— Давненько я тебя не видел.

— И я, дядюшка, тоже давно не видел вас.

Они прошли в кабинет.

Дошедший до отчаяния Лахеч явился к г-ну Бенедикту в надежде вытянуть у него займы еще немножко денег. После той неудачной игры в Асуане у него остались жалкие гроши; их хватило только на то, чтобы самым дешевым поездом вернуться в Европу. Возвратясь, он исчез настолько неожиданно, что ни Хальсбанд, не желавший выпускать его из своих когтей, ни разыскивавший его Грабец не сумели доискаться, когда и куда он пропал.

От мыслей о самоубийстве, возникших под влиянием раздражения, его спасла некая внутренняя упрямая мужицкая цельность, но, главным образом, замысел нового музыкального произведения, родившийся в душе в минуты наивысшего отчаяния, — произведения победительного, триумфального, исполненного силы, произведения, в котором будет звучать смех богов. Едва в голове у Лахеча забрезжили первые смутные очертания этого сочинения, ни о чем другом он уже не мог думать. Все куда-то отступило, исчезло, кроме единственного желания: создать, написать, услышать!

Несколько недель, несколько месяцев покоя! Покоя, чтобы иметь возможность сосредоточиться и работать, не думая все время о том, что нужно есть, платить за жилье, зарабатывать на жизнь!

Лахеч знал: у великодушного Хальсбанда он в любой момент может получить взаимообразно небольшую сумму, но при этом прекрасно понимал и то, что с этого момента Хальсбанд не даст ему ни минуты отдыха и будет назойливо выпытывать: что он сочиняет, когда закончит и скоро ли возвратится к прежним своим обязанностям?

Дядя Бенедикт казался последней соломинкой, и Лахеч решил любым способом содрать с него воспомоществование.

Правда, мысль об этой операции не доставляла ему удовольствия. У Лахеча было непреодолимое и прямо-таки болезненное отвращение к любому унижению, просьбам, ко всяческому рода изъявлениям благодарности, а поэтому по причине непостижимого строения человеческой души он уже заранее испытывал ненависть к дядюшке из-за того только, что собирался попросить у него в долг.

И сейчас, сидя по другую сторону накрытого узорчатым покрывалом письменного стола, Лахеч со злобой взирал на

г-на Бенедикта, не отказываясь, впрочем, от намерения, приведшего его сюда, и играл желваками, словно испытывал желание перекусить пополам достойного старца.

— Ну, как поживаешь? — после некоторого раздумья поинтересовался дядюшка Бенедикт.

— Хуже некуда, — с ненавистью выдавил Лахеч.

Г-н Бенедикт испытал желание сказать племяннику что-нибудь приятное.

— Мне понравилась музыка, которую ты написал для госпожи Азы.

Лахеч подскочил на стуле.

— Ты, должно быть, получил кучу денег?

— Все проиграл.

— А!

Г-н Бенедикт высоко поднял брови и несколько секунд смотрел на племянника, скорбно и укоризненно покачивая головой. И неожиданно для себя вдруг произнес:

— А я женюсь.

— Вы что, взбеси...

Лахеч прервал себя на полуслове и проскрежетал, пытаясь придать голосу максимально возможную любезность:

— Поздравляю. А можно поинтересоваться: на ком?

При этом он опустил голову, чтобы скрыть насмешливую ухмылку, и взгляд его случайно упал на половину лица Азы, выглядывающую из-под покрывала.

От ужасного подозрения у него перехватило дыхание; он обеими руками ухватился за покрывало, чтобы сорвать его, но г-н Бенедикт был начеку. Старик прижал ткань ладонями, и так они боролись несколько минут, пока победа не досталась музыканту. Вслед за сдернутым покрывалом на пол посыпались фотографические карточки. Г-н Бенедикт покраснел, как мальчишка, и наклонился, собирая их, а Лахеч, напротив, залился бледностью. Он не отрывал взгляда от картонных прямоугольников, на которых было запечатлено одно и то же лицо, и прохрипел сдавленным голосом:

— На ком? Дядя, на ком вы женитесь?

— Еще не знаю! Ты что, спятил? Зачем ты их рассыпал? Я должен их отослать... А женюсь я в ближайшие дни, только еще не знаю, на ком.

Лахеч расхохотался.

— Ну, это другое дело!

— Почему другое дело? — просипел побагровевший от усилий отставник. — Да помоги же мне их собирать! Черт тебя дернул! Мне же нужно отослать их!

Музыкант вдруг смешался и почувствовал робость. Уронив стул, он опустился на колени и принялся неловко собирать рассыпанные фотокарточки, бормоча извинения. Г-н Бенедикт продолжал ворчать. Наконец работа была закончена. Они снова уселись напротив друг друга и повели странную, весьма занимательную беседу, во время которой каждый думал совершенно не то, что говорил. Г-ну Бенедикту не давал покоя вопрос, какого черта приперся к нему племянник, тем паче в столь неподходящее время, а Лахеч, рассказывая какую-то нелепую историю, мысленно играл с собой в чет-нечет: даст в долг или не даст?

В конце концов он не выдержал. Оборвав на полуслове очередную фразу, он выпалил:

— Дядя, у меня ни гроша. Мне необходима твоя помощь.

Г-н Бенедикт молчал. Некоторое время он смотрел на гостя, шевеля седыми бровями и значительно покачивая головой, покуда у Лахеча не лопнуло терпение.

Он вновь пробормотал:

— Дядюшка, не мог бы ты мне... помочь?

Но и на этот раз г-н Бенедикт ответил не сразу. Он встал, прошелся по кабинету туда, сюда, откашлялся.

— Дорогой мой, — наконец произнес он, — в сущности я должен был бы высказать тебе порицание за твое легкомыслие. В Асуане ты ни в коем случае не должен был играть, а неожиданно свалившиеся деньги хорошо поместить...

Лахеч вскочил, собираясь уйти. Г-н Бенедикт угадал его намерение, с самым сердечным видом взял за руку и, можно даже сказать, с ласковой улыбкой промолвил:

— Садись, садись! Ведь я же не отказал тебе. Как я тебе уже сообщил, я женюсь, и мне хочется по сему поводу сделать тебе что-нибудь приятное.

Он подошел к столу, выдвинул один из ящиков, долго рылся в нем и наконец извлек два исписанных листка бумаги, быстро пробежал их взглядом.

— Ты должен мне две тысячи сто шестнадцать золотых. Вот твои долговые расписки.

— Да... Если бы мне сейчас такую же сумму... Или хоть бы половину...

— Переведа это в серебро, получаем...

— Даже если бы четвертую часть...

— Я уже тебе сказал, что женюсь, и мне не хотелось бы, чтобы в такую минуту между нами что-либо... Как-никак твоя мать приходилась мне двоюродной сестрой.

Г-н Бенедикт не на шутку расчувствовался. Он сглотнул слюну, глаза его увлажнились. Самоотверженно, героически он протянул расписки изумленному Лахечу.

— Возьми! С этой минуты ты мне ничего не должен! Я дарю тебе две тысячи сто шестнадцать золотых. Прими это в память о твоей матери.

Голос его дрожал от избытка чувств.

Лахеч онемел, ошеломленный столь непредвиденным поворотом. Он видел, что дядюшка стоит и ждет, когда же он бросится к нему на шею или хотя бы просто поблагодарит, и потому, буркнув что-то невразумительное, сунул расписки в карман, словно они впрямь представляли для него какую-то ценность, и стал явно продвигаться к выходу.

Г-н Бенедикт двинулся ему наперерез. Чувствовалось, он поражен холодной реакцией племянника на свою щедрость и намеревается что-то еще изречь. Он успел перехватить Лахеча у самой двери.

— Послушай, — заговорил он неуместно таинственным тоном, — ведь ты все эти три года не платил мне процентов. Капитал я тебе дарю, но проценты... понимаешь, я женюсь, мне предстоят крупные расходы... Если у тебя при себе нет денег, то в ближайшие дни, уж будь добр, пришли мне, сколько причитается по процентам. Мне хотелось бы, чтобы все расчеты между нами были урегулированы.

Сердечно обняв племянника, г-н Бенедикт вернулся в кабинет. Он никак не мог взять в толк, почему Лахеч не только не обрадовался, но, выходя, так глянул на него, словно хотел испепелить взглядом.

Глубоко вздохнув, он поскорбел над людской неблагодарностью, слезливо улыбнулся при мысли о своем благородстве и, исполненный сознания совершенного доброго дела, уселся за стол писать письмо Азе.

А Лахеч, выйдя из дядюшкиного дома, бесцельно и бездумно побрел по улице.

Большие электрические лампы за голубоватыми стеклами, несколько смягчающими их яркость, заливали светом широкие тротуары, заполненные вечерней прогуливающейся толпой. Уже давно был отменен нелепый древний запрет открывать магазины по ночам. Теперь они закрывались с одиннадцати до пяти дня, но зато до полуночи, а то и позже светились огнями витрин, были полны шума, суеты, звона золота и серебра. Впрочем, золото лилось всюду, текло рекой, то разделяясь на множество мелких рукавов, то сливаясь в одно общее русло. Этот неизменный звон раздавался везде — у входов в многочисленные театры,

концертные залы, цирки и биофоноскопы; у дверей кафе, где в перерывах между голосом фонографа (Хальсбанд и компаньоны), выкрикивающего попеременно последние новости и арии в исполнении самых модных певцов, дрыгали ногами в сетчатых черных чулках якобы скромно одетые, а на самом деле бесстыдно раздетые танцовщицы; в банках, у которых в эту пору и была самая интенсивная работа; в домах терпимости, поражающих своей пышностью и тем самым как бы насмехающихся над всеми ограничениями полиции нравов, — одним словом, всюду, куда ни ступи, куда ни глянь.

Лахеч брел, не ведая, куда идет и что с ним будет завтра, брел, куда несли ноги; прохожие толкали его, отесняли с тротуара, и он отскакивал от автомобилей, мчащихся по мостовой. Он был совершенно не в состоянии думать о положении, в каком оказался. Сквозь гул разговоров, возгласы, крики, вой сирен, кваканье автомобильных клаксонов, мерзкий рев фонографов и визг тормозящих колес до слуха Лахеча доносились обрывки его собственной музыки, что, казалось, вырывалась из самой его души, окутывая благодетельными волнами измученную голову. И тогда он на миг останавливался в уличной толчее, мысленно находясь от нее за тысячи миль, и ловил долетающие звуки, прежде чем они исчезнут, прежде чем их подхватит и заглушит всепобеждающий шум. Но тут вновь кто-нибудь толкал его, кто-нибудь выкрикивал над ухом название только что вышедшей газеты, а то страж общественного порядка велел ему не останавливаться, дабы не препятствовать свободному движению, и он опять торопливо и машинально шагал, как будто и впрямь куда-то спешил в этой толпе.

Наконец он остановился под аркой ворот, толком не понимая, зачем он тут встал. У него было ощущение, что это место ему знакомо, даже очень хорошо знакомо. Он поднял голову. Напротив, на другой стороне улицы была огромная надпись, не сказать чтобы уродливая, напротив, даже игривая, составленная из разноцветных лампочек, — «Хальсбанд и компаньоны. Компания усовершенствованных граммофонов».

Лахеч вскинулся, как конь, напуганный внезапно взорвавшейся под ногами петардой. Из окон здания неслась чудовищная какофония, которую издавали сотни инструментов, заведенных, надо полагать, для опробования; каждый из них играл свое: одни пели, другие, в которых были заключены на вечные муки оркестры, отчаянно стонали, словно умоляя сжалиться над их горестной судьбой, а были

и такие, которые воспроизводили голоса животных либо перебранку рабочих в предместье.

У Лахеча волосы встали дыбом. Он хотел уже бежать от этого ада, этого своего узилища, как вдруг уловил, подобно чудовищной насмешке, победно рвущийся из трубы какого-то инструмента свой «Гимн Исиде». Он узнал возвышенные, могучие слова Грабца и бурю собственной музыки, и голос Азы, искаженный, изуродованный жестяной глоткой граммофона.

В глазах у него потемнело, он привалился к стене и впился взглядом в дом с такой беспредельной ненавистью, с такой иступленной враждебностью, что у него даже губы судорожно подергивались, а пальцы машинально — до боли — сжались в кулаки. В голове у него, подобно молнии, вспыхивали всевозможные свирепые, но неисполнимые замыслы: взорвать этот дом, перебить, искалечить все аппараты, перерезать Хальсбанду горло или же привязать ему к ушам две самые громогласные машины и замучить их ревом насмерть.

Но тут же он ощутил свое бессилие и вжал, словно устыдившись, голову во вздернутые плечи. Брови у него сошлись к переносице, и он угрюмо уставился куда-то в пространство тупым, помертвевшим взглядом.

Он долго стоял так в оцепенении, как вдруг на плечо ему опустилась чья-то рука. Лахеч обернулся. Перед ним был Грабец.

— Я уже давно разыскиваю вас. Идемте со мной.

Лахеч машинально подчинился этому повелительному голосу и, даже не поинтересовавшись, куда его ведут, последовал за Грабцом по запутанным слабо освещенным боковым улочкам.

Они долго шли в молчании. Миновав людные, шумные кварталы, полные сверкающих магазинов, они добрались до окраины, где высились огромные фабрики, за черными стенами которых днем и ночью не прекращалась работа. Здесь почти не было мощеных дорог и площадей, в основном, они были присыпаны гравием да шлаком и прикатаны; вместо светильников, льющих мягкий свет, как в центре города, тут горели дуговые лампы, которые на высоких столбах с перекладинами выглядели точь-в-точь как звезды на виселицах. В их ярком холодном свете тени фабричных труб, снующих людей, катящихся по рельсам вагонов казались еще резче и чернее. Огромные окна фабричных корпусов, разделенных переплетами рам на множество небольших

мутных от вековой пыли стекол, полыхали багровым светом, точно жерла адских печей.

Грабец и Лахеч молча остановились на углу возле одной из фабрик. Там как раз должна была произойти пересменка: после двух часов работы одна смена уступала место другой. В широкие двери потоком вливались молчаливые люди, одетые в серые штаны и серые холщовые блузы. Было хорошо видно, как они разошлись по громадному цеху и встали у машин за спинами работающих. Кто-то засучивал рукава, кто-то растирал мозолистые ладони. Прозвучал первый свисток, на лицах сменяющихся появилось какое-то тупое, напряженное выражение.

При втором свистке работающие вдруг отошли от машин, и в тот же самый миг, без секунды перерыва сотни новых рук опустились на рычаги, подхватили рукояти регуляторов, взяли отставленные масленки. Закончившие работу в каком-то замедленном темпе толпились посередине цеха, разминая занемевшие мускулы, потягивались, словно выйдя из каталептического сна; они вновь становились людьми. А возле неумолимых стояли новые манекены.

Из распахнутых дверей на обширный двор начал вытекать поток людей. Грабец бросал быстрые взгляды на проходивших мимо рабочих и вдруг окликнул одного из них.

— Юзва!

Тот оглянулся и остановился. Высокий рыжий парень с угрюмой физиономией. Но в глазах у него затаенным огнем тлело упорство и решительность.

— А, это вы, Грабец...

— Да, я.

Рабочий подозрительно покосился на Лахеча.

— Кто это с вами?

— Новый товарищ. Пошли.

Отделясь от толпы, они направились к ближнему кабаку, где рабочие ночной порой после смены собирались отдохнуть и повеселиться.

В больших комнатах былолюдно и душно. Лахеч с любопытством и не без некоторого удивления поглядывал на лица здешних посетителей, на их крепкие, мускулистые, приземистые фигуры, так не похожие на те, что он видел в центре города, в театрах, на улице, в кафе, конторах. За несколько столетий между рабочими и остальной частью общества непостижимым образом разверзлась такая пропасть, что на вершине «цивилизованной» толпы уже и забыли о их существовании.

Они устроились в углу за отдельным столиком. Пользу-

ясь тем, что Юзва отошел то ли чтобы сделать заказ полковому, то ли поговорить с приятелями, Грабец, кивнув на сидящих вокруг, спросил у Лахеча:

— Вы знаете, что это такое?

Лахеч вопросительно посмотрел на него.

— Море. Море, которое нужно всколебать, разбушевать, взметнуть и затопить им весь мир.

В голове у ошеломленного Лахеча начало что-то проясняться; ему показалось, будто он начинает понимать.

— И вы хотите?..

Грабец, все так же пристально глядя на него, кивнул.

— Да.

— И позвали меня...

— Да.

— Чтобы не было больше Хальсбандов, граммофонов, старых отставников?

— Да. Да! Чтобы не осталось ничего из того, что существует, а было бы одно только море, поглотившее земные нечистоты, а над ним — повелевающие волнами боги!

Подошел Юзва и тяжело опустился на стул.

Грабец и Юзва разговаривали, склонив друг к другу головы. Поначалу Лахеч, ошарашенный тем, что сообщил ему Грабец, не улавливал смысла долетающих до него слов. Он лишь глядел на эти сблизившиеся головы, такие не похожие, но в то же время объединенные одной общей идеей. Начиная говорить, Юзва тяжело распахивал глаза и не отводил от собеседника пристального, испытующего, неподвижного взгляда. Слова он выговаривал медленно, каждое по отдельности, с полнейшим и, казалось, невозмутимым спокойствием, однако порой вдруг чувствовалось, что где-то глубоко под ними клоочет неумолимая, свирепая ненависть и сила, удерживаемая от взрыва одним только напряжением воли.

Круглый череп, низкий лоб... На первый взгляд, лицо его казалось тупым и неприятным. Но когда через несколько минут Лахеч внимательней присмотрелся к нему, ему пришло в голову, что этот человек не простой рабочий. И он стал прислушиваться к его словам.

— Грабец, — говорил Юзва, положив тяжелые кулаки на стол, — уж не воображаете ли вы, что я ушел в рабочие и потратил десять лет жизни на отупляющую работу на фабрике для того, чтобы сейчас исполнять чьи-то указания? Послушайте меня, Грабец. Мне плевать на благо человечества, утопий я не сочиняю и не мечтаю о светлом будущем для людей. Я знаю лишь одно: временами нужно, чтобы

наверху оказалось то, что веками было внизу, чтобы подземное пламя вырвалось наружу. А что станет завтра, завтра и поглядим.

— Однако вы же не отказываетесь идти вместе со мной? — заметил Грабец.

Толстые губы Юзвы скривились в чуть заметной ухмылке.

— Нет причин отказываться, — ответил он. — Пока что цель у нас общая. Только вы хотите использовать нас, варваров, как вы мысленно нас называете, в качестве оружия, а я смеюсь и над этими вашими намерениями, и над вами. Лучше всего будет, если мы объяснимся ясно и откровенно. Вы полагаете, что победой, одержанной с нашей помощью, воспользуетесь вы, мудрецы, ученые, художники, ну и другие того же покроя. А вот я вам скажу, что потом не мы вам, а вы нам будете служить, натурально, если нам еще придет охота воспользоваться тем, что вы сможете нам дать.

— Время покажет. Эксплуатировать вас мы не собираемся.

— Собираетесь. Ладно, хватит об этом. Время все покажет, тут вы правы. А пока спорить нам не о чем. Сейчас у нас с вами интерес общий: уничтожить то, что существует, раздавить распоясавшихся ничтожеств, произвести переворот. Мы идем вместе. И там, где мы пройдем, останутся одни развалины, пожарища и кровь.

Лахеч слушал, затаив дыхание; эти новые идеи ударили ему в голову, словно крепкое вино.

III

Близился полдень, когда самолет Яцека, возвращавшегося от лорда Тедуина, опустился на платформу на крыше его варшавского дома. Яцек стремительно прыгнул с сиденья, позвонил механику, чтобы тот занялся самолетом, и сбежал по лестнице вниз. Он испытывал непонятную тревогу, хотя не мог объяснить себе ее причину, но чувствовал: нужно немедленно быть в лаборатории; у него было предчувствие, что пока он отсутствовал, там что-то произошло.

Предчувствие это появилось у него во время полета, и он с высоты напряженно всматривался в горизонт, выглядывая, не покажутся ли очертания родного города. Он мчался с головокружительной скоростью, самой стремительной, на какую только был способен его летательный аппарат. Рокот пропеллера, взрезающего яростно вращаю-

щимися лопастями воздух, сливался со свистом ветра; Яцеку пришлось надеть на лицо маску, чтобы при такой бешеной скорости иметь возможность дышать. В висках у него пульсировала кровь, сердце колотилось в сумасшедшем ритме.

Некоторое облегчение он почувствовал, когда увидел, что дом, целый и невредимый, стоит на прежнем месте.

В передней, усталой асбестовыми коврами великолепных цветов, у самых дверей лаборатории Яцека встретил слуга, который поспешил сюда из дальних комнат, как только услышал рокот садящегося самолета.

— Что нового?

— Ничего, ваше превосходительство. Ждем вас.

Яцек пошарил в кармане, где лежал ключ от лаборатории.

— Никто меня не спрашивал?

— Нет, ваше превосходительство.

— А как посланцы с Луны?

Слуга усмехнулся.

— Все хорошо. Вот только лохматый...

Недоговорив, он замолчал.

— Что такое?

— Ваше превосходительство распорядились удовлетворять все их требования. И этот лохматый все время приказывает. Просто никакой управы на него нет. Говорит он при этом на языке, который мало смахивает на польский, и гневается, когда мы его не понимаем.

Яцек кивком отпустил лакея и, решив отложить свидание с карликами на позже, вставил ключ в секретный замок. Он нажал на несколько кнопок, сделал несколько оборотов ключом, и внезапно двери бесшумно разъехались в стороны, открыв темный провал. Металлические шторы на окнах были опущены. Яцек на ощупь нашел на косяке кнопку, вставил в отверстие под ней небольшой ключик, повернул. Поток света, слепя глаза, ворвался в мгновенно открывшиеся окна.

Яцек стремительно прошел через овальный кабинет, в котором обыкновенно работал за столом, и, отворив еще одни металлические двери, скрытые в стене, по узкому коридору направился в свою приватную лабораторию, соединенную с остальным домом одним только этим проходом.

Он распахнул дверь и невольно вскрикнул.

У прибора, скрывающего в себе страшную тайну его изобретения, неподвижно сидел какой-то человек. Во мгно-

вление ока Яцек был около него. Человек неспешно встал и обернулся.

— Нианатилока!

Яцек бросил мимолетный взгляд на буддиста и даже не поинтересовался, как он оказался здесь, за закрытыми стальными дверями и окнами. Первым делом Яцек склонился над прибором. Один из проводов, подводящих к нему электрический ток, был перерезан. Яцек взглянул на шкалу, регистрирующую напряжение тока, и помертвел. Провод был перерезан именно в тот миг, когда непонятно почему усилившееся напряжение достигло величины, при которой прибор мог самопроизвольно сработать. Еще доля секунды, и не только его дом, но весь город превратился бы в груды дымящихся развалин.

— Опасности больше нет, — с улыбкой сообщил индус. — Я прервал ток.

— Так это ты сделал?

Нианатилока не ответил. Он взял Яцека за руку и повел обратно в кабинет. Ученый, утратив способность что-либо понимать, слушался его, как ребенок. В голове у него было полное затмение; он даже боялся спросить Познавшего три мира, что тут произошло, настолько неправдоподобным и опрокидывающим все его представление о мире казалось ему случившееся.

Лишь через некоторое время, уже сидя в удобном кресле у себя за столом, он немножко пришел в себя и устался на Нианатилоку округлившимися глазами, точь-в-точь как человек, пробудившийся ото сна. Ему страшно захотелось протянуть руку и дотронуться до бурнуса отшельника, чтобы убедиться, что тот и вправду стоит перед ним, а не привиделся, но непонятный стыд удержал его.

Но то ли Нианатилока уловил этот его порыв, то ли почувствовал мысль...

— Ты полагаешь, что чувство осязания достоверней зрения? — промолвил он. — Ведь ты же видишь меня.

— Откуда ты взялся?

— Не знаю, — совершенно искренне ответил индус.

— Как так, не знаешь? — изумился Яцек. — Нет, это совершенно не умещается в голове! Два дня назад, когда я запираю лабораторию, в ней никого не было. Я это совершенно точно помню.

— Еще вчера я был на острове Цейлон вместе со своими братьями.

— Нианатилока, сжался же надо мной! Скажи правду!

— Я и говорю правду. Сегодня, час, а может, два назад,

я молился и вдруг почувствовал, что у тебя в лаборатории происходит что-то ужасное. Несмотря на огромное напряжение воли, я так и не сумел понять, в чем там дело, и не смог на расстоянии предотвратить катастрофу, но в то же время чувствовал, что нельзя терять ни минуты.

Весь лоб у Яцека покрылся капельками пота.

— Продолжай! Продолжай!

— Да мне почти и нечего рассказывать. Я затворил все органы чувств, чтобы не мешала кажущность внешнего мира, и пожелал оказаться здесь. Когда же открыл глаза, увидел провод твоего прибора и перерезал его.

— Если бы ты колебался хотя бы долю секунды, то от взрыва превратился бы вместе с домом попросту в ничто.

Нианатилока улыбнулся.

— Не веришь? — бросил Яцек.

— Но разве взрыв твоей машины способен обратить в ничто то единственное, что действительно существует, — дух?

Яцек промолчал. Он несколько раз потер ладонью лоб, встал и принялся расхаживать по комнате. И, наверное, только через минуту отозвался:

— Сегодня я не способен беседовать с тобой. Слишком большой хаос у меня в голове, и к тому же я просто устал от мыслей. Вчера вечером у меня был странный разговор, и он все не выходит у меня из головы.

Он замолчал, остановился и вдруг резко повернулся к Нианатилоке.

— Послушай! Ответь мне, что такое дух? Я постоянно слышу это слово... Я многое знаю и только о нем одном не имею ни малейшего представления, хотя он мне ближе всего, ведь, в сущности, он является мною! И никто этого не знает и никогда не знал. Неужели же действительно нужно лишь верить в то, что является самым главным, глубинной сутью человека?

— Верить недостаточно, — шепнул Нианатилока, глядя куда-то вдаль. — Нужно непременно знать.

— И ты знаешь?

— Знаю.

— Откуда? Как?

— Потому что хочу.

Яцек разочарованно пожал плечами.

— Мы опять попадаем в порочный круг. У нас с тобой настолько разный образ мышления, что, видно, мы никогда не поймем друг друга. Разве знание может зависеть от воли?

— Оно всегда зависит от воли.

Опять наступило молчание. Яцек уселся за стол и подпер голову руками.

— Странные вещи ты мне толкуешь. Мне трудно принять результаты твоих совершенно непостижимых для меня рассуждений. И однако меня тянет, влечет к себе твое спокойное и уверенное знание, опирающееся на волевой акт. Ответь мне, чем для тебя является дух?

— Дух является тем, что он есть. Все через него начало быть, а без него ничто не начало быть, что начало быть.

Перед глазами Яцека возникла крупная седая голова лорда Тедуина, склоненная над книгой Евангелия от Иоанна.

— И ты о том же... — прошептал он.

Нианатилока, казалось, не слышал его.

— Мир возник из духа, — продолжал он. — Дух является светом жизни и его единственной истиной, а все, что вокруг него, лишь видимость, возникшая из него и притом бренная. Дух стал плотью.

— А если он умрет вместе с плотью? — сам того не ожидая, спросил Яцек.

Восточный мудрец улыбнулся.

— Неужто ты способен хотя бы на миг допустить столь невероятную вещь?

— Не знаю, ничего не знаю. И откровенно признаюсь тебе в своем незнании. А если люди, утверждающие, что так называемая плоть — неважно, в какой форме она существует, — является не началом, но последней фазой духа, который сгущается в нее, чтобы наконец утратить в ней свою живучесть и погибнуть вместе с нею, правы?

— Дух не гибнет. Не может погибнуть то, что действительно существует.

— Тогда какова его судьба после смерти тела? После утраты органов чувств, которыми он видит, осязает, слышит? После утраты мозга, которым он мыслит?

Нианатилока внимательно смотрел на Яцека.

— Он становится свободен.

— И что же с ним происходит дальше?

— Он существует. Черпает единственную истину из самого себя, вместо того чтобы столь часто поддаваться по вине органов чувств истинам других духов или снам.

— Не понимаю.

— И не надо понимать. Надо знать. Что ты делаешь, когда замыкаешь все органы чувств?

— Сплю.

— Вот и дух, оставшись в одиночестве, спит, только сон

этот является для него безусловной и единственной реальностью, ибо ей ничто не противостоит извне. На каком основании ты полагаешь, что у жизни, в которой мы с тобой ныне пребываем, иная основа? Что она не воображение духа? Ведь дух превыше всего. Быть может, в какой-то иной жизни, когда мы избавлялись от другой, но тоже по воле духа созданной телесной оболочки, наша последняя мысль стала началом этой вот жизни, в которой мы пребываем ныне.

— Ну, допустим. Но почему тогда мы все мыслим по одним и тем же правилам и посредством духа сотворяем для себя одинаковую действительность, поскольку я вижу то же самое, что ты?

— Потому что, в сущности, дух един и стремится через разнообразье превращения к окончательному единству, которое, видимо, было в самом начале, хотя не знаю, можно ли воспринимать это начало во временных категориях.

— Ну, а будущая жизнь?

— Я знаю, что она будет продолжаться, пока мы не освободимся от последних призраков, от заблуждений воли, от любых различий, вот только не знаю — какая. Быть может, последней мыслью перед отрешением ото всех чувств каждый сотворяет для себя эту новую жизнь и получит в ней то, во что верил, чего жаждал, на что надеялся или, напротив, чего боялся... Подумай только, как это прекрасно и в то же время страшно: сотворить себе из последней мысли новую жизнь, развить ее, наполнить, сделать реальностью! И как нужно готовиться к этой последней мысли, чтобы она не была гнусным страхом или мукой, ибо в какой крошечный ад погрузится тогда человек!

— А освобождение?

— Ничего не желать! Священное и великое слово, которым слишком часто и святотатственно злоупотребляют; всеобъемлющее бытие, неизменное, полное, подлинное; совершенное, окончательное богослияние, завершение круга превращений — Нирвана! Бог есть бездна, бездна есть Бог, и мы возвратимся к Богу!

Яцек на миг задумался, встряхнул головой и встал.

— Зря я заговорил сегодня обо всем этом, — сказал он. — Я просто не способен сейчас мыслить. При попытке напрячь мысль я испытываю страшную усталость и чувствую себя опустошенным. Такое ощущение, словно я на время утратил способность логически рассуждать. Твои речи вызывают у меня странное состояние. Не надо мне больше

ничего говорить. Я просто боюсь! В голове страшная путаница, надо заняться чем-нибудь другим.

Индус тоже поднялся.

— Я пойду, — промолвил он. — Навещу тебя как-нибудь в другой раз.

Яцек воспротивился.

— Нет! Нет! Останься. Я очень о многом хотел спросить твоего совета. Сейчас я просто должен прийти в себя.

Он нажал на кнопку звонка, вызывая прислугу.

Вошел лакей. Яцек жестом велел ему остановиться на пороге.

— Приготовь нам поесть и попроси прийти ко мне посланцев с Луны.

Когда лакей вышел, Нианатилока поднял глаза на Яцека.

— Что ты собираешься делать после получения сведений о своем друге Марке?

Яцек уже привык, что этот непостижимый человек читает его мысли, еще прежде того как он выразит их словами, и потому даже не удивился, откуда Нианатилока знает о событиях последних недель. Он лишь пожал плечами.

— Пока не знаю. Очень мне эти карлики подозрительны. Похоже, придется строить новый корабль и лететь на Луну.

И тут его осенило. Он оборвал фразу и пристально посмотрел на Нианатилоку.

— Послушай, ведь ты же мог бы сказать мне, что там с Марком...

Нианатилока отрицательно покачал головой.

— Я не знаю. Я ведь уже как-то говорил тебе, брат, что человеческой воле нет границ, но знание ограничено, и сознание не всюду способно достичь. Оно познает глубинные основы, но множество частных остаются для него сокрытыми, ибо происходят из чуждых источников.

— Но ведь ты обыкновенно знаешь, о чем я думаю.

— Когда ты мысленно разговариваешь со мной, знаю. Ты произвольно направляешь свои мысли моему духу.

Нианатилока положил руку на плечо Яцеку.

— И все-таки сейчас успокойся и отдохни. Ты ведь сам говорил, что устал.

Яцек почувствовал, как под взглядом буддиста мысли у него начали туманиться и какая-то странно сладостная, сковывающая мгла обволакивает все его тело... В сознании у него еще промелькнуло, что Нианатилока своею волей усыпляет его; он попытался внутренне воспротивиться, хо-

тел крикнуть, вскочить на ноги, но тут его накрыла необоримая тень, погасив сознание до крохотной искорки, чуть тлеющей тем единственным чувствованием, какое только и может существовать в тени.

Он полностью утратил ощущение времени и места, в котором находится. И это состояние могло длиться как секунду, так и тысячелетие. Он ничего не хотел, ни о чем не знал, ничего не воспринимал извне.

Медленно, медленно возник какой-то звук, какой-то туман, поначалу густой, серый, почти не отличающийся от тьмы, но мало-помалу он становился все светлей, серебристей, растворялся мглой неопределенно-смутного рассвета.

В Яцке начало пробуждаться детское, бескорыстное и почти безличное любопытство. Что-то возникло у него перед глазами — словно бы очертания странного пейзажа: зеленые поля, освещенные низким солнцем. Через некоторое время он обнаружил, что хотя не способен определить то место в пространстве, где оказался, тем не менее ясно видит широкую котловину, усеянную небольшими округлыми прудами, по берегам которых растут какие-то неведомые растения. Котловина была замкнута в кольцо высоких гор с иззубренными, покрытыми снегом вершинами.

Он попытался установить, где он находится и что тут делает. И еще его страшно мучило то, что, охватывая всю эту картину зрением, он не видит и, более того, не ощущает себя, своего тела, как будто оно стало невесомым и незримым.

Он как раз задумался над этим и вдруг осознал, что несмотря на собственную нематериальность способен воспринимать внешние события и посредством слуха. До него долетали какие-то звуки, напоминающие шум сражения: выстрелы, стоны, крики. Только теперь он заметил, что посреди котловины на высокой обрывистой скале находится город. А вокруг действительно кипела битва. Горстка людей прорывалась сквозь нападающие со всех сторон, с воздуха и с земли, стаи не то птиц, не то крылатых рептилий.

Четырехглазые чудовища на широких перепончатых крыльях тучами налетали на отстреливающихся людей и разили их сверху.

Яцеку вдруг почудилось, что он слышит знакомый голос. Резким напряжением воли он бросил в ту сторону свое сознание.

— Марк!

Да, он и вправду увидел, причем потрясающе ясно: Марк бежал впереди шеренг, поразительно огромный в сравнении

со своими карликового роста товарищами. В руке он сжимал оружие, некое подобие длинного ятагана, и указывал им на стены города, багрово-красные в последних солнечных лучах.

Яцек хотел крикнуть, хотел позвать друга.

Шум, треск, грохот, словно рушился мир, и — все поглотившая черная молния.

Яцек открыл глаза. Он был у себя в кабинете. Перед ним по другую сторону стола сидел Нианатилока, опершись подбородком на сплетенные руки, и внимательно смотрел на него.

— Я спал?

— Да. Заснул на минутку. Что ты видел?

Яцек сразу все понял.

— Я был на Луне?

— Да, я хотел, чтобы ты там побывал. Не знаю, удалось ли мне. Ты ведь не мертвое тело, а сознающий себя дух, как и я. Дух никогда полностью не подчиняется другому духу, но ведет с ним борьбу.

— Да, я побывал на Луне. Видел Марка. Он там отвоевывает какой-то город у странных чудовищ. Возможно, он и вправду стал там королем. Но все равно, мне так мало известно! Слишком быстро я пробудился. Ты не мог бы подольше продержаться меня в этом состоянии?

— Мне не удалось. Тем более что мне приходилось быть начеку, следить, чтобы ты не перестал мыслить по-своему, своими, а не моими глазами смотреть на происходящее.

Яцек хотел что-то сказать, но в этот момент отворилась дверь: слуга доложил, что вызванные карлики явились.

Они вошли, недоверчиво поглядывая на Нианатилоку. А Рода, тот вообще страшно перепугался, потому что одежда буддиста, простой белый бурнус, напоминала ему Хафида, который возил их в клетке.

Яцек не дал ему прийти в себя. Стремительно подойдя к жителям Луны, он внезапно задал вопрос:

— Зачем вы говорили неправду, будто Марк спокойно правит лунным народом, тогда как именно в этот миг он сражается с чудовищами в котловине, окруженной кольцевым горным хребтом?

Рода побледнел и затрясся всем телом.

— Светлейший господин, он действительно ведет войну...

Вдруг он замолчал. Ему пришло в голову, что ведь Яцек никоим образом не может знать, что происходит на Луне,

а потому нет никакого смысла рассказывать ему об истинном положении дел. Поэтому Рода надулся и гордо вскинул голову.

— Но мне крайне обидно, — промолвил он, как бы продолжая предыдущую фразу, — что ты, господин, ни с того ни с сего обвиняешь меня во лжи. Вести войну — долг и обязанность короля, так что не было бы ничего удивительного, если бы Марк сейчас и вправду был в военном походе, хотя знать это наверное не можем ни ты, ни я.

Яцек несколько секунд молча смотрел на карликов и наконец объявил им:

— Я позвал вас, чтобы сообщить, что решил построить новый корабль и отправиться на Луну за своим другом. Хотите полететь со мной?

От недавней самоуверенности лохматого «мудреца» не осталось и тени. Ноги у него вдруг стали ватными, он снова весь затрясся и пролепетал что-то невразумительное.

Вернуться на Луну! Вернуться; оказаться снова в городе у Теплых прудов, опять быть в окружении учеников и почитающих его членов Братства Истины! Рода мечтал об этом с первой минуты пребывания на Земле, но при мысли, что ему придется возвратиться на Луну вместе с Яцеком, а возможно, и еще с какими-нибудь людьми, и тем вскоре станет известно и про его коварство, и про вранье, у него по спине побежал ледяной холодок.

Рода не знал, как вести себя, какой дать ответ, но тут краешком глаза он заметил, что Матарет, который до сих пор стоял позади него, выдвигается вперед. Страшное предчувствие чего-то ужасного, непоправимого стиснуло ему горло; он хотел рукой подать Матарету знак, удержать его, но было слишком поздно.

— Господин, — с достоинством обратился к Яцеку Матарет, — мне кажется, настало время рассказать тебе всю правду.

— Молчи! Молчи! — отчаянно завизжал Рода.

Матарет, не обращая внимания на его вопли, бесстрашно смотрел в глаза Яцеку и говорил:

— Марк вовсе не посылал нас сюда. Мы обманом захватили его корабль и случайно, не желая того, улетели на Землю.

Яцек страшно побледнел.

— А Марк? Он жив?

— Он сражался с шернами, как ты сам, не знаю только, каким образом, догадался.

И Матарет стал рассказывать, как после прилета Марка, которому лунный народ сразу же дал имя предвещенного пророками Победоносца, они, считая его обманщиком, повели борьбу с его влиянием и стали объединять всех, кто не верил ему. Матарет рассказывал о его битвах со страшными лунными первожителями шернами, о поражениях и победах и, наконец, о том, как они завладели кораблем, намереваясь привести помощь с другой, недоступной стороны Луны, откуда, как они были убеждены, и прилетел Марк, а вовсе не для того, чтобы лишить его возможности вернуться на родную планету. Единственно, Матарет не сказал, что таков был только его замысел, а не Роды, который хотел всего лишь унижить ненавистного пришельца.

— И вот мы, сами того не ожидая, упали на Землю, — завершил Матарет свой рассказ, — а что было дальше, ты, господин, знаешь, наверное, не хуже нас. Лгали же мы со страху, боясь, что нам тут станут мстить. Мы же слабее вас, одиноки и беспомощны. Но теперь ты знаешь всю правду. Поступай с нами, как считаешь должным, но если, господин, ты и вправду собираешься лететь на Луну, то поторопись: Марку действительно может потребоваться помощь.

Яцек выслушал длинный рассказ, не прерывая Матарета. Лицо его все сильнее хмурилось, брови сошлись в одну линию. Он сжал губы, взгляд его был устремлен куда-то вдаль.

— Вы оба полетите со мной на Луну, — бросил он, даже не взглянув на карликов.

Матарет согласно кивнул.

— Да, господин, полетим.

Рода тоже кивнул, словно бы соглашаясь, но в душе поклялся, что пойдет на все, лишь бы не отправиться в это путешествие, во время которого он окажется в полной власти человека, могущего отомстить ему. Ему хватило недолгого пребывания на Земле, чтобы понять: здесь его охраняет закон, равный для всех, и сделать ему ничего не смогут, пока его вина не будет доказана. Да и вообще, разве это не глупость, отправляться в полет через межзвездное пространство вместе с другом его смертельного врага?

А в голове у Яцека мысль набегала на мысль. Он оглянулся, ища взглядом Нианатилоку, но того уже не было; очевидно, он тихо вышел из кабинета. Так что посоветоваться было не с кем, и Яцек, сжав голову руками, стал размышлять о судьбе друга, о путешествии, о том, что он оставляет на Земле и что может встретить его на Луне.

Здесь — ураган, который может сорваться в любой момент. Яцек не хотел принимать никакого участия в грядущих событиях, и все же у него было чувство, что, улетая на Луну, он как бы бежит от борьбы, от возможных опасностей, от окончательного решения вопроса «кто кого».

А если он будет необходим здесь? Если потребуется совершить тот последний, страшный акт, исполнение которого он принял на себя, не желая отдавать оружие ни в чьи руки, а его тут не будет — что тогда?

— Какое мне до всего этого дело? — еле слышно прошептал он. — Лечу! Пусть тут происходит что угодно. Меня призывает мой единственный друг.

В дверях вновь появился лакей с письмом на подносе.

— От госпожи Азы, — доложил он, кладя конверт на стол.

Яцек торопливо вскрыл конверт и пробежал глазами письмо, полностью позабыв о присутствии лунных карликов, которые с пристальным вниманием наблюдали, как меняется выражение его лица.

Он медленно опустился в кресло и положил перед собой исписанный листок бумаги. Аза сообщала ему, что вскоре приезжает в Варшаву и довольно долго пробудет здесь, чтобы отдохнуть от выступлений и триумфов.

«Хочу, друг мой, чтобы ты был в это время дома, — писала она, совершенно позабыв о недавней небольшой размолвке, что произошла между ними, — потому что мне хочется о многом поговорить с тобой и провести эти дни в твоём обществе. Возможно, в моей жизни многое изменится, и ты будешь первый, кто об этом узнает».

— У меня еще есть время, — почти в полный голос произнес Яцек, — пока мне построят корабль, а там...

Недоговорив, он знаком отпустил слугу и карликов, подошел к окну и с печальной отрешенностью прижался лбом к стеклу.

IV

— Вы должны любой ценой добыть тайну Яцека. Она позарез необходима нам.

Говоря это, Грабец как бы нечаянно отодвинул руку, к которой прикоснулась ладонь Азы. Певица заметила это и чуть отступила назад. Брови ее были нахмурены. Ее уязвил сухой, чуть ли не повелительный тон Грабца.

— А если у меня не будет охоты путаться во все это? — вызывающе бросила она.

Грабец пожал плечами.

— Что ж, я найду другой способ и все равно добуду его изобретение. Ну, а вы будете петь дальше.

Он оглянулся, ища шляпу и перчатки. Найдя, он коротко поклонился.

— Честь имею, сударыня!

— Погодите! Останьтесь.

Сверкая глазами, она буквально подбежала к нему.

— Давайте играть с открытыми картами. Что вы мне дадите за эту... тайну?

Грабец, не торопясь, прошел от двери и сел на ближайший к ней стул.

— Ничего определенного. Я ведь уже говорил вам. Я и сам еще не знаю, что получу.

— Ради чего же мне тогда рисковать?

— Да потому что вам самой хочется. Вас манит и притягивает то, что произойдет, что может произойти, иными словами, вам безумно хочется принять участие в этой страшной и, быть может, последней битве, в которой затрещат кости всего человечества.

Аза рассмеялась.

— Только и всего? Этак вы еще докажете мне, что это я умоляю вас позволить оказать вам величайшую услугу!

Она села напротив Грабца, оперлась локтями о колени и положила подбородок на сплетенные пальцы рук.

— А вам не приходило в голову, что это изобретение Яцека можно было бы... одним словом, я могла бы воспользоваться им в собственных целях?

— Не приходило и не придет. Я слишком хорошего мнения о вас, чтобы допустить, что у вас могут возникнуть столь нелепые и неисполнимые планы. У вас ничего не получится.

— Ну, а если вместе с Яцеком?

Грабец с невольной тревогой глянул на нее, но тут же улыбнулся.

— Попробуйте. Быть может, он и согласится.

В его голосе звучала скрытая издевка.

Уязвленная в очередной раз, Аза встала и подошла поближе к нему.

— Уж не думаете ли вы, что у меня нет иного способа властвовать над миром и вами, кроме как выманив у кого-то секрет взрывчатого вещества?

Грабец окинул ее холодным оценивающим взглядом. Неко-

торое время он молчал, перебегая взглядом с лица на плечи, на бедра, словно и впрямь оценивая ее достоинства.

— Да, — процедил он наконец. — Вы красивы, и потому вам кажется... Нет, милостивая государыня, по крайней мере до сих пор вы не властвовали, а служили людям своей красотой.

У Азы даже дыхание перехватило от возмущения. И тут ей припомнилось, что то же самое ей недавно говорил Яцек. Сдавленный смех заклокотал у нее в горле.

— Однако же все делают то, что я захочу. Да вот и вы пришли ко мне с просьбой...

Грабец жестом остановил ее.

— Дорогая госпожа Аза, давайте попытаемся обойтись без дискуссий. У меня крайне мало времени: меня ждут. Итак, ваш ответ: вы беретесь добыть секретное изобретение Яцека, причем только за то, чтобы получить право встать по одну сторону с нами?

Говоря это, он опять поднялся и уже полуобернулся в сторону двери. Всего один миг Аза пребывала в нерешительности.

— Да! Потому что в конце концов вы все будете служить мне.

Грабец усмехнулся.

— Быть может. И такое вполне возможно. Ну, а пока — благодарю вас. Выбор средств, само собой разумеется, принадлежит вам.

В дверях он снова обернулся и бросил:

— Вам придется поторопиться. Яцек собирается улететь. Аза вопросительно посмотрела на него.

— Вы разве не знаете, что он строит корабль?

— Корабль?

— Да. Чтобы отправиться в нем на Луну за этим Марком, который прислал карликов. Время поджигает его.

Чуть поклонившись, Грабец вышел, оставив Азу в глубокой задумчивости. За все время после прибытия карликов с Луны она только однажды поинтересовалась, какие известия о Марке они привезли. Тогда еще верили лжи мнимых посланцев, и ей ответили, что у него все прекрасно и он не собирается возвращаться на Землю. Ей хотелось спросить, не передал ли Марк для нее письмо или хотя бы что-нибудь на словах, но стыд и гордость удержали ее, и она только стиснула зубы.

В этот миг ей казалось, что она ненавидит Марка так же — и, может, даже еще больше, — как всех тех, кто лебезит перед ней, пожирая похотливыми взглядами ее

недоступное тело, как артистов и поэтов, что разливаются соловьями об искусстве, а на самом деле жаждут лишь с ее помощью возвыситься, обрести власть, и, наконец, как Яцека, этого мерзкого человека с могучим мозгом и мягким, как у женщин, сердцем, неспособного желать, добиться и обладать.

Но вот презирать Марка, как тех, она не могла. Негодование поднималось в ней, когда она вспоминала, что по-настоящему любила его, и она язвила себя насмешками и издевалась над ним за то, что ради каких-то глупых звездных фантазий, ради дурацкого королевства на Луне он забыл о ней — о ней, которая есть высочайшее счастье и величайшее наслаждение, называла его шальным глупцом и тем не менее не могла избавиться от удивления, что он сумел решиться и покинул ее — навсегда.

Она чувствовала, как в груди ее рождается глухое желание отомстить.

«Я буду, буду властвовать здесь, на Земле, — думала она, — а ты сиди, как пан Твардовский¹, на Луне!»

Никогда не умиравшая в ней неодолимая жажда власти и всемогущества нашла новую опору в этой мысли. И это стало в каком-то смысле дополнительной причиной примкнуть, хотя поначалу она очень колебалась, к сторонникам Грабца, поскольку она свято верила, что рано или поздно увидит их всех у своих ног. И хотя вскоре она убедилась, что высокомерный, холодный Грабец не слишком-то подходит для роли подданного, но продолжала оставаться в заговоре, тем паче когда узнала, что Яцек отказался вступить в него. У Азы было ощущение, что, кроме всего прочего, это еще и игра между ней и этим молодым, красивым, как девушка, мудрецом, и хотя тот всегда делал ей только добро, она скорей инстинктивно, чем разумом, стремилась любой ценой унижить его.

По поручению Грабца она устраивала у себя собрания заговорщиков и по мере возможности участвовала в подготовке переворота, поначалу не особенно задумываясь, с какой целью ее вовлекли в заговор. И только теперь поняла, что ей предназначалось стать орудием, с помощью которого будет выкрадено устройство, составлявшее основу могущества Яцека и так ревниво оберегаемое им. В первое мгновение это страшно возмутило Азу, и она чуть было не

¹ Пан Твардовский — польский чернокнижник XVI в. По легенде, подписал договор с дьяволом; и тот забросил его на Луну до Страшного Суда.

отказалась от дальнейшего участия. Она использовала все свои чары, чтобы пленить Грабца, собираясь, когда он падет к ее ногам, издевательски рассмеяться ему в лицо и с презрением отвернуться, однако Грабец оказался на удивление стоек и не клюнул на ее обольщения. И тогда она начала верить, что этот невозмутимый и самоуверенный человек действительно способен властвовать над миром. Так что порывать с ним было бы преждевременно и неразумно.

Поэтому Аза согласилась обмануть Яцека, вырвать, как она мысленно определила, у него жало, которое этот «бес-сильный» никогда сам не использует.

«Выбор средств принадлежит вам», — сказал Грабец.

Аза мысленно усмехнулась. Да, драгоценный господин Грабец, можете быть уверены, уж средства-то она найдет, раньше или позже, но найдет. Теперь она поняла, почему Яцек так долго молчал, даже не отвечал на ее письма. Собирается сбежать от нее на Луну, как тот! И хотя ей на него, как, впрочем, и на того, наплевать, тем не менее она хочет, чтобы он остался и служил ей.

На миг ей пришла безумная мысль бросить всю эту пустую, суетную жизнь на Земле и вместе с Яцеком улететь на Луну к единственному царственному возлюбленному. Аза прикрыла глаза, ее губы дрогнули от непритворного сладостного желания: упасть к его ногам, еще раз увидеть его улыбающееся лицо...

Но она мгновенно отринула эту «детскую слабость». Хищная улыбка вновь зазмеилась на ее пунцовых устах, жесткий взгляд был устремлен куда-то вдаль, за грань нынешнего дня, словно опережая сегодняшние события.

Она позвонила горничной и велела подать переодеться, и почти сразу же ей доложили, что пришел Лахеч. Аза глянула на часы: было ровно четыре.

— Совсем забыла, — пробормотала она.

Не завершив наряд, она надела прямо на белье широкое домашнее платье из переливающегося шелка, наспех завязала рассыпавшиеся волосы узлом и так вышла к гостю.

После случайной встречи в игорном доме она не видела Лахеча. Правда, часто и со все возрастающим изумлением выслушивала рассказы о нем. Лахеч, по крайней мере по видимости, бросил музыку. На какое-то время он исчез, и никто не знал, где он укрывается, как вдруг появился на одном из народных митингов, которые последнее время стали все чаще собираться. Он призывал там к уничтожению всего существующего и к установлению на Земле нового порядка. Читая сообщение о том митинге, Аза пона-

чалу подумала, что это какой-то однофамилец композитора, но когда подобные сообщения стали повторяться да еще с разъяснением, что бешеный агитатор — музыкант, до недавних пор занимавший скромную должность в компании Хальсбанда, сомневаться больше не приходилось. Всех участников заговора она не знала (Грабец, невзирая на видимость надменной и презрительной беззаботности, был крайне осторожен) и, однако, догадалась связать эти выступления музыканта с событиями, происходящими в мире.

Власти Соединенных Штатов Европы, издавна привыкшие смотреть со снисходительным пренебрежением на всевозможные волнения и возмущения, которые уже несколько веков не приводили к каким-либо серьезным последствиям, довольно долго не препятствовали Лахечу. И только в последние месяцы на него стали обращать более пристальное внимание. Слишком много людей слушало его и слишком большое влияние он приобрел, ну, а то, с чем он обращался к людям, естественно, никак не могло понравиться властям.

В конце концов полиции был отдан приказ арестовать его. И тут произошло нечто невероятное. Послушный народ, чтивший службу безопасности до такой степени, что ему и в безумном сне не приснилось бы, что можно воспрепятствовать ее действиям, на сей раз оказал сопротивление и вырвал Лахеча из рук полицейских.

Это был тревожный симптом. Правительство уже ради одного сохранения своего достоинства вынуждено было добиваться любой ценой победы. Было решено арестовать опасного музыканта при первой же возможности и примерно наказать, но вынести решение оказалось куда легче, чем его исполнить. Агитатор как сквозь землю провалился, и только иногда внезапно появлялся в самых неожиданных местах, произносил речи, сеял возмущение, возбуждал народ и вновь исчезал, прежде чем его успевала настичь «карающая рука закона».

Аза с увлечением следила по газетам за этой игрой в прятки со всемогущим правительством Соединенных Штатов Европы, и постепенно в ее воображении невзрачный музыкант превратился в некоего сказочного героя. И когда она вчера случайно увидела его на улице, то непроизвольно вздрогнула. Он первым узнал ее и, лавируя в густой толпе, отдал глубокий поклон. Аза тотчас велела остановить свой автомобиль, еле-еле ползший в уличной тесноте. Музыкант заметил это и тоже остановился. На лице его была написана нерешительность, но длилось это не дольше секунды, хотя ему грозил арест, если бы его опознали.

Он быстро подошел к авто.

— Вы хотели мне что-то сказать?

Но Аза уже тоже поняла, какая опасность грозит ему, если он задержится с нею.

— Приходите ко мне завтра в четыре.

Она бросила ему адрес своего дома, не понимая сама, зачем приглашает его и что скажет, когда он придет.

Музыкант исчез в толпе, а она, занятая другими делами, почти мгновенно забыла об этой встрече. И только теперь, когда она направлялась в гостиную, чтобы поздороваться с ним, эта сцена вновь всплыла в ее памяти. Аза пребывала в некотором смущении, не зная, как принимать Лахеча и о чем с ним беседовать. Воображение возносило его на вершины — пусть и не самые высокие — героизма и незаурядности, и Аза опасалась, что этот некогда комичный, хотя и гениальный композитор теперь пожелает говорить с нею именно с этих вершин, и потому уже досадовала на себя, зачем пригласила его, тем паче не имея к нему никакого дела.

С надменным и холодным видом, чуть нахмурив брови, она встала в дверях гостиной. Лахеч сорвался со стула и приблизился к ней с покорно склоненной головой. В его запавших и по-прежнему испуганных глазах читалась немая мольба и одновременно благодарность, что она позволяет смотреть на себя, быть рядом...

— Здравствуйте.

Похоже, Лахеч даже не слышал этого банального до безжалостности приветствия. Он опустил голову, а верней, бросился перед нею на колени и припал лицом к ее платью. Аза, по-настоящему перепугавшись, отшатнулась.

— Что вы! Что вы делаете?

Лахеч поднял на нее печальные глаза и медленно встал.

— Простите. Я не должен был этого делать. Стоит вам приказать, и я тотчас же уйду.

Он говорил с каким-то горьким смирением; губы у него дрожали, он неловко прижимал к груди руки.

Красивые губы артистки на миг дрогнули в гримасе отвращения. Долго и холодно она смотрела на него.

— Это вы выступаете на митингах?

— Я.

— Вас разыскивают?

— Да.

— Что вам грозит?

Лахеч пожал плечами.

— Не знаю. Думаю, заключение, возможно, пожизненное в каком-нибудь рабочем доме.

— Придя сюда, днем, вы рискуете, что вас арестуют...

Всего какой-то миг он был в нерешительности, не зная, что ответить.

— Да, разумеется. За мной следят.

— Зачем вы пришли ко мне?

Лахеч вскинул голову, словно этот холодный вопрос оскорбил его. На его лице уже не было и следа былой робости, он вызывающе смотрел на Азу.

— Я мог бы ответить: потому что вы пригласили меня, — неторопливо произнес он, — но это была бы неправда. Я пришел, потому что мне так захотелось, потому что хотел увидеть вас — любой ценой, даже если бы за это пришлось заплатить жизнью.

Аза презрительно усмехнулась.

— Странно вы со мной разговариваете. Я могу попросить вас немедленно покинуть мой дом.

Лахеч мгновенно испугался, и на его лице вновь появилась покорность, и только глаза иступленно сверкали.

— Я люблю вас, — сдавленным голосом прошептал он. — Люблю, толком даже не зная, ни кто вы на самом деле, ни что вы сделаете с моей любовью, которая вам явно ни к чему. Я говорю вам это, потому что мне нужно объясниться. Не знаю, сколько мне еще осталось жить и увижу ли я еще когда-нибудь вас...

— Почему вы меня любите?

— Нелепый вопрос. Я ведь у вас ничего не прошу.

Аза жестом прервала его. В глазах у нее загорелся едва уловимый жестокий огонек. Она медленно опустилась в кресло и из-под чуть опущенных век смотрела на него, на губах у нее блуждала улыбка.

— А если бы я была готова... отдать вам... все?

Музыкант отшатнулся. В первое мгновение в его глазах вспыхнуло величайшее изумление и некий безумный огонек. Но он тут же опустил голову и тихо, тоном, как бы извиняющимся за смысл своих слов, произнес:

— Я тотчас бы ушел от вас.

— Ушли бы? Презирали бы меня?

— Нет. Не презирал. Я знаю, вы задали этот вопрос шутки ради, но я отвечаю совершенно серьезно. Вы позволите мне продолжать?

— Продолжайте, — разрешила Аза, и в голосе ее звучал то ли подлинный, то ли притворный интерес.

Лахеч сел на низкий табурет у ее ног и говорил, не сводя с нее глаз:

— Понимаете, до сих пор моя жизнь была сплошной упорной борьбой ради возможности творить. К чему вам рассказывать, что я вынес, какие пережил падения, поражения, сколько претерпел унижений! Все это уже позади. А сейчас...

— А сейчас музыку вы бросили, — прервала его Аза.

Он покачал головой и улыбнулся.

— Нет, музыку я не бросил. Просто мне раскрыли глаза. Хотя я толком даже не знаю, кто — человек ли, протянувший мне руку, или случай. И я понял, что шел неверным путем. Чтобы творить, нужно не трудиться и подыхать с голоду, а жить!

— Жить...

— Да! Лучше я вам объяснить не сумею, не могу, не способен. Знаю только, что для меня та низменная и бесславная борьба, которую я вел, закончена. Я умираю с голоду, валюсь от усталости, я затравлен, как дикий зверь в лесу, не знаю, что будет со мной через день, через час, и однако сердце в груди у меня ликует! Когда-то я карабкался вверх, и меня пинали, а теперь сошел на самое дно и поднимаюсь! Я жил среди «цивилизованных» людей, и они меня не понимали так же, как я не понимал их, а теперь нахожусь среди «варваров» и чувствую каждое биение их сердец, стремящихся к свету, пусть через пожары и развалины, но к свету, и я знаю: они слушают и слышат мой голос. И поверьте, только сейчас в душе моей рождается великая, величайшая песнь! Если я уцелею в надвигающихся событиях, она загремит, словно буря, над смертью и разрушением, загремит таким победным гимном над завываниями людских бед, что сердца людей будут рваться от переизбытка жизни, от безумного наслаждения!

Лахеч вскочил, глаза у него пылали.

— К черту театры! — выкрикнул он. — Долой кулисы, декорации, искусственное освещение! К черту бездушный, выдрессированный и трусливый оркестр! Пусть мой гимн играет море, ветры в скалах, громы на небе, сосновые леса и степи! О, как я хочу дожить до этой моей песни, как я хочу создать ее! Я создаю уже для нее слушателей, очищаю мир, чтобы она могла, когда вырвется из моей груди, широко разгуляться по нему!

Лахеч прижал к груди сжатые кулаки, пухлые губы его приоткрылись в улыбке, обнажив белые зубы.

Аза спокойно смотрела на него из-под полуопущенных век.

— Сударь...

Лахеч опомнился и опустил голову.

— Простите. Я слишком громко говорил...

— Подойдите поближе. Вы странный человек, очень странный. В вас пылает дух. И все-таки скажите же мне наконец, какое отношение это имеет ко мне? Почему вы убежали бы, если бы я... протянула к вам руку?

Прояснившееся было лицо Лахеча вновь стало угрюмым.

— Я люблю вас.

Аза расхохоталась.

— Это я уже знаю.

— Нет, не знаете. Вам даже не представить, что это значит. Когда я думаю о вас, исчезает весь мир. О, как это прекрасно, что у меня нет никакой надежды!

Он спрятал лицо в ладонях и молча стоял так несколько секунд.

Аза смотрела на него с нескрываемым любопытством.

— Продолжайте же. Я хочу все знать.

— Хорошо. Вы все узнаете.

Лахеч снова смотрел на нее, глаза его горели самозабвенным, безумным огнем, и он торопливо, лихорадочно говорил:

— Не знаю, так ли бывает всегда, когда любишь, но одновременно я ненавижу вас. Я боюсь — даже не вас, самого себя боюсь! Чувствую, что если бы я хоть раз прильнул губами к вашей руке, это был бы конец всему. Я уже не смог бы оторваться от нее.

— Можете не опасаться. Если бы было нужно, я сама вырвала бы ее у вас.

Лахеч яростно сверкнул глазами.

— Я убил бы вас.

— Это все слова.

Она начала с ним играть, как кот с мышью.

— Нет, если я говорю... Ах, если бы вы только знали, сколько раз я думал об этом, следя за вами из укрытия, пожирая вас глазами!

— Думали убить меня?

— Да. Вас необходимо убить. Вы пришли в этот мир на горе людям!

— Но ведь я умею и давать счастье. И какое счастье!

По телу Лахеча пробежала дрожь.

— Да, я знаю, догадываюсь, чувствую. И именно поэтому... Безумное счастье, которое ломает, унижает... Быть

сильным настолько, чтобы решиться обвить пальцами вашу белую шею и сдавливать, сдавливать, пока не отлетит последний вздох! Но перед этим даже не коснуться вас.

Дрожь непонятного болезненного наслаждения пробежала по спине у Азы.

— А почему перед этим... не прильнуть к моим устам? Неужели вы не видите, какие они алые? Неужели не чувствуете, даже на расстоянии, какие они жаркие?

Лахеч, обессиленный от волнения, прислонился к стене и молча смотрел на Азу иступленным взглядом.

— А что будет, если я вас поцелую?

— Не знаю. Не знаю. Мне надо идти.

Он направился к двери.

— Останься!

— Не хочу.

— Нет, ты останешься!

— Прошу вас... Прошу вас...

— Взгляни на мои уста. Ты говоришь, это гибель? Что ж, пусть будет так. Разве ты не чувствуешь, что один мой поцелуй стоит большего, чем все дурацкие попытки спасения человечества, все битвы, все высокие слова и подвиги, большего, чем искусство и жизнь? Неужели не чувствуешь?

— Чувствую. И потому... мне надо уйти...

— Никуда ты не уйдешь. Останешься, пока я не отпущу тебя.

Лахеч ощутил на себе ее пламенный взгляд, и ноги у него стали словно ватные. У него было ощущение, будто все его мышцы расслабились, в глазах потемнело, в голове был шум и какая-то вялость... он еще успел хрипло выдать:

— Я пойду...

Аза громко, торжествующе рассмеялась, и прежде чем он успел осознать, что происходит, припала хищными устами, что так умели изображать страсть, к его воспаленным губам.

V

Бледный тихий рассвет поднимался над Татрами. Нианатилока неподвижно, словно застыв, сидел, обратясь лицом к заходящей Луне. Он прикрыл глаза, обвил руками колени. Холодная утренняя роса покрывала его полунагое тело и каплями стекала по длинным черным волосам. Раскидистые ели тихо покачивались над ним под ветром, что временами налетал с горных вершин, уже начавших розоветь от первых лучей встающего за ними солнца. Тишина опу-

стилась на мир; казалось, даже дальняя речушка замерла, не решаясь журчанием нарушить безмолвие этого благословенного часа.

Нианатилока, не поднимая век, чуть шевелил губами, как бы молясь Сущности всетворения.

— Здравствуй, небо, — шептал он, — здравствуй, Земля и душа моя, ибо вы все едины, сотворены помышлением и в помышлении живы...

Спасибо тебе, душа моя, что ощущаешь небо и землю, что постигла свое праначало и знаешь, что конца тебе никогда не будет! Все возвращается в море, в полноту и силу, и ни единая капля не утрачивается, даже если упадет на песок или скалу, но ей предназначается долгий путь и упорный труд.

Не сократится круговорот бранных земных событий, ибо время — ничто и жизнь вознесена над ним; не уменьшится бремя трудов и мук, ибо не на них направляет взор стремящийся к своему праначалу дух.

Будь же благословенна, душа моя, в своей предвечной, неуничтожимой и всеобъемлющей сущности за то, что ты научилась направлять взор свой по-над временем и муками бытия к морю и единому источнику всего!

Где-то с вершины скалы сорвался обломок и рухнул в пропасть, увлекая за собой лавину камней. Прогремело далекое эхо и погасло в ущельях. Солнце поднималось; в его свете уже золотились широкие осыпи над лугами и верхушками кедров, вцепившихся корнями в отвесные склоны. В сине-фиолетовой глади озера отражалось посветлевшее небо и золотящиеся вершины гор.

Нианатилока открыл глаза. Около него возле погасшего костра лежал Яцек, завернувшийся от ночной прохлады в плащ, и спал. Его волнистые волосы рассыпались по сырому мху; рукой он прикрывал глаза, из приоткрытых, чуть побледневших от холода губ вырывалось ровное сонное дыхание. Буддист долго смотрел на него, и его задумчивый взгляд был полон грустной ласки.

— Если бы ты смог выйти за пределы своего тела, — снова прошептал он, — если бы сумел понять, каков твой истинный путь... Мне кажется, что душа твоя, которую я нашел, подобна жемчужине, а я должен сделать ее каплей прозрачной воды, которая под солнцем расплывется туманом во вселенной. И вовсе не потому, что у меня есть какой-то иной долг, кроме собственного совершенствования: мне просто жаль затемненной красоты и погребенного великого могущества...

Высоко над ними чирикали скальные воробьи, клюющие зрелые семянки горных трав, а с противоположного склона донесся разкий, отрывистый свист сурка, прячущегося в траве.

Познавший три мира еще некоторое время беззвучно шевелил губами, словно безмолвно вторя мысленной молитве, потом протянул руку и коснулся плеча спящего.

Яцек мгновенно сел и потянулся. С безмерным изумлением он огляделся.

— Где мы?

— На склоне Жабего. Видишь: Мегушовецкие вершины глядятся в Морское Око.

Яцек уже был на ногах.

— Но как я сюда попал?

Словно сквозь сон забрезжило воспоминание: вчера вечером у себя дома он разговаривал с Нианатилокой о татранских лесах... Яцек потер рукой лоб. Ну да, так все и было. У него возникло ощущение, будто он уснул за рабочим столом, а потом ему снился костер в хвойном лесу и месяц, плывущий над вершинами гор... Значит, это ему снилось, а сейчас...

Яцек оглядел себя. Плащ соскользнул с его плеч. Он был в обычном городском костюме, в котором вернулся вчера вечером домой. Яцек оглянулся: нет ли рядом его самолета, в котором индус мог привезти его, спящего, сюда. Но вокруг было пусто; осенние травы, покрытые обильной росой, стояли непримятые; незаметно было, чтобы по ним ступали, словно они с Нианатилокой прошли сюда, не коснувшись ногами земли.

— Как я здесь оказался? — повторил Яцек.

— Мы вчера разговаривали о Татрах, — несколько уклончиво произнес Нианатилока. — Ты замерз. Пойдем погреемся внизу в хижине.

Яцек не стронулся с места.

— Разве разговора о чем-то достаточно?

— Нет. Нужно думать. Дух сотворяет себе окружение, какое хочет. Воображение является единственной истиной.

— Выходит, ты своей волей перенес меня сюда?

— Не думаю, брат, чтобы это было именно так, как ты говоришь. Мне представляется, если брать в абсолютных категориях, что мы находимся там, где и были. Изменилась только реальность ощущений.

Говоря это, Нианатилока шел вперед, раздвигая нагими коленями густые травы и стряхивая головой капли росы с

веток елей. Яцек в молчании следовал за ним и машинально искал хоть какую-то лазейку для себя, чтобы разумом понять и объяснить это непостижимое перемещение с далекой мазовецкой равнины в самое сердце татранских гор. Он несколько раз ущипнул себя, чтобы убедиться, что не спит, пробовал выстраивать тончайшие логические умозаключения, требующие совершенной трезвости мысли.

Раздался голос Нианатилоки:

— Тебе не хочется остаться здесь? Вчера у себя в кабинете ты говорил, что это единственное место, где ты мог бы жить в ладу с собой и спокойно мыслить.

— Боюсь, я еще не созрел до этого, — пробормотал Яцек. — Меня охватывает страх при одной мысли...

Все окружающее он видел поразительно четко и ясно, и только одно удивляло его: когда он открывал рот, его голос доносился к нему словно бы издалека. Яцек почувствовал, что Нианатилока остановился и внимательно смотрит на него, и его охватил стыд, как бы своими колдовскими глазами индус не прозрел его затаенную мысль. Укрывая лицо от взгляда Нианатилоки, он наклонился и сорвал растущую у ног веточку горечавки, усыпанную темно-синими цветами.

«Аза написала в письме, что сегодня будет у меня», — думал он.

И ему стало жалко, что он находится не у себя в кабинете, хотя вчера готов был бежать, стоило ему вспомнить про ее визит.

Он выпрямился, держа в руке сорванную веточку, и поднял глаза.

И в тот же миг от изумления, граничащего с ужасом, у него сжалось сердце.

Он был у себя в кабинете среди знакомых книг и картин и стоял около стола.

— Нианатилока!

Никто ему не ответил, он был один. Шторы на окнах были подняты; в комнату лился холодный утренний свет, долетал шум проснувшейся улицы.

— Приснилось! — с облегчением прошептал Яцек и поднял руку ко лбу. — Видимо, вчера за разговором я заснул, сидя в кресле...

Яцек вздрогнул. В поднятой руке он держал свежую веточку горечавки, еще покрытую каплями росы.

От испуга и неожиданности он разжал пальцы, веточка упала на ковер у его ног. Он опустил глаза и обнаружил, что обувь у него мокрая и испачканная. На черной коже

отчетливо выделялись прилипшие листики брусники и сухие еловые хвойники. А от одежды исходил терпкий запах смолистого дыма, словно он провел ночь у костра.

Яцек осторожно подошел к креслу и медленно опустился на него.

«Чем же является все то, что мы видим, — размышлял он, — чем является так называемая реальность жизни, коль я сижу тут с горным цветком в руке и попросту не понимаю, что произошло и как это стало возможно? Нианати-лока говорил мне — выходит, это не сон?! — что в подобных случаях не мы перемещаемся с места на место, но дух по своему желанию создает соответствующее окружение. Но ведь несколько минут назад не дух мой был в Татрах, но тело и даже вот эта одежда, влажная от росы, с прилипшими травинками, пахнувшая смолистым дымом горевшего всю ночь костра. Существует какая-нибудь теория, способная обосновать всю эту неразбериху, эту путаницу в событиях? Лорд Тедуин доказал, что физический мир существует как иллюзорная видимость, однако он вовсе не отрицает, что все происходящее подчиняется точным законам, не вырывает из глубины людских душ убежденности в нерушимости порядка возникновения и существования... Я же ничегошеньки не понимаю, совершенно ничего!»

Он сжал голову руками и молча сидел, стараясь ни о чем не думать.

У него за спиной в стене звякнуло в металлическом ящике, куда ему направляли из центрального управления утреннюю почту. Яцек встал и, чтобы хоть немного отвлечься от мучительных мыслей, нажал на кнопку, открывающую этот почтовый ящик. На столик выпала пачка бумаг; в основном тут были небольшие карточки, на которых были написаны фамилия, номер и час, когда отправитель желал бы поговорить по телефону с его превосходительством. Яцек быстро перебирал карточки, совершенно не думая о том, что делает. Вопреки его желанию мысли упрямо возвращались к событиям минувшей ночи и никак не могли сосредоточиться на важных и не слишком важных сообщениях, доставленных по почте.

И все-таки одно письмо привлекло его внимание. Это был ежедневный отчет руководителя заводов, которым он поручил построить по собственным чертежам новый «лунный корабль». Директор доносил, что работа идет медленно, но уверенно и что месяца через два-три он надеется передать Яцеку корабль, полностью готовый для путешествия.

Через два-три месяца! Яцек недовольно потряс головой.

Нет, так долго ждать он не может. Если Марк на Луне нуждается в его помощи, задерживаться просто нельзя, и к тому же кто знает, что может произойти здесь за эти два-три месяца. Неужели нет иного средства отправиться на Луну, кроме корабля, выбрасываемого в пространство сжатым газом?

Он оглянулся. В кресле сидел Нианатилока, как всегда молчаливый и невозмутимый. Яцек уже привык к тому, что индус неожиданно появляется непонятным образом в разных местах и чаще всего тогда, когда он о нем думает, и подошел к нему, не выказав ни малейшего удивления.

— Ты как-то говорил, — начал он без всякого вступления, — что для воли нет ни малых, ни больших преград и что если она преодолела хотя бы миллиметр пространства, то преодолеет и тысячи миль.

— Да, я так считаю.

— Сегодня ночью мы были в Татрах, не покидая якобы дома...

— Да, я так полагаю.

— Но мы действительно были там! На столе у меня лежит свежая цветущая веточка горечавки. Я уверен, что сорвал ее сегодня утром на склоне Жабего... Нианатилока!

— Слушаю тебя, брат.

— Я хочу оказаться на Луне — сегодня, через час, немедленно! Хочу оказаться не во сне, но в действительности, как этой ночью в Татрах, и хочу иметь возможность там действовать.

— Не уверен, что тебе удастся это сделать.

— Тогда сделай ты! Помоги мне!

Нианатилока решительно покачал головой.

— Нет.

— Почему? Ну, пожалуйста! Прошу тебя!

— Не сейчас.

— Значит, ты просто не можешь этого сделать! Значит, вся твоя мудрость, все твое могущество ограничивается умением делать фокусы, наводить галлюцинации.

Яцек осекся. Ему стало стыдно за свои слова, и он с опаской взглянул на Нианатилоку. Буддийский мудрец, чуть улыбаясь, снисходительно смотрел на него.

— Прости! — шепнул Яцек.

— Мне не за что тебя прощать.

— Я поддался гневу... — виновато произнес Яцек, опустил в кресло и сказал: — А вообще-то забавно: я так разговариваю с тобой, словно ставлю в вину тебе, что ты не способен творить чудеса.

И он снова осекся, вспомнив, что все, что неоднократно уже проделывал на его глазах Познавший три мира, было чудом и никак не меньше.

— Ничего не понимаю, — вполголоса пробормотал он, хотя говорил сам с собой.

Лицо у Нианатилоки посерьезнело.

— И все-таки, брат, ты легко и просто понял бы это, если бы захотел.

— Ты творишь чудеса!

— Нет, чудес я не творю. И никто не творит чудес по той простой причине, что господство духа над видимостью не является чудом и не выходит за пределы законов предвечного Бытия. И если я отказываю тебе...

— То почему? — прервал его Яцек.

— Выслушай меня.

Нианатилока пересел ближе к Яцеку, положил обе руки на подлокотники кресла и начал говорить, не сводя глаз с молодого ученого.

— Ты хочешь немедленно попасть на Луну, потому что ты получил известия о своем друге. Я однажды уже помог тебе мыслью побывать там и увидеть очами души, чем он занят, но тебе этого недостаточно. Ты хочешь быть там в брэнной оболочке, которую называешь своим телом, чтобы иметь возможность производить определенные движения, одним словом, совершать действия в том смысле, в каком ты в настоящий момент понимаешь действие. Не думаю, что все это тебе необходимо и поможет твоей душе, а ни о чем другом речи и не должно идти.

— Напротив, речь должна идти о моем друге, который, возможно, нуждается в помощи.

— Чем же ты ему поможешь? Может, возьмешь с собой свою смертоубийственную машину и уничтожишь Луну, чтобы спасти его, если ему и вправду что-то угрожает? Да и знаешь ли ты, что там в действительности происходит? Ты вчера при мне разговаривал с карликами, и из беседы с ними я заключил, что твой друг Марк то ли намеренно, то ли вопреки своим желаниям вмешался в судьбу лунного народа и своим участием воздействует на историю. Так что же ты собираешься сделать? Прилететь и помочь ему, чтобы на Луне как можно скорей все стало таким же, как на Земле? Неужели ты считаешь, что ваши здешние порядки настолько уж хороши?

— А вдруг Марка нужно спасти от опасности? — уклончиво заметил Яцек.

— Зачем? А если такова его судьба, бремя которой он

возложил на себя? Не препятствуй ему погибнуть, потому что, возможно, это и нужно ему. Ты уверен, что твой друг, живой, собственными руками сможет совершить больше, нежели блистательная легенда о нем, которая будет передаваться из поколения в поколение? Или ты хочешь в самом зачатке уничтожить ее? Разрушить? Не дать ей возникнуть?

Нианатилока подошел к Яцеку, который сидел, опустив голову, и положил ему сзади обе ладони на плечи.

— Послушай меня. Не думай о Луне, выбрось из головы все эти далекие планеты — ты очень скоро познаешь их все. Не препятствуй тому, что совершается, даже если у тебя есть сила сделать это. Да, даже если у тебя есть сила! Нельзя ничему препятствовать, ибо главное не в том, что творится вокруг, но в том, к чему мы стремимся внутри себя.

Яцек поднял голову. Нианатилока стоял у него за спиной, но он не повернулся к мудрецу, он напряженно смотрел на стену, где висели несколько портретов.

— Откуда ты знаешь, а вдруг дело во мне? — бросил он. — Может, я попросту хочу убежать?

— Ты никуда не убежишь. Всему нужно научиться смотреть в лицо и все пройти, не отворачиваясь. Без принуждения и даже без радости. Нужно быть собой.

Нианатилока еще ниже склонился к Яцеку. И Яцек уже не мог понять, то ли он слышит его голос, то ли шелест собственных мыслей, которым дал толчок этот непостижимый человек.

— Все достигается только тогда, когда ничего не жаждешь, ничего не желаешь. Надо стать бесстрастным, как вселенная, беспечальным, как свет, не исследовать, но знать — как Божество!

Мысли Яцека устремились куда-то в неопределенную, смутную даль.

Знать, а не исследовать!

Стать творцом собственной истины, которая будет одновременно и истиной всей вселенной, что сосредоточилась в человеке.

Творцом, а не искателем чужих истин, которые оказываются ничем, пустотой, видимостью!

А собственная истина — это вера!

Любая вера, лишь бы творческая, прочная, сотворенная в душе и бесспорная — становящаяся тем самым неколебимой истиной!

Это означает: знать, а не исследовать!

Мыслить, а не сомневаться.

Творить, а не искать.

Не покоряться, а чувствовать, не вожделеть, а желать!

Но где путь к подобному чуду?

Нианатилока однажды сказал:

«Нужно научиться быть одиноким среди толпы и суеты, ибо вы еще не умеете быть одинокими в глухих лесах».

Сказал он это над Нилом, когда Аза возвращалась из развалин храма Исиды.

— Ваше превосходительство...

Яцек вскочил с кресла и обернулся. В дверях неподвижно застыл лакей.

— В чем дело?

— Мы беспокоились, потому что ваше превосходительство ночью не спустились в спальню...

Яцек нетерпеливо махнул рукой.

— Какие-нибудь известия?

— Госпожа Аза...

— Приехала?

— Так точно. Сегодня утром экспрессом. Мы хотели разбудить ваше превосходительство, как вы распорядились, но в спальне вас не было, а сюда мы не осмелились войти.

— Где госпожа Аза?

— Ее проводили в приготовленные для нее комнаты. Она велела передать, что через час будет завтракать и надеется увидеть ваше превосходительство.

Лакей вышел, и Яцек взглянул на Нианатилоку. Он пристально всматривался в индийского мудреца, пытаясь понять, какое впечатление произвело на того сообщение о приезде знаменитой певицы, однако лицо Познавшего три мира, как всегда, было спокойно, безмятежно, невозмутимо. Даже обычная улыбка не исчезла с его губ, в глазах не было ни гнева, ни печали, ни даже снисходительности.

— Брат, ты, наверно, спустишься вниз? — осведомился он безразличным тоном.

Аза уже ждала в столовой и чувствовала себя свободно, как в собственном доме. Она сменила дорожный костюм, надела легкое утреннее платье и сидела с ароматной египетской сигареткой в глубоком кожаном кресле с подлокотниками. Перед нею на столе, накрытом старинной цветастой льняной скатертью, сверкала серебряная чайная посуда, стояли тяжелые резные хрустальные вазы с фруктами и сладостями. Отодвинув недопитую чашку китайского чая и откинув голову на спинку кресла, она следила, сощутив глаза, за голубой струйкой табачного дыма, поднимающегося к резному потолку. Она положила ногу на ногу, и из

мягких складок светлого шелка выглядывали тонкие, крепкие лодыжки, обтянутые блестящими черными чулками, и маленькие золотые туфельки.

После визита Лахеча и его неожиданной смерти Аза бросила свой дом, в котором, по правде сказать, разъезжая все время по свету, она и без того была нечастой гостьей. Странное все это произвело на нее впечатление. Люди из-за нее умирали неоднократно — и у нее под дверями и далеко, якобы убежав от нее на край света; умирали и тихо, без единого слова, без единой жалобы, без упреков, и оповестив предварительно многостраничным письмом, в котором сообщали день и час, когда они покончат с собой, обвиняли ее или лицемерно, шутовски благословляли за «горькое счастье», какое она им подарила, однако она горевала из-за этого ничуть не больше, чем из-за потерянной шпильки или сломавшейся корсетной пластинки.

А вот о Лахече она не могла думать спокойно. Всякий раз, стоило выйти из дому, ей казалось, будто она видит у дверей на улице его скорчившийся труп с поразительно белым, искаженным предсмертной мукой лицом, который непонятно зачем принесли к ее дому.

При одном воспоминании об этом она вновь содрогнулась. Ведь она знала, что Лахеч погиб ради нее и из-за нее.

Правда, противясь смутным угрызениям совести, Аза всячески отгоняла эти мысли. Ведь она ничего худого ему не сделала, так чего же он от нее хотел? Да, она довела его безумными поцелуями до утраты рассудка, а в последний момент, когда он осмелился покуситься на большее, оттолкнула его, как собаку. Но разве это причина лишать себя жизни или еще хуже — добровольно и неприкрыто нарываться на смерть?

В памяти у Азы встали его глаза — в первый миг полные изумления и страха, а потом ужасающе скорбные и словно погасшие...

Со сложенными руками он лежал на ее коленях и тянул к ее лицу голодные губы, казавшиеся в этот миг почти красивыми. Она велела ему кощунствовать — проклинать свое искусство и то возрождение через действие, которым он так хвалился; он должен был громогласно отречься от всего, что недавно осмелился сказать против нее, и признать, что он перед нею — ничто, и все в мире — ничто в сравнении с одним-единственным ее поцелуем.

Господи, она даже не оттолкнула его, когда он, охвачен-

ный любовным безумием, протянул к ней руки, чтобы обнять; она хлестнула его взглядом и ледяными словами: «Ты ничто для меня».

Уходя от нее, он произнес: «Нет, не потому, что я не обладал тобой... Я целовал тебя в уста и оттого потерял веру в себя...»

Смешная история!

Аза бросила докуренную сигаретку в пепельницу и вытянула ноги в золотых туфельках по пушистому ковру. Она злилась на себя за то, что продолжает думать об этом, как она считала, ничтожном и не заслуживающим внимания событии, и тем самым подтверждает свою глубинную душевную слабость, меж тем как должна быть сильной, сильной и безжалостной, словно кроющаяся в ветвях дерева рысь, властительница леса.

Аза обернулась на звук открывавшейся двери. На пороге стоял Яцек, побледневший чуть более, чем обычно; он поклоном приветствовал ее и извинился за опоздание. Не вставая, Аза протянула ему левую руку, холеную, с длинными розовыми ногтями. Яцек склонился к ней и прикоснулся чуть дрожащими жаркими губами; в этот миг Аза подняла глаза, бросила взгляд на дверь и с изумлением увидела стоящего в ней полунагого буддиста. Она широко раскрыла глаза, и холодок необъяснимого страха пробежал у нее по телу. Ей почудилось, что она откуда-то знает это лицо, да, знает и очень хорошо...

Она медленно поднялась; удивленный Яцек чуть отступил в сторону, а она смотрела во все глаза и напрягала память.

Постепенно, постепенно стало возникать смутное воспоминание из давнего детства: огромный наполненный людьми зал, ярко освещенная арена и эти же самые руки с длинными чуткими пальцами, которые она сейчас видит на ручке двери, и это же лицо, обрамленное длинными черными волосами...

И поет волшебная скрипка, превращенная прикосновением этих вот рук в живой ангельский хор. А она, девочка, чувствует, как у нее в груди замирает сердце от игры величайшего музыканта, несравненного скрипача, властелина струн, золота и сердец, обожаемого, прославленного, всемогущего, любимого, богатого, прекрасного, как бог...

— Серато!

Познавший три мира едва заметно склонил голову.

— Да, когда-то я действительно носил это имя, — ничуть не удивясь, подтвердил он обычным ровным голосом.

Днем и ночью Рода размышлял, как бы избежать грозящей опасности. Он не собирался лететь вместе с Яцеком на Луну и поклялся себе сделать все, но не допустить этого путешествия. Правда, он отдавал себе отчет, как ничтожно мало это «все», на которое он способен, как слабы его возможности, и трясся при мысли о своем появлении вместе с Яцеком в городе у Теплых Прудов.

И не столько даже угнетала его вероятность мести за Марка со стороны ученого, которому он, несмотря на всю его снисходительность к себе, не слишком доверял, сколько божьн позора, какой вне всяких сомнений ждал его на Луне.

Нет, то была бы и впрямь невероятная ирония судьбы! Он, Рода, глава Братства Истины, который всю жизнь опровергал «сказки» о якобы земном происхождении обитателей Луны, теперь возвратится с Земли и должен будет признать, что она не только обитаема, но и бесконечно превосходит Луну по части удобства и совершенства жизни!

Дело в том, что Рода стал страстным поклонником земной культуры, особенно технической. Он уже неплохо ознакомился с нею, по крайней мере в ее внешних проявлениях. Яцек, так и не изменивший своего намерения взять обоих «посланцев» с собой на Луну и обратно, хотел, чтобы до отлета они получили как можно больше пользы от пребывания на Земле, и нанял гидов, с которыми карлики посещали разные страны и города, знакомились с ними и ежедневно узнавали что-то новое.

Поначалу Рода ездил вместе с Матаретом, но потом ему удалось уговорить Яцека избавить его от общества своего соотечественника. С того достопамятного дня, когда Матарет рассказал всю правду, отношения у них ухудшились до такой степени, что они перестали разговаривать друг с другом; исключения составляли оскорбления и попреки, которыми они время от времени перекидывались. В поездках их отношения обострились еще больше, если только такое возможно. Они смотрели на мир разными глазами; Матарет, отдавая должное чудесам земного прогресса, и здесь продолжал оставаться скептиком, не закрывающим глаза и на обратную сторону медали. Тогда как Рода всем восхищался и все хвалил, Матарет, познавая земные порядки, все чаще иронически усмехался и пожимал плечами, когда его спрашивали, согласен ли он, что жизнь здесь устроена лучше и совершенней, чем на Луне. По этой причине между обоими членами Братства Истины вспыхи-

вали ожесточенные споры, которые в конце концов стали до того невыносимы, что их пришлось разделить.

Лишившись общества Матарета, Рода чувствовал себя немножко одиноко, однако то, что он видел и узнавал, настолько поглощало его, что он все реже и реже вспоминал про своего товарища.

Знания он поглощал с охотой и в огромном количестве. Переимчивый от природы, он на лету схватывал внешние признаки земных порядков и вскоре уже неплохо ориентировался в существующих в обществе отношениях. А поскольку его неизменно тревожила мысль о возможном и совершенно нежелательном возвращении на родную серебряную планету, он и в них искал возможного выхода.

Поначалу четкого плана у него не было, но в голове уже возникали смутные очертания, из которых со временем могло что-то сложиться.

Во время разъездов он узнал, что на Земле все явственней поднимается брожение, что оно усиливается, а дом его опекуна является неким узлом всех этих событий. Ему потребовалось относительно немного времени, чтобы догадаться, что все дело в секрете какого-то страшного и безмерно важного изобретения, обладание которым может обеспечить человеку, получившему его, безнаказанность, могущество и власть.

Рода сообразил, что целью нескольких визитов Грабца было стремление заполучить тайну и что этим же можно, вне всяких сомнений, объяснить столь длительное пребывание Азы в доме ученого.

Но вопреки давним своим привычкам, Рода молчал, высматривал и выжидал.

«Придет и мой час, — думал он. — Я сумел похитить корабль у Марка, украду и у этого, как только появится возможность, его устройство».

Этот прибор и вправду интересовал всех. После странной, необъяснимой смерти Лахеча Грабец потерял важное орудие для исполнения своих планов и потому все сильнее давил на Азу, требуя, чтобы она поторопилась. Ему необходимо было иметь в руках страшную, всеуничтожающую мощь, чтобы ставить условия обществу, всему миру, одним словом, чтобы победить без борьбы.

Дело в том, что когда Грабец в спокойные минуты начинал размышлять, его охватывал страх перед бурей, которую он вызывал. Он расшевелил подземные силы, швырнул головню в огромные массы замкнувшихся в оцепляющем труде рабочих и теперь испугался взрыва, увидев,

какой поднимается, вздувается, растет девятый вал. Он хотел это море взять как бы на сворку и в интересах хранителей знаний мира напустить его на гнусное цивилизованное стадо, но очень скоро почувствовал, что стоит тому разбушеваться и вырваться, никакой власти оно уже не подчинится, никакая сила не загонит его обратно за разрушенные плотины.

В один из осенних дней, после того как они с Юзвой за несколько часов облетели значительную часть страны, посетив по пути центры движения, кое-где раздув уже занявшийся огонь, а в иных местах разожгли, они опустились на выжженный солнцем холм над вечным городом. Некоторое время они продолжали разговор о насущных делах ширящегося движения, но слова все ленивей срывались с их уст, и наконец оба умолкли, любясь чудесным городом, распростершимся у них под ногами.

Золотое солнце висело на небе, и даже воздух, казалось, насыщенный световой пылью, слепил глаза. А внизу, окутанный голубовато-золотистым маревом, мерцающим опаловым туманом, что размывал и затираал черту окоема, дремал любимый город Грабеца, единственный, вечный, царственный Рим.

Там, далеко к северу, на востоке и на западе, существовали два центра жизни, два пульсирующих золотой и багряной кровью сердца европейского континента: Париж и Варшава. Два чудовищных узла всевозможных сетей и дорог, два средоточия того, что толпа привычно именovala культурой, гигантские полипы, высасывающие тысячами отростков соки всей земли, столицы правителей и торговцев, центры развлечений, греха, подлости, бездарности. По образу обоих крупнейших городов развивались, росли, видоизменялись, не поспевая, впрочем, за ними, давние столицы бывших европейских государств, огромные, чудовищные, кишашие толпами и все равно отодвинутые этими двумя «солнцами» в разряд второстепенных.

Рим же остался тем, чем был столетия назад — единственным городом. Каким-то непостижимым чудом он спасся от все нивелирующей варварской руки «прогресса и цивилизации». На Форуме по-прежнему высились руины, над остатками золотых домов на Палатинском холме раскачивались под ветром старые кипарисы, и под апельсиновыми деревьями цвели пунцово-красные розы.

В соборе Святого Петра по-прежнему звонили колокола, а в Ватикане седой старец в тройной тиаре, немощной, дрожащей рукой осеняя крестным знаменем безлюдную

площадь, вспоминал времена, когда отсюда его предшественники одним мановением пальца приводили в движение народы Земли и принуждали к покорности могущественных монархов.

А на Капитолии, на Квиринале, в тысячелетнем Латеранском дворце, в исполинских руинах бывших терм, театров, цирков, во внутренних галереях базилик, в зданиях, помнящих зарю Возрождения, в садах, на площадях, на фонтанах стояли белые изваяния давным-давно не чтимых богов, обломки мраморных снов, осколки давно минувшей бурной, творческой юности.

Этот единственный город Грабец мечтал сделать надменной столицей духовно возрожденного мира.

Склонив голову, он смотрел на сотни залитых солнцем вздымающихся куполов, покрытых зелено-золотой патиной столетий, на стройные древние обелиски, на выщербленные стены цирка Флавиев.

В этом городе, пережившем тысячелетия и не посчитавшем нужным меняться по примеру иных городов, ощущалось спокойное и суровое достоинство.

Грабец погрузился в мечты.

Там на севере, на востоке или на западе пусть остаются гигантские современные «метрополии», центры труда, движения, ничтожных будничных забот, пусть они роятся, как ульи, пусть грохочут, как кузницы, лишь бы шум их не долетал до границ раззолоченной солнцем и осенью Кампаньи, лишь бы не нарушал задумчивую тишину под кипарисами на руинах. Здесь будет мозг и душа человечества, непреходящий храм «земных богов», обитель и столица всеведущих, которые одновременно будут и властелинами мира.

В давние времена, когда в мраморных дворцах на Палатинском холме жили цезари, со всей ойкумены в этот город везли пшеницу, вино и масло, драгоценные металлы и камни, рабов, женщин и даже богов; вся ойкумена служила ему, покорялась его воле, смыслом своей жизни почитая существование, расцвет и блеск этого единственного города.

И теперь это должно повториться. Все самое лучшее, что только есть в странах, землях и морях, будет стекаться сюда; здесь вновь будет центр мира, его мысль и воля.

По всем континентам, по дальним морским островам разойдется весть, что существует священный город, вход в который дозволен лишь избранным.словно старинную восточную сказку, будут рассказывать о нем матери де-

тям, что, дескать, там обитает все могущество, вся красота мира, там средоточие света, мудрости и жизни, а в неприступных его стенах такие высокие ворота, что для того, чтобы войти в них, нужно не сгибаться, а, напротив, вырасти под стать им.

О возлюбленный город, город мечты!

Хриплый отрывистый смешок вырвал Грабца из задумчивости. Он резко обернулся и взглянул на Юзву.

Тот стоял, опершись стиснутыми кулаками на древний, потрескавшийся и уже вросший в землю саркофаг, нахмуря брови и наклонив голову, словно готовился нанести удар.

— Юзва, это ты смеялся?

Юзва вскинул голову.

— Ну, я. А что?

Он широко повел рукой.

— Уж больно смешно думать, что после нашей бури здесь останутся только бесформенные развалины да камни, которые порастут травой, потом кустарником, а потом лесом. Ух, мы им покажем, покажем этим дворцам, что простояли столетия, этим сводам, залатанным цементом, этим колоннам, скрепленным внутри железными прутьями! Ох, как будут рассыпаться в пыль эти купола! Тут будет землетрясение, какого от сотворения мира еще никто никогда не видел!

Он опять хищно рассмеялся, а потом повернулся лицом к Грабцу и бросил:

— Послушайте, Грабец, что-то вы все вилаете. Как там обстоят дела с этой машиной Яцека?

У Грабца не было никакого желания отвечать ему. Последние лучи заходящего солнца, одарившие город как бы ореолом, похожим на королевскую корону, вдруг сменились в его глазах заревом пожаров; ему почудилось, будто он видит, как рушится вечный Рим и дикая, стократ более страшная, чем давние орды варваров, чернь несется по пожарищам, по руинам — неудержимая, бешеная...

Только когда Юзва вторично и уже настойчивей повторил вопрос, Грабец перевел взгляд на него.

Какой-то миг он был в нерешительности: сказать ли ему правду, что если страшное изобретение Яцека окажется в его, Грабца, руках, то использовано оно будет как для победы над обществом распоясавшегося человеческого ничтожества, так и для того, чтобы удержать в границах и... ввергнуть в новое рабство разбушевавшиеся на один день массы рабочих. А что, если действительно сказать ему это прямо и откровенно? И еще добавить, что, пока он жив,

скорей все погибнет на свете, но ни один камень не упадет с вершин этих древних колонн?

Грабец смотрел на Юзву и прикидывал, какое это произведет впечатление. Скорее всего, услышав его откровенное признание, Юзва даже не возмутится, не впадет в гнев, а лишь расхохочется, показывая белые, крепкие, хищные зубы, всецело уверенный, что неодолимая, могучая сила, которую он ведет, принесет гибель и разрушение.

— Я послал к Яцеку Азу, — внешне спокойно и невозмутимо бросил Грабец, отвернувшись от Юзвы. — Она сделает, что сможет.

— Экая глупость! — пренебрежительно процедил Юзва. — Не понимаю этих полумер. На кой было посылать женщину да еще актриску? Что она сможет? Проще было разгромить его дом в Варшаве и силой взять, что нужно.

— Не следует забывать, что Яцек может защищаться. Одним движением пальца он способен взорвать весь город. У Юзвы засверкали глаза.

— Вот это было бы здорово! Неплохое начало! Варшава, Париж, а потом и другие, меньшие язвы на зараженном теле Европы.

— На это еще черед не пришел, — как бы самому себе промолвил Грабец. — Если бы это случилось, вместе с Варшавой погибла бы и тайна смертоносной машины Яцека.

— Ну и что?

— Нужно, чтобы он добровольно выдал нам свое изобретение, тем более что без его указаний мы, вероятней всего, не сумеем им воспользоваться.

Юзва махнул сильной жилистой рукой.

— Это в сущности и ни к чему, — произнес он секунду спустя. — Пусть провалятся к дьяволу все мудрецы вместе с их машинами! У меня имеются неисчерпаемые склады самых мощных и живых взрывчатых материалов. Как только все мои люди выйдут да заведут танец, душой клянусь вам, Грабец, от этого прекрасного мира не останется ни следа, ни воспоминания.

Грабец уже открыл рот, чтобы ответить, но в тот же миг понял, что любые слова окажутся бессмысленны и бесполезны. Он посмотрел Юзве в глаза, пылающие яростной, неукротимой ненавистью ко всему, что было и есть — потому только, что оно было и есть, — и впервые в жизни испытал леденящий страх. Какой-то миг он думал, а не вонзится ли безопасности ради нож в эту широкую грудь, но тотчас же возмутился против этой подлой и трусливой мысли. Это было бы все равно, как перед плаванием разбить корабль,

направляющийся в новые земли, из опасения, что мудрость и опытность кормчего окажется недостаточной, когда разыгравается буря.

Он пристально смотрел на Юзву. Нет, Юзва вовсе не тупой и ослепленный человек, исходящий ненавистью только потому, что родился и жил в тяжелых условиях и был обречен судьбой на тяжкую, отупляющую физическую работу. Юзва получил в общественной школе прекрасное образование, и его по причине больших способностей намеревались отправить за государственный счет в Школу мудрецов, однако он внезапно исчез, как сквозь землю провалился.

О пропавшем человеке в сумятице жизни забывают очень быстро, и вскоре никто уже не помнил, что Юзва существовал, а уж тем более никого не интересовало, куда он подевался. А он, придя к убеждению, что все существующее скверно, в поисках силы сошел в самые низы и копил мощь, обуреваемый единственным безумным желанием все уничтожить.

— И все же странно, что я встретился и познакомился с ним, — прошептал Грабец и обратил взгляд на кроваво-красное закатное солнце, висящее над Римом.

VII

Нианатилока медленно покачал головой и улыбнулся.

— Нет, — говорил он, не глядя на Азу, как будто не ей отвечал на вопрос, — ни от чего я не отрекался, не пережил никаких разочарований, ни из-за чего не ожесточился.

Яцек бросил:

— Тогда почему же?

Он тут же осекся, устыдившись, что спрашивает, хотя сам должен был бы понять.

Нианатилока поднял на него спокойный, ясный взгляд.

— Того мне уже было мало. Я пошел дальше. Я хотел жить.

— Жить... — как эхо, прошептал Яцек.

В одно мгновение в памяти у него воскресло все, что он слышал еще в детстве об этом поразительном человеке, и соединилось с тем, что знал о нем теперь.

«Я хотел жить», — сказал Серато-Нианатилока, чье имя некогда было синонимом самой жизни, буйной силы, счастья, наслаждений, власти.

В ту пору он был всеобщим идиолом. Стоило ему появить-

ся со своей волшебной скрипкой, и люди, словно обезумев, падали перед ними на колени, а он делал с ними, что хотел. Если и можно сказать об артисте, что он властвовал над толпой, а не служил ей своим искусством, то, вне всяких сомнений, только о нем. Когда он исполнял свои знаменитые, несравненные, неповторимые импровизации, публика становилась подобна прибрежному тростнику: одним взмахом смычка, одним движением пальца он бросал людей из сумасшедшей радости в печаль и скорбь, нашептывал им волшебные сказки, пугал и повергал в ужас или же превращал ничтожных небокоптителей в буйных, мчащихся с вихрями богов, властелинов жизни.

Припомнилось Яцеку, что говорил о Серато один епископ, ныне покойный:

— Этот человек, захоти только он, мог бы своей скрипкой создать новое откровение, и люди пошли бы за ним, даже если бы он вел их в ад.

Епископ произнес это со страхом и осенил себя крестным знамением, а в глазах Яцека, тогда еще совсем ребенка, скрипач выросал до размеров фантастических, сверхчеловеческих, став как бы олицетворением величия, власти, царственности, избранности.

Сказать, что Серато был богат, значит, ничего не сказать, поскольку это слово не дает и слабого представления о тех реках золота, что протекали у него сквозь пальцы. Не было такой фантазии, какую он не смог бы осуществить, такого безумного плана, какой не сумел бы превратить в реальность. Один-единственный концерт приносил ему больше, чем составляли цивильные листы королей и императоров в те времена, когда они еще царствовали в Европе.

Красивый, сильный, беззаботный, пышущий здоровьем и жизнью, он полной чашей пил радость бытия, и поистине не было того, в чем отказала бы ему судьба. Женщины, глядя на него, дрожали, и он мог выбирать среди них, точь-в-точь как султан из «Тысячи и одной ночи», уверенный, как этот султан, что ни одна не отвергнет его призыва, даже зная, что наутро ее ждет смерть от его руки.

Никто никогда не видел Серато грустным или угнетенным; о нем говорили, что он смеется так, как солнце светит на небе. И когда в один прекрасный день разнеслась весть, что Серато внезапно, при загадочных обстоятельствах исчез, все, разумеется, заподозрили преступление и долго искали его следы; никому и в голову не могло прийти, что он сам, добровольно отринул жизнь, которую до сих пор пил жадными устами из полной чаши.

Яцек невольно поднял глаза и бросил взгляд на лицо сидящего перед ним отшельника.

И это он! Серато!

Нианатилока, Познавший три мира...

Полунагой, невозмутимый, живущий хлебом милостыни, но божественный...

«Я хотел жить», — сказал он.

Хотел жить!

Чем же было то прежнее, то безумное буйство искусства, любви, славы? Неужели же это не было жизнью, которая иногда летучим огнем вспыхивает в его, Яцека, мозгу, истомленном мудростью? И возможно ли было, обладая всем этим, так легко и бесповоротно все бросить?

— И тебе не жаль?

Бывший скрипач поднял голову.

— Чего? Неужели, глядя сейчас на меня, ты способен допустить, что я оставил позади что-то такое, о чем сегодня мог бы пожалеть? Я ни от чего не отступился, ничего не отринул, а лишь пошел дальше и выше. Та жизнь могла, конечно, чего-то стоить, но то, чем я обладаю сейчас, стоит несравненно больше. У меня была слава, богатство, власть. Какое имеет значение, что тогда думали обо мне другие, по сравнению с тем, что взамен я без чужой подсказки ныне знаю, кто я такой и чем являюсь в этом мире? Сейчас я тысячекрат богаче, чем был тогда, ибо не желаю ничего, что может быть исполнено другими, а вместо власти над ближними обладаю всецелой властью над самим собой.

— А искусство? — спросил Яцек. — Ты не тоскуешь по нему?

Нианатилока улыбнулся.

— Какая внешняя гармония, пусть даже самая совершенная, может сравниться с той настроенностью души, какой я достиг? Какая творческая сила артиста — с убежденным сознанием, что я сотворил свой мир и, пока хочу, удерживаю его?

Он встал и подошел к Яцеку.

— Впрочем, совершенно незачем об этом говорить, когда есть множество вещей, куда более важных, — заметил он. — Не стоит думать о том, чем был человек, а то не хватит времени подумать, чем он может быть. При чем каждый, каждый без исключения, если только захочет.

Яцек рассмеялся.

— Вот видишь, кто захочет! Кто найдет в себе сил разом отказаться от всего, как ты.

Нианатилока жестом прервал его.

— Сколько же раз мне нужно повторить, — убеждающе проговорил он, — что я ни от чего не отказывался? Ведь отказаться это означает отринуть нечто соблазнительное, представляющее для человека ценность. Я же освободился всего лишь от определенных форм жизни, которые показались мне бесплодными, как только я познал более совершенные. После многих лет духовных трудов, которые с каждым днем давали мне все большее наслаждение, после многих лет отшельничества и совершеннейшего одиночества, что бесконечно умножает жизненную силу, я достиг того, что мы называем «знанием трех миров», которое если и не является последней степенью мудрости, то уж, вне всяких сомнений, первой и основной. Теперь я мог бы вернуться к давним формам жизни, вернуться к людям вашего общества, безумствовать, как они, бессмысленно трудиться, радоваться славе, богатству, успеху и продолжать оставаться в душе тем, чем я есть, но при одной мысли о возврате к вам меня разбирает смех, до такой степени все это потеряло для меня всякую привлекательность.

Нианатилока приподнял согнутые в локтях руки и чуть поднял голову.

— Я обрел наисовершеннейшую форму жизни, — продолжал он, — личную и всеобъемлющую, потому что научился сливаться с миром и его духом в подлинном единстве, какое было вначале, прежде чем возникло человеческое сознание. Мне нет нужды смотреть на цветущие луга, слушать волнующееся море или бурю, затем что я являюсь и плодородной землей, и цветком, и рекой, и деревом, и ветром, и морем. В биении своей крови, в ритме своей мысли я ощущаю гармонию бытия — ту, глубинную, сокрытую под призрачными явлениями, под тем, что человеку, вырванному из мира, может даже показаться дурным, несправедливым или ненужным. Вся моя долгая предыдущая жизнь, хотя она и не была скупа ко мне, не сумела дать мне ни единой минуты счастья, хотя бы в ничтожной степени подобного тому блаженству, в каком я ныне пребываю постоянно, не боясь когда-либо утратить его.

Нианатилока говорил, обращаясь к Яцеку, словно забыв о присутствии Азы, которая, свернувшись клубочком в глубоком кресле и опершись подбородком на переплетенные пальцы рук, молча смотрела на него широко раскрытыми глазами.

Поначалу она слушала, но уже вскоре стала восприни-

мать его слова как звуки без всякого значения, обращать внимание на которые нет никакого смысла. Она слышала только голос — ровный, спокойный, мягкий, видела сбоку обнаженную мускулистую руку, хотя и несколько худощавую, которая под южным солнцем приобрела цвет зрелого плода. От этого человека исходила сила и молодая свежесть. Черные, блестящие, слегка волнистые волосы падали на открытые крепкие плечи, и Азе чудилось, будто она ощущает их свежий запах, напоминающий терпкий аромат горных трав, что растут над холодным прозрачным ручьем. Его лицо было обращено к ней в полупрофиль, и она видела выпуклую линию соединения скулы и виска, глазное веко, уголок свежих алых губ.

«Юный, светлый, божественный, — мысленно повторяла она, — такой же, каким был тогда...»

Внезапно она в страхе соскочила с кресла.

— Серато!

Он неторопливо обернулся и рассеянно на нее глянул, видимо, недовольный, что она прервала его.

Аза смотрела на Нианатилоку, словно в чем-то была не уверена, словно не доверяла собственным глазам.

— Серато? — вновь произнесла она с оттенком недоумения.

— Да, слушаю вас.

Аза, не спуская с него глаз, что-то высчитывала вполголоса.

— Шесть... десять... восемнадцать... нет, двадцать! Да, верно. Двадцать лет.

Нианатилока понял и улыбнулся.

— Правильно. Двадцать лет назад я покинул Европу и отправился на Цейлон.

— Я была ребенком, девочкой, служила в цирке... Я помню... Тогда говорили, что Серато было сорок лет.

— Сорок четыре, — уточнил Нианатилока.

Яцек, с растущим интересом следивший за их разговором, тоже вскочил с кресла.

— Выходит, тебе сейчас шестьдесят с лишним?

— Да. Тебя это удивляет?

Яцек, вперясь взглядом в невозмутимое лицо пустыньника, стоял в совершенной растерянности.

— Но ведь он выглядит молодым человеком лет тридцати, — прошептала как бы самой себе полная безмерного изумления Аза и обратилась к Нианатилоке: — Ты моложе, чем был тогда, двадцать лет назад, когда я тебя увидела. Нет, это невозможно!

— Почему?

Произнося это, он повернулся на миг к Азе и хлестнул ее спокойным взглядом холодных глаз.

Она в ту же секунду умолкла, не понимая, почему ее охватил необъяснимый страх. Ей припомнилась сказка, в которой труп, сохранивший благодаря заклятию колдуна видимость жизни и молодости, чуть только заклятие было снято, в мгновение ока расплзся зеленой смрадной жижей вокруг кучи костей.

Аза чуть слышно вскрикнула и отшатнулась.

Нианатилока тем временем объяснял Яцеку:

— Неужели ты не понимаешь, что по достижении определенной степени совершенства можно силою воли управлять всеми функциями организма точно так же, как обычно человек управляет некоторыми движениями? Ведь даже факеры низших степеней, столь же далекие от подлинного знания, как Земля от Солнца, умеют по своему желанию останавливать сердце и деятельность нервов и на некоторое время входить в состояние кажущейся смерти.

— Но тут речь идет о жизни. Меня поражает твоя необъяснимая молодость, — возразил Яцек.

— А разве воле не все равно, в каком направлении действовать? В сущности, речь тут идет об определенном состоянии органов, их функционировании, если пользоваться ученым языком, каким вы изъясняетесь здесь, в Европе, или же, как сказали бы мы, о том, чтобы изъять телесную оболочку из времени и поставить над ним.

Яцек сжимал руками голову.

— У меня путаются мысли, — пробормотал он. — Значит, ты мог бы жить вечно?

Нианатилока усмехнулся.

— Я не могу не жить вечно, ибо дух бессмертен, а я являюсь духом так же, как ты, как мы все. Что же до тела, которое является всего лишь внешней и преходящей оболочкой духа, то не стоит слишком долго держаться за нее. Пока тело необходимо, лучше, если оно будет молодым и здоровым, способным исполнять любые приказания, нежели дряхлым, слабостью своей мешающим духу, но как только тело исполнит свое назначение, человеку, обладающему знанием, достаточно ослабить волю, удерживающую его... — Но тут он прервался и протянул Яцеку руку. — Не понимаю, почему мы сидим в душевной комнате. Пойдем. Солнце уже зашло, и мне хотелось бы немножко полюбоваться с крыши на звезды. Там мы оба с тобой погрузимся в медитацию, а потом побеседуем о бытии, о бытии по ту

и по эту сторону звезд, как о едином, неизменном и непрерывном процессе.

Аза даже не заметила, как они вышли, хотя ей казалось, что она не спускает с них глаз. Некоторое время она сидела словно в оцепенении, ошеломленная услышанным; история вечного молодого скрипача, представшего перед ней в облике буддийского святого, не укладывалась в категории здравого смысла, противоречила всему, к чему она привыкла.

Ей пришла мысль, что скорей всего она ошиблась; этот человек не является да и не может быть исчезнувшим два десятка лет назад Серато. Видимо, он взял на себя произнесенное ею имя и укрылся под ним; быть может, по какой-то неведомой причине он не хочет, чтобы стало известно, кто он на самом деле.

— Он — обманщик!

Аза вскочила. Сперва она хотела позвонить прислуге, позвать Яцека, потребовать, чтобы этого человека посадили в тюрьму, не позволяли ему называться чужим именем.

Аза стояла в нерешительности.

И все же, возможно ли такое, чтобы она не узнала его, приняла его за другого? Да и может ли кто-то быть так на него похож?

Аза прикрыла глаза, и тотчас же перед нею возникла сцена, произошедшая так давно, что стала уже почти что сном, и однако же бесконечно живая и выразительная...

Некогда — двадцать лет тому — у Серато возникали сумасбродные фантазии. Бывало, ему слали телеграммы, умоляли дать концерт в первоклассном театре, об этом ходатайствовали сановники, артисты, его друзья, но он отказывался, хотя ему сулили золотые горы. А иногда выступал в совершенно неожиданных местах, и никому в голову не могло прийти, что он снизойдет до них; ему приходила шальная мысль, и какая-нибудь придорожная гостиница превращалась в концертный зал. А случалось, он, словно бродячий скрипач, уходил со своей скрипкой по пыльному проселку, увлекая за собой из города толпы почитателей.

Аза, в ту пору еще маленькая девочка, служила в цирке и слышала о нем от циркачей, которые произносили его имя со странным трепетом в голосе, и ей часто снился волшебник-скрипач, что бродит по свету и как воплощение бога, как олицетворение божественного могущества ведет за собой толпы людей. Она даже не стремилась увидеть его, до такой степени живо он стоял перед ней в ее детских мечтаниях. Нередко, уставшая, сидя где-нибудь в темном углу, она рассказывала себе одну и ту же чудесную сказку:

— Вот он придет...

Это будет день, не похожий на другие, светлый и радостный, и он придет, возьмет ее за руку и уведет по дороге под радугами, стоящими на облаках, подобно воротам.

Он придет, обязательно придет! Освободит ее, несчастную маленькую Азу, от страшного клоуна, который хочет делать с ней мерзкое и грязное, уведет ее в луга, в поля, которые, говорят, раскинулись за городом, и там она будет слушать пение его скрипки и навсегда забудет про цирк и проволоку, на которой нужно танцевать, чтобы ее не били и чтобы зрители хлопали.

Аза горько улыбнулась, вспоминая эти наивные детские мечты. Она вовсе не была такой наивной и прекрасно понимала, что означают взгляды старых важных господ, сидевших в первых рядах кресел, взгляды, скользящие по ее худенькому обтянутому трико телу, и понимала, чего хочет от нее клоун.

И все-таки...

И все-таки в эти минуты, когда она предавалась тайным мечтам, преждевременный, жизнью вбиваемый в нее цинизм исчезал, опадая, как черепаший панцирь или лягушачья кожа, которую принуждена была носить в сказке принцесса. И она выходила из нее такой, какой, в сущности, еще оставалась в глубине души: ребенком, глядящим на мир изумленными глазами и мечтающим о светлых чудесах.

И он пришел. Действительно пришел в один прекрасный день, верней, в один прекрасный вечер. Она устала превыше всяких мер. Ей предстояло взбежать по наклонно натянутой проволоке на трамплин, прыгнуть с нее на качающуюся трапецию, потом на другую, на третью, вертеться, плясать в воздухе. Она разбежалась и на полпути сорвалась с проволоки, сильно ударившись боком. В зале раздались несколько испуганных вскриков, но их тут же заглушили голоса недовольных зрителей. Шпрыхсталмейстер подбежал к ней, убедился, что она цела, не разбилась, зло сверкнул глазами и шепнул:

— Разбегайся, скотина!

— Я боюсь! — прошептала она, охваченная внезапным страхом.

— Разбегайся! — еще грознее прошипел он.

Дрожа всем телом, она покорно отступила на несколько шагов. Подпрыгнула, и вдруг — словно некая незримая сила остановила ее перед самой проволокой.

— Боюсь, — почти уже плача, прошептала она. — Страшно.

Зал уже начал терять терпение. Афиши обещали в этот вечер «небывалый, единственный в своем роде номер, неподражаемую воздушную принцессу, летающую фею», и вот эта фея стояла перепуганная, растерянная, с покрасневшими веками и дрожащими от сдерживаемого плача детскими губами.

— Жулики! — донеслось с задних рядов. — Гоните назад деньги! Кончай представление!

Безжалостная толпа, требующая за свои жалкие гроши развлечения, издевалась над ней, высмеивала, осыпала обидными прозвищами и непристойными словами.

— Разбегайся!

Словно сквозь сон она услышала полный сдерживаемой ярости голос шпехштаймейстера. Собрав остатки решимости, отступила для разбега. В глазах у нее было темно, в ушах стоял невыносимый шум, ноги подгибались — она чувствовала, что свалится, не сможет пробежать по проволоке.

Она подпрыгнула, пробежала, зажмурив глаза, несколько шагов, и вдруг кто-то схватил ее за руку как раз тогда, когда она должна была ступить на проволоку.

Она открыла глаза. Перед нею стоял элегантно одетый мужчина с черными волнистыми волосами; он сжимал ее предплечье мягкой, но сильной, как сталь, ладонью.

— Подожди.

Она не успела ни удивиться, ни испугаться — ее переполнило блаженное, спокойное ощущение: кто-то пришел защитить ее. Директор, побелевший от злобы, подлетел к спасителю, но не успел даже рта открыть: тот спокойным, не допускающим возражений тоном произнес:

— Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь скрипку.

— Серато! Серато! — гудело по всему амфитеатру.

Серато! Она вскинула голову, жадно, с замиранием сердца вглядываясь в него.

Вот оно, исполнилась сказочная, заветная мечта: он пришел, возьмет ее за руку и уведет.

Нет, в ней происходило что-то иное, в чем в первый момент она не сумела дать себе отчета. Она чувствовала его сильные пальцы на своей обнаженной детской руке, а когда он скользнул мимолетным взглядом по ее лицу, ее бросило в жар, и сердце оборвалось. Ей захотелось заплакать, исчезнуть, растаять; хотелось, чтобы он смял ее своими руками или встал ей ногою на грудь, и одновременно хотелось убежать, спрятаться.

В цирке вдруг стало тихо-тихо. Она услышала какой-то

неземной, чудесный звук, словно серебряный плач, и поразила — откуда он?

Серато играл.

Теперь на нее никто не обращал внимания. Она присела на барьер и смотрела. Шум крови в ушах заглушал музыку; она только видела его белую руку со смычком, бритое лицо, опущенные веки и чуть приоткрытый рот с влажными кроваво-красными губами. Непонятная, странная дрожь пробежала по всему ее телу, и впервые в жизни она телом постигла, что в мире существуют поцелуи, объятья, что она — женщина.

В этот миг она перестала быть ребенком.

У нее закружилась голова, и какое-то мгновение все ее существо стало одним сплошным желанием — чувствовать на себе его глаза, его руки, его губы.

И вдруг она пришла в себя. Спокойно, почти вызывающе осмотрелась. Он — Серато — не глядел на нее. Захваченный потрясающей импровизацией, превративший в орудие чуда ординарную, поданную из оркестра скрипку, он, похоже, совершенно забыл о ее существовании и внезапной жалости, толкнувшей его на арену, чтобы спасти маленькую циркачку.

Он играл для себя, а люди слушали.

В цирке стояла поразительная тишина. Она обегала взглядом ряды — везде слушатели превратились в изваяния; одни пожирают скрипача взглядом, другие сидят, закрыв лицо руками, а кто-то уставился вдаль остекленевшими глазами, из которых бежала душа, чтобы колыхаться вместе с музыкой на воздушных волнах.

И вдруг Азу охватил гнев, что он сжалился над нею, а теперь даже не смотрит, и ревность, что он завладел зрителями, которые всегда аплодировали ей, и инстинктивная обезьянья злость. Даже не сообразив, что делает, она, когда струны скрипки чуть слышно, едва уловимо для слуха запели про какой-то удивительный, святой сон, пронзительно, по-циркачески вскрикнула, стремительно взбежала на проволоку и прыгнула на висящую несколькими метрами ниже трапецию.

Ее безумный прыжок тотчас же заметили и закричали, завопили, захлопали, стали показывать на нее пальцами. Никто уже не слушал скрипку Серато, все смотрели, как она перелетает, словно птица, с трапеции на трапецию.

Горькое, ожесточенное чувство триумфа в груди. Никогда еще она не была такой яростной, такой отчаянной, такой разнузданной, как в этом воздушном танце, где одно неверное движение, ошибка в какой-нибудь миллиметр означала смерть. Она изгибалась и пружинилась, с каким-то болез-

ненным, невесть откуда появившимся в ней наслаждением выставляла свои детские еще формы на обозрение публики, провоцировала похотливые взгляды, скалила зубы в бесстыдной улыбке, и зрители глазами срывали с нее одежду.

Ей удалось бросить взгляд на скрипача — ее толкало болезненное любопытство.

Незаметно, незаметно — так, чтобы он не поймал ее на этом. Поднимая руки, она чуть наклонила голову и — быстрый взгляд из-под мышки...

Он, положив скрипку на арену, удовлетворенно улыбался и аплодировал ей вместе с другими.

А она спрыгнула с поднебесных качелей и сломя голову убежала в уборную; там она долго не могла остановить страшные, рвущие душу рыдания.

Вот так в первый и последний раз она видела Серато. И однако же каждая черточка его лица, его взгляд, изгиб его губ так впечатались в ее память, что еще долгие-долгие годы он как живой стоял у нее перед глазами, преследовал, словно призрак, от которого невозможно избавиться.

Нет! Она не могла ошибиться! Это действительно Серато, непостижимый человек, каким-то колдовским способом сохранивший вечную молодость, явился сюда и произносит непонятные ей поучения, источая сверхчеловеческую, ужасающую Азу силу.

Внезапная дрожь потрясла ее тело. Точь-в-точь как в тот миг — двадцать лет назад, — когда он положил ладонь на ее детскую руку, только жаркая волна, пробежавшая в ней, сейчас была куда сильнее.

Аза сплела руки на затылке и невидящим взором уставилась куда-то в пространство.

А в голове кружила мысль:

«Я могущественней, чем все силы мира, — могущественней мудрости, искусства, даже могущественней мести! И буду могущественней, чем твоя святость!»

Она ощутила сладостное биение крови в груди, глаза на мгновение затуманила мгла, губы приоткрылись, беззвучно повторяя:

— Приди! Приди ко мне!

VIII

Они сидели молча, опустив головы, и со средоточенным вниманием слушали сообщение одного из «всеведущих братьев», который излагал в собрании мудрецов новую теорию происхождения жизни.

Тщедушный, светловолосый, с быстрыми серыми глазами, он говорил внешне сухим научным языком, перечисляя цифры, фамилии ученых, факты, открытия, и лишь иногда лицо его чуть кривилось в едва уловимой гримасе — когда одной краткой, молниеподобной, неожиданной фразой он соединял воедино и объяснял добытые многовековыми упорными трудами и до сих пор еще, как казалось, противоречащие друг другу наблюдения целых поколений исследователей.

А у слушателей было ощущение, что этот с виду невзрачный, но обладающий могучим умом человек возводит у них на глазах величественную пирамиду с основанием, объемлющим вселенную, где каждый отдельный блок, соединенный с другими в дерзкую надвоздушную арку, неколбимо поддерживает новый этаж, и они все дерзновенней, все стремительней возносятся к небу, и вот уже мысленно видится последняя глыба, замыкающий камень, с которого одним взглядом можно будет охватить все сооружение. Все, что до сей поры было проверено, открыто, изобретено, добыто или сотворено силой разума, становилось кирпичом и гранитом для сероглазого мудреца; временами возникало ощущение, что одним словом, подобным точному и уверенному удару молота, он отсекает от бесформенной глыбы опыта, с которым долго не знали, что делать, все лишнее и добывает из нее великолепную сердцевину, пригодную для строительства.

Слушатели, привычные возноситься в заоблачные высоты и наблюдать мир с одиноких башен своей мысли, уверенно, без головокружения всходили вместе с докладчиком на те вершины, куда он безошибочно и смело вел их.

Ученый закончил долгий доклад, его глаза вспыхнули, речь полилась живой. Он повел рукой, словно показывал сверху стены возведенной пирамиды, в которой для непредубежденного взгляда кирпичи и камни нерушимо соединились в единую, совершенную и поразительно простую целостность.

— Мы прошли, — говорил он, — по лабиринту чудес от примитивной первичной плазмы, стремившейся еще зайтишься, от зародыша, верней, от возникновения этого зародыша, еще прежде чем произошло его первое деление, приведшее к появлению нового организма, до процессов в мозгу, сопутствующих горделивой человеческой мысли, рассмотрели все это и знаем, что одно можно вывести из другого, связать воедино и представить в виде точной, безошибочной математической формулы, ведущей к одному-

единственному выводу. И это уравнение, подобное таинственному заклятию, которое давно уже предчувствовали, но не могли открыть, я вывел, сопоставляя опытный материал, собранный за десятки веков.

Мы рассмотрели жизнь во всех ее проявлениях от простейшего до самого сложного и уже знаем, что она строится по единому принципу без исключений, без скачков, без какого-либо произвола, каким радуется себя не слишком дальновидный человеческий глаз. Мы так же определенно установили, что жизнь не является ни целью сущего, ни результатом некоего развития, без которой его просто невозможно представить, но его началом, альфой и омегой, всей совокупностью и единственным свойством бытия. Когда-то, много веков назад, упорно и многотрудно старались вывести из безграничного бытия возникновение живого организма, а сейчас мы не только знаем, что это было всего лишь первоначальной и основополагающей необходимостью, но более того — по какому принципу это происходит: и здесь и там действует одна и та же незыблемая математическая формула.

Докладчик на секунду умолк, обернулся и показал рукой на черную доску, где был написан ряд математических символов.

— Вот она — тайна бытия, — промолвил он с горькой иронией в голосе, — открытая, доведенная до банальной наготы математических знаков. Мы теперь действительно могли бы стать волшебниками и сумели бы по ней создать новый мир, новое бытие, новую действительность, если бы только... Увы, преградой на пути использования этого обретенного чародейского заклятия оказывается сущая мелочь. Взгляните, господа: в этой формуле, которую я вам тут представил, имеется некая постоянная, «С» математиков, вещество физиков, извечная *vis vitalis*¹ биологов, одним словом, нечто, о чем в данном случае неизвестно, что это такое, и чего мы узнать уже не сможем, поскольку это отнюдь не вытекает из уравнения.

Докладчик склонил голову и беспомощно развел руками.

Яцек, как и остальные, внимательно слушал его. Последние слова ученого не были для него неожиданностью; едва взглянув на магнетическое уравнение на доске, он сразу понял, что людская мудрость, проникшая в самые глубины тайны жизни, вновь натолкнулась на незримую, но непреодолимую стену, опять оказалась лицом к лицу со все той

¹ Жизненная сила (лат.).

же вечно встающей загадкой, со все тем же самым Ничем, которое одновременно является Всем.

«И Слово стало плотью», — как напоминание прозвучало у него в ушах. Он невольно бросил взгляд на лорда Тедуина, сидящего на председательском месте.

Сэр Роберт сидел, выпрямившись, положив руки на пюпитр, и неподвижный его взгляд был устремлен куда-то вдаль. И только чуть заметное подрагивание плотно сжатых губ свидетельствовало о том, что в этом застывшем, суровом лице есть жизнь. Яцек подумал, что сейчас, когда докладчик завершил выступление, возьмет слово сэр Роберт, и с нетерпением ждал, что он скажет, как будет доказывать собравшимся мудрецам Земли необходимость догмата веры, ибо вера дополняет знание, которое без нее — ничто.

Однако лорд Тедуин молчал, молчали и все остальные. Яцек переводил взгляд с одного на другого, смотрел на стариков, клонящих лица, изборожденные морщинами, на мужей во цвете лет со странной запредельной тоской в глазах, на тех, кто только-только расстался с юностью, но чьи плечи уже согнулись под бременем знания; он выискивал, кто же скажет слово, выскажет откровенно.

Но глухое молчание говорило само за себя и означало: «Мы не знаем». В тот миг, когда физическая разгадка бытия, эволюции и жизни предстала в виде точной математической формулы, когда после долгих и тяжких поисков наконец добрались до окончательного понимания механизма мира, в этот роковой миг страшные слова «Не знаем!» читались в растерянных глазах мудрецов, накладывали печать на их уста.

Яцек обратил свой умоляющий, требовательный взгляд на лорда Тедуина.

«Скажи! — молил, настаивал, безмолвно требовал он. — Скажи! Скажи! Избавь нас от этой черной пустоты, в которую мы погружаемся, коль ты сам избавился от нее!»

И сэр Роберт понял его.

Он обвел взглядом присутствующих, желая проверить, не просит ли кто слова, но под его взором все только ниже опускали головы, беспомощно пожимали плечами, и тогда он сам поднял руку.

Он встал высокий, внушительный, сосредоточенный, держа на широких плечах почти целое столетие. Несколько секунд сэр Роберт стоял, не произнося ни слова, словно пребывая в нерешительности.

— Здесь кончается знание, — наконец промолвил он. — Мы добыли все, что можно было добыть, услышали все, что

способен вынести человеческий разум. Я поведал вам, до чего дошел в последние годы моих одиноких трудов и, видимо, последние для трудов мысли, после чего выступали многие мудрецы, цвет Земли, мои друзья либо ученики, поскольку у одного меня среди вас нет учителя, ибо я старше всех вас. Мы дошли до ядра всетворения, и, вероятно, сейчас я должен был бы распустить наше объединение естествоиспытателей, потому что дальше уже идти невозможно, упразднить наш орден всеведущих, потому что более познавать нам нечего. Отныне мы обречены двигаться по замкнутому кругу, словно рыбы вдоль стеклянной стенки аквариума, вырваться за которую нет никакой возможности. Солнце осталось далеко позади, нас охватывает стужа. У нас достало отваги дойти до этого предела, теперь мы должны набраться смелости, чтобы во всеуслышание сказать: «Здесь кончается познание».

— Неправда!

Услышав этот возглас, Яцек вздрогнул. Он почти забыл, что с разрешения лорда Тедуина привел с собой в качестве гостя на ежегодное собрание мудрецов Нианатилоку.

На какое-то мгновение сэра Роберт умолк; словно быстрая волна по морю, по лбу его пробежала тень, но тотчас же он улыбнулся с пренебрежительной снисходительностью.

— Наш гость, — промолвил он, — не поняв как следует моих слов, противоречит очевидной и, к сожалению, неопровержимой истине, что мы дошли до предела человеческого знания и уже не сможем ступить ни шагу дальше. Я догадываюсь, в чем причина этого недоразумения. Наш гость, вскормленный мудростью Востока, не вполне точно определяет для себя разницу между знанием и верой, то есть признанием достоверными вещей, которые невозможно доказать с помощью разума. Предметом как знания, так и веры является истина, но истины эти и по своему характеру и по происхождению отличны, и смешивать их непозволительно. Повторяю: мы стоим у предела знания, дальше место уже одной только вере.

Собрание вдумчиво кивало головами, признавая справедливость слов своего председателя и учителя. Яцек, обведя глазами зал, увидел задумчивые лица, одни с отрешенной улыбкой на устах, другие — искаженные непроизвольной страдальчески-иронической гримасой, но много было и таких, на которых отражалась одна только печаль. Он знал всех этих людей, мудрейших в целом свете, и ему было известно, кто что думает. Он мог пальцем указать на тех, кто изо всех сил цепляется за веру, немногочисленных

католиков (поскольку католицизм оказался единственной религией, кое-как уцелевшей в пожаре веков), послушных церкви и исполняющих все ее заповеди, и тех, кто сам и только для себя создавал религиозные системы, более или менее туманные и мистические, пытаясь заполнить ими пустое и непреодолимое пространство, ударяясь о которое наука разбивалась, как море о скалистые берега Арктики. Большинство среди них составляли пантеисты высокого полета, что отрывали глаза от математических уравнений своей науки, чтобы объять любящим взглядом мир, в котором, по их верованию, проявлялась священная *атмосфера Dei intellectualis*¹; немало было также и холодных рациональных деистов, теософов различного покроя и мистиков всех оттенков вплоть до людей, которые, невзирая на величайшую ученость и чуть ли не всеобъемлющее знание, держались всевозможных суеверий, порой попросту смешных и детски наивных.

«*Nostror vacui*»², — подумал Яцек, глядя на этих людей, которые любой ценой искали позитивную метафизическую сущность жизни и мира, хотя ее трудно было примирить с тем, что им доказывала их привычная к неутомимым исследованиям мысль.

Какое-то мгновение он ощущал зависть, мысленно сравнив их веру, пусть страшно хрупкую, с тем состоянием, в каком находились он и ему подобные, с безмерной тоской слушавшие слова Роберта Тедуина.

Ощущение тщетности, страшнейшей, ужасающей пустоты и глубочайшее убеждение, что если намереваешься жить, нужно чем-то заполнить эту пустоту, и в то же время бессилие, беспомощность мысли, вытекающая из чувства самосохранения, недостаток или переизбыток чего-то, что не дает, не позволяет, поверить только для того, чтобы поверить...

К этой группе принадлежали и несколько ярых скептиков; сейчас в их глазах было заметно смертельное отчаяние, но на губах играла презрительная улыбка. Подобно безумцам, что вечно раздражают собственные язвы, они пытливым мышлением зондировали бытие и остоленело вглядывались в пустоту, даже не желая признаться себе, что рады были бы увидеть нечто иное, пусть даже зыбкий мираж, который они тут же и рассеяли бы; да, они согласны были и на

¹ Познательная любовь к Богу (лат.). Одно из понятий философской системы Спинозы.

² Боязнь пустоты (лат.).

мираж, потому что смертельно устали и смертельно боялись извечной картины кристальной пустоты.

Яцек закрыл лицо руками и, задумавшись, некоторое время не обращал внимания на происходящее вокруг. Только голос Нианатилоки заставил его открыть глаза, поднять голову и прислушаться.

Буддист стоял на трибуне, видимо, приглашенный на нее лордом Тедуином. Откинув резким движением головы волосы, спадающие на лоб, он поднял смуглую руку.

— ...Ибо не веру я вам несу, — говорил он, очевидно, завершая фразу, — и не прибавляю еще одно верование к тысячам уже существующих, тем более увеличивая сумятицу, но знание. С полной ответственностью и смело объявляю вам, о мудрейшие: за тем кругом, который вы сейчас очертили, существует знание — знание подлинное, радостное, дающее силу.

Мудрецы недоверчиво покачивали головами, слушая его скорей с благосклонной снисходительностью, чем с интересом. Яцек понимал: Нианатилоке дали слово и позволяют говорить только потому, что он его друг. Эта мысль странно уязвила его, словно тем самым нанесли пустынноку оскорбление. Внезапно его охватила неприязнь к собранию мудрецов, которые несомненно выслушали бы чужака, если бы он выступил перед ними как чудотворец и посулил новое откровение, но не верят ему и даже допустить не могут, безгранично уверенные в своей собственной, пусть даже не удовлетворяющей их мудрости, что кто-то в сфере познания мог пойти иным путем и зайти дальше, чем они.

Яцек инстинктивно вскочил и хотел увести друга к себе домой, но Нианатилока, заметив его движение, дал ему рукой знак не волноваться. После чего, не обращая внимания на усмешки и явные признаки нетерпения слушателей, повернулся к доске, на которой докладчик записал математическую формулу жизни, и, указав на неизвестную постоянную, заговорил спокойно, словно речь шла о каком-то пустяке, а не о сокровеннейшей тайне бытия:

— Не кажется ли вам, что надо начинать с этого, а не останавливаться в безнадежности? Я хочу поговорить с вами об этой непонятной постоянной в уравнении бытия. Вы все знаете, что этот постоянный член уравнения — дух. Нет, неверно! Скорей, вы все в это верите более или менее сильно, и то, что вы только верите, как раз и недостаточно. Я смотрю на вас, о мудрейшие, и вижу печаль на ваших лицах, в глазах — растерянность, а в горестной гримасе ваших губ — тоску по непостижимому. Вас не удовлетво-

ряет ваше знание, сколь бы огромно оно ни было, и не дает успокоения самая сильная вера, поскольку вы слишком мудры, чтобы в раздробленности бытия увидеть последний предел, и слишком привыкли все анатомировать острием мысли, чтобы без оговорок предаться вере и впасть ежеминутно в сомнение. Вы стоите на распутье; простите, что я так говорю вам, но и сам я некогда шел этим путем и считал его, как вы, единственным.

Нианатилока умолк и обернулся к седовласому председателю.

— Узнаешь ли ты меня, учитель? — спросил он. — Сорок лет назад, когда ты только начинал учить, я был одним из первых твоих учеников, но потом отошел от исследований, чтобы искать гармонию сперва в искусстве и, наконец, в сокровенном, не испытующем природу, но творческом знании далеко отсюда, на Востоке.

Лорд Тедуин прикрыл рукой глаза, на лице его отражалось высочайшее удивление.

— Это ты? Ты? — прошептал он.

— Да, учитель. Я — Серато, единственный, кого ты тщетно удерживал при себе. Ведь то было великое счастье, ежели ты кого-то соглашался принять в ученики. И вот сорок лет спустя я стою перед тобой и, как видишь, выгляжу сейчас не старше, чем тогда, когда уходил от тебя, взяв скрипку, и благодарил тебя за то, что ты хотел мне добра и, пусть сам того не желая, указал мне путь, каким идти... не нужно, по крайней мере до тех пор, покада не обретишь иного знания, добытого из глубин духа и позволяющего с улыбкой смотреть на ничтожность бренной жизни. То, к чему вы тщетно стремитесь в отчаянной тоске, должно стать лишь началом. Взгляните на меня! Вы открыли точную формулу жизни, изобразили ее в математической форме, записали ее на черной доске и — беспомощные стоите перед ней! Я, не знающий ее, тем не менее свою материальную жизнь держу в собственных руках и не даю ей замереть, хотя не использую для этого иных средств, кроме знания и воли!

Слушателями овладело волнение. До сих пор остававшиеся равнодушными, они вскакивали с мест, повторяя друг другу издавна им известное имя странного человека, который сейчас выступал перед ними.

Кое-кто подошел поближе, другие недоверчиво качали головами и о чем-то спорили между собой. Только сэр Роберт совершенно успокоился после минутного изумления.

Он в молчании смотрел на Нианатилоку, и когда тот замолчал, неторопливо заговорил, выделяя каждое слово:

— Если ты вправду Серато и действительно сотворил чудо, то все равно должен понимать, что действовать внутри своего духа и знать — не одно и то же. Любое животное плодит жизнь, не обладая ясным сознанием собственного существования. Всякое знание является всегда и только исследованием.

— Но почему оно не может быть творчеством? — возразил Нианатилока. — Простите меня, мудрецы, за то, что я осмеливаюсь вам сказать, но сейчас вы забываете, что и для вас исследование есть лишь средство для достижения желаемой цели, а она для вас — наиболее полное осознание бытия. И собственно знание, и сама истина являются ничем иным, как осознанным бытием. А если вселенная со всеми формами жизни и всеми существующими в ней силами была сотворена самоопределяющимся духом, то почему бы этим же методом не создавать истины, да, самые основные, главнейшие истины? Почему не озарить тайну прямо внутри духа, тем паче что она умещается там целиком и без остатка? Ведь и вам знаком термин «интуиция», и вы знаете, что она стоит у самого начала и должна указывать путь любому исследованию. Так зачем же тогда умерщвлять ее при первом же движении, не давая ей пышно расцвести? Если воля разрушит внешние преграды и доведет дух до определенного совершенства, то есть до свободы, интуиция даст нам знание, не раздробленное на мелкие частности, но самое подлинное, ибо возникла она так же, как и бытие, и является его непосредственным сознательным эквивалентом.

Нианатилока вскинул руки над головами мудрецов. Никогда еще Яцек не видел своего друга таким, хотя неоднократно слушал его поучения. Глаза Нианатилоки сияли, как солнце, и вся его юношеская фигура излучала странный свет.

— Братья! — призывал он. — Примите меня как посланца ваших собственных душ, посланца, который приносит вам благую весть. Я пришел рассказать вам о том, что спит у вас в сознании, не умея выйти наружу иначе, нежели хрупкой, слабой верой в вечное царство божества, в бессмертие души, в непреходящее знание, во все, что придает жизни ценность!

Вдруг от дверей донесся смех. Яцек тотчас повернулся взглянуть, кто осмелился ворваться в обитель мудрецов и нарушить в ней торжественное спокойствие. Чуть приподнявшись с сиденья, он увидел лысый череп Грабеца. В

дверях, украшенных древним египетским символом крылатой змеи, его то ли не пропускали, то ли спрашивали, по какому праву он сюда врывается, но Грабец, не отвечая, отодвинул придверника и быстрым шагом направился к креслу председателя.

Брови лорда Тедуина сошлись, он с суровым видом смотрел на вошедшего.

— Сэр Роберт! — бесстрашно выдержав его взгляд, крикнул Грабец. — Сэр Роберт, ты некогда был властелином, потому брось слушать нелепые сказки восточного обольстителя! Право же, ныне не время вам отречься от чего бы то ни было и искать счастья вне мира, потому что счастье рядом...

— Кто это? — бросил лорд Тедуин.

— Я — сила! Я приношу вам не туманное царство Божие и не собираюсь распространяться про бессмертие души, а хочу дать вам ваше собственное царство и утверждаю бессмертие расы великих! И пусть лучше сойдут с моей дороги все, кто хочет противиться жизни.

Грабец вызывающе глянул на Нианатилоку, видимо, принимая его за отшельника-аскета с Востока, каких в последнее время много появилось в Европе. Похоже, он ждал, что этот отшельник отзовется хоть словом, чтобы унижить его в глазах мудрецов, но Нианатилока не выказывал никакого желания вдаваться в споры. Он лишь таинственно улыбнулся, сошел с трибуны и сел, как прежде, рядом с Яцеком.

Грабец же, не обращая внимания на ропот собравшихся, решительно взошел на подиум и обратился к мудрецам, сидящим на скамьях:

— Я вовсе не прошу вас дать мне слово и не прошу извинения за вторжение на трибуну без приглашения; некоторые из присутствующих знают меня, и им известно: то, чего я хочу, вполне меня оправдывает. Я пришел на собрание мудрецов, потому что мне недостаточно поговорить с тем или другим из вас, склонить на свою сторону того или другого: я хочу обратиться к вам ко всем и всех сделать своими единомышленниками!

— Почтеннейший, говорите по делу и покороче, — прервал его председатель, которому кто-то шепнул фамилию Грабца, — у нас время ограничено.

Грабец чуть поклонился старцу и принялся детально рассказывать план, с которым он пришел на собрание всеведущих братьев. Усилием воли он сдерживал себя, голос его звучал ровно, но чувствовалось: под этим нарочитым спокойствием кипит страшная тревога за судьбу дела, кото-

рому он посвятил жизнь. Остановливаясь на миг, чтобы глотнуть воздуха, он обводил стремительным взглядом зал, пытаясь определить, какое впечатление производят его слова, но по бесстрастным лицам слушателей ничего не удавалось прочесть.

— Итак, я вам все сказал, — закончил он. — Теперь вы знаете, чего я хочу. Дайте же мне ответ. От вас зависит, станете ли вы господами мира или погибнете в буре, которая вот-вот взорвется, но может стать лишь ветром перед разгоняющейся колесницей вашего могущества.

После этих слов в зале повисла тишина. Все взоры постепенно обратились к лорду Тедуину, который молча сидел, прикрыв глаза, с легкой улыбкой на старческом, сморщенном лице. Лишь порой у него нервно подергивались губы да невольно сжималась ладонь, лежащая на пюпитре. Казалось, он еще раз мысленно переживает историю своей жизни, вспоминает тернистый путь с вершин добровольно оставленной власти к подножию креста, сокрытого где-то в сердце, так глубоко, чтобы его не могло задеть даже острие мысли.

Тем временем самые нетерпеливые среди собравшихся, а особенно те, кто уже раньше имел контакты с Грабцом и счел его идею весьма привлекательной, стали требовать от президента — сперва робко, а затем смелей, — чтобы тот дал ответ.

Лорд Тедуин встал. Теперь он был бледен, с его пергаментных щек исчезло всякое подобие румянца; насупив брови, он посмотрел на собравшихся широко раскрытыми стальными глазами.

— Чего вы хотите?

— Действия! — закричал Грабец.

— Действия! Действия! — вторил ему хор голосов. — Только действие еще может спасти нас, вырвать из порочного круга нашего знания, избавить от бремени нашей мудрости!

— Существует только одно действие: в глубинах духа!

Но его уже не слушали. Грабца окружили кольцом, расспрашивали в подробностях о готовящейся борьбе, предлагали разные идеи. И лишь несколько самых старших мудрецов да несколько унылых скептиков держались в стороне от этой шумной толпы.

Яцек невольно глянул на Нианатилоку. Тот сидел спокойной, сложив руки на груди, напряженным взглядом уставясь вдаль.

— Выступи! Скажи им!

Нианатилока пожал плечами.

— Не время. Я и так выступал тут лишь из дружбы к тебе, а теперь здесь даже и голоса моего не услышат.

Действительно, шум усиливался. Слышались уже враждебные выкрики, обращенные к Тедуину, от него упрямо требовали, чтобы он высказал свое мнение.

Некоторое время сэр Роберт стоял, не шелохнувшись. И только когда шум голосов на мгновение затих, он невозмутимым взглядом обвел зал, словно пересчитывая тех, кто не принимал участия в поднявшемся замешательстве. Немного он их насчитал и горько усмехнулся.

— Чего вы хотите от меня? — повторил он вопрос.

Грабец повернулся к нему.

— Ты же слышал, лорд, что я говорил, и видишь: почти все отозвались на мой призыв.

— Я никогда не шел за большинством.

— Иди за собою, лорд! Когда-то ты был властелином, самым могущественным за многие века, так согласишься же стать им еще раз.

Лорд Тедуин надменно выпрямился.

— Я сошел оттуда, где стоял, по собственному желанию. Я оставил водовороты и мутные заводи общественной деятельности, потому что она слишком похожа на публичный дом, так неужто я стану вновь входить в эту реку?

— Мы как раз и хотим, — запальчиво бросил Грабец, — чтобы мир не был похож на публичный дом, хотим спасти мир от торжества заурядности.

Старец рассмеялся.

— Иллюзия! Я хотел сделать то же самое и спасти хотя бы самых лучших, создав полвека назад это братство. Хотел в ковчеге из кедрового дерева спасти людей мысли от всемирного потопа, но вижу, что вы сами рубите днище корабля...

— Мы вознесем его на вершину горы Арарат, откуда он будет повелевать миром!

— Вы пойдете на дно!

— Лорд, это твое последнее слово?

— Да.

Грабец обратился к разошедшимся по залу мудрецам:

— Кто из вас со мной?

Огромное большинство собралось вокруг него, около сэра Роберта осталось всего несколько человек.

Яцек хотел было выступить, но почувствовал, как сильная рука Нианатилоки удержала его.

— Слушай, смотри и — постигай!

С вызывающим, гордым выражением на лице Грабец взглянул на лорда Тедуина.

— Ну, видишь?

— Вижу, — ответил лорд Тедуин и, взяв обеими руками золотую книгу, в которой были записаны имена членов братства всеведущих, разорвал ее на глазах у присутствующих.

IX

— Пускай того я не победил, но этого-то точно обведу! — шептал Рода, крадясь, как кот, к замкнутым дверям, ведущим из кабинета Яцека в лабораторию.

В темноте при каждом воображаемом шорохе его охватывал страх, хотя он прекрасно знал, что сейчас ему ничего не грозит. Первый этап дерзкого плана удался великолепно. В ту минуту, когда Яцек вместе со своим страшным гостем, у которого такие жуткие черные глаза, отправлялся на ежегодный съезд мудрецов, Рода, воспользовавшись его невнимательностью и своим крошечным ростом, сумел спрятаться под кресло и остаться в кабинете. Он услышал звук закрывавшихся от нажатия кнопки металлических ставень, а затем, в наступившей после этого ночи, — запираемой двери.

Теперь он был один. И однако еще некоторое время он не вылезал из своего укрытия, опасаясь, как бы Яцек, выходя из дому, не обратил внимания на его отсутствие и не возвратился в кабинет, чтобы поискать его здесь. Рода сидел, скорчившись, в страшно неудобной позе, почти задыхаясь, и даже представить не мог, сколько прошло времени.

Наконец, когда по его расчетам Яцек в своем самолете успел бы уже перелететь через десяток границ — если бы в Европе еще были границы, — он тихо, осторожно вылез из-под кресла и принялся разминать затекшее тело. Вытянув руку, он нечаянно сбросил клочок бумаги, тот упал на пол, и Рода мгновенно сжался, как зверек, почуявший опасность, и долго сидел, замерев, прежде чем понял, что ничего ему тут угрожать не может. Двери кабинета звуков не пропускали, и до возвращения Яцека никто не мог их открыть. Так что у него были в запасе два, а то и все три дня.

«Самое трудное удалось, — думал он, — теперь остается последняя и самая простая часть. Нужно пройти в лабораторию, выкрасть страшный аппарат, а после этого терпеливо ждать возвращения Яцека и, когда откроется дверь, незаметно ускользнуть с добычей из кабинета».

Рода знал, где Яцек прячет ключи от лаборатории, и подсмотрел тайный шифр, без которого невозможно открыть

дверь. Он стал шарить руками вокруг себя. После долгого сидения под креслом, стоящим посередине комнаты, Рода совершенно утратил ориентацию. Передвигался он медленно и осторожно. Он не узнавал хорошо знакомые предметы мебелировки, на которые наткался, их форма казалась ему странной. В результате он уже не мог определить по ним, в какой части комнаты находится и в каком направлении нужно двигаться, чтобы найти желанную дверь; он совершенно растерялся, не зная куда ткнуться. У него было ощущение, будто в темноте его перенесли в чужой, незнакомый дом.

Помог ему письменный стол, о который он стукнулся головой. Рода обошел его и нашел кресло, в котором обычно сидел Яцек. В один миг в его памяти все стало на свои места. Теперь он мог нажать кнопку и зажечь свет, но не сделал этого то ли из чрезмерной осторожности, то ли (и это скорее всего) из глупой трусости, странной при столь дерзком поведении; ведь он же не мог не знать, что при закрытых дверях и ставнях на окнах ни один лучик света не просочится наружу.

Впрочем, теперь, когда он обнаружил ту самую печку, от которой можно плясать, свет был ему уже не нужен. Он столько раз обдумывал, как будет действовать в темноте, и старательно вбивал в память все подробности и детали, что сейчас мог обойтись и без освещения.

Через несколько минут он извлек из тайника, местоположение которого подсмотрел, ключи и занялся дверью, ведущей в лабораторию. Открыть ее оказалось на удивление легко. Замок беззвучно сработал; перед Родой был длинный узкий коридор, в конце которого сквозь застекленную дверь виден был слабый синий отблеск неугасающего электромагнитного света.

Этот неожиданный свет страшно обрадовал Роду. Он опасался, что и в лаборатории придется передвигаться в темноте и действовать на ощупь, а это грозило крахом всех его планов, так как то помещение он знал гораздо хуже, чем кабинет, в котором часто сидел, когда там работал Яцек. Стеклопанные двери оказались закрытыми, а ключа от них у него не было, и он в растерянности остановился перед этой неожиданной преградой.

Конечно, он мог бы разбить стекло и пробраться внутрь, но делать этого ему не хотелось: тем самым он оставил бы ненужный след и подверг себя лишней опасности. Чтобы его план полностью удался, никто не должен знать, что он побывал здесь.

Рода возвратился в кабинет и стал ошупью искать ключ, дрожа при мысли, что Яцек мог взять его с собой и тем самым на корню уничтожить его план, который по первости так удачно пошел. Но напрасно шарил он во всех известных ему тайниках: ключа не было — во всяком случае в доступных ему местах.

Усталый и голодный, он снова поплелся к проклятой стеклянной двери, уже почти утратив надежду, что ему удастся ее открыть. Машинально, думая совсем о другом, он разглядывал замок при слабом отблеске, доходящем из-за стекол. Он уже привык к темноте, и этого света ему было вполне достаточно. В голове у него стояли страшные картины, как неожиданно возвращается Яцек и обнаруживает его здесь, где ему никоим образом не полагалось бы находиться. И картины эти пугали его все больше и больше, так как он не представлял, сколько прошло времени с тех пор, как его тут заперли. Правда, для такой оказии у Роды было приготовлено объяснение, что, дескать, он случайно попался в эту ловушку: задремал в углу в кресле и, боясь умереть голодной смертью, поскольку не знает, когда возвратится Яцек, ищет, как выбраться отсюда, однако ему и самому эта отговорка казалась не слишком убедительной.

И тут Рода радостно вскрикнул. Случайно бросив взгляд в щель, между дверью и косяком в том месте, где находился замок, он не увидел язычка. Он взял нож и осторожно просунул острие в щель. Нож прошел без сопротивления. Выходит, дверь вообще не была заперта на ключ.

Рода изо всех сил потянул за ручку: дверь не поддавалась. Видимо, имелся какой-то секретный запор, который следовало отыскать. Рода взялся за работу. Чуткими пальцами он ощупывал каждый винт, нажимал на каждое украшение, вставлял острие ножа во все щели и отверстия, какие только мог нащупать, и все тщетно.

В отчаянии он уже собирался отступить, признать свое поражение, и вдруг обнаружил, что дверь закрыта на обычную поворотную задвижку, известную уже многие тысячи лет. Его охватила злоба, оттого что столько времени потрачено зря. Это же надо было не догадаться, что здесь, на другом конце коридора, после застрахованных от взлома дверей никто не будет ставить тайные хитроумные запоры на стеклянной двери, которая, по сути дела, не представляет никакой преграды.

Для низкорослого Роды задвижка была расположена слишком высоко, поэтому он приволок из кабинета стул, влез на него и открыл дверь.

И вот наконец он в лаборатории ученого, куда так стремился. Некоторое время Рода стоял в полном недоумении, разглядывая непонятные приборы и сосуды и не представляя, где искать тот страшный аппарат, за которым он сюда и пришел. Но вскоре он вспомнил, что Яцек как-то обмолвился, будто это небольшой складной ящик, с виду похожий на портативный фотографический аппарат. Рода стал разыскивать его, с величайшей осторожностью проходя между всевозможными устройствами, чтобы, не приведя Господь, не задеть и не повредить их или, что было бы самое ужасное, не вызвать случайно взрыв, наткнувшись на эту адскую машину.

В центре лаборатории стоял большой металлический цилиндр цвета потемневшей меди, от которого шли пучки изолированных проводов, исчезающие в пробитом в стене отверстии. Два золотистых провода, сделанные, видимо, из какого-то особого металла, подсоединяли этот замкнутый цилиндр к невзрачному ящичку на треноге; вероятней всего, это и была адская машина, которую искал Рода.

На лбу у него выступил холодный пот. Нужно было взять ящичек, а сделать это можно было, лишь отсоединив от проводов, связывающих его с цилиндром, но так, чтобы не вызвать взрыв, который не только убьет его, но и сотрет с лица земли весь город. На миг ему стало так страшно, что он готов был отказаться от добычи. Беспомощный и дрожащий, он смотрел на аппарат, как мышь на кусочек сыра, подвешенный в мышеловке. К счастью, он вспомнил, что Яцек как-то сказал Нианатилоке, что теперь, уезжая, всегда выключает аппарат.

Рода вытащил нож, поднес к проводам, однако не смог их перерезать — так у него тряслись руки. Он стоял, испуганный, неуверенный, и вдруг его взгляд упал на второй ящичек, лежавший рядом на столе, точь-в-точь похожий на первый. Рода бросился к нему в надежде, что это второй аппарат и он сможет без опаски взять его. Однако ящик был пуст. Вероятно, Яцек собирался сделать еще одну адскую машину, может, для того чтобы взять ее с собой на Луну, и заказал футляр, но еще не успел заполнить.

И тогда Рода решился. Вернувшись к аппарату, стоящему на треноге в центре комнаты, он зажмурил глаза и перерезал провода. Послышался слабый шорох. У Роды сердце ушло в пятки, но оказалось, что это просто освободившиеся от натяжения провода моментально свернулись спиралью.

Несколько минут спустя Рода возвращался с добычей в

кабинет. Вместо похищенного аппарата он поставил на треногу пустой футляр, а отрезанные провода подсоединил к нему так, чтобы вошедший, даже и сам Яцек, с первого взгляда не увидел, что здесь что-то не так. Рода старательно запер дверь. В темноте, ни на секунду не расставаясь с добычей, которую он привязал платком на груди, он нашел тайник и положил в него ключи, после чего ощупью добрался до входной двери; он решил дожидаться тут возвращения Яцека.

Укрывшись в складках портьеры, он прислонился головой к мраморному обрамлению дверного проема и затаился, как кот, готовый выскользнуть, чуть только откроется дверь. Его смаривала сонливость, усиленная усталостью и пережитым волнением. Напрасно он старался преодолеть ее, мысленно повторяя, что заснуть сейчас — это верный способ попасться в руки Яцеку, который, неожиданно вернувшись, вне всяких сомнений обнаружит его. В голове у него возникали какие-то видения, блаженная тяжесть растекалась по всему телу. Сознание медленно расплывалось; ему чудилось, что он на Луне, ждет во время длинной ночи прихода участвующих вместе с ним в заговоре друзей и учеников.

Сейчас...

Он никак не мог понять, почему сквозь складки материи просачивается свет. Пытался припомнить, где он и что происходит, определить, где сон, а где реальность, но вдруг нечаянно прикоснулся к привязанному на груди аппарату, и мгновенно все встало на свои места. Значит, он все-таки уснул. Рода хотел вскочить. Но вдруг чудовищный страх парализовал его тело. Если в кабинете свет, значит, Яцек возвратился.

Тут же он услышал его голос:

— Нельзя терять времени. Этих людей охватило подлинное безумие...

После этого вновь настала тишина.

Рода не мог понять, то ли Яцек разговаривает сам с собой, то ли в комнате еще кто-то есть, но выглянуть из-за портьеры боялся, чтобы не выдать себя. Он слышал шаги, приглушенные мягким ковром, глухой звук передвинутого стула; видимо, Яцек расхаживает по кабинету, взволнованный каким-то известием или происшествием.

Потом опять стало тихо. Очевидно, Яцек перестал кружить по комнате. Донеслось несколько невнятно произнесенных слов.

Рода затаил дыхание. Прижимая одной рукой к груди

похищенный аппарат, второй он сделал чуть пошире щель между дверным косяком и портьерой, чтобы лучше слышать, что говорится в кабинете.

— Что ты можешь сделать? Я вновь предлагаю тебе: брось все, уйди вместе со мной и вскоре сам поймешь: не стоило все это ни беспокоить, ни хлопот.

В один миг все тело Роды покрылось холодным потом. Он узнал голос Нианатилоки, которого инстинктивно боялся до дрожи, боялся сильнее, чем Яцека и вообще кого бы то ни было на свете. Ему почудилось, что страшные глаза отшельника видят сквозь ничтожную завесу, за которой он спрятался; ему захотелось закричать, бежать, но, к счастью, внезапно ослабевшие мышцы отказались ему повиноваться. Он слышал, как громко стучит его сердце, и испугался, как бы этот звук не выдал его.

— Нет, сейчас я не могу пойти с тобой, — словно бы с неуверенностью произнес Яцек. — Я должен оставаться здесь.

— Зачем?

— Все-таки это мой долг. По этой причине я даже откладываю полет, хотя, возможно, я очень нужен моему другу.

Дальнейшего разговора Рода не слышал. Оба, видимо, отделились от его укрытия и беседовали шепотом, как это частенько делают люди, которые должны обсудить слишком важные вещи, чтобы говорить о них громко, даже если они и уверены, что никто их не подслушивает.

До Роды долетали только обрывки фраз, отдельные слова, когда говорящий нечаянно чуть повышал голос. Чаще всего среди них повторялось имя Грабца, несколько раз были упомянуты Аза и Марк. Потом ему показалось, что разговор пошел о Луне, а также о нем и о Матарете.

«Увидишь ты Луну!» — несмотря на внутреннюю тревогу, злорадно подумал Рода.

По стуку отодвинутого кресла он понял, что Яцек опять встал.

— А не лучше ли было бы покончить со всем разом и радикально? — громко обратился он к Нианатилоке.

Помолчав, Яцек засмеялся, и от этого ужасного смеха кровь застыла в жилах у Роды.

— Ты ведь знаешь, — продолжал Яцек, уже не пытаясь сдерживать голос, — что мне достаточно пройти за эту железную дверь и свести вместе две маленькие стрелки.

— Да. И что?

— Ха-ха! Забавная призоидет штука, даже вообразить трудно. Нет, не зря правительство доверило мне должность директора телеграфов всей Европы. Я распорядился подвести

все провода телеграфной сети в мою лабораторию. Якобы с целью опытов... Хорошенькие опыты! Творить мы еще не научились, но уж уничтожать-то умеем. Так вот, достаточно в главный провод пустить искру из моего аппарата...

— И что? — невозмутимо повторил Нианатилока.

— Молниезвержение. Гром, какой от сотворения мира не раздавался еще по воле живого существа. Вся Европа, буквально вся Европа, опутанная сетью телеграфных проводов, все ее города, равнины, горы, в один миг превратится в чудовишный взрывчатый заряд, каждый атом разделится на элементарные первичные частицы, уподобится динамитной шашке, даже вода и воздух...

— И что?

— Неужели ты не понимаешь, что такой ужасающий взрыв сорвет Землю с ее орбиты, если только не разнесет на куски? Луна, словно дикий конь, отпущенный с привязи в манеже, понесется в пространстве, и кто знает, с каким столкнется небесным телом. Нарушится равновесие всей солнечной системы...

— И что?

— Всеобщая смерть.

Помертвевшему от ужаса Роде послышалось, будто Нианатилока рассмеялся.

— Смерти нет. Ведь ты сам отлично знаешь, что нет смерти для того, что действительно существует. Ты развеял бы только жалкий мираж, причем неведомо зачем, поскольку такое множество духов с безмерным трудом выделило его из себя, сделав своей реальностью. Что тебе до других, коль ты сам одним движением воли можешь уничтожить для себя этот призрак. Но ты еще не созрел до этого. Ты хочешь совершить ненужный, детский поступок. Вот так ребенок гасит свет, чтобы не видеть пугающую его картину, а потом в темноте боится еще сильнее.

Разговор снова перешел на шепот. Через некоторое время до Роды долетел вздох и затем слова Яцека, произнесенные приглушенным, но все-таки явственным голосом:

— Да, тут мне действительно нечего делать, и все равно я не могу идти за тобой, пока знаю, что буду тосковать по тому, чем никогда не обладал и никогда обладать не буду. Ты прошел по жизни, как пламенная буря, и тебе не о чем сожалеть, когда ты решился замкнуться в себе и начал творить свой мир. У меня же порой возникает ощущение, что я все еще беспомощный младенец, которому хочется видеть сказочные, сладостные сны.

Дальше Яцек опять заговорил шепотом, так что слышать его мог только Нианатилока. Но Роде весь этот непонятный

разговор был совершенно безразличен, и прислушивался он только потому, что надеялся услышать, когда откроют дверь и он сможет выбраться из ловушки. Он стоял в очень неудобной позе и к тому же опасался, что Яцек или Нианатилока по складкам портьеры догадаются, что он прячется за нею. А в довершение, после всего, что он услышал, на него нагоняла чудовищный страх адская машина, привязанная к груди. Правда, неясное предчувствие подсказывало ему, что ее, чтобы она действовала, нужно подсоединить к какому-то источнику энергии, вроде того цилиндра в лаборатории, но все равно это не успокаивало его нервного страха. Бывали моменты, когда он чувствовал, что близок к обмороку, и его била такая дрожь, что Яцек и вправду мог бы обнаружить его по колебаниям портьеры, если бы глянул в ту сторону.

Но Яцек сидел за столом, спрятав лицо в ладони, и даже не думал смотреть на дверь. Перед ним стоял Нианатилока, как всегда спокойный, и только вместо обычной улыбки на лице его лежала тень горестной задумчивости.

— Рушится мир, — говорил он, — а у тебя не хватает отваги встать и уйти со мной, не оглядываясь на то, что необходимо, неуклонно и... нейтрально, хотя выглядит так ужасно. Жаль мне тебя. И я полон печали впервые за долгие, долгие годы, я так печален, словно ты умираешь. И я еще печальней оттого, что знаю, в чем источник твоих колебаний. Ты сам себя обманываешь, выискиваешь разные причины, чтобы не признаться: тебе страшно даже подумать, что, уйдя отсюда, ты не сможешь смотреть в глаза этой женщине. Но ты представь, что, удалившись от нее и обретя самого себя, тебе вовсе не захочется этого.

Яцек поднял голову.

— А ты не думаешь, что, быть может, я и боюсь, что если уйду с тобой, то даже не захочу смотреть в ее глаза? А вдруг это желание, ставшее для меня мучением, а возможно, и проклятием, в то же время единственное мое счастье?

Он умолк, задумался, но вдруг резко вскочил и замахал руками около головы, словно отгоняя рой налетевших ос.

— Мне нужно спастись, — воскликнул он, — и у меня есть спасение, есть!

Познавший три мира вопросительно посмотрел на него.

— Друг нуждается во мне, — пояснил Яцек. — Я и так слишком долго оттягивал. Я лечу на Луну. Это мой долг. В ближайшие дни будет закончен корабль.

С несколько принужденной улыбкой Яцек взглянул на Нианатилоку.

— Если вернусь живой, что бы тут ни происходило, я пойду с тобой!

Нианатилока кивнул и, глядя в глаза Яцеку, указал рукой на запертую дверь лаборатории. Яцек стоял в нерешительности.

— Перед отлетом я уничтожу эту смертоносную машину, — наконец промолвил он. — Не хочу, чтобы она попала в чьи-то руки, быть может, даже безумца.

И тут же он с нервной поспешностью позвонил лакею и уже совсем другим тоном объяснил Нианатилоке:

— Хочу отдать распоряжение, чтобы приготовили мой самолет. Мне нужно посмотреть, как дела с лунным кораблем. А ты побудь пока у меня. Дня через два я вернусь, и мы попрощаемся.

Как только вошедший лакей отворил дверь, Рода в сгущающихся вечерних сумерках незаметно, как кот, выскользнул из кабинета и, не оглядываясь, бросился вниз по лестнице.

Х

После внезапного отъезда Яцека Аза думала об одном: как можно скорей выполнить задание, добыть смертоносный аппарат. Разумеется, она и догадываться не могла, что исчезновение Роды как-то связано с аппаратом и что карлик опередил ее и похитил желанную добычу.

А со всех сторон доносились глухие отголоски обещанного Грабцом «землетрясения». Неожиданно вспыхивали забастовки, правда, кратковременные, но превосходно организованные; кончались они, казалось, так же беспричинно, как и начинались.

«Грабец ведет учения своих войск и определяет свои силы», — думала Аза, читая газеты.

Да, все так и было. А значит, ей категорически нельзя терять времени, если она хочет играть какую-то роль в новом движении, а не быть сметенной той разъяренной поднимающейся волной, что словно вспененное бездонное море нетерпеливо била в берег.

Вопреки всем надеждам и предположениям добиться от Яцека ничего не удавалось. Обычно отзывчивый на всякое ее слово, улыбку, даже движение, покоряющийся, как мальчишка, ее воле, да что воле — капризу, он, стоило ей упомянуть о деле, которое более всего ее сейчас волновало, сразу же замыкался и становился недоступен.

Значит, надо искать другие пути. И невольно взор Азы обращался к Серато. Правда, когда она начинала серьезно

раздумывать, этот непостижимый мудрец, чудотворец казался ей еще недоступней, чем Яцек, находившийся к тому же под его влиянием, но это было последнее средство, и им нельзя было пренебрегать.

Странное чувство испытывала к нему Аза. Временами у нее возникало некое чувственное желание покорить этого человека, который первый, сам того не ведая, пробудил в ней женщину; желание, усиленное к тому же коварной жадой принудить его отринуть святость. Она была готова отдаться ему, если бы это только удалось, и не без удовольствия воображала, как в миг наивысшего любовного экстаза его воля, которой он удерживает свою молодость, ослабнет, и она отбросит его, превратившегося в дряхлого старика, отбросит, словно ветхую тряпку.

«Это будет победа! — думала она с хищной улыбкой. — Победа, стократ большая, чем та, которую Грабец собирает-ся одержать над миром».

Мечтая об этом, она почти забывала, что победа над Нианатилокой должна стать лишь средством для достижения главной цели, получения никчемного и, в сущности, ничуть ее саму не интересующего смертоносного аппарата, и заранее наслаждалась чудесной возможностью испробовать свои силы, вступить в борьбу, победить... В сравнении с Нианатилокой и Грабец, и даже сам Яцек казались ей никчемной добычей, не стоящей трудов.

Но к Нианатилоке даже подступить было трудно. Мудрец разговаривал с ней, когда она к нему обращалась, но с таким равнодушием, словно она не то что женщиной, даже человеком не была, короче, как с каким-то говорящим механизмом. Взгляд его безучастно скользил по ней, и было заметно, что он лишь из уважения к Яцеку, чьей гостьей она была, принуждает себя слушать ее, отвечать и вообще замечать и воспринимать. Когда Аза однажды напомнила про то, двадцатилетней давности происшествие в цирке, Нианатилока бросил: «Да, помню», — но с такой безучастностью и отстраненностью, что она даже вздрогнула от обиды и унижения. Она-то хотела проверить, не будет ли он избегать в разговорах упоминаний об этом случае, что для нее стало бы доказательством его равнодушия к ней, но он, никак не проявляя инициативы в разговорах на эту тему, беседовал о нем, когда того хотела Аза, с тем же холодным и вежливым равнодушием, с каким отвечал на ее хитрые вопросы о его прошлой жизни, отношениях с женщинами, любовных увлечениях и романах.

Однако такое его поведение, вместо того чтобы убедить в бессмысленности этих попыток, только еще сильнее рас-

паляло Азу, и вскоре она уже не могла думать ни о чем другом, кроме как о путях и средствах оболыбления мудреца, которому, казалось, были чужды все людские страсти.

А Яцек все не возвращался. Вместе с пространным письмом Нианатилоке пришла небольшая записка Азе, в которой Яцек извинялся, что бросил ее одну в доме, и оправдывался заботами, какие ему причиняет периодически бастующий завод, и необходимостью лично проследить за работами.

Аза задумалась, прочитав эту наспех написанную записку. Как же она не похожа на те письма, какие совсем еще недавно писал ей Яцек, даже когда, чем-то обиженный, старался быть холодным и равнодушным, пытаясь освободиться из-под ее власти. Она понимала, что это влияние Нианатилоки, пусть не прямое, но во всяком случае косвенное, и ее охватила еще большая злоба к этому человеку, явившемуся сюда, видимо, только для того, чтобы перечеркнуть все ее планы.

«Если бы не он, — рассуждала она, — не этот скрипач, превратившийся в индийского факира, все было бы просто и легко». У Яцека не хватило бы сил противиться ее очарованию.

Да, она сделала бы с ним, что хотела — раньше или позже. Вне всяких сомнений, он выдал бы ей тайну своего изобретения и даже, кто знает, мог бы согласиться воспользоваться страшной этой машиной, вместо того чтобы отдавать ее кому-то, и вместе с нею властвовать над миром. Вот тогда бы она стала подлинной королевой, и ей не пришлось бы оглядываться ни на Грабеца, ни на кого другого.

Но Нианатилока все испортил.

«Я отомщу! — мысленно клялась она. — Ты сам, старый колдун, отдашь мне его силу, предашь друга, как Иуда, а когда я захочу, умрешь, сдохнешь на моих глазах, как подыхали гордецы почище тебя».

Но случались минуты, когда она не слишком-то верила в успех этих своих замыслов. И тогда ей приходила мысль, а не лучше было бы махнуть на все рукой и податься куда-нибудь отсюда.

Вот, кстати, Яцек летит на Луну. Если она захочет, он, конечно, возьмет ее с собой к Марку, который — тут уж не может быть никаких сомнений — является королем и самодержцем всей серебряной планеты.

Аза прикрыла глаза, и ей, словно во сне, предстала такая знакомая улыбка этого сильного, настоящего мужчины, который с радостью встретит ее на Луне; да, он обрадуется, что видит ее, хотя и не надеялся на это, будет благодарен,

что она о нем помнила и рискнула, ради того чтобы соединиться с ним, отправиться в опасное, безрассудное путешествие.

Аза почти тосковала по Марку. Даже не по его улыбке, взгляду, прикосновениям рук, а скорей, по его спокойной мужской силе, ни в чем не схожей с холодной, высокомерной, замкнувшейся в себе безучастностью Познавшего три мира; по силе, которая обуздывала ее, как взгляд укротителя обуздывает дикую пантеру, и наполняла сладкой умиротворенностью.

Подобные «минуты слабости», как она сама их называла, длились недолго, но случались довольно часто, так что ей приходилось бороться с ними, противопоставляя весь холод рассудка этим фантастическим, неведь откуда возникающим порывам.

Однажды в таком настроении Аза написала Яцеку — отвечая на записку, в которой он предупреждал, что еще некоторое время пробудет в отлучке. Нет, она не сообщала ему напрямую о своих мимолетных планах и не требовала, чтобы он взял ее с собой, но тем не менее в письме звучала какая-то грустная нота и глубокая, дружественная сердечность, так редко у нее проявляющаяся.

Письмо это застало ученого на большом механическом заводе, где ему строили корабль для полета на Луну. Яцек был раздражен непредвиденно медленным ходом работ и постоянными помехами, тем паче что знал их причину и весьма опасался, как бы развитие событий не поставило крест на его планах. Поначалу решение его лететь на Луну было чисто инстинктивным и продиктовано желанием помочь попавшему в ловушку приятелю, но сейчас оно стало чем-то вроде спасительной соломинки или щита, которым он защищался — по крайней мере, пытался защититься — от ширящегося вокруг и в нем самом смятении.

Это был простейший способ выйти из душевного разлада. Улететь и ничего не знать, избавиться от необходимости выбора позиции в начинающейся буре — с Грабцом или против него, — уклониться от выбора между Нианатилокой и Азой и при этом иметь оправдание перед собой: дескать, он совершает благородный поступок, рискует ради друга жизнью. Яцек прекрасно отдавал себе отчет, что его нынешнее поведение продиктовано, скорей, слабостью и нерешительностью, но при том понимал: это — единственное, на что он может решиться без угрызений и сомнений, не должен ли он был поступить иначе.

У него было только одно-единственное опасение, что события пойдут гораздо быстрее, чем он предполагает, начнется

матеж, корабль не будет закончен, и он не сможет отправиться в межпланетный полет. Потому он подгонял и дирекцию завода, и рабочих, занятых на строительстве корабля, но с отчаянием видел, что работы еле-еле продвигаются.

Письмо Азы вселило в него новые сомнения. Из него он почувствовал, вычитал между строчек, что Аза была бы не прочь вместе с ним покинуть Землю, и в первый миг в нем дрогнула какая-то светлая радость.

Да. Да! Улететь вместе с нею от этой жизни, от удушающих условий, от этого гнетущего общества и от надвигающихся битв, вырвать ее у прошлого, которое останется здесь, внизу — на Земле, — словно его и не было, и начать новую жизнь...

Яцек горько усмехнулся.

— Да, и передать ее в объятия Марка!

Впервые он ощутил что-то вроде вспышки ненависти к другу детства. И в тот же миг у него забрезжило, что он оказался в крайне смешном положении. «Это же очевидно, — осенило его. — Аза приехала к нему и сейчас подсовывает мысль о совместном полете на Луну только для того, чтобы соединиться с Марком! Просто-напросто использует его как орудие для достижения своих целей. Впрямую об этом не говорит, но ждет, чтобы он сам предложил, а потом еще, вероятней всего, будет отказываться и заставит умолять как о милости сделать то, чего сама, похоже, жаждет всей душой».

Ему даже пришла мысль распорядиться прекратить работы.

— Останусь, — бормотал он. — В конце концов какое мне дело до судьбы сумасброда, который когда-то был моим другом! Как все мерзко, отвратительно, подло! Даже мудрейшие не способны сохранять спокойствие и тянут алчные руки за призрачной властью, даже достойнейшие не могут удовлетвориться величиим собственного духа... Хватит с меня всего этого. Нет, вправду хватит! Нужно вернуться домой, положить руку на рычажок выключателя моей машины и уничтожить весь этот мир, который ничего другого и не заслуживает.

Яцек вдруг встревожился, вспомнив, что после возвращения с последнего собрания мудрецов даже не зашел к себе в лабораторию и не взглянул на смертоносный аппарат.

Но тут же пожал плечами.

«Глупости! Кто может без меня проникнуть в лабораторию? Разве что Нианатилока. Но он был вместе со мной на собрании, хотя кто знает, не способен ли он быть одновременно в двух местах?»

Вспомнив мудреца, Яцек вновь погрузился в глубокую

задумчивость. Его соблазняла мысль отправиться вместе с Познавшим три мира в цейлонские джунгли или в недоступные Гималаи и искать там знание, которое в корне отличается от того, какое можно найти в Европе и у народов с европейским складом мышления, но в то же время боялся, что пока еще не обретет спокойствия, необходимого для постижения этого нового знания.

Но в любом случае эти мысли помогли ему стряхнуть с себя чары, навеванные письмом Азы, и избавиться от тревоги, какую оно принесло.

Яцек решил ответить вежливо, но холодно, так, словно он ничего не понял и не заметил высказанного между строк желания сопутствовать ему в путешествии на Луну.

А лететь надо, и обязательно! Только бы поскорее закончили корабль!

Торопливо написав в гостинице письмо, Яцек велел подать автомобиль и вновь помчался на завод, откуда уехал около часу назад, чтобы ответить Азе.

По пути его встревожил встречный поток людей, которые, как ему показалось, были рабочими завода и сейчас должны были бы находиться на своих рабочих местах.

«Опять, видно, забастовка, — подумал он. — Какой-то злой рок висит над моим кораблем и полетом на Луну!»

Он велел водителю прибавить скорость, тая надежду, что его влияние сможет удержать рабочих от нового прекращения работы, которая имела для него сейчас такое огромное значение.

У дверей завода Яцек встретил директора. Тот стоял, сунув руки в карманы, и насвистывал сквозь зубы.

— Что слышно? — бросил Яцек, выскакивая из автомобиля.

Директор пожал плечами, даже не поклонившись ему, хотя обычно относился к Яцеку с предупредительной почтительностью.

— Что рабочие? — спросил Яцек.

— Ушли, — безмятежно сообщил директор.

— Опять забастовка?

— Да.

— И когда кончится?

— А она не кончится.

— Как это понять?

— Так и понимайте. Ушли и нет их. Сказали, что не вернутся. Мне это все осточертело. Да пропади она пропадом такая работа!

Промолвив это, директор повернулся спиной и неторопливо пошел, оставив Яцека в полнейшем недоумении.

Только сейчас Яцек заметил, что неподалеку от него стоит кучка людей; они с интересом поглядывали на него и перешептывались между собой. Некоторых из них он знал. Тут были заводские рабочие, старшие мастера, но некоторых он никогда не видел в здешних местах. Сперва ему пришла охота спросить, чем они тут занимаются и почему так на него смотрят, но потом он подумал, а какое ему, в сущности, до этого дело!

Расстроенный, беспомощный Яцек спускался по ступеням, направляясь к ожидающему его автомобилю.

На последней ступеньке ему преградил дорогу один из рабочих.

— Погодите-ка!

Яцек с изумлением взглянул на него.

— Что нужно, дружище?

Рабочий не ответил. Загородив Яцеку одной рукой путь, другой он делал за спиной какие-то знаки. Яцек невольно бросил взгляд в ту сторону. Из-за угла вышел огромного роста человек с лохматой, нечесанной головой и угрюмым, ожесточенным лицом.

— Вы — доктор Яцек? — спросил он, подойдя почти вплотную.

— Да. Но я не знаю, кто вы.

— Это значения не имеет. Зовите меня Юзва.

— А! Грабец как-то упоминал вас.

— Возможно. Мне он тоже говорил о вас. У вас есть машина, которой можно уничтожить города и целые страны...

— И кому до нее какое дело?

— Мне. Мне нужна эта машина.

— Но вы ее не получите.

— Получу!

Юзва кивнул рабочим, и те в один миг окружили их плотным кольцом.

— Я могу приказать убить вас на месте!

— Можете. И что из того?

— А вот мы задержим вас тут, а тем временем перетряхнем всю вашу лабораторию в Варшаве.

Несмотря на опасную ситуацию, Яцек непроизвольно улыбнулся. Он презрительно смотрел на Юзву из-под полуопущенных век. Ему хотелось спросить этого хмурого человека, сумеют ли они, взломав двери его лаборатории и завладев смертоносной машиной, добраться и до его мозга и извлечь оттуда секрет, как пользоваться этим устройством, без чего оно останется всего лишь никчемной, ни на что не пригодной коробкой.

Но в этот миг к Юзве подбежал мальчишка и подал ему листок, на котором было написано несколько строчек. Юзва прочел, усмехнулся и знаком велел рабочим отойти от Яцека.

— Все, вы нам больше не нужны, — бросил он. — Мой друг Грабец сообщил мне, что...

Юзва оборвал фразу и с вежливым, слегка ироничным поклоном указал Яцеку на ожидающий автомобиль.

— Можете возвращаться домой. И советую вам получше караулить свои сокровища.

Яцек пожал плечами, сел в автомобиль и приказал ехать в гостиницу.

Никаких дел у него здесь больше не было. Завод, вероятней всего, остановился надолго; придется отказаться от мысли о скором завершении корабля и пока забыть о полете на Луну.

В гостинице Яцек приказал приготовить на вечер самолет, он хотел поскорей вернуться в Варшаву.

А тем временем Аза у него в доме доводила свою игру до конца.

Вечер был парной, душный. В воздухе чувствовалось приближение грозы. Ее близость ощущалась и на улицах огромного города. Правда, едва спустились сумерки, как обычно загорелись фонари, но через некоторое время целые кварталы стали погружаться в темноту, словно некая злокозненная рука обрывала провода и ломала электрические машины. Но движение на улицах не прекращалось ни на минуту, вот только вместо привычных прохожих, сейчас почему-то прячущихся по домам, появились толпы неведомых людей; в центре они объявились впервые, и никто, пожалуй, не смог бы сказать, откуда они вылезли и где укрывались до сих пор.

Безмятежный, холемый и до сей поры спокойный обыватель с изумлением смотрел на одетых в холщовые блузы людей с угрюмыми, озлобленными лицами; людей, о существовании которых он, если и знал, то лишь по слухам и воспринимал чуть ли не как сказку, что они действительно существуют и являются такими же человеческими существами, как он сам.

На улицах стоял какой-то странный гул, хотя внешне все еще выглядело спокойно. Аза слушала этот гул с крыши дома Яцека, куда поднялась, спасаясь от духоты в комнатах, которую не могли разогнать даже работающие во всю мочь вентиляторы. Она сидела в шезлонге на плоской террасе и смотрела на хаос внизу, пока еще освещенный фонарями, горящими на ближних улицах. А дальше уже была непро-

ницаемая тьма, и чувствовалось: там течет толпа, готовая в любой миг осветить темноту поджогами и взрывами богатых зданий. Певица понимала, что все это означает. Некоторое время она сидела, не шелохнувшись, со странным наслаждением впитывая всеми порами электрическое напряжение бунта и борьбы, уже разлитое в воздухе. Ноздри ее хищно раздувались, губы застыли в сладострастной полуулыбке. На миг ей почудился возбуждающий запах хищного зверя, бросающегося из зарослей на жертву.

Вдруг, опомнившись, она вскочила на ноги. Ей же нужно действовать! Нельзя больше медлить! Если завтра начнется мятеж и она не явится перед восставшими, как огненный ангел, со страшным аппаратом, несущим гибель и уничтожение...

Аза быстро сбежала по лестнице этажом ниже и пошла напрямик в кабинет Яцека. Она знала, что Нианатилока там.

Мудрец сидел в кресле, склонив голову на грудь, и можно было подумать, что он спит, если бы не широко раскрытые глаза, которыми он уставился куда-то в пространство перед собой. Он был почти нагой, в одной лишь шерстяной набедренной повязке. Длинные черные волосы прядями спадали ему на плечи.

Аза замерла в дверях. Ее неожиданно охватила робость, но в следующее мгновение она ощутила безумное желание вырвать этого человека из неподвижности и всегдашней уравновешенности, сорвать незримый покров святости, вызвать дрожь страсти... В этот миг она почти забыла, что не в этом ее цель, что ей нужно покорить и попать этого человека лишь для того, чтобы открыть проход к двери за его спиной.

— Серато!

Услышав свое имя, он не шелохнулся, не поднял глаз, даже не вздрогнул.

— Да, — промолвил он обычным ровным голосом.

Все планы победы над ним, которые Аза долго и хитроумно выстраивала в мыслях, во мгновение ока спутались и рухнули.

Подчиняясь инстинкту, она бросилась к нему и припала губами к его нагой груди; ее ладони блуждали по его лицу, касались рассыпавшихся волос, гладили плечи. Прерывающимся от страстных поцелуев голосом она шептала нежные слова, говорила о несказанных наслаждениях, каких он не познал за всю свою жизнь, просила, умоляла его прижать ее к себе, потому что она умирает от любви...

В эти минуты Аза и сама не понимала, действительно

ли она думает и чувствует то, что говорит, или играет чудовищную комедию, захватившую и подчинившую ее самое. Она чувствовала, что теряет всякое соображение, и последним проблеском сознания оставалась мысль, что сейчас она все бросила на единственную карту.

Нианатилока даже не дрогнула. Он не отталкивал ее, не пытался уклониться от поцелуев, даже не закрыл глаз. Можно было бы подумать, что это не человек, а восковая кукла, если бы не легкая презрительная улыбка, скользнувшая по его губам.

Внезапно ощутив укол страха. Аза отшатнулась от него.

— Серато... Серато... — с трудом выдавила она прерывающимся голосом.

На его смуглом лице не было и тени румянца, кровь не побежала быстрее по жилам.

— Что вам угодно от меня?

— Как! Ты еще спрашиваешь? Я хочу тебя! Хочу тебя! Разве ты не чувствовал моих поцелуев?

Он чуть пожал плечами.

— Чувствовал.

— И...

Он бесстрастно и спокойно посмотрел ей в глаза.

— И удивляюсь, что людям это доставляет удовольствие.

— Как!

— А равно удивляюсь, что когда-то и мне это доставляло удовольствие.

Взгляд Азы нечаянно упал на острый бронзовый нож для разрезания бумаг, лежащий на столе. Прежде чем отдать себе отчет в том, что делает, она схватила этот нож и со всего размаху всадила его Нианатилоке в левую сторону груди.

На лицо и на платье ей брызнул фонтан крови. Она еще успела увидеть, как отшельник вскочил, судорожно напрягся и откинулся назад.

С криком ужаса Аза кинулась к двери.

В передней Аза наткнулась на Яцека, который только что опустился в самолете на крышу дома и спешил к себе в лабораторию. Увидев залитую кровью Азу, Яцек испуганно остановился как вкопанный.

— Аза! Что с тобой? Ты ранена?

Яцек хотел поддержать ее, но она оттолкнула его руку.

— Нет, нет... — бормотала она, словно во сне, скользя по нему невидящим взглядом. Но когда Яцек направился к двери кабинета, откуда она выбежала, Аза закричала:

— Не ходи туда!

— Что такое?

— Я... я...

— Да что?

— Убила... Нианатилоку.

С криком ужаса Яцек рванулся к двери, но в тот же миг она распахнулась, и на пороге появился Нианатилока. Он был бледен, как труп, в побелевших губах, казалось, не осталось ни кровинки, а все его тело и набедренная повязка были обильно залиты свежей, чуть засохшей кровью. На груди под левым соском был явственно виден только что затянувшийся шрам.

При виде Нианатилоки Аза пошатнулась и припала спиной к стене. Вопль замер у нее в горле.

Яцек попятился.

— Ничего страшного. Все уже прошло. Я был близок к смерти.

— Ты весь в крови, на груди у тебя шрам!

— Еще минуточку назад здесь была рана. Да, я мог умереть: нож прошел сквозь сердце. Но в последний миг, когда сознание уже покидало меня, я вспомнил, что я еще нужен тебе. Усилием гаснущей воли я поймал последнюю тлеющую искорку сознания и стал бороться со смертью. За всю свою жизнь я не вел тяжелее борьбы. Но как видишь, в конце концов я победил.

— Ты едва стоишь на ногах!

— Ничего страшного, — улыбнулся бледной улыбкой Нианатилока. — Это дает себя знать слабость, но сейчас она пройдет. Я знал, что ты вернешься этой ночью, и ждал тебя. Скорее идем отсюда.

Яцек вдруг вспомнил и направился к двери.

— А моя машина?

Мудрец жестом остановил его.

— Ее уже нету здесь. Машину похитили. Я вовремя не почувствовал этого. Но так, может быть, и лучше. Без тебя никто не сумеет ею воспользоваться?

— Никто.

— Прекрасно. Давай навсегда уйдем отсюда.

Только теперь Аза пришла в себя. В мозгу у нее словно вспыхнул яркий свет. Она бросилась к Нианатилоке и упала к его ногам.

— Прости меня! Прости!

Познавший три мира улыбнулся.

— Янисколько не сержусь на тебя.

Он хотел пройти, но она обеими руками обхватила его ноги. Ее золотые драгоценные волосы рассыпались от резкого движения по паркету у ног Нианатилоки, губами она припала к его стопам.

— Ты — святой! Ты воистину святой! — восклицала

она. — Сжался надо мною, божий человек! Возьми меня с собой! Я буду верна тебе, как собака, буду тебе служить, буду делать все, что прикажешь! Очисти меня, надели святостью!

Нианатилока равнодушно пожал плечами.

— Женщины не могут обрести благодати знания.

— Но почему? Почему?

Но он не ответил на ее вопрос, похожий на стон. За окнами прогремели выстрелы, забурило, взвыла толпа. В стекла ударило кровавое зарево. Нианатилока обнял Яцека за плечи.

— Идем!

Яцек не противился. За спиной, словно во сне, он слышал крики Азы, ползущей за ними по полу, слышал, как она закликает чудотворца не отталкивать ее, угрожая, что если он пренебрежет ею, то она погрузится на дно порока, преступления, подлости.

Яцек взглянул на мудреца; ему почудилось, что губы Нианатилоки чуть шевелятся, словно тот шептал:

— А мне что за дело до этого? Ведь у женщин нету души...

ЭПИЛОГ

После восьми дней смертельного страха и неизвестности Матарет наконец решился вылезти из укрытия. Оглушительный грохот, что день и ночь стучался в крепко запертые тяжелые двери сводчатого подвала и от которого дрожали старые стены, да так, что кое-где по ним пошли трещины, уже некоторое время как прекратился; видно, наверху все кончилось.

Матарет долго не мог решиться. Стоило ему приблизиться к двери, чтобы отодвинуть кованые засовы, в памяти всякий раз вставала страшная ночь, когда запылал и начал рушиться город, и его опять охватывал ужас, похожий на тот, что погнал его сюда, в самый глубокий подвал дома Яцека.

Возможно, он не стал бы спешить и остался бы в этом подземелье, если бы не угроза голодной смерти. При поспешном бегстве он не подумал о припасах; все эти восемь дней единственной его пищей была коврига хлеба, которую он случайно прихватил по дороге, когда пробежал мимо

распахнутых дверей пекарни, расположенной в первом этаже большого доходного дома. Воды у него не было ни капли, пришлось довольствоваться вином, которого, впрочем, тут было в изобилии — и в пузатых бочонках у стен, и в бутылках, рядами лежащих на стеллажах.

Ему даже в голову не приходило благодарить судьбу за то, что подвал был открыт и он смог в нем спрятаться. Вбежав сюда, он задвинул за собой засовы и уселся в крошечной темноте, дрожа от страха и не решаясь стронуться с места. Когда жажда стала невыносимой, когда и без того пересохшее от страха нёбо стало жечь как огнем, он стал шарить вокруг в надежде, что, может, наткнется рукой на струйку текущей по стене жидкости и сумеет хотя бы освежить губы.

Но подвал был идеально сух, Матарет не нашел в нем воды, но зато наткнулся на бочки и бутылки. Сперва он опасался, не запасы ли это каких-нибудь химических жидкостей, необходимых Яцеку для научных экспериментов, и, несмотря на невыносимую жажду, долго колебался, прежде чем поднес ко рту бутылку с отбитым горлышком.

Первый же глоток вина в один миг растекался приятным огнем по жилам и изрядно подкрепил силы, подорванные страхом. Ему хотелось пить еще и еще, но здравый смысл превозмог, напомнив, что этот неповторимый живительный напиток, ежели им злоупотреблять, может оказаться смертоносным. Поэтому Матарет сдержался и решил пить не больше, чем необходимо, чтобы пригасить жажду.

Поначалу все было превосходно, и вино казалось отличным питьем, которое не только утоляло жажду и укрепляло физически, но и, возбуждая мозг, поддерживало душевно, а заодно и веселило. Однако не то через два, не то через три дня — в темноте у Матарета не было возможности точно определить, сколько прошло времени, — постоянное вынужденное употребление вина начало оказывать скверные последствия. Желудок, лишь обманываемый скудным кусочком хлеба, в конце концов перестал принимать крепкий напиток; стали давать себя знать мучительные головокружения и общая слабость, все сильнее и сильнее угнетая Матарета. Он уже предпочитал страдать от жажды, лишь бы не пить вина, к которому приобрел непреодолимое отвращение.

Последний день, проведенный в этой добровольной тюрьме, стал для него непередаваемой мукой; отсутствие еды вынуждало Матарета пить вино, которое только еще сильнее отравляло его организм, а отравление вызывало все более острое чувство голода.

Временами он погружался в сон, полный бредовых видений, который неизвестно сколько длился. Во сне ему виделись страшные события: кровавый мятеж, чудовищные взрывы, рушащиеся города, какие-то сражения то ли с людьми, то ли со зловредными лунными шернами. А потом вдруг наступало неожиданное успокоение. Ему снилось, будто он стоит вместе с Яцеком на каком-то холме, возвышающемся над городом, и слушает рассказ о новых, счастливых взаимоотношениях людей на Земле. Яцек ласково улыбается ему и говорит, что все кончилось благополучно и теперь у власти действительно самые достойные, самые мудрые и что скоро он полетит на Луну, чтобы помочь Марку установить там вечный мир.

И опять светлый сон сменялся горячечным, пугающим хаосом.

Солнечный город внизу вдруг превращался в груды дымящихся развалин; повсюду, куда ни кинешь взгляд, небосклон кровавят зарева пожаров; со всех сторон долетают предсмертные стоны и раздается дьявольский хохот человека великанского роста, у которого лицо Юзвы и его огромные кулаки.

Матарет в ужасе пробуждался с желанием закричать, позвать на помощь.

Его окружала глухая тишина, и только голод, все более жестокий, все более мучительный, выворачивал ему кишки и отчаянно подталкивал к двери.

И все же, невзирая на голод и на то, что шум сражения уже довольно давно затих, Матарет с дрожью отодвигал засовы тяжелых дверей, собираясь выйти на свет. В темном узком коридоре и на ведущей наверх лестнице он несколько раз останавливался и тяжело дышал, словно надеялся вместе с чуть посвежевшим воздухом вобрать в задышливую грудь и капельку мужества.

Он воображал, что увидит, когда выйдет на улицу, и заранее подготавливал себя к страшному зрелищу.

Вокруг будут одни развалины, думал он. Вероятней всего, дом Яцека тоже разрушен, и очень даже возможно, что, пытаясь выбраться на поверхность, он обнаружит гораздо более мощные запоры в виде груды камней, кирпича и железных балок, иными словами, обнаружит, что погребен заживо. А если ему и повезет и удастся выйти, то — тут уж можно не сомневаться — он окажется в пустыне среди полнейшего разгрома. Города не существует, кругом одни руины, а в них трупы и огонь, пожирающий то, что еще способно гореть в нагромождении камня и железа.

Однако, поднявшись наверх, он обнаружил, что двери

распахнуты. Он вышел в просторный вестибюль; видимо, дом еще стоял, по крайней мере, нижний его этаж уцелел. Вокруг была мертвая тишина. Очевидно, прислуга разбежалась или перебита, решил Матарет, прокрадываясь вдоль мраморной стены к широким двустворчатым дверям, ведущим на улицу. Матарет чуть толкнул их, и они бесшумно открылись; он ступил в ослепительный солнечный свет и испытал невероятное потрясение.

Город выглядел как обычно. Лишь кое-где можно было увидеть запертый магазин, разбитое окно, вышибленную дверь; на некоторых стенах заметны были щербины, словно от пуль, а вдали вроде бы стоял дом, то ли разрушенный, то ли сгоревший в пожаре. И это все. По улице, как прежде, шли люди; ну, может, их было чуть поменьше, однако их вид и поведение отнюдь не свидетельствовали о каких-либо чрезвычайных событиях.

Возле дома как живой символ нерушимого порядка стояли два полицейских.

Один из них мгновенно обернулся на легкий стук двери, закрывшейся за Матаретом, и схватился за висящий на боку револьвер.

— Что ты там потерял? — рявкнул он.

Матарет перепугался.

— Я там прятался... — оробело попытался он объяснить.

Тем временем подошел второй полицейский. Он внимательно взглянул на Матарета и вполголоса бросил своему напарнику:

— Его превосходительство...

— Нет, — возразил тот. — Его превосходительство Рода не лысый. Я его видел. Это, должно, его спутник или слуга, с которым его превосходительство прилетел с Луны.

Он подошел к Матарету.

— В этот дом входить запрещено, — объявил он.

— Да ведь я там был...

— Это ничего не значит. А верней сказать, тем хуже. Кто знает, милейший, не сообщник ли ты...

— Надо ему надеть наручники, — предложил второй полицейский.

— Правильно, — согласился первый, — и отвести в участок или напрямик к его превосходительству.

Поскольку наручники оказались велики для тонких рук Матарета, их связали веревкой и так повели. Он не сопротивлялся и не задавал никаких вопросов. Его охватила страшная слабость, в глазах было темно, он еле передвигал ноги. Полицейские обратили внимание, что он едва идет, поэтому на углу посадили в автомобиль и привезли к

роскошному дому, на который Матарет в своих блужданиях по городу как-то не обращал ни разу внимания.

Там его препроводили в большую приемную, где он просидел, наверное, с час, прежде чем распахнулись двери. Служитель в ливрее призвал Матарета на аудиенцию к его превосходительству.

Матарет неверным шагом вошел в кабинет и — онемел. В комнате, обставленной с безумной роскошью, за письменным столом сидел в пышном мундире учитель Рода.

— Ты... Это ты? — с трудом выдавил Матарет.

Рода нахмурил брови.

— Ко мне положено обращаться «ваше превосходительство», прошу не забывать!

После чего, отпустив небрежным кивком служителя, Рода велел Матарету приблизиться и позволил сесть.

— Где ты скрывался? — суровым голосом осведомился он.

— Слушай, я есть хочу, — взмолился Матарет. — Дай мне поесть и попить.

Его превосходительство милостиво позволил Матарету заморить червячка, и когда тот, несколько подкрепив силы, возвратился, благосклонно принял его и с первых же слов пообещал взять к себе на службу, если только Матарет будет его слушаться.

Матарет смотрел на бывшего главу Братства Истины и сотоварища земных невгод с изумлением, граничащим с недоверием. Он действительно не верил собственным глазам и ушам и никак не мог взять в толк, серьезно говорит Рода или смеется над ним.

— Но расскажи, что произошло, — пробормотал он наконец.

— Я уже тебе сказал, что ношу титул «превосходительство».

— Как? Каким образом?

— Я спас мир.

— Что?

— Спас общественный порядок.

— Ничего не понимаю.

— Естественно. Ты всегда был тупицей. Если бы не я, этого города уже не было бы.

— Значит, революция...

— Подавлена! Подавлена с помощью крохотной машинки, которую я героически, рискуя жизнью, вынес из дома этого проклятого Яцка.

— Как это произошло?

В Роде вновь пробудился оратор. Он забыл о новом

своем сани, вскочил по приобретенной на Земле привычке на стул и принялся оживленно рассказывать, размахивая руками:

— Да! Да! Я ведь умен, и еще как! У нашего драгоценного покровителя я украл, а правильной будет сказать, отнял дьявольскую машину, которой он мог взорвать весь мир! Я унес ее, укрыв вот тут, на груди, и чувствовал, что несую судьбу Земли — ты понимаешь? — судьбу Земли, которая была праматерью и для нас, жителей Луны! Сердце у меня готово было выскочить из грудной клетки: видимо, Бог направил меня сюда, чтобы я спас род человеческий...

Рода на миг умолк, вероятно, сообразив, что слова о праматери-Земле в его устах могут показаться Матарету несколько странными, поскольку тот издавна привык слышать от него мнения совершенно противоположного свойства. Но, нисколько не смутившись, он продолжал:

— Впрочем, суть не в этом. Ты ведь все равно не поймешь. А машину эту всем хотелось заполучить. Я мог отнести ее Грабецу и сперва так и собирался поступить.

— Ну и что ты сделал?

— Погоди, не торопись. Грабецу я написал только, что машина похищена, чтобы в случае чего он думал, будто у меня ее отняли силой. Можно, конечно, было передать ее Юзве или возратить за вознаграждение Яцеку, как владельцу, представив дело так, будто я вырвал ее у врагов...

— Так что же ты сделал?

— Ишь, как тебе не терпится! Я сделал самое лучшее, что можно было придумать в таких обстоятельствах. Ты ведь знаешь: я всегда с большим почтением относился к законной власти.

Матарет рассмеялся.

— Да, это так, и поводов для смеха я тут не вижу. Я уважаю власть. И потому по зрелом размышлении я обратился к представителям правительства.

— И они с помощью этой машины...

Рода широко улыбнулся.

— Да, с помощью этой машины.

— Уничтожили, перебили противников?

— Нет, нет, до такой жестокости правительство не дошло. Впрочем...

Рода соскочил со стула и тихо, почти шепотом сообщил на ухо Матарету:

— Впрочем, скажу тебе всю правду, потому как доверяю тебе: из этой дурацкой машины вообще нельзя стрелять.

— То есть как?

— Да очень просто: нельзя и все. Видно, в аппарате, который я принес, чего-то не хватало. А когда двери лаборатории Яцека взломали, чтобы взять недостающее, оказалось, что перед своим внезапным исчезновением он все уничтожил.

— И что же?

— А ничего.

— Не понимаю.

— Потому что ты глуп, как пробка. Ведь о том, что машина ни на что не способна, не знает никто, кроме правительства и меня. А все остальные уже давно слышали, что Яцек обладает страшным оружием. И когда разошелся слух, что смертоносный аппарат в руках властей, этого оказалось достаточно.

— А, понятно...

— Ну наконец-то. Об этом тотчас же объявили и подослали все провода телеграфной сети к этому безобидному ящичку. Правительство заявило: уж коль мы должны погибнуть в революции, то пусть же с нами погибнет весь мир! Первыми струсил ученые. Потом настала очередь рабочих и всей этой черни, которой стало жаль ясного солнышка...

— А Грабец? А Юзва? А еще множество других?

— Грабец по приказанию правительства повешен. Юзvu убили его же сообщники, так как он не хотел сдаваться, предпочитая чтобы весь мир был взорван к чертям, а им, напротив, очень хотелось жить.

— И теперь ты стал превосходительством?

— Да. У меня титулы «Хранитель машины» и «Спаситель порядка».

Рода с невообразимой важностью прошелся по кабинету и вновь остановился перед Матаретом, заложив руки за спину.

— Разве я не говорил тебе, — ухмыльнулся он, — что не пропаду? Кто бы мог подумать, когда нас возили в клетке вместе с обезьяной...

Но тут же оборвал и пугливо оглянулся: не слышит ли кто, после чего дружески хлопнул Матарета по плечу.

— Не бойся, я тебя не оставляю. Ты страдал вместе со мной, и хотя я мог бы тебя упрекнуть за то, что ты очернил меня перед Яцеком, представив лжецом, я так и быть прошоаю тебя и постараюсь...

Рода не успел закончить тираду: Матарет плюнул ему в лицо, круто повернулся и выбежал из кабинета.

В вестибюле полицейских уже не было, никто его не задерживал. Матарет медленно спустился по ступеням мраморного крыльца и влился в уличную толпу. Кое-кто из прохожих бросал мимолетный взгляд на странного карлика;

некоторые знали, что он прилетел с Луны, и останавливались, чтобы посмотреть на него, но большинство не обращало внимания.

Он брел, затерянный в потоке прохожих, без цели, даже не представляя, куда ему идти. Порой его взор падал на дом, разрушенный снарядами, на котором трудились каменщики; кое-где встречались группки людей, оживленно обсуждающих недавние события, но других примет, что над миром пронеслась грозная буря, Матарет не обнаружил. К самым большим переменам можно было отнести увеличение числа городских стражников и полицейских, которые подозрительными взглядами провожали чуть ли не каждого прохожего.

Матарет думал о Яцке. Куда он так неожиданно исчез? Может, погиб во время мятежа? Или посажен в тюрьму? Ему невольно приходили на память недолгие минуты, проведенные с ученым, их беседы, обсуждение планов полета на Луну на выручку Марка. Может, Яцек и вправду улетел на Луну, а его бросил здесь?

Он поднял голову к небу: на голубом своде среди редких перистых облачков висел молочный, поблекший при дневном свете серп ущербного месяца.

Матарет вышел из задумчивости, наткнувшись на плотную толпу, стоявшую перед наклеенной на стене огромной афишей.

Кто-то вслух читал сообщение, напечатанное на ней; слышались возгласы изумления, но чаще — согласия и одобрения правительству, издавшему этот указ.

Заинтересовавшись, Матарет протолкался поближе; ему повезло: удалось вскарабкаться на цоколь уличного фонаря, и он стал читать.

В глазах у него потемнело.

В сущности, указ вроде бы никоим образом не касался его, и тем не менее он чувствовал, как его, необразованного, невежественного пришельца с Луны, охватывает стыд за то, что начинается на Земле.

Правительство Соединенных Штатов Европы сообщало для всеобщего сведения:

«Граждане!

Заботливое правительство в тревоге об общественном благе, доверенном его попечению, после неслыханных и достойных всяческого сожаления событий последних дней считает себя обязанным раз и навсегда положить предел злу, которое общество вскормило собственной жертвенной кровью у себя на груди.

Ученые и изобретатели, бесспорно, некогда были благословением человечества. Это им в какой-то мере мы обязаны благосостоянием, проистекающим из установления господства над силами природы, ибо хотя это мы сами своими трудолюбивыми руками построили заводы и создали экономический порядок, все же необходимо признать, что они своими изобретениями давали обществу импульс для плодотворного труда. И хотя всеобщее обучение также является заслугой общества, которое, пылая рвением к знанию и возвышению душ, построило миллионы школ и взяло в свои руки образование, нельзя отрицать, что и здесь сыграли немалую роль мудрецы, способствуя своими исследованиями открытию новых направлений мысли.

Но то была справедливая плата обществу за то, что оно позволило им продвигаться вперед и своим трудом создавало им необходимые условия для исследований.

В конце концов было изобретено все, что нам необходимо, а исследовано и открыто гораздо больше того, чем сможет нам потребоваться. Ученые, которые именуют себя «всеведущими», стали для нас слишком обременительной роскошью, и общество окружало их почетом лишь в память о давних заслугах их предшественников.

Но вот произошло невероятное. Мудрецы, жившие по милости общества, вступили в заговор против него и вместе с невежественной чернью попытались из своекорыстных интересов поколебать установившийся на Земле порядок.

Граждане! Нам уже не нужны мудрецы! Нам хватит того, что мы достигли к настоящему времени. Правительство, имея в виду благо общества, вынуждено положить конец непомерной гордыне и разрушительным тенденциям.

А посему:

1. С сегодняшнего дня распускается объединение ученых, существующее под наименованием «Братство всеведущих».

2. Отменяются все пенсии, до сих пор выплачивавшиеся ученым, и им предоставляется право зарабатывать себе на жизнь физическим трудом.

3. Равно закрываются все заведения, занимающиеся так называемой чистой наукой и проводящие бесплодные исследования; остаются функционировать лишь институты, приносящие непосредственную пользу и экономическую выгоду.

4. В дальнейшем самым строгим образом под угрозой сурового наказания запрещается содержание частных лабораторий и издание трудов, которые после рассмотрения

рукописи особой цензурной комиссией не будут признаны полезными для общества.

5. Сохраняются и содержатся на прежнем уровне ныне существующие профессиональные школы, но раз навсегда закрываются все высшие школы, так называемые «философские» или «общие», и прежде всего содержавшаяся до сих пор на государственный счет «школа мудрецов».

6. Во избежание любого обхода распоряжения, изложенного в п. 5, категорически запрещается частное обучение, под каким бы видом оно ни производилось.

Граждане! Правительство надеется, что вы с благодарностью примете к сведению настоящий указ».

Матарет сполз с фонаря, прислонился к стене и остолбенело уставился в пространство, до того чудовищным и невероятным показался ему прочитанный указ. Относительно недолгое пребывание на Земле и частые беседы с Яцеком привели к тому, что более всего он ценил достижения человеческой мысли и ее свободное развитие; оттого сейчас у него возникло впечатление, что на его глазах человечество совершает варварское, дикарское самоубийство.

Он поднял голову и бросил взгляд на толпу. Матарет искал людей, которых трясло бы, как и его, от негодования, прислушивался, не прозвучат ли слова возмущения.

Но прохожие, остановившись на минуту-другую перед афишей, которая имела решающее значение для судеб человечества, лишь бросали ничего не значащие замечания; по преимуществу, они одобряли правительство, самое большее, поражались его решительности и шли дальше, продолжая болтать о повседневных своих делах, и редко-редко в их разговорах мелькало упоминание о недавних событиях.

Кто-то в доказательство безмерной злокозненности ученых, за каковую они теперь и несут заслуженную кару, вспомнил адскую машину Яцека. Кто-то упомянул имя Роды, назвав его спасителем, и с признательностью отозвался о правительстве, которое в награду за столь великий подвиг пожаловало ему высокий сан. В разговор вступил какой-то пожилой господин и сообщил своим молодым собеседникам, что, вероятно, в ближайшие дни вновь выступит в театре знаменитая, прославленная Аза, которая уже давно не показывалась на сцене.

Это известие стало переходить из уст в уста и вскоре наэлектризовало всю толпу до такой степени, что она совершенно позабыла про указ правительства относительно

мудрецов. Все только интересовались, правда ли это, откуда получены сведения и в какой роли предстоит им лицеизреть божественную актрису.

Матарет перестал прислушиваться к ним. Понурился, с саркастически-презрительной усмешкой на губах, он медленно побрел по улице.

— Земля... — шептал он. — Древняя Земля...

А за спиной у него около плаката, возвещающего смерть науке, все продолжался разговор о знаменитой певице и несравненной танцовщице Азе.





РОМАН

ПОБЕДОНОСЕЦ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Крохабенна вздрогнул и резко обернулся в кресле с высокой спинкой. Перевернутая страница в лежащей перед ним пожелтевшей книге вряд ли прошелестела бы слышной, воистину едва донесся шорох, но уши старика мгновенно уловили некий звук в бездонной тишине святого места.

Он поднял ладонь, заслоняя глаза от света полупригашенной люстры под сводчатым потолком, и глянул в сторону двери. В открытом проеме, как раз спускаясь с последней ступеньки, одна нога еще в воздухе, появилась юная девушка. Как все незамужние женщины в доме, по ночам она была обнажена, лишь пушистая меховушка-безрукавка мягкой белой шерсткой с лица и с изнанки была небрежно накинута на плечи.

Безрукавка была расстегнута и плавной волной струилась по молодому телу до самых крохотных лодыжек, тонущих в свободных меховых шлепанцах. Золотисто-рыжие волосы девушки были убраны над ушами в два громадных узла, из которых ей на плечи свисали две пряди, рассыпаясь золотыми струйками по снежной белизне меховушки. На шее — ниточка драгоценных бус из пурпурного янтаря, как уверяла молва, на заре веков принадлежавших святой пророчице Аде. Эту ниточку в роду первосвященника передавали из поколения в поколение как самое дорогое сокровище.

— Ихазель!

— Да, дедушка, это я.

Ихазель не входила, стояла у двери, белая фигурка на фоне мрака на лесенке, уходящей вверх. Рука на кованой щеколде, большие черные глаза устремлены на старика.

Крохабенна встал. Дрожащими руками потянулся к лежащим на мраморном столе книгам, словно их надо было как можно скорее спрятать. Весь подобрался, растерянно забормотал, быстро шевеля губами, хватился торопливо и бестолково перекидывать подальше в сторону тяжелые фолианты и наконец поднял взгляд на девушку.

— Ведь знала же, сюда никому нельзя входить, кроме меня! — скорбно выговорил он.

— Да, но... — она осеклась, будто не находя слов.

Ее большие глаза словно вспорхнули и стремительными любопытными птицами облетели таинственное помещение, едва касаясь огромных, с богатой резьбой, выложенных золотом сундуков, в которых хранили священные книги, миг помедлили на причудливых орнаментах, а может быть, тайных знаках из кости и золота на стене против входа, выложенной полированным туфом, — и метнулись на место, под укоризненный присмотр старика.

— Но ведь теперь-то уже можно, — с какой-то особой ноткой в голосе сказала она.

Крохабенна молча отвернулся и, подойдя к напольным часам до потолка в глубине помещения, пересчитал шары, выпавшие в медную чашу, взглянул на стрелки.

— До восхода солнца еще тридцать девять часов, — сурово сказал он. — Ступай и спи, если нечем заняться.

Ихазель не шевельнулась. Смотрела на деда, так же, как и она, одетого по-домашнему, только меховушка на нем была черная, отблескивающая, а под ней кафтан и шаровары из алого сафьяна, на седых волосах золотой обруч, без которого даже первосвященникам нельзя было появляться в этом святом месте.

— Дедушка!..

— Иди спать! — Старик повелительно указал на выход.

Но девушка внезапным движением прильнула к его коленям.

— Он пришел! — воскликнула она, не в силах больше сдерживать рвущуюся из сердца радость. — Дедушка, Он пришел!

Крохабенна уронил руку и медленно сел на прежнее место, опустив на грудь окладистую седую бороду.

Девушка смотрела на него, не находя слов не иначе как от изумления.

— Дедушка, почему молчишь? Я совсем малышка была, едва лепетала, а ты уже научил меня этому извечному приветствию, по нему людей отличают от животных, от худших, чем животные, шернов, а главное, от опаснейших,

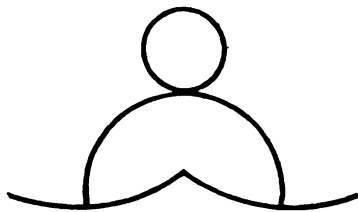
ибо обликом на людей похожих, выворотней. И я всегда приветствовала тебя, как надлежит, словами: «Он придет!», а ты всегда отвечал мне, как надлежит: «Воистину придет!» Отчего же теперь, когда этот великий, счастливый день настал и я могу воззвать к тебе: «Он пришел!», ты не отвечаешь мне: «Воистину пришел!»?

Она говорила, захлебываясь, с горячным блеском в глазах, ловила воздух лилейной грудью так, что ходуном ходили бесценные бусы из пурпурного янтаря, наследство святой пророчицы Ады, и янтарь метал искры в лучах света, отраженных бронзовыми зеркалами.

— Дедушка, пророк Тяхия, которого знали старцем прадеды твои, еще в те дни написал: «Он придет в дни тяжелейшего ига и спасет народ свой. И старым от нас ушедший, ибо никогда не был молод, вернется Он, как исполнятся сроки, юношей светлым и лучезарным, да так и не состарится»! Дедушка! Он близится! Он грядет! Он вернулся с Земли, куда ушел столетия назад, вернулся, чтобы исполнить обещанное через свою первую пророчицу Аду, Он грядет во славе и величии, юный, прекрасный, победоносный! Скорее бы настал рассвет! Скорей бы увидеть Его, выстелить Ему дороженьку благую вот этими косами!

С этими словами она прижалась лбом к лодыжкам старика и почти безотчетным движением распустила оба узла. На малахитовый пол хлынул благовонный, раскидистый, золотой потоп.

Крохабенна молчал. Казалось, он не видит коленопреклоненной девушки, не слышит ее речей. Его тусклый, задумчивый взгляд не иначе как по укоренившейся привычке был обращен в глубину помещения, туда, где в полумраке играл отблесками люстры золотой священный знак, изображение восходящей из-за горизонта Земли и стоящего над ней Солнца такими, какими видят их каждую полночь Братья в Ожидании, удалившиеся в Полярную страну.



Ихазель невольно последовала его примеру и увидела мерцающие в полутьме золотые диски на черном мраморе, безыскусный знак сокровенного знания, передаваемого из века в век, из поколения в поколение: повести о том, как с огромной звезды, сияющей над безвоздушной пустыней, на Луну явились люди; о том, как Старый Человек, — он принял это новое имя и повелел так называть себя, запретив произносить прежнее, — ушел на Землю, обещав вернуться оттуда победоносным юношей-избавителем. Ее охватил суеверный страх, она встала, большим пальцем правой руки очертила на лбу круг, потом изобразила полукруг от плеча до плеча мимо рта и линию от плеча до плеча через грудь. И прошептала привычные слова заклинания: «Он нас спасет, он иго наложит на врага нашего, да будет так воистину и непреложно!»

Крохабелла повторил, словно эхо:

— Да будет так воистину и непреложно.

И слова «воистину и непреложно» еле вымолвил — так жалось горло то ли от болезненной горечи, то ли от издевки над собой.

Ихазель глянула ему в лицо. Миг молчала и вдруг, пораженная странным выражением на лице старика и поняв, что оно означает, отшатнулась, прижала руки к обнаженной груди под распахнутой меховушкой:

— Дедушка!..

— Тише, дитя, тише.

Старик встал, он хотел взять Ихазель за руку, но та не далась. И в ужасе пролепетала:

— Дедушка! Ты... ты не веришь, что это... Он?!

Она стояла в двух шагах, устремив навстречу изумленные глаза, с полуоткрытым ртом, она требовала ответа так, словно от того, каков он будет, зависит, жить ей или не жить.

Первосвященник глянул на внуку и заколебался:

— Все знамения сходятся, и если Победоносец воистину назначил, что возвратится...

И осекся на полуслове. Неужто должно сказать этой пылко верующей девушке то, в чем он едва набрался духу сам себе признаться после долгой борьбы, но что все еще отвергал всеми силами дряхлого сердца? Неужто должно сказать ей, что он, первосвященник, страж Истины и Тайнства, последний в извечном, но осужденном угаснуть на нем роду священников, он, вождь всего народа, живущего на северном берегу Великого моря, куда достигает взор на восток за снежную вершину огнедышащего Отеймора, на

Теплых Прудах, в древнейшем лунном поселении, а на запад дальше Перешейка, а на север до самых Старых Источников, где якобы впервые была открыта нефть благодатная и откуда путь лежит в Полярную страну, — неужто должно ему, всю долгую жизнь самоотверженно крепившему веру в пришествие Победоносца, признаться, что сейчас, когда ему принесена весть о доподлинном пришествии, он перестал верить в то, что оно было воистину заповедано.

Он сам еще не мог честь по чести разобраться в том, что либо родилось, либо всплыло въевшись из непостижимых бездн души при этой ошеломляющей вести...

Перед заходом солнца он, как всегда, собрал народ на молебен и проповедь на слова последнего пророка Тяхии, на те самые слова, которые только что бросила ему в лицо собственная внучка. Он поступал так каждый день всю жизнь с тех пор, как стал священником. Наставленный своим отцом, первосвященником Бормотеей, он с детских лет веровал, что некогда жил среди народа Старый Человек, жил-жил, потом ушел на Землю, а возвратится юношей, чтобы спасти свой народ. Эта вера была ясна и незамысловата. Она настолько не требовала раздумий, что он ни разу не глянул в сторону «ученых», которые доказывали, что история о земном происхождении людей — это просто-напросто старинная и не один век славившаяся легенда, что никакого «Старого Человека» в помине не было и никакой «Победоносец» вовеки не явится из межзвездных пространств. Он даже не воевал с этими учениями, на этот случай отказавшись от былого обычая, который блюл еще его отец, первосвященник Бормотея, от обычая, по которому еретиков положено было привязывать к столбам на берегу моря и побивать камнями. И когда состоявшие под его началом священники призывали покарать святотатцев, умертвить, причем именно таким образом, причем чаще всего — косные Братья в Ожидании, он только пожимал плечами, неколебимо и глубоко презирая как тех, кто надеется укрепить веру градом камней, так и достойных сожаления безумцев, которые селятся слабым человеческим разумом постигнуть непостижимое вместо того, чтобы умиротворенно верить в свое звездное происхождение и слово, которому суждено когда-нибудь сбыться.

Среди прочих не мог уразуметь причин такой кротости и монах Элем, приор Братьев в Ожидании. Элем не раз позволял себе порицать первосвященника через гонцов, упрекал его в нерадении святыням. А кто, как не Крохабенна,

был владыкой и повелителем всего народа лунного на извечном престоле первосвященников при Теплых Прудах? Судьей поставленный, не подсуден он. Это он мог проклясть Элема, а заодно с ним и всех Братьев в Ожидании за явную ересь, за проповедь пришествия Победоносца со дня на день, хотя все пророки учили желать сего не себе, но грядущему. Огорчительны были уважение, которым пользовались Братья в народе, и сама широта их влияния. Нет, они никогда не покидали своей обители в Полярной стране. Это было запрещено законом. Но каждый «год» (этим причудливым словом именуется срок в двенадцать и тринадцать суток попеременно, притом что каждые сутки длятся семьсот девять часов; за этот срок солнце проходит полный круг зодиака; говорят, это обозначение времени пришло с людьми с Земли), на двенадцатый день, день поминовения ухода Старого Человека, в Полярную страну прибывают многочисленные паломники, так что у Братьев в Ожидании хватает возможностей сбивать народ с пути истинного.

Запретить эти паломничества, освященные многовековым обычаем, было не во власти Крохабенны, но относился он к ним неодобрительно: смущали народ Братья, отвлекали от насущных велений жизни, предрекая скорое Пришествие.

Конечно же, и он, Крохабенна, нерушимо веровал в Пришествие, однако оно неизменно представлялось далеким, заповеданным так, что, спроси его кто, а возможно ли оно при его жизни, он наверняка воспринял бы сам вопрос как покушение на догмат, что оно наступит в грядущем. Ведь пророк Рамидо ясно сказал: «Не наши очи, не очи детей наших узрят Победоносца, но придут вослед те, кому во плоти лицезреть Его». А пророк Рамидо скончался сто с чем-то лет тому назад.

И было так до вчерашнего вечера. Стоя на широкой паперти собора спиной к солнцу, которое опускалось за черту морского горизонта, Крохабенна вознес молитву вместе с народом, воздел руки для вечернего благословения и произнес извечное приветствие: «Он придет!» И вдруг среди скопища народа возникло беспорядочное движение. Те, кто стоял поблизости, ответили привычными словами: «Воистину придет!», но те, кто подальше, одни за другими отворачивались и указывали друг другу на странную кучку людей, поспешавшую к собору.

Крохабенна взгляделся и изумился. Посреди горсточки случайно встреченных и тут же присоединившихся прохожих шли, нет, бежали, двое Братьев в Ожидании. Он узнал

их издали по непокрытым бритым головам и длинным серым рясам. Неподалеку стояла кибитка с собачьей упряжкой, которая их только что доставила. Уже само появление монахов, лишенных права покидать обитель, было делом неслыханным, но равно потрясло старого священника их попросту необъяснимое поведение. Он счел, что перед ним умалишенные, поскольку мысли не мог допустить, чтобы монахи, по обету не касающиеся хмельного, еще и этот запрет нарушили. Они бежали, пританцовывая, приплясывая, размахивая руками, испуская какие-то вопли, которых издали было не расслышать. А народ внизу уже расслышал и вмиг уразумел, потому что вся толпа хлынула к новоприбывшим, закипела, заходила, ударилась в крик и лишь немногие, в том числе и Крохабенна, не покинули своих мест на ступенях, ведущих к собору. И в ту же минуту толпу откатило обратно. Первосвященник еще не осознал, что происходит, как увидел вплотную лица, горящие безумной радостью, воздетые руки и сотни разинутых, кричащих ртов: народ валом валил на паперть за обоими братчиками, чуть ли не на руках несомыми и восклицающими сквозь смех и слезы:

— Он пришел! Он пришел!

До него не вдруг дошло и долго еще не доходило, хотя братчики внятно объяснили, что сбылось обещанное, пробыл час, предсказанный пророками, ибо накануне, в тот миг, когда в Полярной стране над повитой мраком Землей проходит Солнце, после многовекового отсутствия вернулся Он, Старый Человек, омолодившийся и лучезарный Победоносец и избавитель!

«Братьев в Ожидании» больше нет — теперь они «Братья в Радости». Разделившись по двое, они спешат с благой вестью ко всем лунным племенам, живущим вдоль берегов Великого моря и в глубине суши над потоками, спешат, чтобы возвестить пришествие Победоносца, окончание всяческих бед и избавление от ига шернов и выворотней!

А следом за ними, вместе с Элемом, в сопровождении нескольких братчиков, грядет Он сам, Победоносец, и на рассвете следующего дня Он явится народу здесь, на берегу Великого моря.

Так говорили Братья, прежде «в Ожидании», а ныне «в Радости», и весь народ перед лицом первосвященника смеялся и плакал, плясками и возгласами славил Всевышнего, который исполнил обещанное через пророков.

Крохабенна воздел руки. В первый миг и его подхватило

восторженное безумие. В старческой груди вскипела слезами невыразимая благодарность за то, что именно сейчас, в пору жесточайших невзгод и порабощения, явился Победоносец. Глаза затуманились, горло перехватило от волнения, мешая радостному возгласу, рвущемуся из глубины сердца. Старик на паперти закрыл лицо руками и прилюдно разрыдался.

Народ уважительно взирал на плачущего первосвященника, а тот замер, потупившись и не отнимая рук от лица. И мыслью перечел всю свою жизнь, все огорчения и восторги, народные бедствия и лишения, уныние, которое врачевал, твердя слова обещания, ныне исполнившегося. И почему-то на смену вспышке радости на сердце легла беспредельная тоска.

— Братья мои! Братья! — начал он, простирая над кипучей толпой руки, дрожащие от старости и волнения... И тут вдруг обнаружилось: он не знает, что сказать. На сердце и разум обрушилось смятение, удивительно похожее на страх. Он глубоко вдохнул, судорожно ловя воздух губами, и снова закрыл глаза. Под черепом заходил оглушительный смерч, сквозь который внутреннего слуха достигала одна-единственная неотступная мысль: «Отныне все будет иначе». Да, отныне все будет иначе, вера, возведенная на обещании и ожидании, попросту перестала существовать, а на ее месте зарождается нечто новое, неведомое...

Вокруг плясал народ, звучали нестройные праздничные возгласы, а его, первосвященника, в эту великую и радостную минуту охватило странное болезненное сожаление о том, что было: о молебнах на закате, где он предстоятельствовал, о вере, о ожидании, что настанет день, наступит рассвет, и...

И вдруг, неизвестно почему, ему почудилось, что Братья в Ожидании лгут. Мысль испугала, потому что не ускользнуло, что с ней соединена надежда на это почти желание, чтобы так и случилось. Он сжал грудь руками и потупился, каясь в своем маловерии, но мысль упорно возвращалась, назойливо нашептывала, что ведь он, первосвященник — единственный страж веры, и невместно ему принимать на слово за истину вести, которые сотрясают самые основы порядка вещей.

Чувство долга внезапно подчинило разум, восторжествовало над иными, восстановило внутреннее равновесие. Он нахмурился и окинул вестников пронизывающим взглядом. А те, люди простые, скромные, неученые, сидели на ступе-

нях у его ног, утомленные дорогой и радостным криком. И только и знали, что с горящими от фанатизма глазами в очередь по строке пели старинную песню, составленную из ныне осуществившихся пророчеств. В их чистые и светлые сердца, пылающие великой радостью, даже не закрадывалась мысль о разладе, терзавшем душу народоначальника.

— «Как со звезд явились люди, молвил Старый Человек», — запевал Абельяр, согбенный годами и бременем орденских бедний.

— «Так на звезды возвратятся, молвил Старый Человек», — подхватывал молодой и радостный голос Ренода.

— «Лишь придет Победоносец во спасение народу».

— «Он воистину придет! Аллилуйя, Он придет!»

Тем временем народ уже ломился на паперть, окликал первосвященника по имени, недовольный его долгим молчанием. Нестройные голоса, мешаясь, то призывали его к каким-то несообразным поступкам, то требовали, чтобы он подтвердил радостную весть, то восклицали, что пора отворить двери собора и сей же час раздать народу накопленные за века сокровища в знак исполнения обещания, в знак празднества, которым отныне станет жизнь по всей Луне.

Какой-то старик крестьянин приблизился вплотную и теребил широкий рукав алого священнического облачения, несколько женщин и подростков пересекли недоступный в обычное время порог самого собора. Толпа росла, росло и замешательство.

Крохабенна вскинул голову. Слишком вольно, слишком бесцеремонно вело себя это скопище. Укротив внезапное смятение и слабость, он снова почувствовал себя властелином и вождем. Взмахнул рукой в знак, что хочет говорить, — и сказал немногословно и сдержанно, что действительно пришла весть об исполнении обещания, но он, первосвященник, прежде чем вместе с народом облечься в ризы праздничные, сначала обязан досконально изучить сообщение и поэтому велит, чтобы его и гонцов отпустили с миром.

Но толпа, обычно покорная каждому жесту, на этот раз словно не слышала слов своего повелителя. Крик и споры не прекращались. Звучали голоса, что Крохабенна уже утратил власть и не должен отдавать приказы, поскольку отныне желанный и единственный властелин на Луне — только Победоносец. Иные отказывались расходиться, крича, что нынче солнце вообще не зайдет во исполнение темного

предсказания пророка Рохи: «А когда появится Он, день воцарится вечный».

Однако солнце заходило — медленно, но неуклонно, как и всякий день. Багровое зарево охватывало ширь небосклона, золотился густой туман над Теплыми Прудами. Багровела морская гладь, багровели кровли поселка, тянувшегося вдоль берега, а вдали, за городскими стенами, сверкали на солнце три шпиля каменной башни, в которой на позор народу, окруженный своими воинами и выворотнями, обитал шерн Авий, присланный сюда из-за Великого моря собирать дань со всех человеческих поселений в знак безраздельного господства шернов.

Неизвестно, кто первый в тот вечер глянул на этот оплот супостата, но прежде чем Крохабенна понял, что происходит, лица полыхнули яростью, над толпой взметнулись руки, наскоро вооруженные камнями и палками. А на придорожном камне перед толпой, освещенный заходящим солнцем, явился Ерет, чернокудрый молодец, дальний родич первосвященника, кричащий:

— Разве не долг наш прибраться в доме к приходу Победоносца? Он же презрит нас, недостойными своего взгляда почтет, если труды победы мы взвалим на него, а сами уклонимся от боя!

Толпа взревела, повторяя вслед за ним:

— На крюк Авия! Смерть шернам! Смерть выворотням!

И сплошным потоком хлынула к дальней черной башне.

Крохабенна побледнел. Знал, что гарнизон в замке невелик и разъяренная толпа нынче способна разнести крепость по камушку, но знал и то, что за Авием и горсточкой его воинов стоит вся ужасающая, гибельная мощь шернов, что любой надрыв жилки в крыле постылого наместника означает новую беспощадную войну всему людскому племени, а та сулит новые страшные поражения и неопишное разорение, как бывало во времена прадедов.

Он крикнул: «Остановитесь!», но его голоса теперь никто не слушал, не слушали и монахов-вестников, которые, преграждая дорогу толпе, кричали, что до прихода Победоносца нельзя ничего предпринимать, он один имеет право начальствовать и отдавать приказы.

Ерет толкнул старшего из монахов в грудь, — тот попятился и сел на камни, — и вместе с толпой ринулся вперед к узкому перешейку между прудами.

И тогда Крохабенна хлопнул в ладоши. По этому знаку из обоих нижних крыльев здания рядом с лестницей, веду-

шей к главному входу в собор, высыпали вооруженные люди: копейщики, лучники, пращники — постоянная охрана святого места и самого первосвященника.

Как свора образцово натасканных собак, они по единому манению руки построились, исполнили поворот направо и сомкнутой шеренгой с готовым к бою оружием в руках преградили путь толпе.

Ерет обернулся к первосвященнику:

— Приказывай, пусть разят! — пенясь от ярости, заорал он. — Пусть разят! Пусть Победоносец увидит наши трупы, а не мерзкую вражью пададь! Пусть знает: не одни шерны, но и наши собственные тираны топчут нас, прежде всего надо управиться с ними!

Ужасный миг. Толпа изрыгала проклятия, в солдат полетели камни, те под градом оскорблений и ударов замерли по стойке «смирно», но искаженные лица и судорожно сжатые кулаки ясно говорили, что по первому же звуку приказа, по первому кивку, по движению брови они пойдут ломить и крушить. Не во имя дела, за которое их ведут в бой, дела, им безразличного, а радуясь, что наконец-то дозволено расправиться по-свойски с враждебной и ненавистной толпой.

А в толпе все громче и дружнее звучали призывы прикончить первосвященника. Его проклинали, оскорбляли, называли лакеем и прихвостнем шернов, попрекали в глаза за постыдный договор, который он с ними заключил, хотя в те дни славили как спасителя, который именно этим договором спас народ от окончательной гибели.

Крохабенна повернулся к воинам. Рука дернулась, чтобы дать знак, как вдруг кто-то вцепился в запястье и резким движением удержал. Старик свирепо обернулся — позади стояла золотоволосая Ихазель.

— Ты?!

— Он пришел! — произнесла она сурово, почти как приказ, не выпуская дедовой руки. Глаза у нее горели.

Крохабенна заколебался. А Ихазель внезапно всхлипнула, упала на колени, прижалась губами к руке, которую удержала от подачи знака к кровопролитию, и повторила тихо и умоляюще:

— Дедушка! Он пришел!..

Неизменно решительный и при всей своей кротости неумолимый в созревших решениях, первосвященник впервые в жизни почувствовал, что следует уступить. Им овладела непонятная растерянность, почти паралич разума. Так

или иначе, завтра сюда явится тот, кому теперь здесь володеть, так пусть уж он сам тогда...

Как яростно ни возражал Ерет, начались переговоры с толпой. Надвигающаяся ночь помогла прийти к соглашению. Толпа отступилась от мысли о штурме при условии, что гвардейцы первосвященника возьмут в кольцо башню и прилегающий палисад и всю долгую ночь проведут в палатках, карауля, чтобы особенно в предутренние часы, взяв «языка», не улизнул кто-нибудь из тех, кто, находясь в замке, самим пришествием Победоносца уже приговорен к смерти.

Только после этого Крохабенна смог увести обоих гонцов и заняться подробными расспросами об известии, которое они принесли.

А те устали и буквально засыпали на ходу, пока первосвященник вел их по крутым и витым переходам, которыми собор соединялся с его личными покоями. Переходы и зал уже погрузились во тьму, лишь кое-где при багровом свете нефтяного факела поблескивал золотой знак Пришествия — два соединенных полудиска Земли и Солнца. Старого священнослужителя все глубже охватывало уныние. Он смотрел на символы веры по стенам, на еле видимые в темноте алтари и амвоны, с которых вместе с выборными от народа возносил молебны о ниспослании Победоносца и прорицал его неизбежное пришествие, — и чувствовал в сердце странную горькую пустоту. Вечернее безлюдье в соборе устрало, предугадывалось отныне вечным и неизменным. Еще раз ощутилось, что желанное пришествие — это в первую очередь гибель всего, что было, ниспровержение веры ожидания, с которой срослась душа.

Словно кто-то опутал грудь прочными узами и затянул их так, что не вздохнуть и каждое усилие мышц зачерпнуть воздух причиняет жгучую боль. Закрадывался страх: никого не упросишь, никто не поможет. То, что он сам прорицал, что именовав грядущим избавлением, неожиданно настав (да, неожиданно, несмотря на пророчества, несмотря на заповеди и нерушимую веру), явилось гнетущим и устрашающим.

Чего бы то ни стоило, он не хотел, — вот именно не хотел! — верить в то, что произошло. Теперь, шагая по переходам в сопровождении братьев-вестников, он не пытался скрыть от самого себя, что уповает на ложность вести.

Но когда он заперся с глазу на глаз с гонцами, те привели такие ясные доказательства и говорили так убеж-

денно, что в правдивости их слов сомневаться не приходилось. Едва они начали — поди-ка, в сотый раз! — пересказывать то, что видели собственными глазами, весь сон с них соскочил. Они наперебой повествовали о воистину удивительном и непостижимом событии. О том, как накануне, когда они все вместе с приором Элемом привычно молились перед ликом Земли, у них над головами сверкнул огромный блистающий снаряд и ударился в самую средину полярной равнины; о том, как из снаряда вышел светловолосый небесный гость, точь-в-точь человек, только раза в два выше ростом, предивно светлый, могучий и улыбающийся. Сбивчиво, в два голоса, поведали, как Элем, узрев это явление, тут же прервал молебен и, поняв, что произошло, затянул радостную благодарственную песнь, обратился спиной к Земле и, возглавив ошеломленных, едва ноги передвигающих в полуобмороке братчиков, двинулся навстречу явившемуся Победоносцу. Рассказали виденное собственными глазами, слышанное собственными ушами: как приветствовал их Победоносец, что сказал ему Элем, — повторили в простых и безыскусных словах, пылко, с детской радостью в сияющих взорах.

Крохабенна слушал. Молчал, опершись седой головой на сомкнутые ладони. По мере того как братья подробно описывали вид и поведение удивительного пришельца, мысленно перелистал пророчества и заповеди, запечатленные в древних книгах, сыскал в богатой, многолетними трудами закаленной памяти слова и стихи Писания, сопоставил их с тем, что услышал, и убедился, что сходится все до единой буквы. Но не радость, а сгустившийся неисповедимый мрак пал на преданную служению душу.

Постепенно братьев сморил сон, языки у них начали заплетаться, и он отпустил их, но сам еще долго не мог найти себе места. Размеренным шагом дважды или трижды обошел пустой собор и притворы, словно норовя отыскать и вернуть, а что именно, и сам не знал, как назвать: веру? душевный мир? стойкость? Но обретал только бремя неизъяснимой тревоги.

Ночной снег покрыл лунные нивы и падал крупными хлопьями на стынувшие морские просторы, когда измаявшийся, истерзаннный душевным столбняком Крохабенна отправился наконец к себе в спальню. Но сон в эту ночь бежал прочь от глаз. Старик просыпался каждые несколько часов, задолго до времени привычных ночных трапез, ворочался, пристраивался, а веки не смежались. Перед второй трапезой пополуночи к нему пришла Ихазель, но он отослал

ее прочь под предлогом, что занят важным делом, которое требует одиночества. И снова побрел в собор.

Не отдавал себе отчета, зачем идет и что ищет, и, только очутившись позади высоко вознесенного амвона возле дверцы из кованой золоченой бронзы, которая ведет в древнехранилище, где сберегаются писания пророков, понял, о чем думает с самого вечера, чего именно не дает совершить непривычный страх: надо войти и еще раз перелистать все до единой старинные священные книги, которые только в дни великих праздников обернутыми в драгоценные пелены приносят ему на амвон, чтобы он обратил к народу проникновенное слово.

Да! Войти туда и спросить, наконец, у этих книг, которым всегда был послушен, не лгут ли, проследить гаснущими зеницами все, о чем повествуют, но не так, как прежде, с почитанием и набожностью, а с разбором, с пытливостью, которая, несомненно, греховна. Понимал, что совершит кощунство, входя с таким намерением, но уже не было сил противиться. Все же по давней привычке протянул руку за золотым обручем, висящим возле дверцы, надвинул его на волосы, перед тем как нажать тайный замок.

За распахнувшейся дверцей зиял колодец с лестничкой, ведущей вниз. Он шагнул вниз с каганцом, взятым у подножия амвона, и бездумно читал золотые надписи на стенах, предрекающие всевозможные беды и скорую смерть тому, кто посмеет войти сюда без набожной мысли. А потом, оказавшись под изукрашенными сводами подземелья, даже не заперев за собой, торопливо принялся извлекать из резных, выложенных драгоценными металлами и камнями сундуков древние пергаменты, пожелтевшие, подобно его собственным ланитам, и рассыпающиеся от времени: разрозненные листы с пророчествами первосвященницы Ады, якобы начертанными ею собственноручно в бытность в Полярной стране, где окончились ее дни, реликвию, с трудом изъятую двести лет назад у Братьев в Ожидании; конволюты, в которых пророчества перемежаются со сказаниями о прошлом; толстые тома, написанные последним из божьих людей, Тухией, которого знали его, Крохабенны, прадеды.

Весь этот груз столетий он выложил на мраморный стол, засветил люстру и жадно принялся читать, от спешки даже не осенив себя положенным предварительным знаменем.

Проходил час за часом, каждые двенадцать часов отмечались шаром, падающим из-под циферблата в медную чашу.

Старик временами задремывал на кресле с высокой спинкой, потом просыпался и снова брался за книги, читанные-перечитанные, но сейчас открывающиеся взору в пугающе ином облике. Прежде он видел в них истину, а нынче открылась тоска. В древнейших записях пророчицы Ады и первых пророков — едва уловимая, туманная, порождаемая памятным образом (а может быть, и лицемерием) Старого Человека; а позже, с течением времени и ростом числа бед, постигавших народ, — все отчетливей и отчетливей видимая, как слагающийся кристалл. Сначала это был просто рассказ о Старом Человеке, который привел людей с Земли на Луну и ушел обратно на Землю, сказав, что, может быть, и вернется; лишь гораздо позже это «может быть» преобразилось в обещание прихода избавителя, который, будучи Старым Человеком, но в омолодившемся образе, явится Победоносцем ради спасения угнетаемого народа. Впервые обратил внимание Крохабенна на то, что Ада заговорила о возвращении Старого Человека только после того, как до нее в Полярной стране дошла весть о нападении шернов из-за моря на поселок при Теплых Прудах. До того события люди как бы и не знали о шернах. А потом, век за веком, каждая невзгода, каждое бедствие порождало своего пророка, и чем тяжелее приходилось в его пору народу, тем более скорое пришествие Победоносца предсказывал этот пророк.

Горькая усмешка явилась на устах первосвященника, да так больше и не сошла. В нарастающем самозабвении он лихорадочно листал священные страницы, разглаживал их дрожащими руками, впивался придирчивым взглядом — и ему являлись противоречия, открывались прямые ошибки. И, не отдавая себе отчета в том, что творит (а творил он то, чему нет прощения), он разрушал в себе здание веры, которой целиком посвятил свою жизнь.

Тяжело опустились его ладони на последнюю страницу последней книги. Отныне он твердо знал, что в действительности никто и никогда не обещал вернуться Победоносцем, что все последующие пророчества были всего лишь выражением упований народа, поработанного коварными и безобразными первожителями Луны.

Но Победоносец-то явился!

Это была неразрешимая загадка, издевательский, пугающий парадокс! И мучило еще одно ощущение, которое явилось из самых затаенных недр души и замкнуло мысли в заколдованный круг. Только что он разрушил в сердце своем здание прежней веры, а разум возмущен тем, что

этот странный пришелец, в сущности, никаким пророком не предсказанный, одним своим появлением совершил то же самое — покончил с религией ожидания, возведенной на горячечном бреде прорицателей.

И явилась мысль, что он, первосвященник, быть может, в действительности и не верил никогда; что слова, которые он твердил себе и народу, несли совсем не тот смысл, что он им притворно приписывал; что былое — это некий сон, ни с того ни с сего ставший явью вследствие причудливого стечения обстоятельств, которого уж он-то всяко не желал.

И в то же время жаль было прежней веры!

Он силился воплотить мысли в некую формулу, силился постичь, а чего он сам-то хочет, но мысли всякий раз разбегались, и в сердце и в голове обнаруживалась болезненная пустота.

Именно в ту минуту, когда он размышлял над этим, явилась сияющая Ихазель. И вот она стоит перед ним с ужасным вопросом на устах и в пылающем взоре:

— Дедушка, ты не веришь, что это... Он?!

Он потянулся к внучке и нежно коснулся ладонями ее висков.

— Выйдем отсюда, Ихазель.

Еще миг назад, когда эти руки тянулись к ней, готовая противиться, а теперь сбитая с толку тем, что прочла в глазах старика, она подчинилась смиренно и молча. Придерживая за талию, он повел ее вверх по лесенке, так и оставив разбросанными в беспорядке священные книги, хранителем которых был. Позади, отражая тусклый огонек догорающего каганца, мерцал золотой символ Пришествия.

Когда они оказались в зале собора, в окнах уже брезжил сероватый рассвет, возвещающий, что через несколько десятков часов наступит очередной лунный день.

Все еще придерживая за талию, Крохабенна подвел внучку к огромному окну, выходящему на восток. Сквозь мглу, клубящуюся на Теплых Прудах, в тусклом сером полусвете брезжило замерзшее море, а вдали угадывались очертания покрытых снегом гор. Над человеческими селениями простиралась беспредельная тишина. И только над не знающим сна замком о трех шпилях, где засел шерн Авий, стояло багровое зарево факелов, витали невнятные оклики и отзвуки. А вокруг замка, в присыпанных снегом палатках, истово исполняя приказ, несли караул солдаты первосвященника.

Засмотревшись, как медленно прибывает рассвет, оба молчали, но наконец Ихазель сделала несколько шагов в сторону, отшвырнула на пол белоснежную меховушку и, нагая, как предписывает закон дающему зарок, простерла руки сперва к востоку, а затем к северу (подразумевалось — к Земле). И произнесла:

— Если я когда-нибудь перестану верить в Него, если не отдам Ему всех своих сил, своей молодости и всей жизни, всего кипения крови моей, если когда-нибудь подумаю не о Нем, а о ком-то другом, — да сгину я без прока, да буду проклята или да стану матерью выворотня! Слышит меня Вездесущий!

Крохабенна затрясся и невольно прикрыл глаза ладонью, внимая этому ужасному зарoku. Но не вымолвил ни слова.

А рассвет над миром наливался серебром, купая в жемчужных отсветах нагую девушку, прикрытую лишь волной распущенных золотых волос.

Глава II

Элем стоял на вершине холма, где кончалась Полярная страна вовек не заходящего солнца. Дальше простиралась великая безвоздушная пустыня, озаряемая светом священной звезды — Земли. Розовое, чиркающее по горизонту солнце жгло приору бритый череп и подрагивало металлическими отблесками на длинной иссиня-черной бороде колечками. Земля была в первой четверти; там, далеко, у Великого моря, в стране, где обитают люди, как раз наступил рассвет. Стоя спиной к серебристому серпу Земли, монах смотрел вниз, в глубину сумрачной зеленой котловины. Большая часть братии уже разошлась по его приказу во все концы лунного мира, неся по людским поселениям радостную весть о пришествии Победоносца. Те немногие, что остались, хлопотали, готовясь к странствию. Сверху было видно, как они, бритоголовые, в длинных темных рясах, деловито суетились среди палаток (пребывая «в ожидании», они жили не в домах, а в палатках), пакуя утварь и дорожные припасы или готовя кибитки и упряжки ездовых собак. Победоносец, видимо, еще спал в своей продолговатой остроконечной машине, которая перенесла его через межзвездное пространство. В той стороне было тихо, не прослеживалось ни малейшего шевеления.

Через десяток-другой часов предстояло навсегда покинуть

Полярную страну, эти шатры, послужившие многим поколениям братчиков, эту холодную зеленую луговину, эти освещенные розовеющим солнцем холмы, с которых так ясно видна Земля над самой чертой пустынного горизонта. Элем думал об этом без сожаления. Наоборот, грудь волновалась от счастливой гордости, что именно при нем, при его приорстве исполнились сроки и явился тот, кого столетиями предсказывали и ждали. Отныне начинается новая эра. Мысленно он уже видел ее счастливой и победной. Видел побежденными и униженными шернов, которые, будучи первожителами, смеют предъявлять на Луну исключительные права, как будто Старый Человек не даровал ее людям. С наслаждением думал о полном истреблении проклятых выворотней и самого их имени. А прежде всего представлял себе великое торжество Братьев, еще вчера — «в Ожидании», а ныне и впредь — «во Празднестве», которые первыми, как велел им обет, узрели и приняли явившегося Победоносца, и теперь вместе с ним как верная и неотступная свита двинутся утверждать новое царство в странах Луны.

Душа рвалась как можно скорее на юг, к человеческим жилищам, которых он, страж пустыни и далекой Земли, не видывал с тех пор, как юношей вступил в Братство, но где его считали, по крайней мере, равным первосвященнику на Теплых Прудах, а то, поди, и повыше, поскольку издали властвующим над умами и не признающим владычества шернов.

Но прежде, чем снять с многовекового становища живых братий по ордену, вместе с ним дождавшихся Победоносца, следовало навести порядок с мертвыми.

Элем огляделся. Вокруг, на вершине холма, и дальше, на пригорках, что снижались по направлению к пустыне, прислоненные к глыбам иссохшими лицами в сторону серебристой Земли, сидели все Братья в Ожидании, не дожившие до пришествия Победоносца.

Именно так — лицом к Земле, много сотен лет тому назад наказала оставить себя здесь первосвященница и основательница Братства, сама Ада, которая после ухода Старого Человека кончила дни в Полярной стране, не сводя глаз с Великой звезды над Пустыней. И так, по ее примеру, поступали со всеми братьями, которые умирали.

Вступивший в орден отрекался ото всего и больше не покидал Полярной страны ни живым, ни мертвым. Братья оставляли семью, не знали собственности, не вкушали горячей пищи и питья, блюли целомудрие, трезвость и послу-

шание старшему, а их первой обязанностью было ждать наготове. Время, которое в этом диковинном месте не знало смены дня и ночи, они проводили за молебнами, которые отслуживали на этом холме, обратясь лицом к Земле, а в промежутках рукодельничали. Умершие не рукодельничали, но на молитве всегда были рядом. Их не сжигали, не хоронили в могилах, а приносили сюда, на холм, и усаживали, прислоняя к глыбам, чтобы они смотрели на Землю и ждали Пришествия вместе с живыми.

А были и такие, кто, чувствуя близость кончины, сам просил сотоварищей отнести себя на холм, чтобы забыться вечным бдением, не отрывая глаз от лика Земли.

На холоде, в разреженном воздухе, тела не разлагались. И с течением времени братство мертвых стало многочисленней братства живых. Солнце совершало свои круги, а иссохшие тела несли свою службу, охладевшие, недвижимые, «ожидающие». Когда наступало новоземлие и Солнце оказывалось над или под еле брезжащим диском Земли, почерневшие лица отвечивали красным светом, который постепенно бледнел, уступая место мертвенно-синему, набирающему силу свечению Земли. В час полноземлия Братья в Ожидании выходили на холм на молебен, и когда они рассаживались между глыб среди мертвых тел так, чтобы Солнце оказывалось за спиной, воистину не отличить было, кто мертв, а кто еще жив.

Именно так сидели они накануне, живые и мертвые вместе, когда настал час свершения. И когда Элем воскликнул: «Он пришел!», то диву дался, что встретить Победоносца встали только живые, что мертвые так и остались сидеть и не подхватили гимна радости об исполнении сроков и окончании бед на Луне.

Чуть ли не с возмущением смотрел теперь приор на это скопище неживых, которые все еще несут свою службу, обратясь лицами к Земле, хотя их бдение бесцельно, уже лишено смысла. Ведь тот, кого высматривали издали, кого с нетерпением ждали, — уже здесь. Приору все еще мнилось, что изветшавшие, иссохшие, рассыпающиеся в прах тела обязаны хотя бы шевельнуться, а не такие давние, на вид как живые, должны встать и всей толпой направиться в низину, приветствуя того, кого дождались всю жизнь и потом.

Но мертвецы торжественно молчали, не нарушая беспредельной тишины. Элем медленно тронулся с места. Миновал нескольких братчиков, недавно усаженных на вечное бдение, и направился к вершине, к престолу священницы

Ады. На голой макушке холма издали был виден огромный, вечно озаренный солнцем валун, а у его подножья, на стороне, обращенной к Земле, на троне из черного камня скорчилось высохшее тельце святой пророчицы, которая воочию видела Старого Человека, — горсточка костей под почерневшей кожей, обернутая в священническое облачение коробом от обилия нашитых золотых украшений. У ее ног восседали настоятели и братчики несравненной святости, удостоенные такой чести в награду за добродетель.

Элем положил руку на подножие трона-саркофага и поднял взгляд на Землю. Та была в первой четверти, светлая и далекая, как всегда, с ясно различимыми на серебристом диске очертаниями морей и материков, известных лунному народу по давним и полузабытым пересказам.

Почему-то вдруг стало страшно.

— Мать Ада, — прошептал приор, касаясь ладонью иссохших ног. — Мать Ада, святая провозвестница! Как ты обещала, Старый Человек вернулся молодым к своему народу, он с нами. Мать Ада, восстань и приветствуй его!

Он бережно обхватил останки, собираясь поднять на руки, как вдруг из-за спины прозвучал голос:

— Не трожь!

Элем обернулся. Среди мертвых тел неподвижно сидел Хома, старейший из братчиков, впавший в детство под бременем лет. Хома сердито смотрел на приора, его седая борода тряслась.

— Не трожь! Не трожь! Цыц, говорю!

— Ты что тут делаешь? — спросил Элем.

— Жду по порядку. Моя смена.

И старик повел дрожащей, сухонькой ладошкой в сторону Земли.

— Срок ожидания кончен, — сказал Элем. — Ступай в лагерь. Победоносец там.

Хома покачал головой:

— От пророка Самийлы как сказано? Сказано: «И восстанут мертвые, дабы лобызать мечту живых очей своих». А мертвые, гля-ко, ждут. Стало, не явился еще Победоносец. Стало, какво ждали, таково ждем.

Внезапная ярость охватила Элема.

— Дурак ты со своими мертвецами! Как смеешь сомневаться, когда я говорю, что Победоносец явился? Мертвецы не встанут, потому что мертвы. Вот и все. Сами виноваты. Но мы им поможем, пусть и они поспразднуют.

С этими словами приор поднялся на пьедестал, снял рясу, завернул в нее останки Ады и со свертком в руках

направился в низину. Хома глухо вскрикнул и зажмурился, чтобы не видеть кошунства своего приора.

А тот не иначе как обрел решимость. Спустился в низину с первопророчицей на руках и завидя нескольких Братьев, поспешающих навстречу с розыском, он приказал им собрать все остальные тела и сложить штабелем на ровном месте.

— Их смена тоже кончена, — сказал он. — Отпускаеши ныне.

И тут завидел, что из сверкающей стальной машины спускается в тень на луг озаренная солнцем человеческая фигура. Победоносец!

Элем торопливо положил останки Ады на мох и побежал здороваться.

— Доброго здравия тебе, владыка, — с поклоном произнес монах.

При виде великана ростом вдвое выше лунных людей (а по преданию, именно таков был рост прародителей, которых привел с Земли Старый Человек) приор лишился самоуверенности и дара речи, тем более что объяснить с прищельцем было трудно: он говорил на диковинном наречии, похожем на сохранившееся только в самых древних книгах и давно уже темное для тех, кто не обучался грамоте.

Поняв затруднение монаха, пришелец улыбнулся.

— На Земле меня зовут Марком, — сказал он.

Элем еще раз склонил голову:

— Владыка, на Земле ты волен носить имя, какое тебе угодно. А у нас ты испокон веков зовешься только Победоносцем в знак одоления, которое тебе сопутствует.

— Знал бы ты, что мне в действительности довелось одолеть по дороге сюда! — сказал Марк. — Те-то были вместе, а я был один за все про все, — добавил он словно про себя, глядя в сторону далекой Земли над самым горизонтом.

И вновь обратился к Элему:

— Значит, вас не удивило мое прибытие?

— Мы о нем заранее знали.

— Откуда?

Элем изумился:

— Как «откуда»? Разве ты не пообещал Аде, когда уходил отсюда Старым Человеком? А потом, все наши пророки...

И с ужасом осекся, потому что Победоносец разразился буйным, неудержимым хохотом, какого вовек не слыхивали

в тихой Полярной стране. Хохотали губы, хохотали глаза, хохотало все молодое лицо, ноги подкашивались от смеха, хохотали бедра и ладони, хлопавшие по бедрам, как у развеселившегося ребенка.

— Так значит, вы... так значит, вы, — задыхаясь от смеха, еле выговорил он, — так значит, вы решили, что я — этот ваш «Старый Человек» семисотлетней давности? Ну, потеха! Тут, я гляжу, целую легенду наворотили! Прикажете мне корчить из себя что-то вроде божка китайского?.. Милые мои друзья земные! Если бы вы только знали, какой прием мне здесь устроили эти потешные малявки! Подойди сюда, мой папа лунский, дай я тебя обниму!

С этими словами он подхватил потерявшего дар речи Элема на руки, словно перышко, и пустился в пляс.

— Ах, ты, милашка! Честной потомок сумасбродов вроде меня! — воскликнул он. — Как я рад, что вы тут меня дожидались! Какая веселая жизнь начинается! Ты мне тут покажешь все интересненькое, а потом — потом, когда я буду возвращаться на Землю, обязательно прихвачу тебя с собой!

Опустил монаха на мох и продолжил:

— А вернуться я могу, как только захочу! Не то что те полоумные семейство лет назад, благодаря которым вы тут кишмя кишите!

Пришелец взял Элема за руку, как ребенка, и подвел к машине.

— Ты свидетель, я спустился здесь, а не где-то наобум в безвоздушной пустыне, из которой они потом еле выбрались! Вот это прицельность! В самый центр полярной котловины, посреди хаток, где вы меня дожидались без моего ведома! И соображай! — снаряд стоит внутри стального кожуха, как в пушке! Вот именно, шаман достопочтенный! Я прибыл в собственной мортуре, которая при посадке сама себя зарядила сжатым воздухом! Видишь, куда нацелена? Точно туда, откуда падала! Она стоит на опорах, которые вонзились в грунт — лучшего лафета не надо! Стоит мне войти, задранть люк и нажать кнопку — я вернусь на Землю! По той же траектории! Понимаешь? С математической точностью по той же самой, по которой прибыл!

Он говорил быстро, весело, нимало не заботясь, что монах не в силах угнаться мыслью за его речами. Во всем этом вихре восклицаний Элем с трудом уловил лишь

фразу «вернусь на Землю». Горло перехватило от жуткого страха!

— Владыка! Владыка! — еле вымолвил он, цепляясь судорожно воздетыми дланями за рукав небесного гостя.

Марк взглянул на Элема — очередная веселая шутка увяла на губах. Вид у Элема был ужасный. Крохотные ручки тряслись, в глядящих снизу вверх глазах застыли мольба, отчаяние и ужас.

— Что с тобой? В чем дело? — ахнул Марк, невольно делая шаг назад.

Отчаяние придало Элему храбрости.

— Владыка! Не возвращайся на Землю! Ведь мы тебя ждали! Владыка, пойми! Мы тебя ждали семьсот долгих лет! И вот ты вернулся и говоришь как-то странно, даже я тебя с трудом понимаю, о прочих и говорить нечего! А мы знаем только одно: если бы не вера в тебя, если бы не надежда на твоё возвращение, мы не выжили бы здесь в таких мытарствах, в нищете, в рабстве! А ты не успел прибыть, как говоришь, что снова покинешь нас!

Монах обернулся и отчаянным жестом указал на безмолвный скелетик Ады, который нес завернутым в свою рясу оттуда, где видны были разом Солнце и Земля.

— Гляди! Это Ада, священница твоя, она знала тебя, когда ты был здесь Старым Человеком, это ей первой ты обещал вернуться! Она ждала тебя здесь до конца своих дней! И потом, когда умерла, все равно ждала, обратясь взглядом к Земле, так же, как и мы, так же, как и вон те!

Он указал на розовую от солнца макушку холма, на копошащихся монахов — они поднимали мертвецов с их насиженных мест, чтобы принести сюда, к ногам Победоносца.

— Им ты уже не нужен. Им довольно, что ты пришел и кончилось их тяжкое посмертное бдение. Они стоят, чтобы уйти на вечный покой, здесь, в низине, где никогда не горел огонь, потому что мы тебя здесь ждали в шатрах без огня, как бы выйдя из дому всего лишь на часок навстречу гостю желанному. Но нам ты нужен! В тебе упование всех, кто рассеялся вдоль берегов Великого моря и по горам, по долам над потоками! А ты? Ты явился, ты затеял со мной игру и на том — и на том собираешься нас опять покинуть?

Элем говорил с чувством, почти торжественно, оправившись от испуга, из-за которого слова поначалу застревали

в горле. А под конец голос у него дрогнул, словно от горькой иронии, причинившей боль и ему самому.

Все веселье будто соскочило с Марка. Он смотрел на монаха широко открытыми глазами с таким видом, словно только сейчас понял, что его лихая вылазка на Луну нечаянно обернулась чем-то грандиозным, что ему неожиданно-негаданно наваливается неведомое бремя. Легенда, в которую он нехотя встрял, выходила не такой уж смехотворной — от нее повеяло страхом. Он потер лоб и окинул взглядом монахов, которые, собрав мертвые тела, молча укладывали их на мох лицом к нему.

— Чего ж вы от меня хотите? — против воли произнес он.

— Спаси нас, владыка! — воскликнул Элем.

— Спаси нас, спаси нас, владыка! — словно эхо, повторили хором Братя в Ожидании.

— Но что с вами стряслось? Расскажите же, наконец... — Голос пресекся. Марк глубоко вздохнул. — Что с вами?

Элем оглянулся на сбившихся в кучку братчиков и шагнул вперед.

— Владыка, — начал он. — Нас полонило зло. Нас полонили шерны. Когда ты уходил отсюда Старым Человеком...

Протестующим взмахом руки Марк прервал монаха. Сел на камень и кивком подозвал к себе.

— Ты прости меня, брат, — сказал он, кладя монаху руку на хрупкое плечико. — Прости, что я себя так вел. Но выслушай меня внимательно и постарайся понять. Я сделаю для вас все, что в моих силах, но я, — ты пойми! — я вовсе не этот ваш Старый Человек. Старый Человек умер здесь, на Луне, семьсот лет тому назад, в безвоздушной пустыне. Я знаю о нем и о вас только потому, что он перед смертью послал на Землю свой дневник в герметическом контейнере. Я прибыл сюда по своей охоте, я знать не знал, что здесь кого-то ждут...

Элем едва заметно усмехнулся. Недаром Ада писала когда-то, что Старый Человек упорно не хотел, чтобы кто-то знал, что он — Старый Человек. Вот и Победоносец не хочет. И монах потупился, притворно соглашаясь с тем, что слышит.

А Марк продолжал:

— Но прибыл. И раз вы во мне нуждаетесь, я готов... Не знаю, по силам ли мне то, чего вы от меня ждете. Кто такие шерны? Это что, здешние первожители?

— Да. Они ужасны. С той поры, как ты... То есть с той

поры, как нас покинул Старый Человек, вся наша история — это непрерывная война с их жестоким игом. Там, на Теплых Прудах, где поставили первый поселок, в подземелье спрятаны священные книги. Нам здесь книги не нужны, мы передаем рассказ о тебе из уст в уста, а там есть и книги. В некоторых предсказано твое пришествие. А все остальные начинаются со слов: «Да узнает, да ведает Старый Человек, когда вернется Победоносцем, горькую судьбину народа своего». И вправду там почти нет страниц, которые говорили бы о чем-нибудь другим, а не о горькой судьбине твоего народа, владыка. Там записана вся наша история. Когда ты окажешься на Теплых Прудах, о владыка, и прочтешь эти книги, ты узнаешь, что шерны измываются над нами вот уже семь веков. Сразу же после тво... после ухода Старого Человека они переправились через Великое море и напали на наши жилища. Бывали времена, когда нам было вообще не вздохнуть. Они жгли дома, истребляли нашу молодежь, угоняли в полон женщин. А нынче, нынче, когда ты возвратился, о владыка, мы переживаем самые худшие времена. Все селения человеческие к северу от Великого моря до самых пределов пустыни находятся под владычеством шернов. На Теплых Прудах, рядом с престолом первосвященника, они посадили своего наместника, он властвует над нами из своей крепости и собирает с нас дань. С шернами заключен мир, владыка, но пусть лучше смерть, чем такой мир. Полярная страна, где мы тебя дожидались, — единственное место, куда не достает их вражья сила. Они страшатся вида благословенной Земли, они зовут ее злой и стократ проклятой звездой, будто в зверином невежестве своем чувствуют, что оттуда должен явиться ты, нам избавление, а им разгром и управа. Спаси нас, владыка!

— Спаси нас, спаси! — хором воскликнули монахи, прихлынули, стали целовать Победоносцу ноги. Отрекшиеся от семей и имущества ради ожидания, сейчас они вспомнили, что там, в порабощенной стране, живут их друзья и родичи, и начали наперебой и беспорядочно рассказывать о причиненных шернами бедах, о смертях, о пепелищах и притеснениях.

Сквозь эти стенания, сквозь ненависть, которой дышали голоса, упрямо и внятно звучало только одно:

— Спаси!

Марк сидел на камне, хмурый, губы плотно сжаты. Он долго что-то взвешивал в мыслях, хотя молящие голоса давно примолкли и вокруг воцарилась тишина, полная трепетного ожидания. Был миг, он невольно глянул на свою

сверкающую машину, готовую к отлету, — юркнуть бы туда и умчаться в межпланетное пространство обратно на Землю! Но эту мысль он разом отбросил. На молодом лице обозначилось некое твердое решение.

— Каковы эти шерны? Они похожи на людей? — спросил он.

— Нет-нет! Они страшилища!

— Страшилища-страшилища! — нестройно подхватили монахи.

Марк вопросительно глянул на Элема. У того на лице читалось отвращение, граничащее с болью. Элем потупился, помолчал и пробормотал:

— Они страшилища. Сам увидишь, владыка.

— Я сейчас хочу знать. В них есть что-нибудь человеческое?

— Ничего. Разве что разум. Но и тот не человеческий, потому что не различает добра и зла.

— Как они выглядят?

— Они меньше нас. Да, еще меньше. У них есть крылья, но летают они плохо. Умеют подавать голос и понимают человеческую речь, но между собой объясняются цветными пятнами на лбу... Страшилища они! Мерзкие! Мерзкие и поганые!

Марк встал. Сгрудившиеся братчики попятись. Неподалеку высился огромный штабель мертвых тел, собранных с освещенного солнцем холма. Шатры были сняты, колья и полотнища подложены под штабель, чтобы у огня был корм по нраву. Заметив, что Победоносец смотрит на штабель, Элем прервал рассказ и вопросительно заглянул Марку в глаза.

— Сожжем? — колебавшись, спросил монах.

Марк не ответил. Монах шагнул поближе и повторил вопрос:

— Зажечь костер? Пора ли им на покой, а нам к людям? По домам, к нашим близким, которых мы много лет как покинули?

Не вдруг и явно колеблясь, Марк все-таки кивнул.

— Да, — помедлив, вымолвил он. — Знать, такая судьба...

Через полтора десятка часов, когда они пустились в путь по извечной дороге через ущелье, которым Полярная страна соединяется с обитаемым миром Луны, позади в опустевшей низине догорал огромный костер, сложенный из тел умерших братчиков упраздненного нынче ордена и больше никому не нужных шатров. Марк оглянулся: над низиной

стелился дым, солнце сквозь него виделось тускло-красным, а пепельно-серебристого краешка Земли над самым горизонтом было почти не различить...

У ручья повстречался народ из ближних поселков. Весть о пришествии Победоносца уже разошлась, и люди спешили приветствовать его. Марк с интересом разглядывал карликов, среди которых было несколько женщин, хоть и малорослых, но довольно миловидных. А люди падали перед ними, не иначе как с обожанием прикасались к одежде и что-то тараторили на странном языке, в котором ухо с трудом различало искаженные почти до неузнаваемости польские, английские и португальские слова.

При первой встрече превозмогло любопытство, и он не придал значения тому, как его встречают эти человечки. Однако потом, по мере появления новых стаяк, попытался было охладить пыл идолопоклоннического обожания, которым его окружили. Но вскоре убедился, что бессилен. Укоряемые либо не разумели, чего от них хотят, либо воспринимали выговор как порицание за бог весть какую провинность и пускались в оправдания, чередуя их с проявлениями безграничного раболепия. А когда он силился объяснить, что ничем от них не отличается, хоть и прибыл с Земли, малыши лукаво улыбались, точь-в-точь как Элем, в ответ на слова, что Старый Человек давным-давно умер и у Марка нет с ним ничего общего.

Прекратив напрасное сопротивление, Марк отложил выяснение этого диковинного недоразумения на более подходящее время. И шествовал к Великому морю со свитой приверженцев, которых не ждал, не гадал, словно молодой, светозарный бог, вознесенный над покорным скопищем ревнителей.

Мужчины мелкими шажками забегали вперед и, вероятно, на что-то жаловались (он их плохо понимал и постоянно звал на помощь Элема; тот, будучи грамотен, знал «святой язык», а именно польский, на котором когда-то говорил Старый Человек), каждый твердил о своих обидах, ссорах и заботах, каждый взывал о возмездии врагам или награде вперед всех прочих, потому что именно он того заслуживает. Из-за этого на ходу возникали перебранки, а иногда и стычки, которые не раз вызывали у Марка невольный смех.

Женщины вели себя более сдержанно. Они шли чуть в сторонке, удовлетворялись тем, что смотрели на него округлившимися, восторженными глазами, а стоило подозвать какую-нибудь, та молча бросалась прочь, словно спугнутая

лань. Как-то раз он при них шутливо упомянул о шернях. И увидел, как они при одном звуке этого слова бледнеют и сбиваются в робкую стайку, с неизреченным ужасом поглядывая на своих мужей и спутников.

— Владыка! Воля твоя, но при женщинах лучше не говорить о шернях, — подсказал Элем.

— Почему?

Монах потупился:

— Ужасные дела творятся...

Он не договорил, потому что в толпе паломников возникло внезапное смятение.

Близился к концу первый день странствия, шествие как раз достигло равнины, поспешая добраться к ночи до Старых Источников, где семь веков назад впервые была открыта нефть, как вдруг паломники и монахи, вся свита Победоносца, сгрудились и закричали, указывая руками в сторону ближних зарослей. Марк глянул туда и увидел человека ростом чуть выше здешнего. Вынырнув из чащи, человек вскарабкался на придорожный утес и оттуда принялся выкрикивать что-то: может быть, издевки, может быть, проклятия. Ему ответил град ругани. Кое-кто схватился за камни, но те не долетали, женщины с криком прятались за спины мужчин, а монахи плевались и осеяли себя святым знаменем Пришествия.

— Выворотень! Выворотень! — несло со всех сторон.

Человек на скале глумливо расхохотался и прицелился из лука. Свистнула стрела. И вонзилась в горло молодой женщине, которая искала убежища у самых ног Марка.

Раздался общий крик ужаса. Сверху ему ответил торжествующий наглый смех. С непостижимой быстротой натягивая лук, человек на скале осыпал сбившуюся вниз, перепуганную стайку градом стрел. Одна из них оцарапала Марку лоб, оставив широкую кровоточащую помету. Марк, не раздумывая, выхватил из-за пазухи оружие и выстрелил.

Выстрел оказался метким. Человек на скале выронил лук, взмахнул руками и без крика полетел вниз головой на придорожные камни. Несколько мужчин бросилось к нему, принялось раздирать кожаный панцирь на груди. Марк думал, что они ищут рану от неизвестного им огнестрельного оружия, но они, обнажив на боках упавшего симметричные багровые отметины в виде шестипалых ладоней, снова подняли крик: «Выворотень!» и стали добывать кам-

нями раненого, который еще дышал, брызжа кровавой пеной с губ и вода глазами по сторонам.

Марк в ужасе бросился к ним.

— Мерзавцы, прекратите! — крикнул он. — Это же человек! Лежачего не бьют!

Элем остановил его:

— Не вмешивайся, владыка. Он не человек. Он выворотень.

И, встретив вопрошающий взгляд Марка, прибавил, по обычаю потупясь:

— Я потом расскажу тебе, владыка. Не вмешивайся. Хорошо, что его прикончили.

Тело неизвестного превратилось в кровавую кашу, а град камней не прекращался. Марк с омерзением отвернулся от этого зрелища, а монахи хороводом окружили его, заплясали и затянули что-то вроде победного гимна:

— Явился Победоносец!..

— Метнул стрелу громовую!..

— Отныне Луна для людей!..

— Слава Победоносцу, где ступит его нога!

Марк молча разорвал круг плясунов и зашагал вперед. Там, где дорога, видимо, поблизости от обжитых мест окончательно сворачивала на равнину, видна была необъятная ширь, усеянная кольцеобразными холмиками. Именно с этого места тот же самый ландшафт открылся глазам Старого Человека, когда он был так же молод, как нынче Марк.

Он присел на придорожный камень и глубоко задумался. Сам дивился, что никак не удастся ясно выразить собственные мысли. Глядел на бескрайний простор, позолоченный лучами заходящего солнца, на черные круглые озера тут и там, и думалось о том, что впервые после прибытия в Полярную страну вечного полувосхода он видит закат солнца на Луне и это пронизывающе печальная картина. Думалось о том, что его беззаботный, веселый нрав как испарился неведомо куда за сотню-другую часов и что со странным стеснением сердца стремится он к далекому морю, где решится его судьба, так неисповедимо сплетенная с самой сутью человеческой истории на Луне. И вдруг охватила острая тоска по Земле, которую он, безрассудный и охочий до всего неизведанного смельчак, казалось бы, так недавно, смеясь, покидал. Был миг, хотелось вскочить и бежать прочь отсюда в Полярную страну, в свою сверкающую машину, которая там стоит готовая в обратный путь, но тут же какая-то непонятная вялость нахлынула, и, опершись локтями о колени, он спрятал лицо в ладонях.

— Обещал ведь не спорить с судьбой, — прошептал он. От задумчивости его пробудило легкое прикосновение. Он поднял взгляд. С видом беспредельной, слепой, мучительной тревоги перед ним стояла на коленях пожилая исхудавшая женщина. Руки и губы у нее лихорадочно подрагивали, сквозь сведенные страхом зубы едва пробивался сдавленный голос.

— Владыка, — простонала она, — ты все знаешь... ты так на меня глянул... я поняла, что ты знаешь... но я не виновата, владыка! Шерны меня силком похитили!

И вдруг, обезумевшая от страха, кинулась ему в ноги, крича:

— Владыка! Победоносец! Помилосердствуй! Не выдавай меня, ведь меня живой в землю закопают! Я знаю, такой закон, но я же не виновата!

Она билась лбом о гальку, содрогаясь от отчаянных рыданий. Говорить больше не могла, у нее стучали зубы, и слова перемалывались в невразумительные, молящие вопли.

Марк вскочил. Как обухом по голове, поразила чудовищная, невероятная мысль. Он схватил рыдающую женщину за плечи и поставил перед собой. Она со всхлипом смолкла и уставилась на него вытаращенными глазами, словно сей миг ожидая смерти.

— Как тебя зовут? — спросил он, не узнавая собственного голоса.

— Неэм.

— А этот... выворотень?.. Которого убили?

— Да, владыка, это мой сын! Но я же не виновата!

Она норовила поцеловать ему руку. Но Марк отдернул руку и крикнул:

— Твой и чей еще?

Женщину снова затрясло.

— Владыка! Нет на мне вины! Шерны меня силком похитили! Об этом никто, кроме тебя, не знает! Все думали, я на поклон ушла к Братьям в Ожидании. Я пряталась. Владыка! Знаю, надо было его удавить, как только родился, но не сумела я, ты прости, рука не поднялась! Ведь не кто-нибудь, сыночек он мне!

Потеряв над собой власть от бесконечной гадливости, Марк оттолкнул женщину и закрыл лицо руками. Отвратительная история! Мерзкая! Всем законам физиологии вопреки! С ума можно сойти!

Сзади раздались возгласы свиты, пустившейся наконец

вдогонку. Потерев виски, Марк кое-как овладел собой. И быстро сказал женщине, распростертой ниц перед ним:

— Неэм, встань. И не бойся.

Спрятал руку за спину от ее благодарного движения. Не мог пересилить себя и глянуть на нее.

Остаток дневного пути он проделал молча. Когда показался поселок на равнине при Старых Источниках, уже вечерело. Из низких каменных домиков, вкопанных в почву ради защиты от ночных холодов, навстречу близящемуся Победоносцу высыпало все население, зазвучали радостные клики, но Марк почти не слышал их. Он шел среди ликующей толпы с угрюмым видом, особенно избегая взглядом женщин, каждая из которых могла быть точно так же осквернена, как та, что недавно валялась у него в ногах. Народ смотрел на его посуровевшее лицо, толковал эту угрюмость как залог скорой и решительной расправы с шернами. Многие издали любовались его громадным ростом и могучими мускулами, в приступе богобоязненности мечтали коснуться и не смели и громко ворожили, какое бедствие несут эти могучие руки поганым шернам.

Для ночной зимовки ему отвели лучший дом в поселке. Вообще-то говоря, здесь, как и во всяком поселке на Луне, по давнишнему указу Братьев в Ожидании был возведен особый дом, именуемый «Домом Победоносца». Там никто не должен был жить, однако содержать дом следовало в полной готовности, чтобы Победоносец, явившись, ни на миг не остался без крова. Но поколения приходили и уходили, а Победоносца все не было, так что дом сперва покинули в небрежении, потом потихоньку разорили, а кончили тем, что превратили в общественный амбар. Жить в нем теперь было не с руки. Выход нашелся: выселили вон старосту, который заодно был и местным священником.

Когда ввечеру Марк избавился от общества, он приказал, чтобы к нему незамедлительно явился Элем. Тот явился, впервые в праздничном алом облачении, с серебряной диадемой на голове, в том виде, в каком только что прочел проповедь о пришествии Победоносца в здешней церкви. Явился и почтительно замер у входа.

В слишком низкой для такого великана хатке Марк мог только лежать на связке шкур возле растопленного очага, поставив в изголовье нефтяной каганец. Когда вошел Элем, Марк приподнялся на локте и нехорошо посмотрел на монаха.

— Кто такие выворотни? — спросил врасплох.

Элем побледнел, на сухоньком личике мелькнула тень не иначе как жгучего стыда и ненависти.

— Владыка...

— Кто такие выворотни? — запальчиво повторил Марк. — Это дети?..

Он не договорил, но монах понял.

— Да, владыка, — тихо сказал он. — Да, это дети шернов.

— Стало быть, ваши женщины отдаются этим тварям?

— Нет, владыка. Не отдаются.

— Так как же?..

Марк резким движением сел на скурах.

— Да вы же тут озверели! Слыхали мы про такие штучки! На Земле тоже когда-то болтали про чертово семя! Да вас самих впору побить камнями, а не этих бедолаг! — Он задохнулся от ярости. — Иди сюда! И не юли, говори, откуда взялись сказки о детях шернов, в которые даже ваши женщины сдуру поверили!

— Нет, владыка, это не сказки.

Марк окинул монаха изумленным взглядом.

— Владыка, дай слово сказать! У шернов есть удивительная сила. У них под крыльями, под самой перепонкой, есть вроде как руки с шестипалыми ладонями, только змеистые, на все стороны гнутся. Все тело у них короткой черной шерстью покрыто, она густая, мягкая и блестит, только лоб и эти ладони — голые и белые. И в этих ладонях...

Он глубоко вздохнул и отер пот со лба. Знать, нелегко было говорить о таких жутких вещах.

— Вся сила у них в этих ладонях, — продолжил он, переводя дух. — Если сразу обеими шерн коснется нагого тела человеческого, с человеком делается судорога, это очень больно, а бывает, и смертельно. Так бьет от некоторых морских рыб. А если такое приключается с женщиной...

Марк невольно вскрикнул.

— Если это женщина, или сука, или еще какая-нибудь самка, она от этого зачинает и родит. И детеныши получают на вид как должны быть, а на самом деле такие же злобные и коварные, как шерны...

— Ты уверен, что это действительно так?

— Да, владыка.

Оглушающим вихрем пронеслись беспорядочные мысли. Непостижимо! И вдруг вспомнилось про опыты каких-то земных биологов: они воздействовали на неоплодотворенные

яйца с помощью механического сотрясения или химических реактивов; этим вызывалось клеточное деление, и начиналось развитие плода. Вероятно, в конечностях этих лунных тварей заключается способность производить электрический разряд или выделять какую-то эманацию, которая путем встряски организма вызывает самооплодотворение.

— Да нет же! Этого не может быть! — громко сказал Марк, смиряя кончиками пальцев бешеное биение в висках.

— И все-таки, владыка, это именно так. Ты сегодня сам убил выворотня.

— Откуда ты знаешь, что он был выворотень?

— Там, где женщины коснулись руки шерна проклятые, у нее остаются багрово-синие пятна. Точно так же и выворотни мечены. Ты сам видел. Мы убиваем их. Истребляем, потому что они хуже шернов: на вид как люди, а повадки-то шерновские — сплошная злоба и вероломство.

Воцарилась глухая тишина.

Наконец Марк привскинул голову и полубеззвучно спросил:

— И часто такое бывает?

— Нет. Теперь не часто. Женщину, которая хоть на миг оказалась наедине с шерном, мы без суда живой закапываем по шею в землю и оставляем так, покуда не умрет от голода и жажды. Но прежде... — Монах говорил с запинкой. Не иначе как его человеческая гордость, привитая здесь далекими предками с Земли, невыносимо страдала от таких признаний. Он потупился, не в силах выдержать горящего Маркова взгляда, и вполголоса закончил: — Прежде выворотней было очень много. К счастью, они бесплодны. Мы их истребили. Уничтожили. Ни мы их не щадили, ни они нас. Теперь они попадают редко. Разве что шерны женщину украдут.

— А раньше? А сами женщины?

Элем отрицательно покачал головой:

— Нет. Никогда. Говорят, это боль жуткая. От судороги даже кости трещат, не выдерживают. Но-о...

— Что «но»?

— Но было время, нам в знак покорности приходилось...

— Отдавать им ваших женщин?

— Да. По десять в год. Им нужны выворотни. Нам ненавистные, шернам они верны как собаки. А сами шерны работать не любят.

Марк закрыл глаза. Знобило, хотя в помещении было тепло от пылающего очага.

— И эти женщины... они навсегда оставались у шернов? — спросил он, не глядя на монаха.

— Нет. Шерны их потом убивали или отправляли обратно, когда состарятся.

— А вы?

— А мы убивали сразу же, — монах помедлил и пояснил: — поскольку выворотней рожали.

В тишине, которая настала после этих слов, слышны были только удары ветра, взметающего хлопья снега, которым всю долгую ночь, длящуюся четырнадцать земных суток, покрыта лунная почва.

Марк долго молчал, не отнимая ладоней от лица. Наконец убрал руки и, насупив брови, сказал сам себе громко и твердо:

— Один выход — победить.

Элем радостно всплеснул руками, но Марк его как не видел. Он смотрел куда-то в неизвестную даль, где, неожиданная-негаданная, крылась его судьба.

Глава III

Авий настолько презирал ничтожеств, втершихся на Луну и называющих себя людьми, что не стал отправлять челядина с вопросом, почему на закате не была доставлена положенная дань и как понимать враждебную возню, затеянную на исходе дня вокруг замка о трех шпилях на берегу моря. Он просто принял решение: поселок на Теплых Прудах должен быть сожжен, а все население истреблено. Но не отдал приказа, которого томительно ждали топчущиеся вокруг выворотни. Понимал: гарнизон невелик; в случае сопротивления, — а вокруг замка копошились вооруженные люди, это он видел, — бой завяжется не на шутку и, как знать, чем кончится. Предпочел выждать до прибытия подкрепления. Поскольку именно в эту ночь под утро в замок должна была прибыть смена гарнизона и отряд с обозом для доставки за море собранной дани.

Крепостная башня, где обитал Авий, стояла посреди палисада, окруженного могучими стенами и примыкающего к небольшой укрепленной гавани. Шерны, составлявшие свиту Авия, а в еще большей степени — немногочисленные выворотни, носа не смели высунуть за ворота, зная, что

договоры договорами, а их там поджидает верная смерть от рук ненавистного и ненавидящего населения. Но под защитой стен они чувствовали себя в безопасности. Полагались на толщину кладки, а еще больше — на свои страшные прозвания, которые заставляют любое человеческое существо держаться подальше. За убийство и даже за нападение на шерна мечь полагалась жестокая. О выворотнях не очень печлись, если кто-то из них забирался в глубь страны и там пропадал без вести. Хотя и составляли выворотни надежную челядь, шерны презирали их почти так же, как и людей.

Притом в случае серьезной опасности из замка всегда открыт путь к отступлению: днем — на кораблях, ночью — на буерах через замерзшее море. На буерах каждую четвертую ночь прибывали сюда за данью сородичи Авия. Вот их прибытия и поджидал наместник.

Однако от отдачи кровожадного приказа удерживала не столько здравая мысль военачальника, сколько отроду свойственная шернам лень. Надобно решиться, надобно кликнуть выворотней, да еще изволь им приказы отдавать!.. Мысленно он с наслаждением представлял себе, как играет пламя в ночном мраке, как звучит предсмертный хрип угодивших под нож, но лень было шевельнуться и вымолвить слово.

Он подремывал на широком ложе, набросив на блестящий густой мех мягкое красное покрывало; ноги с острыми кривыми когтями подтянуты под себя, ужасные шестипалые ладони укрыты под складками широких, перепончатых, нетопырьих крыльев. Рядом на медных треножниках курились изысканные благовония, шерн с наслаждением вдыхал приятный, одуряющий аромат. Затуманенный, сонный взгляд двух пар налитых кровью глаз устремлен к дверям, где, скорчась от холода, приятного господину, несли караул шестеро выворотней.

Подумалось, что уже полночь, пора бы смене и обозу быть на месте. И надо бы распорядиться, а все не хотелось. Выворотни с трудом и смутно понимали язык цветных пятен на белом фосфоресцирующем лбу шерна, а голос подавать уж и вовсе охоты не было. Расправил чуть занемевшие крылья, повел ими и с урчанием зевнул, распахнув беззубую пасть, окаймленную роговым наростом в виде широкого и короткого клюва с крючковатым зацепом посредине.

Выворотни напряглись, как свора хорошо выдрессированных собак, а один из них, детина по лунным меркам

громадного роста, с сине-багровой шестипалой отметиной на щеке, вмиг оказался у ног господина и подобрался на полу, вопросительно заглядывая в налитые кровью бельма влестителя.

— Смена прибыла? — промерцал ему шерн.

Выворотень, его звали Нузар, съежился, отчаянно заморгал и простонал:

— Господин...

Авий проскрипел:

— Тупица! Что псы, что люди, что вы — изволь голос вам подавать! Смена прибыла, я спрашиваю?

— Еще нет, господин, но уже на подходе.

— Дурак.

Повернулся на другой бок и велел подбросить в курильницы. Выворотни с их человеческими — куда денешься? — легкими задыхались в невыносимом, густом дыму. Но не смели признаться в этом: срам не наслаждаться тем, что доставляет удовольствие высшему существу, самому шерну!

Тем временем Авий прикрыл подглаза, служившие для ближнего зрения, а дальнорезкие надглаза, в которых окружающие предметы расплывались в неясные пятна, устремил во мрак, предвкушая, каково налюбуется резней с высоты своей башни.

— Как прибудет смена, — скрипнул он, помолчав, — подожжете поселок.

— Может, не дожидаться? — чуть громче откликнулся Нузар, у которого разом вспыхнули глаза.

— Проглоти язык, пес, и слушай, что говорят. Вырезать всех. Разрешаю. Не доставлена дань. И так мне угодно. Крохабенну — псам на съеденье. Стар для меня, жесткое мясо. За полдня не размякнет. При нем там девка болтается... — Авий прищелкнул языком о роговой клюв.

— Ихазель ее зовут, — угодливо сунул еще один выворотень, видать, из молодых, да ранний.

— Молчи, щенок. Может, от нее выворотни будут поумней, чем вы...

Вот как только прибудет смена...

Но смены все не было. Так и ночь прошла, и только ближе к рассвету двое шернов, дозор из приближенных Авия, доложили, что на море показались паруса бue-ров.

Наместник будто разом переродился. Вскочил, взмахнул тяжелыми крыльями и издал пронзительный визг, означающий то, что у людей именуется смехом.

— Пусть немного отдохнут и знатно погреемся. — По-мрачнел. — Жаль, ночь кончается. Эх, ночью бы...

Стоявший у окна Нузар обратил к наместнику свою меченую рожу:

— Может, выйти навстречу, оказать помощь? Замок окружен. Кругом палатки под снегом. Всю ночь сторожили. Даже на льду посты расставлены.

Авий метнулся к окну и вгляделся дальнозоркими над-глазами сквозь предрассветную мглу туда, куда указывал Нузар. И впрямь вокруг замка сплошным двойным кольцом замкнулись округлые сугробы, под которыми угадывались палатки. Тут и там курился дымок — значит, бодрствуют. Именно к этим сугробам со стороны замерзшего моря лете-ли подгоняемые ветром крылатые буера шернов.

Наместник пристально вгляделся и вдруг весело разинул жуткий клюв:

— Не нужна твоя помощь. Струсили. Смотри!

Действительно, при виде несущихся буеров осаждающие разомкнулись, пропуская подкрепление в замок. Но то, что Авий почел за переполох в их стане, на деле было хитро-стью Ерета, который со своими людьми прикрыл самый важный участок — на льду против гавани, по небрежению не занятый солдатами первосвященника. Ерет опасался, что в случае ночного боя шерны этим путем могут выслать гонцов, чтобы поднять тревогу в своих заморских логовах. Проходу в замок небольшого отряда Ерет мешать не стал, но, как только тот проследовал, кольцо осады снова сомкну-лось, чтобы из крепости никто не вырвался.

Тем временем рассвет приближался, и не успели припоздавшие шерны отдохнуть после трудов ночного похода, как на Теплых Прудах, в главном поселении человеческой лунной страны, закипело. Лучи восходящего солнца, скользя вниз по снежным склонам Отеймора, добрались до морского берега, и люди Ерета спешно покидали свои посты на льду, который вот-вот должен был начать трескаться, когда гонцы с севера дали знать, что Победоносец снялся с ночлега и вскоре окажется здесь, где его ожидает лунный народ.

Радостная весть мгновенно разошлась по поселку. А многие еще раньше, не дожидаясь наступления утра и не побоявшись мороза, чуть рассвело, повалили из домов на ближайший пригорок, откуда была видна заснеженная равнина. Солнце медлительно выныривало из-за моря, золотые лучи перебрались наконец через пологую возвышенность, к которой жался городок, и длинные тени ожидающих дале-

ко-далеко простерлись по ровному полю, посланниками пострадавшего народа стелясь под ноги близящемуся.

А он шагал лицом к восходящему солнцу по тающему снегу, по рвущейся сквозь него охочей пожить лунной зелени, сам светлый и сияющий как солнце, радуясь яркому утру после долгой ночи и предвкушая, как услышит рокот прибора на морском берегу. Молодой, отважный, бодрый, он радовался жизни и своему удивительному приключению, начисто позабыв о сомнениях и унынии, терзавших его накануне вечером и всю ночь, которой, казалось, так и не будет конца.

И нынче вовсе нетрудной представлялась ему неволей взятая на себя роль, которая вчера (ах, это вчера, отдаленное на целых две земных недели!) представлялась таким пугающе тяжким, невыносимым бременем. С едва ли не детской радостью в сердце, которому еще не исполнилось тридцати, он тешил себя мыслью, что явился сюда юным победоносным богом, посланцем далекой звезды, который освободит и осластливит лунный народ, а потом улетит на родину через бездну пространства, провожаемый как благодетель, навеки запечатленный в здешней памяти народной. Представлялось, как когда-нибудь, возвратясь на Землю, он укажет на ясный восходящий месяц и скажет: «А я там был, совершил там доброе дело, и теперь там, в небесной вышине, благословляют мое прозвание». В этот час как-то само собой разумелось, что такого выдающегося поступка, как межпланетный перелет, вполне довольно, чтобы возыметь право отождествиться с образом избавителя из многовековой легенды, а с этим правом принять на себя и обязанность по мере сил осуществить то, чего от этого избавителя ждут. А и впрямь — разве не видится перст судьбы или воля провидения в том, что именно он добрался до Луны, где ждали, дожидаться не могли чудо-богатыря Победоносца со звезды небесной?

Вот о чем думал он, шагая берегом ручья, сбросившего ледяные оковы, ступая по диковинным травам и цветам, торопящимся жить после ночного обморока, и сердце через край наполнилось гордостью, а в жилах гудела куда как уверенная в себе мощь. Он улыбался семенящим рядом «гномикам» и вместе с ними радовался восходящему солнцу нового дня. Он, как и все люди веселого нрава, был само добродушие, он дружески заговаривал с теснящимися вокруг малявками, улыбался женщинам, и даже на горемычную Неэм, которая с минуты своей ужасной исповеди ни на шаг от него не отходила, жалась к ногам, как собачонка,

нынче он посмотрел иначе. Нынче он жалел ее и, уверенный в собственных силах, радовался, что с его приходом настал конец всевластию шернов и такому издевательству над людьми. С этой мыслью он улыбнулся женщине, видя, как она норовит поймать его взгляд, и погладил ее по голове.

— Владыка, какой ты добрый! — воскликнула та с выражением собачьей благодарности в широко открытых подвыщевших глазах.

— Почему ты зовешь меня добрым? Ведь я же убил твоего...

— Да-да, владыка! Убил, но ведь он же был выворотень, он посмел поднять на тебя руку, — поспешно ответила Неэм, глядя на след царапины у Марка на лбу. — А ты все равно вступился, когда его камнями побивать стали, ты сжалился надо мною, несчастной! Если бы узнали...

Неэм содрогнулась и съежилась от внезапного приступа страха.

Марк хотел ответить, но вокруг зашумели, поднялся крик, откуда-то издали донесся ответный. Их заприметили в поселке на Теплых Прудах, поджидавший на стенах народ хлынул навстречу с радостными возгласами, мешаясь со свитой Победоносца. Городские ворота распахнулись, пропускающая депутацию именитых людей.

И как-то так получилось, что впереди, окруженный орденской братией, оказался Элем. Степенный, торжественный, в алом священническом облачении, он возглавил шествие, которое направлялось к воротам, раздвигая теснящую толпу...

Крохабенны среди встречающих не было. Городские старшины приходили за ним, но он отослал их со словами, что будет ждать Победоносца на паперти собора, примет небесного гостя там, где когда-то жил Старый Человек. Оставшись один, он позвал Ихазель и, удалив служек, попросил помочь одеться. Из накрепко запертых, окованных медью и золотом укладок приказал достать самые пышные облачения: старинные ризы, расшитые руками набожных прихожанок, шубы из самых дорогих мехов с золотыми застежками, пояса, унизанные драгоценными камнями так густо, что под них приходилось подкладывать кожаные подушечки, чтобы не натереть бедер.

— Ведь в последний раз! Нынче ведь в последний раз, — твердил про себя, глядя, как суетится Ихазель.

Наконец выбрал: алую ризу до пят, расшитую цветами, которых на Луне не бывает (говорят, такие якобы растут

на Земле); наборный пояс, отделанный желтой костью, золотом и самоцветами, когда-то принадлежавший первосвященнику и пророку Рамидо; драгоценную мантию из меха живьем ободранных шернов. Эту мантию, изготовленную в память победы несколько сотен лет тому назад (увы, редки были такие победы в истории лунного народа), ценили наравне с величайшими святынями и вместе с ними хранили в подземелье. Там по указанию деда и сыскала ее Ихазель, заодно нашла и старинный клубок, с которого чуть ли не до пояса свисали янтарные и жемчужные поднизи, а на золотом начельнике, украшенном затейливой чеканкой, окруженный изумрудами сказочной величины, сверкал алмаз, который, по преданию, носил когда-то сам Старый Человек.

Крохабенна надвинул клубок на волосы, подобранные под священный золотой обруч, обул белые сандалии, унизанные рубинами, поправил на груди золотую панагию и отяжелевшей от перстней рукой потянулся за резным костяным посохом.

Старик еле передвигался под тяжестью такого облачения — Ихазель взяла его под руку и повела в собор. А он на каждой ступеньке останавливался, глядел по сторонам и что-то неразборчиво бормотал. В большом зале подошел к главному амвону, оперся рукой о золотой знак Пришествия на нем и отер пот, ручьем бегущий со лба.

— Ведь в последний раз! Нынче ведь в последний раз, — прошептал он, и было видно, как трясется у него голова под первосвященническим клубуком.

Ихазель сделала несколько шагов вперед. Вплоть до этого мига молчаливо послушной, ей вдруг стало душно в пустом и гулком соборе. Она остановилась у распахнутых во всю ширь входных дверей, привалилась плечом к одной из алебастровых колонн, поддерживающих карниз, и глянула вдаль, за город, на окрестную равнину. Где-то там близятся стопы Победоносца. Был миг, послышалось, что дед за спиною всплакнул. Черты ее лица болезненно напряглись, но Ихазель не шевельнулась. Безотчетным, почти сонным движением закинула руки к затылку и перебросила вперед, на грудь, просящуюся из-под разреза темно-лилового платья, снопы длинных золотых волос. В виски ударило жаром, алые губы вздрогнули — она прикрыла огромные черные глаза и вслушалась в тихое и светлое пение собственной души.

— О, приди, приди!.. Выйду я навстречу из храма темного, паду на золотой песок коленями и загляжусь в твои

очи, светлые, как звезды, с которых ты мне явлен! Явлен мне, ибо есмь чаша, по края полная тоскою поколений, дальней родной звезды не позабывших, есмь та любовь, что взлелеяла пришествие твое, есмь венец красы скорбящих изгоев, лишенных наследия отчего. Так приди же, лучезарный, победоносный, божественный!

Жаркая волна всколыхнулась, сладкой тяжестью грудь сдавила. Сумрачный собор расплылся перед глазами, заиграло море света и сияющей зелени.

Отдавшись трепетному полубытью, Ихазель замерла в неподвижности, а очнулась лишь от топота и крика набежавших невесть откуда людей. Звали первосвященника.

Победоносец вступил в город и близился к собору.

Ихазель встрепенулась. Сердце готово было вырваться наружу от внезапно нахлынувшего страха — скорее в бегство! в укрытие! — но тут же охватило беспредельное, волнуемое бессилие. В порыве умерить сердцебиение прижатой к груди ладонью, с затуманенным слезами взором, Ихазель без звука осела на пол у подножия алебастровой колонны.

Как сквозь сон увидела она деда, который словно вдруг преобразился, обрел душевную твердость. С высоко поднятой головой, во всем первосвященническом великолепии, ведомый под руки молодыми священниками, он проследовал мимо нее к распахнутым дверям. Следом торопливо выстраивалась свита. Как сквозь сон услышала она нестройный топот ног по каменному полу, чьи-то восклицания и дальний ропот волнующейся перед собором толпы. И вдруг в глазах потемнело, в ушах заходил звон, и она словно кубарем покатилась в какую-то бездонную пропасть...

А Крохабенна уже стоял на верхней ступени паперти, на том самом месте, где вчера впервые услышал весть о прибытии Победоносца. Нынче весть стала явью. Диковинный, непостижимый пришелец близился, чуть ли не на руках несомый обезумевшим от радости народом, видимый издаലെка, громадный, светлый, лучезарный.

Первосвященник насупил брови. На лице явилась суровая, непреклонная, упрямая дерзость. Он оперся обеими руками о костяной посох и замер в ожидании, окруженный городскими и храмовыми чинами, изумляя и возмущая народ, который полагал, что первосвященнику пристало бы спуститься и смиренно поклониться Победоносцу у подножия паперти.

— Крохабенна! Крохабенна! — настойчиво кликали снизу.

Но Крохабенна даже не дрогнул. Он смотрел прямо перед собой из-под седых кустистых бровей, и лишь по мере того, как призывы делались требовательны, по мере того, как в них стала звучать ярость, на губах первосвященника все явственней проступала высокомерная, язвительная усмешка.

— Крохабенна! Ступай вниз и поклонись Победоносцу, которого я привел!

Перед стариком вырос Элем в алом облачении, надетом еще вчера. Не иначе как повелительным жестом указывал Элем на площадь, где кишел народ.

— Ко мне обращаются «ваше высочество», — ответил старик. — Я первосвященник, повелевающий всему народу лунному!

Черные глаза монаха полыхнули лютой яростью.

— Ты уже никто! — выкрикнул он. — Отныне здесь повелевает Победоносец и те, кто ему служит!

— Пока я не отрекся, я остаюсь, кем был, — отчеканил Крохабенна. — И пока Победоносец твой не взошел еще на паперть, я успею приказать, чтобы тебя заковали в цепи и бросили в темницу вместе с твоими пустосвятами, которые нарушили обет и без моего позволения покинули Полярную страну.

Элем побагровел, на висках вздулись синие жилки.

— Я ни в чьих позволениях не нуждаюсь! — задыхаясь от бешенства, выкрикнул он. — И никому здесь не подлежу! Не то, что ты, любому шерну холоп на подхвате!

А Победоносец уже поднимался на паперть. И Крохабенна, не отвечая на брань, отстранил монаха рукой и выпрямился лицом к лицу с диковинным пришельцем.

Марк остановился несколькими ступеньками ниже, посмотрел на старика, счастливо и светло улыбнулся и приветственно протянул руку. Но старик не улыбнулся в ответ, руки не подал, даже не кивнул, хотя все вокруг него попадали ниц.

Несколько мгновений Крохабенна в упор глядел на пришельца и наконец заговорил:

— Здравствуй, кто бы ты ни был, приведенный сюда волей народа!

— Я сам пришел, по собственной воле, — ответил Марк. И вдруг понял: шутки кончились.

Крохабенна едва заметно склонил голову:

— По мне, так тебя сюда привела воля народа, который семь веков ждал Победоносца и ныне назвал тебя этим именем.

— Я еще не Победоносец, но, видя, что тут у вас творится, хотел бы стать им.

— Ты уже Победоносец, о владыка! — вмешался Элем. — Ты стал Победоносцем, едва стопы твои коснулись Луны!

Крохабенна нахмурился и, словно речей соперника не было, продолжил:

— А у тебя и нет другого выхода, раз уж ты явился и разрушил то, что разрушил.

Марк хотел ответить, но старик первосвященник поднял руку, как бы повелевая молчать.

— Не ведаю, откуда ты прибыл, как прибыл и зачем прибыл, — продолжал он свое. — Но вижу, что ты удался ростом и, наверное, силой тоже. Верши отныне то, что нам не по силам было вершить, если таково твое желание. И если ты впрямь прибыл с Земли, если правда, что семьсот лет назад похожий на тебя человек переселил сюда людское племя с той великой звезды, где людям, как твердит молва, жилось полегче, то знай: отныне долг твой — искупить вопиющую к небу вину своего предшественника, избавить нас от бед, на которые мы обречены, вот уж скоро восьмой век пойдет. До сего дня нас поддерживала надежда на пришествие Победоносца. В этом самом храме, у порога которого я тебя приветствую, я всякий день ободрял народ словами об этом пришествии. Помни: отныне у народа нет надежды, поскольку ты взялся воплотить ее в явь.

Далеко не все расслышали слова Крохабенны. Но кто расслышал, встретили непонятные, явно еретические речи святейшего владыки громким ропотом, однако тот и бровью не повел. Речи, которые еще вчера ему самому показались бы устрашающими до непроизносимости, ныне выговаривались четко и ясно. На удивление народу, которому он постоянно внушал благодарность Старому Человеку за то, что привел людей на Луну, и на удивление, казалось бы, тому самому Победоносцу, о котором всякий день возвещал, что явится он во славе, а все вокруг, радуясь сердцем, склонялся перед ним до земли.

— Не ведаю, воистину ли так было обещано, — чеканил он, и голос его звенел и наливался силой, сотрясая крохотную грудь. — Не ведаю, именно ли ты был обещан, хотя все наши книги говорят о таком обещании, но зря: вот ты пришел. И поэтому говорю тебе еще раз: ты обязан совершить то, о чем от великих скорбей мечтали мы все эти века. А если тебя на это не достанет — воистину, и для

нас и для самого тебя было бы лучше, чтобы нога твоя вовек на Луну не ступила, ибо пребудешь от нас в отчаянье проклят.

В толпе раздался голоса, полные страха и возмущения. Кое-кто испугался, что всемогущий Победоносец не сходя с места выместит на народе кощунственные речи первосвященника. Либо Крохабенна сошел с ума, либо сам себя приговорил к смерти такими речами, толковала толпа и призывала Элема отобрать у первосвященника державный кlobук, ввести Победоносца во храм. Старик с достоинством выждал, пока возмущение притихло, и снова заговорил, обращаясь к Победоносцу:

— Я сорок четвертый и, как видно, последний первосвященник, который правил всем народом лунным. Я направлял его, ободрял и порицал, когда было за что, как мои деды и прадеды, пока он бедствовал и надеялся. Нынче этот народ провозглашает тебя, диковинного пришельца, тем самым Победоносцем, на которого уповал, а мне говорит, что кончены труды мои тяжкие. И пора мне, потому что моя сила убывает, потому что не знаю, что дальше делать. Полагаю свой сан и власть на пороге храма сего и последним первосвященническим словом упраздняю прежнюю веру, которая по сей день ободряла и поддерживала нас. Возведи новую своими делами. Видит Бог, иначе я не могу.

С этими словами он поднял руки, чтобы снять первосвященнический кlobук.

Марк торопливо шагнул к нему и схватил за руку.

— Не надо! — воскликнул Марк. — Оставайся, кем был, правь, как прежде правил! Я тебя понял, мы же с тобой будем друзья, мы будем как братья!..

Крохабенна мягко вывел руку из пальцев Марка:

— Нет! Ни друзьями, ни братьями нам не бывать! Мы с разных звезд, и сказать не перескажешь, что это значит. А обычай таков, что либо ты мой подданный, либо я твой слуга. Первое невозможно, а второго я сам не хочу, покуда по твоим делам не доведаюсь, кто ты таков. С нынешнего дня не бывать тому, что было, и, стало быть, я не нужен.

Крохабенна снял кlobук и бросил на каменные плиты, бросил посох, пояс и панагию, сдернул с плеч мантию из шкур, содранных с шернов в год великой былой победы, и, склонившись наконец перед пришельцем, расстелил мантию у его ног.

— Да проляжет твой путь во храм по этой мантии,

которая шита из шкур наших врагов, чтобы в нее облачались первосвященники, — сказал он. — Помни, что, вступая, ты попрал ее. Ты сломил нашу веру, так сломи же и наших врагов, если хочешь, чтобы мы в грядущем благословляли тебя.

На том Крохабенна умолк и в одной ризе, с обнаженной седой головой, зашагал с паперти прямо в толпу, которая словно позабыла, чего только что с таким озлоблением требовала, и с невольным почтением расступилась перед ним.

Марк замер, словно не слыша, как толпа все громче требует, чтобы он вошел в собор, словно не слыша, что того же домогается и Элем, который успел-таки подхватить и водрузил себе на бритый череп первосвященнический клобук в знак того, что принимает власть.

Замер и с места не мог двинуться, молчаливый и призадумавшийся, видимо взвешивая в уме то, что услышал. И встревоженная его непонятным поведением, постепенно притихла и толпа на площади.

И вдруг он вскинул голову и уверенно ступил на расшитую жемчугом и кораллами черную мантию из шкур, содранных с шернов, которую последний первосвященник минувшей эры расстелил между ним и кипящими золотом дверьми собора.

При виде этого толпа разразилась общим воплем ликования. Вокруг забурило от стремящихся припасть к ногам нового вождя, славящих и наперед благословляющих его имя, громозвучное грядущими одолениями.

Марк поднял руку в знак, что хочет говорить. Но время шло, а народ все не мог уговориться. Наконец толпа притихла. Марк набрал полную грудь воздуха, готовясь начать речь, — и застыл, не в силах вымолвить слова. Чуть севернее, над стенами замка о трех шпилях, взвилась густая туча черного дыма, она закрыла солнце, и прозвучал отчаянный и яростный вопль. Донесся лязг оружия, послышались протяжные командные окрики начавшегося сражения. Толпа заходила ходуном и расплеснулась. Одни бросились к ногам Победоносца, взывая о помощи, другие враспынную устремились к своим беззащитным жилищам.

Это шерны под водительством Авия внезапным броском со стен крепости прорвали цепочку солдат первосвященника и ринулись на поселок, сея ужас, смерть и огненный дождь. Марк издала разглядел черные силуэты, они грузно реяли на широких крыльях, осыпая мечущихся внизу людей стрелами и горящими факелами.

Оттуда, где стояла, прислонясь к алебастровой колонне, Ихазель не могла понять слов, которыми встретил Победоносца Крохабенна, но звук голоса слышала и разумела, что говорилось об очень важном и очень торжественно. Черная мантия и высокий первосвященнический клобук заслоняли пришельца с далекой звезды, стоявшего несколькими ступеньками ниже. Ихазель проклинала и мантию эту, и затянувшееся приветствие, дрожа в нетерпении увидеть, наконец, желанный лик, но удивительный страх мешал покинуть убежище или хотя бы двинуться с места. Она словно силилась пронизать взглядом стоящую между нею и Победоносцем фигуру первосвященника, но когда Крохабенна сделал движение в сторону, способное открыть вид пришельца, она подумала: «Сейчас увижу!» и — невольно зажмурила глаза, а сердце, рвущееся вон из груди, придержала ладонями.

Дивное изнеможение охватило Ихазель. Она повернулась лицом в глубину собора и остановила бездумный взгляд на золотом символе Пришествия, которым был украшен главный амвон.

На миг почудилось, что бывшее еще не миновало.

Вот стоит на амвоне первосвященник Крохабенна, он говорит, а она, малолетняя девчушка, укрывшись в плотной толпе, слушает.

«Со звезды далекой, что сверкает над пустынями, явились люди во время оно.

И когда исполнятся сроки, оттуда ниспошлетсЯ светлый и лучезарный Победоносец.

И настанет на Луне день вечный во счастии».

Сквозь цветные стекла в собор проникают солнечные лучи, они играют на потемневшей стенной росписи, на головах внимающей паствы, золотистые, как эта сказка, рожденная мечтой:

«Со звезды далекой, что сверкает над пустынями...»

А каков Он окажется? Голубоглазый? Золотоволосый? А когда отверзнет юные, алые уста, что за голос раздастся? Что за призыв? Что за весть благая?

И проляжет Его путь через лунные горы и доли из конца в конец, от предела пустыни и до синего моря. И повсюду сиять Ему, подобно солнцу, улыбаться, подобно заре рассветной...

Но Он же здесь! Ихазель вздрогнула. До Него всего шаг! Она резко обернулась к дверям. Увидела, как дед снимает

с головы золотой кlobук и мечет на плиты паперти. Как катится кlobук со ступеньки на ступеньку, а Элем, нагнувшись, поспешно ловит его, почему-то глаз не отвести от его светлых белых рук. И...

И донесся вскрик, и стало страшно от сознания, что это ее собственный. На расстеленную шкуру шерна ступил Он, и Его сверхчеловеческий вид поразил Ихазель в самое сердце.

— Он! — выдохнула она, впившись глазами в громадную светлую фигуру, которая возвысилась над лунной толпой, словно горделивый вулкан Отеймор над окрестными вершинами. Только что мучивший страх вдруг исчез — в душе воцарилась упоительная пустота и неведомо откуда нахлынувшее умиротворение.

«Да! Это Он! — твердило в ней что-то, твердило с невероятной силой внутренней убежденности. — Пришел!»

Все прочее по сравнению с этим показалось маловажным и ничего не значащим. С мертвой улыбкой смотрела Ихазель, как Крохабенна с непокрытой головой спускается с паперти, как Элем надевает первосвященнический кlobук, как теснится толпа к ногам Победоносца.

К Его ногам...

Она так и продолжала улыбаться, глядя, как внезапный вихрь сражения у городских ворот во мгновение ока сметает толпу вон с площади перед собором. Так и продолжала, глядя, как Победоносец, словно молодой сияющий бог, устремляется туда, где сквозь дым пробивается зарево, как он криком сзывает мужчин и воинов, обратившихся в бегство при первом же натиске врага. Он уже исчез с глаз долой, а Ихазель все еще провожала его зачарованным взглядом все с той же застывшей улыбкой на устах.

В собор толпой повалили женщины. По обычаю, в час опасности храм служил им убежищем. Одни причитали и плакали, у других в глазах застыл безумный страх. Сквозь распахнутые двери следом хлынул резкий запах дыма и гари.

И все так же, не двигаясь с места, Ихазель изумленно смотрела на женщин, словно не понимая, о чем они плачут и чего страшатся, когда Он возглавляет народ.

Он...

Одна из женщин, завидя внуку старого священника стоящей в распахнутых дверях собора, схватила ее за широкий рукав, торопливо и запальчиво о чем-то толкуя, а о чем, Ихазель так и не поняла. Другие звали ее, тянули в сумрачную глубину собора, но Ихазель вырвалась и даже

вышла на паперть. На площади было пусто, на паперти валялась пострадавшая мантия, вся в растоптанных жемчужинах и раздавленных коралловых бусинах.

Ихазель подхватила мантию, накинула на плечи, вошла в собор. Женщины набились в дальние притворы, отчасти — в подземелье. В зале было пусто. Она пересекла зал, миновала амвон и свернула налево, где крутая винтовая лестница вокруг колонны вела на высоко вознесенную кровлю.

Она шла по лестнице, не торопясь, все ближе был расписной свод, и ни о чем она больше не думала, только улыбалась тому, как отдаляется мозаичный пол и все отчетливей становятся видны цветы и фигуры на потолке.

Всякий раз, как она оказывалась против одного из окон, делался слышен шум и крик в той стороне, где кипело сражение. Но она не обращала на это внимания, по-детски радуясь, что забирается все выше и выше.

Она очнулась, только очутившись на кровле, когда в лицо повеяло морской прохладой. В первый миг даже удивилась, как попала сюда, на эту высь надо всем городком и окрестностями. Только сейчас обратила внимание, что у нее на плечах истоптанная мантия, и с внезапным отвращением отшвырнула ее. Внезапной судорогой перехватило горло, Ихазель едва удерживалась, чтобы не разрыдаться, хотя сама не знала, отчего так хочется плакать и что мешает дать волю слезам.

А ширь морская рокотала, золотясь бегучими блестками в той стороне, где над нею стояло солнце. Близясь к берегу, волны вскидывали белые буруны и с глухим ревом обрушивались на песок, разметываясь серебристыми полукружиями. Их гнал ветер, он зарождался где-то в дальней дали, там, откуда взшло солнце, за еле видимым на горизонте островом, который зовут Кладбищенским, потому что, по преданию, на нем похоронены останки первых людей, прибывших на Луну вместе со Старым Человеком. Подойдя к самому парапету, Ихазель смотрела на море и на остров, а тот виделся черно-синим пятнышком на серебристом разливе.

Дивен был этот ветер, дивен был неустанный прибой при ясном солнце на погожих небесах, которое, едва успев подняться, уже обжигало лицо, подставленное беспощадному соленому бризу. Полуоткрытыми, алыми, пересохшими губами Ихазель с наслаждением ловила свежее дыхание моря. Под приспущенными веками в переполненных светом глазах все мешалось и плыло: золотое, играющее море, небо

и дальний темный остров, словно бы скользящий по волнам все ближе и ближе.

«Со звезды далекой, что сверкает над пустынями, явились люди во время оно» — припомнилось на слух.

И внезапно она обернулась. Но ведь Он же там, Он сражается! Словно только теперь поняв, зачем сюда забралась, Ихазель бегом бросилась на другую сторону плоской кровли, откуда были видны город и прилегающая равнина. Звуки битвы уже стихали, и над гаснущими пепелищами медленно распывался дым...

Как ни рвались к победе шерны, ободренные успехом первого натиска, им пришлось обратиться в постыдное бегство. И прежде всего — из-за того, что при виде великана, бегущего на помощь людям, в рядах верных выворотней вспыхнуло замешательство. Охваченные ужасом, выворотни бросали оружие и спешили под защиту крепостных стен, начисто позабыв, какое жестокое наказание ждет их за это отступничество. Покинутая в одиночестве горсточка шернов сражалась остервенело, но силы были слишком неравны. Тяжело и неуклюже витая над шеренгами людей, шерны осыпали их сверху огнем и стрелами, но то и дело кто-нибудь из них падал, настигнутый либо ужасным огнестрельным оружием Победоносца, либо камнем от руки удачливого прашника. Однако, как ни чувствительны были потери, шерны держались, пока не начали подводить перетруженные крылья, одного за другим делая своих хозяев добычей разъяренной толпы.

Сверху Ихазель видела, как те из шернов, кто был поближе к замку, грузно набирая высоту, внезапно повернули к стенам, перевалив через которые, камнем падали вниз от ран и усталости. Но те, кто слишком далеко проник в глубь поселка, будучи не в силах достичь безопасного места, падали на крыши домов и на мостовые, где их ждала мгновенная беспощадная смерть от рук одолевающих победителей. Им ломали крылья, их добивали камнями или, спутанных, бросали на раскаленные пепелища догорающих домов. Но ни один шерн не просил пощады, то ли зная, что эти просьбы напрасны, то ли до последнего издыхания презирая род людской.

Но взоры Ихазели скользили мимо этих, — на ее взгляд, вполне естественных, — завершающих картин боя. Ее глаза искали одного Победоносца. Тот стоял поодаль, опустив, но еще не пряча свое страшное оружие, судя по движениям, выжидающий и сосредоточенный. Оглядывался по сторонам, подавая жестом и голосом какие-то команды. Слов не было

слышно, но легко было догадаться, что речь шла о том, чтобы отрезать путь отступления трем шернам, в гуще боя отбившимся от своих и теперь норовящим добраться до замка. Один из них от усталости уже не в силах был взлететь, только перепархивал с крыши на крышу, когда его настигали. Другой сел на конек какой-то кровли и замер, ожидая смерти от руки Победоносца, который целился в него из своего смертоносного оружия. За третьим с криками гнались.

А тот, видя, что путь к отступлению отрезан, а взлететь повыше, куда не достанут стрелы, пущенные руками людей, уже не хватит сил, метнулся туда, где воинов не было, в сторону моря и собора, и канул среди домов. Маневр не остался незамечен, шерн вполне мог пробраться в крепость, обогнув поселок со стороны моря, и вслед ему кинулась шумная погоня.

В ней принял участие и Победоносец, который успел пристрелить второго шерна и теперь бежал по направлению к собору, зорко посматривая по сторонам.

Ихазель неотрывно следила за ним, невольно надеясь поймать его взгляд, как вдруг у нее за спиной раздался шум падающего тела. Она оглянулась — от ужаса кровь застыла в жилах. В нескольких шагах от нее на плоской кровле собора лежал преследуемый шерн. На вид — как при смерти: из продырявленного в нескольких местах крыла сочилась желто-зеленая кровь, на груди и ногах — зияющие раны от стрел, — но все еще живой: грудь тяжело дышала, а обе пары красных сверкающих глаз устремлены на девушку.

Ихазель хотела крикнуть и не могла, замороженная этим ужасным взглядом. По золотым браслетам на руках и лодыжках она узнала наместника Авия и в бессильном страхе, соединенном с неодолимым любопытством, разглядывала его. Отвратительный, израненный, впервые в жизни видимый вблизи, шерн несмотря ни на что поразил ее диковиной, устрашающей красотой.

Он был само олицетворение зла и вероломства, устрашающее, но вместе с тем и прекрасное. Он лежал на сломанном крыле. Другое крыло, длинное, черное, блестящее, с сизым отливом, распластано по каменным плитам. Голова приподнята, лоб слабо фосфоресцирует, сверкают две пары ужасных, налитых кровью глаз.

— Спрячь! — прохрипел он на человеческом языке. То была не просьба, а властный приказ.

Ихазель безотчетно сделала шаг к нему.

— Сука, спрячь! Шевелись! — снова отозвался шерн. А

она полуобморочными, механическими шажками близилась к нему, не в силах отвести глаз от сверкающего взора. Их разделял теперь всего лишь шаг, как вдруг раненый шерн из последних сил взметнулся и выставил из-под крыльев ужасные белые ладони.

С криком ужаса Ихазель отпрянула, уклоняясь от губительного прикосновения. Сознание вернулось к ней. Она схватила лежавшую рядом рваную первосвященническую мантию и внезапным броском накинула на голову врагу. Больше ничего под рукой не было, и она сорвала с себя одежду, чтобы понадежней опутать ослепленного шерна.

Тем временем толпа воинов во главе с Победоносцем добралась до собора. Ихазель слышала топот на паперти и громкие крики. Не обращая внимания на собственную нэготу, бросилась к парапету, перегнулась вниз и закричала:

— Сюда! Сюда!

Что убегающий наместник пойман, договорить не хватило дыхания.

Но по ее голосу внизу поняли: шерн на крыше, — и воины бросились вверх.

— Живьем! Живьем! — кричал бегущий впереди Ерет. — Победоносец приказал брать живьем!

Во мгновение ока Авий исчез под грудой копошащихся тел. Ослабевший от ран, запутавшийся когтями в женском платье, он не мог отбиваться. Но и неподвижный был страшен. Люди знали, что за оружие белые и мягкие ладони шерна, способные по его капризу молниеносным разрядом либо поразить противника насмерть, либо превратить в калеку. Шерна перевернули ничком, чтобы управить с его руками по отдельности.

Левую, из-под раненого крыла, стянули веревкой быстро, но до правой, оказавшейся под пленником, можно было добраться, только освободив его от пут. После короткого совещания Ерет приказал четверем мужикам поздравее — усесться сверху, а сам с помощью двух парней принялся заламывать неповрежденное правое крыло, чтобы извлечь ладонь, спрятанную под ним и придавленную грудью.

Шерн, все это время презрительно молчавший, взвизгнул от боли и резко дернулся, разбросав всю насевшую сверху четверку, но распластался, оглушенный могучим ударом дубины по затылку. Так добрались до правой руки и одолели ее.

Ерет пнул лежащего ничком шерна.

— Вставай, гаденыш! — крикнул он.

Авий поднял голову, моргнул налитыми кровью бельма-

ми, но с места не двинулся. И тогда силачи, по трое с каждой стороны натянули веревки, которыми были обмотаны запястья шерна, и, приглядывая, чтобы он не изловчился сомкнуть ладони на ком-нибудь, поволокли на край кровли, откуда была видна площадь, кишая народом. Ерет приказал продеть шерну под мышки по рогатине и перебросить на них за парাপет, чтобы пленник повис перед фронтоном собора.

Внизу узнали наместника и раздался победный вопль. Мальчишки схватились за камни, но пленник висел слишком высоко, издевательств и ругани он будто не слышал, а плевки не доставали. Безмолвный, распятый на фронте с бессильно обвисшими крыльями и заведенными назад руками, шерн уставился на толпу четверкой глаз, полных ненависти и презрения.

На кровле появился Победоносец, ведомый неотлучным Элемом.

— Вот он, владыка, вот он! — кричал новый первосвященник, мечась между своим идолом и парапетом.

Марк перегнулся через парапет, увидел шерна и с отвращением отшатнулся — настолько жутким и омерзительным оказалось зрелище.

— Поднимите его сюда! — крикнул Марк.

Неохотно, но не смея ослушаться приказа, добровольные палачи подняли шерна на кровлю и на растянутых веревках подтащили к Победоносцу.

У Элема загорелись глаза.

— Владыка, как прикажешь умертвить? — пустился расспрашивать он, суется под ногами у Марка. — Хочешь, зажарим его живьем на вертеле? Или отдадим на съедение рыбам? Ты не знаешь, как это делается? Вспарывают ноги, чтобы кровь текла рыбам на приманку, и оставляют по пояс в воде...

— Пшел вон! — процедил Марк сквозь зубы и огляделся. — Кто его изловил?

Ответом было молчание. Одни оглядывались на других, пришедшие позже указывали на пришедших раньше, и наконец все взоры обратились на девушку, забившуюся в угол парапета.

— Кто его изловил? — повторил Марк.

— Я!

Ихазель вышла вперед, по пояс нагая, как осталась, спутав шерна собственной одеждой; от пояса до полу на ней была глянцеvitая, широкая, темно-лиловая юбка. Марк глянул на девушку. И, залившись румянцем от вне-

запной стыдливости, Ихазель произвольным движением перебросила распущенные волосы на грудь, словно прячась под ними.

— Ты? — изумился Марк.

— Это внучка Крохабенны, — зашумели в толпе. — Последняя в роду прежнего первосвященника.

Ихазель замерла над связанным шерном, не сводя глаз с Победоносца и чувствуя, что еще миг и она не выдержит, рухнет на каменные плиты кровли. Кровь отлила от побелевших губ куда-то в грудь, глаза наполнились слезами, слабеющие ноги готовы были подогнуться. Изю всех сил напрягла она волю, чтобы не упасть.

И тут кто-то обнял ее за плечи.

— Это моя невеста, — сказал Ерет, помогая ей устоять.

Она отпрянула и с внезапной силой вырвалась из объятий Ерета.

— Неправда! — выкрикнула она. Прижала руки к груди и зачастила, словно ее ложно обвинили в смертном грехе: — Не слушай его, это неправда, это раньше было, а теперь...

И осеклась.

— Что «теперь»? — спросил Марк, не поняв, что происходит.

— А теперь, — договорила она дрожащим и слабеющим голосом, — ты один мне владыка, о Победоносец, прибывший с далекой звезды, да будет имя твое благословенно во веки веков!

Опустилась на колени и прижалась лбом к его стопам, покрыв их рассыпным, сверкающим золотом своих волос.

Тем временем вокруг нарастал ропот и вдруг вихрем взвились неразборчивые крики. Не успев ответить девушке, припавшей к его ногам, Марк вскинул голову и повел вокруг вопрошающим взглядом, не в силах понять, о чем кричат и чего добиваются обступившие их двоих люди.

— Владыка! — объяснил Элем. — Народ требует смерти Ихазели, внучки Крохабенны.

Марк почувствовал, как охваченная страхом девушка всей грудью прильнула к его ногам.

— Что-о? — изумился он. — Чем она провинилась?

Ответа не было. Во внезапной тишине на золотоволосую девушку обратились угрюмые взгляды, в которых читался один и тот же беспощадный приговор. Марк глянул на Ерета: ведь тот, родич первосвященника, сам только что назвал себя женихом Ихазели. Молодой воитель, насупившись, кусал губы, но не произнес ни единого слова протеста.

— Смерть ей! — выкрикнул наконец Элем.
— Смерть ей! — грянуло со всех сторон.
— Чем она провинилась? За что? — повторил Марк и, как бы защищая, положил ей руку на голову.

— Ничем, — ответил Элем. — Но таков закон. Она была наедине с шерном, — указал он на Авия, — и поэтому должна умереть.

— Но ведь она его поймала! — воскликнул Марк.

— Да, поймала. Но пока ловила, была с ним наедине и поэтому должна умереть, живьем зарытая в песок по шею. Таков закон..

— Закон! — зашумело со всех сторон. — Смерть ей! Смерть!

— Да плевать мне на ваши законы! — вскипел от ярости Победоносец. — Вы сами признали меня властелином, и теперь законы устанавливаю я! Желая, чтобы она жила!

Элем смиренно поклонился:

— Все тебе дозволено, Победоносец, но неужто ты хочешь того, чего не хотим мы? Неужто хочешь, чтобы у шернов рождались дети нашей крови?

Ихазель одним прыжком вскочила на ноги.

— Нет на мне скверны! — выкрикнула она, окидывая толпу горящим взглядом. — Слышите? Нет на мне скверны! Кто посмеет...

И захлебнулась рыданием. Закрыла глаза, снова припала к ногам Марка и повторила тихим, молящим голосом:

— Нет на мне скверны.. Вели казнить, Победоносец, но верь: нет на мне скверны.

Марк нагнулся и поднял ее, залившуюся слезами, на руки, как ребенка.

— Она под моей защитой, поняли? — сказал он. — Не смей ее трогать! Я за нее отвечаю!

Над толпой пронесся ропот, но никто не посмел возразить. А Марк добавил, обратясь к Элему:

— А передо мной за нее отвечаешь ты! Если у нее хоть волосок с головы упадет, я прикажу зарыть живьем в землю тебя!

Он говорил решительно и властно. Никто бы не подумал, что он так скоро привыкнет распоряжаться порядками у лунного народа.

Элем молча потупился.

— А что прикажешь насчет шерна, владыка? — спросил он, помолчав.

— Пока пусть живет. Заприте его понадежней. А теперь ступайте прочь и оставьте меня одного.

Кровля мигом опустела. Авия поволокли вниз по винтовой лестнице и по приказу Элема приковали с распростертыми руками в подземелье собора, который отныне был объявлен жилищем Победоносца, поскольку иного здания ему по росту не было во всей округе.

На кровле осталась одна Ихазель, да еще медливший с уходом Ерет.

Победоносец вопросительно глянул на него.

— Владыка, — сказал Ерет. — Я хотел взять ее в жены...

— А согласился, чтобы ее казнили.

— Нет. Не согласился я. Но такой закон.

— Был, да сплыл.

— Тем лучше для нее, что сплыл. Но все равно никто не женится на женщине, к которой прикасался шерн.

— Не веришь, что на ней нет скверны?

— Хотел бы верить, и раз ты, радость очей наших, со звезд нам ниспосланная, так говоришь, я тебе верю. Но если так, то прошу тебя! Как верный пес, прошу, вели, что хочешь — исполню, но прошу. Не отбирай ее у меня, владыка! Я ее люблю.

Марк рассмеялся свободно, по-земному:

— Да я и в детстве в куклы не играл! На что она мне?

Ихазель, до этого мига равнодушно внимавшая разговору, вскинула на него глаза.

В них заметался какой-то мучительный вопрос, но она промолчала, закусив губы и отвернувшись, глядя на море. Марк окинул ее взглядом и только тут заметил, что она полуобнажена. И стало не по себе оттого, что Ерет смотрит на нее, такую. Марк снял широкий красный шарф, повязанный на шее, и накинул на плечи девушке. Та не шелохнулась, даже взглядом не поблагодарила.

— О чем задумался? — с ноткой раздражения спросил Победоносец, обращаясь к Ерету, который не сводил глаз с девушки.

Ерет усмехнулся:

— Если бы не ты, владыка, нынче бы счастьем моим конец. Потому что я не посмел бы, не решился бы пойти против закона и в эту минуту уже не было бы Ихазели.

Он смотрел на девушку горящими глазами, но приблизиться не осмеливался. То ли стеснялся Победоносца, то ли у нее вид был слишком отсутствующий и неприступный.

— А ты? — спросил Марк. — Ты о чем задумалась?

Она подняла на него печальный, но светлый и умиротворенный взгляд:

— О древней повести в книгах, которые спрятаны в подземелье. О блаженной пророчице Аде, которая, не познав мужа, служила когда-то Старому Человеку, а когда он возвращался на Землю, проводила его до самого края Великой пустыни и там окончила свои дни, не сводя глаз с далекой звезды.

Марк смущенно улыбнулся.

— Я-то молодой, а не старый, — сказал он. — И когда буду возвращаться на Землю, возьму тебя с собой. Вас обоих возьму, — торопливо поправился он и указал на Ерета. — Там вы будете счастливы.

Ихазель едва заметно усмехнулась, не сводя глаз с огромного синего моря.

Глава V

Солнце едва-едва перевалило за полдень, когда, окончательно разгромив логово шернов, народ торжественно проводил Победоносца в собор, провозгласив его единовластным повелителем Луны.

Сражение было упорным и долгим. Штурм начали в полдень, в пору, когда над великим лунным морем каждый день прокатывается гроза. Крепостные стены удалось проломить сразу в нескольких местах. Те, кто раньше при одной мысли о шернях в суеверном страхе осенял себя спасительным знамением Пришествия, теперь, видя во главе воинства долгожданного Победоносца, бросились в бой с неслыханной отвагой и самоотверженностью. Но у дверей башни о трех шпилях встретили отпор, перед которым их воинственный порыв едва не захлебнулся. Его оказали не шерны, а на этот раз выворотни, те самые, что утром постыдно бежали с поля боя, а сейчас отчаянно бились до последнего вздоха, зная, что их ждет в случае поражения. Каждую дверь, каждый коридор, каждый поворот лестницы, каждую ступеньку приходилось брать с бою.

Брали числом. Выбитые с одной позиции, выворотни пятились к другой, чуть повыше, и продолжали люто отбиваться. Снаружи бушевала гроза, грохотал гром, черные тучи обваливались проливным дождем, а в узких и скользких от крови проходах башни царил густой мрак, в котором осаждающие шаг за шагом карабкались все выше.

Победоносец не принимал участия в бою внутри сооружения. Слишком рослый, чтобы свободно передвигаться в

тесных галерейках, он остался снаружи и только отдавал команды, приглядывая, чтобы, воспользовавшись суматохой сражения, никто из осажденных не вырвался из кольца. А как раз таков и был замысел запертых в башне шернов. Видя, что страх перед их прозванием, который до нынешнего дня заставлял людей сторониться крепости, без следа миновал, и усомнившись в победе, шерны предоставили выворотням защищать доступ на верхние этажи, а сами начали скапливаться на тесной площадке между тремя шпильями, выжидая подходящей минуты для бегства. Марк заметил их и понял, что они задумали на своих неуклюжих крыльях пробиться к морю над головами осаждающих, захватить корабли, оставленные под немногочисленной охраной людей, и, не опасаясь преследования, отплыть в родные края. Он крикнул Ерету, которого держал при себе как бы адъютантом, чтобы тот глаз не спускал с флотилии в бухте, а сам созвал лучших лучников и с их помощью принялся разить появляющихся на крыше шернов. По правде сказать, стрелы из луков, натянутых полудетскими руками здешних вояк, редко долетали до цели и почти не наносили шернам вреда, но зато огнестрельное оружие в руках Победоносца сеяло среди шернов ужасную гибель. И вскоре оставшиеся в живых покинули крышу. Видимо усомнившись в возможности бегства по воздуху, шерны искали спасения внутри стен.

Именно в этот миг вытесненные с верхнего этажа выворотни в смятении устремились на чердак, чтобы занять последний рубеж обороны у бронзовой решетки, которая перекрывала вход на крышу. Во мраке на лестнице столкнулись две волны, и взбешенные поражением шерны ударили сверху на выворотней, гоня их вниз, в гибельную атаку. Попад меж двух огней, выворотни обезумели. Подавляемая страхом и почитанием ненависть к господам, которые только и знали что помыкать верными рабами, полихнула с непоборимой силой. И, не обращая внимания на оружие в руках людей, несущее смерть снизу, выворотни повернули фронт наверх в отчаянном нападении на своих отцов и поработителей.

Схватка была короткой. Не выдержав натиска, шерны снова оказались на крыше, открыв дорогу туда и выворотням. Но там их встретил убийственный огонь Победоносца. Рассвирепевшие, утратив всякую надежду на спасение, шерны взмыли в воздух и тучей громадных, безобразных грифов ринулись на Марка, положив выместить на этом ужасном великане хотя бы свою неминуемую гибель.

Было их не больше десятка, но не ожидавший нападения Победоносец наверняка был бы сражен, если бы не лучники у его ног, которые с неслыханной сноровкой прошивали стрелами устремившихся на него убийц. И все же он получил несколько страшных ударов током от рук нападающих. А один шерн даже изловчился впиться Победоносцу в грудь и, задушенный рукой великана, висел на нем, удерживаясь мертвым зацепом когтей и клюва.

Ослабевший, обессиленный долгим сражением, Марк не устоял на ногах и сел, но тут с башни прозвучал торжествующий клич. Выворотни были перебиты, люди полностью овладели крепостью.

Продолжал отбиваться один только Нузар, бывлой подручный Авия с багровой отметиной на роже. Он вскарабкался на один из трех шпилей башни и оттуда швырял плитами черепицы в тех, кто пытался его достать. У сражавшихся в башне не было с собой ни луков, ни пращей, крикнули оставшимся внизу, чтобы доставили наверх оружие, но пожар, внезапно вспыхнувший на нижних этажах, вынудил победителей отступить с крыши.

Нузар остался один. После ухода людей он спустился со шпиля и сел на карниз, хладнокровно ожидая смерти. Победоносец снизу приметил его и крикнул, что он будет цел и невредим, пусть спасается от пожара. Выворотень медлил, видимо не веря в обещание, но когда Марк повторил свои слова, вытащил из укрытия связку веревок, закрепил конец на карнизе и спустился с горящей башни в самую гущу толпы. Пока он висел в воздухе, несколько лучников натянули тетивы — уж больно была доступна цель, но Марк вовремя удержал стрелков, крича, чтобы строго блюли данное им слово.

— Этот выворотень — моя собственность! — громко крикнул Марк. — Кто его тронет, тот будет иметь дело со мной!

Выворотень спустился на землю, но все еще не верил в свое спасение, жался к горячей башне, враждебно поглядывая на обступивших людей.

К нему подошел Элем:

— Ступай к Победоносцу, поганный пес!

Нузар заворчал, но двинулся за первосвященником сквозь толпу, которая расступалась, не скрывая ненависти и отвращения к выворотню.

Марк, все еще сидя на земле, сделал Нузару знак приблизиться.

— Владыка, он не связан: держи огненный бой наготове, — предупредил Элем.

Вернувшийся из гавани Ерет расхохотался.

— Так свяжем, — сказал он и метнул аркан, целясь накинуть петлю на шею выворотня.

Но опоздал. Отбив аркан левой рукой, Нузар выхватил правой нож из-за пазухи и молниеносным прыжком напал на Победоносца, метя в его незащищенную шею.

Марк уклонился от удара, схватил выворотня за руку с ножом и поднял высоко над головой. Нузар пустил в ход зубы, но дотянулся только до рукава Марковой куртки и впился в него клыками.

— Смерть ему! — раздались отовсюду ненавидящие голоса.

— Пусть живет, — ответил Марк. — Сгодится мне для зверинца. Дайте-ка чем связать.

Выворотень извивался в могучей хватке Марка, но звука не проронил и не противился, когда Марк накрепко стягивал ему руки за спиной.

Стянул и бросил конец веревки Ерету:

— Отведи его в собор, в тот чулан, где приковали шерна. И стереги. Когда буду возвращаться на Землю...

Не договорил — засмеялся, предвкушая, что за удивительные экземпляры доставит домой.

На том битва и кончилась. Кроме пленного выворотня, не уцелел ни один из обитателей замка.

А тут стала стихать и гроза, которая бушевала все это время. Лишь к северу, вокруг высокого конуса Отеймора, еще ходили и клубились черные тучи, оттуда доносились раскаты удаляющегося грома, а над морем и над городом на бледном по-лунному небе уже ярко светило солнце.

Сопровождаемый праздничным шествием, Марк возвращался в собор. Смотрел на это солнце и дивился: оно еле добрело от восхода до зенита, а произошло уже столько событий. На рассвете он впервые увидел издали стены этого города, утром его приветствовали на паперти собора, и вот теперь провожают в этот собор, как домой, и славят как победителя в двух кровопролитных сражениях и как самодержавного властелина вся Луны.

Это было так непостижимо, так внезапно и в то же время так естественно проистекало одно из другого, что он невольно улыбался, воспринимая происшедшее как сон. В действительности-то от рассвета до этой минуты по земному счету прошло больше недели, это только в его владениях миновало полдня. И впрямь было бы похоже на волшебный

сон, если бы не этот ликующий народ, который стелет ему под ноги зелень, и если бы не этот густой дым над развалинами и пепелищами, который мешается с грозowymi тучами на севере.

Поднявшись на паперть, Марк велел всем разойтись по домам. Но хотя он выразился прямо и недвусмысленно, никто не хотел расходиться, в его честь продолжали звучать здравицы, его называли спасителем, Победоносцем, возлюбленным и долгожданным даром Божиим, и укрыться от всего этого он смог только за дверьми собора. Следом сунулся Элем во главе назначенной в услужение челяди, но Марк не пожелал никого видеть.

Душа просила одиночества. Хотелось поразмыслить, взять себя в руки, охватить мыслью шум стеснившихся событий. Было чувство, что разум захлебывается и настала пора дать ему очнуться, не то он перестанет поспевать за событиями и те пойдут вразнос.

Он очень устал, ему очень хотелось спать. Без малого две сотни часов миновало с рассвета, а он почти все это время не спал. А ведь он же не лунный карлик, который умеет выдерживать трехсотпятидесятичасовой день без длительных перерывов на сон. Полдневный зной и мерный, однообразный рокот моря после грозы валили Марка с ног.

Он вошел в собор и запер за собой кованые бронзовые двери. И словно нырнул в сумрак, расцвеченный во все цвета радуги оконными витражами. А из неведомых подземелий дохнуло прохладой.

Пустой собор представился громадным и таинственным. Но было в нем и что-то от живого существа, у которого вырвано сердце и отнят смысл жизни. Это был гигантский механизм, безостановочно трудившийся целые столетия, а с его, Марка, приходом, внезапно остановившийся. Марк смотрел на золотые символы и надписи, составленные из диковинно переплетенных литер, и думал: они были полны смысла, но с той минуты, как явился он и заповеданное ими обратил на себя, они онемели. Охватил почти суеверный страх. На рассвете почудилось, что неисповедимая судьба и впрямь избрала его в заветные избавители несчастного лунного народа, но здесь одолевала тревога, что он занял чужое место, по легкомыслию присвоил себе неведомо чьи слишком большие права, и теперь каждая непонятная золотая надпись с этих стен поглядывает на него зло и неприязненно, как на самозванца.

Безотчетно захотелось как можно скорей выбежать отсюда, созвать народ и крикнуть...

Марк усмехнулся.

— Устал и спать хочу, — громко сказал он сам себе. И припомнились слова, много сотен лет тому назад произнесенные одним великим земным мудрецом: «Граница человеческих прав совпадает с границей человеческих сил».

— Устал и спать хочу, — повторил он. — Оттого и раскис, оттого и теряю веру в свое право спасти этот народ. Право спасти!

В глубине зала между колоннами ему приготовили постель, но как-то не хватало смелости вот просто так взять да и улечься спать посреди святого места.

Захотелось воздуха, захотелось простора. По крутой и неудобной для его громадного тела лесенке он взобрался наверх и во весь рост растянулся на солнце поперек плоской кровли.

Попытался охватить мыслью происходящее, дать себе отчет, какое ему до всего этого дело, чего ради он так ретиво впутался в ход событий, но длилось это недолго: разбежавшиеся мысли не пожелали подчиниться.

Сонливость медленно смежалаотяжелевшие веки. Знойный, подрагивающий от солнечного пожара воздух обжигал легкие при каждом вдохе, голову пекло, но не было сил даже перебраться в тень.

«Чуть полежу и переберусь», — подумал он, засыпая, охваченный истомой усталости.

Море после грозы успокоилось, и когда он на секунду с усилием разлепил веки, оно ослепительно сверкнуло ему прямо в глаза — бескрайнее, полное света и простора зеркало, сверкнуло и слилось в его затуманенном сном разуме с памятными картинами Земли.

Он погружался в сон, и вдруг почудилось, что в лицо дохнуло упительной и ароматной прохладой, почудилось, что кто-то позвал по имени, мелькнули золотые пряди волос на крохотной, так забавно крохотной, лилейной девичьей груди, мелькнули алые, шепчущие губы...

Имя, надо срочно припомнить чье-то имя...

Он уснул...

Когда он проснулось после долгого и крепкого сна, сперва показалось, что сон все еще длится. В нескольких шагах от него на разостланной белой шкуре сидела Ихазель в голубом расстегнутом халатике на голое тело, волосы убраны в два огромных узла над ушами, пряди, выпущенные на грудь, — словно золотая вышивка на лацканах. Сидела и с тихой улыбкой смотрела на него.

Некоторое время он не смел пошевелиться, чтобы неча-

янно не спугнуть это видение, настолько оно было упоительно и сладостно. Почувствовал, что лежит не на голом камне, а на мягких, пушистых шкурах, а над головой сооружено подобие палатки, чтобы солнце не напекло.

— Ихазель, — невольно он произнес это тихо.

Она улыбнулась:

— Ты выспался, владыка?

Отвечать не хотелось. Почудилось, что снова спит и видит великолепный, упоительный сон.

И вдруг пришел в себя:

— Так я спал?

— Да, владыка. Двадцать с лишним часов.

Он глянул на солнце. Оно сияло на том же месте, как в тот миг, когда он уснул. «Ах, правда! — пришла мысль. — Ведь я же на Луне!» И снова глянул на девушку. Та потупилась:

— Я все это время оберегала твой сон, Победоносец.

— Как ты сюда попала? Ведь я запер за собой двери!

— Я здесь живу. Во дворце, который соединен с собором, там жил мой дед, первосвященник Крохабенна. Он ушел, а я осталась, я хотела быть рядом с тобой и служить тебе, владыка. Но если велишь, я тоже уйду.

— Останься. А где твой дед?

— Его нет. Может, в чистом поле, может, в синем море, может, за высокими горами на севере, вон там, за Отеймором. Его нет, как нет дня вчерашнего и всего, что было вчера. Есть только один ты, Победоносец и владыка.

Она говорила певуче, удивительно ликующим голосом, а тот переливался и вибрировал, словно силился выразить нечто большее, чем значили эти простые слова.

Марк медленно протянул руку и коснулся точеного плечика девушки. С невольным восхищением загляделся на нее и наконец спросил:

— Слушай! Ты действительно веришь, что я тот самый Победоносец, которого предсказывали ваши пророки?

Ихазель широко открыла глаза.

— Я не верю, я знаю, — ответила она.

— Откуда знаешь?

Она прижала ладони к груди и горячо сказала:

— Ты едва успел появиться, а все уста и руки уже тебя благословляют. Ты силен, как бог, в бою ты беспощаден к врагу, но мне рассказывали, что ты и милосердие творил, от этого слова у нас на Луне осталось одно название. И ты прекрасен, владыка, обилием и молодостью силы, ты прекрасней всего, что только видели мои глаза. Одна Земля,

звезда пресветлая, святая, которую я однажды видела в Полярной стране, может сравниться с тобой по красоте. Но ведь ты же оттуда и пришел в нашу юдоль бедности, скорби и слез. О, как ты светел, как прекрасен, как божествен, владыка мой единственный!

— Будь рядом со мной, — тихо сказал Марк. — Будь рядом со мной. Я не таков, каким тебе кажусь, и Земля не так светла, как видится отсюда в небе рядом со звездами. Но будь рядом со мной, и тогда... Мне хотелось бы, уходя, оставить добрый след, чтобы вы меня помнили и благословляли...

Ихазель безотчетно прильнула к его коленям, подняв на него глаза, полные восхищения. Он улыбнулся и спрятал ее крохотные руки в своих ладонях.

— Мне хотелось бы, чтобы и ты помнила обо мне и благословила мое имя. Ты как цветок...

И тут же отстранил девушку и совсем другим голосом ни с того ни с сего строго спросил:

— Ты почему голая?

Густой румянец внезапно пошел у нее по всему телу, даже опаловые ногти порозовели. Быстрым, нервным движением она запахнула халатик.

— Не гневайся, владыка. У нас такой обычай, девушки всегда так ходят по дому. Я забыла, что я не у себя дома, а у тебя. Не сочти за обидную вольность.

И, со страхом глядя на Победоносца, еще плотнее запахнула халатик, хотя в этом уже не было нужды.

Марк пошевелил губами, словно хотел что-то сказать, помолчал, а потом безразличным тоном спросил, ежась от фальши в собственном голосе:

— И тебя... и вас так может видеть любой?

Ихазель внезапно поняла, о чем речь. Упоительная, обесиливающая судорога пронизала тело, ладони, которыми девушка придерживала на груди халатик, разжались, руки упали вдоль бедер. Она взглянула ему прямо в глаза:

— С этой минуты меня такой больше никто не увидит. Марк пожал плечами.

— Положим, мне все равно, — довольно неучтиво произнес он, глядя в сторону. — Если у вас такой обычай... Но... Я не о том, а о чем же? Ах да! Где твой дед? Мне надо бы его повидать.

Внучка первосвященника напряглась:

— Владыка, он ушел. Я тебе уже говорила. Теперь Элем... Но если ты прикажешь, объявят розыск.

— Да, да. Распорядись. Мне надо бы поговорить с ним о многих вещах.

Ихазель поднялась, глядя ему в глаза уверенно и без робости, как бы чувствуя себя его исключительной собственностью, святой и неприкосновенной.

— Распорядись, — повторил он.

Она протянула руку:

— Владыка, дай мне знак, чтобы поверили, что я говорю от твоего имени, и я пошлю людей на розыск.

Марк помедлил, не зная, как поступить, но внезапно вспомнил о древнем и только по книгам известном земном обычае передавать власть. Улыбнулся, снял с пальца перстень и подал Ихазели.

Она взяла перстень и молча направилась к лестнице, ведущей вниз, в собор.

Прошла через неф и открыла боковую дверцу, которая вела в покои опустевшего дворца первосвященника...

Через некоторое время вновь появилась в соборе. Теперь на ней был парадный наряд — плотно закрытое темно-лиловое платье, на плечах золотистая меховая накидка, на шее пурпурные янтарные бусы, наследство пророчицы Ады. Подошла к запертым изнутри бронзовым дверям, отодвинула засовы и распахнула двери настежь.

Перед собором ждал народ. Именитые и старейшие во главе с Элемом собрались на паперти, терпеливо ожидая пробуждения Победоносца, чтобы учредить новый устав и восстановить порядок, нарушенный отречением высшего должностного лица, первосвященника Крохабенны. Неподалеку вместе с молодежью стоял Ерет, там обсуждали военные планы: поскорей бы выступить вместе с Победоносцем в поход на ту сторону Великого моря, чтобы застать шернов врасплох и прикончить в их собственных логовах.

А вокруг теснился народ. И те, кто сражался, и те, кто поглядывал издали, и те, кто принес прошения, и те, кто пришел с жалобами, и, наконец, те, кто явился из любопытства, просто поглазеть на великана с Земли. В сторонке стояли женщины, побаиваясь мужей и властелинов, но большей частью с горящими глазами и благословением на устах тому, кто переменит прежнее. Женщины-то знали, что любое новшество для них, скованных жестокими и строгими патриархальными нравами, может быть только к лучшему.

Людское море простиралось, куда только видит глаз, оно

шумело и ходило волнами, подобно морю по другую сторону собора.

Когда двери храма распахнулись, все решили, что сейчас выйдет Победоносец, по толпе прошла огромная приливная волна, которая ударилась о паперть, словно о скалу на морском берегу.

Возглавлявший старшин Элем тоже сделал шаг вперед. Но увидев, что навстречу вышла одна Ихазель, пришел в ярость.

— Как смеешь шляться тут, когда мы ждем Победоносца? — выкрикнул он.

Ихазель не ответила. Неспешным твердым шагом направилась к возвышению на паперти справа, откуда по обычаю возвещали свою волю первосвященники, наследующие престол.

Элем схватил ее за рукав:

— Куда полезла? Шла бы ты вон из дворца, да побыстрей, теперь я там буду жить!

И на это не ответила Ихазель. Решительным движением освобождаясь от монаха, она ступила на возвышение и подняла над головой руку с перстнем.

— Слушайте, люди! — воскликнула она во весь голос. — Победоносец шлет вам через меня пожелание мира и доброго здравия!

— Уберите прочь эту полоумную! — крикнул Элем. — Она под подозрением в сношении с шерном Авием! Ей нельзя говорить с престола первосвященника!

При звуке ненавистного имени народ всколыхнулся, раздалась грозные выкрики, толпа взревела.

Ерет бросился к возвышению:

— Ихазель, сойди! Сойди оттуда, если хочешь жить! Ты и впрямь с ума сошла!

Ихазель как не видела Ерета. Ее светлый, безмятежный взор, словно в колдовском сне, блуждал поверх волнуемого моря голов.

— Долой! Долой ее! — раздавались выкрики. — Говорить имеет право только Победоносец! И Элем, его слуга верный!

Ихазель еще выше вытянула руку — преломляя солнечные лучи, в ней сверкнул светлый камешек на перстне.

— Вот знак — перстень Победоносца! Я, внучка первосвященника, шерна Авия победительница, я, как пророчица Ада, мужа не знающая, я, служанка Тому, чье имя да будет благословенно во веки вечные, говорю от Его имени! Он меня из ваших рук вырвал, когда вы мне, невинной, казнью

грозили, Он велел мне выйти к вам и послужить устами Его, благодать источающими!

— Да лжет она! — крикнул Элем. — А перстень украла! Эй! Люди! А ну подать ее сюда!

Но никто этих слов не расслышал. Могучая здравица в честь Победоносца грянула над площадью и отразилась от стен собора. Народ прихлынул к девушке, радостно приветствуя благую весть, которую она принесла. Тогда Элем выступил вперед, обеими руками приподнял над головой кlobук первосвященника и воскликнул:

— Зрите! Вот камень с руки Старого Человека, он у меня на челе! Я один имею право говорить от имени Победоносца, только я, который первым встретил его и приветствовал!

Толпа разделилась. Одни, видя кlobук со священным камнем в руках бывшего приора Братьев в Ожидании, теснились к нему и требовали прогнать Ихазель, а другие, огромное большинство, приняли ее сторону.

— С какой стати кlobук у Элема? — раздались крики. — Крохабенна поверг его к ногам Победоносца, а Победоносец никому не отдал, Элем его присвоил!

Даже те, кто утром требовал, чтобы Элем отобрал кlobук у Крохабенны, теперь громко кричали, что Элем — самозванец и только Ихазель, которая показала перстень Победоносца, имеет право говорить с народом от имени владыки. Позабылись оскорбления, которыми осыпали прежнего первосвященника, когда тот встретил посланца Земли непонятными речами. Чуть ли не сожалели о старике, который отрекся и неведомо куда делся. Поэтому, когда Ихазель объявила, что Победоносец желает найти Крохабенну и приблизить к своей особе, прокатился радостный крик и нашлось множество охотников тут же обшарить весь шар лунный и разыскать старика.

Услышав это, Элем побледнел. Взглянул на толпу, взглянул на солдат неподалеку, которыми теперь распоряжался именем первосвященника, но явно не решился на пробу сил по соседству с Победоносцем. Кивком подозвал городских старшин и торопливо направился в собор. Не найдя там Марка, вместе со свитой поспешил к лестнице, ведущей на кровлю...

А Марк, отослав Ихазель с поручением и после долгого сна все никак не чувствуя в себе воли к действию, присел на каменный парапет со стороны моря, высматривал далекие острова, разбросанные по водной глади, и не прислушивался к сваре, которая разыгрывалась по другую сторону

собора. Короткий разговор с золотоволосой девушкой и ее странноватое поведение несколько выбили из колеи, и он был рад, что в эту минуту никто не покушается на его одиночество. Завидя Элема в сопровождении старшин, Марк неприязненно поморщился.

— Разве Ихазель не сказала вам, что я ни в чем обществе сейчас не нуждаюсь? — не дал он им рассыпаться в приветствиях и поклонах.

Элем задрожал:

— Владыка, мы поняли так, что ты сказал это, желая избавиться от назойливой девки, которая не иначе как докучала тебе просьбами помиловать ее деда, который поутру осмелился держать предосудительные речи.

Марк пожал плечами:

— Нет. Это вы мне докучаете, придя без спроса.

— Владыка, тебя ждет народ, есть неотложные дела.

— Укажи нам, как дальше быть, — хором отозвались старшины, отвечивая низкие поклоны.

— А кто вам раньше указывал?

Воцарилось молчание. Наконец кто-то из старшин произнес:

— Первосвященник Крохабенна, но ведь он...

— Исчез. Знаю. Я приказал разыскать его. Как только разыщут, я от него дознаюсь обо всем, что нужно, и приму решения. Из того, что он сказал мне при встрече, видно, что он тут у вас самый умный.

— Твой первосвященник — это я, — сказал Элем.

Марк почувствовал раздражение.

— И на здоровье, дорогой. Когда ты мне понадобишься, я тебя кликну.

— Ты приказал разыскать Крохабенну, владыка...

— Да.

Элем сделал шаг вперед. Голос у него дрогнул от затаенной ярости, в нем прозвучала едва ли не угроза.

— Владыка, я первым приветствовал тебя, я тебя сюда привел, я объявил тебя на всю Луну Победоносцем, которого мы ждали, а теперь...

— А теперь пошел отсюда, покуда цел! — крикнул Марк и так топнул ногой, что весь собор сотрясся. — Я здесь теперь владыка! И не по твоему желанию, а по своему! Понял?

Перепуганный Элем смиренно поклонился, но в потупленном взоре затлела ядовитая злоба.

— Воля твоя превыше всего, владыка, — сказал он. — Мы всего-навсего твои слуги. Если я осмелился не вовремя

прийти, то потому лишь, что твоих повелений жаждет народ, который зрит в тебе пастыря и властелина.

Марк усмехнулся.

— Не сердись, первосвященник, — сказал он, с нажимом произнеся титул. — Но сейчас ты и вправду не ко времени. Пришли-ка лучше повара, чтобы меня накормили, а то я чертовски есть хочу. А с вами я поговорю потом.

Элем молча откланялся. С угрюмым видом зашагал вниз по винтовой лестничке, не иначе как строя в уме какие-то новые планы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Весть о пришествии Победоносца и страшном поражении шернов быстро разошлась по стране, и когда настал час вечерней молитвы, огромная площадь перед собором не могла вместить народные толпы, которые стеклись туда из самых разных мест. Кроме жителей Теплых Прудов и окрестных поселков, кроме тех, кто пришел в поселок вместе с Марком, пришли охотники, живущие в джунглях на пологих склонах Отеймора, пришли искатели жемчуга и янтаря, пришли крестьяне, умельцы разводить здешние мясистые съедобные растения, и полудикари с дальнего Перешейка между двумя морями, закаленные в неустанных, кровопролитных стычках с выворотнями, и люд из цветущих деревень поближе, привыкший к роскоши и всевозможным удобствам.

У самого собора раскинули свой товар местные торговцы, нахваливая пришлому народу рыбацкие сети и разную утварь, на которую простолюдины из дальних мест поглядывали с изумлением, не имея понятия, как ею пользоваться. В торговом ряду бурлило. А на тенистой стороне площади, где было не так жарко, вокруг нескольких братчиков сбились кучки любопытствующих послушать о пришествии Победоносца, который сперва предстал перед братией, как было заповедано испокон веков, а теперь несет мир и благодать всему народу лунному. Были и те, кто теснился вокруг солдат первосвященника и ополченцев Ерета и, затаив дыхание, с восторгом слушал рассказы о битве, которая закончилась полным разгромом шернов. Всплескивали руками, славили рост и силу Победоносца и охотно поку-

пали шкуры убитых шернов, отсчитывая точеные янтарные бусины. Шкуры шли с аукциона: воякам нужны были денежки на азартную игру и на хмельной сок «нои», так называлось здесь соответствующее зелье.

А некоторые шли к морю, где прямо на лестнице большого здания устроился торговец рабынями. В зависимости от возраста и красоты цена за душу колебалась от двух до шести горстей янтарных бусин. Сетовали, что нынче дорогонько, но торговля шла. Уж слишком велик был наплыв, и хватало желающих заодно прикупить светловолосую работницу на свою дальнюю усадьбу.

Звучали вопли зазывал, смех и ругань на всех наречиях. Сквозь открытые настежь двери харчевен слышно было, как горланят песни успевшие хлебнуть охотники до крепчайшей «ноевки». И время от времени все перекрывал хор монахов, в набожном рвении ожидающих выхода Победоносца.

И вот он вышел, предстал во весь свой огромный рост на паперти собора. Как раз в ту самую пору, когда вот уже несколько сот лет первосвященник, по обычаю, выходит приветствовать народ возгласом «Он придет!».

И, едва он вышел, кончилась торговля, стихли шум и песни — и тысячи голосов восславили его имя, благословляя день и час, когда он прибыл на Луну, а особо час, когда он перешагнул порог храма сего, и час, когда его мощная десница поразила шернов, извечных врагов народа лунного.

Он стоял среди всеобщего ликования на том самом месте, где обычно стояли первосвященники в парадном убранстве, стоял в будничной одежде под расстегнутой кожаной курткой, но от его высокой молодой фигуры исходили такой свет и такая сила, что не только те, кто видел его впервые, но и жители Теплых Прудов, знакомые с ним с утра, глаз не могли отвести от него, начисто позабыв об Элеме, жавшемся к его ногам.

Марк поднял руку в знак, что хочет говорить. Но прежде чем смог начать, не опасаясь, что его голоса не расслышат сквозь общий шум, прошло некоторое время. Там и сям по краю площади кто-то пел, кто-то доругивался, но ближе к собору стеснились желающие слушать, с обожанием и любопытством ждавшие, каково будет первое обращение Победоносца к народу.

Марк окинул площадь ясным взглядом и отбросил назад прядь волос с виска.

— Братья! — начал он. — Я прибыл сюда с дальней

Земли, но зову вас братьями, потому что и вы ведете свой род оттуда, пусть и через забытых отцов. Я не ведал, кем окажусь среди вас, не предугадывал трудов, которые меня здесь ждали и за которые берусь. Так сложилось, что прежде обстоятельного разговора с вами мне довелось взяться за ратный труд. И во благо. Если бы я начал этот долгий день, который вот-вот закончится, с бесед с вами, мне пришлось бы со многим не согласиться и, может быть, развеять многие ваши надежды. Но день прошел в общем кровопролитном сражении. Я увидел ваших врагов и понял, насколько они ужасны. Понял ваши горести и ваши беды. Отчасти вы сами в них повинны, но это не умаляет ваших страданий. Мне рассказали об этом ваши жалобы и книги, которые вы почитаете святыми. Я прочел их все, отдыхая после битвы, которая стоила вам большой крови и многих жизней. Но битва еще не завершена, вы сами об этом знаете. Враг силен и коварен, и добить его можно только в его собственном логове... Еще до того, как я во всех подробностях прочел об этом в ваших книгах, я узнал, что вы ожидаете с родной Земли победоносца и освободителя. И вот перед вами я, пришелец оттуда, который хочет вам помочь. Я научу вас всему, что знаю. Вы видели у меня в руках огнестрельное оружие — я научу вас изготавливать его, а с помощью ваших лучших вождей я научу пользоваться им то отборное войско, с которым мы переправимся через Великое море, чтобы навсегда сломить черную силу шернов...

Раздался общий крик радости. Марк выждал, покуда он стихнет, и продолжил:

— Но это всего лишь первая часть того, что необходимо сделать. Вслед за тем я хотел бы искоренить зло, которое свило себе гнездо среди вас самих. Я вижу среди вас господ и рабов, вижу бедных и богатых, вижу притеснителей и притесненных. Вижу несправедливые, дурные законы, вижу предрассудки и жестокость, вижу потачку тем, кто в состоянии купить себе безнаказанность. Ваши женщины угнетены, а мужья считают, что исполнили свой долг, едва избавив жен от голодной смерти. Когда-то так было и на Земле, но там мы это преодолели, и я верю, что с моей помощью вы тоже научитесь жить иначе.

Вновь раздался общий крик, но не такой дружный. Кое-кто из именитых людей и купцов побогаче начал перешептываться в страхе перед новшествами, которые намерен затеять пришелец с Земли. Но перечить вслух не посмел

никто — лишь друг другу на ухо говорили, что порядки на Луне завещаны от праотцов и святы и притеснений никто никому не чинит, уж бедноту-то никто не трогает, у кого нет ничего, с того и взять нечего. Богатым-де тяжелее. Мало того, что богатство трудами достается, так еще и покою нет — вдруг, неровен час, ограбят или положения лишишься.

Победоносец всего этого не слышал. Он перевел дыхание и продолжил:

— Когда все устроится, как должно, когда вы освободитесь от врага, который вас угнетает, и от зла, поселившегося меж вас, я отдам вам власть, а сам вернусь на родину, на светлую звезду, которая вам видна в небесах. И может быть, кое-кого из вас возьму с собой, чтобы и вы подивились громадности мироздания, увидели звезды не только над головой, но и под ногами, побывали на Земле, которая дала начало самой Луне и породила людей, в том числе и вас. Но до того, как это случится, до того часа, как мы распростимся, потому что всех я взять с собой не смогу, я буду править, а вам надлежит слушаться, если хотите, чтобы я в действительности оказался тем заветным Победоносцем, каким вы меня заранее провозглашаете. Я велел найти человека, который нынче утром приветствовал меня с этого места и говорил мудрые речи. Я хотел вместе с ним установить для вас новые законы, но его до сих пор не нашли. Поэтому до той поры, пока вы не научитесь править сами по собственной разумной воле, как это делается на Земле, я назначаю Элема исполнителем моих указаний. Вести военными делами я назначаю Ерета, он поможет мне вооружить и обучить войско, о котором я говорил. А чтобы вы знали, что в женщине я — не то что вы — вижу равного себе человека, я назначаю вестницей моей воли Ихазель, внучку вашего пропавшего первосвященника.

И снова раздался общий приветственный крик. Народ повторял Марковы речи, толкуя их, кто как сумел, пошли разговоры о пропавшем первосвященнике Крохабенне, о новой должности Элема, но вперед всего из уст в уста побежала весть о предстоящем походе в страну шернов. Этому предприятию дивились как чему-то неслыханному, о таком до сих пор никто не смел даже мечтать.

— Он вооружит войско огненным боем, — повторяли рассказчики. — А это то самое страшное оружие, которым он у нас на глазах разил убегающих шернов.

— И раздаст воинам молнии про запас. Мы перебьем шернов всех до одного и завладеем их богатствами.

— Да! Луна принадлежит людям! Старый Человек отдал ее во владение нам!

— Да здравствует Победоносец! Отныне и вовеки!

Марка славили и восхваляли без конца.

А он величественным монаршим кивком простился с народом и уже готов был удалиться с милостивой улыбкой на устах, как вдруг почувствовал, что кто-то теребит его за локоть.

Рядом стоял большеголовый человечек с буйной гривой и, казалось, пронизывал Марка грозным взглядом крохотных серых глаз.

— У тебя что? Просьба? Жалоба? Ступай с этим к Ихазели, — сказал Марк.

Человечек отрицательно покачал головой.

— Хочу поговорить с тобой, — сказал он. — Мне интересно понять, чего ради ты морочишь людям головы?

— Что-о?

Приступ с вопросом — нет, с обвинением! — был так внезапен, что Марк не вдруг нашелся, что ответить. А человечек, видимо, истолковал растерянность великана как свой успех, поскольку насупил брови и строго повторил:

— Чего ради ты морочишь людям головы? К чему эти сказочки про Землю? На глазах у толпы я спор заводить не собираюсь, но если хочешь, пойдем в храм и там поговорим.

Начало показалось Марку на диво потешным. Стало интересно, что это за персона.

— С удовольствием. Рад буду выслушать.

С этими словами Марк подхватил крошку—борца за правду под руку и вместе с ним направился в собор.

— Так, рассказывай, дорогой, чем это я, по-твоему, морочу людям головы? — спросил Марк, когда они остались одни.

Человечек прочистил горло и постарался придать лицу наисерьезнейшее выражение.

— Я Рода, — с важностью сказал он.

— Очень приятно.

— Я Рода, — повторил человечек, словно это имя должно было сразить Марка одним своим звуком.

— Слышу. Ну и что?

— Первосвященника Крохабенну уговаривали побить меня камнями.

— К счастью, он на это не пошел. А то я не имел бы удовольствия...

Рода еще больше насупился:

— Шутки в сторону. Не о том разговор.

— Прекрасно. А о чем?

— Я с давних пор борюсь против одурачивания несчастной черни поповскими небылицами о земном происхождении людей.

— Так-так.

— Ты знаешь не хуже меня, что Земля необитаема. Наверняка там нет существ, похожих на людей.

Это и впрямь становилось забавно.

— То есть как? А я?

— Ты никогда не бывал на Земле, — убежденно сказал Рода.

— Ничего себе новости! — воскликнул Марк.

На лице Роды явилась враждебная тень.

— Не будем играть в прятки. Со мной этот номер не пройдет. На моей стороне знание.

— Так ты считаешь, что люди испокон веку жили на Луне? На этом самом месте?

— Нет. Не на этом самом месте. Сюда их привел человек, которого в легенде называют «Старым». Весь вопрос в том, зачем привел.

— Значит, все-таки «привел». Но откуда?

— Оттуда, откуда и ты явился, — ответил Рода, хитро заглядывая Победоносцу в глаза.

— Так будь любезен, скажи, откуда явился я.

Рода помедлил с ответом. Усевшись на стол, рядом с которым поместился Марк, он оперся руками о колени и пригнулся, не сводя глаз с Марка, словно с высоты своего положения хотел увидеть, какое впечатление произведут его слова. И наконец отчеканил:

— Ты прибыл... с той стороны.

— Не понял, — ответил Марк. Он действительно не понял.

Рода неприязненно поморщился.

— Все еще надеешься обмануть меня, — сказал он. — Ладно, суть не в этом. Я тебе докажу, что знаю истину, так и быть, расскажу все то, о чем ты сам прекрасно знаешь, ты сам увидишь, что меня на сказочках не проведешь, и, может быть, тогда мы с тобой договоримся.

— Так все же: откуда же я прибыл? — с некоторым раздражением повторил Марк свой вопрос.

Рода усмехнулся с оттенком превосходства.

— Начнем сначала, — сказал он. — Попы всячески распространяют небылицу о том, что люди прибыли на Луну с Земли. А я утверждаю, что, во-первых, Земля необитаема, что, во-вторых, если даже она была бы обитаема, жители Земли очень сильно отличались бы от людей и, в-третьих, каковы бы они ни были, им вовеки не добраться до Луны. И я докажу тебе, что...

Марк усмехнулся:

— Милый мой Рода! Несколько тысяч лет тому назад на Земле жил мудрец, который утверждал, что, во-первых, мира не существует, что, во-вторых, если бы даже мир существовал, человек был бы не в состоянии об этом узнать и, в-третьих, уж наверняка не смог бы никому другому рассказать о том, что ненароком узнал. А сам он за деньги учил других разбираться в природе вещей.

— При чем тут это?

— Да почти ни при чем. Просто мне, человеку с Земли, смешно, когда ты, чьи предки тоже люди с Земли, городишь мне невесть что.

— А все равно моя правда, даже если бы ты прибыл с Земли, что, впрочем, исключается. Ты слушай. Земля намного больше Луны и тяжелее, поэтому там предметы весят гораздо больше...

— Откуда ты об этом знаешь? — удивился Марк.

— Увы, должен признаться: от вас.

— Как это?

— Очень просто. У твоего сородича, который много веков тому назад привел людей с той стороны Луны на эту, были книги. Он тщательно хранил свои секреты, точно так же, как и ты, — сейчас я лично убеждаюсь в этом, — и когда возвращался на ту сторону, сжег свой дом и все свои книги. Но кое-что удалось спасти и сохранить. Не попам, о нет! Попы заботятся только о книгах с бесполезными сказками. Сокровища, которые удалось вырвать из ваших скаредных рук, все эти сотни лет сберегаются в моем роду. Так что мне было откуда почерпнуть знания.

— Вот теперь понятно. Из книг, которые написаны на Земле, ты почерпнул доказательства ее необитаемости. Есть с чем поздравить!

— Не важно, откуда почерпнул. Важно, что почерпнул, причем неоспоримые. Ты утверждаешь, что на Земле живут люди, подобные тебе по размерам? Смилуйся! Такой великан при шестеро большем весе, даже будь он величайшим силачом, там не смог бы двинуться с места! Тамошнее

давление воздуха попросту раздавило бы ему легкие! Ха-ха! Хотел бы я полюбоваться, как ты выглядел бы на Земле!

Рода, в упоении потирая ручки, лукаво засмеялся и заглянул в глаза Марку.

— И кроме того, тамошние короткие дни и ночи крайне неблагоприятны для зарождения жизни, — помолчав, продолжил он. — Не успеет растение окрепнуть на солнечном свете, как наступает ночь и оно неминуемо гибнет от холода. И уж если на то пошло, знаешь ли ты, что такое те белые пятна, которыми в течение нескольких наших дней бывают покрыты некоторые части Земли? Знаешь?

— Мне интересно услышать твое мнение, — сказал Марк.

— Это снег! — торжествующе воскликнул Рода. — Снег! А это значит, что там и днем холода, и длятся они так долго, что выдержать такой срок ни одно живое существо не способно!

— Недолго и поверить, что Земля необитаема. Но тогда откуда же я, по-твоему, взялся?

Рода окинул Марка изучающим взглядом:

— Не хочешь, значит, признаваться несмотря ни на что! Ну, хорошо. Я мог бы привести множество других доказательств тому, что люди на Земле не живут и жить не могут, но вижу, что это бесполезно. Так и быть, скажу тебе прямо, откуда явился этот «Старый Человек» и откуда ты сам.

— Давно пора.

Из толстой папки, которую принес с собой, Рода вынул карту и разложил перед глазами Марка.

— Смотри!

— Карта безвоздушной стороны Луны, — сказал Марк, мельком взглянув на развернутый лист. — Исполнена по фотоснимкам с Земли.

Рода засмеялся:

— Знать не знаю, что еще за «фотоснимки с Земли»! Знаю, что, глядя со стороны, таких карт не рисуют. Тот, кто ее чертил, отлично знал те места. Глядя со стороны, рисуют карты вроде этой.

С этими словами он положил перед глазами Марка обгорелый обрывок карты Европы, спасенный из горящего дома Старого Человека.

Настал черед смеяться Марку.

— Но, дорогой мой Рода! Ведь эта карта более точна и подробна!

— В том-то и дело! Чтобы рисовать такие «точные кар-

ты», надо обладать большой фантазией и видеть образчик далеко и смутно, скажем, на небе. Глянь, какая раскраска, как поделен материк безо всяких на то причин. А эти кружочки? Что они означают? И при каждом названии, попадают даже очень остроумные.

Марк пожал плечами:

— Ты меня и впрямь вот-вот уговоришь, что я никогда не бывал на Земле.

— Если ты до сего дня вправду верил, что бывал там, значит, ты просто сумасшедший, — ответил Рода. — Однако я тебя сумасшедшим не считаю, — добавил он, помолчав. — Больно ты себе на уме для сумасшедшего. Ты добиваешься, чтобы в это поверили мы.

Рода прыгнул со стола, заходил взад-вперед большими шагами и принялся говорить связно и складно, словно повторяя сказанное уже не один раз:

— На безвоздушной стороне Луны когда-то была цветущая и богатая страна. Там, под ночным сиянием Земли, на зеленых лугах, у подножия снежных гор, на берегах голубых морей, жили люди. А здесь, где Земли не видно и по ночам царит непроницаемый мрак, жили одни шерны, которые носа не смели сунуть на другое полушарие, в страну, где владеют люди. Эти люди были могучи, ужасны видом и счастливы. Но со временем благословенная Земля перестала обогревать по ночам этот край, воздух улетучился, моря высохли. И тогда люди...

Он примолк и на миг впился в Марка изучающим взглядом.

— И тогда люди... — подхватил Марк.

— Я знаю вашу тайну, — после некоторого молчания сказал Рода. — Взгляни на эту карту, она выдает вас с головой. На той стороне Луны, которая обращена к Земле, полно расщелин, провалов и пропастей. Это входы в ваше царство, которое вы построили ниже безжизненной поверхности. Там, в искусственно освещенных пещерах, вы до сего дня живете в роскоши и счастливом благоденствии. Там у вас подземные города, нивы и подземные моря. И вы ревниво оберегаете вашу тайну, опасаясь шернов, а может быть, и нас, оставленных без наследства.

Страстная ненависть исказила черты лица Роды, рот судорожно оскалился, блеснули зубы.

— Да будет проклят Старый Человек, да будет проклят тот, кто вывел нас сюда, на горе и нищету, кто бы он ни был! Но мы вернемся! Раньше или позже, но мы вернемся!

Мы слабее вас, это правда, но зато нас наверняка намного больше. Вряд ли вас там много в ваших пещерах!

Марк спокойно положил ему руку на плечо.

— Уймись, Рода! — сказал он. — Поверь: все это твои собственные выдумки. Та сторона Луны необитаема. Люди живут на Земле. Иное дело, было или не было преступлением прививать род людской здесь. Но тут уж ничего не поделаешь: свершилось.

— Вот именно! Свершилось! А чтобы не пересвершилось, чтобы мы не вернулись, ты являешься сюда и твердишь нам старые сказочки про Землю! Да! Чтобы мы пиялили глаза на голубые небеса, на дальнюю звезду, на что угодно, лишь бы не глядели себе под ноги, лишь бы не искали здесь того, что нам принадлежит, но отторгнуто! А может быть, и вас там шерны взялись донимать? Отыскивали тайные проходы к вам, нападают и притесняют? А? Что скажешь? И тебя сюда послали, вспомнили о нас, жалких потомках какого-нибудь изгнанника или преступника, которого попы нас заставляют почитать, чтобы мы под твоим геройским водительством воевали с шернами в их собственной стране ради вашей пользы! Недаром ты первым делом объявил поход!

Рода давился словами, метал их иступленно, ненавидяще, с горькой издевкой в горящих глазах. Напрасно Марк пытался прервать этот поток. Ожесточившийся умник ничего не хотел слушать. Что ему ни говори, он отмахивался, убежденный, что только ему ведома подлинная правда, только он один ей защита.

Наконец Марку поднадоело.

— Что тебе от меня нужно? — резко спросил он.

— Чтобы ты не морочил голову народу, который и так одурочен поповскими сказками, — твердо ответил Рода. — Чтобы ты не плел небылиц насчет Земли, не внушал людям неутолимых и туманных печалей. Нам и так здесь туго приходится, и нечего ради забавы направлять наши взоры к небесам и толковать о смехотворной лжеродине, куда вовек не ступит наша нога. Вот чего я требую. И если ты хочешь, чтобы я поверил в твою добрую волю, укажи нам дорогу в ту страну, где вы живете.

— А если я откажусь?

— Тогда между нами война не на жизнь, а на смерть.

— Даже если я помогу вам одолеть шернов?

— Даже если ты поможешь нам одолеть шернов. Потому

что своими небылицами ты причинишь нам на будущее больший вред, чем это удалось бы шернам.

Марк встал, и словно вдруг гора нависла над мизерной фигуркой антагониста. Тот невольно попятился, но, желая скрыть охвативший невольный страх, насупился и сурово сказал:

— Жду ответа.

— Готов торжественно поклясться, что никому никаких небылиц рассказывать не собираюсь, но запомни, дорогой мой Рода: я не перестану напоминать людям, что их предки пришли сюда с Земли и что их родина — это Земля. По-моему, это только облагородит вас и поднимет в собственных глазах.

Рода молча направился к выходу.

— Постой! — окликнул Марк. — Ты хотел, чтобы я указал тебе дорогу в ту страну, откуда прибыл, и помог тебе туда попасть. Всех взять с собой обратно не смогу, но у меня в машине хватит места на шестерых таких, как ты. Могу взять тебя с собой, когда буду возвращаться. Не хочешь ли прокатиться на Землю и убедиться, что она обитаема?

Рода приостановился и внимательно выслушал Марка. И проницательно усмехнулся:

— Так я и думал. Хочешь забрать меня с собой, чтобы здесь после твоего отъезда никто не подрывал веры в небылицы о Земле, чтобы в зародыше искоренить...

Замолк на полуслове и задумался.

— И все-таки как же ты сюда добрался? — внезапно спросил он.

Марк взмахом руки начертил в воздухе параболу.

— В снаряде. Его можно увидеть в Полярной стране. Он там стоит на собственной катапульте.

— И тем же путем можешь вернуться?

— Да. Могу. Достаточно войти, тщательно закрыть за собой люк, разбить стеклышко и нажать кнопку.

— Кнопку под стеклышком?

— Да. Катапульта заряжена воздухом, который оказался сжат при падении снаряда. Стоит ей сработать, снаряд вернется в точности на то же место, откуда запущен, то есть на Землю.

На толстых губах Роды появилась уже знакомая Марку хитренькая улыбочка.

— Не на Землю, а к одному из входов в ваши подземные города на той стороне, скажем так. Но суть не в том. Я хотел... Впрочем, суть не в этом. Великолепный транс-

порт, просто великолепный! Прежде всего тем, что посланец на обратном пути не может быть выслежен. Однако...

Рода замолк и, не слушая больше Марковых речей, быстро вышел из собора.

Победоносец проводил его взглядом и презрительно махнул рукой. Однако вскоре неожиданно помрачнел как туча. Пришло в голову, что надо бы поставить охрану при машине в Полярной стране, но поначалу самому смешно стало.

— А охрану все-таки надо поставить, — пробормотал он. — Береженого Бог бережет.

Показалось, что в сумрачной глубине собора мелькнуло темно-лиловое платье золотоволосой Ихазели, он громко позвал ее, но в ответ донеслось только эхо. Усмехнулся про себя, однако не так беззаботно, как прежде, и направился к главному амвону из черного мрамора и к кованой бронзовой дверце за ним. Отпер ее, — он уже знал, как это делается, — зажег каганец и зашагал вниз.

В прежней тайной святая святых собора похозяйничали изрядно. Богатые укладки с крепкими запорами, где хранились дорогие облачения и драгоценная утварь, новый первосвященник приказал перенести туда, где поселился, в дом через площадь. Хочешь не хочешь, а пришлось смириться с приказом Победоносца оставить дворец первосвященника за внучкой Крохабенны. В подземелье остались одни книги. Прежде святые, а нынче никому не нужные, они были свалены в кучу рядом с отодвинутым к стене малахитовым столом. А в глубине, где на плите из полированного туфа таинственно поблескивал золотой знак Пришествия, под золотой надписью, литеры которой сплетались в слова великого обещания «ОН ПРИДЕТ», словно бы в свидетельство того, что пробил час и на Луну воистину явился Победоносец, к стене был прикован с распростертыми руками некогда всемогущий правитель, а ныне жалкий пленник шерн Авий. Его распушенные крылья, прижатые к стене, потихоньку кровоточили, сочились и зияющая рана на шее, сукровица стекала по груди и капала на пол, собираясь в лужицу.

Марк поднял каганец и осветил уродливое лицо шерна. Тот моргнул налитыми кровью бельмами и ненавидящим взглядом уставился на победоносного врага. На миг напряглись прикованные змееподобные руки и дрогнули придавленные крылья, но, видимо, шерн тут же вспомнил, насколько бессилён: не тратя сил попусту, сомкнул веки и грузно повис на железных цепях. Марк попятился на несколько шагов.

Победоносец уже знал, что те из шернов, кто общался с людьми, понимают человеческую речь, однако не мог заставить себя заговорить с этим нелюдем. Стоило открыть рот, слова застревали в горле и охватывало отвращение, граничащее со страхом. Однажды в его присутствии Элем заговорил с Авием, сказал по поручению Победоносца, чтобы пленник не страшился ни пыток, ни смерти, что он будет живьем доставлен на Землю в сверкающей машине пришельца. В ответ Авий хрипло выругался, и у Марка до сих пор звучал в ушах этот омерзительный, непредставимый голос, тем более жуткий, что звучал по-человечески, а исходил от твари, начисто лишенной человеческого образа и подобия.

Марк сел на малахитовый стол и поставил рядом каганец. В неверном, мигающем свете золотые круги священного знака то посверкивали, то угасали, скрывающиеся огромной, пляшущей тенью шерна, метавшейся, словно привидение, по глади полированного камня, стоило язычку пламени вздрогнуть. Тварь висела, как мертвая, с упавшими крыльями и бессильно поникшей головой, а тень внезапными бросками взлетала у нее из-за спины, пошатывалась, опала и снова взлетала, покрывая сверкающие буквы надписи и золотые круги знака. Невольно пробирал страх. Марк сделал движение, словно собирался встать и бежать вон из этого мрака, но тут заметил, что шерн открыл глаза и смотрит на него пронизывающим взглядом.

Марк превозмог себя и встал.

— С тобой хорошо обращаются? — спросил он, и собственный голос показался изменившимся, каким-то чужим.

Шерн сощурился, долго молчал и наконец ответил:

— Пошел вон, пес. Тошнит от тебя.

Марка охватила внезапная ярость.

— Замолчи, животное. Я твой хозяин и прикажу проучить тебя кнутом.

— Воля твоя.

— Еще бы, раз я тебя изловил.

— Врешь. Меня случайно изловила девка, а не ты, болван.

— Я заберу тебя с собой на Землю.

Шерн визгливо хохотнул:

— Ни на какую Землю ты не вернешься. Подохнешь тут.

— Вернусь. Но прежде перебью вас всех до одного. Истреблю в собственной стране, как истребил здесь. Здесь ни одного шерна в живых не осталось, кроме тебя.

Авий открыл обе пары глаз и внимательно посмотрел на Марка.

— Сними оковы и освободи меня, — помолчав, сказал он. — За это я разрешу тебе убраться на Землю живым и невредимым.

Настал черед засмеяться Марку:

— Сниму. Если ты пойдешь ко мне в проводники по вашей стране, куда я собираюсь идти войной.

Шерн не удостоил Марка ответом. Отвернулся и уставился на трепетный огонек каганца. И тогда Марк, перебив отвращение, подошел и коснулся пальцем косматой шерсти на груди шерна. мех оказался неожиданно мягким.

— Согласен? — настойчиво спросил Марк.

Авий медленно повернул голову к Марку, окинул лицо Победоносца долгим и бесстрастным взглядом, а потом проворчал:

— Еще не поздно меня убить. А то победа будет за мной. Потому что ты дурак. Как все люди.

— Значит, не поведешь?

— Я поведу! — неожиданно раздался голос из угла, где сходились своды.

Марк с живостью обернулся. Он и позабыл о присутствии Нузара, который лежал в темноте на подстилке, прикованный за ногу.

— Ты? А ты знаешь страну шернов?

— Да, — ответил выворотень и встал. — Я там родился. Моя мать была у них в плену, ее потом задушили. Я поведу тебя, владыка, потому что вижу: ты сильнее шернов, и, значит, ты победишь.

Авий повел головой, уставился на своего прежнего слугу и с безграничным презрением процедил:

— Дурак.

Г л а в а II

— Крохабенну нашли?

Севин потупился:

— Нет, Ваше Высочество. Пока не удастся...

Не договорил и заглянул в глаза новому первосвященнику, как бы надеясь выznать там подлинный смысл вопроса. Некоторое время Элем тоже пытливо всматривался в своего клеветника. А потом опустил взгляд и руками в золотых

перстнях начал перебирать бумаги, лежащие на мраморном столе. И, не поднимая глаз, как бы нехотя, спросил:

— Может, плохо ищут? Победоносцу желательно...

На губах Севина заиграла лукавая улыбочка.

— Облеченные доверием были бы рады исполнить все, что пожелает Победоносец, и все, что угодно Вашему Высочеству, но возникли непреодолимые трудности. Прежнего первосвященника, казалось бы, видели все, но, как ни странно, очень мало кто знал в лицо. Среди занятых поисками нет ни одного способного самостоятельно опознать его, тем более что он наверняка переодет и...

Элем облегченно вздохнул.

— Прикажете продолжать розыск? — помедлительно, спросил Севин, не дав патрону отмолчаться.

— Да-да. Пусть ищут.

— Те же люди, что и до сих пор?

— Н-ну, если нет других, то-о...

— Как будет угодно Вашему Высочеству.

— Желательно знать, где он скрывается, — помолчав, сказал Элем.

Севин снова заглянул ему в глаза и потупился в знак того, что приказ понят.

Первосвященник встал из-за стола и направился к широкому окну, из которого открывался вид на площадь перед собором. Теперь это свободное ровное место отвели под стрельбище, где солдаты под руководством Ерета учились владеть огнестрельным оружием, изготовленным верными людьми, которых Победоносец посвятил в тайну устройства. Некоторое время Элем прислушивался к звукам выстрелов по мишеням и протяжным командным окрикам, а потом снова повернулся к ожидающему Севину.

— Кого слушаются эти люди? — внезапно спросил он.

— Имея в вашем лице законного первосвященника...

Элем сердито повел рукой, не давая договорить.

— Я спрашиваю, кого слушаются эти люди? Победоносца или Ерета?

Севин пожал плечами:

— Не знаю.

— Так узнай.

— Как будет угодно Вашему Высочеству. Но-о...

— О чем задумался? Говори.

— Не знаю, как точнее сказать, Ваше Высочество. Возможно, было бы лучше, если бы слушались Победоносца, а не Ерета.

Господин и клевет воззрились друг на друга.

— Полагаешь, что Ерет...

— Да, Ваше Высочество. В настоящее время он как будто бы всецело предан Победоносцу, но его гложет обида из-за этой, ну... и надо полагать, постепенно...

Севин примолк, хотя Элем не перебивал, а как бы взвешивал что-то в уме, глядя в окно, как под ударами пуль крошится толстая стена, служившая новобранцам мишенью. И после долгого молчания раздельно сказал:

— Ошибаешься, Севин. Ерет всей душой предан благословенному Победоносцу, предан и мне, первосвященнику, так что можно безо всяких опасений внушать войнам слепое послушание прежде всего Ерету. И войны это легко поймут. Ведь Ерета им поставил в начальники сам Победоносец.

И отошел от окна. Несколько раз медлительным шагом прошелся по комнате, снова сел за мраморный стол, заваленный разными бумагами, и погрузился в чтение.

Но Севин не уходил. Заметив его выжидающую позу, Элем, наконец, поднял на него глаза:

— Что еще?

— Есть вопрос. Не прикажет ли Ваше Высочество принять меры к задержанию бывшего брата нашего Хома?

Элем с живостью откинулся за столом:

— Хома?.. А в чем дело?

— Мы-то понимаем, что он от старости слегка впал в детство, но посторонние не понимают и поэтому прислушиваются к его речам. Есть мнение, что его умственное расстройство усугубляется и начинает несколько выходить за пределы терпимого.

— Его слушают? — спросил Элем напрямик, от волнения позабыв об уклончивых выражениях, которые употреблял даже в разговоре с наперсником.

— Нельзя сказать, чтобы очень, но в один прекрасный день...

Элем задумался.

— Дело терпит, — сказал он, помолчав, как бы про себя.

— Как знать? Есть сведения, что Хома объявился на Перешейке у рыбаков, а они люди темные, дикие и несдержанные...

— Многие из них пошли добровольцами к Ерету, — заметил первосвященник.

— Да, но не все. Кто остался дома, тот теперь вполне

доступен для кошунственных речей впавшего в детство старика. Уж Вашему-то Высочеству ведомо, что он несет.

Элем молча кивнул.

— Он стал дерзок, — продолжал Севин, в упор глядя на патрона. — Он твердит, что Победоносец вовсе не Победоносец, ибо мертвые не воскресли ему навстречу, как заповедано в Писании, а стало быть, мы, все Братья в Ожидании, покинувшие Полярную страну, преступили свой обет. Он даже осмеливается намекать, что Ваше Высочество...

— Кстати! Это мне напомнило насчет Роды. Как там он? Севин презрительно поморщился:

— Неопасен. Ораторствует, слишком любит всех поучать. Над ним смеются, как во времена Крохабенны.

— У него есть сторонники?

— Горсточка, не заслуживающая внимания. Если Ваше Высочество соизволит прислушаться к мнению...

— Говори.

— Его не надо трогать. Пока его не преследуют, к нему прислушиваются одни лжевсезнайки и книгочен. Эти всегда не в счет. А народ — народ зарится на плодородные заморские земли шернов и не верит, что в пустыне может существовать что-нибудь достойное вожелений. Но стоит Вашему Высочеству резко выступить против Роды или, что еще хуже, распорядиться о его казни, вот тогда чернь непременно станет раскидывать умишком и гадать, а не было ли в речах осужденного доли правды. С Хомой дело обстоит иначе. Хома состоит в нашем братстве, и никого не удивило бы...

Первосвященник дал Севину знак замолчать.

— Да-да. Будет. Я подумаю.

Севин поклонился и, видя, что Элем уткнулся в бумаги и больше ни о чем не спрашивает, попятился вон. Но едва за ним закрылась дверь, былой приор Братьев в Ожидании вскочил из-за стола и забежал по комнате. На прежде бритом черепе у него отрастала густая шевелюра. Чернушая бородаща, да еще при желтом облачении, придавала ему какой угодно, но только не смиренный вид. Резко очерченный, высокомерный рот кривился, глаза под насупленными бровями горели тревожным огнем и невольно обращались к окну, выходившему на площадь, куда полюбоваться успехами своего войска вышел сам Победоносец.

Элем остановился у окна. Жадным взглядом ловил автоматизм перестроений, быстрые движения рук, управляю-

щихся с оружием, а после каждого выстрела впивался глазами в стену, крошащуюся под ударами пуль.

— Нынче вечером выступят, — пробормотал Элем.

Он глянул на солнце — оно стояло высоко, еще очень высоко — и вдруг ощутил нетерпение. В течение многих лет, проведенных в Полярной стране, не знавший, что такое время, дни, восходы, закаты, он теперь маялся при мысли, что вечер нескоро и не сию минуту замерзнет море, становясь буерам Победоносца мостом в таинственную страну шернов. Хоть бы уж он начался, наконец, этот поход! Вслух Элем сам себя убеждал, что жаждет скорейшего разгрома извечного супостата, но в глубине души-то знал, что ждет не дождется, когда же наконец Победоносец отправится воевать, оставив ему, первосвященнику, нераздельную, ничем не омрачаемую власть.

А когда Победоносец вернется...

Элем не замышлял, не хотел замышлять никаких козней. Он твердо верил, что пришелец — это тот самый Спаситель, которого сотни лет высматривали Братья в Ожидании, которого предсказывали пророки и священные книги. Он верил, что приход Победоносца означает великие перемены и становление нового порядка в лунном мире, но помимо собственной воли представлял себе этот новый порядок как нескончаемость своего самовластного господства.

А когда Победоносец вернется из-за Великого моря...

Ничего дурного Элем не замышлял. Виделось, как чудесная, сверкающая машина Победоносца уносится в межзвездное пространство обратно на Землю. На Землю, которую не кто иной как Элем, ее первосвященник, благословит, оплакивая уход прославленного Победоносца, вознося благодарность тому, кто огненным боем поразил шернов и истребил их семя на Луне, где отныне народ сможет жить в мире и счастье под нерушимой властью Элема, основателя новой династии первосвященников.

А что, если...

Нет, он мысли не допускал, что Победоносец вознамерится поселиться на Луне и впредь править ею по собственному разумению, оставив первосвященнику лишь призрак власти. Ни один пророк никогда не глаголил, что Победоносец останется на Луне, верить в такое никто и никого не учил.

Дальнейшего Элем отчетливо не представлял. Сознательно взнуздывал воображение, которое все-таки подсовывало неясные образы Хомы, Роды и даже старика Крохабенны,

который в свое время на паперти собора еретическими речами повстречал радость взоров человеческих, светлого и благословенного пришельца с Земли.

Элем быстренько прогнал эти видения, даже лоб потер, как бы изничтожая самый след невольных помышлений, но не смог удержаться, глянул в окно и окинул тревожным взглядом Ерета, который в ту минуту о чем-то разговаривал с Победоносцем. И удовлетворенно усмехнулся, видя, как почтительно, но без восторга смотрит на вождя молодой воитель...

А Ерет и впрямь с того самого дня, когда на крыше собора взмолился, чтобы Победоносец не отбирал у него возлюбленную, в своих беседах с Марком старался не выходить за пределы служебной надобности. Марк, которому полюбился этот молодой, пылкий смельчак, с болью переживал это отчуждение, время от времени старался вовлечь его в живую беседу, но не удавалось. На вопросы Ерет отвечал кратко и уважительно, приказы исполнял без проволочек, но никогда не улыбался и никогда не шел на разговоры о чем бы то ни было не касающемся войны с шернами.

В конце концов Марк сдался. В течение нескольких долгих лунных дней, а по земному счету — больше полугода, они все время были рука об руку, встречались чуть ли не раз в два часа, вместе устраивали мастерские по изготовлению огненного боя, вместе подбирали умельцев, вместе обучали стрелков, и Победоносец должен был согласиться, что мечтать не приходилось о лучшем помощнике, чем этот сметливый и преданный делу человек. Но непреодолимо чуждый и с каждым днем все более далекий.

Нынче шли последние учения перед походом. Сидя на паперти, Марк не без удовольствия наблюдал за удивительной меткостью стрелков, которые почти без промаха стреляли пулями по глиняным тарелочкам, как вдруг перед ним появился Ерет.

— Победоносец, все готово, — сказал Ерет. — Если тебе впору, можем выступить нынче, как только зайдет солнце и море покроется прочным льдом.

— Добро! — ответил Марк, невольно впадая в немногословность, которую Ерет установил для их бесед.

Не сказав больше ни слова, коновод лунной молодежи продолжил путь к берегу, где в ожидании ночного льда стояли в ряд буера, но, сделав несколько шагов, внезапно обернулся:

— Ты звал меня, владыка, или мне показалось?

— Нет, тебе показалось.

Ерет направился было дальше, но тут Марк и впрямь окликнул его:

— Постой-ка, Ерет, давай поговорим.

Встал и двинулся вдогонку парню, который мгновенно остановился в сосредоточенном ожидании приказа или вопроса. Но Победоносец не приказал, не спросил, а всего-навсего, подойдя, сел на камень, — такой он завел обычай разговаривать с малорослыми лунными людьми, — взял Ерета за руку и долгим, ясным, грустным взглядом посмотрел ему в глаза. Ерет выдержал этот взгляд спокойно, только брови сошлись в две жесткие дуги, разделенные глубокой морщинкой.

— Ерет, с тех пор как я оказался здесь, — начал Марк, помолчав, — лишь троих людей я встретил, с которыми хотел бы дружить. Один из них, старик Крохабенна, куда-то запропал, едва мы познакомились, второй — это ты...

Марк примолк, словно подыскивая нужные слова.

Ерет быстро вскинул взгляд, у него зашевелились губы, и, хотя вслух он не произнес ни слова, Марк понял это движение губ, означавшее: «Владыка, а третья — это Ихазель».

— Ихазель, вот именно, — подхватил Марк, словно сказано было вслух.

Молодой воин невольно отшатнулся:

— Владыка, а зачем говорить о том, что и так в полнейшем порядке?

— Разве?

— Да, Победоносец. Ихазель служит тебе точно так же, как и я, как должны служить все люди на Луне.

— Но ты из-за нее в обиде на меня. Тебе кажется, что я ее у тебя отбираю.

— Владыка, чего ты от меня хочешь?

Вопрос прозвучал с такой внезапностью и прямотой, что Марк не нашелся с ответом. Действительно, а чего он хочет, чего еще ждет от человека, у которого, сам того не желая и не рассчитывая, отнял самое любимое? Жалостное зрелище — заискивание перед тем, кого обидел, и Марка охватила злость при мысли о собственном унижении в глазах Ерета. Он нахмурился и собрался было отдать какой-нибудь приказ, властный, краткий, не подлежащий обсуждению, лишь бы покончить с ложным положением, четко обозначить, кто он, Марк, и кто Ерет, но вдруг Ерет

продолжил странно изменившимся голосом, такого Победоносца из уст помощника еще не слышал:

— А обида — что толку обижаться на судьбу? И не я установил людям запрет служить двум господам. Кто отдался высшему служению, тот для мирского потерян. — При молк, помолчал и добавил: — Иное дело, если бы ты, владыка, был человеком...

— А кто же я, по-твоему? — безотчетно спросил Марк, поскольку Ерет не договорил.

— Ты бог, Победоносец.

И прежде чем Марк, ошеломленный этим от веку всеподавляющим словом, успел возразить, откреститься, Ерет оказался дальним темным подвижным пятнышком на желтом песке взморья возле буеров и людей, хлопотливо занятых последними приготовлениями к походу в самое сердце ужасной и неведомой страны шернов.

Марк встал и неспешным шагом направился в сад, круто ниспадающий от задней стены собора к морскому берегу. Там, оберегаемый от врожденной ненависти лунных людей, с того самого дня, как предложил Победоносцу быть проводником у войск вторжения в страну шернов, жил Нузар. Охрана в саду была слабенькая, часовые у ворот скорее преграждали вход убийцам из каких-нибудь фанатиков, чем стерегли пленника, который мог идти куда захочет. Выворотень и впрямь мог в любую минуту удариться в бега и, пробравшись крутым и скалистым берегом на север, исчезнуть в джунглях у подножия Отеймора, где его никто и никогда не сыскал бы. Однако он и не помышлял о побеге. Дважды он был свидетелем ужасного разгрома шернов, своими глазами видел, во что превратился некогда всемогущий правитель Авий, видел в руках Победоносца огненный бой, а, напав на него, сам убедился, насколько эти руки сильны. И в темном разуме выворотня, до сей поры загроможденном картинами битв и резни, совершилась решительная перемена. Он счел Победоносца самым сильным существом на Луне, а стало быть, достойным наивысшего почета и обожания. Если бы Нузар хоть на миг оказался способен поверить в то, что его новый властелин смертен или способен потерпеть поражение, он наверняка бросился бы на Марка с ножом еще раз — попросту затем, чтобы, пусть и ценой собственной жизни, пусть ненадолго, но перед самим собой предстать выворотнем Нузаром, который победил того, кого считали непобедимым. Но подобная мысль ему даже в голову прийти не могла.

Нузар был в полнейшем восторге от того, что служит бессмертному и неодолимому господину, он заранее наслаждался, воображая картину разгрома шернов и предвкушая, как она будет ужасна. А в тайниках дикарского сердца лелеял надежду, что страшную судьбу крылатых первоженителей Луны затем разделят и люди. Планов он не строил, строить планы — дело хозяина, но убежден был в одном: предстоит бойня, и в этой бойне он, верный пес Победоносца, как только свистнут, догонит и прикончит все, что дышит и бегаёт.

При одной этой мысли он растворялся в неудержимой, идолопоклоннической любви к новому хозяину, он дрожал от нетерпения в ожидании мига, когда помчится под парусами на юг. Огнестрельного оружия ему не дали, а он даже думать не хотел об огненном бое, он вытребовал себе лук, сам свил тетиву из собачьих кишок и засел мастерить из тростника легкие стрелы, чтобы разить шернов, стоя рядом с их победоносным истребителем.

И когда в сад пришел сам Победоносец и собственными устами объявил, что нынче вечером они выступают, Нузар выиграл, взвыл от радости и пустился в пляс, ну, точь-в-точь гончий пес, а не человеческое существо.

И Марк приказал ему уняться точно так же, как приказал бы псу, которому командуют: «К ноге!»

— Запомни! Я разрешил тебе служить проводником, хотя мог бы обойтись и без тебя, — сказал Марк. — Но если изменишь, я прикажу шкуру с тебя живьем содрать!

Нузар просто не понимал, что значит «изменять». Переход на сторону более сильного представлялся ему чем-то само собою разумеющимся, от этого его могла бы удержать разве что ненависть. Но покинуть сильнейшего? — нет, на такое он был неспособен. И воззрился на Марка с тупым изумлением, сиюсь постичь тайный смысл услышанного. Наконец на его широком зверином лице, отмеченном мерзким родимым пятном, явилось подобие кривой ухмылки.

— Если прикажешь, я все равно изменю! — убежденно сказал он, не иначе как сочтя, что Победоносец требует от него самоотверженного исполнения даже такого приказа, который повлечет за собой не награду, а наказание.

Марк невольно рассмеялся...

Пересек сад и вошел в собор через заднюю дверь. В сводчатом коридоре повстречалась Ихазель. Марк позвал ее кивком и вместе с ней спустился в подземелье, где, все так же прикованный к стене, томился шерн Авий. Марк не-

сколько раз пробовал хотя бы частично облегчить положение шерна, удлинив цепи, которыми удерживались его руки, но всякий раз шерн использовал послабление только для бешеных нападений: либо на тюремщика, который приносил ему пищу, либо на самого Победоносца. Эти нападения были особо опасны тем, что происходили внезапно, как бы ни с того ни с сего. Большую часть времени шерн лежал в полном оцепенении, не соизволяя даже подвинуться, когда тюремщик задевал его, наводя порядок в помещении. Пришлось снова приковать шерна распятым на стене, а чтобы над беззащитным узником никто не издевался, вход к нему был разрешен только в присутствии Марка или Ихазели, у которой был второй ключ от под-земелья.

С того момента, как помещение превратили в тюремную камеру, в нем ничего не изменилось, только груда святых книг на полу покрылась густой пылью да потемнело золото на стенных знаках и надписях. Место зияло отчаянной опустошенностью свершившегося и минувшего, в шорохе по углам всхлипывало поспешное насилие и осквернение всего, что еще вчера было свято.

Даже при тусклом свете факела Марк обратил внимание на внезапную бледность Ихазели. Дойдя до последней ступеньки перед входом, той самой, где стояла в ту ночь, когда застала тут деда за чтением священных книг, она приостановилась, словно бы в неуверенности — входить, не входить? Из широкого рукава высунулась белая рука, оперлась о дверной косяк, грудь судорожно заходила под легкой блестящей тканью. На миг почудилось, что Ихазель вот-вот рухнет на пол.

Марк сделал движение подхватить ее и в ту же минуту увидел круглые красные бельма твари, поблескивающие в полутьме и в упор устремленные на вошедших. Почему-то застыдился, убрал руку и подошел к узнику.

Налитые кровью глаза шерна тут же пригасли. Он втянул голову в круглые плечи, из-за которых, словно черные полотнища, измятые и кое-как наброшенные на жерди, торчали полураспушенные крылья. И на этом фоне белели только ладони шерна, схваченные в запястьях скобами, истерзанные, устрашающие своей неподвижностью.

Марк долго смотрел на него. Сам гадал, зачем пришел сюда, зачем вообще приходил в этот застенок к узнику, вынужденное издевательство над которым пробуждало болезненное отвращение к самому себе. А ведь влечет же

сюда какая-то неодолимая сила, словно злые чары наводит эта удивительная тварь. Сотню раз уходя отсюда с гадливым чувством, Марк твердил себе, что больше сюда ни ногой, — и все же возвращался, сам себе выдумывая пустые предлоги, а то и притворяясь, что идет затем, чтобы вызнать у шерна что-нибудь полезное для затеваемого похода.

А шерн редко отвечал на вопросы и уж ни разу не сказал ничего такого, что имело бы хоть какую-то ценность для Победоносца. Иногда он вообще молчал. Вот и сейчас, когда Марк заговорил с ним, узник даже не шелохнулся, словно вовсе не слышал обращенного к нему первого попавшегося вопроса. Лишь через некоторое время его беле-сый фосфоресцирующий лоб заволокло темно-синим окрасом и на этом фоне заиграли быстро сменяющиеся проблемски, последовательности цветных пятен, кончающиеся одним и тем же фиолетовым бликом.

— Говорит! — прошептала Ихазель, глядя на шерна широко открытыми глазами.

А цветы все ярче играли на лбу твари, иногда переменчивые, словно полярное сияние, и такие интенсивные, что свод озарялся всеми цветами радуги, а иногда приглушенные, медлительные, томно переливающиеся. И Марку почудилось, что при нем поется удивительный гимн, сотканный из света и красок, быть может способный выразить то, чего вовеки не охватит человеческий голос.

И вдруг на лбу шерна полыхнул багровый отсвет, словно протяжный крик, его перебило несколькими мертвенно-синими проблесками, и багровый отсвет разом погас, как внезапно задутое пламя.

Авий медленно приоткрыл сощуренные глаза и посмотрел на Марка.

— Зачем явился? — проскрипел он вслух. — Зачем вы, люди, вообще явились на Луну, зачем докучаете существу, которое выше вас? — Он примолк, а потом продолжил: — Пес, так и быть, слушай, что говорит удостоенный высшей мудрости, слушай, пока тебя еще не постигла кара за то, что осмелился поднять руку на шерна...

От Земли исходит зло, Земля — это проклятая звезда мятежа, не достойная нашего взгляда...

Луна была волшебным садом, там в богатых городах над шумными морями жили шерны...

Это было давным-давно...

В ту пору дни были коротки и Земля восходила и

заходила на небосводе, обращаясь вокруг Луны, и служила шернам, освещая ночную тьму...

Но настал час, эта злая звезда взбунтовалась и остановилась средь неба, и страшная судьба постигла страну, над которой это случилось...

Земля ненасытная украла воды этой страны, украла воздух, и там, где был цветущий сад, нынче простирается мертвая пустыня...

В груды тлена превратились горы, умерли и рассыпались в прах города над высохшими реками...

И проклята в ответ Земля, проклято все, что она творит, проклята всякая тварь, приходящая оттуда!

Звучал обычный скрипучий голос шерна, но в ритме, но в интонации было что-то придающее словам священство гимна, древнего заклания или молитвы. И едва шерн замолк, впад в неизменное и неподвижное безразличие, Марк с живостью подступил к нему:

— Говори! Продолжай! Значит, когда-то на той стороне!.. И это предание живо среди вас?

Бросило в дрожь от неутолимого стремления услышать продолжение этих слов, которые наверняка передаются у шернов из поколения в поколение, которые удивительным образом приоткрывают краешек древней тайны Луны, той поры, когда пустыни были морями, а над шумными реками красовались богатые города. Но напрасно настаивал Марк, напрасно силился обещаниями, просьбами или угрозами заставить вновь заговорить замолчавшего шерна. Лишь одиножды поднял Авий на Победоносца блеснувшие бельма и с ненавистью прохрипел:

— Беги! Беги на Землю, пока не поздно! Лишь в одном мы ошиблись когда-то — позволили людскому семени прижиться и размножиться рядом с нами. Но теперь мы истребим вас всех! Всех, кто не пожелает служить нам дворовыми псами!

Авий втянул голову в плечи и обморочно повис на цепях, которые удерживали его ладони.

Мелькнула мысль, что не шерны людей, а люди шернов твердо намерены истребить, но вслух Марк этого не произнес. Некоторое время гадал, а не освободить ли шерна, не склонить ли к словоохотливости дружественным обращением, но вскоре оставил эту мысль, по опыту зная, что ничего не добьется, только развяжет руки свирепой твари.

От задумчивости его пробудил тихий вздох. Марк обернулся: Ихазель стояла, привалившись спиной к дверному кося-

ку, бледная как мертвец с широко открытыми глазами, безумно прикованными к глазам шерна, а те, устремленные на нее в упор, светились зловещим красным светом, как четыре рубина, на бархатно-черном фоне свернувшегося в клубок безобразного тела.

— Ихазель! Ихазель! — окликнул Марк.

— Бо-юсь! — пролепетала та помертвевшими губами. Все ее тельце содрогалось, но даже очевидным усилием воли она не могла отвести глаз от налитых кровью шерновых белым.

Марк подхватил ее на руки, торопясь вынести на дневной свет. А она бессознательным движением перепуганного ребенка обняла его за шею и так сильно прижалась всем телом, что он чувствовал, как волной ходят ее теплые и твердые груди, как бешено бьется сердце. Был миг, в висках зашумело, он еще крепче обнял Ихазель и готов был прильнуть губами к благоуханной, похожей на золотой цветок, голове девушки. На расстоянии почувствовал жадным ртом тепло ее лба и упоительную щеколку рассыпавшихся волос.

Яркий дневной свет обрушился на них, как золотая волна. Марк пришел в себя и поставил девушку ногами на ступеньку. Она открыла глаза, словно только что проснулась, легкая дрожь прошла по телу и раздумывавшимся щекам...

Дело шло к вечеру. Марк брел вдоль берега моря, Ихазель не отставала ни на шаг, а Марк угрюмо молчал. Позади остался поселок и последние теплые пруды, окутанные серебристой дымкой, тропинка повела вверх, на лысую горку, где еще совсем недавно высился грозный замок Авия. Теперь там были одни остатки стен да обгоревших балок, на месте посадок, изломанных и потом вытоптанных победителями, да так и засохших, стеной поднялся бурьян. Теперь здесь была бесхозная пустошь, проклятое место, где никто не отваживался строиться.

Марк уселся на лысой вершинке неподалеку от развалин и долго смотрел на городок, прихотливо раскинувшийся у подножья, позолоченный вечерним солнцем. Ихазель молча примостилась у его колен и задумчиво смотрела в упор на тусклый солнечный диск, медленно клонящийся к черте горизонта.

Наконец Марк пошевелился и глянул на девушку.

— Ну что, не надумала выйти за Ерета, прежде чем уйдем в поход? — спросил он врасплох, грубо нарушив дивную тишину места и времени.

Ихазель медлительно подняла на него глаза, большие,

темные, все еще полные солнечного света, догоравшего на дне глаз жарким золотым заревом.

— За Ерета? — повторила, словно не понимая, о чем ее спрашивают. Усмехнулась и покачала головой: — Нет. Ни за него, ни за кого другого, ни сейчас, ни вообще.

Веки с длинными ресницами полуприкрыли взор, в котором угасал солнечный свет, вздрогнули алые губы.

Марк откинулся и лег навзничь, затылком на сомкнутые ладони. Поглядел на пожее небо, до самого зенита расписанное вечерней зарей.

— Черт-те что! — заговорил, помолчав. — Я здесь и нынче вечером отправляюсь истреблять шернов в их собственной стране на их собственной планете! Затем, что здесь желают жить люди. Затем, что шерны слабее, затем, что они не явились на Землю тысячу лет назад и не превратили нас в свой рабочий скот. А какое я имею право? А вы, вы какое имеете право?

Осекся и раскатисто, но деланно рассмеялся.

Ихазель глянула на него с изумлением:

— Владыка...

— Да знаю я, знаю, ты мне говорила. Благословенно все, что с Земли, свято все, что от нее исходит. Свято убийство, свят грабеж, свята несправедливость. И даже кандалы...

Понял, что держит речи, которые так и повиснут в воздухе, и примолк, не закончив фразы.

— Как ты светел, мой владыка! — тихо выдохнула Ихазель, глядя на него влюбленными глазами.

Где-то внизу в городе залаяли собаки, потом донеслось протяжное хоровое пение. О чем поют, издали было не разобрать. Казалось, это сам воздух, колеблющийся и звучный, навевает предчувствие, ожидание известной мелодии, что это аромат, а не пение, что оно благоухает, а не звучит.

Огромное багровое солнце низко висело вдали над потемневшей равниной. С моря тянуло вечерней прохладой.

Внезапно Марк приподнялся и сел.

— Идем отсюда, — сказал он.

Ихазель неохотно шевельнулась:

— Как прикажешь, владыка.

Вскинула руки, чтобы подобрать растрепавшуюся прическу, но сыпучее золото волос не подчинялось дрожащим пальцам, блестело на плечах, на спине, на щеках. Руки бессильно опали. Голова откинулась назад, почти касаясь

груди Марка. Внезапная бледность залила лицо, Ихазель сомкнула веки, слегка приоткрыв рот.

— Владыка, ты вправду бог? — мечтательно шепнула она.

И Марк почувствовал, как ее висок легко коснулся его губ.

Внизу, где-то далеко на берегу, сурово пропела труба. Марк вскочил одним прыжком. Ихазель с тихим стоном упала ничком к его стопам, но он уже смотрел на море, на город. Сигнал раздался вторично, четкий, явственно слышимый.

— Пора, — сказал Марк. — Общий сбор.

Нагнулся и помог спутнице встать.

— Ихазель, слушай, если я не вернусь...

А та смотрела на него остановившимся взглядом.

— Ты светел, ты всю Луну охватишь, как вихрь пламенный! Море и ветер помчат тебя, гром и молния вслед полетят. Страх возвестит о тебе, кто имя твоё святое произнесет, тот пошлет впереди себя страх! Кто падет, тот да будет благословен, ибо лег под твои стопы, кто уцелеет, тот да воскликнет: «Слава Победоносцу!» А мне...

У нее пресекся голос, губы беззвучно вздрогнули, и внезапно Ихазель судорожно разрыдалась.

Труба пропела в третий раз. Призвала Победоносца вести свое войско в далекий путь.

Глава III

Была пора штиля, который всегда в предполуденное время предшествует грозе, громами и молниями салютующей солнцу в зените. На востоке, где-то за Кладбищенским островом, уже грудились темные тучи, там погромыхивало и посверкивали белые зарницы, словно клыки исполинского зверя, припавшего к черте горизонта и упорно крадущегося вслед за солнцем. Еще пять, еще, может быть, десять часов, и от его могучего рыка содрогнется воздух, тяжкие лапы ударят по воде и всклубят ее, взбесившуюся, пенистую, под самые небеса — его серое мохнатое брюхо. Но срок еще не настал, зверь тайлся в отдалении, стелясь вдоль грани моря и неба, избегая выдать себя малейшим шевелением воздуха прежде урочного часа.

Водная гладь казалась огромным щитом из отполированной досиня стали. Глазом чувствовалась чистая от рисунка

твердость вод, как бы схватившихся в металл. Цвет моря менялся лишь у закраин дальних островов, там мерцали многоцветные узоры в виде павлиньего глаза, словно ореолы вокруг драгоценных камней. А над блистающим щитом моря в воздухе висел неподвижный зной, ощутимо весомый и осовелый, пронизываемый ярким солнечным светом.

Держась самой черты взморья, Ихазель бегом миновала последние дома поселка. Двери были заперты, окна закрыты ставнями. Молодежь накануне вечером ушла с Победоносцем, а те, кто остался, попрятались в полумраке домов от полдневного зноя, казалось, более докучливого, чем обычно.

Утомленная бегом по жаре девушка приостановилась в тени скалистого мыса. В глазах темнело от чрезмерного блеска, море то и дело виделось черным пятном без конца и края. И тогда мерещились несущиеся по льду буера под парусами, наполненными ночным ветром, полыхали багровые факелы, слышался визг кованых полозьев и замирал вдали уносимый вихрем лихой посвист.

Невольно напрягся взор, словно провожая исчезающие огни флотилии, похожие на пригоршню звезд, со всего размаха брошенную по скользкому ледяному зеркалу, но в расширенные зрачки снова ударило сиянием солнца, а затем расплылась едва высунувшаяся из-за горизонта зарница. Ихазель зорким взглядом окинула стелящиеся вдали тучи. Гроза неуклонно близилась, но так неторопко, что ее ленивая поступь с трудом угадывалась на бледной лазури морского окоема.

— Еще успею, — почти вслух сказала Ихазель и, убедившись, что за нею не следят, бегом спустилась к бухточке, застывшей среди скал. Уверенными руками отвязала лодочку, приткнутую за глыбой, прыгнула в нее и принялась грести сперва к выходу в море, а затем в сторону едва видимого вдалеке Кладбищенского острова. Весла выгибались в руках, а лодка, словно алмазный резец, царапала темную сталь морской глади. Борозда за кормой искрилась на солнце переливчатым жемчугом.

В нескольких кабельтовых от берега Ихазель перестала грести. Сил не было, такой стоял зной, духотой томила даже легкая одежда. Ихазель быстро разделась донага, чтобы свободней взяться за весла, но едва солнце коснулось лилейной кожи, внезапная сладчайшая истома словно обезд-вижила члены. Ихазель легла на днище и закрыла глаза.

Сквозь плотно закрытые веки в зрачках стояло красное

свечение цвета ее собственной крови, по груди и бедрам бродило пышущее солнце, словно могучие, жадные уста пили ее поцелуями. В памяти всплыл светлый, победительный образ, и прохладная судорога пробежала по телу, охваченному солнечным жаром...

Разбудил далекий, но набравший силу раскат грома. Ихазель вскочила: морская гладь шла рябью под первыми порывами ветра. Девушка взялась за весла и торопливо заработала ими, но теперь требовалось гораздо большее усилие, потому что приходилось одолевать и встречный ветер, и мерную плавную волну, которая покачивала лодку, расплескивая белым гребнем об острый нос...

Ветер крепчал и порывисто бил крыльями по воде, когда золотоволосая Ихазель, не помня себя от усталости, причалила к укрытым под деревьями мосткам при низком взморье Кладбищенского острова. Едва успела привязать лодку к столбику и подхватить комок одежды, как гроза всей тяжестью рухнула на пенные воды под затмившимся небом. Ветер ухватил и дернул золотые волосы девушки навстречу сверканию молний, чуть не вырвал одежду из рук и заходил колесом вокруг нагого лилейного тела. Ихазель юркнула под каменную плиту, наклонно торчащую из зелени, и, сражаясь с ветром, кое-как оделась. Первые теплые капли дождя упали на еще обнаженную спину.

Пришлось бежать под ливнем не по тропинке, а напрямик, между знакомыми купами деревьев, освещаемых внезапными вспышками молний, прыгать с камня, укрытого в траве, на камень, взбираться на скользкие, сочащиеся водой склоны холмов. Возле курганов, под которыми, как твердит легенда, покоятся останки первых людей на Луне, Ихазель свернула в сторону берега и взбежала на вершину пригорка, где громоздились огромные глыбы.

Под одной из глыб открывался вход в обширную пещеру. Ихазель нырнула туда и только там перевела дух, ловя воздух судорожно вздымающейся грудью. С волос и легкой одежды, облепившей стройное тело, струями лилась вода.

Из бокового лаза на шорох выглянул старик, взгляделся в сумрак.

— Наконец-то! — подал он голос. — А то я уже беспокоиться начал.

— Припоздала, — ответила Ихазель. — Но раньше никак не получалось, боязно было, что заметят.

Крохабенна взял ее за руку и повел за собой.

В одном из ответвлений пещеры он устроил себе истинно отшельническое жилье. Былой первосвященник спал на связке шкур, как спят полудикие рыбаки с Перешейка. Стульями и столом служили подходящие камни. В углу на скорую руку была сложена печка для обогрева в ночные холода.

Сквозь неведомые щели в сводах сюда проникал рассеянный дневной свет, и, забыв об усталости и мокрой одежде, Ихазель жадно всматривалась в деда. Он показался ей много старше, печальней и вместе с тем много царственней, чем прежде, хотя стоял перед ней без очарования святости и власти, от которой отказался, приветствуя пришедшего Победоносца. Сердце сжималось при взгляде на этого благородного и даже в отречении полного достоинства человека, особенно при невольном воспоминании о хитроватом и суетливом Элеме, к которому Ихазель питала непреодолимое отвращение, быть может инстинктивно чувствуя, как лживы его покорность и смирение перед Марком. Явилась мысль, что, оставшись на первосвященническом престоле, Крохабенна мог бы сейчас вершить священную волю Победоносца и щедрой десницей осенять благодатью нового времени весь лунный мир. Горечь незажившей обиды вскипела, и, вместо того чтобы поздороваться с дедом, которого столько времени не видела, внучка с упреком воскликнула:

— Дедушка! Зачем ты ушел? Почему не хочешь вернуться?

Но старик как не слышал. Будто гостеприимный хозяин, только и всего, хлопотал в пещере, доставая из тайничка простую кожаную одежду.

— Раздевайся. Переоденься в сухое.

Когда-то белыми, а теперь мозолистыми руками сам потянулся распушить торопливо затянутые завязки у нее на шее.

Девушка отвела его руку:

— Нет, не надо.

Он глянул с удивлением:

— Надо. Ты же насквозь промокла.

Ихазель покраснела:

— Сама переоденусь. Вон за тем камнем, а ты не смотри.

Привыкший к невинному бесстыдству лунных женщин, старик этой стеснительности не понял, и тогда Ихазель объяснила, краснея вдвое:

— Я Победоносцу служу, я ему поклялась, что нагой меня никто не увидит, даже женщины.

— Что за глупости! — буркнул Крохабенна, которому в голову не пришла мысль об эротической подоплеке этого странного зарока.

Но спорить не стал. И пока Ихазель переодевалась в сторонке, раздул огонь, едва тлевший в печи, и взялся разогревать еду.

Вскоре внучка в жесткой кожаной робе, одетой коробом на голое тело, подошла помочь опытной рукой.

Тем временем снаружи бушевала полдневная гроза. В пещеру проникали чуть приглушенные раскаты грома. Казалось, это ветер шумно ломится в каменные двери, уже доносится его студеное дыхание, вот-вот он ворвется сюда, одетый в сияние молний. В краткие мгновения затишья доносился могучий, ровный, торжественный рокот моря, которое терпеливо грызло скальное основание острова в полном убеждении, что еще несколько веков, еще две-три тысячи ничего не значащих лет, и оно, как поглотило когда-то многосотмильное пространство, так поглотит и этот клочок суши. Эко дело, что когда-нибудь потом самому предстоит высохнуть и исчезнуть!

Накормив внучку, старик присел на глыбу, покрытую мохнатой шкурой, сложил руки на коленях и приступил к рассказу:

— Я дал тебе знать, где я, только после ухода войска, потому что здешний рыбак и добровольный сторож древних могил, которому я доверился, прослышал, что ты обещала Победоносцу сыскать меня и выдать с головой. А я не хочу...

Ихазель ахнула, хотела возразить, но дед сделал ей знак помолчать.

— Не перебивай ты, — сказал он. — Душа разговора просит, ты слушай. Небось дивилась, что я ушел. Знаю, кое-кто поговаривает: мол, старик сам привык распоряжаться, даже с гостем со звезд делиться властью не хотел, вот и хлопнул дверь. Это не так. Всего тебе не объясню, слишком много пришлось бы говорить про великое здание, что в одночасье рухнуло, да и вряд ли ты меня верно поймешь. Просто вы уже встретили Победоносца, а я еще нет. Не так, как Хома: он, бают, этого вашего не признает и ждет другого, истинного. Нет, я жду, может, этот все же станет Победоносцем. Надеюсь все-таки. Когда бы увидел, что он и впрямь послан Луне небесами, опочил бы

я с миром, а если ему понадобится, то приду. А сейчас еще не время. Прошлой ночью не усидел в пещере, вышел, видел буера, видел войско молодое, лихое, как оно на юг правит. Подожду, пока вернутся на тех буерах. Ежели вернутся такими же лихими, а не горстка, что от супостата еле ноги унесла, вот тогда и я скажу: он Победоносец. Годы вразумили только то дело благословлять, которое удачно доделали. Слишком много бедствий и крушений довелось пережить, чтобы судить по намерениям и благодарить да славить за несвершенные подвиги. Но очень по тебе скучаю, ты же мне как цветочек, единственная память по моим ушедшим детям, потому-то и кликнул тебя через того сторожа. Расскажи, каково тебе там, что слышала, что видела.

Ихазель долго смотрела неподвижным взглядом в сумрачную глубину пещеры, прежде чем заговорила.

— Дедушка, только одно сейчас мне видится, только одно. Летят мои взоры через тучи, через море в дальний край и видят битву кровавую, страшнее всех гроз на свете. Слышу гром, слышу стон, а сердце радуется, сердце победу поет, потому что шернов косят, потому что выворотни стонут, когда разит их десница и слава Сияющего. А как вижу, дедушка, его улыбку победную, его юность божественную, так плачет мое сердечко, потому что не человек он.

И запричитала Ихазель, уткнувшись лицом в дедовы колени, так, что голоса почти не слышно и слов не разобрать.

— Дедушка, кипит во мне кровушка. Дедушка, не ведала я, каково сушит былиночку маета полуденная, каково она дождя просит, ветра просит: не спасут, так чтоб добили, попалили молоньей!

Крохабенна молча положил сухонькие ладони Ихазели на голову и погрузился в тихие думы. А та рыдала без слез, одними судорожными всхлипами, от которых рвется грудь. Подвыплакалась, продолжила:

— Дедушка, не молчи, говори! Страшно, когда молчишь. Попрекни, накажи, за волосы под ноги себе брось, но не молчи.

Говорил Победоносец, владыка благословенный: мол, хочу дать народу новый закон, хочу жен к мужьям приравнять, чтобы жены рабынями не были. Дедушка! Он же умный, что ж он за мужей-то не берет, что ж не претворит их по своему подобию, чтобы служить им было в

сладость? Не свободы просит сердце девичье, не равенства, а покорства из сильных сильному, каков сошел он с Земли на Луну. Почто не жжет державными устами цветенья моего? Я же цветик душистый, я же цветик самолучший, какой есть на Луне, бают, видят ее с Земли ясной, серебрястой, как великую звезду. Неужель оттого, что ему во нрав быть богом, чахнуть мне от тоски горючей в жилочках? Я ему пообещалась, а он меня не берет. Страшно, дедушка, любовь с ума сводит, видеть его не могу, хочу сердце ему отворить да глянуть, какова в нем кровушка, красна ли...

Вскинула голову — зубы оскалены, ни дать ни взять тигрица, что на прыжок силу копит.

Старик медленно поднялся.

— Ой, лихо, лихо! — пробормотал скорее сам себе, чем внучке. — Кабы знать, может, не надо было мне уходить, надо было остаться да приглядеть. — Опустил взгляд на внучку, глаз с него не сводившую, и печально усмехнулся. — Да не за тобой, не за тобой. За тобой пригляд без толку. Как вошла ты, когда я книги читал, так я понял: конечно с тобой. За ним пригляд был нужен, за ним, кого вы загодя Победоносцем назвали и, меры не зная, восхваляли. Не ровен час, от побед великих взбредет ему прямить то, что на Луне криво приросло, — все на него набросятся, даже ты. А время-то упущено. Мною иначе было выбрано, по совести выбрано, теперь не годится подбирать, что обронил...

Долго просидели они, изредка обмениваясь отрывочными фразами, и наконец солнечный лучик, пробившийся сквозь неведомую шелку, возвестил, что гроза миновала и мир, освеженный струями дождя, снова радуется жизни.

Крохабенна взял за руку золотоволосую Ихазель, вывел на дневной свет. Свежевымытая, еще скользкая от дождя трава ласкала босые ноги прохладой. Пересекли лужаечку и поднялись на вершину кургана, вот уже много веков носившего название «Мартиной могилы». Там стояла косая плита со следами букв, неизвестно кем и когда выбитых, и никто не знал, как читаются эти буквы.

Крохабенна погладил плиту дрогнувшей рукой и сказал:

— Нынче мне не понять, где правда, где ложь, но в книгах есть, что здесь покоится праматерь всего народа лунного, благословенная родительница первого мужчины, его сестер и боговдохновенной пророчицы Ады, что в отроковицах служила Старому Человеку. Но там же есть, что

Старый Человек не отцом им был, а только опекуном. Бают, когда поджег он свой дом, кто-то сумел вынести из огня его писания, опять же не знаю, правда это или нет. И, мол, из тех писаний следует, что привела сюда Старого Человека любовь к земной женщине, что через ту любовь он страдал, пока не вернулся на Землю. Коли он пострадал, так и ты пострадай.

Говорилось по привычке священника излагать Писание и на всякое житейское дело находить там поучение или утешительное слово, и трудно было остановиться, осознать, насколько это некстати, насколько звук пустой. Тем более когда сам перестал верить в то, что говоришь.

Умолк, лишь заметив, что Ихазель его не слушает. Ее бледное личико было обращено на юг, туда, где на горизонте громоздились белые облака, словно рати, что сошлись на бой в жемчужной дымке над морем. Видимо, то же сходство привиделось и Крохабенне, и, перейдя мыслью к взаправдашнему сражению, что, может быть, именно в этот час кипело за морем, он внезапно произнес:

— А вдруг он там погибнет?

В первый миг, заслышав эти слова, Ихазель побелела так, словно капли крови в ней не осталось, а потом усмехнулась и покачала головой:

— Нет. Он заговоренный.

Сказано было с такой убежденностью, что старик промолчал и, уткнув седую бороду в грудь, призадумался, исподлобья глядя на светлую морскую даль...

Именно в этот час Марк объявил своему войску отдых у первого города, захваченного в стране шернов...

Всю ночь бешеный ветер гнал по льду буера, надувая развернутые паруса. Острова, в свете звезд брезжащие на льду черными тушами, обходили по компасу. Несколько раз Нузар предупреждал о полыньях по курсу над глубинными горячими источниками. Рассыпавшись цепью по льду, буера сигналили один другому красными факелами, укрепленными на форштевнях, и так без единой остановки неслись вперед целых одиннадцать земных суток.

Под утро, за сорок часов до восхода, когда на востоке надо льдом забрезжил рассвет, Нузар дал Победоносцу знать, что берег близок. И действительно, вскоре Марк заприметил на южной стороне горизонта белую снеговую черту, тут и там прерываемую как бы высокими башнями.

Стоя рядом, выворотень указывал рукой:

— Это их самый большой город, но теперь там почти

никто не живет. Полгорода провалилось в море: в хорошую погоду видно башни на дне, а над ними рыба плавает. Шерны ушли с побережья вон туда на восток. Вот в этом поселке пристань.

На берегу, у входа в бухту, которая глубоко врезалась в сушу, виднелась цепочка каких-то строений.

Буер, на котором шел Ерет, начал на ходу сближаться с буером Победоносца. Молодой воин был бледен, но спокоен.

— Победоносец, ветер несет нас прямо на поселок. Через несколько часов будем там.

Марк отдал приказы. Заскрежетали, врезаясь в лед, рули, повернутые сильными руками, и караван начал перестроение в две колонны параллельно береговой черте. Ближе к берегу шли буера, на которых были установлены легкие пушки. Раздалась команда, и на спящий поселок шернов обрушился меткий залп. Видно было, как взметнулась пыль над разбитыми домами, а люди быстро перезарядили пушки, и прогремел следующий залп — прямой наводкой, точный и разрушительный.

Прежде чем немногие оставшиеся в живых, обезумевшие от страха шерны поняли, что происходит, утренний ветер подхватил буера и погнал к ровному пустому берегу, где по словам Нузара было удобное место для высадки. К восходу солнца флотилия оказалась на суше, а из корпусов буеров успели построить укрепленный лагерь.

Вдалеке появились одиночные шерны. Изумленные, не в силах поверить в происходящее, они подлетали к лагерю на своих тяжелых крыльях и гибли от метких выстрелов. Наконец подлеты разом прекратились, и нападающие смогли перевести дух.

Марк понимал, что медлить нельзя, нельзя дать шернам опомниться, но, прежде чем приступить к кровавой охоте, пришлось переждать утреннее таяние снегов. Он держал лагерь в боевой готовности, а сам с любопытством осматривал окрестности.

Вокруг расстилалась равнина, которой не было видно конца. Из рассказов Нузара следовало, что шернов на Луне не так уж много. Большая часть городов была покинута и лежала в развалинах, а при нехватке выворотней брошены оказывались и поля. Сами шерны трудиться не любили, чуть ли не за унижение почитали.

Тем удивительнее была их ужасная мощь, благодаря которой они сумели поработить человеческий род, более трудолюбивый и более многочисленный, чем сами шерны.

Почва еще не успела подсохнуть после таяния снегов, когда Ерет обратил внимание Марка на приближение врага. Это шли сомкнутым строем выворотни, по обычаю наносившие и принимавшие первый удар. Битвы, в сущности, не было. Хватило нескольких залпов, и густые ряды нападающих расстроились. Свежая, на глазах лезущая из-под снега трава оказалась устлана мертвыми телами. Люди пошли добывать раненых.

Зрелище стало для Марка тяжелым испытанием. Безобразных шернов он воспринимал как животных и к их истреблению относился безо всяких угрызений совести, но мысль о резне беззащитных выворотней, что ни говори, а имеющих человеческий облик, приводила его в содрогание. Но колебаться не приходилось, и милосердие свелось к приказу добывать раненых разом, не затягивая их мучений.

Нузар отобрал двух-трех легко раненных выворотней, им обещали жизнь в обмен на службу проводниками. А трупами накормили доставленных из-за моря ездовых собак.

И вот на радость сердцу Нузара пошла кровавая охота.

Корпуса буеров поставили на колеса, и лагерь, соблюдая построение, медленно двинулся вперед. Временами он останавливался, и во все стороны разбегались охотничьи команды.

Марка сопровождали трое выворотней и несколько собак с хорошим нюхом и крепкими челюстями, следом шли быстрогоглазые воины, держа пальцы на курках, каждому поручен свой сектор обстрела. Стоило появиться выворотню или шерну, его приканчивали, постепенно приближаясь к поселку, обстрелянному на рассвете.

Тем временем солнце пригрело, по широкому песчаному взморью упоительно расплескивались хрустальные волны. От оживших причудливых лунных растений тянуло пьянящими ароматами, и временами стояла такая тишина, что хотелось только одного: лечь навзничь среди зелени и смотреть в бескрайнее лазурное небо, шатром раскинутое над этой страной печальных и томных грез. Но тут раздавалось рычание собак или крик выворотня-проводника. Марк вскидывал оружие и либо сам пристреливал убегающего шерна, либо приказывал дать залп по выворотням, занятым на полевых работах и не знающим о нападении. Попавшиеся по пути усадьбы, не долго думая, жгли, а каменные дома разносили до основания, чтобы шернам-беглецам негде было укрыться. И так при каждой остановке, методично и без усталости. А шерны пока что не оказывали сопротивления.

Казалось, страну удастся завоевать, а род лунных первожителей истребить, и не потребуются больших жертв и особых усилий.

Постепенно близился полдень. Миновали новый поселок, разбитый пушечными залпами, он оказался пуст. Видимо, уцелевшие жители укрылись в старом городе. И в самый знойный час Марк со своим войском оказался у стен старого города, обветшавших, полуобвалившихся, но ослепительно сверкавших на полуденном солнце.

Предчувствуя, что встретит здесь отчаянное сопротивление, Победоносец смотрел на могучие башни, крошащиеся от времени, на огромные сводчатые арки, оседающие на коварном грунте, из-за которого город медленно сползал в море и тонул в пучине; припомнилось, что Старый Человек много сотен лет тому назад передал на Землю рассказ о таком же городе в Великой пустыне, превратившемся в груды развалин.

А кто знает, что за сокровища, что за тайны хранит этот умирающий город? О чем он мог бы рассказать, если бы ему не предстояло через несколько мгновений превратиться в бесформенную кучу обломков под ударами пушечных снарядов?

Ненадолго подумалось: а не выслать ли парламентаря. Нузара, например? Не попробовать ли сохранить этот древний город от гибели? Но самому смешно стало. Какие тут могут быть соглашения? Какие договоры? Все ясно: либо-либо. Либо люди обречены быть слугами шернов на Луне, либо шерны будут истреблены до последнего. Многовековой опыт научил людей: договоры с вероломными шернами бесполезны. Едва шернам почудится выгода, они, не задумываясь, нарушат любой договор. Так что же — предложить им всем выйти, по доброй воле утопиться в море и оставить свою планету пришельцам? Или забрать всех людей обратно на Землю? Неисполнимо ни то ни другое.

Пока Марк размышлял, его сноровистые воины деловито устанавливали пушки зияющими дулами на тихие, словно вымершие, городские стены. Воздух дрожал от зноя, и камень стен расплывался в глазах, как мираж. Были мгновения, когда чудилось, что город — это воспоминание о сновидении, дрожащее в прозрачной, текучей воде и готовое снова растаять, как сон, оставив зрению пустынный морской берег.

Потом не мог припомнить, когда именно кивнул Ерету в ответ на вопрос, начинать ли. Пришел в себя лишь от

грохота пушек. Увидел, как обваливаются ветхие стены под ударами снарядов, как могучие на вид башни шатаются и рушатся. Пушки рывкнули еще раз, и тучи пыли взвились в воздух над распадающимися зданиями.

И тут из-под ног раздался пронзительный крик Нузара. Марк посмотрел в ту сторону, куда указывал выворотень, и показалось, что на них с невероятной быстротой устремилась низкая черная туча.

— Шерны! Шерны! — прокатилось по шеренгам.

Сомкнутый строй мгновенно рассыпался, как на учениях, чтобы не оказаться удобной целью для обстрела сверху. По команде «Беглым огнем!» затрещали ружья. Из тучи дождем посыпались на землю окровавленные тела. И вскоре началась смертоносная погоня за беспорядочно откатившимися тварями.

Большая часть шернов укрылась в городе, и снова ударили пушки. Били по уцелевшим зданиям, по башням, по контрфорсам, поставленным много веков назад, били по руинам, а потом — по курящимся грудам камня и щебня. Тем временем началась полдневная гроза, ударами молний довершая начатое людьми дело разрушения.

Изредка в отчаянной попытке к бегству из лабиринта руин взмывал в воздух какой-нибудь шерн, но тут же раздавался выстрел, и беглец падал на подлете к кольцу осаждающих. А те, кто, гонимый безумным страхом смерти, в отчаянии искал путь к спасению над разбушевавшимся морем, погибали, падая в волны.

Шерны понесли сокрушительное поражение, а люди не потеряли ни одного бойца.

Но когда Марк через некоторое время надумал послать на развалины города несколько охотничьих команд, Нузар схватил его за полу куртки и затряс головой.

— Еще рано кончать с ними, — сказал он, указывая на ряды победителей. — Они тебе еще пригодятся.

Марк ответил недоуменным взглядом.

— Шерны прячутся под землей. Там пещеры, город стоит на пещерах. Кто туда сунется, смерть.

— А где входы? — спросил Марк.

— Повсюду. Некоторые замурованы, чтобы море не затопило.

— Как найти эти замурованные?

— Здешние выворотни тебе покажут. Выворотни их хорошо знают. Там все время что-то надо чинить, и шерны шлют туда выворотней.

Марк не стал дожидаться окончания грозы. Разбушевавшееся море все еще сокрушало ударами волн прибрежные руины, а по приказу Победоносца уже закладывали фугасы, чтобы освободить стихии путь в подземелья.

Вскоре прогремел могучий взрыв, взвились столбы воды и щебня. Море на миг отступило, в ту же минуту вскипело чудовищным водоворотом и ринулось сквозь проломы в таинственные недра города.

Спасаясь от потопа, шерны устремились из тайников к боковым выходам, но там их ждала неминуемая смерть от рук людей, дабы исполнилось слово Писания о пришествии Победоносца.

А Победоносец присел на обломки, освеженное солнце выглянуло из-за туч, и он смотрел, как море, затопив подземелья и утолив ярость, постепенно успокаивается, растилаясь бескрайним многоцветным зеркалом, сквозь которое виднеются на дне давно затонувшие здания, единственный след обитаемости этих мест.

Воины могли позволить себе передышку.

Над ближними зарослями вспорхнула диковинная птица с золотистым оперением и, сверкая на солнце, все более широкими кругами стала виться у Победоносца над головой.

Г л а в а IV

Вперед разнесся неясный слух, неведомо где и как зародившийся. Из уст в уста передавали рассказ о невероятных успехах Марка, и хотя одерживал их тот, кого заранее окрестили Победоносцем, этим успехам дивились и отказывались в них верить, тем более что никто не мог точно указать, откуда дознался. Кивали на полудиких рыбаков с Перешейка, которые внезапно появились в окрестностях Теплых Прудов и привели с собой какого-то сумасшедшего старика. Мол, один из их земляков ушел с Марком, а потом неизвестно как и почему вернулся из-за моря и принес хорошие вести. Поскольку это все же были новости из вторых рук, к ним относились настороженно, хотя слушали жадно и притом посматривали на Великое море, за которым лежит страна шернов.

Людам, которые десятками поколений жили под ярмом шернов, уже сам поход представлялся невероятным предприятием. Никак было не освоиться с мыслью, что он действительно предпринят, и вопреки добрым слухам повсю-

ду ждали разгрома удалцов и нашествия страшных первожителей. А находились и те, кто само отсутствие верных вестей объяснял полной гибелью лихих безумцев и чуть ли не попрекал Победоносца, которого накануне, не зная меры, восхвалял.

И когда, наконец, однажды на рассвете на прибрежном льду появились два буера, встревоженный люд хлынул навстречу прибывшим, боясь даже спросить, уж не последние ли они из оставшихся в живых после страшного поражения и чудом спасшиеся. Однако с буеров спрыгнули путники усталые, но веселые, они издали гоготали и всячески выказывали свою радость. Зазвучали радостные возгласы, кто-то бросился навстречу, любопытные шумно стеснились вокруг. И громом с ясного неба обрушилась невероятная весть: Победоносец вдоль и поперек прошел страну шернов, беспощадно истребляя их самих и их отродье, он захватил все приморские города, все равнинные города, а теперь направляется в горы к южному полюсу, где в крепостях на головокружительной высоте укрываются недобитые остатки шернов. А гонцы прибыли за боеприпасами, которые уже на исходе.

Обезумевшая от радости толпа подхватила прибывших на руки и с громкими кликами торжественно понесла к собору.

Еще стоял утренний морозец и снег не стоял. Многие жители поселка на Теплых Прудах либо крепко спали, либо, сидя по домам, подремывали, ждали, пока пригреет солнце. Но уличный шум разбудил всех, люди покидали теплые постели, полуочнувшись от сна, жадно выслушивали новости и присоединялись к толпе, в эту раннюю пору заполнившей площадь перед собором.

Услышав шум, Элем у себя в новом дворце решил, что это вернулся Победоносец, и уже приказал, чтобы его облачили в парадные одежды, но тут явился Севин и доложил, что это всего только посыльные с добрыми вестями. Раз так, Элем не стал облачаться, вышел, как был одет по-домашнему, только шубу на плечи набросил, и с порога громко потребовал, чтобы посланные подошли к нему с поклоном и докладом. Однако те, — видимо, по наказу Победоносца, — прежде всего отправились на розыск золотоволосой Ихазели. Повстречали ее в переходе из старого дворца в собор, пали перед ней ниц — это тоже было нововведением — и вручили драгоценные подарки: розовый жемчуг горстями, снятый с древних парадных одежд шер-

новской знати; уборы, резанные по кости в неведомом краю; плетеные золотые украшения, похожие на диковинные цветы.

Ихазель принимала подарки молча, однако со странной, если не сказать «бредовой», усмешкой на губах, а когда рук не хватило удержать драгоценности, посланцам почудилось, что у нее в глазах на миг полыхнул злой огонек, словно сверкнула сталь, вонзаясь в грудь. Но опустила веки, зазывно улыбнулась и пропела послам таковые речи:

— Что ж не привезли вы мне самого драгоценного, всех этих розовых жемчужин дороже, вон они с пустым звуком по полу катятся, ибо полны мои руки? Неужто ни у кого с собою нет того самого алого в мире, что, будто колокол мерный, гудит над землею шернов? Почто же не привезли дара желанного, без которого все мне тлен?

Казалось, кликушествует Ихазель в неисповедимом восхищении, а когда послы почтительно спросили, о чем именно речь, чтобы сей же час донести его милости Победоносцу, то произнесла Ихазель слова уж вовсе загадочные, вовсе темные:

— Сердца, сердца живого, алою кровью кипящего!

Был среди посланных отрок один, который сам у Марка отпросился, якобы по дому соскучившись. Он с первого мига с восторгом загляделся на Ихазель, а едва она договорила, выхватил из-за пояса булат короткий и с размаху вонзил себе в горло. Кровь ручьем хлынула, а он упал на пол, захрипел, ноги дергаются.

Смятение сделалось. Кто попятился в изумлении, кто бросился помочь отроку, но он, поводя рукой, отгонял окруживших, все на золотоволосую красавицу смотрел. И только когда Ихазель, любопытством испуг преодолев, склонилась над умирающим, он, сипя горлом проколотым, с трудом вымолвил:

— Понял я слово твое, и жить мне нельзя, а не то я исполнил бы прихоть твою.

Больше он ничего не сказал, а Ихазель и пытаться не стала. В страхе отпрянула от горемычного, слегка плечиком повела и удалилась со злою обидою на алых устах.

И собственные речи, и эта внезапная смерть ужаснули ее. Было чувство, что не сама она, не сама, а какой-то бес за нее говорил, глаза слезами налились, а сердце вскипело неукротимой любовью к далекому светлому богу. Горсти, полные холодных розовых жемчужин, прижала к лону и пылающим ланитам, забормотала, словно в бреду:

— Нет-нет! Пусть бьется твое сердце державное, пусть стучит, пусть изведет меня кручина безответная! Я бы первая обрекла убийцу твоего на муки небывалые, любимый ты мой! Благодарение небу, что этот мальчик сам себя наказал на месте, осмелившись подумать о том, что было от меня сказано.

И тут же представилась ей тень прикованного Авия, его четыре налитых кровью глаза и крылья, раскинутые по гладкой стене под золотым знаком Пришествия. Возникло непреодолимое, безотчетное желание глянуть в эти жуткие, колдовские глаза и упиться тем, как они омрачатся при виде присланной ей в дар добычи.

Как ходячая кукла, не вполне сознавая, что делает, сошла Ихазель в подземелье, отворила дверцу застенка.

Авий вскинул голову. А она как бы в медленном танце зажгла все фитили на стенах и под потолком и молча стала баловаться розовым жемчугом, пересыпая из ладони в ладонь, чтобы играл он радужными искрами, как ее ноготки, у которых почти те же самые цвет и блеск. И внезапно швырнула несколько жемчужин прямо в поганую харю, швырнула и залилась громким переливчатым смехом. А тварь вобрала голову в плечи и четверкою горящих глаз следила за каждым ее движением. И шагнула вперед Ихазель.

— Узнаешь? — спросила. И показала украшения золотые и диковинное шитье, что прислано ей из-за моря.

Спросила, а у самой на губах улыбочка, как бы невинная, как бы шаловливая.

Узнал: пригасли на миг кровавые бельма за трепещущими веками, а по лбу растекся тусклый темно-серый цвет. Но тут же снова вытаращился шерн, цепким взглядом окинул Ихазель.

— Узнаешь? — повторила та. — То подарочки-побрякушечки на игру-забаву мне присланы, а прислал их мне всемогущий, сам Победоносец мне прислал, чтобы знала я, чтобы ведала, как стопа его мощная ваши пажити топчет, как десница его громоносная вашу черную силу ломит. Взял он ваши города, никого там в живых не оставил, стены порушил, рвы позасыпал, башням велел до земли поклониться. Благословен Победоносец, истребитель шернов, благословенна Земля, что его породила и к нам прислала!

Подобие усмешки задрожало на роговом клюве твари.

— Да, — сказал шерн, помедлив немного. — Орясине, которую вы победоносцем зовете, терпения не достало. Вло-

мился он в нашу страну, города ограбил, народ перебил. Вижу в руках у тебя частицу того, что было накоплено во времена, когда людей на Земле и в помине не было, а она светила нам, шернам, как второе подвижное солнце. Гляжу и говорю: всю равнину вдоль и поперек разорил ваш победоносец, и вот свершается то, о чем молчишь, а мне ведомо: подступил он к высоким горам, остановился и не знает, что делать. Не помогают палки и бревна железные, которые мечут огонь. Застрял ваш славный победоносец перед высокими горами, где по верхам, по отрогам красуются твердыни шернов. Задрал башку, как пес, от которого птичка желанная упорхнула на дерево. Тут и конец вашему победоносцу, всей власти его и силе. Вознесли шернов широкие крылья в их извечную колыбель, на неприступные горные вершины, и посмеются они оттуда над воровской его гордыней непомерной.

Заскрежетал злорадным смехом шерн, прикованный железом к стене, и уставился налитыми кровью бельмами на Ихазель, а у той руки обвисли, как плети, розовые жемчужины по полу скачут.

— Где вам, ничтожным, где вам, несовершенным, сравниться с нами? — продолжил он, помолчав. — Умом хвалитесь, а свершили не больше, чем псы, подобно которым множитесь и больше ни на что не способны. Явился к вам земной человек, морочит вам голову рассказами об устройствах, затеях и всякой всячине, которую там заимели. А мы, шерны, давно через это прошли, мы о таком давно позабыли, ибо постигли великую мудрость, что самим надо жить на приволье, а трудятся пусть другие. Ступай, скажи своему победоносцу, пусть сходит в Великую пустыню, пусть пошарит там по развалинам городов, рассыпавшихся в прах, и дознается, что ведали мы в ту пору, когда Земля еще пустовала. Пусть пристегнет себе крылья, пусть захватит наш великий город в горах, пусть научится и прочтет сокровенную книгу, цветным письмом писанную. Авось, уразумеет, насколько Земля была у нас как на ладони, когда там даже искры мысли не было, и какое бремя познаний мы отринули как излишнее и ненужное. А отринули мы все то, чем нынче вы вздумали нас покорить, чем гордитесь нынче на Земле, что почли наивысшим достижением, свойственным только вам.

Ихазель внимала этому потоку скрежещущих слов в странном оцепенении, не смея глаз отвести от шерна, который внезапно представился ей не просто страшным, но

и высшим существом. А тот не иначе как заметил это, потому что в глазах у него зажглась безмерная, не приличествующая узнику гордыня. И с издевкой произнес:

— Ну, и что с того, что временно берет верх ваш победоносец? Он сбежит на Землю или подохнет, а вы останетесь здесь и, хоть увешайтесь вашим оружием, все равно будете нашими слугами.

Примолк и усталился колдовскими бельмами в изменившемся лице Ихазели.

— Весь род людской будет нашими слугами, — прокричал он, — кроме той, которая пожелает стать госпожой и по доброй воле последует за шерном в чудный град в кольце высоких гор, чтобы там царить рядом с шерном, чтобы повелевать выворотнями, покорными пуше псов, и людьми, взятыми в рабство, чтобы владеть бесчисленными сокровищами, которые краше звезд, высыпавших по ночам. Будет царить избранница шерна, будет царить с той минуты, как постигнет, что нет ни зла, ни добра, придуманных слабыми, нет ни правды, ни лжи, нет ни заслуг и наград, нет ни грехов и кары, а есть только власть, только власть, воплощенная в наивысшем творении вселенной, во всемыслящем шерне.

Онемевшая, уstraшенная, дрожа всем телом от чувства, которого не в силах была уразуметь, остатком воли попятилась Ихазель. И тут воскликнул Авий:

— Иди сюда!

Ихазель вскрикнула и бросилась к двери. На лестнице упала без сил и судорожно разрыдалась. Понемногу придя в себя, услышала говор толпы, заполнившей собор. Полегчало от чувства сопричастности к людям, и чуть ли не с радостью поспешила Ихазель смешаться с подобными себе.

На давно пустовавший амвон поднялся первосвященник Элем. Он прочел собравшимся послание победоносных воителей из заморского края, восславил силу и отвагу рода людского, превознес его верховенство надо всею живою тварью и напомнил о зверином невежестве и дикости шернов, осужденных на погибель. Его негромкий, но пронзительный голос проникал во все уголки собора, временами пробуждая под сводами звенящее эхо.

Говорил он долго и наконец затянул гимн в честь долгожданного Победоносца, который прибыл с Земли, а исполнил свои труды, на Землю возвратится. На миг примолк, воцарилась тишина, и в этой тишине у входа в собор раздался голос:

— Неправда! Неправда! Не явился Победоносец!

Все лица обратились к дверям. Там, взобравшись на основание колонны и прижавшись к ней спиной, стоял старик в былом наряде Братьев в Ожидании, бритоголовый, с горящими глазами. Он простер над головами толпы иссохшую руку, потрясал ею и самозабвенно кричал:

— Неправда! Лжет богомерзкий Элем! Не явился Победоносец! Слушайте, что возвещает вам последний верный Брат в Ожидании! А ты еретик! Не восстали мертвые, не восстали!

Смятенная толпа ходуном заходила. Многие с ужасом слушали речи старика, словно перед ними и впрямь пророк, но нашлись и такие, кто бросился к нему с яростным криком, чтобы сдернуть вниз и вытолкать вон из храма. Но дорогу преградили зверского вида чужаки, полудикие рыбаки с Перешейка, которые и не в таких передрягах бывали. Они выставили грозно сжатые кулаки и громко кричали:

— Правду молвит пророк Хома! Долой Элема! Долой поддельного Победоносца!

У дверей закипела драка. Рыбаки отбивались отчаянно, но их было мало, так что в конце концов их вместе с Хомой вытолкали из собора. Но оказавшись на площади, они плотным кольцом окружили монаха и подняли к себе на плечи. И тот снова подал голос:

— Погубили Луну, обманщики, клятвопреступники! Разогнали братию святой девы Ады, мощи ее спалили! Храм ограбили! Опоганен он! Шерн расселся там, где Святое Писание берегли! Горе Луне, горе грешной и совращенной! Враг человеческий наслал Лжепобедоносца на обман людям, чтобы не ждали! И победы его один обман, не свершит он спасенья, худшее рабство грядет! Худшее зло! Неслыханное бесчестье!

Люди ахали от ужаса, но тут по мостовой загрохотал мерный шаг взвода солдат, посланных первосвященником. Вымуштрованные Победоносцем вояки в одну минуту сомкнутым строем рассекли толпу, отделили Хому от защитников и взяли его в железное кольцо. Нашлись желающие отбить, но Хома подал знак не препятствовать его мученичеству. Солдаты надели на него наручники и, выставив пики, попятились вместе с арестованным к крыльцу нового дворца.

Тем временем первосвященник Элем, пройдя во дворец через только что пристроенную галерейку, вызвал к себе Севина. Клеврет склонился перед ним в смиренной позе,

как бы уstraшенный гневом начальника, но в лукавых глазах, следящих за разъяренным первосвященником, то и дело мелькало что-то заговорщическое, более красноречивое, чем слова.

— Почему не исполнил, как было сказано? — неистовствовал Элем. — Почему дозволил Хоме явиться сюда?

Севин низко поклонился:

— Ваше Высочество в своей непогрешимой правоте неизменно отдает наимудрейшие распоряжения, но на сей раз препятствие заключалось в том, что собственными устами Вашего Высочества было запрещено посадить Хому под замок.

— Есть тысяча способов лишить человека охоты бродить по стране!

— Совершенно верно. И это моя вина как руководителя полиции Вашего Высочества, я не сумел среди этой тысячи сыскать ни одного надежного. К тому же долгое пребывание безумца среди рыбаков грозило серьезными последствиями. Его сторонники множились, сговаривались, дело шло к возникновению язвы на теле государственного организма. И тогда я позволил ему переходить с места на место и сеять зерна, однако нигде не дал собрать урожай. Теперь все зависит от воли Вашего Высочества. Ничего не стоит подавить пробившиеся кое-где ростки, но по обстоятельствам можно кое-где и не мешать им расти, если Вашему Высочеству это представится желательным. Хома свое дело сделал, Хома задержан. Признаюсь, я обдуманно позволил ему проникнуть в собор именно сегодня, когда полученные из страны шернов благоприятные известия дают в руки силам правопорядка солидный противовес кошунственной болтовне сумасшедшего.

Элем задумался. Некоторое время сидел, не шевелясь, гладил изнеженными ладонями длинную черную бороду и в упор разглядывал Севина, но уже без гнева, а с долей восхищения. Начальник полиции стоял, потупясь, на губах у него блуждала едва заметная усмешка.

— Пусть его приведут сюда, — внезапно сказал Элем. — Хочу поговорить с ним лично.

Севин поклонился и вышел вон, а вскоре двое солдат доставили в кабинет старика в наручниках. Первосвященник жестом велел им удалиться и оставить его с глазу на глаз с арестантом.

Хома стоял, насупив брови и высоко подняв голову, отчасти довольный, что вот-вот начнется мученичество, ко-

торое он сам себе давно напроорочил. И безмерно удивился, видя, что первосвященник дружелюбно подходит к нему и, прямо сказать, доверительно треплет по плечу. На замогильном лице старца явилась даже тень определенного разочарования, но тут же Хоме пришло в голову, что не иначе как его речи тронули закосневшее в грехе сердце первосвященника и наступила минута, когда довершение благого раскаяния зависит лишь от его красноречия. В приливе вдохновения он воздел скованные длани и начал прорицать:

— Грядут беды, беды неслыханные! Осквернят шерны всех дев людских, высохнет море Великое, схватится в камень земля и родить перестанет! Грядет гибель всякому, кто истинного Победоносца дожидаться не схотел и самозванцу предался! Изыдет пустыня хищная из предела своего и пожрет жилища людские и житницы, дабы самый след грешников обратился во тлен!

Он долго не мог остановиться, изобретая все новые кары на головы грешников, но в конце концов притомился и замолк, решив, что пронял-таки первосвященничью душу. Удивляло одно: почему Элем не падает на колени и не кается? Рыбакам и четвертой доли сказанного хватало, чтобы они в страхе попадали ниц и покаялись не только в прошлых грехах, но и в будущих, за чад и потомков своих.

Элем выслушал пророка сдержанно и сосредоточенно, хотя и с непонятной усмешечкой — казалось, он мысленно взвешивает смысл и весомость прорицаний. При каждом удачном и звучном обороте первосвященник с пониманием кивал, а когда пророк начинал повторяться или делался нуден, Элем неодобрительно морщился. Дослушав до конца, удовлетворенно улыбнулся.

— Неплохо, неплохо, — сказал он и потрепал Хому по плечу. — Там, в Полярной стране, я и знать не знал, что ты у нас такой речистый. Ни дать ни взять, пророк.

Поведение первосвященника показалось Хоме несколько несоответственным, но, не желая оттолкнуть душу, близкую к покаянию, он грешника не попрекнул, а начал прикидывать, с какого боку продолжить удачно начатое дело обращения доброго семени.

Тем временем Элем сел и велел Хоме приблизиться. Долголетняя привычка к смиренному послушанию заставила Хому поспешно подойти, он уже готов был отвесить поясной поклон давнему настоятелю, однако вовремя припомнил о перемене в своем положении. Но возможности продол-

жить речь на свой лад не получил, потому что первосвященник сбил его с толку вопросом:

— А теперь скажи мне, Хома, по какому такому поводу ты решил, что прибывший с Земли Победоносец вовсе не Победоносец? Только не пророчествуй, а постарайся выразиться четко и ясно.

Хома свел руки, насколько позволяли наручники, и начал отсчитывать по пальцам:

— Перво-наперво, мертвые не восстали к нему с поклоном, как было писано. День не сделался вечный, как у пророков сказано, а по-старому приключается ночь — это два. Не расступилось море, чтобы ему на шернов иттить — это, стало быть, три. Не сам он шернов побивает, а людям велит — это четыре. Мертвые не восстали — это пять...

— Было, было, — перебил Элем. — Ну-ка, еще что-нибудь!

Хома взъярился, в нем снова ожил пророческий пыл, менее обременительный, чем мелочные подсчеты. Но первосвященник вовсе не собирался терпеливо слушать, как слушал прежде. Он довольно грубо прервал поток ввергающих в дрожь предсказаний, вызвал солдат и велел отвести пророка в тюрьму.

— Авось, там придумаешь кое-что поцветистей, — съехидничал вслед.

Из кабинета Хому пришлось выталкивать силой, поскольку он заупрямился. Однако не потому, что не хотел уходить, а из принципа, полагая, что начинается мученичество. Он был немало удивлен, когда его втолкнули в сухую и светлую камеру, где были все нехитрые удобства, достаточные ему по возрасту и здоровью. Осмотревшись на новом месте, он удивленно покачал головой и не без робости спросил у надзирателя через окошечко в двери, скоро ли будет побит камнями. Надзиратель во все горло расхохотался и посоветовал заняться краюхой хлеба, что лежит на столике, ведь наверняка же давно не ел. Хома по привычке занялся было обращением надзирателя, дабы тот отрекся от Лжепобедоносца, но надзиратель клевал носом и не прислушивался. Только-только старик добрался до самых живописных предсказаний о неизбежной гибели лунного мира, надзиратель сладко зевнул и захрапел...

Тем временем на площади появился Севин и обратился с речью к народу, по обычной логике толпы, возмущенному равно и выходкой Хома и его арестом.

Первосвященнического клеветы встретили криком и гра-

дом оскорблений. Он, однако, невозмутимо переждал этот всплеск народных чувств с застывшей улыбкой на худощавом лице, а как только на мгновение установилась тишина, воспользовался ею и громко объявил:

— Его Высочество первосвященник Элем прислал меня узнать, какова будет ваша воля поступить со схваченным стариком!

Эти слова произвели удивительное действие. Народ был привычен узнавать волю первосвященника и тогда прекрасно знал, что делать: если был настроен благодушно, то слушал дальше; если нет — возражал громким криком. Но вопрос Севина поверг толпу в замешательство. Что бы ни придумал Элем, толпа была готова поступить наперекор, а выходило, что никто не знает, каковы его намерения. Даже глядя на солдат, ничего путного не приходило в голову: солдаты мирно сидели на паперти, оружие отложили и калякали промеж собой, потягиваясь на солнышке.

Крики притихли, зато там и сям начались свары между отдельными кучками. Севин и это переждал спокойно, а потом провозгласил, хотя толпа никоим образом своей воли не выразила:

— Его Высочество весьма доволен, что его воля и ваша едины. Он намерен сделать как раз то самое, что подсказано вам умудренностью вашей: поместить Хому во дворец, в удобном помещении, учинить ему подробный расспрос, а потом выдать вам, чтобы вы сами рассудили, как с ним поступить.

И толпа разошлась, восхваляя Элема...

Ближе к вечеру Ихазель снова побывала у Крохабенны. Выслушав ее рассказ, старик угрюмо задумался.

— Нельзя было Элему мирволить, до клобука допускать, — сказал он наконец. — Ошибка вышла.

Ихазель возразила, что ошибка исправима: Крохабенне достаточно предстать перед толпой, и его будут приветствовать как владыку. Но старик несогласно покачал головой.

— Уж говорено тебе было, и еще раз повторю: поздно, — сказал он. — Появлюсь — людей с толку собью. Придется ждать здесь, в сторонке.

Ихазель не настаивала. И выглядела нехорошо: глаза как туманом застланы, губы поблекли, дрожат...

Когда она на закате возвращалась стынущим морем, сидя в лодке лицом к золотому заходящему солнцу, на ланитах у нее горел нездоровый румянец, просвечивающий откуда-то

изнутри сквозь бледную кожу, а под ввалившимися черными глазами синели круги.

Ближе к берегу она расслышала городской шум на площадях и перед домами. Кто-то ругался, кто-то кого-то звал, кто-то с кем-то торговался или сварился, кто-то пел — кипела суетливая и мелочная злоба дня, и губы у Ихазели крепко поджались от неудержимого отвращения. Она зажмурилась, надеясь воскресить в памяти светлый образ Победоносца, но вопреки усилию воли под закрытыми веками явилась ширококрылая черная тень шерн Авия, который устался на нее во всю четверку горящих, налитых кровью бельм.

Глава V

Случилось то, о чем говорил шерн Авий.

Равнинную область между берегом Великого моря и горами в окрестностях южного полюса Марк захватил целиком. Разрушил тридцать с лишним городов и на всем этом пространстве истребил шернов так, что следа от них не осталось. Тринадцать долгих по-лунному дней прошло с той поры, как завоеватели высадились на неведомом берегу, и все это время военное счастье их не оставляло. Но на четырнадцатый день, а по земному счету — через год с небольшим, непрерывных ратных трудов они очутились вдали от моря, в труднопроходимой горной местности.

Солнце здесь поднималось невысоко и прокатывалось за спиной по низкой дуге, а по ночам погружалось за горизонт неглубоко, так что по южному краю неба до утра тлела незакатная заря. Полоса полдневных гроз осталась позади, дни были не такие жаркие, а ночные холода не такие жестокие.

Впереди, словно крепости, вздымались кольцевые горы. Выше полосы дремучих лесов и джунглей, покрывающих подножья, по крутым склонам раскинулись зеленые луга, перемежаемые глубокими ущельями. А еще выше вздымались крутые отроги, голые скалы, увенчанные ледяными шапками.

В промежутках между этими громадами располагались кольца пониже и пошире, образованные пологими валами, поросшими лесом.

В узких зеленых долинах между кольцами живой души было не сыскать. Там и сям попадались покинутые и с

умыслом разрушенные жилища. Но даже по их остаткам было видно, как неказисты были строения, очень похожие на овчарни. Все они были поспешно брошены и уничтожены без сожаления при подходе врага.

Но где же прячутся шерны? Взор невольно обращался к могучим природным скальным твердыням, которыми была усеяна вся страна к югу, докуда видит глаз. Там конца не было огромным грозным и неприступным фортам. И Победоносец понял, что его истребительному походу пришел конец. Оставалось только одно — не давать покоя шернам в их заповедных крепостях, пока они сами не запросят мира.

Сидя на камне, Марк угрюмым взглядом окинул лежащую впереди удивительную страну. Мир с шернами! Мир с шернами равнялся поражению, поскольку никакой пользы он людям не принесет и на будущее ничего не гарантирует. Стоит Марку уйти, шерны снова наберутся сил и начнут нападать на людей, пренебрегая всеми клятвами и обещаниями, каких он от этих тварей силком ни добейся. Какое-то время их будет удерживать память о сокрушительном разгроме на равнинах и страх перед именем Победоносца, а что потом? Что потом? Не тем ли жесточе окажется их месть, чем сильнее будет желание искоренить даже память о былом неожиданном поражении?

Дав людям в руки огнестрельное оружие, Марк оставил за собой секрет производства взрывчатых веществ, оставил с той мыслью, что, возвращаясь на Землю, унесет тайну с собой, чтобы люди не воспользовались этим грозным средством в братоубийственных распрях.

Но делалось ясно, что полное уничтожение шернов невозможно. Как же поступить в таком случае? В таком случае придется дать людям возможность защиты на будущее, придется научить их производству взрывчатых веществ и отбыть с ясным представлением насчет того, каковы могут оказаться губительные последствия успехов просвещения на Луне.

Марк озабоченно оглянулся на пройденную обширную равнину, что тянулась до самого моря, низко над которым, у черты горизонта, помаленьку брело себе солнышко. Покинуть этот завоеванный край означало позволить шернам заново овладеть им и заново набраться сил на плодородных нивах, которые в течение многих сотен лет служили первожителям уж не иначе как житницами. Выходит, тогда поход был предпринят напрасно, лучше бы его вообще не

затевать. А что, если призвать сюда людей из-за моря? Что, если наделить их этими землями? Что, если помочь обстроиться и обзавестись?

Но ведь как только он, Победоносец, покинет Луну, колонисты окажутся первыми жертвами мстительных шернов. Поселенцев придется на веки вечные приговорить к военной жизни, рука на спусковом крючке, глаз на мушке, при постоянном бдительном ожидании, а не валит ли с неприступных гор вражья стая! И кто знает, удастся ли им выстоять, в заморском отдалении от сородичей обреченным опираться только на собственные силы? Кто знает, не станут ли опять мужчины со временем рабами шернов? И не заставят ли женщин снова рожать выворотней на повторное и теперь уже вечное посрамление роду людскому? А те, кто живет-поживает на прежних местах, за морем, того и гляди, не помогать будут здешним братьям, а презирать их, звать нечистыми, питая предубеждение к собственному предполью, оберегающему родовое гнездо от нашествия врага.

Неужели к этому сведется благая весть, которую долгожданный Победоносец принес в лунный мир? Неужели настолько бесславлен окажется его подвиг?

Марк вскочил и окинул взглядом громаздящиеся впереди горы. Нет, останавливаться перед ними нельзя! Начатое надо доводить до конца: либо полная победа, либо смерть — иного выхода нет.

Он вызвал Ерета и Нузара. Оба явились выслушать приказы, и тогда Марк задал выворотню вопрос:

— Где шерны?

Нузар удивленно возрился на Марка, не понимая, то ли Победоносец действительно хочет знать, где враг, то ли это какое-то изощренное испытание верности.

Помедлив, он махнул рукой в сторону гор:

— Там.

— Где «там»?

— Там, вон в этих.

— Вон в этих? Ты хочешь сказать, во внутренних долинах кольцевых гор?

— Да.

— Ты там бывал?

Нузар отрицательно покачал головой:

— Нет. Они нас туда не пускают. И-и...

— Что «и-и»?

— Чтобы туда попасть, надо крылья иметь, как у шернов. Иначе туда не пробраться.

Победоносец задумался. А выворотень, убедившись, что Ерет отвернулся и не подслушивает, вскарабкался на глыбу и шепнул Марку на ухо:

— Хозяин, не пора ли? Шерны попрятались, давай теперь охотиться на людей.

Марк даже не подумал ответить, сделал Нузару жест, означающий «ступай вон». А потом взглянул на Ерета:

— А ты что скажешь?

Ерет нерешительно пожал плечами:

— Он верно говорит: надо крылья иметь.

И глянул Марку в глаза. Некоторое время Марк молчал, а потом насупил брови так, что они сошлись в одну жесткую линию, и решительно сказал:

— Крылья есть. Наша воля нам крылья.

У Ерета посветлело лицо. Порывистым движением он склонился к ногам Марка:

— Ты воистину ниспосланный нам Победоносец!..

Вскоре началась подготовка к продолжению похода. Марк понимал, что прежде всего следует показать шернам свою решимость, нанеся сокрушительный удар там, где они чувствуют себя в полной безопасности. За валами кольцевых гор, несомненно, скрыты их города. Но за какими именно? Кольцевым горам тут числа нет. Так неужто за всеми? А что, если он с великим трудом приведет войско на ледяной гребень головокружительной высоты только затем, чтобы убедиться: центральная котловина пуста?

Прежние проводники из выворотней, отобранные Нузаром, оказались бесполезны. Они были не из этих мест и давали противоречивые и туманные сведения. Логические выкладки тоже не помогали. Если бы шерны в этом краю с давних пор чувствовали угрозу, они построили бы города внутри самых недоступных кольцевых гор. Но шернов здесь никто и никогда не беспокоил, искать убежищ им было не от кого. Так зачем им было забираться в неудобные места? Наверное, обосновались бы внутри колец с пологими склонами, поросшими лесом. Но ведь могли и покинуть пологие сейчас, спасаясь от нашествия, уйти в места надежные и безопасные.

Как ни ломай голову, умом этой задачи не решить. Оставался метод проб и ошибок. С тяжелым сознанием этого Марк двинулся в сторону южного полюса, решив положиться в дальнейшем выборе пути на волю случая.

Целый день ушел на то, чтобы обогнуть пологий лесистый вал одной из низких кольцевых гор. На закате оказа-

лись там, где вал снижался, образуя почти равнинный удобный вход в центральную котловину. Котловина была обширная, ниже уровня внешней равнины, в ней оказалось несколько невысоких конусообразных горюшек на расстоянии одна от другой и несколько небольших овальных озер.

Долгая, но не чрезмерно холодная ночь прошла у этого входа на чеку перед нападением шернов. Но шерны не появились. И с первыми проблесками дня, едва на фоне меркнущих звезд проступили очертания гор, Победоносец повел войско в глубину котловины.

Всю ее обшарили, каждую высотку, каждый отрог центральных горюшек. Обнаружили несколько таких же хуторов в окружении обработанных полей, как и на подступах к горам. Хутора были покинуты, везде следы поспешного бегства. И ни единого шерна.

Теперь не подлежало сомнению, что обитатели укрылись в малодоступных местах и там готовятся к обороне. Взоры Марка невольно обратились к огромному кольцу с зазубренным гребнем, расположенному прямо на юг от входа в первое пологое. До этой воистину неприступной твердыни, сверкавшей на утреннем солнце ледяными шапками на высочайших пиках, небольшому войску завоевателей оставалось несколько десятков километров.

Победоносец вытянул руку и указал Ерету на эту поднебесную высь:

— Я поведу вас туда.

Ерет склонился в почтительном покорстве:

— Куда ты, туда и мы.

Начался долгий и трудный марш. Видимые выше границы лесов северные отроги представлялись настолько неприступными, что Марк решил, не считаясь с потерями времени, двигаться вдоль внешнего обвода кольца в поисках мало-мальски приметного понижения гребня, которое на вид сулило бы возможность прорваться внутрь. Но чем дольше длился этот марш, тем неотвязней тревожила мысль, что дело кончится круговым обходом неприступной крепости. Притом Марк опасался засад и не торопился углубляться в леса, хотя там могла бы найтись тропа, указывающая путь через гребень.

С момента, когда начался обход этого гигантского «кратера», прошло около двух недель, уже близился лунный полдень, и тут Марк обратил внимание на безлесный участок склона, как ему показалось, не такой крутой. Туда он и повел своих воинов.

Сначала тянулись луга, пониже — обильные, а чем выше, тем беднее, тем чаще проплешинами выступала цельная скала. Но вот верхняя граница лугов осталась позади. Подъем пошел по россыпям глыб, где надо было постоянно перепрыгивать с валуна на валун. Потоки, бегущие со снежных вершин, уходили под осыпи глубоко и бесследно, людей на безводье стала донимать жажда. Они падали от усталости, но никто не смел просить об отдыхе. Все взоры были устремлены на Победоносца, тот шагал впереди, и пока он шагал, никто не хотел останавливаться.

Марк устраивал частые, но короткие привалы, хотел как можно быстрее оказаться выше осыпей, где есть возможность найти поток, текущий поверх скалы. Но карабканью вверх по осыпям, казалось, не будет конца. На смену глыбам величиной с дом и таким расселинам между ними, что перепрыгнуть их удавалось только благодаря малой силе тяжести на Луне, начались еще более труднопроходимые, подвижные галечники. При каждом шаге галька уходила из-под ног, увлекая за собой идущего. Пришлось взять чуть в сторону, к гребню скального отрога.

Но там было не легче: скала оказалась вся в трещинах, местами еле держалась, хотя обманчиво выглядела цельной. Ногами здесь было не пройти, приходилось карабкаться на четвереньках.

Головным вдруг начали чудиться шерны поблизости, но то был мираж, а может быть, и какие-то горные звери, которые перепрыгивали с камня на камень и скрывались с глаз долой. Людей, истомленных трудом и жаждой, начали мучить галлюцинации. Силы были на исходе.

Однажды, когда пришлось перебраться на другую сторону отрога, чтобы обойти отвесный обрыв, один из солдат пошатнулся и рухнул в пропасть. Шедшие следом замерли на месте. У некоторых начали дрожать ноги, а пальцы рук, судорожно цепляющиеся за щели в камне, свело до потери чувствительности. Люди один за другим начали останавливаться, оглядываться и полуприсаживаться-полуприваливаться, где только позволяло место. Наступил миг удрученного молчания, и вот кто-то застонал, кто-то ответил рыдающим вздохом. Послышался шум еще одного упавшего тела. На этот раз солдат сам прыгнул в пропасть вниз головой, широко раскинув руки.

Еще миг, и...

И тут сверху, оттуда, где шла передовая группа, горсточка самых отважных и выносливых, — шла, поскольку не

знала о падении двух товарищей, — раздался спасительный крик:

— Вода! Вода!

Забыв обо всем, люди ринулись вперед. Те, кто только что готов был потерять власть над собой, теперь с невероятной ловкостью карабкались по зубчатому, круто вздымающемуся гребню, ослабевшим, казалось, откуда-то прибыло сил. Под радостные крики кое-кто полез наперегонки.

Наверху гребень выводил на широкую протяженную полку, поросшую травой и пересеченную узким желобом, по дну которого бежал поток, ниже теряющийся в осыпях.

Марк смотрел, как стеснились люди, черпая воду руками, шапками, котелками, припадая к ней ртом, — кто как мог и сумел. Напади в эту минуту шерны, дело кончилось бы препаскудно, но, к счастью, вокруг не было ни одной живой души. И тем не менее Победоносец понял, что дальше так двигаться нельзя, это грозит гибелью людям и ему самому. Поэтому, когда отряд утолил жажду, он приказал воинам расположиться на отдых, а сам, отобрав команду смельчаков, вместе с выворотнем Нузаром двинулся наверх, чтобы отыскать самый удобный маршрут на гребень кольца и, достигнув его, убедиться, стоит ли вести туда людей, действительно ли в центральной котловине имеется поселение шернов.

Хотел пойти с ним и Ерет, но Марк приказал ему оставаться на месте и быть готовым отразить внезапное нападение.

Восхождение оказалось более чем изнурительным. Постоянно помня, что следом пойдут люди с оружием и грузом, Марк выискивал и прокладывал маршрут полегче, а на это уходило много времени. Тянулись долгие часы. Солнце, прежде скрытое за крутым скальным гребнем, сместилось к западу и, оказавшись слева чуть впереди, стало бить в лицо, хоть и с заметно меньшей силой. Препятствия усложнялись с каждым шагом. Приходилось идти по крутым и узким полкам над пропастями, взбираться по каминам с перехватами в виде огромных глыб, еще более затруднявших подъем. Дорогу обозначали галечными турами, поставленными на видных местах: на вершинах утесов или на лужайках, поросших редкой травкой.

До линии вечных снегов добрались нескоро. Характер склона заставил сильно отклониться к востоку, почти без выигрыша в высоте. По пути пересекали желобы, заполненные снегом, но слишком круто идущие вверх и там быстро

кончающиеся, так что ими нельзя было воспользоваться для подъема.

Наконец наткнулись на желоб не шире прочих, но не такой крутой и, насколько было видно, ведущий наверх к седловине с пологими склонами. А на снегу Марк заприметил следы: как бы отпечатки когтистых лап шернов и борозды, проложенные не иначе как тяжелыми предметами, которые кто-то волок наверх.

Сомневаться не приходилось: найден искомый путь, а внутри горного кольца действительно затаились шерны.

Продолжать восхождение малой группой означало бесцельную трату времени. И, оставив с собой Нузара, Победоносец отослал остальных назад, чтобы те знакомым путем привели сюда сотоварищей.

Настали долгие часы ожидания, оказавшиеся куда более утомительными, чем восхождение. Нузар свернулся клубочком, привалясь к глыбе, и заснул прямо на снегу, как зверь. Оставшемуся в одиночестве Победоносцу не давали покоя мысли и страхи. Напрасно-де он сам не вернулся за товарищами, гонцы могли упустить из виду какой-нибудь из редких туров или сбиться на обратном пути. Без его помощи и примера люди могут не совладать с трудностями маршрута: вдруг при каком-нибудь неизбежном несчастном случае снова разразится паника и людей при виде неприступных утесов и зияющих пропастей одного за другим начнет косить ужасная горная болезнь!

Была мысль и об угрозе нападения шернов, о которых он чуть было совсем не забыл, поглощенный трудностями восхождения. Лишь здесь и сейчас он уразумел, каким безумием и легкомыслием был весь этот рывок в скальные клещи с горсточкой преданных и беззаветно доверившихся ему людей.

Он глянул на спящего Нузара — не разбудить ли выворотня? Но тут же отказался от этого намерения, показавшегося жалким и бесполезным. Чем мог ему помочь выворотень с его полуживотным разумом?

Но беспокойство нарастало. Марк не мог усидеть на месте. Встал и сам побрел обратным путем к гребню вдоль западной стороны желоба. Поднялся на гребень, вышел из тени и оказался на живительном солнечном свете. Прищурился от нестерпимо яркого сияния и внимательно огляделся по сторонам. Разглядывал в бинокль каждый скальный зуб, каждый излом и каждую щель, но ничего не увидел, кроме глыб и осыпей.

Не иначе как шерны, излишне полагаясь на труднодо-

ступность местности, даже не подумали о засадах и заставках. Вероятно, не верили, что Победоносец отважится на такое безумное предприятие и что, вдобавок, ему повезет отыскать тропу, быть может, к единственному перевалу, проходимому для людей.

Вдохнулось полегче. По крайней мере с этой стороны опасность не подстерегала.

Хотел было начать спуск навстречу своему воинству, однако вдруг охватила неодолимая лень. Марк лег на скалу, во весь рост вытянулся на солнце, решив самую малость отдохнуть, но едва откинул голову на сомкнутые ладони, как забылся глубоким и сладким сном.

Спустя некоторое время его разбудило легкое прикосновение. С трудом открыл заспанные глаза. Рядом сидел Нузар и указывал рукой вниз.

— Идут, хозяин, — сказал он.

Марк вскочил:

— Шерны?

— Нет. Твои люди идут, Победоносец.

Напрасно всматривался Марк туда, куда указывал выводень. Зоркие глаза Нузара высмотрели то, что он и в бинокль не мог разглядеть. Была даже мысль, что Нузар ошибся, но тут снизу донеслась едва слышная переключка голосов. Не иначе как там увидели его фигуру на высоком гребне на фоне вечных снегов и подняли приветственный крик. Наконец внизу различилась как бы стая мелких муравьев, облепивших гигантские утесы. Это действительно шли его люди...

Через несколько часов началось общее восхождение. Кто посильнее, шли впереди и по очереди рубили ступеньки в снегу для идущих следом, и так постепенно близились к перевалу по желобу, местами менее пологому, чем казалось снизу. Путь был труден и крут. Более слабых и податливых на горную болезнь соединили длинными веревками в связки, чтобы уберечь от падения. Марк строго-настрого запретил оглядываться. Шагали молча, боясь криком или пением подать шернам весть о своей грозной близости, шли, не сводя глаз с небесной лазури над снежной белизной седловины.

Несколько раз впереди идущим чудилось, что до перевала осталось меньше сотни шагов, что еще одно усилие и будет достигнута желанная цель. Люди в нетерпении брались рубить снег с удвоенной силой, но понапрасну: то, что принимали за вершину перевала, оказывалось перегибом, за которым снова тянулась вверх сверкающая наклонная пло-

скость. Усталые руки отказывались служить, в ослепших от яркого света глазах снег внезапно чернел и шел волнами, как море. И тогда Марк сам становился впереди и, громко повторяя приказ: «Вниз не смотреть! Вниз не смотреть!», вел шатающихся от усталости, словно зачарованных его волей людей все выше и выше.

А желоб, собственно, уже кончился, раскинувшись наверху в широкое, чуть вогнутое снежное поле. Уклон сделался настолько малым, что надобность рубить ступеньки отпала, и вереница идущих постепенно превратилась в изогнутую полукругом шеренгу, где каждый сам пролагал себе путь, как умел.

И вдруг случилось чудо. Перед глазами солдат, уже столько раз обманутых надеждой на близость перевала, внезапно и в самый неожиданный момент открылся вид на огромную котловину, обрамленную горным кольцом. Идущие позади не догадывались, что передние добрались наконец до перевала. Они подходили небольшими группами и сами останавливались, потрясенные зрелищем, не привычным даже для их глаз, приученных к лунным пейзажам.

Перед ними с беспредельной высоты открылась огромная круглая долина, со всех сторон окруженная мощной стеной покрытых снегом гор. Долина кипела великолепной зеленью, на фоне которой тут и там были видны похожие на павлиний глаз овальные озера. Кое-где по всей долине, пологими террасами поднимавшейся к лесистым горным склонам, были разбросаны зеленые холмы, напоминавшие курганы. На террасах, на холмах, по берегам озер белели небольшие поселки, окруженные привольными садами. А посередине, примерно до половины высоты окружающих гор, торчала гора в виде усеченного конуса, и всю ее вершину занимал большой город-крепость, ошетилившийся сотней башен и диковинных стрельчатых строений.

Тень от юго-западной стороны внешнего горного вала уже покрыла большую часть долины, в синей мгле пригасли озера и тонуло подножье центрального конуса, но город полыхал на клонящемся к горизонту солнце золотом и багрянцем.

Долго стоял Марк, не в силах вымолвить слова, глядя на этот чудный тихий край, который еще до заката солнца доведется превратить в поле битвы, быть может самой кровавой из всех когда-либо происходивших на Луне, а пробудили его от задумчивости отрывочные восклицания солдат, в которых звучало что-то похожее на священный трепет.

Марк огляделся. Его люди стояли, обратившись спиной к таинственной стране шернов, и указывали друг другу на что-то из ряда вон выходящее при южной стороне горизонта. Над страной, как море волнами, изборужденной уходящими в бесконечность горными хребтами, над зубчатой линией самых дальних гор висело белесое, едва заметное облачко, полукруглое сверху, странно непохожее на обычные облака.

Довольно долго Марк терялся в догадках, что это там такое, и вдруг у него задрожали губы. Да! Ведь он же в окрестностях южного полюса, а в этих широтах... Да! Да! Это белесое облачко, этот бледный узкий серп, полускрытый зубчатым горным горизонтом, это же...

— Земля! Земля! — все громче перекликались между собой солдаты.

Некоторые падали ниц на снег, некоторые воздевали руки и замирали в экстазе, не в силах постичь, каким образом звезда, которую они видывали с иного края лунного мира, вдруг ни с того ни с сего явилась у них перед глазами здесь.

— Земля идет вслед Победоносцу! — пролепетал кто-то посеревшими губами.

— Земля пришла! Она хочет видеть, как сгинут навеки шерны!

Ерет распростер руки.

— Земля всюду! — воскликнул он. — Нам она видится неподвижной, на одном и том же месте, а она обходит по краю весь диск Луны и стережет границы Великой пустыни!

— Земля всюду! — ответил ему общий хор.

И люди попадали ниц перед Победоносцем, восхваляя святого посланца Земли.

А он стоял недвижим, позабыв в этот миг о шернах и о народе, смиренно припадающем к его стопам, он смотрел на бледный призрак своей отчизны в бездне небес, и у него впервые в жизни увлажнился взор.

Глава VI

В низкой, тесной комнатухе шум стоял неописуемый. Ждали Роду Премудрого, который нынче что-то уж очень подзапоздал, а время коротали за жаркими спорами, то и дело переходящими в яростные пререкания. Возбужденные молодые люди с горящими глазами насккивали друг на

друга с криком и размахивали руками, насколько позволяли давка и теснота.

Какой-то взлохмаченный юнец с пылающим взглядом самозабвенно вещал:

— Что бы там ни совершил так называемый Победоносец, это не в счет! Все его подвиги, как бы ни были они нам на пользу, ничего не значат по сравнению с чудовищной несправедливостью, которую допускают по отношению к нам обитатели Великой пустыни. Мы должны проложить туда дорогу и поселиться в отчем краю.

На углу стола, свесив ноги, сидел человек молодявого вида, но прежде времени начисто облысевший, с гладким безбородым лицом, на котором застыла кривая усмешка, похожая на гримасу. Он глядел на оратора выцветшими рыбьими глазами и твердил, слегка покачиваясь всей верхней половиной туловища:

— А я повторяю: нам не хватит там места.

— Должно хватить! — буйствовал оратор.

Но лысый ровным, бесстрастным голосом гнул свое:

— Нам не хватит там места. Согласен: у них там райская жизнь, но плотность населения в подземельях имеет свои пределы, притом небольшие...

— Так пусть меняются с нами! Пусть идут сюда и сражаются с шернами!

— Вот-вот! Правильно! — раздался общий крик.

Лысый продолжал криво усмехаться:

— Но как их к этому вынудить? А? Не знаете?

Один из оппонентов, тощий, с изможденным смуглым лицом, сжал кулаки и закричал:

— Матарет, заткнись! Тебя подкупили и...

И пошло. Комнатушка загудела, как улей, в воздухе смешались вопли, уговоры, призывы. Временами, когда чуть притихало, доносились размеренные, упорно повторяемые речи Матарета:

— А я говорю: нам не хватит там места.

И каждый раз конец его фразы тонул в неистовых воплях.

Но вот кто-то из стоявших у двери воскликнул:

— Рода идет!

Все разом обернулись к двери, чтобы приветствовать Премудрого.

А тот, едва войдя, а вернее сказать, вбежав, рухнул на ближайший стул, с трудом переводя дух. Голова не покрыта, волосы растрепаны, рубашка порвана, лицо и грудь в синяках — Рода явно угодил в переделку и еле выбрался.

— Премудрый! Что случилось? — раздался крик со всех сторон.

Рода жестом попросил тишины. Голова бессильно откинулась на спинку стула, Премудрый тяжело дышал. Глаза полузакрыты, губы в крови, видно, что выбиты два передних зуба.

Один Матарет не тронулся с места. Сидел себе на столе и все с той же усмешкой, прищурясь, смотрел на Премудрого.

— Что я говорил? — сказал он, выждав. — Он опять народ просвещал.

Рода вскочил. Глаза у него засверкали, он яростно взмахнул кулаком, торчащим из распоротого рукава, и, кривя разбитую губу, зашелся в крике:

— Подонки! Жалкие рабы! Подлая темная чернь! Скоты!

— Ты прав, — спокойно согласился Матарет. — Но это тебе давно уже следовало бы знать.

Рода бросил на Матарета бешеный взгляд искоса.

— Да! А тебе безразлично! Ты и впрямь ни во что не веришь! Тебе лишь бы на столе посиживать, головой качать да посмеиваться! Тебе дела нет, что попы народ морочат! Тебе дела нет, что этот их Победоносец хваленый мордует людей в своих низменных целях, что неповторимый шанс на спасение может быть безвозвратно и попусту утерян! Тебе дела нет, что народ живет в преступной и жалкой слепоте, не разумеет собственного добра, знай пялится на Землю и не ищет дорогу в рай, который по праву принадлежит ему здесь, на Луне! Тебе это безразлично, а мне нет, я стремлюсь...

— Собрать все колотушки на Луне, — закончил за него Матарет.

— Пусть даже и так! Но зато я глубоко убежден, что...

Снова поднялся такой шум, что в нем потонули речи Премудрого. Одни кричали, что во всем виноват первосвященник Элем и его шпики. Именно они подстрекают чернь к враждебным действиям против апостолов истины, и поэтому в первую очередь надо вести борьбу против клики первосвященника. Другие, более рассудительные, возражали, что меряться силами с властью невозможно, по крайней мере в данный момент, до поры до времени.

— Народ относится к нам враждебно, — урезонивали они крикунов. — Нам его не переубедить и на свою сторону не привлечь. Все усилия в этом направлении ни к чему не приводят. Нам следует действовать самостоятельно.

Через некоторое время на том и сошлись, но никто не

представлял себе отчетливо, в чем должны состоять эти «самостоятельные действия».

Матарет высказался и против этого, поскольку народ, как видно, лишь на то и существует, чтобы пребывать в невежестве и горестях, но ответом был крик и угрозы немедленно побить камнями. Однако под рукой не оказалось предметов, пригодных для мгновенного осуществления сего привычного акта так называемого правосудия.

Наконец слово взял Рода Премудрый. Стало чуть тише, а он начал издали, с повторения в сотый раз того, о чем собравшиеся и так знали и во что непоколебимо верили. Он говорил о необитаемости Земли, об извечных правах людей на Луну, о поповских сказках и о несомненном рае, который находится на противоположной, якобы мертвой стороне Луны.

Роду слушали с должным уважением, но не слишком внимательно, поскольку любой из присутствующих все это уже знал наизусть. Оживление наступило, когда он перешел к перечислению гонений со стороны властей и общественности, которым подвергаются члены Братства Истины, благоволящие наличествовать здесь в полном составе. Их повсюду высмеивают, к ним применяют методы физической расправы, они вынуждены собираться тайно, а их публичные выступления с целью насаждения истины кончаются ничем, если не считать побоев, синяков и шишек. При этих словах слушатели оживленно закивали головами, поскольку почти все из них в свое время чувствительнейшим образом убедились на себе в истинности слов вождя.

— Однако не следует опускать руки, — толковал Рода. — В настоящее время на этой стороне Луны находится пришелец из таинственных пределов Великой пустыни, и нам следует воспользоваться этим редчайшим случаем, чтобы отыскать дорогу в отобранный у нас счастливый отчий край. Мы приняли все меры к тому, чтобы пробудить народ и открыть ему глаза на подлинные цели мнимого Победоносца. Если бы это нам удалось, дальнейшее не представляло бы трудностей. По возвращении из страны шернов, где ценою крови наших сородичей этот обманщик добивается якобы великих побед, его задержали бы и тем или иным способом принудили бы открыть свою тайну. Однако нам известно, что усилия напрасны, они разбиваются о неодолимую человеческую глупость, которая куда податливей на старую, наивную и нелепую сказку о земном происхождении людей, чем на самоочевидную и плодотворную истину.

Рода примолк, а ученики и соратники столпились вокруг, настаивая, чтобы он наконец поделился заветной мыслью, как давно уже обещал. Даже Матарет перестал улыбаться и всем телом подался в сторону оратора, чтобы лучше расслышать его слова.

Рода распростер руки, положил их на плечи двух сотоварищей, оказавшихся ближе прочих. Его лицо со следами побоев озарилось нехорошей усмешкой.

— Следует захватить машину в Полярной стране, — сказал он.

— Машину Победоносца? — спросил общий хор.

— Так точно. Победоносец пусть себе бьет шернов и дурит народ, как ему заблагорассудится, но без нашего разрешения ему отсюда будет не выбраться.

Матарет криво усмехнулся и махнул рукой:

— Ерунда! У нас не хватит сил удержать машину, если он натравит на нас свою орду.

Рода засмеялся, понизил голос и заговорил быстрым шепотом. Он подробно и пространно изложил свой план. По мере того, как говорил, даже самые недоверчивые начинали кивать и радостно поддакивать. А когда он закончил, раздался единодушный вопль одобрения.

Молодежь вскочила, словно готовая бегом бежать в Полярную страну, убежденная в успехе предприятия. Тут и там началось обсуждение планов захвата и раздела таинственных стран «той стороны». Воображению фанатиков вся безвоздушная пустыня ни с того ни с сего явилась неслышанным волшебным раем, сплошным лабиринтом чудеснейших пещер, заполненных хрустальными городами, цветущими лугами, искусственными солнцами и невообразимыми сокровищами. Говорили о светлых ночах, когда из бездн глубоких ущелий над головами видна лучезарная Земля, и о блаженных днях, зной которых умеряется сладостной прохладной тенью каменных сводов.

Кто-то снял со стены карту, перерисованную с принадлежавшей Старому Человеку, и бросил на стол. Над ней склонилось десятка полтора голов. Стали водить пальцами по обширным равнинам, над которыми по ночам светит Земля, указывали борозды, ущелья, горы, даже ссору завели по поводу расположения крупнейших городов и средств сообщения между ними.

Матарет, вынужденный слезть со стола, с недовольным видом устроился в углу на стопке пыльных книг. Рода подошел к нему.

— И как тебе мой план? — как бы мимоходом спросил

Рода, старательно скрывая в голосе заинтересованность во мнении чудака.

Матарет вопреки собственному обычаю перестал улыбаться. Поднял брови и слегка пожал плечами.

— Но машину наверняка стерегут, — сказал он.

— Там народу раз-два и обчелся. Разгоним.

— Так-так...

Матарет положил ладони на колени и некоторое время молчал, погруженный в мысли. Наконец вскинул голову:

— И когда же мы отправимся в Полярную страну?

— Ты хочешь участвовать?

— Естественно. Интересно поглядеть, что из этого выйдет.

— Я предпочел бы оставить тебя здесь во главе Братства. Ведь в полном составе мы отправиться не можем. Это возбудило бы подозрения.

— Я не останусь, — решительно сказал Матарет и повторил: — Так когда отправляемся?

Рода бросил взгляд на громоздкие календарные часы в противоположном углу.

— Сейчас около полудня. Я думаю, отложим до завтра. В нашем распоряжении окажется весь день целиком.

— А если, как на грех, Победоносец нынче ночью вернется?

— Не думаю. Впрочем, оно бы даже к лучшему. Такая суматоха поднимется, что нашего отсутствия никто не заметит.

Матарет покачал головой:

— Это как сказать. Не исключено, что наш Победоносец явится, улепetyвая от наседающих шернов. Тогда ему самому срочно понадобится в Полярную страну, чтобы побыстрее удрать.

— Полагаешь, шерны и впрямь одолеют? — тревожно спросил Рода.

— Над этим не задумывался, а отправляться надо непременно нынче.

— В конце концов, что нам мешает?

Рода помолчал-помолчал и громко рассмеялся:

— Это будет бесподобно! Только он соберется улизнуть, ан глядь — с места не двинуться, машина разобрана, кое-каких частей нигде нет, они спрятаны. Замечательно! Он вынужден будет пойти на переговоры, а диктовать условия будем мы!

Погруженный в мысли Матарет словно не слышал слов Премудрого. Внезапно заговорил сам:

— Ты абсолютно уверен, что он прибыл не с Земли?

Рода возмутился:

— А ты все еще сомневаешься? В таком случае скатертью дорога: иди обнимайся с чернью, которая таращится на Землю! Зачем тебе Братство Истины?

— Затем, что хочу знать истину во что бы то ни стало, — коротко ответил Матарет и встал, показывая, что разговор окончен.

Тем временем у стола над картой разгорелся диспут. Спор зашел о смысле линии, проведенной точно так же, как это было сделано на карте Старого Человека, причем сделано явно после изготовления карты. Ломаная линия, нанесенная красным цветом, начиналась от крестика в месте, которое носило непонятное название «S-i-n-u-s A-e-s-t-i-u-m», слегка извиваясь, проходила через какое-то «M-a-g-e I-m-b-r-i-u-m» до горы «P-l-a-t-o-n», потом резко поворачивала на восток и снова вела на север меж гор к самому полюсу.

Члены Братства Истины давно уже ломали голову над тем, что означает эта змейка длиной в четверть окружности лунного шара. Некоторые полагали, что это обозначение пути, пройденного Старым Человеком, но Рода Премудрый не соглашался с этой гипотезой. Более того, он считал ее глубочайшим заблуждением.

— С какой стати было Старому Человеку предпринимать такое долгое и опасное странствие по мертвой поверхности Луны, — ораторствовал он, — когда под поверхностью существуют комфортабельные средства сообщения между населенными пунктами?

И красная линия по-прежнему оставалась волнующей загадкой, поводом для частых и безрезультатных споров между ревностными искателями истины.

Один из них, тот самый юнец со взлохмаченной гривой, что держал речь перед приходом Роды, выдвинул новую теорию. А именно, что это «линия угрозы», как он выразился. Не путь, пройденный Старым Человеком, а просто удобный и доступный маршрут по лунной поверхности к логовам жителей Великой пустыни, который подлежит особой охране в вечном опасении, что им воспользуются «обездоленные».

Сперва он высказал эту мысль предположительно, но по мере того, как посыпались возражения, начал огрызаться и упрямиться, а кончил тем, что счел свой домысел непреложной истиной и потребовал, чтобы Братство положило эту истину в основу практических действий как возможность

без помощи Победоносца добраться до таинственных поселений в недрах Великой пустыни.

Разрешить спор призвали Роду.

Матарет, остановясь у двери, некоторое время наблюдал, как Премудрый с чувством собственного достоинства излагает свой взгляд на проблему, водя пальцем по разложенной карте. В какой-то момент даже потянуло подойти и послушать, но Матарет совладал с собой, усмехнулся и решительно отворил дверь.

Пройдя по длинному, узкому и темному коридору, Матарет выбрался на улицу. Это был самый бедный городской квартал, гнездо рабочего люда и мелких ремесленников, угодивших чуть ли не в рабство к торговцам и фабрикантам, что проживали в красивых домах на центральных улицах, по соседству с собором и дворцом первосвященника. По обе стороны узкой улочки, вкривь и вкось спускающейся к морскому берегу, тянулись неказистые глинобитные мазанки. Рядом с крылечками кучами валялся мусор, гниущий под лучами полуденного солнца, сквозь проломы в заборах торчали привядшие стебли разгулявшейся сорной травы. Тут и там, отыскав клочок тени, отлеживались изнывающие от зноя собаки.

Матарет юркнул в закоулок и осмотрелся, нет ли слежки. Ведь кое-кто догадывался, что он причастен к Братству Истины, особо ненавистному как раз в этом квартале, где у Победоносца были самые ярые сторонники и последователи. Люди, живущие тяжким трудом и обремененные заботами, видели в светлом пришельце с Земли надежду на лучшее будущее и с нетерпением ждали, когда он вернется с победой из-за моря и возьмется заводить на Луне новые порядки.

Но никто не маячил за окнами, никто не выругался сквозь зубы, проходя мимо «пустынника», как презрительно называли здесь членов Братства. Квартал, который обычно даже в самое полуденное пекло кишел народом, выгнанным бедностью из дому на поиски заработка, казался вымершим. Только на площади, откуда в центр города вела мощеная дорога, Матарету попалась кучка рабочих. Они стояли в тени какой-то запертой лавчонки, оживленно разговаривали и с явной тревогой поглядывали в сторону моря.

Судя по отрывочным словам, которые удалось расслышать, произошло что-то важное, связанное с походом Победоносца на юг. И Матарет ускорил шаг, свернув к центру, где надеялся узнать что-нибудь более определенное...

Площадь перед собором была полна. Толковали о прибы-

тии гонцов, которые ночью из-за встречного ветра отклонились от курса и под утро достигли побережья далеко к востоку за Отеймором, так что потратили полдня на то, чтобы пешком добраться до города. Матарет жадно прислушивался к носящимся в воздухе речам. По беспорядочным отрывкам чужих разговоров цельной картины было не составить, но складывалось впечатление, что на этот раз гонцы доставили не такие уж бодрые вести. Народ был встревожен. Вместо радостных возгласов доносилось раздраженное ворчанье, озабоченные лица обращались к морю, словно в страхе перед грозящим оттуда вражеским нашествием.

Матарет уже было отчаялся узнать что-нибудь определенное, как вдруг неожиданно заметил в толпе на паперти Ерета. Изумился, поскольку не ожидал, чтобы того, правую руку Победоносца, использовали в качестве гонца. Но раз уж использовали, значит, произошло что-то из ряда вон выходящее, достойное быть вознесенным устами молодого воителя.

Матарет был знаком с Еретом давно и коротко. Они ходили в закадычных друзьях, пока не разошлись во взглядах на Победоносца. Но в расчете на прежнюю дружбу Матарет протиснулся к паперти и потеребил Ерета за рукав, подавая знаки, что хочет поговорить с ним наедине. Воин узнал Матарета и приветственно кивнул.

— А, Матарет! Погоди минутку. Слушай, приходи часика через два в собор, — сказал Ерет, явно занятый беседой с окружающими. Последние слова он произнес, поднимаясь на возвышение для первосвященника возле паперти.

Завидев Ерета, народ всколыхнулся. Раздались громкие нарекания. А кое-кто уже вслух кошунствовал в адрес Победоносца.

Ерет набрал полную грудь воздуха и заговорил:

— Стыд берет смотреть на вас и слушать ваши бабские речи! Победа будет за нами, но требуется поднапрячься и помочь нам. Я прибыл не жалобы слушать, а собрать отряд на пополнение тем, кто сражается. Оружие в запасе есть. Пусть молодежь записывается, а как солнце сядет, мы снова отправимся на юг по льду.

Так говорил Ерет, бросая в толпу короткие, твердокаменные фразы. Матарет отошел чуть в сторонку. Увидел в дверях собора Ихазель. Она стояла, прислонившись к косяку, глаза у нее были как со сна, казалось, смотрят, а не видят. Лицо бледное, осунувшееся, белые руки скрещены на груди поверх дорогих ожерелий, надетых на шею.

Матарет принадлежал к одному из самых знатных и богатых семейств в городе и некогда находился в близком знакомстве с домом первосвященника Крохабены. Увидев его внуку, подошел поближе и поклонился.

— Как дела, златовласка? — улыбнулся он Ихазели.

Та окинула его отсутствующим взглядом, ничего не ответила, отвернулась и ушла в собор. Матарет пожал плечами и сел у порога, дожидаясь, когда освободится Ерет. А того уже не было на возвышении. Закончив речь, Ерет спустился в толпу. Сверху было видно, как он беседует со стариками, оживленно отвечая на какие-то вопросы. Потом к нему подошел Севин. Клеврет первосвященника что-то долго объяснял Ерету с лукавой усмешечкой на губах и несколько раз указал рукой на сбившихся в сторонке рыбаков, которые пришли в город, сопровождая Хому, а когда тот был схвачен, так и застряли здесь.

Было видно, как Ерет сделал шаг назад и замахнулся на Элемова холопа, но Матарету уже наскучили эти наблюдения, он вскинул голову и загляделся на лазурное небо, нынче для полдня не в меру погожее.

Солнце явно миновало зенит, поливая жаром фасад собора. Полдневная гроза что-то запаздывала. Матарет прикрыл глаза. От зноя клонило в сон...

Мерещились какие-то необыкновенные входы в хрустальные пещеры по ту сторону Луны, как вдруг от полудремы пробудило легкое прикосновение к плечу. Перед ним стоял Ерет.

— Ты хотел поговорить со мной?

— Притомился ты, как я погляжу, — ответил Матарет, таращась со сна на дочерна загорелое, похудевшее лицо бывшего друга.

— Эко дело! Отдохну.

Они вошли в собор и присели в одном из сумрачных боковых притворов. Ерет скрестил ладони на камне и припал к ним лбом.

— И впрямь, чуток устал, — пробормотал он, не поднимая головы.

Матарет молча смотрел на него и нервно помаргивал. Чудилось, что по загорелой морщинистой щеке, видимой сбоку, можно прочесть всю летопись похода: повествование о трудах, о напряжении, о битвах, сомнениях и надеждах.

— Почему отправили именно тебя? — спросил наконец Матарет напрямик.

Ерет вздрогнул и в упор глянул на бывшего друга.

Когда составилось Братство Истины, Ерета уже не было в городе, он понятия не имел, что такое существует, но не забыл, что Матарет, вечный скептик, весьма недоверчиво отнесся к появлению Победоносца. Собственно, из-за этого охладели их отношения, когда-то очень близкие. И тем не менее Ерет испытывал что-то похожее на робость, в некотором роде почтительность по отношению к человеку со странностями, который только и знал, что с усмешкой все подвергал сомнению и бесстрастной мыслью умел охватить события так, словно парил над ними, а не варился в их кипении, как остальные. Он, Ерет, умел только действовать, взрываться, радоваться или угрюмо замыкаться в себе.

Поэтому сейчас, спрошенный напрямик, он заколебался, но превозмогло желание высказать наболевшее перед тем, по отношению к кому не надо было корчить из себя вождя, посла или наставника.

— Нужда была, — тихо сказал он, открывая большее не столько речью, сколько нахмуренными бровями.

— Плохи дела? — спросил Матарет, внимательно глядя на Ерета.

Тот пожал плечами:

— Нет... Нельзя сказать, что плохи... Но...

Он замолк на полуслове, словно подыскивая подходящее выражение. Матарет некоторое время молчал, а потом встал и сказал:

— Если не хочешь говорить, давай, я лучше уйду. У меня нет никакого желания заставлять тебя говорить неправду.

Ерет взволнованно придержал Матарета за руку:

— Не уходи. Все правильно. Я сказал бы, да вот... — Он встряхнулся. — Понимаешь, сам не знаю, как точнее выразиться. Дела у нас не плохи, хотя тяжеленько приходится... Мы сделали все, что в человеческих силах...

Он поднял голову и в упор глянул Матарету в глаза.

— Все, что в человеческих силах, — отдельно повторил он. — Но сверх того — ничего.

И залился румянцем, словно нехотя с губ сорвалось слишком многозначное слово. Матарет не улыбался. Его глаза навывкате, обычно насмешливые, смотрели куда-то вдаль с грустным выражением, иначе не скажешь. Он вытянул руку и положил поверх скрещенных ладоней воителя:

— Говори.

И Ерет заговорил. Поведал долгую кровавую историю

похода так, словно сам мысленно распутывал ее. Говорил о битвах на равнине, о взятых и разрушенных городах, о сотнях и тысячах шернов, перебитых без пощады, расстрелянных огненным боем, утопленных в реках и море и брошенных в бушующий огонь. Говорил обо всем об этом без душевного волнения, как работник, который вечером мысленно подводит итог трудам прошедшего дня.

А потом пошел рассказ о походе в неприступные горы и восхождении на гребень гигантского скального кольца. О неимоверных трудностях подъема, об удивительном городе шернов в котловине и о Земле, которая явилась глазам воинов, неожиданно оказавшись видимой там.

— Мы приняли это за доброе знамение, за подтверждение тому, что нас ведет Победоносец. Но с той самой минуты, как мы увидели с перевала Землю, началось самое тяжелое, началось бесплодное топтание на месте. Я думал, мы обрушимся, как вихрь, и сметем этот город в кольце гор. Чуть было не пожалел, что погибнет такая красотища, но тут Победоносец заколебался. Как человек он поступил разумно. Поступил так, как каждый из нас поступил бы в этом случае.

Ерет рассказал, как Победоносец, подсчитав свои ряды, не осмелился повести в котловину всех, чтобы в случае неудачи не отрезать себе пути к отступлению.

— Части войска, — объяснил Ерет, — было приказано вернуться и охранять дорогу на перевал, если это можно назвать дорогой, но иначе как затем, чтобы шерны из других городов не проскользнули нам вслед. Командиром назначили меня. Остальные под командой Победоносца сошли по склону примерно до половины спуска и построили там укрепленный лагерь. Вниз на равнину выходят только небольшие отряды. Долбанут по шернам, и тут же назад. Иногда с потерями. Мы перестали побеждать, теперь мы воюем.

— И так оно тянется без перемен? — спросил Матарет, помолчав.

Ерет кивнул:

— Без перемен. С таким малым войском на большее мы не способны, это точно. Шерны видят наше бессилие и нагледят. Это они теперь нам покоя не дают. Часа не было, чтобы мой отряд не был в деле. Казалось, вся страна пуста, а они откуда ни возьмись явились полчищами и прут на нас. Кишмя кишат, скалы от них черны, как от хищных птиц. Отстреливаемся непрерывно, но патроны приходится

беречь: боимся, что израсходуем. Если израсходуем, нам конец.

— И что дальше будет? — спросил Матарет.

— Не знаю. Вчера с утра Победоносец сам пришел ко мне через перевал, у нас был долгий разговор. Он слова не сказал насчет отступления, но вид у него был озабоченный, эта мысль в нем явно засела. Он приказал мне ехать сюда за подкреплением, оружием и боеприпасами. Буера мы оставили на берегу под охраной, народу там горсточка. Дотуда добирались вдвоем с одним другом. Пришлось, как змеям, красться, а назад идти с подкреплением будет еще труднее, потому что шерны теперь хотят любой ценой уничтожить Победоносца и нас вместе с ним.

Настала тишина. Оба блуждали мыслями далеко от места, где находились.

— Так. Надо их уведомить, — через какое-то время внезапно произнес Матарет.

— Кого?

Матарет не ответил. На губах у него появилась привычная усмешка, он протянул Ерету руку.

— Мне дела нет до Победоносца. Суть не в том. Впрочем, и до народа тоже. Сам не знаю, чего хочу. Собирай подкрепление, держитесь, куда можете. У меня своя дорога.

Он повернулся к выходу и негромко вскрикнул. У резного наугольника в сумраке стояла Ихазель. Увидев, что ее заметили, шагнула вперед. Миновала Матарета, подошла прямо к Ерету.

— Ерет! — вскрикнула, руки к нему протянула с мольбой. — Ерет! Возьми меня с собой!

— Ты все слышала?

Она утвердительно кивнула.

Ерет насупил брови, руки у него тревожно дернулись. Он бросил взгляд на Матарета, словно тот своим присутствием мешает разговору.

— Возьми меня с собой! — повторила Ихазель. — Я хочу к Победоносцу!

Глаза у нее вспыхнули, отблеск надежды явился на бледных ланитах, сожженных внутренней горячкой.

Ерет отвернулся:

— Поручили тебе шерна стеречь, вот и стереги. Хватит с тебя одного, закованного.

Ихазель ахнула.

— Ерет! — позвала она.

Но тот, не оглядываясь, уже вышел из собора.

Повесив голову, Ихазель некоторое время не двигалась с

места. В голове кружился бешеный вихрь мыслей. В груди звучал словно бы радостный гимн: вдруг Победоносец — такой же человек, как и она! И в то же время ныла тупая боль, словно душу опустошили неведомо зачем.

Она затравленно огляделась по сторонам. От внутренней опустошенности еще сильнее подавляла пустота места, где стояла, пустота огромного, покинутого людьми собора. Ихазель безотчетно припала к основанию одной из колонн в промежутке между двумя каменными кадильницами.

Кадильницы были пусты и холодны. Давным-давно никто не бросал благовонной смолы в медные чаши, где среди пепла чернели угольки, когда-то священные. А по стволу колонны тянулся темный след от дыма, который в былые времена круглыми сутками возносился отсюда к потолку.

Удивленными, широко открытыми от испуга глазами обвела эту пустоту Ихазель, словно нынче впервые заприметила и обратила внимание.

— Как же это было? — сама себя не слыша, зашептала она. — Как же это было? Как же это было?

Вспомнились детские сны, явился светлый образ пришельца с Земли.

— Где он сейчас?

В ушах зазвучали слышанные недавно ехидные речи:

«Всю равнину вдоль и поперек разорил ваш победоносец, и вот подступил он к высоким горам, остановился и не знает, что делать».

А потом:

«Весь род людской будет нашими слугами. Кроме той, которая пожелает стать госпожой и по доброй воле последует за шерном...»

— Нет! Нет! Нет! — мятежно и отчаянно заголосило в ней что-то.

Воздела Ихазель белы руки из опавших темно-лиловых рукавов.

— Ерет! — запричитала в голос, хотя вокруг давно никого не было. — Смилуйся, Ерет! Возьми меня с собой! Я к Победоносцу хочу! Не оставляй меня здесь, меня шерн морочит! Глаза у него не закованы! Хочу к Победоносцу! Хочу видеть, хочу знать, что он сильнее, что он...

Она упала на колени, потом лицом на пол, так что звякнули о камень дорогие ожерелья на шею.

Солнце, засеребренное в туманной дымке, еще светило в собор, но уже слышался гром накатывающейся грозы, грохотал, могучий и страшный. Ихазель лежала, не шевелясь.

«Вот лопнул свод надо мной, — трепетала мысль, — вот колонны валятся, вот швы разверзаются каменные... И да свершится! Да свершится! Пусть рухнет весь мир и меня под обломками похоронит!»

Новый раскат грома сотряс стены, свет проглоченного тучами солнца внезапно угас. Ихазель тихо плакала...

Тем временем Матарет, распрощавшись на паперти с Еретом, которого позвали к первосвященнику, задумчиво брел куда глаза глядят. На углу какой-то улицы чуть не налетел на Роду. Глаза у Премудрого сияли, побитое лицо светилось радостью. Завидя товарища, Рода остановился и во весь голос воскликнул:

— Матарет, ты знаешь?

Но тот вместо ответа шагнул вперед и крепко взял Роду за локоть.

— Собирай тех, кто с нами едет, — сказал Матарет. — Мы выступаем сию же минуту!

— Ты спятил! — ахнул Рода. — Ты глянь!

И указал рукой на небо, откуда на опустевшие улицы прыгнул ветер, нацелившийся сорвать одежду с двух людшек, единственных, кто не спрятался еще от грозы.

— Мы выступаем сию же минуту! — повторил Матарет.

Решительный, почти властный тон, которого от него никто никогда не слышал, как громом поразил Роду. Он окинул сотоварища изумленным взглядом, не зная, как поступить. А Матарет, заметив эту растерянность, усмехнулся:

— Премудрый, ты велик, я почитал тебя и буду почитать до конца дней, но поверь: мы не можем терять ни минуты. Знаю, что говорю...

Лило как из ведра, небо словно растворилось в воде, когда одиннадцать завернувшихся в плащи людей, крадучись, выскользнули из городских ворот с небольшой упряжкой собак, держа путь по древней дороге в Полярную страну.

Глава VII

— А если я не разрешу тебе собирать подкрепление?

Ерет медленно вскинул голову и глянул первосвященнику в лицо.

— Тогда мне придется собрать его без разрешения, Ваше Высочество, — спокойно, но твердо ответил он.

Элем засмеялся.

— Ты мне нравишься, парень, — сказал он. — Это я так, ради интереса. Подкрепление отправится нынче в ночь.

— Знаю.

— Победоносцу такие, как ты, нужны как воздух. Что бы он без вас делал?

— Разрешите удалиться, Ваше Высочество.

— Постой. Расскажи еще что-нибудь. Тебя слушать — одно удовольствие.

— Я рассказал вам все, Ваше Высочество.

Первосвященник подошел поближе и уставился на Ерета пронзительным взглядом неподвижных черных глаз.

— Значит, бьетесь и побеждаете, — нарочито медленно сказал он.

— Да.

— И все благодаря Победоносцу?

Ерет молчаливым кивком подтвердил.

— Так что, не будь с вами Победоносца, — гнул свое Элем, не сводя с Ерета глаз, — из похода ничего не вышло бы?

— Точно так. Без Победоносца мы шагу не ступили бы.

— Даже если бы имели огненный бой?

Ерет невольно тряхнул головой и посмотрел на первосвященника. Сразу не ответил. Закралась мысль, что, может быть, в этом случае...

— Огненный бой у нас от Победоносца, — громко и с некоторой поспешностью сказал он.

— Да, вот и заимели огненный бой... От Победоносца, — медлительно повторил Элем как бы в рассеянности.

— Ваше Высочество... — Ерет снова глянул на дверь.

— Внуку Крохабены видел? Как она? — спросил первосвященник, внезапно сменив тему и тон.

Ерет помрачнел. Насупился и промолчал. А Элем продолжал с дружеской улыбкой:

— Я тут подумал и решил прежний дворец совсем за ней оставить. Не Победоносца ради, какое ему до этого дело? А в память о ее знатном роде. Ей до сих пор Победоносец — один свет в окошке? Даже сейчас, когда его здесь нет?

Вопрос был задан прямой, как удар. Ерет неохотно пожал плечами:

— Я ее об этом не спрашивал. Мое дело — война с шернами. Все прочее не моя забота.

— Истинно, — сказал Элем и сделал шаг назад. — Истинно говорю, тут тебя считают величайшим героем из всех, что бывали на Луне. Прошлые гонцы рассказывали,

что за строем следишь именно ты, и выходит, что победы, мол, тоже твои.

— Ваше Высочество! — порывисто воскликнул Ерет. — Позвольте удалиться!

— Ступай, — с улыбкой сказал Элем. — И поклонись Победоносцу в ножки от меня, его слуги и такого же верного пса, как и ты...

Молодежь на этот раз шла в добровольцы без восторга, а честнее сказать, неохотно, и Ерету с величайшим трудом удалось набрать триста человек, знакомых с огненным боем, которые согласились пополнить собой поредевшее войско Победоносца. То были по большей части люди победнее, рабочие и ремесленники, живущие трудным хлебом, в среде которых благословенное имя Победоносца гремело по-прежнему. А в деревнях и дальних поселках вербовщикам Ерета отвечали уклончиво, толковали о схваченном старце Хоме, на которого, говорят, снизошло откровение. Кто побогаче и всегда на стороне власти, какова бы она ни была, хоть и посмеивались над Хомой, однако повторяли речи, которые Ерет слышал от Севина, а именно, что Победоносец, если он вправду Победоносец, должен обходиться без подмоги и разить шернов своею собственной рукой.

Братство Истины тоже поработало знатно. Хоть и немного народу в нем состояло, но большей частью это была та самая горячая молодежь, которой так не доставало Победоносцу...

Добровольцев к снаряженным буерам вечером провожала довольно густая толпа, но звучали в ней не столько подбадривающие возгласы, сколько всхлипы и прощальные речи. Совсем не так, как в тот раз, когда буера на юг вел сам Победоносец.

С верхней террасы собора вслед отбывшим глядела Ихазель. Кутаясь в белую пушистую меховушку, задумчиво смотрела, как тают вдали огни буеров, и, хотя они давно уже скрылись с глаз, долго еще провожала их взглядом. Потом спустилась в собор и медленным, сонным шагом направилась ко входу в подземелье, где был заперт шерн Авий...

А тем временем на севере Рода, Матарет и девять их спутников разбивали в чистом поле лагерь на ночлег.

Премудрый по мере приближения к цели строил все более фантастические планы. Подробно рассказывал, как именно собирается захватить машину и каким образом приведет ее в негодность. А потом перечислял условия, на которых будет готов договориться с появившимся Победо-

носцем. Прежде всего потребует, чтобы тот указал дорогу в таинственную страну на той стороне.

Было время, он требовал у пришельца, чтобы тот открыл тайну всему народу. Теперь, подумав, пришел к убеждению, что лучше будет, если тайну будут знать только члены Братства Истины, с тем чтобы посвящать в нее избранных с учетом обстоятельств. И даже не все члены. Ведь среди них разные люди попадают. Пока довольно будет и одиннадцати присутствующих. Но если Победоносец упрется, то пусть откроет ее только Роде и Матарету, пусть даже одному Роде. Вот уж от этого он, Роде, не отступится. Он, Роде, должен знать истину от начала и до конца. Впрочем, он и так ее знает, но не во всех подробностях. И вообще, как только Победоносец вернется из-за моря...

— А если он не вернется? — перебил Матарет.

— То есть как это?

— Если он погибнет в стране шернов вместе со всеми своими людьми?

— Это была бы катастрофа! — озабоченно воскликнул Роде. — Самая настоящая катастрофа! У нас не осталось бы способа узнать дорогу...

— И все? — спросил Матарет.

— Не понял.

— Что ж тут не понять? Что случится с нами, если шерны возьмут верх? Ты об этом думал?

— С какой стати?

— Тоже верно. А мне вот думается, не следует ли вперед поддержать Победоносца, а уж потом ставить ему условия.

— С каких это пор тебе приходят в голову такие мысли?

— С недавних. Но суть не в том.

Роде задумался.

— Но ведь ты говорил, что Ерету приказано набрать подкрепление, — сказал он, помолчав.

— Вот именно. Оставим этот разговор.

Роде еще несколько раз упорно возвращался к этой теме, но Матарет не отзывался. Посмеивался по своему обычаю и поглядывал рыбьими, навывкате, глазами на горы, чернеющие вдали на фоне закатной зари, куда лежал их завтрашний путь.

Ночь провели спокойно на стоянке, прервав поход не столько из-за холодов, к которым были привычны, как все лунные люди, сколько из-за слишком обильного снегового покрова, выпавшего в окрестностях. Толстый, пушистый

ковер затруднял движение и ориентировку в непроницаемой темноте «лунной» ночи.

А на завтра вечер для них не наступил, потому что прежде чем солнце оказалось в той стороне, где обычно заходит, они уже пробирались извилистым ущельем в долину вечного утра на северном полюсе Луны.

У выхода из ущелья на открытую местность устроили военный совет. У всех было оружие, огненный бой, секрет которого открыл людям на Луне Победоносец, и все были готовы сражаться. Ни на миг не сомневались, что биться придется насмерть. Численность охраны при машине была неизвестна, но уж всяко там должно быть народу поболее, чем одиннадцать душ. И всех до одного надобно либо разоружить, либо взять в плен, либо перебить в бою.

Правда, Рода Премудрый некоторое время носился с мыслью выступить перед солдатами с пламенной речью. Он не сомневался в том, что убедит их в правоте позиции Братства Истины и склонит на свою сторону, но Матарет решительно воспротивился.

— Это ни к чему не приведет, — заявил он. — Тебя высмеют, а потом отлупят. А на сей счет у тебя такой богатый опыт, что ради упражнения в красноречии еще раз пробовать не стоит.

Рода стоял на своем, но потом отступился, не иначе как сам не до конца уверенный в результатах своей проповеди.

— Но только потому, что не знаю, достаточно ли развиты солдаты охраны, чтобы понять мои слова. А в противном случае я бы...

В конце концов было решено применить силу. Подойти как можно ближе под видом своих и попытаться обезоружить, а если это не удастся, то по сигналу Матарета перебить. Рода в принципе подобных крайностей не одобрял, но признал, что в сложившейся ситуации иного выхода нет. И опять же, цели Братства столь возвышенны, что ради их достижения дозволительно пойти на некоторое кровопролитие.

Прежде всего надо было отыскать саму машину.

По рассказам свидетелей было известно, что она упала поблизости от прежнего стойбища Братьев в Ожидании, которое находилось у подножия холмов, отделяющих полярную низину от Великой пустыни. Чтобы попасть в те места, им, прибывшим с противоположной стороны, предстояло пересечь широкое открытое пространство, рискуя прежде

времени насторожить караул. Этого следовало избежать, и решено было пойти в обход вдоль цепочки холмов, где неровности на местности представляют собой отличное укрытие для небольшой группы.

Обход оказался труден. Продвигались медленно между замшелыми глыбами по скользким, влажным косогорам, никогда не видевшим солнечного света. От каждой расщелины веяло холодом, усталые путники порядком продрогли. А на открытом ровном пространстве, не располагая биноклем, нельзя было высмотреть ничего похожего на местность, где могла находиться желанная цель.

Несколько десятков часов ушло на изнурительное блуждание по бездорожью, по камням, через заросли непомерно разросшихся хвошей, мясистые стебли которых хрустели под ногами, и только после того, как большая часть полуокружности низины осталась позади, глазам явились пологие лысые холмы, где некогда располагался могильник Братьев в Ожидании.

На вершинах, видимые снизу, чернели огромные глыбы, в свое время служившие опорой сидячим трупам. По совету Матарета от дальнейшего маршрута косогорами отказались и решились на рывок по верхам, положившись на то, что среди древних могильных камней малочисленную группу трудно будет заметить со стороны.

Наверху их ослепило багровое солнце, ползущее над Великой пустыней в сторону Земли, узким серпом висящей над самым горизонтом.

Кроме Роды и Матарета, только один из участников похода прежде видел Землю, когда его еще ребенком родители взяли с собой в Полярную страну, совершая паломничество к Братьям в Ожидании. И теперь вся группа замерла в молчаливом восхищении, глядя на острый серебристый серп, врезающийся в небо, в той стороне почти черное.

Какая-то внезапная робость, а точнее сказать, дрожь страха, охватила людей. День за днем, отрицая все «небылицы» насчет Земли, они постепенно и бессознательно начали считать небылицей и ее самое и теперь, неожиданно увидев ее на небосводе, огромную, светящуюся, ощутили невольный изумленный трепет. А тот, кто видел ее ребенком, безотчетно поднял ко лбу правую руку, чтобы осенить себя знаменiem Пришествия.

Но вовремя опомнился и пристыженно огляделся по сторонам, не замечен ли его подозрительный жест. Однако на него никто не обратил внимания. Все молча

смотрели на Землю, пока в тишине не прозвучали слова Роды:

— Ну, что ж, вполне естественно, что возникла эта сказка. Даже более того, странно было бы, если бы она не возникла...

Начал Рода неуверенно, будто отговаривался, а то и оправдывался, но, избавленный от могучих чар звуком собственного голоса, продолжил с обычной напористой самоуверенностью:

— Чтобы возвыситься в собственных глазах над собственным ничтожеством, которого не может не ощущать, человек охотно ищет себе более высокое начало, чем окружающая действительность. И я вовсе не удивлюсь, если окажется, что сказка о нашем земном происхождении старше нашего изгнания из рая, обратный путь в который мы сейчас ищем. Вполне возможно, что там, в блаженных городах, скрытых в недрах пустыни, долгими ночами при серебристом свете Земли людям снилось, что они сошли на Луну с этой пустынной и безжизненной звезды, которая так легко завораживает взгляд поистине удивительной красотой.

Он долго еще продолжал в том же духе, а ученики и спутники почтительно слушали, изо всех сил стараясь вымучить в себе безразличие к пленительному зрелищу.

Рода вытянул руку:

— Взгляните на эти глыбы вокруг и подумайте об удивительном человеческом безумии. Инстинкт самосохранения и стремление к единственно мыслимому счастью, к лунному счастью, временами не в силах противостоять мысли, ложной, однако способной заставить человека действовать вопреки естеству. Многие поколения проводили жизнь в этом сыром погребе, молясь безжизненной серебристой звезде, и многие поколения взирали мертвыми глазами, опершись спинами об эти камни, на ее переменчивый диск, дожидаясь вместе с живыми посланника оттуда, так называемого «Победоносца»...

— А может, он и впрямь явился, — погруженный в мысли, вполголоса проговорился Матарет.

Рода расслышал и мгновенно повернулся на голос:

— С Земли?

Воцарилось молчание. Матарет долго медлил с ответом, наконец тряхнул головой и усмехнулся:

— Нет. Что ни говори, а все же это невозможно.

Рода открыл рот, чтобы ответить, но тут раздался вскрик одного из их сотоварищей:

— Машина!

Все вздрогнули. Те, кто присел было, вскочили и бросились к счастливчику, который указывал пальцем в сторону сумрачной низины. Люди сбились в кучку и, напрягая зрение, силились разглядеть желанную цель похода.

И разглядели. Машина стояла у подножия холма на лугу, издали похожая на сверкающий каменный зубец, полускрытый зеленью. Охраны не было видно. Неподалеку просматривалась какая-то развалюха, подобие пастушеской хижины, тоже наполовину скрытая в кустарнике.

В голове не укладывалось, что караул размещается в таком убогом строении.

— Видимо, караульные прячутся в подземном укрытии возле самой машины, стеречь которую их послал Победоносец, — вслух рассудил Рода. — Если их не удастся захватить врасплох, бой предстоит нешуточный.

Посовещались и сразу же начали спуск. Шли цепью врассыпную, каждый, пряча под одеждой заряженное оружие, сам выбирая себе путь, используя складки местности, глыбы и расщелины в качестве укрытия, чтобы до времени не попасться на глаза зорким караульным, несомненно наблюдающим окрестности. Ползли по-пластунски, приостанавливались, затаив дыхание, когда нечаянно задетый камень скатывался вниз, способный привлечь шумом внимание караула.

По плану Роды Премудрого каждому полагалось незаметно подобраться к машине как можно ближе, а потом по сигналу, данному свистком, пойти в атаку. Свисток был у Матарета. Он один не прятался, а шел во весь рост по направлению к хижине, отвлекая на себя внимание часовых.

Прошло около часа. Рода подполз к машине настолько близко, что до цели оставалось меньше сотни шагов. Спрятался в густой траве, выросшей на том месте, где сгорели тела умерших членов монашеской братии, и, дрожа всем телом, стал дожидаться условного сигнала. Угнетало и расстраивало, что противника нигде не видно. Время от времени Рода осторожно приподнимал голову над жирными суставчатыми стеблями, тревожным взглядом оценивая состояние, которое отделяло его от машины. Там никого не было, вокруг было пусто, ни малейших признаков присутствия живой души. Нетоптанная зелень стояла стеной. Кроме развалюхи, по ту сторону машины не было видно ничего похожего на приют для человека.

Наконец Рода увидел Матарета. Тот шел, по колено в траве, по направлению к развалюхе и с удивлением огля-

дывался по сторонам. Было видно, как он приостанавливается, выбирая, куда поставить ногу. Так Матарет дошел до самой хатки и постучал кулаком в закрытую дверь. Отворили не сразу. Кто отворил, Роде из укрытия не было видно, видна была только спина Матарета, который оживленно разговаривал с кем-то находящимся внутри. Через некоторое время Матарет отошел от двери и уселся на камень у стены. А из хатки вышла женщина и принялась что-то объяснять ему, указывая пальцем на машину.

Рода не стерпел. Невзирая на то, что преждевременным появлением можно было испортить весь план, он выскочил из укрытия и побежал к развалюхе. Матарет увидел его, поманил рукой и громко позвал.

— Все идите сюда! — крикнул он. — Опасности нет!

Завидя, как один за другим из зарослей появляются люди, женщина испугалась и хотела было дать стрелача, но Матарет придержал ее за рукав.

— Не бойся, почтеннейшая, — засмеялся он. — Никто тебе вреда не сделает.

Рода был уже в двух шагах от них.

— Что здесь? — крикнул Рода.

Матарет торжественно указал на дрожащую от страха женщину:

— Премудрый, честь имею представить тебе охрану машины Победоносца в полном составе.

Роде засмеяться бы, да куда там! Охватило бешенство при мысли, что его опять «обманули». Притом что радоваться следовало: вместо вооруженной до зубов охраны у них на пути оказалась всего-навсего перепуганная старуха.

— Ты кто такая? — крикнул он ей.

— Неэм, господин.

— Плевать мне, как тебя зовут! Что ты тут делаешь?

— Машину стерегу.

В ответ раздался общий хохот.

— Ты одна? — осведомился Рода, кусая губу от бешенства.

— Да, господин. Остальные ушли.

— Кто? Куда? Почему?

Женщина в страхе упала перед ним на колени:

— Не гневайся, господин. Я тебе все расскажу. Я не виновата.

— Говори!

— Господин! Победоносец смиловался надо мной. Давным-давно, еще в тот день, когда он отсюда к морю пошел.

Я хотела ему послужить, да ему во мне нужды не было. Пришла на Теплые Пруды и вдруг слышу — сюда охрану отправляют машину стеречь. Я и попросилась, мол, возьмите с собой, я вам еду варить буду, одежду залатаю в случае чего. Думала, хоть так, а пригожусь Победоносцу-то.

— Ты дело говори! Где стража?

— Ушла, господин. Сначала их тут два десятка было, но место больно скучное, одни монахи терпели. А стражники — парни молодые, им невтерпех, домой охота. Сговаривались, кто вдвоем, кто втроем, мы, мол, мигом обернемся, а вы пока постерегите без нас. Да так никто и не вернулся. Под конец осталась я да двое младшеньких. Им тож надоело. Ушли нынче в полдень. Мне наказали: стеречь, мол, бабка. Вот я и стерегу.

— Восхитительно, а? — рассмеялся Матарет. — Почтенная дама — единственный воин на страже священной машины!

Рода ахнул:

— Это же низость! Это преступное неисполнение возложенных обязанностей!

— А ты-то чего кипятиться? — вполголоса спросил Матарет, с нескрываемым изумлением глядя на Роду. — Ведь разгильдяйство охраны нам только на руку!

— А могло быть наоборот! — огрызнулся Премудрый. — Ты подумай! Любой мог явиться сюда до нас и привести машину в полную негодность!

— Я не дала бы! — крикнула Неэм и оскалила зубы, как зверь, готовая впиться в горло любому, кто позарится на собственность Победоносца. — Я не дала бы, господа, хоть я и одна осталась! Скажите Победоносцу, который вас послал, тут все в точности, как было.

Рода хотел было что-то сказать, но Матарет дернул его за руку, приказывая молчать.

— Обязательно скажем, — обратился он к женщине. — Затем и присланы, чтобы осмотреть машину и доложить Победоносцу, все ли в порядке.

— В самомлучшем! — горделиво и радостно воскликнула Неэм. — Вы только гляньте! Стражники ушли, а я-то нет! Я ее веточкой протираю. Сверкает, что золото!..

— Победоносец приказал кое-что снять и отнести к нему, — вставил Рода.

Неэм подозрительно взглянула на него:

— Снять и отнести, говорите?

— Нет-нет, это только на случай, если что-то не в порядке, — торопливо вмешался Матарет, оттащил Роду

в сторонку, чтобы Неэм не слышала, и пробормотал с упрёком:

— Зачем бабу пугаешь? Она же грудью встанет...

Рода презрительно дернул головой:

— Прикажу связать, и все!

— Нужды нет.

— Так-то оно так, а вдруг это предательская хитрость, засада? И потом охрана может вернуться в любую минуту. Может, она где-то рядом.

— Вот именно. Поэтому давай-ка побыстрее займемся делом.

С этими словами Матарет окинул взглядом горы. Их вершины светились на северной стороне, солнце близилось к точке соединения с Землей.

— Глянь! На той стороне как раз день.

— Ну и что?

— Ничего. Спешить надо.

— Разумеется, — сказал Рода. — Но ведь она будет путаться под ногами, если не связать.

Матарет схватил его за руку:

— Да погоди ты! Сперва давай осмотрим машину. И снаружи и внутри. Ты же говорил, Победоносец объяснил тебе, как она устроена.

— Да.

— Так пошли.

Он направился к машине. Вокруг нее уже стояли девять их сотоварищей, в немом восторге любясь невиданным сооружением. Над ними высился огромный стальной цилиндр, глубоко вонзившийся в почву, из цилиндра торчала конусообразная верхушка снаряда, оттуда свисала веревочная лестница.

— Не иначе как он спускался по ней, — указал на лестницу Рода.

— Он спускался, а мы поднимаемся, — ответил Матарет.

У него нервно вздрагивали губы, глаза странно поблещивали. С поспешной жадностью ухватился он за веревку. Казалось, впервые в жизни не может совладать с желанием, его было не узнать.

Но Рода Премудрый не обратил на это никакого внимания. Подозвав учеников, он в который раз уже взялся объяснять им, что Земля необитаема, и, тыча пальцем в машину, втолковывал, насколько нелепо предположение, что такая железная машина способна долететь до Земли, вне всякого сомнения, весьма отдаленной от Луны. Наконец, Матарет не выдержал:

— Ты что, дожидаясь, покуда вернется какой-нибудь охранник?

Рода взглянул на машину.

— Не знаю, как приступить, — шепотом сказал он.

— Увидим. Прежде всего — осмотр.

С этими словами Матарет поставил ногу на лестницу. Но истлевшая от сырости веревка расплзлась у него в руках, прежде чем он успел опереться ногой как следует. Стали думать, из чего соорудить лестницу. Под рукой ничего подходящего не было, но тут кто-то обратил внимание на развалюху, в которой ютилась Неэм. Решили разобрать кровлю и стены, подпертые кривыми жердями, и построить из них леса, по которым и добраться до верхушки снаряда, где находился входной люк.

Женщина подняла крик, но никто не обратил на это внимания. Сильные, молодые руки в один миг растерзали убогое строение. Коля воткнули в почву и стали наращивать, из-за отсутствия веревок пустив в дело собственную одежду. Рода сложив руки стоял в сторонке и подавал советы.

Наконец все было готово. Вышло что-то вроде лестницы, по которой хоть и с некоторым трудом, но можно было добраться до верхнего среза цилиндра и до находящегося в цилиндре снаряда.

Первым полез наверх Матарет, следом Рода. После нескольких неудачных попыток удалось открыть люк, ведущий внутрь. За люком оказалась металлическая лесенка, уходящая вниз. Рода глянул вниз и заколебался.

— Зачем нам туда? Там темно.

— Полезай-полезай, — подтолкнул его Матарет.

Когда Рода скрылся в глубине, Матарет, стоя на верхней площадке металлической лесенки, захлопнул за собой люк. И тут же внутри вспыхнул электрический свет, автоматически загорающийся при закрытии люка.

— Что ты делаешь? — раздался вскрик Роды.

— Ничего, — спокойно ответил Матарет и тоже спустился вниз.

Роду странным образом испугало это одиночество вдвоем в недрах таинственного аппарата, но он постеснялся высказать это. Он огляделся по сторонам и менторским тоном принялся объяснять Матарету, как тут все устроено по словам Победоносца.

Матарет слушал рассеяннo, окидывая взглядом стены.

— Вот это та самая кнопка? — внезапно спросил он,

указывая на костяной кружочек в металлической оправе под тонким стеклышком.

— Какая кнопка? — удивился Рода.

— Если ее нажать, снаряд отправится в обратный путь?

— Да. То есть вероятно... Осторожно ты! Не прикасайся! — поспешно крикнул он, увидев, что Матарет тянется рукой к кнопке. — Так и улететь недолго с бухты-барахты!

— Отчего же «с бухты-барахты»? — откликнулся Матарет со странной усмешкой.

Рода пожал плечами:

— Пошли обратно. Хватит. Засиделись.

Матарет остановил его:

— Постой! А что, если нам с тобой в самом деле податься вдвоем на ту сторону?

— Ты с ума сошел!

— Нет. Как бы то ни было, а Победоносец бьется за нас и нуждается в подмоге, не то ему грозит гибель в войне с шернами. Можно попытаться привести подмогу с той стороны. Свои наверняка его поддержат, когда узнают...

Рода шагнул и преградил Матарету дорогу к ужасной кнопке на стене.

— Пошли отсюда сию же минуту! — сказал он. — Ты иди первый и открой люк.

Матарет засмеялся:

— Перетрусил? Да не бойся. Я же не собираюсь... Я же шучу...

И вдруг мгновенным взмахом руки над плечом Премудрого вдавил кнопку в металлическую оправу, раздробив тонкое стекло.

Пол под ногами слегка тряхнуло.

— Ты что делаешь?! — завопил Рода.

Матарет был бледен.

— По-моему, ты что-то напутал, — сказал он. — По-моему, мы стоим на месте.

— Ты нажал кнопку?!

— Да.

Рода метнулся к лесенке, но Матарет удержал его:

— Если мы взлетели, то люк открывать нельзя. Тут наверняка где-то есть окно.

После долгих поисков они нашли в полу откидную металлическую плиту, под которой оказалось толстое прозрачное стеклышко.

Матарет стал на одно колено и уставился в окуляр. Встал, мертвенно-бледный, вскинул изумленный взгляд.

— Кажется, мы летим на Землю, — пролепетал он.

Рода прильнул к окуляру. У них из-под ног с ужасающей быстротой уносилась прочь Луна. Уже видна была солидная часть Великой пустыни, от которой они удалялись в межзвездную бездну.

Рода сел на пол. Ноги подкосились.

— На Землю! На Землю! — лепетал он помертвевшими губами.

— Да, — тихо сказал Матарет. — Победоносец-то, а? Правду говорил. Вот не думал...

И в ответ Рода вскочил, сжал кулаки и бросился на Матарета с криком:

— Но ведь Земля необитаема! Ты понимаешь? Необитаема! Я тебе сейчас докажу...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

Вырвавшись из рук страстных почитателей истины, Неэм в безумном страхе бросилась бежать прочь. Внезапно у нее за спиной грянул неимоверной силы гром, а в спину так ударило, что старуха распласталась на земле. Через некоторое время она пришла в себя и боязливо оглянулась. На первый взгляд позади все оставалось как было. Как прежде, высилась среди зеленого кустарника машина, и стояла полная тишина. Неэм робко побрела назад, посматривая, куда это подевались люди, которые только что карабкались на машину.

Но когда Неэм подошла поближе, то с тревогой заметила кое-какие перемены. Наружная часть машины, действительно, стояла на том же самом месте, но из нее не торчал больше острый кончик. И леса, сооруженные из остатков ее хижины, тоже куда-то делись. А она точно помнила, как, обернувшись на бегу, видела, что на этих лесах, наверху, вокруг этого самого острого кончика, очень смешно топтались мужчины. Мужчин тоже нигде не было видно. Кольнуло в сердце дурное предчувствие, и Неэм, затаив дыхание, стала подкрадываться к машине, в любую минуту готовая снова удариться в бегство.

До машины осталось несколько десятков шагов, как вдруг Неэм споткнулась, глянула, обо что это она ушибла ногу, и неистово закричала от ужаса. То была голова, оторванная от туловища и жутко покалеченная. От страха ноги у Неэм к земле приросли, она даже бежать не могла. Безумным взглядом повела вокруг — повсюду валялись обрывки человеческих тел вперемешку с обломками лесов.

Некоторое время Неэм в немом ужасе озиралась по сторонам не в силах ничего понять, а потом издала пронзительный вопль и бросилась бежать прочь. Спотыкалась, падала, вставала и снова бежала, задыхаясь, напрягая все без остатка силы, одержимая одной-единственной мыслью — как можно быстрее и как можно дальше оказаться от места, где произошло что-то ужасное и не доступное пониманию.

Через несколько часов она добралась до скал у края равнины и в изнеможении упала на мох. Немного отдышавшись, попыталась собрать воедино разбегающиеся мысли, представить себе в связном виде то, что случилось в ее присутствии. Но это не вмещалось в пределы ее представлений. Острая верхушка машины исчезла, тут сомнений быть не могло. Исчезла в одно мгновение, словно в мельчайшую пыль разлетелась. При этом так жутко грохнуло и так встряхнуло воздух, что ее, Неэм, сбilo с ног. Она почти не сомневалась, что именно эта встряска стала причиной ужасной гибели озорников, которые забрались на самый верх машины, но больше ничего толкового в голову не приходило. Что все это означает? Почему случилось? Чего добивались? Почему добивались?

Все это были неразрешимые загадки, и Неэм снова пронял страх. Так или иначе, а случилось что-то такое, что не должно было случиться. Как знать, не она ли в этом виновата? Мысль о беглых караульных ее не посетила, не посетила и мысль, что, останься они на посту, может быть, удалось бы предотвратить озорство, с которым ей одной было не справиться. Но Неэм смутно догадывалась, что ее обманули — то ли обдуманно, то ли нечаянно сотворили что-то неладное и теперь уже не исправимое.

А как посмотрит на это Победоносец? Предчувствие говорило, что озорovali без его ведома и уж никак не по его приказу. А если он теперь прогневается? Ведь на нее прогневается, конечно же, на нее, не на кого-нибудь! Рядом была, а не шгнула, не оберегла. Может, надо пойти и покаяться? Или лучше спрятаться и чтобы никому ни звука? Даже Победоносцу?

Именно эта мысль зацепилась за что-то в голове у Неэм. Опять же, если Победоносец сам все видит, сам все знает, то незачем его уведомлять о случившемся, ему и так уже все известно, так что остается только бежать подальше от его гнева. А если он не всезнающий, то не лучше ли, чтобы он, при случае дознавшись, не догадался, что Неэм при сем

присутствовала? Как ни посмотри, а не попадаться больше ему на глаза — оно всяко надежнее.

Приняв это решение и немного переведя дух, Неэм направилась извилистым ущельем на юг, надумав затем податься на запад, хоть в горные поселки на отшибе, лишь бы подальше от города на Теплых Прудах, где, несомненно, находится Победоносец.

Знать не знала Неэм, что в действительности Победоносец в эту минуту находится далеко за морем и воюет с шернами у противоположного полюса Луны...

А Марк, стоя на вершине перевала и поглядывая на Землю, туманным серпом обозначившуюся над горизонтом, не думал, не гадал, что его машина, запущенная двумя запершимися в ней Братями Истины, в эту самую минуту мчится к его отчей звезде.

Дело шло к вечеру, и Марк ожидал, что вот-вот должен прибыть Ерет с подкреплением. Дела обстояли из рук вон плохо, перетрудившимся и невыспавшимся людям уже не хватало сил. По извечному закону войны они превратились из наступающих в обороняющихся. Уже никто не помышлял о том, чтобы уничтожить шернов в их собственном логове, речь шла только об удержании занятой позиции до прихода подкрепления. Вслух об отступлении не рассуждал никто, но большая часть воинов думала о нем как о неизбежности, откладываемой просто из-за слишком малых сил горсточки, которой грозит гибель во время трудной ретирады по разоренной стране. Люди ждали, тревожно и тоскливо высматривали, где там Ерет со свежими силами, поскорей бы с ним соединиться, чтобы не так опасно было идти назад к Великому морю.

Звезда Победоносца меркла.

Сам он молчал и ни с кем не делился планами. Отыскал более удобный путь снизу к снежному желобу, приказал доставить волоком на веревках брошенные при восхождении пушки, установил их на позициях, навел на дивный город шернов, и на том дело кончилось. Пушки молчали, потому что боеприпасы были на исходе, беспокоящие действия прекратились. Теперь шерны время от времени устраивали внезапные вылазки, их отбивали, усеивая окрестные скалы мертвыми телами врагов.

Так миновал еще один день, бесконечно долгий по-лунному. Под вечер обычно невозмутимый Победоносец начал проявлять признаки тревоги. Стоя на вершине перевала в окружении горсточки телохранителей, он то и дело осмат-

ривал в бинокль окрестности, не сводя глаз с направления, откуда ожидал подхода подкрепления. И хмурился, не обнаруживая в той стороне среди ущелий и осыпей признаков приближения новых сил. До заката оставалось не более полусотни часов.

Он уже собирался дать своим людям команду возвращаться на внутренний склон горного кольца, где находился лагерь главных сил, как вдруг заметил, что шерны, ранее, подобно стае пуганых ворон, кружившие поодаль от его отряда, разом потянулись куда-то вниз. Зашевелилась догадка: это близится Ерет, шерны хотят помешать его подходу. И вместо того, чтобы возвращаться в лагерь, Победоносец поспешил присоединиться к отряду, который охранял дорогу на перевал с наружной стороны кольца, и приказал сию же минуту открыть огонь, не жалея оставшихся патронов.

Лязгнули затворы, и началась стрельба по туче шернов, висящих над дорогой у линии вечных снегов. И как божественная музыка, прозвучала в ушах Победоносца ответная стрельба откуда-то снизу. Это приближался Ерет.

Через два часа отряд, с боем поднимающийся вверх по желобу, стал виден невооруженным глазом. Ерет шел медленно, людям приходилось отбиваться от нападающих шернов и заодно волоочь ящики с оружием и патронами. Марк выслал на подмогу часть своего отряда.

На крутом снежном склоне отряды соединились, шерны попрытались в расщелинах, оставив множество убитых, и Ерет, взмокший от пота и перемазанный кровью, подошел к Победоносцу, чтобы доложить об исполнении поручения. Но Марк не стал слушать.

— Это подождет, — перебил он Ерета. — С тобой все, кто прибыл?

— Я оставил за морем Анну. Возможно, завтра он приведет еще кое-кого, если сумеет пробиться.

— Добро. Сейчас не время отдыхать. Принимай команду надо всеми, кто здесь есть, и веди за мной на ту сторону, в лагерь.

— А может, лучше вызвать сюда тех, кто остался в лагере? — спросил с мыслью об отступлении один из подчиненных Марка, командир охраны перевала.

Но Марк не ответил и спешно направился в лагерь.

Соединенный отряд одолел перевал и спустился на луг между утесами, где располагался лагерь главных сил. Вновь прибывшие громко приветствовали ветеранов, а те встречали пополнение радостными возгласами, уверенные, что его

приход означает скорый возврат на родину. О присутствии еще недавно обожаемого Победоносца чуть вообще не позабыли, пеняя лишь на скорое наступление ночи, которую придется пережить здесь.

А Победоносец распорядился кончать разговоры и, к полному удивлению войска, приказал немедленно раздать боеприпасы и занять места в строю. Солдаты по привычке подчинились, но вполголоса недовольно заворчали. Кое-кто в открытую заговорил о том, что мочи больше нет, что, мол, весь поход — одно безумие и пустая трата сил.

Марк расслышал и, словно в ответ, приказал Ерету поставить расчеты к пушкам. Взглянул на клонящееся к закату солнце и обратился к войску:

— До захода солнца осталось сорок часов. Хватит. Ночевать будем в городе шернов.

Эта краткая и неожиданная речь поразила солдат как гром с ясного неба. Минуту длилось изумленное молчание, а потом раздался громкий крик восторга. Колеблющиеся, смирившиеся с мыслью о постыдном отступлении, даже о бегстве, люди почувствовали, что ими командует истинный Победоносец, который ведет их в решительный бой.

Марк не дал утихнуть воодушевлению и не оставил солдатам времени на раздумье. Ударили пушки, и под их прикрытием начался спуск беглым шагом в долину.

Не иначе как шерны к такой яростной атаке не были готовы, тем более что день шел к концу. Организованного сопротивления не было. Со всех сторон налетали беспорядочные стаи, беспомощно кружили над головами идущих на приступ и гибли тучами, не в силах противостоять штурму. Победа, которая, казалось, осталась далеко позади, на равнине, снова шла впереди, как в доброе, старое время.

За несколько часов одним неудержимым натиском Марк завладел большей частью долины, наполнив кровью и мертвыми телами сапфирные пруды среди зеленых лугов. Попадавшиеся по пути поселки не долго думая разрушали ручными гранатами и рвались вперед, к городу, стоящему на скалистой центральной горе. Следом подтягивалась артиллерия и через головы наступающих все более чувствительно била по шатающимся стенам.

Ерет смотрел на Победоносца восторженными глазами. Молчал, но весь его вид говорил, что он видит светлого бога, воистину ниспосланного Луне на страх супостату, что, на время усомнившись в этом боге, он тем жарче теперь обожает своего идола.

А тот, подведя ряды атакующих к самому подножию горы со стороны, где между башен находились городские ворота, не останавливаясь, указал рукой на неприступные утесы:

— Вперед! Вперед! Еще есть время!

Приказать было легко, исполнить куда труднее. Солдаты падали от усталости, им хотелось пить, у них тряслись руки, от вспышек выстрелов в глазах шли круги, так что дороги было не разобрать.

— Владыка, может, объявим привал? — робко спросил Ерет.

Но Марк отрицательно покачал головой.

— Ни на час, — сказал он. — Упустим солнце, и шерны могут опомниться.

— Половину людей потеряем.

— Пусть! Зато половина окажется там!

И Марк указал на башни, сверкающие на солнце, полу-скрытом гребнем горного кольца.

Ударили пушки, и начался подъем по крутому склону под градом камней, сыпавшихся со стен.

Неизвестно, чем кончился бы этот неистовый штурм, если бы не счастливый случай. В ту самую минуту, когда строй начал ломаться и пятиться и вот-вот готова была вспыхнуть губительная паника, быстроглазый Нузар, шедший нога в ногу с Победоносцем, заметил под козырьком скалы вход в пещеру, а в глубине — ведущие вверх каменные ступени. Видимо, этим лазом жители пользовались, когда сильный ветер или усталость заставляли идти ногами, а не взмывать на крыльях.

В эту темную нору, оберегавшую от сыпавшихся сверху камней и стрел, Марк не долго думая послал лучших из лучших. Попавшуюся по пути кованую дверь взорвали и полезли наверх, вслепую паля из ружей, чтобы расчистить дорогу.

Наконец вырубленный в скале коридор кончился и воины оказались на просторной лужайке, расположенной на пологом склоне под самыми стенами. Снизу ее не было видно, а с лужайки не было видно тех, кто остался внизу возле пушек. Но было слышно, как оттуда палят по стенам, до которых осталось несколько сотен шагов. Марк приказал дать тройной ружейный залп, таков был условный знак прекратить обстрел снизу, и через пролом в стене ворвался в город.

Шернов охватила паника. Такого оборота событий они

явно не ожидали. Отчаявшись защитить город, они взвились над ним стайей спугнутых хищных птиц и ринулись вниз...

Солнце заходило, когда Марк, приказав поднять снизу на веревках оставленные пушки, укрепился на ночь во взятом городе. Повсюду разожгли костры и расставили караулы, опасаясь ночного нападения. Караульная смена с оружием наизготовку зорко следила, не мелькнет ли над головой слабо светящийся лоб подлетающего шерна, чтобы метким выстрелом сбить лазутчика.

С наступлением темноты Марк заперся вдвоем с Еретом в огромном сводчатом здании, которое, казалось, еле держится от ветхости и недавней пушечной пальбы.

Он сидел на камне, похожем на древний алтарь, опершись подбородком на ладони и поставив локти на колени, и широко открытыми глазами смотрел на пламя в очаге. Ерет лежал рядом на разостланной шкуре. Камнем, брошенным со стены, Ерету зашибло ногу. Приподнявшись на локте и размахивая свободной рукой, он рассказывал Победоносцу о трудах минувшего дня. Рассказал, что от моря до самых гор шли по пустой равнине, попадались только остывшие пепелища времен начала войны. Но при входе в горный край встретили полчища шернов, пытавшихся силой преградить путь. И началась непрекращающаяся битва, в которой каждый следующий километр приходилось брать с боем. А от разгрома у подножия кольца отряд был спасен не иначе как своевременной помощью, посланной Марком навстречу.

Победоносец слушал, молчаливый, угрюмый и неподвижный. Лишь когда Ерет заговорил о том, как его встретили на Теплых Прудах и что за смута, что за происки там теперь затеваются, брови у Марка на краткий миг поднялись и голова дернулась враждебно и гордо.

Молодой воитель наконец умолк и вопросительно глянул Марку в лицо. Чувствовалось, что с губ у Ерета просится сдерживаемый почтительностью вопрос: «Что дальше?» Если и существовали в душе у Ерета хоть какие-то сомнения в предназначении и божественной мощи светлого пришельца с Земли, то после штурма и попросту непостижимой победы они отпали полностью, однако свет сердечной радости пригашали заботы о будущем. Он понимал, что если Победоносец вознамерится продолжать войну с прежним размахом, солдаты начнут гибнуть от перенапряжения и нехватки сил.

Но Марк тоже понимал это. Здесь, в захваченном городе

шернов, в этой заоблачной, неприступной и все-таки взятой западне, он яснее, чем когда-либо, видел, что об окончательном и бесповоротном покорении лунных первожителеей не может быть и речи. На это нужны годы и гораздо большие силы, чем те, которыми на сегодняшний день располагает лунное человечество...

Невеселые думы были прерваны появлением нескольких караульных. Они вели пойманного по соседству, поседевшего от старости шерна. Шерн не защищался и не пытался бежать, поэтому его не убили, а помня наказ Победоносца брать пленных живьем для дознания, доставили к вождю целым и невредимым.

Шерн был одет в диковинный плащ, густо шитый драгоценными камнями, на руках и ногах у него были золотые чеканные браслеты. Поставленный перед Марком, он глядел на человека с интересом, но безо всякой тревоги.

Марк заговорил с ним, но шерн покачал головой, давая знать, что не понимает, и начал посвечивать тусклыми цветными пятнами на лбу. Среди присутствующих никто не разумел этого языка. Бросились искать Нузара и подчиненных ему двух выворотней, которые выросли в этой стране среди шернов и, вероятно, могли бы послужить переводчиками.

В ожидании, пока их найдут, Марк начал расспрашивать солдат, как им удалось поймать шерна. И услышал необыкновенный рассказ. Неподалеку от этого здания солдаты обнаружили круглую башню, решили поискать там ночлега и наверху наткнулись на запертую дверь.

Город был пуст и покинут. Ни один шерн никому на глаза не попался, и поэтому никто не рассчитывал на такую находку.

Однако дверь была заперта. Солдаты решили, что это сделано шернами, перед тем как упорхнуть через окно. И взялись ломать дверь просто так, ведь ночлег можно было найти где угодно.

— Устать-то мы устали, что правда то правда, — пояснял один из солдат. — Но сами знаете, как в драке разойдешься, так удержи нет, ноги еле несут, а руки чешутся, чего бы еще раздолбать. И башня чудная, интересно там. По стенам вдоль лестницы знаки разные, и снизу видно, что на верхушке какие-то штуки непонятные. Дверь толстенная была, крепкая, корячились долго, я первый туда вломился и вот товарищ со мной. Смотрим — шерн. Как точнее сказать, не знаю, а первое, что я подумал, глядя на

него, — он, должно, ненормальный. Сидит спиной к нам, ноль внимания, и камушки малюет.

— Что-что? — не понял Марк.

— Камушки, говорю, малюет. Мы вошли — он даже не шелохнулся, вся берлога этими камнями набита, кругляши такие, с кулак, и в разные цвета размалеваны. Полки по стенам, и они на полках лежат рядами. Я захватил один, вот гляньте.

С этими словами солдат протянул Победоносцу шар, точенный из камня и покрытый от полюса до полюса тесной спиральной линией из разноцветных точек. Марк взял шар, долго рассматривал, а потом бросил взгляд на шерна. Пленник дрожал всем телом, не сводя глаз с рук Марка. Победоносец несколько раз подбросил шар — глаза шерна так и ходили за камнем, ловя каждое его движение в воздухе.

Доложили, что прибыл Нузар с товарищами. Выворотни вошли, увидели шерна и пришли в такое возбуждение, что позабыли отвесить Победоносцу обычный поклон. Как бы онемев от испуга, уставились на старое чудище, с явным изумлением глядя на сыромятной кожи ремни, которыми были опутаны его руки на запястьях возле блестящих золотых браслетов. А Нузар, увидев в руках у Марка каменный шар, воздел руки и распластался ничком на полу перед Победоносцем.

— Ты властелин, ты величайший из великих! — воскликнул Нузар. — Ты поймал самого Великого шерна, мы о нем слышали, но видеть — не видели никогда! И вот мы глядим на него, а он стоит перед тобой, о хозяин, как твой пленник, и на руках у него прочные узы!

Двое других выворотней тоже ткнулись лбами в пол, бормоча что-то бессвязное. Прошло довольно много времени, прежде чем Марк сумел добиться от них вразумительного рассказа.

Мол, среди шернов издавна идет молва, что в одном неприступном городе живет всезнающий старец. Его называют Великим шерном, он хранитель тайн, которые испокон веков пишутся цветным письмом на круглых камнях. Он свят, и никто не смеет его коснуться, хотя он не правит и никому ничего не приказывает. Сами шерны ничего не хотят знать, они считают, что это лишняя тягота и превыше всего ценят забвение, но Великий шерн знает все на свете, а когда чувствует, что близится смерть, сам выбирает себе наследника и посвящает во все тайны мира, не иначе как чтобы знание сохранялось.

Великий шерн записывает все важные события. Это ему поручено. Выворотни узнали его по плащу и золотым браслетам, а также по круглому камню — таких камней никому из шернов, кроме Великого, под страхом смерти расписывать красками нельзя.

Марк с удивлением слушал этот рассказ, не без любопытства разглядывая шерна. А потом спросил выворотней, могут ли они объясниться с шерном.

Нузар призадумался.

— Если он что-нибудь захочет сказать цветным лбом, худо-бедно, может, и поймем, — ответил он, — но голос для него ничего не значит, если он никогда не бывал среди людей. Между собой шерны пользуются голосом так, как люди, когда кивают или руками машут, по поводу самых простых вещей, если почему-то не получается смотреть друг дружке на лбы. Так что сказать ему что-то мы вряд ли сможем.

И все-таки Победоносец потребовал, чтобы они спросили у шерна, почему он не убежал вместе с остальными. Нузар оказался не в счет, поскольку не в состоянии был перевести вопрос. Двое других выворотней принялись издавать пронзительные, визгливые звуки, приседая и размахивая руками. Шерн презрительно посмотрел на них и посветил лбом. Выворотни примолкли и сосредоточенно уставились на мелькающие проблески.

— Что он говорит? — нетерпеливо спросил Марк.

— Он говорит, что так ему было угодно, — без особой уверенности ответил Нузар.

— То есть как это? И больше ничего?

— Ничего, хозяин. Говорит, что так ему было угодно.

Марк встал и подошел к неподвижно стоящему шерну. Жуткое лицо первожителя продолжало хранить бесстрастное, слегка презрительное выражение даже при виде великана вдвое выше ростом, чем любой из шернов и людей. Не угадывалось ни малейшего следа страха или замешательства. Разве что искра любопытства промелькнула в глубине четверки тусклых, налитых кровью глаз.

— Скажите ему, — обратился Марк к выворотням. — Он будет жив и свободен, если согласится ответить на мои вопросы.

Выворотни снова принялись завывать, лаять, приседать, размахивать руками и, когда через некоторое время шерн что-то ответил им проблесками, обратили к Победоносцу тупые лица со смущенным выражением.

— Он говорит: если бы ему жизнь была дорога, он ушел бы вместе со всеми. Но он хотел посмотреть...

Выворотень осекся.

— На Победоносца! — торопливо подсказал Нузар.

— Он действительно так сказал?

— Он сказал иначе, но не дерзну...

— Говори!

— Глянуть хотел на глупого жирного пса, — со стеснительной ухмылкой произнес выворотень.

Дальнейшие попытки добиться толку от разговора с шерном так ни к чему и не привели. Казалось, ему было безразлично, что его ждет и как с ним поступят. Ни угрозами, ни обещаниями его не удавалась склонить к ответам на вопросы. Лишь когда Победоносец спросил, о чем написано в каменных книгах, которыми он ведает, шерн гордо усмехнулся и ответил:

— Ступай и прочти.

После этих слов он замолк окончательно, то есть пригасил свой говорящий лоб.

Марк приказал отвести шерна обратно в помещение на башне и выставить у дверей караул. А сам отослал выворотней и Ерета и вышел наружу чуть-чуть подышать свежим морозным воздухом.

Чистое небо искрилось звездами. Снегопад еще на начался, но обильный иней уже покрыл толстым слоем улицы и плоские кровли домов. Освещая путь фонарем, Марк отыскал полуразрушенную лестницу, ведущую к обители шерна, и медленно зашагал вверх. Каменные стены узкой лестничной шахты еще дышали теплом, накопленным в течение жаркого дня, при неверном свете фонаря на них повсюду проступали остатки каких-то рельефов и фресок, не иначе как начавших облезать много столетий тому назад, да так и оставленных гнить в небрежении. В том месте, где лестничная площадка образовала подобие низкой округлой ниши, Победоносца заинтересовала странная фреска, составленная из цепочки соприкасающихся кругов. Он поднял фонарь и стал разглядывать выцветшую стенопись.

— Ошибки быть не может, — пробормотал он сам себе. — Однако это очень странно! Очень!

Круги оказались не чем иным, как картами земных полушарий с разных сторон. Рисунок выкрошился, большей части деталей было не различить, но в свое время карты были достаточно подробны. Очертания материков, морей и горных хребтов были обозначены без ошибок, хотя и тол-

стыми линиями. А над цепочкой кругов на фоне черной волнистой полосы угадывался ряд кирпично-желтых зубцов. «Может быть, на цветном языке шернов это означает проклятие ненавистной звезде?» — подумал Марк и зашагал выше.

Десятка через два шагов попалась еще одна такая же ниша с такими же фресками, но намного постарше, почти не различимыми на сером камне. Сомневаться не приходилось: это тоже были изображения Земли, но иного вида, чем привычные для глаза. На одном из кругов можно было разглядеть что-то похожее на Европу, но Средиземное море выглядело узким замкнутым озером, а с севера до самых Карпатских гор в пределы суши врезался морской залив.

Странное чувство возникло. Бесспорно, перед ним была карта отчей планеты в те незапамятные времена, когда, быть может, и людей-то еще не существовало. А глаза шернов уже всматривались в звезду, висящую в черном небе над пустыней.

Мороз пошел по коже. Марк ускорил шаг, чтобы выбраться из этой духоты на верхушку башни.

Когда он оказался на самом верху, на небольшой смотровой площадке, вокруг была непроглядная по-лунному ночь. Город, долина и окружающее горное кольцо тонули в густой тьме, не различить было даже белизны привершинных снегов. Только в южной стороне над зубчатым черным гребнем едва брезжило серебристое свечение, и Победоносец понял, что это свет далекой Земли, прячущейся под самой чертой горизонта.

И, охваченный беспредельной тоской, простер к ней руки. И утешился мыслью о том, что недалек тот долгий по-лунному день, когда он в своей сверкающей машине ринется туда, домой, через небесные бездны, безо всякого сожаления навсегда покинув этот чуждый и жестокий мир.

Глава II

Солнце еще пряталось за круговой горной стеной, только западные вершины кое-где розовели на золотом свету, когда Марк вместе с Еретом и несколькими старшими командирами отправился осматривать взятый город.

Марк был рад, что наконец настало утро. Уж слишком длинна и угрюма была эта ночь. Тяжкие мысли, словно зловещие птицы, устроились в изголовье постели, только и

дожидаясь, когда он очнется после короткого и мучительно-го сна, чтобы навалиться всей стаей. В часы бодрствования при свете костерка, разложенного на каменном полу, все достигнутое, особенно последняя «победа», представляло в удивительно мрачном свете. Становилось ясно, что он позволил вовлечь себя в безумное и, увы, безрезультатное предприятие. Захватил город и догадывался, что с минуту на минуту окажется в нем, как в тюрьме. А стоило задремать — вдруг мерещилось ночное нападение, и Марк срывался с ложа, выбегал на мороз проверить, на посту ли караулы, не мерцают ли над головами светящиеся лбы подбирающихся шернов. Но вокруг царили тишина и покой. Не иначе как шерны не пожелали рискнуть и положиться на военное счастье в ночном бою. А может быть, их пугал мороз, может быть, они копили силы, оправляясь от разгрома. Так или иначе, а спокойного сна завоевателей ничто не тревожило. И Марк возвращался к себе, присаживался у огня и, глядя на пламя, силился составить хоть какой-нибудь план дальнейших действий, развеять мыслью мрак безнадежности, осадивший со всех сторон. Но куда бы он ни направлял мысль, всюду оказывался какой-нибудь изначально неодолимый тупик, явная невозможность прийти к выводам, имеющим хотя бы видимость осмысленности.

В конце концов он устал от этих бесплодных дум. Под утро забылся глубоким сном на целых двадцать четыре часа с лишком и проснулся с неожиданно окрепшей душой и с ощущением прилива сил. Правда, вдохновение не снизошло, план дальнейших действий не составил, но отдых тела сообщил духу некую беззаботность и безразличие по отношению к любому обороту событий. Воспринималось только настоящее: он находится в удивительном городе шернов, где каждый камень и каждый дом способны поведать невероятные тайны.

Он торопливо оделся и, не дожидаясь восхода солнца, вызвал свиту, чтобы сопровождала его при осмотре. Но вперед получил неприятное известие: схваченный накануне вечером Великий шерн ночью бесследно исчез. Караульные солдаты клялись, что без нечистой силы не обошлось, поскольку, хоть он и не был связан, дверь была заперта крепко и караул при ней стоял неотлучно. Вместе с шерном исчезли и расписные камни, находившиеся в помещении.

При этих словах Марк задумался. Даже если допустить, что шерн бежал, воспользовавшись временной беспечностью караула, то куда могла деваться эта «каменная летопись»?

Уж слишком много она весила, унести ее было шерну не под силу, тут сотни шернов вряд ли хватило бы. А уж сотню-то, за камнями явившуюся, часовые наверняка заметили бы.

И, словно луч света, Марка озарила внезапная догадка. Он понял, что Великий шерн остался только затем, чтобы спасти свои «книги», которых во время внезапного и уж не иначе как неожиданного вторжения людей в город никак не успеть было спрятать. Теперь он исполнил свой долг и скрылся. Исполнил, укрыв бесценные реликвии в каком-то незаметном для глаз тайнике, например выдолбленном в стене и заделанном гладкой каменной плитой. А совершив это, потайным ходом проник на крышу и, пользуясь ночной темнотой, на своих широких крыльях бесшумно спланировал в долину.

По первости думалось приказать людям обыскать помещение, в случае необходимости взломать стены, лишь бы найти спрятанные камни, но порыв как-то сам собой угас, растворившись в странном, неприятном и сложном чувстве.

Опустив голову, он молча оглядел окружающих. На краткий миг ощутил себя союзником покоренных шернов, обязанным защитить сокровища их знаний от разора варварами-людьми. Чувство быстро прошло, но тут же подумалось, что, найди он эти камни, пользы от этого никакой, ему в жизни не прочесть цветного письма, а на вскрытие стен понадобится много труда и времени, кто знает, не понапрасну ли. Ничего не ответил солдатам, доложившим о происшествии, и медленным шагом отправился в город.

Все дома были каменные, но только редко где двери были на уровне мостовых. Зато повсюду были круглые окна, а перед ними — узкие балкончики, а то и торчавшие каменные балки, не иначе как служившие обитателям для взлета. Кладка была старинная, ее не подправляли сотнями лет. Верхние этажи обсыпались, по низу во влажной тени сплошь тянулся мох, так что строения выглядели как природные скалы.

Марк вошел в один из таких домов, миновал мрачные и тесные сени и неожиданно оказался в круглой хоромине, обставленной с неслыханной роскошью. Каменный пол был выстелен стриженными шкурами в разноцветные узоры, что на первый взгляд напоминало ковры. Стены были увешаны странными изделиями из металла, кости и тканей. На низких квадратных диванчиках лежали пурпурные покрывала, они благоухали резковато, но упонительно. В ларях из

наборной резной кости искусной работы, как в сокровищнице, грудями лежали драгоценные сосуды, жемчуг и самоцветы. По всему залу между черными зеркалами из неизвестного металла на кованых треножниках стояли медные курильницы.

Распахнутая дверь над высоким каменным порогом указывала путь ухода обитателей.

Нагнувшись, чтобы протиснуться в слишком узкий для него проем, Марк вышел на балкончик, вделанный в серую стену.

Как раз восходило солнце, с ленцой выставив из-за зубчатых горных вершин половину диска. Его лучи уже золотили город, но еще не накаляли. Под горой в долине клубился белесый туман, словно море, замкнутое в кольцо гор, со скалистым островом посредине, где располагался город.

Охватило чувство отчаянного одиночества. Победоносец оглядел спутников и по их лицам понял, что они, должно быть, переживают то же самое. Вот они здесь, горсточка дерзнувших, отрезанная от дома долиной, горами, равнинным простором и морем. Как бы завоеватели они, как бы хозяева вражеского города, но не знают даже того, что происходит вокруг них под покровом тумана, застилающего котловину.

И едва он об этом подумал, как по улицам зазвучали тревожные голоса, сперва редкие, а потом слившиеся в хор. Солдаты спешно искали своего вождя. Первым заметил их с балкона Ерет и обратился к Марку:

— Победоносец, случилось что-то не то. Тебя ищут.

Марк глянул вдоль улицы, тщетно сисясь что-то понять по долетающему шуму. Но у Ерета слух был острее, да и речь своих земляков он лучше разумел. Он прислушался и вполголоса сказал:

— Шерны атакуют.

Нельзя было терять ни минуты. Марк двинулся обратно на площадь перед домом, где ночевал. Когда повторно проходил через богатую хоромину, внезапно пришло в голову, что после бегства шернов в городе осталась уйма сокровищ, а провианта чуть-чуть, солдаты еле наскребли кое-какой запас. Сначала подумалось равнодушно, но мысль вернулась с пронзительной ясностью. Это не случайность! Шерны либо унесли провиант с собой, либо уничтожили, насколько хватило времени при поспешном бегстве. Предпочли отдать врагу сокровища и бесполезное имущество. И что теперь?..

На площади с нетерпением ожидали вождя. Патруль,

оставленный на ночь у подножия горы, только что вернулся, наголову разгромленный шернами. Оставшиеся в живых рассказали, что котловина кишит первожителами, город окружен плотным кольцом, шерны явно намерены не выпустить отсюда живыми дерзких захватчиков.

Выслушав доклад, Марк взглянул на Ерета. Тот стоял, опустив голову и насупив брови.

— Что будем делать? — спросил Победоносец.

Молодой командир пожал плечами:

— Ты меня спрашиваешь, владыка? Ты совершил божественный подвиг, ты захватил неприступное логово шернов, а теперь... — Ерет осекся и замолчал.

Марк не стал больше задавать вопросов. Угрюмо и решительно приказал готовиться к оставлению крепости, взятой в кровавом бою...

Когда походная колонна беглым шагом спустилась в котловину, туман внизу уже рассеялся, зеленая долина была видна из конца в конец. Она была черна от шернов. Победоносец взмахнул рукой, указывая товарищам путь на дальний горный вал...

То, что началось, можно было уподобить только свирепой толчее, которая возникает в улье, когда туда забирается хищный жук. У отбивающихся людей немели руки и ныли шеи, одревеневшие от постоянного закидывания головы вверх, навстречу нападающему врагу.

Каждую пядь приходилось брать с бою, каждый шаг оплачивать кровью. Люди шли, как лесорубы в девственной чаще, с той только разницей, что прорубаться приходилось не сквозь неподвижные заросли, а сквозь стену из живых тел. А долине, казалось, не будет конца.

Наконец удалось обеспечить тылы овальным прудом и, перестроив ряды у прибрежных скал, сосредоточенным огнем начать прокладывать путь к горам. Напор шернов на миг ослабел, их плотные ряды вдруг рассыпались, не выдержав пальбы, и люди, не дожидаясь, пока враг опомнится, бросились вперед, истребляя не успевшие убраться с дороги разрозненные стайки.

Постепенно близились к горам, глядя полуослепшими от дыма и вспышек выстрелов глазами на поднебесные скалы как на убежище и оплот.

Марк не разделял этих надежд. Более того, он был убежден, что во время восхождения по склону битва станет только жарче, поскольку шерны будут стремиться использовать невыгодное положение солдат, карабкающихся вверх.

Он поглядывал на заснеженный горный хребет, стараясь выследить ждущих в засаде шернов, готовых обрушить сверху лавину глыб и камней. К счастью, опасения оказались напрасны. То ли шерны, невзирая на подавляющее численное превосходство, устали от боя, стоявшего слишком долго, то ли они попросту не ожидали, что людям удастся пробиться через долину, но, так или иначе, они вообще не подумали запереть перевал. Более того, когда Марк начал подъем, они очистили дорогу, так что утомленные люди получили недолгую передышку.

Солдаты отдышались, подкрепились и, не теряя времени, двинулись вверх. Марк шел впереди, зорко поглядывая по сторонам, но не смея оглянуться назад, чтобы не видеть чуть ли не наполовину поредевшие ряды собственного войска. Его единственным перевесом оставалось огнестрельное оружие, и он дрожал при мысли, что шерны, обирая павших, могут снять с них ружья и патроны и обратить против отступающих. Это опасение подстегивало, единственно спасительным оставалось бегство.

Его окликали: «Победоносец!» И он всякий раз, услышав это имя, сжимал губы до боли, словно его оскорбляли в лицо. А в остальном спокойную обстановку марша нарушал только шум все более редких стычек с преследователями. Ненадолго останавливались, отстреливались и снова шагали вперед и выше, вперед и выше.

На перевале Марк дал солдатам отдохнуть подольше. Усталые люди, ни на что не обращая внимания и позабыв о все еще грозной опасности, бросались на снег и во мгновение ока засыпали как убитые. И вскоре Победоносец оказался в полном одиночестве: он да солнце, сияющее над оставленной котловиной.

Словно прогоняя сон с глаз долой, он потер лоб и помял веки. И действительно, страшным сном виделись теперь и война эта, и взятие диковинного города и кровопролитное отступление. Вокруг были безмолвные снежные горы, внизу простиралась зеленая долина, вся в радужных озерах, млеющих под сиянием солнца. Мысль проваливалась в какую-то странную пустоту.

«Зачем, зачем все это?» — сам себя честно спрашивал он и не находил ответа на этот простой вопрос.

Медленно обратил взгляд на юг, в сторону полюса.

Над горами виднелось легкое белое округлое облачко.

Земля.

Она уже вышла из первой четверти, близились полно-

земле, но виден был только верхний край диска. Вокруг стояла нерушимая тишина, весь лунный мир замер, сиянный солнцем, шествующим по низкой дуге на севере.

Марк задумался. Широко открытыми глазами смотрел на Землю и гадал, сколько еще трудов предстоит, прежде чем он сможет с чувством исполненного долга вернуться на свою родную планету. Что оставит он здешним людям? Он и впрямь не довершил начатого и уже знает, что так и не довершит. Полностью уничтожить шернов на Луне невозможно. Но он насквозь прошел всю вражескую страну, огнем и мечом, он научил ужасных первожителей бояться человека с оружием в руках. А вооруженное войско его товарищей, хоть и поредевшее, теперь знает, как надо идти в открытый бой с шернами и добиваться победы на случай, если те еще раз попытаются завоевать владения человека.

Эта мысль утешала. Утешала и надежда по возвращении в места, населенные людьми, перед отлетом на Землю навести там порядок, дать обездоленным и угнетенным права, а власть имущих научить справедливости и милосердию.

Лишь бы поскорее вернуться!

Он вскочил и принялся будить спящих. Солдаты вставали неохотно, медлили, хмельные от сна, никак не могли прийти в себя. Но Марк не дал им отсрочки. Едва люди встали на ноги, он приказал начать спуск вниз, на равнину, к морю...

Полдень застал их у подножия кольцевой горы, к ночи надеялись выйти из горного края.

Шли и впрямь бодро. Шерны почти не беспокоили, если не считать мелких стычек со случайными стаями, рассыпавшимися кто куда после двух ружейных залпов. Как видно, наученные горьким опытом первожители не полагались на свои силы в открытой, безлесной местности. Солдаты повеселели. Радовались, догадываясь, что идут домой (Марк им об этом прямо не сказал) и там отдохнут после неслыханных трудов. Один Ерет выглядел угрюмо и все чаще избегал попадаться Победоносцу на глаза.

В послеполуденный час, когда вокруг уже расстиралась равнина, Марк во время привала сам подошел к Ерету. Они давно не разговаривали с глазу на глаз, и Ерет вздрогнул, когда рядом неожиданно раздался голос Победоносца.

— Ерет, — сказал Марк. — Хочу с тобой посоветоваться.

— Я здесь, владыка. Что прикажешь? Я слушаю.

Марк поманил его кивком, они вдвоем поднялись на высотку над медленно текущей речушкой. Оттуда были видны немногочисленные палатки (большая часть их безвозвратно пропала в боях) и суетящиеся солдаты. Посмуглевшие на солнце люди щеголяли в лохмотьях. На похудевших лицах ясно читались следы перенесенных тягот. Но двигались живо, носили воду ведрами на кухню, а патрули мерным шагом обходили лагерь с ружьями на плечах. Некоторое время Марк смотрел на вполонину растаявшее войско, на своих верных товарищей, а потом задал Ерету вопрос:

— Что думаешь об этих людях?

— Мы все были тебе верны и совершили все, что в наших силах, Победоносец.

— Что ты меня все «победоносцем» кличешь? — недовольно сказал Марк.

Ерет не ответил. Марк помолчал и задал следующий вопрос:

— А обо мне что думаешь?

Молодой командир поднял на него взгляд и честно ответил:

— Не знаю.

Марк усмехнулся:

— Не суть важно. Я не о том. Сам сюда забрался и делаю дело по собственной доброй воле. В этом краю до самого моря раньше жили шерны. В горах мы перебить их не смогли, но эти-то плодородные земли свободны. Отдаю их во владение людям.

— Прежде чем люди сюда придут, — помолчав, отозвался Ерет, — шерны успеют вернуться в свои разрушенные города. Снова придется воевать.

— Нет. Люди уже здесь и не должны позволять шернам сюда вернуться.

Ерет изумился:

— Ты хочешь, владыка?..

— Слушай меня, — сказал Марк, не дав ему договорить. — Я давно прикидываю, как поступить. Соседство шернов в горах опасно и неудобно, но завоеванную землю бросать тоже не дело, иначе выйдет, что мы воевали зря. На той стороне моря вам уже тесновато, а здесь глянь какое богатство само в руки просится. Притом что защищаться от шернов вы уже умеете. Нет, этот край бросать никак нельзя.

У Ерета внезапно заблестели глаза.

— Победоносец! Значит, мы не по домам?

— Ты с такой радостью об этом говоришь...

— Да, владыка. С радостью. Потому что у меня... У меня там ничего не осталось.

Ерет осекся и помрачнел. Марк понял, о ком он вспомнил. Протянул руку и коснулся его плеча.

— Ерет, — сказал он. — Поверь, у тебя нет никаких оснований...

— Не будем говорить об этом, владыка. Я рад, что наша кровь пролита не зря. Я так боялся, что ты велишь нам уходить отсюда.

— Так вы сами хотите остаться?

— Люди устали, им охота домой. Но если ты прикажешь, они останутся. Сначала будет тяжело, потому что шерны наверняка не оставят нас в покое. Но мы продержимся, пока придут новопоселенцы и наладят здесь оборону.

— А ты хочешь здесь остаться?

— Да. На всю жизнь.

— Как хочешь. Я-то думал взять тебя с собой.

— Нет. Возвращайся, владыка, на Теплые Пруды, учи там людей закону.

— Я дождусь Анну. Ты говорил, он должен нынче привести пополнение.

— Думаю, завтра мы повстречаем его либо на берегу, либо по дороге сюда.

Ерет ненадолго примолк. Через некоторое время Марк подал голос, искоса поглядывая на призадумавшегося товарища по оружию.

— Колонисты захотят здесь строиться и семьи заводить. А ты?

— Я-то?

— Да. Ты ведь когда-то жениться хотел. На внучке Крохабенны. Может, тебе ее прислать?

Ерет в упор глянул на Марка:

— Владыка, неужто ты думаешь, что внучку Крохабенны можно вот так просто взять и прислать?

— Если я скажу, что такова моя воля, думаю, она послушается.

— А если послушается, ты думаешь, владыка, что я ее из твоих рук приму?

Больше об этом разговора не было.

Быстро сняли палатки и возобновили марш на север. Гарнизоны решено было оставлять только при больших реках и вблизи от побережья.

Под вечер встретили Анну с не очень крупным, но

хорошо вооруженным отрядом. Анна рассказал, что сначала его отбытие всячески затруднял первосвященник Элем, а потом задержало внезапное нападение шернов со стороны Перешейка. Врага удалось отбить только благодаря помощи Крохабенны.

— Чьей-чьей? — переспросил Победоносец.

— Крохабенны, — отчеканил Анна. — Бывшего первосвященника. Пропавший старик вдруг появился в самое горячее время, когда все головы потеряли, и принял команду над воинами. Из Элема-то командир оказался никакой. Напавших окружили и перебили всех до одного.

Когда остановились на ночевку, но еще не ударил мороз, Марк построил объединенное войско и объявил о своем плане оставить поселения в завоеванной стране. Новость приняли без восторга, но и без ропота. Все понимали, что купленное кровью следует сохранить и что для этого есть только один способ — заселить эти места, прежде для людей не доступные.

Марк дал слово Ерету, и тот кликнул добровольцев, желающих остаться с ним на службе по крайней мере до прибытия поселенцев из-за моря. С этим люди не поспешали, особенно те, кто только что прибыл с Анной, но среди ветеранов нашлось довольно народу, согласного занять предполье будущих человеческих городов и деревень.

В конце концов отряд собрался внушительный, его можно было разделить на несколько достаточно сильных. Победоносец дал им право взять себе земли, кто сколько захочет, но оговорил, что определенные места должны оставаться не в личном, а в общем владении.

Этот наказ показался солдатам странным, но приняли его без возражений и дали клятву свято блюсти. Особенно после того, как услышали, что это начало новых спасительных законов, которыми Победоносец собирается осчастливить население новой страны.

Первый городок было решено заложить как раз на месте ночевки, и в нем, расположенном на природном пути от гор к морю, назначили поселиться Ерету с командой самых отборных воинов для присмотра за всем и верховного командования.

Утром, когда остальное войско двинулось дальше, Победоносец простился с Еретом, волнуясь при мысли, что в последний раз пожимает маленькую, но сильную руку прирожденного воина. С губ просился вопрос, что передать золотоволосой Ихазели, если спросит, но заглянул Марк

Ерету в печальные глаза, еще раз пожал ему руку крепко и горячо, да так больше ничего и не сказал.

Так и двигались к морю, оставляя по пути гарнизоны в подходящих, надежно защищенных местах, и, когда в поздний пополуденный час вдаль показался изборожденный волнами синий простор, с Марком осталось народу всего ничего. У моря встретились с отрядом, который сторожил оставленные буера. Тут командиром должен был остаться Анна, но прежде он собирался проводить Победоносца за море, а сюда вернуться с новопоселенцами.

Заходило солнце. Готовые в путь буера дожидались на песке, когда ночной мороз скует море гладким мостом. Лежа на взморье, Марк смотрел на вечернюю зарю. Она раскинулась во всю ширь, необычно багряная, словно память на прощанье о долгих днях, исполненных трудов, убийства и поджогов. Вспомнился вечер накануне похода, светлая голова Ихазели, лежащая на груди, и Победоносец молча воздел руки, словно без слов благодаря Бога за окончание труднейшего из дел своих, за дозволение вернуться туда, откуда он вскоре улетит на Землю.

А заря все не гасла, она, казалось, все шире, все кровавей охватывает полнеба. И внезапно сделалось страшно, словно этот небесный пожар и кровь закатного солнца не только прошлым дням память, но и зловещая ворожба на дни грядущие.

Глава III

Весть о нападении шернов на владения людей докатилась с запада и вызвала неслыханную панику. Беженцы из рыбацких поселков на побережье Перешейка твердили, что идет целое войско первожителей, неизвестно откуда оно взялось, но на своем пути оно все подряд сжигает и никому не дает пощады. Сопротивления никто не оказывал. Народ со стонами и проклятиями снимался с мест и спешил на восток, к Теплым Прудам. Громко поговаривали, что Победоносец, наверное, погиб вместе со своими сотоварищами и теперь близится неизбежное и ужасное мщение шернов. Люди, ломая руки в беспомощном страхе, теснились вокруг дворца первосвященника, понапрасну взывая к Элему, чтобы тот воспрял и спас свой народ.

Элем не показывался. Запершись в хорамах, он в полной растерянности попросту не знал, что делать. Правда, не

верилось, что Победоносец погиб, но, слыша за окнами проклятия на голову недавнего идола и обращенные к нынешнему правителю призывы помочь в беде и защитить, он чувствовал бессилие собственной власти и положения.

Обучать воинов он не умел, стать во главе войска и дать врагу отпор был неспособен, но понимал, что даже если и не разразится погубление рода человеческого, то все равно под ним шатается трон и надо что-то предпринять, что-то решить, если он не намерен примириться с окончательным уходом в тень после ниспослания чудесного спасения.

А народ себя не помнил от страха и отчаяния. Послышались голоса, что следует покориться шернам, просить у них пощады, а прежде всего поклониться Авию, авось, он согласится на посредничество. Нашлись такие, кто без долгих размышлений и указа первосвященника начал ломиться в собор и требовать допуска пред светлое лицо бывшего наместника.

Севин донес об этом Элему, и тот на минуту крепко призадумался. Не верилось, что истерзанный и брошенный в темницу шерн пожелает в обмен на освобождение стать милостивым посредником между людьми и своими временно торжествующими сородичами. Уж это-то несбыточные надежды. Но вот объявить Авию, что он отныне заложник и должен во спасение собственной жизни известить об этом своих и склонить их к мирному соглашению, — это, наверное, стоит сделать. И Элем решил вступить в переговоры с шерном.

Пока Севин объявлял народу из окна об этом решении первосвященника, тот приказал, чтобы его облачили. В сокровищнице прежних первосвященников облачений было великое множество. Элем выбрал что поярче да поновее. Глядишь, при виде такой пышности и роскошества шерн маленько оробеет и будет сговорчивее.

О том, что происходит, Авию рассказала Ихазель. Она спустилась в подземелье вовсе не за этим, а просто по привычке, которая стала у нее внутренней потребностью. Люди все больше чуждались ее. По мере того, как меркло очарование Победоносца, затерявшегося в дальнем краю среди огня и дыма, на нее стали поглядывать не как прежде, а неприязненно и с подозрением. Позабылось даже, что она внучка Крохабенны, последняя в роду извечных первосвященников. В ней теперь видели всего-навсего тюремщицу шерна и поэтому стали считать нечистой. Моло-

дежь по-прежнему восхищалась ее искушающей красотой, но к восхищению теперь примешивались страх и чуть ли не ненависть.

На нее посматривали издали и потихоньку приписывали странные дела. Отчасти сверхъестественные и погибельные. Мол, она может невидимкой переноситься с места на место, ей ничего не стоит взглядом наслать мор и хворобу. Дошло до того, что, повстречав ее, люди осеняли рот спасительным знаком Пришествия, тем самым, он хоть и утратил свое бывшее назначение по случаю исполнения сроков, но остался в народе как средство оберегаться от всяких злых чар.

Ихазель ничего общества не искала. Даже деда навещать перестала. Сама чувствовала, как копятяся в ней злоба и яд, словно у красивой змеи, запертой там, где куснуть некого. Презируемая, отверженная, сама с удвоенной силой стала презирать людей, тем более, что, несмотря ни на что, чувствовала свою власть над ними. Знала, что стоит ей появиться на паперти собора, как те, что сторонятся, чтобы случаем ее одежда их не коснулась, начинают коситься на ее черные очи и по первому зову готовы душу черту продать, лишь бы в смертный час почувствовать ее ладонь на челе. И как ни странно, чем больше ее боялись и избегали, тем сильнее была ее власть.

Иногда ей нравилось ощущать эту власть. Она выходила на порог собора и взглядом стреножила прохожих, на минутку приманивала неотразимой улыбкой и в тот же миг отворачивалась, как от мертвой и безразличной вещи. А иногда, если случалось пройти сквозь враждебную толпу с застывшим лицом и стиснутыми зубами, ни на кого не глядя и не отвечая на редкие приветствия, она чувствовала, как в ней вскипает безграничное презрение, почти болезненное, острое, как ожог. В такие часы она пряталась в темной глубине покинутого собора или, бросая вызов внутреннему осуждающему голосу, спускалась в подземелье и подолгу оставалась там в обществе Авия.

Притом сама она говорила редко, но со все большей охотой слушала диковинные рассказы шерпа о его стране, о мертвых городах в пустыне, о живых городах в глубине гор, которые, быть может, и окажутся повергнуты к стопам Победоносца, но своих тайн ему никогда не откроют. После таких бесед она часто поднималась на кровлю собора и смотрела на море. На Кладбищенский остров, темной черточкой лежащий в осяянной дали, на бегущие издалека волны, такие подвижные и постоянные, на дальний гори-

зонт в синей дымке, пронизанной солнцем. И тогда ей вспоминался Победоносец. То как давний сон, сотканный из света и позавчерашнего тумана, то как волна жаркой девичьей крови, что приливает к устам и груди упонительным ударом и жжется сильнее, чем солнце сквозь легкую одежду, так что грудь просится наружу, чтобы остыть на свежем ветру или млеть под поцелуями.

Но чаще всего она думала о нем с неукротимым и страстным упреком. Зачем явил свою власть и удалился прочь, словно не заметил? Почему война и благо людей, почему это предназначение для него важнее, чем она, цветок и жемчужина? Губы набухали кровожадной издевкой, и она снова спускалась в яму, к чудищу, чтобы слушать проклятия и оскорбления, которые оно мечет в свет и радость. А иногда забивалась в укромный угол под алебастровой колонной и содрогалась там от внутренних рыданий, которых никак не излить слезами.

В тот день весть о набеге шернов дошла до Ихазели, когда она поутру шла с моря. Причем вряд ли она сказала бы, от кого именно и в какой момент услышала об этом. Видела, как люди суетятся, но ей не было дела, почему суетятся и что кричат. Едва слышала звук испуганных голосов. Прошла мимо одних, мимо других, мимо пятых-десятых, ни о чем не спросила, ни к чему не прислушалась, но, поднимаясь на паперть, осознала, что обо всем оповещена.

У входа ожидало несколько служанок. Они-то хотели о чем-то сказать и уведомить, но она жестом отослала их и прямо прошла в подземелье.

Авий нынче был угрюм и ворчлив. Не отвечал на вопросы, не заводил долгих, причудливых и страшных рассказов. Только властным голосом повторял: «Выпусти меня, сними оковы!»

То были первые слова, которыми он ее нынче встретил. Распростер по стене давно зажившие крылья, насколько позволили цепи, и начал посвечивать красным светом.

— Выпусти меня! — закричал наконец. — Выпусти меня! Чую ветер и солнце над волнами! Выпусти меня, воли хочу!

— По моей доброте?

— Ни по чьей доброте! Мне неведомо то, что вы зовете добротой, милосердием или злом! Мне ведомо, что через тебя я добьюсь своего и буду свободен!

— Нет.

— Да.

— Ты погибнешь, если я тебя освобожу.

— Не погибну. Если ты меня освободишь, я буду твой царь и царь всей этой своры псов. Как долго? Ни тебе, ни мне и никому другому до этого дела нет.

— Победоносцу есть. Он косит твоих собратьев.

— Катится камень с горы, ломит кустарник, но скатится и навечно внизу останется. А кустарник вырастет снова. Сила за нами.

— Однако это ты в оковах и я могу тебя бичевать, если мне будет угодно.

— Ты не мне это говоришь, а себе, потому что знаешь, какое ты передо мной ничтожество.

Ихазель медленно подошла к чудищу с подобранной где-то в углу палкой, прицелилась, чтобы ткнуть в лицо. Шерн даже не дрогнул. Вытаращился только всей четверкой налитых кровью белым, в эту минуту похожих на четыре неподвижных огня.

У Ихазели руки сами опустились.

— Авий! Авий! — невольно вскрикнула она.

Попятилась, ладони к груди прижала.

— Твои сородичи на нашу страну напали, — помолчав, вот так сама и сказала.

Шерн не удивился, не обрадовался. Некоторое время молчал.

— Рано, — сказал наконец. — Еще не время...

Не договорил — вошли холопы первосвященника.

Было их шестеро, здоровенных и тупых. Они прошли мимо Ихазели так, словно ее не видели, расковали узника, освобожденные руки веревками стянули. По двое с каждой стороны эти веревки держали, а двое мигом разняли скобы, которыми шерн был прикован к стене.

— Что делаете? — крикнула Ихазель.

Они не ответили, дернули раскованного и поволокли за собой на веревках наверх. Ихазель пошла следом.

Посреди собора на троне первосвященника восседал Элем во всем великолепии парадного облачения, унизанного драгоценностями. При нем полукругом расположились знатные люди столичного города. Все разряженные, как на великий праздник, все надутые от важности, только на двери тревожно посматривают, каждого шороха боятся. Но как завидели шерна, так вид у них сделался, словно они подсудимые, а он судья, их судьбы решение. Один Элем так-сяк сохранил видимость державного достоинства.

— Знай, что собратья твои в заморском краю побеждены и навеки уничтожены, — сказал Элем бывшему наместнику. — Но мы желаем проявить к вам доброту, особенно к тебе.

Замолк на минуту, чтобы воздуху в грудь набрать, воздуху ему не хватало.

И тогда шерн неожиданно спросил:

— А далеко ли от ваших стен шерны победоносные? Видно, что вы трусите. Никакими пестрыми тряпками вам страха вашего подлого не скрыть.

Пала мертвая тишина.

Элем первый пришел в себя, приподнялся на сиденье и сказал так, словно не расслышал издевки в голосе связанного шерна:

— Так то недобитки из ваших, убояся гибели, прибежали к нам в страну, но я готов даровать им жизнь.

Шерн захохотал.

— Даровать им жизнь, говорю, ежели...

— Что «ежели»?

— Ежели они прочь уберутся.

Шерн снова захохотал.

Лицо у Элема помрачнело.

— А иначе ты погибнешь, прежде чем они доберутся до городских стен.

— Чего вы от меня хотите?

— Предупреди их об этом, удержи. Ты заложник. Мы отправим к ним посла...

— Кто из вас будет послом?

Снова стало тихо. Никто не вызвался, никто даже мысленно не поискал смельчака, который отважился бы пойти послом, зная, что идет на пытки и верную смерть. Авий это понял.

— Освободите меня, — сказал он.

Элем заколебался:

— А кто поручится, что, будучи освобожден, ты изволишь оберегать нас, а не карать?

— Я поручусь, — сказал наместник. — Я поручусь, что, будучи освобожден, стану карать вас, а не оберегать. Но если вы меня не освободите, моя кара будет еще страшнее.

Первосвященник хотел ответить, но тут у дверей собора возникло движение. С воплем и плачем ворвались люди, раздались крики, что шерны жгут окрестные поселки, со стен видно, как стелется дым. Вельможи повставали, неко-

торые стеснились вокруг трона, словно ждали от Элема спасения или защиты.

Элем стоял в растерянности, неспособный прекратить гибельную панику.

А шерн рванулся, прыгнул на подножие трона, обернулся и рыкнул:

— На колени, псы! Валяйтесь у меня в ногах! Вымаливайте жизнь, но знаете: я ее вам все равно не оставлю!

Неизвестно, чем все это кончилось бы, потому что, не помня себя от страха, кое-кто из старшин пошатнулся, словно готов был удариться в ноги чудищу, но тут у дверей храма раздался знакомый властный голос:

— Люди, стойте!

Все оглянулись. На низком амвоне у входа стоял Крохабенна. На нем была серая ряса безо всяких украшений, по ней стелилась длинная седая борода. Но весь его вид дышал прежним неукротимым величием. Стало ясно, что в трудную минуту он пришел, чтобы взять власть.

— Крохабенна! Крохабенна! Первосвященник! Чудом явился! — раздался крик со всех сторон, народ начал тесниться к нему.

А он окинул взглядом собор и одним движением руки остановил общую сумятицу и прекратил шум в толпе.

— Отведите шерна в подвал, — распорядился Крохабенна. — А народ пусть выйдет на площадь. Там я отдам распоряжения.

На Авия набросились и в один миг столкнули в подзелье, где холопы снова приковали его к стене. А народ повалил из собора на площадь.

Крохабенна выждал, пока собор опустеет, и вышел последним, даже не взглянув на Элема, одиноко и неподвижно сидящего в глубине.

На паперти Крохабенна прямо прошел к первосвященническому возвышению, господствующему над площадью. Его приветствовали неистовым радостным криком. Ветер трепал его длинные седые волосы, не покрытые клобуком и не стянутые золотым обручем. В поднятой руке без перстней не было священного жезла, но все покорились его жесту, умолкли и выслушали приказы.

Прежний первосвященник говорил кратко. Он посоветовал женщинам, детям и старикам разойтись по домам, а на площади велел собраться всем годным к ратному труду. Особо приказал Анне собрать и построить тех, кто умеет обращаться с огненным боем.

— Победоносец, — сказал он, впервые прилюдно называя Марка этим именем, — Победоносец жив и побеждает. Не сомневайтесь в этом. Если бы дело обстояло иначе, не горстка шернов, о которой слух идет, а целое воинство набросилось бы на нас. Этот набег — их последняя попытка избежать гибели. Они рассчитывают поднять здесь панику. Но пусть повстречают мужей доблестных и найдут верную смерть. Не раз я водил вас в бой, поведу и нынче, если нет никого помоложе.

Собранные за несколько часов отряды во главе с Крохабенной и Анной вышли из города и направились на запад, туда, где горизонт был застлан дымом.

В городе с нетерпением ждали известий. Они пришли раньше, чем рассчитывали. Пополудни, едва прокатилась гроза, прибыли первые гонцы и объявили: «Победа!» Горсточку дерзких шернов захватили врасплох, окружили и перебили всех до одного.

Воцарилась неопишуемая радость. Народ хлынул за ворота встречать старика-победителя, так вовремя явившегося. Послышались голоса, что ему нужно снова занять престол вместо недостойного Элема. Но во главе победоносного ополчения шел один Анна. Крохабенна исчез.

Правда, уходя, он не скрыл, что находится на Кладбищенском острове, но заодно наказал, чтобы никто не смел его там тревожить.

Анна объявил об этом народу и добавил, что Крохабенна велел ему неукоснительно исполнить первоначальное поручение и ночью доставить пополнение за море. В городе следует лишь на всякий случай учредить постоянное ополчение.

Народ был уязвлен и возмущен уходом Крохабенны. Это было воспринято как пренебрежение со стороны спесивого старика. В ярости позабыли даже о том, что всего несколько часов назад он своим появлением спас город от позора и гибели. Элем тут же воспользовался переменой настроения и подослал к людям Севина, а тот распространил слух, что защитить город призвал старика не кто иной как Элем, которому-де был известен опыт Крохабенны в военном деле.

А главное, все это произошло так быстро и так благополучно закончилось, что народ вскоре перестал считать опасностью то, перед чем совсем недавно трепетал. О случившейся панике вспоминали со смехом, даже с некоторым стыдом и очень неохотно. В этот день люди перестали страшиться шернов. Перестали дивиться подвигу Крохабен-

ны и даже о Победоносце и его походе, который прежде считали недостижимым верхом отваги, стали говорить пренебрежительно.

И даже упрекали Марка в том, что он так долго тянет с расправой над ненавистным отродьем. И даже вслух толковали, что-де не следует отправлять за море пополнение. И, вероятнее всего, несмотря на настоятельный совет Крохабенны, Анне так и не дали бы выступить из города, если бы добровольцев не манила корысть. Ведь все видели драгоценности, в свое время присланные Победоносцем из-за моря в дар золотоволосой внучке первосвященника.

Ихазели все происшедшее показалось странным сном, от которого остался очень неприятный осадок. Она видела, как шерна вытаскивали из подвала, видела ужасное унижение людей, охваченных скверным страхом и готовых ползать в ногах у связанного чудища. Представляла себе, что была минута, когда в переполненном соборе единственным достойным властителем оказался этот злобный зверь, лишенный даже тени человечности. Ее охватил жаркий стыд, стыд за никчемных людишек, стыд за перенесенное поношение и даже за Победоносца, который запер в темнице беззащитное чудище. И этот стыд внезапно обратился против шерна, который оказался свидетелем и косвенной причиной случившегося.

Первым порывом было пойти и убить шерна, но при мысли, что тогда придется еще раз заглянуть в его налитые кровью, полные издевки бельма, нахлынул непреодолимый страх. Ихазель заперлась в своих покоях и долго не выходила оттуда. Крохабенна прислал за ней, просил приехать на Кладбищенский остров для важного разговора — она не ответила гонцу, даже не впустила его к себе. Вечером отправлялся за море Анна с пополнением, весь город высыпал на лед — она не соизволила даже выглянуть в окно.

Всю ночь в долгие промежутки между вечерним, полным и утренним сном Ихазель провела в одиночестве, во все более ожесточенном раздумье. Несколько раз вставала словно бы с мыслью спуститься в подвал, где был заперт шерн, но всякий раз доставало то ли сил, то ли смелости, и снова пряталась Ихазель в дальних хорах, не позволяя входить даже горничным.

Так прошло и утро. Целые часы провела она, лежа с широко открытыми глазами, словно застывшая в странном оцепенении. Лишь около полудня, когда чреватый близя-

шейся грозой воздух лишает человека сил, она ощутила прилив лихорадочной энергии.

Она находилась у себя в покоях. Вскочила с широкого ложа и приказала горничным, чтобы привели холопов. Явились четверо громил, по виду палачи. Ихазель знаком велела им подождать.

В небольшой задней комнатушке, где она обычно одевалась, над полукруглым бассейном было укреплено большое металлическое зеркало. Туда и направилась Ихазель в сопровождении двух горничных. Остановилась перед зеркалом и велела раздеть себя.

Те в четыре проворных руки пустились развязывать ленты ее верхнего платья на плечах и на груди, скрытой от людских взоров со дня прибытия Победоносца на Луну. Потом одна из горничных склонилась к ее ногам, чтобы снять сандалии, а другая быстрыми ласкающими движениями пальцев вынула шпильки из прически, так что волосы золотой волной хлынули на обнаженную спину. На бедрах осталось лишь свободное нижнее белье цвета морской волны, стянутое тонкой золотой цепочкой, свисающей до пят. Ихазель сама рванула ее обеими руками, расцепила, и последняя одежда беззвучно соскользнула на белую меховуюшку, брошенную на край бассейна.

И перед собственными глазами, неотрывно смотрящими в зеркало, расцвела Ихазель, как волшебный цветок. Губы влюбленно набрякли, веки отяжелели от вида собственной красоты. Под каскадом сыпучего золота волос блистали лилейные плечи, соединенные двумя розами груди. Стройные бедра, слегка розовеющие, жемчужной линией упитительно ниспадали в округлые колени, а те — в миниатюрные стопы, похожие на две лилии.

Ихазель выгнулась змейкой, подняв руки над головой.

— Красивая я...

— Красивая ты, о госпожа! — хором ответили обе горничные.

Стройная, гибкая, нагая и совершенная, замерла Ихазель на недолгое время, пока, словно удар, не посетило какое-то воспоминание, заставившее потупиться и закрыть лицо руками. Горничным послышался то ли стон, то ли, может быть, отрывочный всхлип.

Когда Ихазель отняла руки от лица, губы у нее были сжаты, а глаза приняли жестокое, властное выражение.

— Одевайте, — коротко приказала она.

Обе принялись обмывать ее и натирать благовонными

маслами, но дело шло неспорно, потому что руки, скользкие по лилейному телу госпожи, дрожали от сладострастного упоения.

Движением головы Ихазель указала ларь, где хранились ее самые дорогие наряды.

И через несколько минут стало невозможно угадать нагое, лишь во снах видящееся чудо ее тела под жесткой одеждой и пурпурным плащом, шитым золотом и драгоценными камнями. На волосы от висков лег высокий венец, а поверх него вуаль, унизанная жемчугом и кораллами, ноги обул зеленый сафьян с длинными золотыми цепочками, волочащимися по полу, на тыльных сторонах ладоней засияли огромные розетки из драгоценных камней, пристегнутые золотыми шнурами к четырем перстням на пальцах и золотым браслетам на запястьях.

Когда она в таком виде вышла к четверке холопов, те невольно потупились и попятись к стене. Ихазель дала им знак следовать за ней.

Молча миновала переходы, которыми ее покои соединялись с собором и прямо направилась к спуску в прежнюю сокровищницу. У двери велела холопам зажечь факелы. На багровом свету вспыхнувшей смолистой щепы поджатые губы дрогнули жутковато и жестоко.

Толчком отворила дверь и велела холопам войти первыми. Держа факелы, они остановились по бокам от входа, и тогда вошла она, звеня золотыми цепочками у ног, сверкая драгоценными камнями, закованная в тяжелый и богатый наряд, с застывшим, бледным лицом.

Шерн изумленно уставился на нее. После минутного освобождения во время паники его не приковали, а в спешке притянули за обвитые веревками запястья к скобам в стене, а ноги привязали к проушине в полу.

— Ихазель! — прохрипел он, помедлив.

Не говоря ни слова, она все с тем же неподвижным, словно застывшим лицом подошла к нему. Медленно выхватила из складок платья острый кинжал с рукоятью из цельного коралла и посверкала им на свету факелов, как бы ради забавы.

— Ихазель!

Острая боль пресекла крик в горле у шерна. Резким и на вид нечаянным движением Ихазель приложила острие ко лбу Авия и процарапала кожу. Потом попятилась и дала знак двум холопам подать ей факел. Некоторое время смотрела на чудище, освещенное багровым светом, не торопясь,

взяла факел из услужливой руки и ткнула под распростертые черные крылья.

Шерн дернулся, извиваясь от боли. В подвале запахло паленым.

— Всем владеет человек, — сказала Ихазель, отведя факел. — В его власти Луна и всякая тварь, на ней живущая. От моря и до предела пустыни, над которой светит Земля, звезда благословенная, на море и за морем, в краях, еще неведомых.

У нее пресекался голос. Она изо всех сил ткнула шерну в грудь пылающим факелом, не удержала, факел упал на пол, по полу разлилась лужица смолы, тлеющая красными огоньками.

Тень шерны огромным черным призраком взметнулась на стене, дотянувшись до золотых букв когда-то священной надписи. А из клубка извивающегося тела твари сверкнула четверка ужасных, налитых кровью глаз. Ихазель почувствовала, что силы оставляют ее. Невольно оглянулась в поисках, на что опереться бы, и увидела, что холопы в суевном страхе сбежали.

Она была одна.

Был миг, и она хотела убежать. Однако ноги не слушались, дышать стало нечем, жесткий драгоценный наряд давил на плечи. Негромкий стон вырвался из посиневших полукруглых губ.

Шерн не подавал голоса. Он извивался под пыткой, но роговые губы у него были стиснуты, он молча смотрел ужасными бельмами на шатающуюся Ихазель. И она глаз отвести от него не могла. Никогда еще не чувствовала себя настолько бессильной, как теперь, когда пришла показать гордому чудищу свою власть и великолепие. Широко открытыми, бездумными глазами неподвижно смотрела на шерну, не в силах шагу ступить. Видела рану на груди, выжженную факелом, гаснущим стреляющими огоньками у его ног, и глаза, глаза...

Жуткий, безумный вопль вырвался из ее груди и замер на самой высокой ноте, словно фонтан, обрубленный внезапным морозом.

И шерн заговорил:

— Всем владеет шерн, добра и зла не ведающий, владеет даже в оковах, даже истязаемый, даже побежденный. Служить шерну обязана всякая тварь, что явилась на Луну, а если не станет служить — погибнет. Шерн был владыкой испокон веков, когда Земля, как рабыня, ночи его освеща-

ла, шерн будет владыкой до скончания времен, когда Великая пустыня выпьет море и пожрет всю Луну.

Ихазель беззвучно зашевелила губами.

— Подойди, — сказал шерн, не сводя с нее глаз.

Она пошатнулась и сделала несколько шажков.

— Ближе.

Она подчинилась и оказалась в полушаге от него.

— Смилуйся!

— Разрежь веревки, — сказал Авий.

Механическим, безвольным движением Ихазель подняла с полу кинжал и, склонившись к ногам чудища, стала пилить веревки.

— Теперь руки.

Она выпрямилась и медленно, как сонная, продела лезвие между ладонью шерна и железной скобой на стене. Одна рука Авия была свободна. Но он не взял в нее кинжал, чтобы освободить другую. Только произнес все тем же тихим и властным голосом:

— Теперь вторую.

Ихазель перерезала веревку.

И вдруг на нее обрушилась жуткая черная туша. Она пыталась защититься, хотела оттолкнуть тушу, ударить кинжалом, но тот выпал у нее из руки, как увядший лист, и в тот же миг два широких распростертых крыла затрепетали у нее над головой, упали и мягко обвили. Она почувствовала, как шарят по бокам ладони, ищут среди жесткой одежды живого тела, вот они коснулись бедер, холодные, скользкие. Черно стало в мыслях, обожгло губы и гортань, полыхнула боль, чудовищная, нечеловеческая, жуткая, все мускулы судорогой свело от этой боли, настолько омерзительной, что уподобилась она невероятному наслаждению.

Ихазель потеряла сознание.

Г л а в а IV

Над замерзшим морем занимался серый рассвет. Закутавшись в теплую шубу, Крохабenna вышел из своей норы на Кладбищенском острове. Его сопровождали два верных пса, уже довольно давно разделявших с ним уединение. Выбегав следом за хозяином, они принялись лаять и весело прыгать, разгребая лапами снег и вынюхивая потайные местечки, где устраивалась на ночь разная лунная живность.

Старик минуту-другую смотрел на прыжки собак, радующихся свободе после долгого сидения взаперти, а потом не спеша направился к пригорку, круто обрывающемуся в море. Собаки заметили его уход, прекратили игру и побежали следом. Идти по рассыпчатому, мерзлому снегу было трудно, ноги увязали, и старик на ходу опирался на длинный посох.

Добравшись до вершины, он сел и долго отдыхал, глядя на беспредельную ледяную плиту, чистейшим зеркалом стелящуюся у ног.

До восхода солнца было еще долго. Едва-едва мерцали на снегу синие блески. Под чуть побледневшим небом весь мир вокруг был равномерно сер без переходов, без теней, без резких контрастов. Только широкая, светлая, жемчужная, отливающая серебром полоса ниже звезд на восточной стороне неба возвещала, что эти блески — предвестники солнца, которое, пройдя длинный путь над Великой пустыней, пробирается теперь низом, над морями, чтобы в конце концов выбраться на горизонт из-под льда в этом краю.

Но Крохабенна сидел лицом к югу, всматриваясь в безбрежный морской простор. Лицо на этом неверном свете выглядело старым и утомленным. Взглянув на него, никто не сказал бы, что это тот самый человек, что еще позавчера сумел овладеть толпой, в минуту опасности стать во главе ополчения и в одном ряду с молодыми разить врага. Здесь, на безлюдье, его глаза утратили властный блеск, нижняя губа тяжело отвисла на длинную седую бороду, которую временами тревожил порывистый предутренний ветер. Одни собаки в поисках тепла жались к его коленям и вместе с ним смотрели на бескрайнее море.

Так прошло некоторое время, и вот ушей старика достиг странный, едва слышный, свистящий звук. Похоже было, что где-то начал звенеть лед, разрезаемый острым железом, но это мог быть и ветер, заблудившийся во льдах и теперь стремительно выбирающийся сквозь расщелину между торосами. Крохабенна вздрогнул, встал, подошел к обрыву, круто падающему к морю. Стоя на самом краю, пристально вгляделся. Далеко-далеко на отполированной ледяной плите появились черные точки, на вид неподвижные, но постоянно увеличивающиеся в размерах и отдаляющиеся одна от другой.

Старик направился к самому высокому месту, где был заготовлен большой костер, прикрытый заснеженными ветками. Быстрым движением сорвал этот покров, поправил

посохом подложенную снизу щепу. Вскоре костер запылал, и над ним взвился столб дыма.

Тем временем черные точки приблизились. Теперь было хорошо видно, что это буера, несущиеся по льду под развернутыми парусами. Крохабенна, стоя рядом с костром, принялся считать их. На лоб ему пала тень, губы тревожно зашевелились.

Кружной тропинкой он спустился с пригорка на берег, где море врезалось в сушу, образуя мелкую бухточку.

Не иначе как с буеров заметили огонь и догадались, что означает этот костер в раннюю пору, потому что вскоре они замедлили ход и, описав широкую дугу, направились в закрытую от ветра бухту. У берега быстро убрали паруса и начали тормозить, бросая под полозья цепи.

Из-под кожного фартука с первого подошедшего буера на лед спрыгнул Анна. Крохабенна быстро подошел к нему:

— А где Победоносец?

— С нами. Вон на том буере.

— А остальные? Те, кто вперед там были, и Ерет?

— Остались.

— Живы?

— Само собой, хотя побитых тоже хватает. Ерет гарнизоны ставит там, на равнине. Она теперь наша. Я туда тоже вскорости собираюсь.

В эту минуту осадил на месте и буер Марка, проложив ногами кованых полозьев широкие борозды в прибрежном снегу. Из-под кожного фартука с радостными возгласами на снег попрыгали солдаты. Наконец появился и Марк. Увидел Крохабенну, бросился навстречу:

— Старче, а я тебя разыскать приказывал...

Былой первосвященник жестом прервал его:

— Вот теперь поговорим. Раньше нельзя было. Прикажи, пускай твои люди прямиком в город едут, пока лед держит. А тебя я потом на лодке отправлю.

Марк отдал Анне нужный приказ и, стоя рядом с Крохабенной, полюбовался, как буера снова подняли паруса и рассыпались полукругом, ложась на курс. В какой-то миг подумалось, что эти люди раньше, чем он, увидят золотоволосую Ихазель, которая наверняка выйдет на паперть и светлым взором будет искать среди прибывших его высокую фигуру.

Но буера уже обогнули полуостров, замыкающий бухту.

— Холодно, — сказал Крохабенна. — Идем отсюда.

И, не дожидаясь ответа, зашагал вперед с неотлучными

собаками. Марк направился следом. Так они шли молча довольно долго, вкруговую по долинке между горушками, пока не оказались у подножия возвышенности, где был вход в пещеру.

Марк изумился, увидев более чем первобытное логово первосвященника, некогда правившего всем народом лунным и наверняка привыкшего к излишествам и всякой роскоши, но даже словом не обмолвился, пробираясь узкой норой в глубину пещеры.

Крохабенна взял его за руку, давая знак сесть.

— Хочу поговорить с тобой, сынок, — сказал он. — В ту пору, когда ты сюда явился, нестати было, а нынче — время. Может, кое-что тебе теперь понятней будет. И не сердись, что сынком тебя зову, хоть ты вон какой вымахал и все тебя Победоносцем кличут. Я старик, и я тебе добра хочу.

Марк кивнул:

— Старче, а я ведь с той самой минуты, как твои речи услышал, только того и добивался, чтобы ты рядом был и говорил, что на уме.

— Прежде времени то было, прежде времени. Ино дело сейчас. Но вперед ты мне Расскажи, где побывал и что сделано, чтобы я об этом знал не понаслышке.

И Марк начал долгий рассказ. Сидя на камне, покрытом шкурой, в глубине пещеры, где язычок пламени нефтяного каганца становился все более желт на синеватом свечении, пробивающемся сквозь расщелины в своде, он подробно поведал о походе, о битвах, стычках, победах и неудачах. Не утаил ничего, даже того, что неполный разгром шернов добра не сулит и прочного мира не обеспечит. Не скрыл, что по его убеждению дальнейшая война с первожителями в их горном краю попросту невозможна. Признался, с каким тяжелым сердцем оставил гарнизоны в завоеванной стране, не будучи уверен в их судьбе, если не на ближайшее время, то на будущее, когда соседство шернов нависнет над новыми поселениями, как градовая туча, в любую минуту готовая покончить со всем и вся.

Крохабенна выслушал рассказ в глубокой задумчивости. Несколько раз потирал высокий морщинистый лоб, но Марка не перебивал. Когда тот закончил, пала тишина и теперь уже Марк бездумным усталым взглядом окинул тени, стекающие по изломам глыб, старик встал и сказал:

— Сынок, ты сделал все, что можно было. А теперь я тебе кое-что объясню, чтобы ты меня лучше понял. —

Вдруг примолк, словно переменял решение, и коротко произнес: — Впрочем, что за смысл? Один тебе совет: как можно быстрее возвращайся на Землю, если только в силах.

Марк удивленно посмотрел на него:

— Хочу вернуться и вернусь, но все же я не понял...

Старик еле заметно усмехнулся:

— Видно, придется все сказать, а то ты мне еще и не поверишь. Так слушай. Я был первосвященником и вместе со всем народом и отцами моими верил в пришествие обещанного Победоносца. А в тот день, когда ты явился на Луну, я перестал верить. Уж так случилось. И сам справиться с этим не мог, потому что вся жизнь на эту веру ушла, а ведь я старик, глубокий старик. Но я знал, что ежели ты захочешь, то многое сможешь, больше, чем мы, и поэтому открыл тебе все дороги. А сам ушел сюда, чтобы не на людях, в сторонке, обдумывать, что происходит. — Старик примолк, глубоко вздохнул и продолжал: — А потерявши веру, что сверхъестественный Победоносец, о котором в наших книгах говорится как о воплощении Старого Человека, может быть нам ниспослан, я тут присматривался, станешь ли ты, пришелец с Земли случайный, тем самым Победоносцем, каким тебя народ тоскующий назначил. И готов был проклясть тебя, если бы ты не исполнил наших ожиданий, не по твоей воле на тебя взваленных. Хотя бы за то, что ты проломил межпланетное пространство, которое изначально поставлено стеной между мирами. Твои предшественники, их могилы тут поблизости, тоже нарушили этот закон и навлекли горе на себя и на все свое потомство по сей день. Так что уходи, пока есть возможность.

— Странно ты говоришь, старче.

— Да-да. Но я не о том хотел. Мысли путаются, все сбиваюсь на то, что болит. Сидя один, я научился смотреть на вещи поспокойней и не требовать от людей того, что непосильно человеку, даже если он с Земли. Ведь ты мог ни за что не браться, а все ж взялся, пошел в бой вместе с нами и за нас. Хотя тебя никаким боком не касалось, что тут у нас творится. В один прекрасный день тебя здесь не станет, останется одна легенда, дай Бог, чтобы светлая и святая! Не полна твоя победа, сынок, и ты прав, когда волнуешься за судьбу тех, кто там осел в гарнизонах и кто пойдет жить на тамошние плодородные земли. Но иначе не вышло. Ты свое дело сделал, и я тебя благодарю.

— Дело-то не кончено, — сказал Марк. — Очень хочется мне на Землю, но я еще тут у вас побуду. Хочу законы исправить. Худо тут у вас.

— Худо есть, и худо будет, этого не переменишь. С этим ничего поделаться нельзя, — угрюмо сказал старик.

— А я попробую.

Крохабенна отрицательно покачал головой:

— Лучше не пробуй. Ничего не добьешься, а себя погубишь. Я костерком ваши буера остановил, потому что предупредить тебя хочу. Возвращаясь на Землю. Там на Теплых Прудах и по всему лунному краю люди не те, что были, когда ты появился или когда на войну с шернами выступал. Они о власти думают. Им чудится, что все тобой сделанное они и без тебя могли бы сделать. Они упрекать тебя станут в том, что ты невозможных вещей не сделал. Вот увидишь! А если тронешь что-нибудь, может и худое, но вековой давностью освященное, на тебя поднимутся самые сильные и тебе с ними будет не сладить, хоть ты и с Земли и хоть за тебя будут все слабые. Говорю тебе: уходи.

— Нет. Я по доброй воле за это взялся, так что теперь это мой долг. Тем более долг, что душа просит послушаться тебя, старче. Уеду тогда, когда исполню то, что обещал.

Некоторое время Крохабенна молчал. А потом вскинул голову и сказал:

— Смотри, чтобы поздно не было. Но если уж так хочешь, дам тебе совет. Я первосвященником был дольше, чем ты живешь на свете. Как ступишь на Теплые Пруды, так сразу же стань всему господином. Прежде чем делом заняться, научи людей тебя уважать и бояться. Уничтожь врагов своих, и явных, и тайных, и даже не теперешних, а вероятных на годы вперед. Даже тех уничтожь, кто, может, и за тебя, но способен народную любовь завоевать. Меня здесь засади, запрети остров покидать, вели Элему голову отрубить или живьем в песок зарой, не откладывая, и предлогов не ищи, убей всех, кто при власти. Поставь себя так, чтобы без смертного страха на тебя никто глянуть не смел. Стражу себе набери и правь, ни с кем не считаясь. Только в этом случае сумеешь людям добро сделать.

— Нет, я в такие штучки не верю, — ответил Марк, помолчав. — Такое уже бывало, на Земле не раз пробовали. И оставили, потому что не срабатывает. Ничего не выходит. Да, хочу, чтобы мою волю исполняли, но не за страх. Должны же люди понять, что я для них стараюсь.

— А если не поймут?

Марк пожал плечами:

— Не поймут — вернусь на Землю.

— Как бы тебе не вернуться быстрее, чем думаешь.

Беседа прервалась, тем более что Победоносец, утомленный долгим ночным странствием, начал клевать носом, приваливаясь к каменной стене пещеры. Крохабенна толкнул его на груду мягких шкур в углу, поставил возле постели миску с холодным мясом и жбан с водой, а сам тихо вышел из пещеры.

Как раз восходило неторопливое солнце. Розовел снег, быстро обмякающий на щедром свету. На вершинах «Мартиной могилы» и «могилы Педро» горели первые отсветы дня, искрясь радужными зайчиками на обломках льда. Прямо перед глазами старика на горизонте за морем высился огромный конус Отеймора, лениво пробуждающийся после сна, укрытый сверху облаком, как занавеской, которая защищает заспанные глаза от солнечных лучей. Вдоль восточного склона до самого скованного льдом моря тянулась светло-золотая полоса, словно поток лавы, но западная сторона тонула в густой, синей тени. Эта тень позади горы простиралась на огромное пространство побережья. И там, прямо к западу, сверкал накаленными от солнца стеклами город, местами повитый клубами пара, постоянно поднимающимися над Теплыми Прудами.

«Вот и новый денек у нас, — думал Крохабенна. — Что-то он нам принесет? Но что бы ни случилось, ни в одной мелочи не переменится ни восход, ни закат, и бег волн морских не переменится, когда лед сойдет. Ветру под силу скатить камень с вершины Отеймора в долину, но ни величайшее счастье человеческое, ни такое же горе песчинки не сдвинут на морском берегу».

Дня прибывало, и далеко-далеко на востоке начали трещать льды. Глухой, негромкий гул заполнил мир, отражаясь неясным эхом от склонов дальней горы. А со стороны залитого солнцем города слышались удары тяжелых молотов в подвешенные огромные бронзовые щиты. Крохабенна показалось, что доносятся дальние звуки труб. Не иначе как прибывает победителей празднуют...

День разгулялся всюю и лед давно сошел, когда старик, снова выйдя из пещеры на вершину холма, увидел флотилию лодок, направляющуюся из города к острову. Догадался, что это депутация для встречи Победоносца, и пошел сказать ему об этом.

Отоспавшийся и отдохнувший Марк сидел у входа в

пещеру и с интересом следил, как растения на глазах поднимаются навстречу солнцу. Крохабенна предупредил, что пора в путь.

— Ты выйди к ним на бережок, — сказал он, — а то неохота, чтобы они тут мне возле дома всю зелень потоптали. Они же за тобой едут. А мне до них дела нет. Слишком долго я тут просидел один как перст.

Распростился он с Марком ласково и трогательно:

— Десятка полтора часов мы вместе пробыли, а полюбился ты мне. Не раз мне думалось и сейчас думается, что маху я дал, отрекшись, когда ты пришел, но тогда иначе я не мог. Теперь благословляю тебя. Дай Бог, чтобы тебе во всем повезло! Хотел бы тебе помочь, а не могу. А ты не смейся, не перечь. Тебе кажется, что ты силен. Сказал бы я тебе на прощанье: «Возвращайся сюда, когда там не справишься», да у тебя иной путь есть, на звезду, стоящую над пустынями, с которой сошли когда-то люди на Луну. Ты стараешься искупить вину наших праотцов, ты несешь нам силу и свет. Дай тебе Бог быть счастливее, чем они, и не найти здесь могилу, как им довелось.

С этими словами Крохабенна указал на курганы, одетые весенней зеленью.

Марк хотел ответить, но старик махнул рукой и скрылся в своем убежище. И побрел Марк на берег, раздумывая над странными речами старика.

А лодки были уже рядом. Можно было во всех подробностях разглядеть черные корпуса под ослепительно белыми парусами и стоящих на палубах людей. И тут Марку пришло в голову, что среди этих людей может оказаться Ихазель! Упоительная волна поднялась в груди. Да! Она наверняка там, совсем скоро спрыгнет на зеленую траву взморя и, улыбаясь, словно цветок, бросится навстречу! Он уже наперед почувствовал благодарность к ней за то, что плывет со словом привета, и бегом спустился с холма к пристани.

Но по сброшенным на берег сходящим спустился один Севин, клеврет первосвященника Элема, а следом несколько городских старшин. Марк тревожным взглядом окинул другие суда: там было множество чужих и незначительных людей, а также женщины из простонародья, они размахивали зелеными ветками и в склад пронзительно выкрикивали приветствия.

— Победоносец... — начал Севин, согнувшись в поклоне чуть ли не к лоджкам Марка.

— Где Элем? — резко прервал Марк.

— Его Высочество правительствующий первосвященник не смогли прибыть...

— Почему? Должен был явиться. Он мой слуга.

— У Его Высочества срочные дела, и...

Марк быстрым движением руки оттолкнул монаха и, не дослушав, прыгнул в лодку.

— Поднять парус! Полный вперед! — повелительно крикнул кормчему.

Кормчий оглянулся на Севина, оставшегося на берегу.

— Полный вперед, говорю! — повторил Марк.

Заскрежетали, натягиваясь, шкоты, лягнула рулевая цепь.

Севин проводил Победоносца взглядом, вместе со своими спутниками поднялся на другую лодку, и вся флотилия под развернутыми парусами потянулась следом к городу...

Прямо из бухты, врезавшейся в берег неподалеку от бывшей крепости шернов, Марк направился в собор, даже не ответив на приветствия толпы, собравшейся на берегу. Оказавшись в соборе, сразу же послал людей за Элемом. Первосвященник явился нескоро, лицо у него было ничуть не похоже на прежнее заискивающее и покорное. Правда, он и сейчас рассыпался в поклонах перед Победоносцем, называл владыкой и господином, но глаза, в отличие от слов, были полны высокомерия.

Вспомнилса Марку совет старика Крохабенны. Поглядел он на бывшего монаха и подумал, что и впрямь добрым делом было бы окоротить эту малявку, причем на голову, иначе он наверняка начнет мешать любым планам. Но отверг эту невольную мысль, понимая, что после такого начала с кровавой дороги уже не сойти.

Ограничился тем, что не ответил на приветствие и строго спросил, почему такая задержка.

— Победоносец, я правлю народом, и время у меня все занято, — ответил Элем. — Я считал, что тебе самому будет угодно явиться ко мне во дворец и доложить, как обстоят дела с походом.

У Марка в глазах потемнело от ярости. Однако он сдержался, всего-навсего схватил карлика за шиворот, как щенка, и поднял к своему лицу.

— Эй, ты! Поберегись! Может быть, это ты мне дожишь, что поделывал, пока меня не было? — сдавленным голосом сказал он. — Слух идет, ты тут с шерном договариваться вздумал?

Элем побелел от страха и бешенства в этом неудобном и жалком положении, но едва Марк, встряхнув слегка, поставил его на пол, спесиво ответил:

— Просто я догадался, Победоносец, что и ты не сдюжил против шернов, уж теперь-то я об этом все в точности знаю. Вот и хотел выиграть время.

Марк закусил губу.

— Ступай к себе, — сказал он. — И жди моих приказаний. Вскоре я тебя вызову. А сейчас я занят.

С этими словами он огляделся по сторонам, но только после ухода первосвященника спросил, где Ихазель, почему до сих пор не пришла поздороваться. Никто не смог ответить. Вместо этого доложили о побеге Авия. Марк встревоженно напрягся:

— То есть как это?

Вызвал людей, учинил допрос, но и тут не получил ясного ответа. От холопов стало известно, что внучка Крохабенны пытала шерна, но что произошло после ее ухода из подвала? Когда через несколько часов туда спустились люди с едой для шерна, они увидели пустые скобы на стене и перерезанные веревки. На полу рядом с догоревшим факелом валялся кинжал, который раньше видели в руках у Ихазели. Видимо, после ухода девушки, обронившей оружие, чудище как-то сумело дотянуться до него и перерезало веревки. Дверь была незаперта, так что теперь его ищи-свищи.

Мало было надежды на поимку беглеца, но Марк велел устроить облаву. Послал людей с собаками и приказал обшарить все скалистое побережье и заросли на склонах Отеймора. К облаве присоединился и Нузар.

Тем временем Победоносец сам пошел искать золотоволосую. Горничные сказали, что она у себя в комнатах, больна и не может никого видеть. Но Марк не обратил внимания на их слова. Оттолкнул служанок с дороги и распахнул двери.

Прошел по длинному ряду пустых и холодных комнат и наконец в последней, махонькой, нашел Ихазель. Она лежала на тахте, обнаженная, с распущенными волосами, только шаль вокруг бедер как-то странно узлом завязана. Увидев вошедшего Марка, даже не шевельнулась, только уставилась на него широко открытыми глазами в каком-то бессмысленном ошлбенении.

— Ихазель! Птичка моя золотая! — весело воскликнул Победоносец, протянув к ней руки.

Она беззвучно зашевелила бледными губами, еще шире глаза открыла, а они сухие какие-то, невидящие.

— Что с тобой? Что с тобой, девочка?

Он опустил на колени возле тахты и невольно спрятал лицо на ее почти детской, крохотной, лилейной груди.

Она слегка оттолкнула его рукой:

— Почему только нынче? Почему?..

Медленно встала, вышла в другую комнату и дверь за собой захлопнула на замок.

Изумленный Марк встал с колен. Горло сжалось, кровь ударила в виски. Миг стоял без движения, вдруг бросился к двери, за которой исчезла Ихазель, и замолотил могучим кулаком в филенку:

— Ихазель! Ихазель! Открой!

Никто не ответил. Он схватился за кованую дверную ручку и дернул. Дверь не поддавалась. Он обернулся в поисках чего-нибудь увесистого, чтобы высадить дверь, — и попятился в изумлении.

На пороге другой двери, у него за спиной, стояла Ихазель, спокойная, бледная, в платье до пят.

— Что прикажешь, владыка? — спросила странным голосом, срывающимся то ли от скорби, то ли от насмешки.

Марк ответил не сразу. Настолько чужой, настолько изменившейся показалась эта девушка, что он с трудом сумел связать нить своих воспоминаний с нынешним впечатлением.

— Что с тобой? — с трудом выговорил он.

— Что прикажешь, владыка? — повторила она, на этот раз с манящей улыбкой, только уголки губ как-то странно вздрогнули.

Марк шагнул к ней и сел на пол:

— Я велел тебе сторожить шерпа. Где он?

— Не знаю.

Она стояла вплотную к нему, почти касаясь бедром под легким платьем его колен. Медленным движением распустила ленту под шеей и распахнула цветную душистую ткань. Под верхней одеждой на ней ничего не было, как четверть часа назад, только бедра все так же стянуты широкой шалью.

И вдруг Марк почувствовал, что она берет его голову ладошками и прижимает к груди. Одурачивающий аромат ударил в ноздри, он закрыл глаза и голодными губами прижался к ее телу, одновременно чувствуя, как ее острые ноготки вонзаются ему в кожу за ушами. Хотел обнять ее — и

пошатнулся от толчка. Ихазель выскользнула из его рук. Он услышал переливчатый издевательский смешок и звук запираемой двери. В комнате опять, кроме него, никого не было.

Глава V

Как и предвидел старый первосвященник, установление новых законов давалось Марку туго. В единый миг все от него отшатнулось. Он с изумлением наблюдал, как отовсюду являются пртивники, даже из самых неожиданных мест.

Началось в тот же день, как он вернулся из заморского похода. Вскоре после полудня он созвал в соборе большое собрание, на котором хотел обрисовать и обнародовать план задуманных реформ. Толпа собралась немалая, однако с самого начала ее волнение отличалось от того набожного ожидания, которым прежде сопровождалось каждое выступление Победоносца. Раздавались голоса, что его следует призвать и потребовать от него отчета. Когда он поднялся на былой амвон первосвященников, его встретили возгласами, но восхваляли его только немногочисленные голоса.

Марк не посчитался с этим. Уж очень хотелось рассказать, как он собирается устроить жизнь на Луне перед возвращением на Землю. Движения руки не достало, тишины пришлось потребовать голосом. Начал он с перечисления зол, с которыми следует покончить. Говорил о несправедливом неравенстве перед законами, которые одним позволяют слишком много, а других стреножат на каждом шагу, говорил о рабстве, неприкрытом и куда более худшем, скрытом, из-за которого большинство тяжко трудится в нищете, увеличивая богатство сытых, говорил о притеснении женщин, об отсутствии просвещения, о власти, систему которой необходимо изменить, на будущее отобрать власть у самоуправствующих церковников и передать народу, чтобы тот сам по справедливости решал собственную судьбу.

Народ слушал довольно мирно, лишь изредка прерывал неясным гулом, но только Марк собрался перейти к созидательной части выступления и развернуть план исправления существующих порядков, как кто-то неожиданно громко спросил, что дальше будет с заморским походом. И словно это было заранее договорено, по этому сигналу поднялся страшный шум. Крик не прекращался, и Марку не давали говорить, несмотря на все его попытки. Но еще удивитель-

нее оказалась внезапная тишина, воцарившаяся, как только поднялся Элем, до той поры молча сидевший на высоком троне под колоннами.

Элем выступил как бы в защиту Марка. Вначале он обратился к народу с просьбой уважительно выслушать слова Победоносца, потому что среди них, без сомнения, много спасительных и полезных. Он сам, Элем, хоть и поставлен от народа (именно так он выразился) в правительствующие первосвященники, не осмелился бы нынче говорить, если бы не был убежден, что его слова продолжают мысль Победоносца, который его поставление с самого начала признал и освятил.

У Победоносца, продолжал он, множество заслуг, достойных живейшей благодарности. Хотя военный поход на юг, несмотря на великую отвагу преданного войска и беззаветную жертвенность народа, не щадившего живота и имущества своего, не удался так, как этого следовало ожидать, однако отвоеван порядочный кусок земли, и если шерны в будущем соизволят держаться мирно, там можно будет основать новые поселения.

Вот и нынче Победоносец выступает с кое-какими проектами, уж выслушать которые в любом случае следует. Правда, тем, кто хорошо знаком с условиями на Луне, все это представляется чересчур смелым и излишним, но ведь, с другой-то стороны, Победоносец — он властелин, которому дозволено подвергать испытаниям благо и счастье народа, даже самым опасным испытаниям, когда и как это ему будет угодно.

А закончил он так:

— Однако вижу, что нынче вы не расположены слушать советы и рекомендации благословенного Победоносца, и поэтому я приказываю вам разойтись по домам, а мы потом назначим вам срок для повторного собрания.

Народ с криком и шумом повалил из собора.

Марк был настолько изумлен содержанием речи и ораторскими уловками Элема, что даже не прерывал его. Сидел на амвоне и с интересом смотрел на первосвященника, как тот, разглагольствуя, то и дело на лету поглядывает на Севина, который стоит поблизости в смиренной позе и изредка поддакивает малозаметными кивками. Но после того, как раздались воскваления в адрес первосвященника и народ быстро оставил собор, не проявив никакого желания слушать поучения Марка, Победоносец быстро подошел к Элему и, протянув руку, остановил его, совсем уже собравшегося уходить.

— Как прикажешь понимать? — грозно спросил Марк.

— Разошлись, — просто ответил Элем, как будто он здесь ни при чем.

— Это твои штучки, твои происки! Я прикажу прилюдно отхлестать тебя кнутом, чтобы все знали, за кого я тебя держу, пес!

Первосвященник побледнел.

— Вели, Победоносец, — сказал он. — Но только потом не жди от народа послушания.

Видя, что в соборе почти никого не осталось, Элем ударился Марку в ноги:

— Владыка! Ты неправо упрекаешь и судишь нижайшего слугу твоего и пса, который тебе по-прежнему верен. Ты же сам видел, что нынче народ неспокоен и рассеян, я не хотел, чтобы твои слова пали на неподготовленную почву. Я боялся, что, если тебя хоть раз хоть в чем-то не послушаются, святое вселунное уважение к тебе потерпит ущерб, тем более недопустимый, что это всему народу был бы грех. Я правильно поступил, когда позволил черни разойтись. Когда ты решишь, что пора, ты сам ее созовешь.

Ни на секунду не заблуждался Марк насчет подлинных намерений Элема, но не мог отказать ему в правоте относительно того, что это первое собрание не было настроено дружественно выслушать его планы. Но, будучи глубоко и сердечно заинтересован в проведении реформ во что бы то ни стало, он выбрал иной путь, который в тот момент показался наиболее верным. А именно: он созвал своего рода комитет, состоящий из самых разных представителей местной знати, который должен был под его началом и без лишнего шума выявить все недочеты и наметить новые установления. Таким образом они выглядели бы принятыми по воле самого народа, а не навязанными извне, пусть бы и пришельцем с Земли.

Элем устранился от участия в этой комиссии, отговариваясь невозможностью согласовать это со своим положением и обязанностями, а вместо себя прислал Севина, которого обязал постоянно присутствовать и отчитываться перед первосвященником. Но более всего задело Победоносца решительное самоустранение Крохабенны. Старик воспротивился настолько, что ни к чему не привели все усилия уговорить его. Он решил никуда не трогаться с Кладбищенского острова, а в ответ на все настояния твердил одно:

— Устал я от долгой жизни и не хочу лезть туда, где и без меня обойдется. Оставьте вы меня в покое.

Наконец Марк сам отправился к нему с уговорами. Крохабенна сказал:

— Сынок, я тебе еще пригожусь. Пока пусть обходится без меня. Если когда-нибудь понадобится поддержать тебя, а так оно, наверное, и будет, потому что намерения у тебя хорошие, то меня по крайней мере не обвинят в том, что я отстаиваю собственных рук дело.

Работа комиссии подвигалась не слишком проворно. С самого начала обнаружилось множество затруднений, почти непреодолимых. Иногда у Марка возникало впечатление, что чья-то рука у него за спиной только тем и занята, чтобы превращать в ничто все, что только он ни сделал бы или ни вознамерился сделать. Но он решил держаться. По крайней мере, до поры до времени. Только морщился и все чаще возмущался, не замечая, что его гнев оказывает на людей с каждым разом все меньшее действие.

А вокруг начали твориться странные дела. Незвестно кем распространяемые, о работе комиссии стали расползаться преувеличенные и искаженные слухи, заранее настраивающие народ против всего, о чем там только ни договаривались. Говорили, например, что имущество будет поровну поделено между всеми гражданами, а кому не хватит, тех попросту зарежут. Говорили, что размеры семейств будут ограничивать и для этого топить лишних младенцев. Говорили, что власть первосвященника будет отменена, а вместо него будет править тайный совет, имеющий право заочно приговаривать к смерти любого несогласного. А женщинам дадут такую свободу, что даже верность мужьям они обязаны будут не соблюдать. И выворотней уравниют в правах с людьми.

Эти и им подобные рассказы кружили повсеместно и злили народ. А все попытки Марка положить им конец били мимо цели.

Одновременно начались разговоры о появлении пророка Хома, который чудесным образом выскользнул из первосвященнической темницы и, насмехаясь над самыми ревностными попытками первосвященника изловить беглеца, ходит в народе и проповедует, что Победоносец вовсе не Победоносец, а грешный самозванец, которого не следует слушаться. Хома-де призывает верующих к покаянию и собирает толпы, кочующие вслед за ним из поселка в поселок.

Не теряло времени и Братство Истины. Неясно каким образом, но оно лишилось лучших своих сочленов и, предполагая, что в этом повинен «некий г-н М.», повсюду насадивший своих шпигов и убийц, с тем большей энер-

гией взялось восстанавливать народ против Марка. В определенных кругах громко говорили, что Марк — шарлатан, который сманивает людей на гибель в заморском краю, чтобы отвлечь их внимание от поисков рая на другой стороне Луны. Поскольку после потери Роды, Матарета и их сотоварищей мало-мальски ученых людей в Братстве не осталось, все прочие стали распространять уж вовсе ни с чем не сообразные фантазии. Вообще отрицали протяженность Великой пустыни на все противоположное полушарие, утверждая, что она лишь узкой полосой окружает чудеснейшую, плодороднейшую и благодатнейшую страну.

Вдобавок, и из-за моря поступали худые вести. Постоянно тревожимые шернами молодые колонии все время требовали пополнения в людях и запасах оружия, ничего не давая взамен родному отечеству.

Обескураженный неудачей дела, за которое теперь держался только из упрямства, Марк с тем большей тоской искал живую душу, с которой мог бы говорить искренне и откровенно. Вокруг были одни враги, многочисленные и тайные. Друзей было мало, и все они были раздражающего свойства, потому что неизменно считали его сверхчеловеком, отчасти божественной природы. Он оказался в более чем странном положении, загнанный в порочный круг принудительной лжи. Сказать своим немногочисленным приверженцам, что в действительности он такой же человек, как и они, означало потерять последних союзников. А те, ради кого он, в сущности, прежде всего трудился — самые бедные, обездоленные и бесправные, — со все большей охотой прислушивались к шептунам и, то ли боясь потерять милость власть имущих, в свержение которых не верили, то ли попросту не разумея своего добра, ни в чем не хотели поддерживать Марка.

В определенные часы он собирал немногочисленную рать своих друзей и, помышляя о зернах, которые останутся тут посеяны после его отъезда, беседовал с ними о всеобщем благе, укреплял духом и поучал.

Ихазель не принимала участия в этих сборищах. Она изменилась до неузнаваемости. То откровенно избегала Марка, то как бы в приступах умственного расстройства дразнила его чувства затем, чтобы внезапно исчезнуть с издевательским хохоточком. А Марк действительно все больше нуждался в ее обществе. Чем страннее, чем более дико она себя вела, тем более тосковал он по той Ихазели, какой знал ее в самом начале.

Не хотел сам себе честно признаться в том, что эта

девушка — одна из причин, может быть главнейшая, которая заставляет его оставаться на Луне и не торопиться с отлетом.

Однажды, после резкой стычки с Элемом, который, чувствуя за собой чуть ли не всенародную поддержку, даже видимость покорности перестал проявлять, Марк поднялся на кровлю собора отдохнуть и полюбоваться видом на море. И неожиданно застал там Ихазель. Она стояла в задумчивости, опершись на парапет. Море внизу рокотало так шумно, что заглушило звук его шагов. А может быть, Ихазель настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила его прихода.

Только когда он приблизился к ней сзади на расстояние своей вытянутой руки, она внезапно обернулась и громко вскрикнула от страха.

Она стояла в углу и не могла ускользнуть, не пройдя мимо Марка, и поэтому съежилась там и смотрела на него испуганным взглядом. Марк сделал шаг назад, освобождая ей дорогу:

— Ихазель, уходи, если хочешь.

— Я должна уйти, — чуть ли не шепотом сказала она, потупилась, но не двинулась с места. Вид у нее был болезненный, но мирный, как в былые времена, когда она проводила здесь долгие часы, слушая его удивительные рассказы о Земле и других звездах.

— Что с тобой? — помолчав, спросил Марк тихим и нежным голосом, словно боясь ее спугнуть.

Она не ответила, только плечи задрожали, а на ресницы выкатились две крупные слезы и медленно пробежали по бледным щекам.

Марк взял ее за руку и легонько привлек поближе. Она не противилась и села на указанную каменную скамью. А он, по своему обычаю, лег прямо на кровлю, подставил ладони под подбородок и долгим взглядом посмотрел ей в глаза. Некоторое время она выдерживала этот взгляд, только зрачки словно мутнели и пригасали, но наконец опустила глаза.

— Ихазель, почему ты меня избегаешь? — начал он. — Ты мне так нужна.

Она слегка пожала плечами.

Он продолжил:

— Когда-то ты была рядом, как птица райская непуганая, готовая сесть на плечо. Ты была так близко, рукой подать.

Она подняла на него печальный взгляд:

— Что ж не подал, Победоносец?

— Не знаю. Сам не знаю. Может быть, не было мне так худо, как теперь, может быть, не чувствовал себя таким одиноким. Нынче мне приходится перед врагами притворяться сильным, приходится перед друзьями отрекаться от своей человеческой природы. А ведь, хотя я родился на далекой Земле, хотя я больше вас ростом и больше знаю, я такой же человек, как и вы, и я одинок. Ихазель, не оставляй меня!

— Поздно, — беззвучно сказала она. — Слишком поздно. Тогда ты мог заполучить меня навечно. А теперь я так далеко от тебя, что дальше не бывает. Уходи, пока есть время. Беги на Землю.

Он протянул к ней руки — она их отвела.

— Зачем же ты меня так обидел? — заговорила она, помолчав, со странной ожесточенностью в голосе. — Почему так помыкнул? Почему не смотрел на меня, когда я была у тебя перед глазами, почему сразу прочь не прогнал, а дозволил...

Она осеклась и окинула его безумным взглядом. Губы искривились от злой усмешки.

— Не по пути нам с тобой, Победоносец, — сказала она. — Может, я и есть душа народа лунного и нельзя было меня из рук выпускать? А ты проглядел и тянешь теперь руку за птицей, которая ой как далеко улетела! И теперь ты, Победоносец...

Она засмеялась сухо и скверно.

— Ихазель!

— Прочь! Видеть тебя не хочу! И не могу!

И повторила, падая на колени:

— Не могу!

В глазах у нее явился жуткий страх. Она с мольбой протянула к нему руки:

— Смилуйся ты надо мной! Уйди! Уйди! Чтобы мне больше тебя не видеть! Не помнить!

Марк медленно встал. Безграничная печаль пала на душу и почти парализовала движения. Краткий миг постоял перед Ихазелью в милосердном и добром стремлении протянуть к ней руки. Беспредельная усталость навалилась на плечи. Он отвернулся и медленно побрел к лестнице, ведущей вниз. Ихазель слышала, как удаляются его шаги по каменным ступенькам...

Он ушел, а она распласталась на каменных плитах и зарыдала. Тряслась, как лист на ветру, билась головой о камень, волосы и одежду на себе рвала.

Но постепенно успокоилась. Некоторое время лежала без движения, как мертвая, только редкие судороги, пробегающие по плечам, свидетельствовали, что она жива. Наконец встала — как загипнотизированная, с мертвенно-бледным лицом и посиневшими губами. Глаза широко открыты, под ними темные круги, на гладком лбу вертикальная судорожная морщина. Автоматическими движениями рук начала приводить себя в порядок, поправлять платье, приглаживать волосы.

Наконец спустилась в собор. Победоносец разговаривал с группой людей, среди них был командир дворцовой охраны первосвященника. Разговор шел на повышенных тонах, Марк не заметил девушки. Она остановилась в сторонке и прислушалась.

Речь шла об ужасных происшествиях, которые с недавнего времени начали тревожить город и окрестности. Без видимых причин гибли люди, чаще всего одиночки, отдавшиеся от дома, но случалось, что обнаруживали целые семьи, перебитые прямо в жилищах. На всех — синие отметины от прикосновения убийственных рук шерна. Не подлежало сомнению, что это дела беглого Авия, который скорее всего где-то прячется и при случае выходит на охоту. Выставляли патрули, устраивали облавы, обыскивали каждый уголок окрестностей, целые районы, каждый куст, каждую расщелину в приморских скалах, и все напрасно.

А чудище не иначе как пряталось где-то поблизости. Об этом свидетельствовало поле его действий, которое ограничивалось главным образом городом. Население было беззащитно перед этим таинственным бедствием, которое нависло над ним вечным страхом. И обвиняло во всем Марка. Ведь это он держал Авия взаперти, не позволив расправиться с ним на месте. И Марк понимал, что этот один-единственный прячущийся шерн опаснее целой стаи в заморской стране, где с ними по крайней мере можно было сражаться в открытую. Но средства сладить с бедой придумать не мог.

Никто не предполагал, что зверь сумел найти среди людей добровольного помощника, но он мог добиться этого угрозами, и люди начали подозревать друг друга. Каждый смотрел на соседа с недоверием и страхом. И наконец всеобщая ярость обратилась против Нузара, постоянно находившегося при Победоносце. Не иначе как он, выворотень проклятый, прячет Авия и служит ему. И его следует убить,

но перед этим взять на дыбу и вынудить признание, где прячется шерн.

Именно с этим и пришли сейчас к Марку. Требовали, чтобы он выдал Нузара. Ихазель слышала, как Марк решительно воспротивился. Он разрешил лишь на время задержать выворотня и посадить под стражу, чтобы посмотреть и убедиться, не состоит ли шерн в связи с ним и не попадется ли, оставшись без пособника. Но на пытку он, Победоносец, не согласен. Более того, он до глубины души убежден в невинности выворотня, который, как пес, неотлучно состоит при нем.

Пришедшим этого явно было мало, назревала ссора. Ихазель, слегка усмехнувшись, вышла из собора, направляясь в свои покои.

Но, оказавшись в переходе, она внезапно свернула направо и, убедившись, что за ней никто не следит, всем телом навалилась на одну из каменных плит в стене. Плита поддавалась, открывая темный проход в стене, и закрылась, как только девушка исчезла за ней.

Ихазель бежала в полной темноте, на ощупь отсчитывая камни, торчащие из стены через каждые несколько шагов. Насчитала семь, еще раз свернула вправо и стала шарить руками по влажному полу. Нашупала край отверстия и первую ступеньку лестницы, ведущей вниз. Спустилась по ней и, покружив в извилистых переходах, оказалась в обширной естественной пещере, освещенной слабым дневным светом. Пещера тянулась под садом, расположенным между собором и берегом моря. Свет проникал через несколько расщелин в крутом береговом обрыве.

В роду первосвященника существование этой пещеры держали в строгой тайне, о ней сейчас никто не знал, кроме внучки Крохабенны. Стоя в огромном гроте, полном фантастических сталактитов, она трижды хлопнула в ладоши. По этому знаку из бокового ответвления появился шерн Авий. На плечах у него была багряница, на голове — золотой обруч первосвященников, низко надвинутый на лоб, по самые надглаза.

Ихазель начала трястись всем телом, а он, похожий на диковинного царственного злого духа, подошел и протянул к ней ужасные белые ладони. Девушка стояла в оцепенении, опустив руки, а шерн принялся раздевать ее. Швырнул наземь богатую накидку и платье с шитьем, наконец сорвал нижнюю белую рубашку, развязал шаль, которой были обмотаны бедра, и на лилейных, атласных

боках девушки обнаружили мерзкие отпечатки его обжигающих рук.

Ихазель упала ничком, а он распростер широкие черные крылья, ступил ей одной ногой на светлую голову и запустил когти в рассыпчатое золото ее волос.

Глава VI

Как гром, поразила Марка весть о гибели Крохабенны. Дела подвигались хуже некуда, и Марк решился на последнюю попытку, прежде чем покинуть Луну. Решил призвать Крохабенну выйти, наконец, из добровольного заточения и поддержать Марковы начинания всей силой своего авторитета. Но тут рыбак, служивший посыльным у старого первосвященника, сообщил, что Крохабенна мертв. Причем убит, говорил рыбак, дрожа всем телом.

В первую минуту Марк подумал, что это преступление совершено по приказу Элема, несмотря ни на что опасавшегося давнего соперника. Как буря, ворвался Марк во дворец, выволок трясущегося от ужаса монаха с какого-то заседания, начал ругать его и грозить немедленной смертью. Былой монах, ни о чем не зная, онемел с перепугу, но, когда наконец понял, в чем дело, то выказал такое изумление и так искренне поклялся в своей невинности, что Марк не мог ему не поверить. И отпустил Элема, пригрозив, что расследует дело и, если обнаружит хоть тень вины монаха, то ни стража, ни народ не остановят кары, такой ужасной, что, пока Луна существует, люди будут содрогаться при воспоминании о мести Победоносца. А себе велел подать лодку, чтобы съездить на Кладбищенский остров и на месте увидеть все, что только удастся.

Был прекрасный утренний час, когда Победоносец с тем рыбаком и еще одним гребцом подплыл к маленькой зеленой пристани, где когда-то сошла на берег Ихазель, в первый раз выбравшись к деду. Воздух был необычайно тих, на берегу были видны кусты и диковинные деревья, опустившие в воду ветви, словно в задумчивой печали. Под ними из зеленой муравы торчала косая каменная плита, то ли как обломок стены, то ли как гигантское надгробие. Возле нее и причалили. Марк выпрыгнул на берег первым и, пока его спутники были заняты креплением цепи к торчащему из воды столбу, заторопился наверх.

Под плитой в вытоптанной траве что-то сверкнуло. Марк

остановился и поднял с земли золотую застежку от платья с кусочком ленточки. Застежка была небольшая, плоская, с рисунком и камешком посередине. Марк узнал безделушку, которую прислал когда-то Ихазели из первой добычи, взятой у шернов.

Тем временем двое его спутников, зачалив лодку, пустились вдогонку за ним. Марк быстро спрятал застежку за пазуху, и они все втроем пошли по тропинке между холмами к гроту Крохабенны. Поблизости от грота им преградили дорогу собаки. Собаки были голодны, они одичали и стали кидаться на людей, особенно на Марка, хотя прежде относились к нему дружелюбно. Успокоить их словами не удалось, Марк замахнулся на одну из них палкой, а в это время другая прыгнула ему на грудь и впилась зубами в рубашу. Марк отшатнулся, но в пасти разъяренного животного остался клочок оторванного полотна. И вдруг обе собаки, оставив Марка в покое, свирепо принялись терзать оторванный клоч. Из тряпки выпала в пыль золотая застежка с кусочком пурпурной ленты.

Но Победоносец этого не заметил. С облегчением избавившись от собак, он бегом заторопился ко входу в пещеру. В двух шагах в глубине лежало переброшенное навзничь через глыбу тело Крохабенны. Остекленевшие глаза вытаращены, рот открыт в последнем крике. Не подлежало сомнению, что на него напали внезапно и убили, прежде чем он успел защититься. Крови нигде не было видно, не было следов удара на голове. Марк приказал раздеть тело, чтобы найти смертельную рану. Но едва расстегнули рыжий кожаный плащ, оба помощника в страхе попятились. На теле оказались отвратительные синие пятна, такие бывают у тех, кто погиб от рук шернов. Марк молча закусил губу.

Быстро вырыли могилу между курганами, где опочили первые люди на Луне. Тело завернули в полотнище, найденное в пещере, засыпали землей и навалили сверху обломки скал, чтобы голодные собаки не добрались до покойника.

Этот обряд Победоносец совершил в молчании и молчал весь обратный путь, пока лодка по плавной волне направлялась обратно в город.

На пристани ждали с вестями, в его отсутствие пришедшими из-за моря. Вскоре появились и гонцы, отправленные Еретом. Они прибыли на рассвете, но, по их словам, их задержала охрана первосвященника и не пропустила к Победоносцу. Письмо Ерета у них отобрали, и, хотя потом освободили, передать теперь они ничего не могут, поскольку не знают, что было в письме. Могут только рассказать, что

видели собственными глазами, а не так уж это много и не слишком приятно.

Марк взял гонцов с собой в собор, чтобы там поговорить без лишних ушей. По пути от пристани его удивило необычное движение в городе. Сновали какие-то люди, окидывая Победоносца враждебными и пугливыми взглядами, на площадях собирались кучки, но стоило к ним приблизиться, кучки рассеивались. Однако Марк не придал этому большого значения, он был занят мыслью о Ерете и о предстоящем рассказе гонцов.

Главные двери собора оказались заперты. Марк вошел через боковые, не такие крепкие, чтобы противостоять его могучему плечу. И этому не придал значения. Видимо, просто не знали, что он вернулся, и держали его жилье закрытым перед нежелательными посетителями.

Оказавшись с глазу на глаз с гонцами в обширном зале позади главного, он сразу принялся расспрашивать о судьбе оставленных за морем гарнизонов и делах прибывших туда поселенцев. Там шла ожесточенная война: тревожимые постоянными набегами шернов, не смевшими вступить в открытый бой и затеявшими партизанскую войну, люди вынуждены были отступить с дальних постов, сосредоточив силы на охране малой части завоеванной страны. Ерет задумал создать сомкнутую цепь гарнизонов, находящихся в постоянной связи и расположенных в укрепленных городках, но для этого нужны были люди, люди и еще раз люди, а их-то и недоставало, несмотря на большой наплыв из прежних мест. Тем временем отбивались, как могли, время от времени устраивая набеги на шернов, чтобы и те побаивались. Но людей все это утомляло, у них опускались руки. Хватало таких, кто громко говорил, что эти неблагоприятные места надобно бросить и, как можно быстрее, возвращаться на родные пепелища за море.

Якобы именно об этом писал Ерет в пропавшем письме. А устно наказал передать Победоносцу, чтобы тот, несмотря ни на что, не тревожился за плоды своих трудов, потому что пока он, Ерет, жив, страна оставлена не будет. И велено просить Победоносца, чтобы творил благо в старых поселениях и прежде возвращения на Землю установил там обещанные законы.

Выслушав гонцов, Марк задумался. Они собирались в обратный путь с партией поселенцев, и он обещал им дать письмо к Ерету, наказав, чтобы обязательно доставили. И взялся за перо.

Вспомнилось все, с чем тут приходилось воевать, вспом-

нилось, как каждый раз ему связывают руки люди, враждебные новым порядкам, так что гаснет надежда сделать что-то хорошее, не применяя силы. А применять силу не хочется.

«Я рассчитывал на помощь и авторитет Крохабенны, — написал он в конце, — но старика уже нет в живых. Он таинственно погиб, мне кажется, от рук еще тобой повязанного шерна, которому каким-то странным образом удалось бежать. Теперь я один, и передо мной два пути. Либо бросить все и возвращаться на Землю, либо призвать тебя с немногими нашими товарищами по оружию и навести здесь порядок, устранив всех, кто мешает делу. Колеблюсь и не знаю, какой путь избрать. Мне грустно. Вряд ли твоя обида на меня прошла, но тебе я верю, потому что знаю: ты предан не мне, а делу. И верю, что по моему зову ты придешь. И будешь на моей стороне. Но не уверен, следует ли решаться на такой поступок».

Затем Марк изложил план нового порядка, который хотел ввести.

«Если случится так, что мне придется покинуть Луну, так ничего и не довершив, — написал он в заключение, — пусть по, крайней мере, после меня здесь останется то, что рассказано немногим друзьям и о чем написано в этом письме к тебе. Когда настанет подходящее время, приходи, собери всех моих друзей и верши начатое. Быть может, и впрямь нужно, чтобы все сделали вы сами, а не я за вас, гость с далекой звезды. Больше ничего пока сказать не могу. Дни у вас тут долго длятся, и прежде окончания нынешнего многое может измениться и многое разрешится само».

Письмо он отдал гонцам. А те поспешно простились с ним. Их путь лежал на запад, в тамошние прибрежные поселки, откуда они собирались ночью вернуться на юг.

После их ухода Марк запер двери собора и задумчиво заходил по залу. Все четче прояснялось, что наступила последняя возможность испробовать иной путь, чем тот, которому он до сей поры следовал, если он не хочет признать свое поражение и отступить. Ведь наверняка у него нашлось бы много последователей, если бы не козни Элема. Прав был Крохабенна: надо было не ждать, не выискивать предлогов, а вернувшись из-за моря победителем, сразу же приказать казнить Элема. Или по крайней мере посадить в тюрьму. Может быть, тогда все обернулось бы иначе.

Марк стиснул зубы и насупил брови.

— Да! Либо я, либо он! — громко сказал он сам себе. — Иного выхода нет.

И пожалел, что прямо не вызвал сюда Ерета с вооруженной дружиной. Опять проволочка напрашивается. Но в конце концов подумалось, что и сам справится. Откинул упавшие на лоб волосы, высоко поднял голову и направился к дверям собора.

С площади доносился гул собравшейся толпы. Его уже довольно давно можно было расслышать, тем более, что иногда из толпы долетали шумные и протяжные возгласы, но погруженный в мысли Победоносец даже их пропустил мимо ушей. Только откидывая железные засовы, Марк обратил внимания на это многоголосие, но не вдумался, откуда оно доходит и что означает, довольствуясь тем, что народ собрался и не будет нужды никого созывать, чтобы выступить с речью.

Уверенным шагом он вышел на паперть и громко потребовал тишины, потому что хочет говорить. И действительно воцарилась гробовая тишина, но лишь на мгновение. И не успел он открыть рот, со всех сторон, подобно реву бушующего моря, раздалась нестройные крики.

Немногое удалось расслышать, слуха достигали только отдельные громкие выкрики, но все они были враждебны. Поминали об убийстве Крохабенны, о шерне, натравленном на народ, о войске, покинутом на погибель, а из уст сторонников пророка Хомы и приверженцев Братства Истины то тут, то там звучали прямые оскорбления.

Марк спокойно смотрел на толпу и думал о том, что поднимется, когда он вызовет Элема и у всех на глазах расправится с ним. Было ясно, что ни на чью помощь, ни на чье послушание рассчитывать не приходится, скверное дело придется исполнить собственными руками. К этому он был готов. Бросил взгляд в сторону, где на крыльце нового дворца как раз появился Элем, окруженный челядью и клевретами. Набрал полную грудь воздуха, чтобы шумнуть на него, как на пса, призываемого к ноге, готовый в случае непослушания проложить дорогу сквозь толпу и сгрести Элема, как щенка.

И вдруг почувствовал беспредельную грусть и бессилие, как это часто бывает после приступа гнева. Бесцельность задуманного, бесцельность всех вообще его усилий живо предстала перед глазами. Осталась только тоска, которой не вычерпать, не развезть, тоска, кричащая в душе, как малое дитя, тянущее ручонки к матери. На Землю, на Землю!

Он сел на камень, служивший раньше первосвященни-

кам вместо амвона, и окинул толпу бездумным усталым взглядом. Та неизвестно почему притихла, а он скорее сам у себя, чем у этого скопища, спросил:

— Что вам нужно от меня?

Видимо, программа этого всенародного волеизъявления была заранее разработана опытными режиссерами, потому что смута постепенно стихла. В толпе засуетились какие-то люди, они успокаивали чернь и выстраивали отдельные группы. И вот к паперти одна за другой потянулись депутации. Шли торговцы, шли отдельно землевладельцы, шли священники, они же судьи в своих поселках, шли хозяева предприятий, пекари и мясники. А за ними всевозможные ремесленники и крестьяне, весь день надрывающиеся по жаре, городские мастеровые, рыбаки, ныряльщики за жемчугом и даже дикари-охотники с лесистых склонов Отеймора. Не забыли и о женщинах: собранные в особую группу, они пугливо приближались к ногам Победоносца, локтями подталкивая друг дружку.

Марк, не шевелясь, смотрел на это пестрое шествие, и на некоторое время показалось, что перед ним не явь, а воспоминание о чем-то давно виденном и пережитом, словно он был уже на Земле и лишь мыслью странствовал по лунному миру.

И даже удивился, когда услышал обращенные к нему голоса. Старшие из купцов и землевладельцев остановились перед ним, простерли руки и возопили:

— Победоносец! Даруй нам прежний мир наш! Оставь нам имущество, накопленное от деда-прадеда! Не рушь благосостояния!

А за ними уже подступали церковники, крича хорошо поставленными голосами, привычными к пению перед народом:

— Победоносец! Могучий пришелец с Земли! Не касайся законов, которые мы творили веками! Не отдавай власти в руки темных и неопытных!

Все припадали к его стопам, все просили об одном: пусть все остается как было. Хозяева фабрик не хотели перемен в заработной плате, говоря, что это их разорит и уничтожит всякое дело. Рыбаки и охотники возражали против взносов на общее пользование. Городские и сельские ремесленники умоляли не гневить власть имущих, от которых зависит их жизнь и малый заработок, а иначе они просто с голоду помрут. И наконец упали ему в ноги женщины, упрашивая сохранить их прежнюю женскую честь, то есть подчинение мужьям, домострой и тайные грешки.

С печалью и горечью слушал Марк все эти речи, а его глаза далеко поверх склоненных к его ногам «уполномоченных» искали в толпе людей, которые думают иначе, которые готовы своим выступлением дать отпор самозванным верховодам. Он чувствовал, что если увидит таких, то невзирая на усталость и давящую грусть встанет и ногой расшвыряет всех этих «припадающих к стопам», скликнет друзей, которые вместе с ним пожелают двинуться вперед...

Но видел тупые лица, яростно и нетерпеливо ждущие его ответа, видел подученных и замороченных, видел готовых на открытый бунт, если их просьб не услышат. Даже жаждущих, чтобы не слышали, предвкушающих, как и всякий сброд, крики, оскорбления, рукоприкладство и смуту.

Горько засмеялся в душе и взглядом, полным презрения и жалости, окинул ораву просителей. Перед ним были убогие лукавцы, мутные глаза, в которых не было даже искры фанатизма, мясистые губы и торчащие скулы духовно недоразвитых людей.

Охватило отвращение и жуткая, невыразимая, жгучая тоска. На Землю! На Землю! Безжизненным жестом руки он отогнал прочь теснящихся к его ногам заводил, готовых в лукавой покорности целовать его одежду.

— Уходите! Поступайте, как вам будет угодно. Я возвращаюсь на Землю.

Крик радости прозвучал в ответ. Но Марк не стал слушать и быстро ушел подальше в собор.

Но в покое его оставили ненадолго. Явились послы от первосвященника, прося прощения, что, занятый делами, не смог явиться он сам. Но им-де велено от его верховного святейшего имени выразить сожаление, более того — отчаяние, по случаю намерения благословенного Победоносца так быстро покинуть Луну. И велено спросить, каковы будут указы, которые первосвященник готов исполнить немедленно с обычным послушанием и покорством.

Слушая эти лукавые речи, Марк даже не рассмеялся. Ему было все равно, хотелось только побыстрее избавиться от надоевших и опротивевших людишек. И он ответил, что никаких указаний Его Высочеству не будет, кроме одного: пусть ему дадут гонцов, пусть отправят их в Полярную страну предупредить охрану машины, что завтра он туда явится. Сразу после прибытия из-за моря туда были посланы верные люди, но их все нет и нет, и неведомо, все ли там поддерживается в надлежащем порядке, как было прежде приказано.

После ухода послов, не откладывая, стал собираться в

путь. Привел в порядок записи, собрал фотографии, упаковывал все это не спеша и систематически. Времени до отъезда хватало: остаток дня и целая ночь. Вспомнилось, как думал взять с собой шерпа и нескольких лунных людей. Усмехнулся. Шерп улизнул, а здешние люди у него и так в печенках сидят.

Вот Ерета взял бы с собой, но Ерет нужней всего здесь. Слишком хорошо он, чтобы его на Земле выставлять напоказ. Смешная мысль пришла: может, Элема взять и в клетке показывать? Но мигом выбросил из головы эту детскую ехидную придумку. Сел и подставил ладонь под подбородок.

Вспомнил Элема таким, как увидел его впервые: в серой монашеской рясе, бритоголового, с горящими глазами фанатика, вместе с живыми и мертвыми ждущего Победоносца в нерушимой вере, что тот явится... Неужели теперешний Элем — это тот самый человек? А остальные? А все те, кто ждал? Кто молча веровал? Крохабенна, встречая сказал: «Ты разрушил все, что было. Так строй же теперь...» Что же произошло?

Он вскочил и схватился за голову, так вдруг стало страшно. Ясно представилось то, что прежде только изредка и смутно угадывалось: его появление на Луне не благословением обернулось, а невознаградимой, ужасной катастрофой, каким-то наглым вмешательством в естественное, медленное развитие этого мира и людей, так-сяк здесь прилепившихся. Именно оно поставило здесь все вверх тормашками, развязало страсти, болезненно обозначило худшие инстинкты...

Пожал плечами:

— Что поделаешь? Видимо, так должно было случиться.

Но сам понимал, что эта фаталистическая фразочка — только ответ вслух на подавляемую мысль, которая утверждает обратное.

И эта мысль...

Ихазель!..

Да, это имя давно в нем плачет, с той самой минуты, как он подумал об отлете как о деле решенном.

— Птичка ты моя золотая!

Такая тоска взяла, что зубами в запястье себе впился, чтобы не закричать.

— Прости меня, прости, — зашептал, словно Ихазель была здесь. Не мог ясно сказать, за что просит прощения, в чем состоит его мнимая или действительная провинность, но понимал, что речь идет о гибели грез, пленительнейших, чем все радуги в мире, об осквернении попросту тем, что

рукой не коснулся, к груди не прижал, о растраченной, а может быть, и погубленной жизни, о любви...

Какая-то себялюбивая мыслишка неустанно подсказывала, что ничего худого он не сделал и незачем ему знать, отчего и в чем переменялась эта девушка, но вопреки этой подсказке он знал, что только от него зависело сохранить Ихазель благоуханным цветком, а превратилась она во что-то непостижимое и отталкивающее.

Надеялся, удастся справиться с душевным разладом хлопотами по подготовке к путешествию и доброй мыслью о Земле, но дело валилось из рук, а воспоминания о Земле перед внутренним взором застилало мертвым серым туманом.

Так и прошло время до самого вечера. Солнце багровело над чертой горизонта. Он смотрел на это солнце сквозь заалевшие оконные витражи, но стук в двери, сперва негромкий, а потом все более настойчивый, заставил отвлечься от раздумий. Марк встал и отворил двери.

Перед ним стоял Элем в торжественном облачении, в древнем высоком клобуке, с двумя паникадилами в руках. У него за спиной на крыльце и на паперти толпилась пестрая свита из придворных и городских старшин, переходившая в бесчисленную толпу, которая залила всю площадь. Едва Марк появился на пороге, первосвященник бухнулся на оба колена, взмахнул паникадилами, и Марк оказался в густом ароматном дыму. Вслед за Его Высочеством бухнулась на колени свита. Народ, который из-за тесноты стать на колени не мог, склонил головы, приветствуя Победоносца протяжными криками.

А первосвященник, не переставая кланяться, запел:

— Благословен буди, владыка, с Земли явившийся, радость очей наших, на Землю уходящий! Ай-я!

— Ай-я! — жалобно подхватила толпа.

— Благословен буди, Победоносец, шерна поразивший и силу рукам человеческим подавший! Плачут наши сердца, о, на Землю уходящий! Ай-я!

— Ай-я! Ай-я! — стенала толпа.

— Мир ты нам даровал, мудрость исходила из уст твоих ради нашего просвещения! Почто же покидаешь нас, сирот несчастных, почто так скоро уходишь на лучезарную Землю? Ай-я!

— Ай-я!

— Благодарствуем тебе...

Марк отвернулся и ушел в собор, захлопнув тяжелые двери.

На крыльце его ослепило солнце, светившее прямо в

лицо, и теперь он почти ничего не различал в сумраке, заполняющем огромный зал. И сам не понял, то ли действительно, то ли это ему кажется, что у черного амвона с золотой надписью стоит Ихазель. Давно он ее не видел, с того самого памятного свидания на кровле. Он медленно подошел к ней:

— Ихазель! Я возвращаюсь на Землю.

— Знаю, что собираешься.

В сумраке стали видны ее глаза, полные ужаса, какие-то безумные, и усмешка, криво замершая на губах.

— Ихазель!

Она быстро оглянулась. За амвоном раздался едва слышный шорох.

С застывшим лицом, словно руководимая чужой волей, она дрожащими, негнушимися пальцами стала расстегивать платье на груди.

— Иди сюда.

И вдруг всплеснула руками.

— Нет! Нет! Беги! — воскликнула сдавленным голосом. — Зови людей! И уходи! Сжался надо мной! Сжался над собой! Беги! Возвращайся на Землю!

Он схватил ее за вытянутую руку:

— Ихазель, что с тобой?

Снова раздался шелест. Ихазель побледнела, в глазах у нее мелькнул жуткий страх.

— Иди сюда, — беззвучно сказала она. — Укрой лицо свое на груди моей, склонись ко мне. Мое тело благовонно и прекрасно, как смерть...

В этот миг открылись боковые двери. В собор робко вошло несколько человек. Увидев их, Ихазель издала вопль, не понять, то ли ужаса, то ли радости, и бросилась прочь. Марк хмуро обернулся к вошедшим. А они смиренно приблизились с приветственным поклоном:

— Буди здрав, учитель!

То были его немногочисленные ученики, пришедшие попрощаться, их печаль была искренней. Марк сел на пол у подножия амвона и заговорил с ними. Вдруг почудилось, что позади в сумраке промелькнула какая-то черная тень и вмиг исчезла у перехода в старый дворец, но то не иначе как почудилось.

Ученики плакали. Он утешал их, объясняя, что должен уйти, что дальнейшее пребывание добра уже не принесет. Что он верит: они — зерно, оставленное тут для посева, который спустя многие века непременно принесет урожай. Уймутся страсти, забудется вражда власть имущих против

него, как только он исчезнет с глаз. И еще он очень устал и стосковался по дому, а тот заждался хозяина на сверкающей звезде над Великой пустыней...

Ученики стали расспрашивать его о многих вещах, советоваться, как им себя вести после его ухода, и просить у него обещания непременно вернуться.

Так они беседовали тихими голосами в сгушающейся темноте, когда снова раздался стук в дверь. Испуганные голоса призывали Победоносца. Марк неохотно встал и пошел отворить.

На пороге с искажившимися от страха лицами стояли гонцы, недавно отправленные в Полярную страну.

— Владыка, твоей машины нет!

Марк в первый миг не осознал этого ужасного известия.

— Что-что?

— Твоей машины нет, владыка! — повторили они.

Не иначе как это известие уже успело распространиться, потому что город выглядел охваченным смутой и тревогой. На площадях и улицах толпился народ, громко и удивленно толкуя об исчезновении машины Победоносца.

Марк стоял как громом пораженный, не в силах вымолвить слова.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На Луне имеются три подробных описания смерти человека, при жизни носившего прозвище «Победоносец», явившегося неизвестно откуда во времена первосвященника Крохабенны, а в дни правления его преемника Элема подвергнутого публичной казни. Первое из этих описаний и, как представляется, наиболее раннее было составлено во времена правления Сефина, который, приказав удавить своего предшественника Элема, занял затем первосвященнический престол. В то время Победоносец еще не был объявлен святым. Почитать его в качестве пророка и великомученика Сефин распорядился лишь под конец своего правления.

Второе описание, значительно более позднее, принадлежит перу историка Ошипки, выдающегося ученого, который в течение многих лет был президентом Братства Истины.

Что касается третьего описания, то мнения специалистов разделяются: одни приписывают ему весьма почтенный возраст, утверждая, что оно составлено одним из друзей и учеников казненного Победоносца; другие, в свою очередь, полагают, что оно возникло в сравнительно недавнее время на основе устной традиции, которая поддерживалась в течение многих поколений.

Все три описания более или менее совпадают в передаче хода событий, связанных с гибелью так называемого «Победоносца», но настолько по-разному оценивают сам этот персонаж, что мы сочли необходимым привести все три, не отдавая своего предпочтения ни одной из версий.

Ниже мы приводим их в не вызывающем особых споров хронологическом порядке, так что на первое место естественно выдвигается описание времен первой половины правления первосвященника Сефина.

**Правдивое повествование о позорной казни
подлого преступника, который подделывался
под Победоносца, предсказанного пророками,
и за свое шельмовство понес суровое
и заслуженное наказание**

Прочитай и скажи себе: первосвященник Элем справедливо был удушен по приказу Его Правительствующего Высочества и Святейшества Севина, ибо много зла творил; в том числе не последним было призвание в страну самозванного Победоносца и роспуск святого ордена Братьев в Ожидании, каковой только первосвященник Севин по ходатайству благословенного старца и пророка Хомя заново учредил и, отдав в прямое повиновение правительствующему первосвященнику, навеки оберег от неблагомысленных поползновений. При том Элеме, да будет имя его забыто, заслуженно был предан смерти некто, именовавший себя Победоносцем, но предан не по мудрому слову недостойного, затесавшегося в первосвященники, а по воле народа, приведенного в негодование его низким поведением. Сказанный некто, чинив неоднократно смуту в стране и ввязав народ в обременение войны с шернами, которая только благодаря величайшей отваге и самоотверженности обманутых поддельным Победоносцем ратей поражением не закончилась, притворился, что хочет вернуться на Землю, откуда он якобы явился, по его собственным словам, хотя всячески более правдивым представляется, что был он выворотень громадного роста, который замыслил ценою человеческой крови добыть себе власть над шернами, а когда это не удалось, то покушался на господство над людьми. О нечистом его происхождении верно свидетельствует та правда, что он с яркой охотой окружал себя выворотнями и даже содержал одного по кличке Нузар, каковой остался ему верен до последнего издыхания, вместе с ним смерти преданный; а шернов, с каковыми хотя и воевал, всячески щадил, уж не иначе как по врожденной склонности.

Итак, сказанный некто, когда ему не удалось добыть себе власть над шернами, притворился, что хочет вернуться на Землю, предполагая, что народ его силой удерживать станет, называя благодетелем своим и опекуном, так что он тою недорогою ценою заполучит единоличную власть над всеми коленами рода человеческого. Но умысел его сорвался, и, кроме недостойного, в первосвященники затесавше-

гося и в тайном сговоре с ним состоявшего, никто даже и не думал уговаривать его остаться, тем паче что уже видно стало, сколько зла может проистечь народу от его коварных и неразумных нововведений.

А он устроил притворство якобы торжественного прощания, а сам тем временем послал людей в Полярную страну, где раньше воткнул торчком здоровенную и никчемную железную трубу, толкуя легковверным, что внутри есть машина, на каковой он якобы с Земли явился, чтобы на ней же и возвратиться. А людям тем наказал, чтобы они глянули, есть ли что внутри той трубы, в середине, и чтобы немедленно дали ему знать, если ничего там не найдут. И назначил день прощания так, чтобы посланные к этому дню успели воротиться.

Воротились они и донесли ему, что в трубе той ничего нет, а мнимый Победоносец об этом сам прекрасно знал наперед, но когда донесение услышал, то притворился огорченным и начал кричать, что машину у него-де украли и что он теперь не может на Землю вернуться. Все это было подстроено и разыграно ради того, чтобы люди думали, что он остается на Луне против желания и якобы только поневоле. И чтобы это больше походило на правду, некоторое время притворялся, что якобы в жестоком отчаянии пребывает, и даже хочет новую машину построить, но у него-де ничего не получается.

Но вскоре обнаружились его тайные замыслы. Ибо как только через некоторое время понял он, что потерял бывшее уважение у народа, так притворство и видимость добродетели отбросил и явился во всем бесстыдстве истинной своей сущности перед людьми, которые ничего кроме доброты ему не оказывали.

И созвал он большое сборище, а когда народ более от любопытства, чем от послушания, там собрался, он речь произнес и объявил, что, вынужденный остаться на Луне, он сложа руки сидеть не хочет и будет творить дело, якобы назначенное ему судьбой, от какового прежде, мол, отступился ввиду случившихся затруднений. Теперь, однако, мол, у него выбора нет и колебаться он не будет, а исполнит то, что задумал в свое время, и если не выйдет добром, то силой. А его все обязаны слушаться, потому что он так хочет.

С того времени он и начал показывать, кто он таков и на что способен. Сыскал себе душегубов и, когда его коварных и глупых законов новых никто принять не пожелал, принял народ притеснять и страхом вынуждать послушание.

В прежнем святом храме, который он осквернил, в свое жилье превратив, устроил он себе двор, составленный из таких же злодеев, каков был сам, и с их помощью надеялся вскоре завладеть всею лунною страной, где только люди проживают. Но всюду ему противлялись, и оттого он постепенно пришел в ярость. Жестокосердный и распущенный, начал он кровью обозначать предел властвования своего. Никто при нем не чувствовал себя в безопасности. Он все хотел переменить и никому не давал пользоваться правами от отца и прадеда. Отобрал у достойных людей пажити урожайные, якобы собираясь устроить на них крестьянские общества, а по-настоящему только затем, чтобы ослабить имущих власть, которые могли бы ему успешно прекословить. Развел смуту на всех фабриках и приказал черной кости, чтобы денег за жилье не вносила, поскольку, мол, каждый имеет право на крышу над головою. Но черная кость по большей части умнее его оказалась и против благодетелей своих, домовладельцев, не пошла, зная, что это ей оставаться здесь, а не Победоносцу мнимому, который себя величает защитой бедноты, а сам роскошествует на награбленном добре.

Ни в чем себе этот срамник не отказывал, а особенно в любодееях с женщинами. Жила в то время отроковица одна по имени Ихазель, внучка предыдущего первосвященника Крохабенны, задушенного, говорят, по приказу того Лжепобедоносца. Сказанная отроковица, чья память ныне справедливо почитаема за целомудрие ее великое, имела несчастье попасться на глаза самозванцу и подвергалась всяческим приставаниям от него. Но мужественным сердцем противилась ему всячески, так что ни силой, ни угрозами не вынудил он ее поддаться.

Сказанная твердость духа отроковицы довела его до такого помешательства и бешенства, что ради наверстанья упущенного начал он зазывать к себе разных женщин, большей частью не строгого поведения (но и добропорядочным от него проходу не было), и, якобы возвращая их к добродетели, он такие мерзостные оргии с ними устраивал, что подробности перечислять не приличествует. Через тайных своих шпионов дознавался, какие из женщин побывали в лапах у шернов и выворотней потом рожали, и с охотою их к себе зазывал, в этом нечистом окружении постоянно пребывая.

И следует знать, что кроме отборных выворотней, из каковых он более всех отличал сказанного Нузара, он держал при себе и шерна, бывшего правителя именем Авия.

И тот Авий злокозненный, какового он в подземелье храма прятал так, что долгое время о том никто не догадывался, по его приказу выходил по ночам и убивал людей, а также чинил всяческие непристойности. И только после казни сказанного Лжепобедоносца это обнаружилось.

Но вот переполнилась чаша терпения человеческого. Должно было непременно избавиться от посрамления и скверны той. Давно уже говорили о том достойные граждане и в один голос с ними пророк Хома, вдохновенный свыше старец, что призывал к священной войне с самозванцем. Но поскольку, однако, напрасного кровопролития никто не хотел, предвидя, что сказанный Лжепобедоносец будет защищаться, то было решено схватить его обманом, а лучше так сонного, и связанным представить на суд.

Не иначе как учуял преступник, что готовится, ибо накануне той ночи, когда собирались осуществить задуманное, он вышел со всем своим двором из храма и вознамерился уйти из города, говоря, что направляется в безлюдные места, где устроит свое государство так, как ему то видится.

Однако ему не позволили совершить это, справедливо опасаясь, что его государство еще худшим злом и большей опасностью сделается для мира и порядка, чем самое близкое соседство шернов.

И должным образом свершилась судьба сказанного преступника на том самом месте, где он столько мерзостей учинил. Ибо закрыли перед ним городские ворота, чтобы не выпустить его, а когда он хотел взломать их силой (а силы он был необычайной), то подбежали к нему подученные люди, якобы от первосвященника посланные, и призвали как можно быстрее возвратиться во храм, поскольку там старшины от народа и сам первосвященник желают повести с ним полномочные переговоры. Он не слишком в то поверил, ибо за пояс себя потрогал, где свой огненный бой постоянно держал пристегнутым, но не иначе как устыдился свою трусость показать или брать с собой людей для охраны, ибо превыше всего гордился своей силой величайшей. Но не желая отвергнуть того призыва, чтобы не говорили, будто он против мирного соглашения, о каковом только и делал, что разглагольствовал, приказал он своим прихвостням ждать его при воротах, а сам направился в собор, взяв с собою одного выворотня Нузара, будто верного пса.

Однако недалеко ушел, ибо в узком переулке из-за угла внезапно набросили на него веревки и сбили его с ног. Он

защищаться пытался и крикнул выворотню Нузару, чтобы тот призвал его прихвостней, оставшихся у ворот, но он не знал, что те уже окружены и схвачены военной силою. Сказанный выворотень как бешеный пес на людей кидался, а когда ему руки за спиной связали, кусал зубами, кого только доставал.

Тем временем Лжепобедоносец лежал на земле, веревками опутанный, и с места не мог двинуться, но люди боялись к нему приблизиться, такой он страх вызывал огромностью своего вида. Но убедились наконец, что он попался и связан так крепко, что освободиться не может, шевельнуться не может и зла никому больше причинить не может. И тогда осмелели и приблизились к нему, а иные стали пинать его ногами и за чуб дергать на огромной голове, лежащей бесчувственно на мостовой.

И суд решили устроить в тот же день, чтобы еще до вечера наконец покончить с тем вопиющим к небесам посрамлением. Затесавшийся в первосвященники от участия в суде отговаривался, ибо, наверное, совестился, что не кто иной как он сам сказанного преступника и святотатца в столицу привел. И пожелал, чтобы в суде его заменил Севин, который в то время еще не был первосвященником. Севин, человек неслыханного ума и добродетели столь же великой, сколько и скромности, долго уклонялся, но наконец по прямому принуждению собрал суд из достойных и старших граждан, вывел судей на площадь перед оскверненным святым храмом и приказал доставить схваченного.

И доставили его на возу, оплеванного и избитого, потому что не решились ему ноги развязать, справедливо опасаясь, что он может убежать или выкинуть еще какое-нибудь неожиданное озорство. Так что приволокли того, кто себя в Победоносцы спесиво произвел, наваленным на возу, как распоследняя вязанка хвороста.

Когда узрел его Севин, то поспешно встал со своего места, возвышенного над всеми прочими судейскими местами, и громко сказал, что он своим умом судить этого человека не желает, но желает услышать, какова будет над связанным воля всех собравшихся.

А народу собралось на площадь видимо-невидимо. И пришел также святой старец Хома, который уж подлинно совсем плохо видел, но еще кое-как слышал (он только потем оглох, как известно). И сказанный пророк, когда услышал, что Лжепобедоносца судить привели, так, в ту же минуту от Бога вдохновленный, начал кричать, что такого

преступника даже судить неуместно, а следует немедленно побить камнями по общей воле. И тут же со всех сторон поднялся крик, чтобы узника выдали народу, у которого ему и награда готова по делам его шельмовским.

Его Честь и Превосходительство Севин долго выслушивал эти призывы молча, взвешивая умом и сердцем, как надлежит ему поступить. И наконец, когда те, не только не утихая, но все настойчивей стали требовать выдачи преступника, сделал Севин знак рукою, чтобы дозволили ему говорить. И сказал примерно таковые слова:

«Премного уважаемые граждане и земляки мои! Собраны мы здесь судьями по велению Его Высочества Правительствующего Первосвященника для разбора дела вот этого человека, выдачи которого вы домогаетесь.

Намерением нашим было кропотливо исследовать дело, беспристрастно выслушать ваши заявления и свидетельства и даже речь сего несчастного в свою защиту, чтобы лишь после этого вынести приговор, а каков он был бы, я и сам прежде такого разбора не ведаю. Но все мы лишь слуги народа, и ваша воля — вот наивысший закон для нас. А вы в своем суровом гневе не желаете суда и не позволяете нам произвести дознание принятым порядком. Не смею судить, насколько ваша воля справедлива и истинна, ибо я всего лишь ваш слуга.

Как же мне следует поступить? Одна возможность мне дана, и знаю я, что едино со мною полагают и остальные судьи: смиренно выслушать ваше веление и исполнить, что велите. Итак, отдаю подсудимого в ваши руки. Поступите с ним по вашей совести и по вашему разумению, а я лишь умоляю вас проявить к нему милосердие.

Поэтому пусть забудут хозяева, что он хотел лишить их имущества, пусть забудут именитые, что он покушался на их извечные права, пусть забудут мужья, как бунтовали их жены по его наущению, пусть забудут отцы о позоре своих дочерей и отраве в сердцах юных отпрысков, каковую он всюду сеял. Пусть верующие простят ему осквернение святой веры, пусть бедняки не зачтут ему искушение и неисполнение безумных посулов, а солдаты пусть не мстят за кровь своих товарищей, напрасно пролитую на дальнем заморском скудоземье. Помните, что он, быть может, хотел добра, что, быть может, суд его оправдал бы, дозволив вы суду заседать, как положено, особенно если учесть, что и Его Высочество с охотою защитил бы своего бывшего друга и опекуна, благодаря которому принял клобук после вашего

отца Крохабенны, вперед изгнанного, а после злодейски умершвленного.

Однако вы пожелали иначе, и да сбудется ваша воля! Но вовек не забывайте, что то не мы сейчас судим человека, именуемого Победоносцем, а вы сами за это беретесь. Творите угодное вам, а я умываю руки и в его крови не повинен, да падет она на вас и на головы ваших детей, если таково ваше желание!»

С этими словами превосходительный Севин закрыл лицо полою плаща и так оставался молча некоторое время; когда же он убрал с глаз завесу, Лжепобедоносца на возу уже не было. Народ набросился на него, привязал к его ногам канаты и поволок головой о камни на морской берег, где есть место, именуемое Пристань Доброй Надежды. Там был вкопан в песок огромный столб. Со Лжепобедоносца сорвали одежду (пришлось ее разрезать, потому что побаивались ослабить узы) и нагим привязали к столбу так, чтобы он не мог шевельнуться.

Вместе с ним привели и его любимого выворотня по имени Нузар. Обещали ему, что отпустят живым (ведь никто не обязан держать обещания, данные выворотню), если он деревянным ножом распорет живот своему бывшему хозяину. Однако выворотень отказался сделать это, неразумно веря, что его хозяин, если только пожелает, и столб из песка выдернет, и поубивает всех. Не стали тратить на него время, а поставили вниз головой и закопали в песок так, чтобы он, подыхая, всем на потеху дрыгал торчащими вверх ногами.

И стали держать совет, какую бы смерть предназначить пресловутому Победоносцу, а тот висел на столбе уже как мертвый, даже глаза закрыты, потому что он не желал видеть смерти своего выворотня.

Разные люди предлагали разные мучительства, так что никак не удавалось прийти к согласию. Тем временем черная кость сначала для развлечения, а потом со все большею яростью начала метать в него камни. Он сперва открыл глаза и задержался, будто хотел освободиться, но, не иначе как убедившись, что с узами ему не справиться, повис в оцепенении и ждал смерти, что-то неразборчивое бормоча.

Все это тянулось очень долго, потому что череп у сказанного Лжепобедоносца был крепкий и кожа много толще, чем у обычных людей, так что камни не причиняли ему большого ущерба. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы по доброму наитию туда не пришла сказанная отроковица по имени Ихазель.

А та, придя, стала в толпе против побиваемого так, что он, открыв глаза, увидел ее. И такова была в нем нечистая страсть к этой отроковице, что он начал звать ее по имени.

И вышла из толпы Ихазель и подошла к нему вплотную. И перестали метать камни, чтобы нечаянно не поранить ее. И спросила отроковица: «Победоносец, что тебе нужно от меня?» И с этими словами выхватила нож, а поскольку была небольшого роста, то встала на кончики пальцев ног и принялась колоть его ножом в то место, где у людей находится сердце. Тяжкий труд ей выпал, потому что, как сказано, кожа у него была толстая, но в конце концов справилась Ихазель.

А когда испускал он последний вздох, на крыше оскверненного святого храма, которая хорошо была видна, показался шерн, которого сказанный преступник там прятал, о чем до той поры никто не знал. Распростер крылья в воздухе шерн и, поняв, что погибает его могучий покровитель, метнулся в сторону чащоб на склонах Отеймора и там исчез без следа.

В тот же день к вечеру исчезла с глаз людских и отроковица Ихазель. Более чем вероятно, что в награду за свое целомудрие она была взята живой на Землю, где обитает Старый Человек и живут добрые духи, что покровительствуют человеческому семени на Луне, и откуда явится в свое время Победоносец истинный, да случится это как можно скорее!

Так скверно кончил зачинщик такой смуты на Луне, какой ни до него, ни наверняка после него никто не учинял и не учинит. Отсюда поучение великое и спасительное, что властям следует во всем покорным быть и ни в коем случае не верить тем, кто новшества сулит, а сам подбивает людей на дурное и от кого человеческому роду одни лишь неурядица.

Г л а в а II

История так называемого «Победоносца»

(отрывок из ученых записок профессора Ошипки)

...Одной из наиболее загадочных фигур в нашей истории, вне всякого сомнения, является Марк, по прозвищу «Победоносец», хотя большая часть сведений о нем, по сей день бытующих среди простого народа, явно относится к

вымыслам гораздо более поздних времен и не имеет ничего общего с исторической действительностью... Например, рассказывают о его огромном росте, более чем в два раза превышающем максимальный, зарегистрированный на Луне; о его богатырской силе, благодаря которой он в одиночку мог управиться за шестерых носильщиков, — и тому подобные небылицы, свидетельствующие только о том, как щедр народ на всякие преувеличения и как в своих легендах готов раздуть до невероятных размеров куда как более скромную действительность, когда речь идет о персонаже, который занимает его фантазию. Однако, несомненно, «Марк-Победоносец» был рослым и сильным человеком отличного телосложения; эти особенности врожденной конституции закрепились в народной памяти как представления о его великанстве и богатырстве.

Необычайно интересен вопрос о времени возникновения сказки о его земном происхождении. Когда она возникла: еще при его жизни или через некоторое время после его трагической гибели? Многие говорят за то, что уже во времена его деятельности в столице лунных стран среди простого народа, одурманенного путанymi церковными легендами о прибытии людей на Луну с Земли много веков тому назад, шепотом рассказывали друг другу, что этот, иначе не сказать, выдающийся человек точно так же прибыл со звезды, представляющей собой наиболее интересный феномен на небосклоне нашей планеты. Лично я, однако, не думаю, что подобные рассказы о себе распространял сам Марк; он был достаточно умен, чтобы не делаться легкой добычей для насмешек. Максимум, я склонен допустить, что своим безучастным отношением к складывающейся легенде (в той мере, в какой он был о ней осведомлен) он в известной степени не мешал ей прививаться и разрастаться, видя в молве о своем внелунном происхождении определенные выигрышные моменты. Такое безучастное отношение, с одной стороны, не компрометировало его в глазах просвещенной прослойки, а с другой стороны, в глазах толпы придавало ему значительный авторитет.

Как бы то ни было, вопрос о происхождении этой удивительной личности до настоящего времени остается открытым. Она появляется внезапно, — причем, насколько можно доверять легенде, не где-нибудь, а в Полярной стране, то есть в отдалении от населенных мест, — привлекает на свою сторону Братьев в Ожидании, затем прибывает в столицу на Теплых Прудах, свергает правящего

первосвященника Крохабенну и без промедления берет в свои руки все рычаги управления.

Притом никто не знал эту личность ребенком, никто не знает, где она воспитывалась и каким путем приобрела широчайший запас знаний, который во многом обеспечил ее первоначальный успех. Предположение, что Марк был по происхождению выворотнем, представляется мне маловероятным. Выворотни, как правило, не отличаются умственными способностями, и трудно поверить, чтобы кто-то из них оказался в силах самостоятельно осуществить изобретения, не известные даже шернам, как, например, изобретение огнестрельного оружия, которое, вообще говоря, приписывается именно ему.

С уверенностью можно сказать, что он вырос не в местах расселения людей. А поскольку всякий разумный человек изначально отвергнет рассказы о его чудесном прибытии с Земли, которая, как известно, является небесным телом, неизмеримо далеким от Луны и лишенным всяких форм жизни на своей блистающей поверхности, не остается ничего другого, как признать непреложным фактом издавна выдвинутому Братством Истины гипотезу о том, что родиной Марка-Победоносца была противоположная и доселе не доступная для нас сторона нашей планеты.

Ибо не подлежит ни малейшему сомнению, что там, в некогда плодородной и богатой области, находится прадавняя родина человечества. Первым высказал эту догадку преждевременно погибший мудрец Рода, который в своих письменных трудах убедительно доказал не только то, что Земля не является колыбелью человечества, но и факт, что там никогда не было и не может быть никаких живых существ. Однако позволю себе не согласиться с мнением досточтимого основателя Братства Истины относительно поводов, склонивших часть людей к переселению на эту сторону нашей планеты, много столетий тому назад занятую шернами. Отец-основатель наших наук Рода Премудрый считал, что под легендарной личиной Старого Человека кроется некий изгнанник, высланный из цветущих стран на той стороне за совершенные преступления, а Марка-Победоносца, кстати, своего современника, рассматривал просто как агента, засланного оттуда с целью спровоцировать здешнее население на войну с шернами, начавшими беспокоить население тамшнее и его цветущие владения, скрытые в недрах наружно неосвоенной пустыни.

Притом, что я весьма высоко ценю авторитет Роды и ни на минуту не сомневаюсь в серьезности поводов, которые

заставили этого замечательного ученого высказать вышеперечисленные соображения, во имя истины я обязан решительно назвать его гипотезу в высшей степени непродуманной. Древние человеческие владения в глубинах Великой пустыни в наши дни ни в коем случае нельзя считать цветущими. Тамошние условия существования постоянно ухудшаются, растет скученность населения, причем особенно в результате наступления пустыни на малые по размеру плодородные оазисы, где имеют место достаточные средства для поддержания жизнедеятельности. Так что так называемый Старый Человек прибыл оттуда не один, а во главе целой экспедиции, целью которой была оценка целесообразности полномасштабного переселения на нашу сторону.

Почему это намерение не было осуществлено и почему в течение нескольких веков вслед за первой экспедицией не были направлены другие, в данный момент я не могу достоверно объяснить. Возможно, тогдашняя пустынность здешних мест и трудные начальные условия жизни отпугнули привыкших к комфорту обитателей древних поселений в недрах пустыни. Тем не менее немногочисленная группа участников экспедиции Старого Человека осталась на месте и, разросшись, основала как бы второе человечество на Луне, не имеющее с первым никаких точек соприкосновения.

Только через несколько столетий в древних поселениях, по-видимому, припомнили о былой экспедиции и направили сюда Марка-Победоносца с целью ознакомления с обстоятельствами и повторной оценки возможности переселения в наши места ввиду постоянно ухудшающихся условий существования в Великой пустыне.

Что же увидел Марк? Он увидел, что страна завоевана шернами и что, прежде чем переселяться в этот край, необходимо покончить с ними, раз и навсегда устранив угрозу попасть к ним в рабство. Так у него возникла мысль о завоевательном походе на юг, мысль, кстати сказать, не такая уж бесплодная. В результате похода была завоевана значительная территория, на которую были выведены колонии. И хотя со временем эти колонии попали в зависимость от шернов, однако они по сей день представляют собой предполье северной страны, обеспечивающее мир себе и нам ценой не слишком тяжелого, хотя и не слишком приятного оброка.

Полагаю, что по окончании войны Марк-Победоносец действительно собирался вернуться к себе на родину. Предание о машине я не считаю вымыслом. По-видимому, в его

распоряжении имелся некий механизм, способный парить в воздухе. На нем он прибыл из пустыни, на нем рассчитывал вернуться, однако механизм был либо украден, либо испорчен.

С этого и началась трагедия Марка.

В ином разделе настоящих записок, посвященном военной истории нашей ветви рода человеческого, я подробно анализирую события времен Южного похода. А здесь вкратце изложу обстоятельства, предшествовавшие и сопутствовавшие падению и гибели этой в свое время высоко превознесенной креатуры.

Все, что делал Марк-Победоносец, преследовало одну единственную цель, а именно подготовку почвы для переселенцев из пустыни, которые должны были последовать за ним. Как уже было сказано, именно поэтому он затеял войну с шернами, именно поэтому изгнал энергичного первосвященника Крохабенну и старался сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Его ставленник первосвященник Элем простаком, однако, не был. Первоначально оказывая Марку всестороннее содействие, он, вероятнее всего, питал определенные надежды, — возможно, после отбытия Победоносца, — воспользоваться всеми плодами его правления.

Тем временем со все большей силой начало проявляться враждебное отношение к пришельцу, вызванное главным образом тем, что он посягнул на извечные и священные законы, составляющие основу порядка жизни на Луне. Правда, никто не догадывался, что это делается с целью разрушения правовых связей, ослабления власти имущих и тем самым облегчения завоевания страны. На этот раз — сородичами Марка. Но возмущение нарастало изо дня в день.

Не желая оказаться несправедливым по отношению к и так уже третируемому в определенных кругах Марку-Победоносцу, должен высказать здесь одно соображение. Что касается побудительных мотивов его новаторских усилий в области правовых отношений, в научной среде господствует преимущественно высказанная точка зрения. Но имеются и оппоненты, выступающие в защиту Марка и не усматривающие злой воли в этих его начинаниях. Они считают вероятным, что этот человек, не имея предосудительного намерения ослабить и отдать на разграбление местную общину, пытался завести в ней порядки, по его убеждению, благие и обязательные у него на родине, но, однако, не учел иноприродности здешних отношений, со всей неизбеж-

ностью означавшей, что правила и нормы, вполне уместные в пустыне, здесь оказывались губительны.

На какое-то время я воздерживаюсь от окончательного разрешения спора. Но, так или иначе, не подлежит сомнению, что Марк готовил почву либо для завоевания здешней общины, либо для мирного слияния разъединенных общин на Луне. И потерпел крах.

От него напрямик потребовали, чтобы он покинул эти места и незамедлительно убрался туда, откуда пришел. Он готов был так и поступить, вероятно надеясь вскоре вернуться вместе со своими земляками, но тем временем его транспортное средство было повреждено. Рассказывают, что известие об этом привело его в отчаяние. Вначале он отказывался в это поверить и лично отправился в Полярную страну, где его аппарат хранился в металлической оболочке (как утверждают, эта оболочка и по сей день находится там, наполовину изъеденная ржавчиной).

Убедившись в неприятной истинности этого известия, Марк возвратился в столицу на Теплых Прудах, и это послужило причиной его окончательной гибели. Если бы он сразу поселился где-нибудь в отдаленной местности или перебрался на территории, захваченные в ходе войны с шернами, он, вероятнее всего, мирно дожил бы до относительно глубокой старости. Однако этому помешал его неукротимый нрав. Он желал властвовать, причем любой ценой. Если не при помощи своих сородичей, то лично. Властвовать и в соответствии со своими представлениями оказывать благодеяния народу, который вовсе не нуждался в подобном пастырстве.

Он поселился в местном храме и оттуда принялся отдавать распоряжения. Не очень-то их исполняли, и тогда он, окружив себя немногочисленной, но готовой на все горсточкой сторонников и некоторым числом товарищей по оружию времен Южного похода, стал навязывать свою волю силой.

Неизвестно, правда ли то, что говорится об оргиях, которые он устраивал у себя в доме. Но образ жизни, который он вел, во всяком случае, не пришелся по душе местному населению, которое было склонно рекомендовать пришельцу, обреченному на постоянное жительство в инородной среде, большую долю сдержанности и скромности.

Первосвященник Элем, позже, как известно, удушенный по приказу своего преемника Севина, к подобному повороту событий отнесся отрицательно, но, будучи мудрым и осто-

рожным человеком, опасался открыто выступить против самозванца. Он старался держаться в тени, в то же время исподволь побуждая народ к протестам. Причем преимущественно при посредничестве того же Севина, в ту пору своего доверенного лица, а также некоего Хомы, всецело преданного ему старца, впоследствии кое-кем объявленного пророком.

В конце концов дело дошло до того, что в любую минуту могла всплывать открытая междоусобица. Видимо, понимал это и Марк-Победоносец, поскольку собирал все силы, на какие только мог рассчитывать. Он даже написал несколько писем некоему Ерету, в то время правителю территорий, захваченных у шернов. Указанный Ерет, человек большой личной отваги, но не отличавшийся умом, вообще говоря, недолюбливал Марка, войдя с ним в конфликт на личной почве еще во время Южного похода. Но делу затеянных Марком реформ Ерет был всецело предан и по призыву Марка проявил готовность собрать отряд молодчиков, скорых на расправу.

Марк-Победоносец с надеждой поджидал прибытия Ерета, как вдруг получил известие о гибели последнего в пути от рук неизвестного убийцы. Утверждают, что Ерет пал жертвой нападения случайного шерна, но высказываются и догадки, что к этому убийству приложил руку первосвященник Элем, обоснованно опасавшийся подхода подкреплений к Марку и вспышки гражданской войны.

Довольно и того, что надежды безрассудного пришельца рухнули. Наконец-то он понял, что, всеми покинутый, при небольшой горсточке сторонников, он, хотя сам себя и называет Победоносцем, в действительности ни на какую победу рассчитывать не может, и принял решение покинуть окрестности Теплых Прудов. Но этому воспрепятствовали. Марк был хитростью захвачен, связан и предстал перед судом.

Некоторое время длился спор о том, кому вести судебное разбирательство. Первосвященник Элем, вообще говоря, неохотно высказывал собственное мнение и, кроме того, в какой-то мере опасался обвинений в том, что теперь судит человека, которого сам отчасти привел и провозгласил Победоносцем. Поэтому он всячески уклонялся от участия в судебном процессе и хотел взвалить это дело на плечи Севина. Задумано было умно: народ переменчив в своих симпатиях, и Элем, видимо, предвидел, что казненного нынче — завтра прославят, и хотел продемонстрировать свою непричастность к его осуждению, действуя через клев-

рета. Вдобавок, Севин становился неудобен и даже опасен. И, как я считаю, первосвященник руководствовался задней мыслью когда-нибудь использовать против слишком усилившегося клеврета приговор, вынесенный по делу Марка, приговор, который, в соответствии с тогдашней волей народа, мог быть только смертным.

Однако Севин оказался не менее хитер, чем Элем. Разгадав игру, он сумел повести дело так, что приговор был вынесен не судьями, а народом. И пошел гораздо дальше, а именно: вскоре после казни Марка-Победоносца, используя непопулярность имени казненного и самоуспокоенность Элема, составил заговор, объявил Элема сообщником Марка, организовал его арест и приказал удавить, после чего провозгласил первосвященником себя. Однако это не мешало Севину в преклонные годы объявить Марка великомучеником, достойным благодарной памяти за всевозможные добрые дела.

В рассказах о мученической кончине Марка-Победоносца много преувеличений. А действительность такова, что его по стародавнему обычаю побили камнями на берегу моря. То есть отнюдь ни в чем не переходя за рамки законодательства в отношении лиц, поднимающих руку на общепризнанный порядок вещей, и не проявляя чрезмерной жестокости. Есть сведения, что последний, смертельный удар ножом в сердце нанесла ему внучка бывшего первосвященника Крохабенны, отплатив таким образом за смерть своего деда, вероломно убитого по приказу Марка.

Если бросить целостный взгляд на весь этот инцидент, с одной стороны, спорный, но с другой стороны, развивавшийся абсолютно прямолинейно и логично, и попытаться высказать по этому поводу однозначные и не вызывающие кривотолков суждения, то они окажутся более или менее таковы:

1. Марк-Победоносец заслуживал смерти:
 - а) с точки зрения реального порядка вещей, и
 - б) с точки зрения идеального порядка вещей;
2. Его смерть достойна сожаления:
 - а) с точки зрения реального порядка вещей, и
 - б) с точки зрения идеального порядка вещей.

Раскрывая первое из высказанных положений, следует подчеркнуть, что смерти заслуживает каждый, кому вынесен смертный приговор. По крайней мере с точки зрения тех, кем таковой был вынесен. Это само собою разумеется и не нуждается в доказательствах. Так что вопрос сводится к следующему: находился ли приговор в соответствии с

имевшимся порядком вещей? Иными словами: можем ли мы, исходя из общих соображений, признать справедливость данного приговора в данном месте и в данный период времени? Именно эту проблему я хотел бы рассмотреть более детально.

Прежде всего, что касается положения 1а). Реальным порядком вещей я называю сумму отношений, из которых складываются общественная, экономическая и административная стороны существования данной формации. Если создались некие отношения, это означает, что они были желательны, а следовательно, и необходимы. Тот, кто пытается изменить порядок вещей, какими бы благими побуждениями он при том ни руководствовался, тем самым выступает против желательного и необходимого, а стало быть, оказывается достойным кары ниспровергателем общественного строя.

И хотя я, профессор Ошипка, член и даже руководитель Братства Истины, организации, которую в течение многих лет обвиняют в таком ниспровергательстве, тем не менее я во всеуслышание твердо заявляю о полном согласии с высказанным. В незапамятную пору, когда наше Братство было тайным, возможно, некоторые из его участников проявляли ниспровергательские настроения, но с тех пор много воды утекло, и ныне мы с гордо поднятой головой имеем право заявить, что намерены постепенно улучшать и совершенствовать реальные отношения, а не ниспровергать их огульно и безрассудно.

Марк-Победоносец вел себя безрассудно. Это слово наиболее точно определяет способ его действий. Своими новшествами он ниспровергал реальный порядок, стремясь заменить его иным, к которому никто не стремился и который таким образом нельзя считать ни желательным, ни необходимым. И следовательно, выступая в качестве ниспровергателя системы ценностей, которая складывалась веками, в качестве насильственного преобразователя естественно сложившихся отношений, он в глазах общества заслужил свою тяжкую кару.

Несколько иначе обстоит дело с точки зрения идеального порядка вещей. Под идеальным порядком вещей я понимаю тот, к которому общество стремится как к результату развития реального. Именно такой порядок, например, является предметом забот Братства Истины, которое стремится осуществить данное приближение общепризнанными дозволенными и законными средствами.

Главной задачей грядущего является понимание несом-

ненной, хотя и по сей день не общепризнанной истины, что человечество возникло на Луне и на Луне ему предстоит в дальнейшем существовать. Все представления о его внелунном происхождении являются вредной сказкой. Вредной, ибо отвлекающей внимание от реальных жизненных проблем. Заблудившиеся мечтатели избрали себе в качестве вымышленной родины крупнейшее и не повсеместно наблюдаемое небесное тело и, вдобавок, дали ему наименование «Земля». Давно пора отвергнуть это нелепое название. У себя на Луне мы называем «землей» реальную почву под ногами. Например, мы говорим: «плодородная земля», «неурожайная земля» и т. д., и т. п. Именно поэтому в те времена, когда вбивалось в головы представление о том, что данное небесное тело было по-о-ч-в-о-й для человека, это тело и стали называть «Землей». Таково действительное происхождение этого ложного наименования, с которым более чем следует покончить.

Возвращаясь к вопросу о Марке-Победоносце, следует подчеркнуть, что его появление отсрочило осуществление идеального порядка вещей, основанного на объективной истине, поскольку утвердило его сторонников в смехотворном представлении относительно обитаемости так называемой «Земли» в качестве родины человечества. Да, сам Марк никогда прямо не утверждал, что прибыл с Земли, но это не уменьшает его вины.

Его прямым долгом было опровержение подобных утверждений. Однако он пренебрег этим своим долгом, тем самым превратился в препятствие на пути распространения научных знаний на Луне, и уже по одному по этому его осуждение следует признать справедливым.

Но это лишь одна сторона дела. Несколько иначе оно выглядит с точки зрения общечеловеческих представлений. Смерть Марка достойна сожаления прежде всего потому, что достойна сожаления смерть всякой личности, исполненной сил и здоровья, пусть даже она принята личностью по собственной доброй воле. Однако речь не об этом. Как член Братства Истины я рассматриваю эту проблему только с точки зрения представлений о реальном и идеальном порядке вещей на Луне.

Решившись на нововведения, Марк-Победоносец вызвал смятение умов, а будучи преждевременно казнен, ничего не успел довести до логического завершения. Получи он возможность действовать дальше, в конце концов выяснилась бы:

— либо его благонамеренность, имеющая целью принести пользу развитию отношений на Луне;

— либо его злонамеренность и полная неосуществимость предлагаемых им мер.

Неосуществленность ни одного из этих вариантов нанесла человечеству определенный урон. По первому варианту (лично я считаю его невероятным) урон от его преждевременной смерти состоит в замедлении превращения реального порядка вещей в идеальный. По второму — в замедлении понимания совершенства основ реального порядка вещей. В самом деле, продемонстрируй Марк полностью свою несостоятельность, мы были бы ныне избавлены от споров вокруг его теории, а также от смут, к которым эти споры время от времени приводят.

С точки зрения идеального порядка вещей кончину Марка никак нельзя признать удачным окончательным решением вопроса. Как известно, его тело было кем-то выкрадено из-под груды камней, послуживших для казни, и то ли сожжено, то ли спрятано так, что останков впоследствии не обнаружили. Это дало повод его невежественным сторонникам объявить, что Марк-Победоносец неким сверхъестественным образом воскрес и вернулся на Землю, повторив в этом отношении легендарный уход Старого Человека. Тем самым значительное число людей утвердилось в своем ложном убеждении о земном происхождении человека. Если бы Марк спокойно дожил до естественной смерти и умер, как умирают на Луне все те, за кем не числится никаких преступлений, не было бы самой почвы для возникновения подобных небылиц.

И опять же, проживи он дольше, не исключено, что его удалось бы склонить к признанию Истины, которой служим мы, соединенные в Братстве. Тогда он открыто подтвердил бы, что происходит с противоположной стороны Луны, которая является подлинной колыбелью человечества. Это раз и навсегда положило бы конец всевозможным заблуждениям и, несомненно, ускорило бы наступление идеального порядка вещей. А так люди на Луне (конечно, за исключением членов Братства Истины) по-прежнему таращатся на «Землю». Одни в убеждении, что Марк-Победоносец за ними оттуда наблюдает в качестве доброго духа-покровителя; их оппоненты — в ожидании прихода нового, на этот раз истинного Победоносца с этого необитаемого небесного тела.

Ни то ни другое нельзя рассматривать как положительное явление.

Глава III

Послание к братьям, где бы ни обретались, с благою вестью о Победоносце, среди нас воплотившемся

Глава пятьдесят седьмая

И собрал в тот вечер Победоносец своих учеников за стенами города, где некогда стоял разрушенный замок шернов, и, видя, что все сидят вокруг него, обратился к ним со словами:

«Говорю вам, что настало мне время покинуть вас и возвратиться на светлую звезду Землю, откуда я к вам прибыл и где дом вечный Старого Человека, отца душ ваших.

Счел я дни, среди вас проведенные, взвесил свершенные труды и, вспять оглянувшись, вижу, что ничего не могу прибавить к тому, что содеяно.

Утомился я, жаждет отдыха душа, сердце обращает взоры к далекой звезде над пустынями.

Останьтесь тут одни, дабы оберегать посеянное моею рукою, а если вас будут преследовать ради моей памяти, утешайтесь и крепитесь мыслью, что обильный урожай соберут внуки ваши.

А мне пора в Полярную страну, где ждет моя машина летучая, готовая нести меня сквозь пространство небес в мой светлый дом».

Когда он это сказал, поднялся плач между учениками; некоторые, закрыв лица, упали в слезах на камень; а иные ловили его за руки, прося, чтобы он продлил пребывание с ними.

Особенно женщины, которые состояли некогда во власти шернов, а ныне милосердием Победоносца были снова приняты в круг людей, припадали к его ногам и, власами обувь его покрывая, умоляли, чтобы он их не покидал и навсегда остался с ними на Луне.

Долго слушал Победоносец плач и просьбы, ничего не отвечая, и наконец встал, простер руки над склоненными головами и сказал:

«Тоска призывает меня на мою родимую звезду, но, возможно, остался бы я среди вас, если бы знал, что это на пользу вам.

Однако не есть благо для вас постоянно иметь над собою пастыря, ибо я вас учу, что человек должен сам за себя решать и ни от кого не зависеть. Если станете мне детьми

и подданными, как потом сумеете стать самим себе хозяевами, творящими добро?

Лучше будет, если покину вас».

Сказав это, он спустился с холма и направился в город, а ученики шли следом, печалься и скорбя.

А уже вечер близился, и солнце стояло низко над равнинами на закате, через которые лежит дорога в Полярную страну.

А когда Победоносец вместе с учениками входил в стены города, на пути его явились некие люди, которых он в свое время послал в Полярную страну, и стали еще издалика кричать, что там нет больше чудесной машины, которая некогда принесла его с Земли.

И в ужас пришел Победоносец, и стал просить, чтобы рассказали правду, какую только ведают.

И поведали, что, не найдя машины на том месте, где была, возвращались они в великом расстройстве, как вдруг у первых же поселений встретили некую женщину именем Неэм, которую Победоносец поставил ради обережения священной машины.

И та рассказала с плачем и жалобами, как однажды явились духи, обернули машину сияющей молнией, в том сиянии скрыли от глаз и унесли с собою в дали небесные.

Таково было знамение, что на Земле решено, чтобы Победоносец навсегда остался на Луне и принял смерть ради блага тех, кто в него уверует.

Г л а в а п я т ь д е с я т в о с ь м а я

Девять дней и девять ночей строил Победоносец новую машину, а на десятый день, убедившись, что духи не хотят, чтобы он с Луны улетел, он призвал своих учеников и сказал им таково:

«Исполняется предназначенное, чтобы я остался с вами до самой смерти. Доныне сеял, но собирать не мне, однако хочу плугом еще раз пройти по пашне, чтобы семя не погибло.

Вы мне сбруя, лемех и сошник, который направляю на почву затвердевшую, чтобы перевернуть пласт ради уничтожения своенравной сорной поросли. Поднимутся против вас, прозывая возмутителями, но вы доверяйте мне и моим словам, которые были вам сказаны.

Не затем я пришел, чтобы учить вас покорству и подчи-

нению, терпению бездеятельному и самоотречению, которые никаких плодов не приносят.

Говорю вам одно: думайте больше о дне завтрашнем, чем о мгновении настоящем, думайте о поколении будущем, а не о живущем вокруг вас. Так воздвигнем горн для огня, который будущие века осветит, и приют для грозы, которая в полдень освежает помертвевшее веяние».

Так говорил в тот раз Победоносец своим ученикам, а те молча слушали его, твердя в памяти слово за словом, которые он произносил.

И с того дня Победоносец поселился во храме посреди города, который стоит при Теплых Прудах, и заперся там со своими друзьями не иначе как затем, чтобы его не извели обманом злодеи, которые задумали убить его.

А кто хотел слушать его поучения, те приходили днем и ночью свободно, и он шел с ними на крышу и там перед лицом неба и земли говорил им все то, о чем уже сказано в этой книге. А если видел зло или слышал о некоем беззаконии первосвященника, то посылал вооруженных и карал.

Ожидал Победоносец друга своего и слугу Ерета, который был за морем; ибо написал ему письмо, чтобы он прибыл со всею силой, которую сможет собрать, поскольку настало время установить новый закон в мире лунном.

Но через три дня и три ночи на идущего Ерета напал по дороге шерн, которого тайно держал при себе первосвященник Элем ради погубления человек, и убил шерн Ерета. Услышав об этом, горько зарыдал Победоносец и долгое время не принимал пищи, скорбя по другу своему и слуге.

А когда настал полдень на небе, он призвал учеников и сказал им таково:

«Осаждены мы здесь и добра творить не можем никакого, ибо злодеи нам связывают руки, на каждом шагу умышляя против самой жизни нашей.

Так соберитесь все, и покинем этот город и пойдем в Полярную страну, где Земля видна на небосклоне. Там я буду учить вас и скажу вам последние слова, которые осталось мне сказать, прежде чем свершится моя судьба».

И собрались все, и оделись, и оружием препоясались, и двинулись вместе с Победоносцем к городским воротам, чтобы выйти на равнину.

Но ворота оказались заперты. Ибо прослышал первосвященник Элем, что хочет уйти Победоносец с учениками своими, и задумал убить его, прежде чем уйдет.

Начали люди бить в ворота, чтобы сокрушить их, но тут прибежали посланные от первосвященника и с притворной покорностью умоляли Победоносца, чтобы не уходил, чтобы прежде отправился к Его Высочеству, который собрал великое народное сходбище и там перед лицом всего народа лунного желает учинить с ним согласие.

Знал Победоносец, что первосвященник затаил злое в сердце, но понял, что свершается судьба, которой ему не избежать, приказал ученикам мирно дожидаться у стены и пошел один в окружении посланных Элема со всех сторон.

И когда свернули они в боковую улицу, так что стоящие у ворот ученики не могли видеть, каково творится с учителем, напали из-за угла душегубы, у первосвященника нанятые, набросили на Победоносца длинное вервие на голову и руки и повалили на землю.

Услышали ученики его крик, хотели бежать на помощь, но спрятанное в соседних домах войско внезапно выбежало, окружило превосходящей силой и повязало расстроенных потерю вождя и учителя.

Глава пятьдесят девятая

Захваченного обманом Победоносца было задумано доставить на суд к первосвященнику. Но прежде ради большего надругательства затащили его в подземелье, что во храме, и приковали к стене, где в свое время держали шерпа Авия, бывшего правителя, пойманного Победоносцем при первом сражении.

И когда ушли душегубы, оставив Победоносца одного, тот шерп появился перед ним, сел на грудь брошенных святых книг, где было записано Обещание, и начал над ним глумиться.

«Освободи себя, — говорил он, — если ты действительно Победоносец. Вот я был здесь тобою прикован, а сейчас свободен и смотрю на тебя, предаваемого погублению.

Мог бы я убить тебя сам, и ты не сумел бы защититься от моих рук, но мне желательно, чтобы тебя убил народ, которому ты сотворял благо.

Давно я поджидаю твоей смерти, а когда увижу ее, то вернусь к своим родичам за море и расскажу, как сгинул тот, кто посмел называть себя нашим победителем».

Таково говорил и глумился шерп. Однако Победоносец

ему не отвечал, пребывая в мыслях о Земле, на которую вскоре собирался возвратиться духом.

И тогда приблизился шерн, начал искушать его, говоря таково:

«Ты обещал когда-то взять меня с собою на Землю и показывать людям, которые там живут. Не вернуться тебе на Землю, но за морем множество моих родичей тебя еще не видало. Поклонись мне и поклянись, что будешь служить верно, как пес, и я вырву тебя из рук твоего народа и возьму в страну шернов, чтобы ты жил там в довольствии и учил выворотней изготовлять огненный бой, с которым мы потом пошлем их завоевать твоих сородичей».

Тогда Победоносец открыл глаза, поглядел на шерна и сказал:

«Напрасно искушаешь меня, животное. Пусть я погибну, но вашему владычеству пришел конец, ибо я сломил его своею рукой и больше никогда ни один человек, даже самый ничтожный, не будет слугою шерну».

Тем временем, пока глумился шерн над Победоносцем, во дворце первосвященника собрались старшины из народа и стали советоваться, что теперь делать со схваченным.

И скоро согласились они, что нет иного выхода, как убить его, чтобы погасить свет, который от него исходит и слепит им глаза, привычные к мраку души.

И сговорились предать его смерти, как можно более скорой, не иначе чтобы его друзья, собравшись, не вызволили его из тюрьмы. Но сами вынести приговор побоялись, чтобы народ, со временем прозрев, не обратился против палачей благодетеля, спасителя и учителя своего. Задумали устроить так, чтобы смерти Победоносца потребовал сброд якобы против воли первосвященника и старшин.

Послал Элем в народ соглядатаев и подстрекателей, чтобы поучали, что кричать, когда соберется суд, а своего клеветы Севина вместе со старшинами отправил на площадь судьями Победоносцу.

А этот Севин был предан первосвященнику и всегда совершал угодное Элему. Однако в тот день благодать земная сошла на него, он прозрел и ужаснулся судить и казнить того, кто был светом всей Луне.

Тем временем Победоносца, связанного, как преступника, на возу доставили на суд, и там заговорили подкупленные, чтобы свидетельствовать против него.

И не было преступления, не было греха такого, которого не возвели бы на него. Возвели насилие и грабеж, возвели

бунт, возвели измену и даже сговор с шернами возвели, которым он был гроза и пагуба.

Однако Победоносец ни слова не сказал, а слушал молча, уже будучи мысленно на светлой звезде Земле, откуда начало людям и где спасенным душам прибежище.

А когда кончили говорить лжесвидетели и клеветники, он словно очнулся, приподнялся на возу, насколько позволило вервие, и громким голосом обратился к народу:

«Когда летел я сюда с Земли, о народ лунный, я сам не знал, каков я щедр! Посвятил вам жизнь мою и смерть мою вам посвящаю. Вы ждали Победоносца, и я стал им, а нынешний день есть увенчание моего торжества. Ибо умершего, меня никто не сможет победить в сердце своем. А вы, ученики и друзья мои, сколько вас здесь, может быть, есть, помните злодеяния, в которых меня обвиняют, ибо скоро наступит время, когда каждое из них благодеянием назовут».

Он продолжать хотел, но старшины подняли крик, что он кошунствует, и подхватили этот крик в толпе. И один из наемных душегубов подбежал к нему с длинной палкой и, боясь подойти совсем близко, ударил издали по голове. И закричал:

«Молчи, пес!»

А в ряду судей встал Севин с побелевшими губами и воскликнул:

«Не буду судить этого человека! Милосердием полнится мое сердце, когда вижу его унижение, и вас прошу о милосердии к нему! Однако творите с ним, что сами захотите».

С этими словами он отвернулся и ушел, закрыв лицо, а следом ушли остальные судьи, отдавая Победоносца в руки сброду.

Глава шестидесятая

И привязали ему к ногам канаты, а поскольку он лежал на возу со связанными руками, то стащили его оттуда и впряглись в каждый канат по шестеро, и поволокли его по улицам, так что светлые его кудри окрасились кровью от ран, причиняемых камнями мостовых.

А следом бежала большая толпа и кричала, поощряя тех, кто волок, чтобы бежали быстрее. А следом за сбродом тайно шли ученики Победоносца (ибо страшились сброда) и собирали его драгоценную кровь платками, и рыдали.

И оказалась среди них одна женщина, блудница, одержимая, по имени Ихазель, внучка первосвященника Крохабенны, убитого шерном, которого Элем прятал для погубления человекoв.

Некогда обратил на нее взоры Победоносец, желая приобщить ко благому, ибо жаль ему было пропащей души во плоти такого прекрасного вида, что был подобен восходящему солнцу. Но та, порочным безумием одержимая, желала познать в Победоносце мужчину, а когда увидела, что сущность его божественно чиста, то возненавидела его и поклялась отомстить.

Теперь она бежала следом и глумилась над мучеником, и кошунствовала, но скоро утомилась, потому что была слаба, как былинка в поле.

И нашли ее ученики, кровь Победоносца собиравшие, рыдающую и ничком лежащую, с волосами его кровью окрашенными. Испугались, что она их выдаст, но она, новым безумием одержимая, встала и начала кричать с притворной жалостью, что надобно бежать и спасать Победоносца из рук душегубов.

А когда они в замешательстве остановились, не зная, как ответить на эти ее внезапные речи, она, изменившись в лице, вдруг захохотала и начала непристойно кошунствовать, изрыгая проклятия на светлую голову Победоносца и то смеясь, то плача.

А потом пошла к себе домой облечься в ризы праздничные и растрепанные волосы умастить.

Тем временем душегубы приволокли Победоносца на берег моря, привели в себя, ибо он потерял сознание, пока волокли, пропустили под мышки вервие и привязали стоя к высокому столбу, который там издревле давал знак кораблям для подплывтия.

Привели также некоего выворотня, который, отступившись от шернов, служил Победоносцу, как верный пес, и был схвачен вместе с ним.

Ему обещали большую награду, если он убьет Победоносца, потому что хотели, чтобы для большего сраму тот погиб от нечистой руки. Но тот выворотень по наитию доброго духа отвратился от совершения злодеяний, и тогда его закопали вниз головой в песок у самых ног Победоносца так, что, перед смертью дергая ногами, он обнаженные колени мученика в кровь разбил.

И с великим криком взялись побивать Победоносца камнями, дабы исполнилось сказанное через пророка: «Дал вам

любовь, а вы стали мне градом каменным. И кровь моя тому печать».

Однако земные духи, посланные с высот, окружили его незримым облаком, которое полет камней отвращало, и те мягко к его телу прикасались, не причиняя ему страдания.

И сильный ветер поднялся, для той поры необычный (дело было под вечер), и нагонял шумные морские волны на песок.

Стало страшно, и нашлись такие, кто стал призывать, чтобы Победоносца сняли со столба и отпустили или чтобы все ушли, а его оставили добычей собственной судьбы и холодов наступающей ночи.

Стали склоняться к этому, но тут со стороны города появилась Ихазель, разодетая в яркие одежды, с умашенной прической на голове. Шла, смеясь, словно на праздник, а у самой глаза безумные и по сторонам бегают.

Увидал ее Победоносец, а поскольку она знала от него одно доброе, то подумал, что она бежит помочь ему. Выпрямился, окровавленное лицо поднял и позвал ее по имени: «Ихазель!»

Позвал не затем, что избавления от нее ждал, ибо ведал, что свое дело должен увенчать смертью своей и что ничья рука не в спасенье ему; но желал ее обращения и подумал, что при виде его жестоких мук напоследок снизошел на нее дух добра.

Но несказанно жестокосердна была эта женщина, и, приблизясь к нему, не сочувствие, не жалость она явила, а выхватила острый нож, поднялась на цыпочки и колола Победоносца в сердце, пока он не умер.

А когда он умер, то в нее вселились бесы, она начала плясать, стонать и рыдать; от пушего безумия побежала в сад на склоне позади храма и там как сквозь землю провалилась, не иначе как теми бесами заживо похищенная.

А в ту минуту, как испустил дух Победоносец, на крыше храма явился шерн, распростер черные крылья, пролетел косым полетом прилюдно и с неслыханной наглостью сел на верхушку столба над мертвым телом.

Г л а в а ш е с т ь д е с я т п е р в а я

Сброд испугался шерна, испугался приступа бури и разбежался, а мертвое тело, все в крови, осталось к столбу привязанным.

Только на закате пришли от первосвященника холопы, перерезали вервие, сняли останки и засыпали песком и галькой.

Но среди ночи вдруг сделался небывалый свет и с ужасным громом, словно тысяча молний разом ударила, явилась светлая машина Победоносца, вся в сиянии пламени, и остановилась возле кургана на морском берегу.

И встал Победоносец из-под камней, что навалили на него, молодой и светлый, а на лучезарном его теле никаких ран и следа не было. Ступил на верхушку того кургана, машину кликнул, а та, как послушный пес, знающий хозяйский зов, сделала круг и легла к его ногам.

Вошел в нее Победоносец, пролетел в сиянии над городом и понесся к звезде Земле, к своей и нашей родине.

Не печальтесь, братья, не огорчайтесь, что покинуты, ибо надлежит радоваться, что он жестокой смертию правду свою утердил и благость своего жития засвидетельствовал на веки вечные, а нам оставил пример, как вершить свое дело без страха, и дал надежду возродиться по смерти.

Смотрит он с высокой Земли на юдолю трудов наших здешнюю и благословляет деяния ваши возвышенные и отважные, а когда исполнятся сроки, то снова явится он в сиянии, но уже не наставлять, не поучать, а карать суровой десницей супостатов подвига своего.

Так и будет.



В ПЕПЕЛЬНОМ СВЕТЕ ЛУНЫ...

I

Широко бытует мнение, будто развитие фантастики состоит в тесном родстве с научным прогрессом. Не то писатели стимулируют мысль ученых, не то ученые — воображение фантастов. Увы, как и большинство расхожих мнений, суждение это содержит лишь зерно истины. Родство и впрямь существует, но, в лучшем случае, троюродное. Как правило, НФ интересуется то, чем наука пока еще не занялась или вовсе не намерена заниматься; нередко — даже то, к чему она уже утратила или мало-помалу теряет интерес. Эта система отношений прекрасно иллюстрируется примером исследований Луны — астрономами и писателями.

Активное изучение ночного светила началось в тот майский день 1609 года, когда Галилей впервые направил на него свой телескоп — примитивный, однако позволивший, тем не менее, воочию убедиться в наличии тех гор и долин, о существовании которых полутора тысячелетиями раньше лишь догадывался Плутарх. Но прошло всего каких-то два с половиной столетия — и интерес к Луне заметно упал. Оно и понятно: к тому времени в руках астрономов появились два мощных инструмента — фотоаппарат и спектроскоп, — а использовать их с наибольшей эффективностью можно было лишь при исследовании самосветящихся объектов — Солнца и звезд. Для планетной же астрономии — в том числе, и для изучения Луны — новые методы давали немного, ибо сияют эти небесные тела отраженным светом, а способность глаза различать мельчайшие детали гораздо выше, чем у фотопластинки. В результате почти до самой середины нашего века основным способом накопления сведений о лунной поверхности оставался метод зарисовок...

Так обстояло дело в науке. В литературе же все было как раз наоборот. Первые лунные экспедиции снарядил во втором веке по Рождестве Христовом лукавый грек из Самосаты по имени Лукиан, автор «Икаромениппа» и «Правдивой истории». В догалилееву эпоху у него сыскалось немало последователей — до юного Кеплера включительно, хотя «Сон, или Астрономия Луны» последнего увидел свет лишь посмертно, в 1631 году. Зато эпоха инструментального изучения Луны не нашла в литературе заметного отражения — и француззу Сирано де Бержераку, и англичанину Фрэнсису Годвину, писавшему под псевдонимом Доменико Гонсалес, и даже достославному Карлу Фридриху Иерониму фон Мюнхгаузену научные данные были глубоко безразличны. И лишь когда во второй половине XIX века интерес к лунной астрономии начал понемногу увядать — вот тогда-то фантасты и развернулись вовсю.

С легкой руки Эдгара По, в 1835 году отправившего на Луну своего Ганса Пфааля, началось столетие Великих Литературных Селенографических Открытий. Кто только не приложил к нему руку! Тут и Жюль Верн со своей лунной дилогией «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны»; и Жорж Ле Фор с Анри де Графиньи, написавшие «Путешествие на Луну»; и плодовитый Андре Лори — коллега, друг и даже соавтор Жюль Верна, выпустивший в свет «Изгнанников Земли»; и, разумеется, Герберт Уэллс, автор «Первых людей на Луне»; и вездесущий Эдгар Райс Берроуз, уже в двадцатые годы нашего столетия добавивший к остальным своим сериям дилогию «Лунная девушка» и «Лунные Люди»... Словом, им же несть числа. Свое — и достойное! — место занимают в рядах этих лунопроходцев Ежи Жулавский и его «лунная трилогия».

Первый его роман появился в газетах в 1901—1902 годах, а годом позже вышел отдельной книгой, к которой прилагалась карта Луны с проложенным на ней маршрутом героев (жаль, ни в одном из русских изданий ее не воспроизвели), а в 1909 году он был переработан автором и принял тот вид, в котором вы его только что прочли. Тогда же, в 1908—1909 годах, в варшавском «Курьере» был опубликован «Победоносец», отдельной книгой вышедший год спустя. И почти одновременно, в 1910—1911 годах, в «Глосе народу» был напечатан заключительный роман, выход которого в свет книжным изданием практически совпал по времени с окончанием газетной публикации. На этой хронологии я остановился не зря — по ходу разговора нам придется еще к ней возвращаться. Судите сами: «лунная

дилогия» Жюль Верна была написана всего за пять месяцев, хотя и в два приема — в 1865 и 1870 годах, тогда как трилогия Жулавского включает в себя десять лет писательского труда. Десять лет — из короткого века; родившийся в 1874 году, Ежи Жулавский умер в военном госпитале, когда ему едва исполнился сорок один год... Вот и получается, что работа над трилогией заняла почти половину его сознательной, творческой жизни, включила в себя неизбежную эволюцию взглядов и образа мысли, которая отчетливо прослеживается от романа к роману.

О некоторых из его воззрений, об отдельных чертах его творчества и книг мне и хочется сегодня поговорить. В принципе, трилогия предоставляет пищу для размышлений и возможности поразмышлять столь обильные, что, выбирая между ними, нетрудно оказаться в положении Буриданова осла. А посему я собираюсь повести речь лишь о том, что сейчас представляется наиболее интересным мне. Позиция, разумеется, субъективная и уязвимая, но имеющая полное право на существование...

II

Отнюдь не случайно уже в самом начале разговора о трилогии Жулавского я упомянул французского классика жанра — труд свой польский писатель совершенно очевидно начинал под знаком Жюль Верна. И это не удивительно — поразить могло бы скорее обратное. Ведь второй роман «лунной дилогии» — «Вокруг Луны» — появился из печати за четыре года до рождения Жулавского, а к тому времени, когда юный шляхтич вошел в самый читательский, отроческий возраст, уже успел обрести всеевропейскую популярность. И легко можно представить, как завороченно вчитывался в страницы книги шуплый краковский гимназист и какое неизгладимое впечатление оставили они в его душе. Чуть меньше полувека спустя, замечу, история повторилась: только на этот раз уже романа Жулавского с таким же вдохновенным энтузиазмом зачарованно поглощал львовский гимназист Станислав Лем... Не знаю, сознательно ли замышлял Жулавский «На серебряной планете» как некое подражание или, вернее, следование Жюлю Верну; скорее всего, это был некий подсознательный акт. Но сопоставление говорит само за себя.

Прежде всего — методология подготовки к работе. Оба писателя опирались на прекрасное знание сведений, накопленных к тому времени астрономией. Причем вездливый

поляк даже провел немало часов у рефрактора Краковской обсерватории, тогда как его предшественник удовлетворял свой интерес при помощи «*Marra selenographica*» Бэра и Мэдлера. Кстати, за три десятка лет, прошедших между тем, как Жюль Верн отложил перо, а Жулавский взялся за свое, прибавились и новые лунные карты, в частности — очень точная, составленная Карпентером и Нейсмитом; и великолепный рельефный лунный глобус работы Эдуарда Ладе; и серия лунных пейзажей Кранца, с поразительным эффектом достоверности запечатлевших ландшафты нашего спутника такими, как представлялись они в то время астрономам; и, наконец, плеяда специальных и научно-популярных книг. Об одной из них хочется сказать особо, потому что именно с нее началось для меня косвенное знакомство с Жулавским — за полтора десятка лет до того, как в руки мне впервые попал изданный в серии «Зарубежная фантастика» роман «На серебряной планете». Издательство «Мир» ухитрилось выпустить книгу Жулавского удивительно ко времени — в тот самый год, когда состоялись две первые высадки на Луну. Больше того, я читал роман летом, и последнюю его страницу перевернул за каких-нибудь две недели до того, как 21 июля в 2 часа 56 минут 20 секунд по Гринвичу Нейл Армстронг впервые ступил на поверхность Моря Спокойствия. А уже осенью на одной из международных выставок мне удалось посмотреть первый фильм, отснятый на Луне... Бывают такие совпадения. Но я отвлекся, собираясь сказать совсем о другом. Еще до того, как я увидел эти подлинные кадры лунных пейзажей, описания Жулавского почему-то показались мне на удивление знакомыми — словно я читал о мире, который давно и хорошо знал, как места своего детства. В сущности, так оно и было, только мне не сразу удалось это понять. Лишь позже, сообразив, я достал из шкафа одну из любимых книг детства — «Астрономические вечера» Клейна, выпущенные в начале века издательством П. П. Сойкина (немецкий оригинал появился лет на двадцать раньше). Точно! Вот скальная стенка кратера Эратосфен, вот гора Пико, вот сцена восхода Земли на лунном небосклоне... Вот в чем фокус: все эти великолепные иллюстрации видел и Жулавский — у того же Клейна или во множестве иных книг; они помогали ему вживаться в лунный мир, куда отправлял он своих героев. Но их видели и многие другие, и потому Жулавский мог полагаться не только на яркость собственных художественных описаний, но и на читательскую зри-

тельную память, обогащавшую текст узнаванием уже виденного.

Итак, метод: подобно своему старшему собрату по перу, Жулавский придавал большое значение научной достоверности своих фантастических произведений. В то же время оба они могли, если того требовал художественный замысел, проигнорировать точное научное знание или взять на вооружение уже отвергнутые наукой представления.

За примерами далеко ходить не надо. Устами Мишеля Ардана Жюль Верн утверждал: «Луна под влиянием земного притяжения приняла форму яйца, которое обращено к нам своим более острым концом. С этим предположением согласуются и вычисления Гагзена, доказывающие, что центр тяжести Луны лежит в ее заднем полушарии. А отсюда, в свою очередь, следует, что главная масса лунного воздуха и воды должна была устремиться на противоположную сторону земного спутника еще в первые дни творения». Астрономия отказалась от подобных воззрений задолго до выхода в свет «С Земли на Луну», но ведь так интереснее... И тридцать с лишним лет спустя Жулавский строит свою модель Луны в полном соответствии с этим высказыванием.

Точно так же оба писателя избирают в качестве транспортного средства для своих героев вагон-снаряд, выпущенный из гигантской пушки; вернее, и на этот раз Жулавский следует в кильватере Жюль Верна. А ведь иные авторы придумывали куда более экзотические способы межпланетных путешествий. Ле Фор и Графиньи, например, заряжали свой вагон-снаряд в жерло не артиллерийского орудия, а вулкана, сильно экономя при этом на строительных работах и пироксилитине; современник Жюль Верна Ашиль Эро уже думал о ракетном двигателе; современник Жулавского Герберт Уэллс в своих «Первых людях на Луне», увидевших свет в том же 1901 году, когда состоялась и первая публикация «На серебряной планете», изобрел кейворит, материал, неподвластный закону тяготения... Но детская завороченность слишком сильна, и потому Жулавский не в силах был отказаться от собственной «колумбиады». Но тут же проступает и первое различие между ним и Жюлем Верном — первое из ряда многих, о которых нам еще предстоит поговорить. «Колумбиада» Жюль Верна — в полном соответствии с духом дня нынешнего — была плодом конверсии.

Гражданская война в Америке завершилась; артиллеристы остались не при деле — вот и надумали достославные члены Пушечного клуба выпалить в Луну. Чувствуется

здесь и новаторство замысла, и технический размах, и дерзкая удаля Христофора Фернандовича Лаперуза. У Жулавского, к сожалению, его сверхмортира оправдана лишь следованием литературной традиции, и потому невольно воспринимается неким анахронизмом. Впрочем, нет — одно обоснование у Жулавского все-таки было. Артиллерийский снаряд не предусматривает возможности возвращения. Замысел же романа как раз этого и требовал. Но тут мы подходим к очень существенному моменту.

Отправляясь на Луну, герои Жюль Верна тоже брали билет в один конец. «Каким образом вы оттуда вернетесь на Землю?» — вопрошает капитан Николь. «А я совсем не вернусь!» — запальчиво восклицает в ответ Мишель Ардан. Но это — лишь красивые слова; символ, а не программа. Сам Жюль Верн не мог с ними согласиться никоим образом. Не случайно «С Земли на Луну» завершается фразой: «Помните мое слово: они найдут способ выйти из своего трудного положения — они вернутся на Землю!» XIX век мог примириться с рискованными предприятиями, мог даже восхищаться ими, рукоплескать многочисленным Ливингстонам и Андре. Иные из них возвращались с триумфом, другие исчезали без следа. Но отправляться на заведомую гибель? Нет, подобная затея безусловно аморальна! Как всякое самоубийство — по крайней мере, с точки зрения традиционной нравственности и христианской морали.

Ежи Жулавский тоже был сыном XIX столетия — и не только по праву рождения. Как известно, провозвестием XX века прозвучал в Европе не салют при открытии Всемирной выставки 1900 года в Париже, а сараевский выстрел, которым сербский студент Гаврило Принцип свел счеты с эрцгерцогом Фердинандом, тем самым подарив человечеству Первую Мировую войну. И потому можно сказать, что вся жизнь Жулавского прошла в прошлом столетии, в нашем же он провел только год... Однако он очень чутко улавливал ветры, дующие из грядущего, и предчувствовал крушение традиционной нравственности. Пророками этих перемен полнился конец века. Упомяну лишь одного из них, поскольку он был близок с Жулавским и оказал на нашего героя немалое влияние.

Это Станислав Пшибышевский — личность яркая и для своего времени характерная. Прозаик, драматург, эссеист, одинаково легко писавший по-польски и по-немецки, он испытал на себе огромное влияние философских произведений Ницше с их утверждением жизни как единственно неоспоримой ценности, биологической мотивированности

человеческого поведения, отрицанием традиционных понятий добра и зла, идеей освобождения от всех и всяческих моральных уз. На этом фундаменте Пшибышевский и построил концепцию, которую в дальнейшем развивал во всем своем творчестве — особенно ярко проявилась она в его пространных эссе «Шопен и Ницше» и «Ула Хансон», которые обеспечили ему видное место в кругу германо-скандинавской богемы, среде литераторов и художников, обуреваемых идеями декаданса, мистицизма и модернизма. Одновременно Пшибышевский увлекся демонологией, сатанизмом, индийской философией и черной магией. И всей этой невероятно эклектичной смесью, еще не успевшей превратиться в более или менее пригодное к употреблению интеллектуальное варево, он обильно потчевал по возвращении из Германии и Норвегии своего младшего друга и коллегу Жулавского; тот отведал — и пристрастился. Это ощущается и в стихотворениях Жулавского (а их вышло, кстати, четыре тома), и в его многочисленных пьесах (одна из них, «Эрот и Психея», пользовалась просто невероятной популярностью), и в эссеистике, и, разумеется, в «лунной трилогии». Так что первый ее роман всходил не только на жюль-верновских дрожжах; в этом процессе приняли участие и Спиноза, и Ницше, и Шопенгауэр, и Стриндберг, и Пшибышевский — и многие, многие другие...

Они-то и заставили Жулавского ввести в роман, традиционно-фантастический по жанровой принадлежности, даже не идею, а некое предощущение грядущего разрушения норм нравственности и морали. И потому ни самому автору, ни его героям, ни обществу будущего, откуда они родом, безвозвратное путешествие на Луну с билетом в один конец не представляется затеей безнравственной.

Больше того. У Жюль Верна в полет отправляются трое энтузиастов — здоровые мужчины во цвете лет. У Жулавского среди пяти пассажиров вагона-снаряда старец О'Теймор, который не только не пережил перелета, но и не мог пережить; а главное — женщина, которой в рискованной экспедиции и вовсе не место; причем не просто особа слабого полу, а женщина, уже несущая в себе новую жизнь. От такого предприятия делается, честно говоря, жутковато; веет от подобной лунной миссии не столько дерзостным первооткрывательством XIX, сколько экспериментами на людях, свойственными XX веку...

Но Жулавского это нимало не смущало; ему нужно было забросить на Луну Адама и Еву грядущего человечества — и он это сделал. Но при этом продолжал педантично следо-

вать Жюлю Верну — и не только в поистине фантастически достоверном и детальном описании путешествия через четверть лунного диска; Жулавский пунктуально развивал все обмолвки, по ходу оброненные французским фантастом.

«Если рост селенитов пропорционален массе их планеты, — предполагает капитан Николь, — они будут казаться нам просто карликами, ростом не больше фута». И в полном соответствии с этой жюль-верновской версией потомки Томаса, Фарадоля и Марты превращаются на Луне в карликов. Только ко спокойной естественнонаучной гипотезе примешивается здесь и грустная метафора — мельчает народ... Метаморфоза, очень характерная для пессимистических умонастроений Жулавского. А ведь к его услугам были и другие описания селенитов: У Ле Фор и Графиньи, например, рост их достигал трех с половиной метров, а у Андре Лори — даже без малого десяти. Но Жюль Верн, обожаемый с детства Жюль Верн!.. Да и метафора, заметим, напрашивалась бы совсем иная.

Облетая Луну, герои Жюля Верна при вспышке болида видят на обратной ее стороне «...огромные пространства, но уже не бесплодных низин, а настоящих морей, многочисленных огромных океанов, отражавших в зеркале своих вод сказочный ослепительный фейерверк, горевший над ними в эфире. И, наконец, на поверхности материков выступали обширные темные пятна, напоминавшие гигантские леса, освещенные на мгновение ослепительной молнией. Был ли это мираж, иллюзия, оптический обман?» Скрупулезный и дотошный Жюль Верн ограничился этими строчками и вопросительным знаком в конце. Может быть, все это и впрямь лишь почудилось Барбикену, капитану Николу и Мишелю Ардану, на самом же деле обратная сторона Луны столь же мертва, как это и есть в действительности. Но Жулавского подобные соображения не сдерживали. И там, где пассажирам вагона-снаряда «колумбиады» лишь поместились леса и воды, в «лунной трилогии» простираются обитаемые края, заселенные потомками людей и первожителями шернами.

Однако стоило героям Жулавского достичь то ли пригрезившейся пассажирам жюль-верновского вагона-снаряда, то ли действительно представшей на миг их глазам земли обетованной (или следует говорить «луны обетованной?»), как выяснилось, что влияние французского фантаста, и без того постепенно слабевшее, исчезло теперь совсем, подобно навек скрывшейся за горизонтом Земле. Отныне Жулавского интересовало совсем иное. Исследовательская экспедиция уже с середины романа постепенно стала превращаться в

Исход. И библейское это слово появилось не случайно. Именно оно давало возможность писателю обратиться к своим историософским концепциям, к проблемам развития человечества, зарождения и формирования религий и философских воззрений... Всем этим он интересовался издавна. Не зря же в 1895 году он бросил Цюрихский Политехнический институт, успев уже отучиться там два года, чтобы перейти на философский факультет университета в Берне, где три года спустя ему была присуждена докторская степень за исследование «Проблемы причинности у Спинозы». Стоит также отметить, что он переводил на польский некоторые из книг Ветхого Завета, а в поэзии Жулавского были распространены библейские парафразы.

Теперь он сам стал демиургом — сотворил лунный мир, заселил его, дал семь веков свободно развиваться, а потом решил повнимательнее рассмотреть, что же из всего этого получилось. Так родился «Победоносец».

В его зачине вновь возникает — еле-еле слышно — отзвук жюль-верновского романа. «А я буду разыгрывать роль Гулливера! — восклицает Мишель Ардан. — Мы воплотим в жизнь легенду о великанах». Именно эту роль и предстоит сыграть Марку-Победоносцу (кстати, некоторые критики небезосновательно полагают, что имя Марк скрывает в себе анаграмму Мишель Ардан; если так, то цепочка тянется прелюбопытная: ведь Ардан — жюль-верновская анаграмма Надара, каковое имя являлось псевдонимом Феликса Турнашона). Поначалу Победоносец исполнен воистину ардановских удали и жизнелюбия, к которым примешивается элемент лихого всезнайства янки, попавшего ко двору короля Артура. Именно этого твеновского героя заставляет вспомнить история с вооружением войска лунного люда «огненным боем». Вот только успеха Марку эти новации не приносят. И здесь Жулавский предвосхитил некоторые геополитические концепции XX века, благодаря которым стало ясно, что решаются войны не столько благодаря превосходству в оружии и полководческим талантам, сколько соотношением демографических, экономических и социокультурных потенциалов. В книгах без малого столетней давности подобные прозрения встречаются не часто...

Вместе с ардановской отсылкой к Гулливеру в «лунную трилогию» входит, начиная с «Победоносца», и свифтовская сатирическая интонация. Правда, полное звучание она обретает лишь в финале — в трех блистательных версиях гибели Марка. Зато весь заключительный роман целиком насыщен духом Дублинского Декана. Впрочем, в ряду пред-

теч «Победоносца» трудно не упомянуть и «Остров пингвинов» Анатоля Франса (чуть было не сказал — и его же «Восстание ангелов», но оно вышло в свет лишь в 1914 году, то есть тремя годами позже «Древней Земли»; так что тут приходится говорить скорее об идеях, витающих в воздухе). Во всяком случае, как и впоследствии Франс, Жулавский отчетливо понимал всю тщетность и бессмысленность анархически-пролетарского бунта. Но и в эволюционное развитие он тоже не верил — земное общество через тысячу лет представлялось ему безрадостным, не имеющим ни цели существования, ни смысла жизни. Общественное развитие может завести только в тупик — путь лишь в совершенствовании индивидуального духа, в приобщении к высшим истинам, которого достиг Нианатилока.

Замечу, высказанные в литературном творчестве взгляды вступили в противоречие с собственной судьбой Жулавского. После начала Первой Мировой он поспешил записаться в формировавшиеся в Австрии легионы Пилсудского — войска, которые, воюя на стороне стран Тройственного Союза (Германии, Австро-Венгрии и Италии), должны были помочь разделенной Польше добиться объединения и независимости. Жулавский так и не успел повоевать, вскоре заразившись тифом, который и свел его в могилу. Но важно не это: на патриотический порыв способен лишь человек, верящий в будущее своей страны и своего народа, а следовательно — в конечном счете и человечества. Кто же станет воевать за дело, в которое не верит ни на грош? Так что пессимизм Жулавского шел исключительно от ума, тогда как сердце привело его в легионы Пилсудского. Контраст, заставляющий вспомнить строки Давида Самойлова:

...я душой

Матерьялист, но протестует разум,

— хотя внутренний конфликт у Жулавского был совсем иным, нежели у самойловского Пестеля...

Не могу не упомянуть и еще об одной черте, характерной для творца «лунной трилогии», — о его поразительном женоненавистничестве. Бог весть, откуда оно взялось — то ли почерпнуто было исключительно из модных веяний времени, из литературы тех лет; то ли испытал сам Жулавский какое-то горестное разочарование; то ли... Гадать можно до бесконечности. Но видно, как, вначале почти незаметное, чувство развивалось и крепло в нем на протяжении всех тех лет, на протяжении которых шла работа над трилогией.

В первом романе оно еще лишь неявным намеком ощу-

щается в самой ситуации, во включении прекрасной (как и требовали того традиции неоромантизма — Ихазель из «Победоносца» и Аза из «Древней Земли» внешне ей ничуть не уступают) женщины в состав самоубийственной лунной экспедиции. Неизбежные сложности, которые не могут не возникнуть при сосуществовании четырех (правда, выжили из них лишь двое) мужчин и одной прекрасной дамы, заданы изначально, и Жулавский не без удовольствия смотрит, каково приходится в этих ситуациях Марте. Конечно, нельзя не признать, что Ян Корецкий, протагонист романа, рыцарственно благороден, как и подобает польскому шляхтичу, а до идеи полиандрии Жулавский — при всем предощущении грядущего порушения нравственности — не дошел, в отличие, скажем, от Робера Мерля, который полувеком позже спокойно внедрил подобную модель общества в свой «Мальвилль». Но даже при этих — сравнительно благоприятных для Марты — обстоятельствах судьба ее остается незавидной. Но и она, в свою очередь, демонстрирует нравственные и психологические качества, которые впоследствии разовьются в Ихазели и обретут максимальное выражение в Азе. Качества, обосновывающие и делающие правомочным конечный вывод «Древней Земли» (а с нею — и всей «лунной трилогии»): «У женщины нет души!» И дело здесь не только в том, что Бог Ветхого Завета наделил душою только Адама, сотворив Еву лишь в качестве бездуховного придатка. Что-то гораздо более личное, нежели теологические познания, видится за этой сюжетной линией, приобретающей по мере развития трилогии все больший удельный вес. Но что именно — полагаю, это останется загадкой навсегда.

Вы, безусловно, заметили, что по ходу разговора я щедро рассыпал имена — от Спинозы и Ницше до Жюль Верна и Станислава Пшибышевского. Оговорюсь: делал я это отнюдь не для того, чтобы лишний раз блеснуть эрудицией (в этом отношении авторы предисловий и послесловий, подобно жене Цезаря, по определению, находятся вне подозрений). И, разумеется, у меня в мыслях не было ставить в укор Жулавскому обилие литературных предшественников и современников, чье влияние так или иначе прослеживается в его творчестве. Просто все, выходявшее из-под пера Жулавского, рождалось не только и даже не столько непосредственным осмыслением наблюдаемой жизни, сколько вырастало из мощного пласта человеческой культуры. Это характерная для перелома веков литература второго порядка, литературой же вызванная к жизни, типичное проявление

логократического мышления и восприятия мира. В свою очередь, в книги Жулавского уходят своими корнями произведения других писателей.

Вот лишь один пример. Помните «Аэлиту» Алексея Толстого? Но ведь Лось и Гусев — суть раздвоенная личность Победоносца, две его испостаси. А марсианочка Иха, субретка, которой вскружил голову лихой красный кавалерист, — уже само имя подсказывает, откуда родом эта очаровательная крошка... Впрочем, советский граф считал подобные использования в порядке вещей. «А и украду, — говорил он, — да так украду, что никто и не заметит!» И — не замечали. Потому что все это связывалось в органическое нерасторжимое единство. Кому, например, придет в голову сопоставлять финалы «Королей и капуста» О. Генри и «Гиперболоида инженера Гарина»? А ведь президент Мирафлорес, сидящий на бережку и пишущий концом трости на песке слово «Анчурия», — точь-в-точь Гарин, предающийся тому же занятию на острове, куда его забросило кораблекрушением на пару с Зоей Монроз...

Так и с Жулавским. Он жил в мире литературы и культуры, дышал этим миром, мыслил его категориями. И его книги — не только фантастика — вписывались в этот общий культурный фон, вращались в нем, вливались в единый поток литературного процесса. За этим очень интересно наблюдать, но судить это не правомочен никто.

III

Не только литературный, но и язык науки бывает порой удивительно выразителен и богат. Есть в астрономии такое понятие — «пепельный свет Луны». Образ, почти поэтический по выразительности, хотя означает всего-навсего тусклое свечение неосвещенной Солнцем части лунного диска в начале первой и конце последней фаз. О природе пепельного света первым догадался Леонардо да Винчи. Сверкающий серп месяца освещают солнечные лучи, тогда как всю остальную поверхность заливают слабый, но заметный отраженный свет Земли. Таким образом, наблюдая пепельный свет, анализируя его, можно почерпнуть немало сведений о планете, на которой мы с вами живем — чем и занималось немало астрономов.

Я вспомнил об этом явлении потому, что «лунная трилогия» Жулавского вся сияет именно пепельным светом. Диковинные лунные пейзажи; странное, выродившееся лунное человечество, потомки заброшенных туда из пушки

земных Адама и Евы (только — в отличие от библейского Адама, имевшего двух жен, Лилит и Еву, картина здесь обратная — у лунной Евы было два мужа, Вудбелл и Фарадоль); трагическая эпопея Марка-Победоносца и горестная судьба Ихазели; рефлексии Яцека и преобразование Серато в Нианатилоку — все это понадобилось Жулавскому для того, чтобы поделиться своими раздумьями над нынешним и завтрашним днем Земли.

Иногда детали этих раздумий откровенно забавны сегодня — как можно, например, без улыбки читать про гения-изобретателя трехтысячного года господина Яцека, берущего в руки телефонные трубки! Ведь телефоны с разделенным микрофоном и наушником выходили из употребления уже во времена, когда был написан роман... Таких примеров по трилогии рассыпано в достатке. Но ведь фантастам свойственно ошибаться, пытаясь до мелочей представить себе реалии изображаемого мира. Им ничего не стоило придумать невероятный космический корабль, но пилоты его должны были расхаживать в шюртуках, а дамы-пассажирки — прогуливаться по палубе в платьях с треном. Но соседствовали с этим у них и удивительные прозрения, и точные наблюдения, и язвительные оценки окружающей действительности — порой заключенные в двух-трех походя брошенных словах. В трилогии Жулавского вы все это обнаружите без труда.

Право же, изучать Землю, всматриваясь в пепельный свет Луны, — занятие и небесполезное, и увлекательное.

Андрей БАЛАБУХА

СОДЕРЖАНИЕ

На серебряной планете. <i>Перевод А. Громовой, Р. Нудельмана</i>	5
Древняя Земля. <i>Перевод Л. Цивьяна</i>	251
Победоносец. <i>Перевод А. Щербакова</i>	471
В пепельном свете Луны. <i>Послесловие А. Балабухи</i> .	721

*Литературно-художественное
издание*

Ежи Жулавский
ЛУННАЯ ТРИЛОГИЯ

Перевод с польского

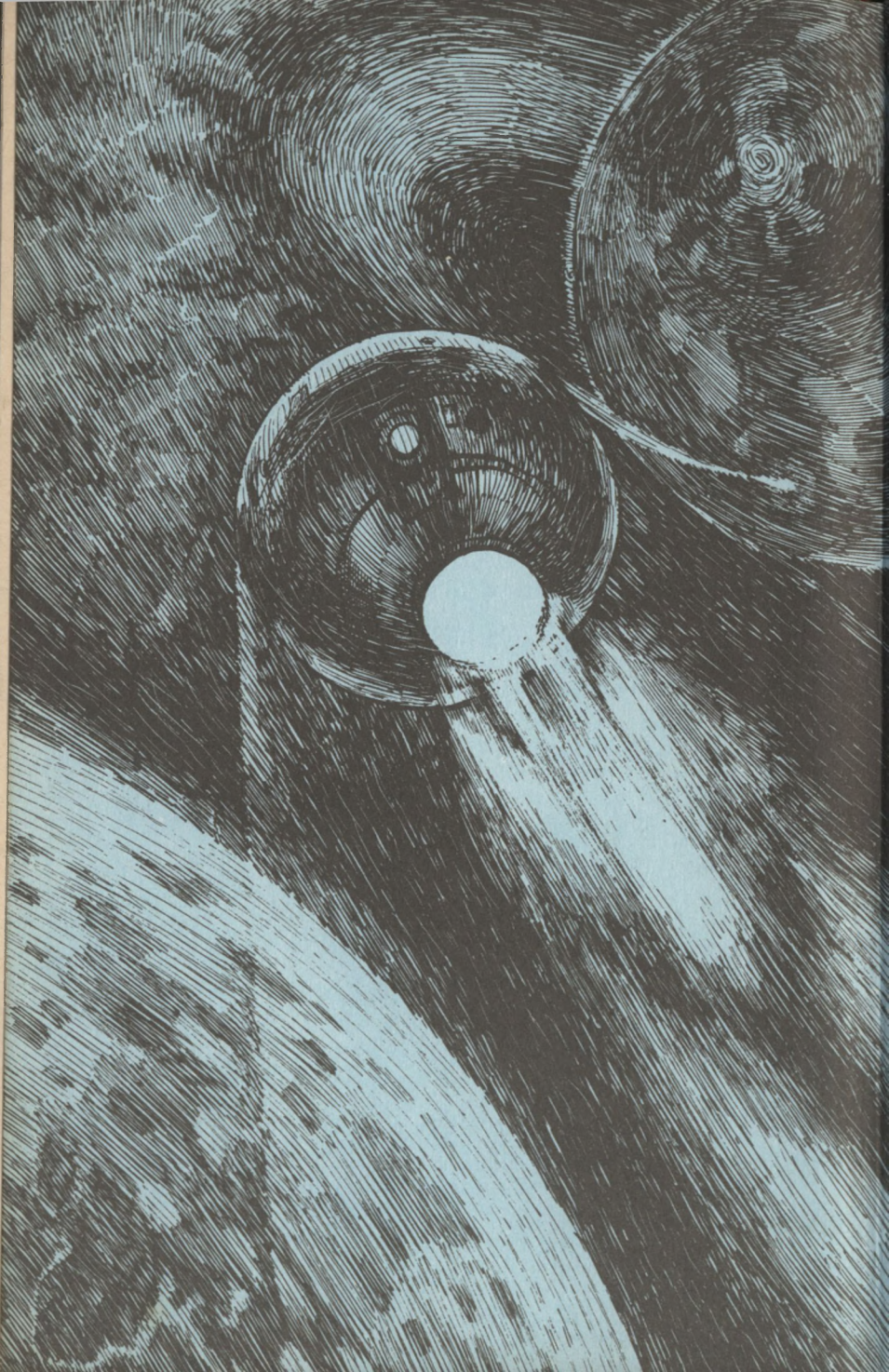
Ответственный редактор *Ольга Солохина*
Художник *Игорь Чибилев*
Художественный редактор *Виктор Меньшиков*
Технический редактор *Татьяна Раткевич*
Корректоры: *Елена Шнитникова,*
Людмила Быстрова, Елена Светозарова
Верстка *Светланы Широкой*

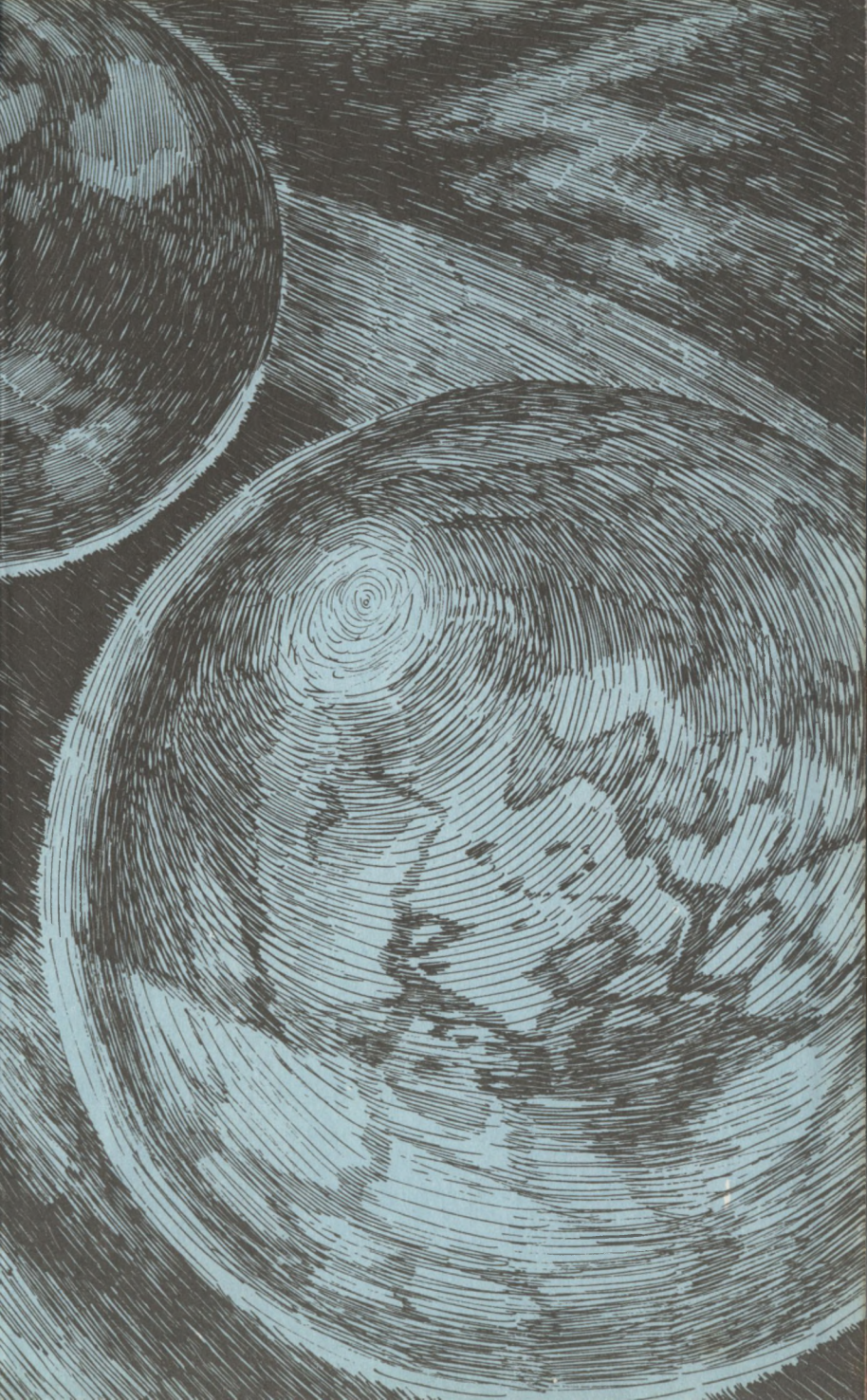
Подписано к печати с оригинала-макета 05.02.93.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура академическая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,6. Тираж 100 000 экз.
Изд. № 154. Заказ № 116. С 154.

Издательство «Северо-Запад»
191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 18

Оригинал-макет подготовлен издательством «Северо-Запад»

Отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии
«Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13







Серепо-Занэг®.